

АЛЕКСЕЙ
ЧЕРКАСОВ

ПОЛИНА
МОСКВИТИНА

Черный тополь





Текст печатается по изданию:
Черкасов А. Т., Москвитина П. Д.
«Избранные произведения» в 3-х томах,
том третий
«ЧЕРНЫЙ ТОПОЛЬ»,
«Современник», Москва, 1985 г.

АЛЕКСЕЙ
ЧЕРКАСОВ

ПОЛИНА
МОСКВИТИНА

Черный тополь

Сказания о людях тайги

«Современник»
Москва
1992

ББК 84Р7
Ч-48

Черкасов А. Т., Москвитина П. Д.

Ч-48 Черный тополь: Сказания о людях тайги.— М.: Современник, 1992.— 543 с.
ISBN 5-270-01678-8

Заключительная часть трилогии — «Черный тополь» — повествует о сибирской деревне двадцатых годов, о периоде Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет.

Ч 4702010201—044 без объявл.
М106(03)—92

ББК 84Р7

ISBN 5-270-01678-8

© Оформление, издательство
«Современник», 1992

ЧЕРНЫЙ ТОПОЛЬ

Сказания о людях тайги

ЗАВЯЗЬ ПЕРВАЯ

I

Много повидал на своем веку старый тополь!..

Его вильчатая вершина видна издали над домом Боровиковых, хотя дом — крестовый, рубленный в поморскую лапу из толстуших бревен, на фундаменте из лиственниц в обхват, более ста лет дубленных солнцем,— стоял на горе, а тополь тянулся снизу, из мрака и сырости поймы Малтата.

Давно еще грозовой удар расщепил макушку тополя; но дерево не погибло, справилось с недугом, выкинув вверх вместо одного два ствола.

Разлапистые сучья, как старческие крючковатые пальцы, протянулись до конька тесовой крыши, будто собирались схватить дом в охапку. Летом на сучьях густо вились веревчатые побеги хмеля. Тополь был величественным и огромным, прозванный старообрядцами Святым деревом. С давних пор под ним радели крепчайшие раскольники тополевого толка, выходцы из Поморья, крестились двумя перстами, предавая анафеме всех царей, а заодно с ними православных никониан за их еретичное троеперстие-кукиш. Невесты топольников вязали себе нарядные венки из гибких веток тополя, потом принимали крещение в студеных водах Малтата и Амыла, очищаясь от мирской скверны.

На всякую всячину насмотрелся тополь за длинный век свой: на радостных невест и на битых баб, на скорбных вдов и на сторожких, прячущихся под его ночной чернью неумных жен, лобызающих немужние сладостные уста.

Гнули его ветры, нещадно секло градом, корежили зимние вьюги, покрывая коркою льда хрупкие побеги молодежи на заматерелых сучьях. И тогда он, весь седой от инея, постукивая ветками, как костями, стоял притихший, насквозь прохватываемый лютым хиузом. И редко кто из людей задерживал на нем взгляд, будто его и на земле не было. Разве только вороны, перелетая из деревни в пой-

му, отдыхали на его двуглавой вершине, чернея комьями.

Но когда приходила весна и старик, оживая, распускал коричневые соски клейких почек, первым встречая южную теплинку, и корни его, проникшие в глубь земли, несли в мощный ствол живительные соки,— он как-то сразу весь наряжался в пахучую зелень. И — шумел, шумел! Тихо, умиротворенно, таким старческим мудрым гудом. Тогда его видели все, и он нужен был всем: и мужикам, что в знойные дни сживали под его тенью, перетирая в мозолистых ладонях трудное житье-бытье, и случайным путникам, и ребяташкам. Всех он встречал прохладой и ласковым трепетом листвы. К нему летели пчелы, набирая на лапки тягучую смолку, чтобы потом залатать прорехи в своих ульях, мохнатые жирные шмели отсиживались в зной в его листве, болтливые сороки устраивали на нем свои немудрящие гнезда.

Сколько же ветров и бурь пронеслось с той поры, когда первый хозяин еще недостроенного дома — Ларивон Филаретыч Боровиков с внуками и сыновьями затравил собаками беглого варнака и, как потом узнали, родного брата, Мокея Филаретыча, из чьей кровушки каторжанской возрос на диво всем могучий тополь!..

Шли годы и годы...

Менялись поколения, времена и нравы, а старый тополь все так же шумел под окнами дома Боровиковых.

Костляво-черный в зимнюю пору, белый от куржака в морозы, огромный и величественный в зеленой шубе, вывышался он над крестовой крышей дома, как загадочный свидетель минувших времен, чтобы потом, на Страшном суде, дать показания о всех бедах и преступлениях, свершенных людьми на его веку.

II

Нечто загадочное и тревожное мерещилось малому Демке в старом тополе. То Святое древо как-то странно посвистывало, будто созывало праведников на моление, то оно лопотало, лопотало ночи напролет, словно что-то рассказывало чернолесью на своем тополином языке, то в лютую стужу скребло по крыше голыми сучьями, ровно в тепло просилось, чтоб погреть задубевшие старые кости, то исходило натужным гудом перед непогодьем; и, когда налетала буря с Амыла, тяжко стонало. И чудилось Демке, что Свя-

той тополь отбивается от несметной силы нечистых, и боялся, как бы он, не выдержав битвы, не рухнул на крышу дома. «Как бабахнется, так всех придавит. И меня, и мамку с Фроськой». Тяжку-рыжую бородищу не жалел — пушай давит. Все едино Демке добра не ждать от тятки.

Со всем могла смириться Меланья: и со строгостью Филимона к малому Демке, и к самой себе, и с тем, что жить стали в моленной, а вот нутро пересилить к квартирантке-ведьме, Евдокии Елизаровне, которая поселилась в горенке, никак не могла.

— Нишкни! — пригрозил Филимон. — Не твоево ума дело, как и што свершается в круговращенье людском. На земле проживают люди разных верований, и ничаво — ладят. Али я не гоняю ямщину? Пушай хучь сатано подрядит, господи прости, моментом в ад доставлю. Токо бы на возвратную дорогу ворота открыли.

— Сгинем мы, Филимон, от этакого паскудства!

— Молчай, грю, ежли ум у те с коготь иль того меньше. Али не слышала: отторг я тополевою веру — белоцерковную самую праведную возвещать буду.

— Господи! В церковь к нечистым метнулся!

— Не в церковь, а старая вера етъ такая под прозванием Белая Церковь, самая праведная. Согласное такое единовержцев, и двумя перстами хрестятся, как мы. А по белоцерковной вере, как вот у Харитиньи, — вдруг проговорился Филимон и тут же смолк: до того неожиданно вылетело словечко.

— У какой Харитиньи?

— У праведницы, следственно, — сопел в бороду Филя.

Меланья припомнила:

— Господи! Ты еще когда во сне Харитиньюшку нацеловывал да шанежкой называл. Знать, у Харитиньи скрывался все время, а мы тут слезами исходили, казни претерпели!

— Не болтай лишку, грю! — окрысился хозяин. — Али у самой хвост не припачкан? От кого выродок в доме моем хлеб жрет?

— Хлеб-то и мой, поди. Я ведь содержала дом и хозяйство, покель ты с Харитиньей гдей-то проживал.

Филимон перед малой силой скор на руку. Бах — и врезал по шее Меланье, чтоб язык прикусила.

Меланья после такого разговора с мужем совсем сникла. Мало того что Филимон метнулся в какую-то чужацкую

веру, так еще и Харитиньюшку завел себе — где только, узнать бы! Одна надежда у Меланьи — Демка. Вот вырастет, подготовится в духовники тайно от Филимона, а там и сама Меланья ко святым мученицам приобщится, как не поправшая святых заповедей Прокопия Веденеевича, с кем только и отведала малую толику бабьего счастьяца.

III

Осенней неисходной желчью налились листья старого тополя. Холодом тянуло с Татар-горы. Птицы сбивались в стаи. Откуда-то из неведомых углов, одна за другой, тянулись длиннущие журавлиные ленты и косяки гусей — летят, летят, и Демка провожает их долгим взглядом — самому бы взлететь за птицами на небо!..

В какой из дней осени Демка почал пятый год своей жизни, он, конечно, не ведал. Он любил играть под тополем с Манькой и светлоголовой Фроськой. Хоть на два года был младше Маньки, а в играх и забавах верховодил — «головастый выродок растет», — отмечал про себя Филимон Прокопьевич.

Под тополем устильно от опавших листьев. Манька выкопала ямку в отвесном яру и пекла из глины с песком пирожки без огня и дров; малая Фроська — по третьему годiku — собирала листья в кучу: горку строила. Демка наломал гибких прутьев тальника, натыкал их вокруг тополя — как будто это единовержцы, и позвал к себе Маньку и Фроську на моленье.

Маньке понравилась новая забава. На колени стали, молятся, а Демка-духовник, спиною к тополю, осеняет единовержцев самодельным крестом из связанных прутьев, бормочет нечто про Суса Христа, про святых угодников, и Фроська, еще не умея креститься, машет ручонкой возле своего пухлого личика и вслед за Манькой и Демкой неловко отбивает поклоны. В два-то годика Демка как крестился! Сам Прокопий Веденеевич хвастался, а у Фроськи не получается — соображенья мало.

— Мань, чо она язык выпехала! — кричит Демка. — Сусе Христе, спаси нас от наважденья, от нечистого, чо не молитесь! — бьет Демка самодельным крестом по гибким прутьям. — А ты, рыжий, из веры в веру прыгаешь! У, анчирхрист! Мякинная утроба! Как вот поддам крестом! Спаси нас боже!

— Дем, а ты кто?

— Духовник.

— Ой, ой! — тарашится черными глазенками семилетняя Манька и быстро крестится. — Как был дедка, ага?

— Сусе Христе, помилуй нас! — дуется Демка. — Сейчас рыжего в геенну огненну пихну. Как поддам!

И Демка поддал одному из прутьев — в сторону отлетел, в геенну, значит.

— Дем, а кто рыжий?

— Не знаешь?

— Тятка, ага?

— Не тятка он! Сатано, сатано! Рыжий сатано! — орет Демка.

А сам «сатано», только что приехав с пашни и не застав Меланью с ребятенками дома, выглянул в окно моленной, распахнул створку и прослушал весь детский лепет новоявленного духовника в холщовых штанишках на ляжке, босоногого, и увидел, как этот духовник бил самодельным крестом анчихриста рыжего, прыгающего из веры в веру, да еще назвал мякинной утробой. Такого поношения Филимон стерпеть не мог. Ему и в голову не пришло, что мальчонка бормочет не свои слова, а мамкины.

«Осподи! Выродок-то куды метит! — тарашился Филимон, готовый выпрыгнуть из окна — до того вскипела ярость. — Ужо в силе я покель. Покажу ужо окаянному!»

Манька с Фроськой все еще стояли на коленях возле тополя, когда подбежал тятка и схватил Демку за ворот рубашонки. Демка остолбенел от испуга, округлил глазенки на рыжую бородищу.

— Кого в геенну, гришь? Каку рыжу бороду?

А тут еще Манька брякнула:

— Это он про тебя, тятя, сатано, грит, рыжий.

— Пшли домой, живо!

Манька подхватила Фроську и убежала.

Таская за собой Демку за ворот, Филимон собрал в пучок наломанные таловые прутья, спустил штанишки с него и голову зажал промежду толстых ног в бахилищах.

— Сатано, гришь? В геенну огненну, гришь? Вот тебе, проклятуший, геенна! В духовники метишь, окаянный? Вот тебе духовник, духовник, духовник! Чтоб не встал, не сел! Не встал, не сел!..

Демка визжал, хватался ручонками за продегтяренные голенища бахил, а таловые прутья, которые он сам же на-

ломал и натывал в землю возле тополя, собранные рыжим чудищем в пучок, будто насквозь прошибали Демкину кожу — дух занялся. Демка звал мамку, но мамка была где-то на огороде, Демка захлебывался собственным криком, тело его дергалось, как у лягушки, и только старый тополь мирно пошумливал своей желтой шубой, роняя наземь широкие листья, и послеобеденное солнце все так же покойно цедило свои прохладные лучи сквозь толстые черные сучья.

Свистят прутья, кровь брызнула, а рука Филимона никак не может остановиться — злоба подхлестывает и разум затмился будто. Может, и не жить бы Демке на белом свете, если бы не раздался голос:

— Доколе, господи! Доколе!

Филимон оглянулся — перед ним бабка Ефимия вся в черном с палкой в руке.

— Эко! — шумно перевел дух Филя, отбросив прутья.

Бабка Ефимия ткнула его палкой в грудь:

— Боровиков?! Ай-я-яй! Под деревом казни казнь вершишь над ребенком? Али мало роду вашему убийства каторжанина? Али мало вам молитв на тополь, под которым убиенный лежит? И будет проклят ваш род, ежели не образумитесь и на жизнь по-людски не взглянете!

— Что несешь-то, старая! — огрызнулся Филя; Демка валялся между его ног, как промежду двух столбов — только вместо перекладки холщовая мотня висела над кудрявой головенкой.

— Изверг! Изверг! Людей позову сейчас. Людей! — наступала бабка Ефимия, смахивающая на черную птицу. Филимон пятился. Бабка Ефимия склонилась над ребенком — по голым ноженькам кровь бежит, от спины до ног все тело иссечено вдоль и поперек. Лежал лицом в землю, не кричал. Тело его подергивалось.

— Убийство вижу! Убийство!

— Окстись, окстись! — Филимон и сам перепугался: не пришиб ли насмерть выродка — беда будет!

— Смотри, смотри, Боровик-разбойник! На кровь смотри! Доколе сами себя изводить будете, господи! Али крови возалкал? Людоедства возалкал? Али не из рода вашего изгой Филарет, яко змий терзавший сирых и бедных? Ларивона вижу! Ларивона!

Филимон топчется под тополем, бормочет нечто невнятное — из ума выжила старушонка! Но если бы он мог пораскинуть своим умом, то увидел бы, что бабка Ефимия—

не просто престарелая старушонка, вся сжавшаяся в комочек, истоптавшая три бабьих века, — она, как и этот распахнувшийся вширь и высь тополь, была еще и живой свидетельницей времен и исчезнувших поколений людей.

Сохранив разум и память, пусть даже с провалами, она не в силах была уразуметь сути происходящего. В неведомом новом поколении видела нечто свое, одной ей доступное, а именно тех давнишних людей, кости которых истлели в земле; она их видела, помнила их дела, и каждый раз, когда свершалось насилие, припоминала именно то, что было ей известно, возмущалась в меру сил и разума и строго судила живых, новых и неведомых, мерою того суда, какой свершился на ее памяти над исчезнувшими поколениями. Явственно видела в рыжебородом чудище Ларивона Филаретыча, убийцу родного брата, в могилу которого вбит был тополевый кол; видела тупых и до одури жестоких апостолов Филаретовых, душителей кудрявого Веденейки, — да уже не Веденейка ли кудрявый на ее старческих руках сейчас?

— Веденейку вижу! Веденейку, богородица пресвятая! Унесу сейчас. Унесу! Да пусть разверзнется земля под тобою, Ларивон, сын Филаретов!

— Чаво бормочешь-то, осподи прости!

— Не простит господь, не простит! Убивства не прощаются! Земля, оскверненная кровью человеческой, кровью же и омывается!

Демка опамятовался — всхлипнул раз, другой; тело его конвульсивно передернулось. У Филимона отлегло от души — живой! «Экая у меня рука чижолая, Исусе Христе!» А вот и Меланья бежит в подоткнутой юбке. Задержалась на миг, глядя на сына на руках старухи, кровь увидела на теле Демки и, коротко взвизгнув, как росомаха с дерева, кинулась на Филимона, вцепилась ему в бороду. Все это произошло так быстро, что Филимон не успел уклониться. Рвет, рвет бороду, восставшая рабица господня.

— Окстись, окстись! — бормочет Филимон. — Опамятуйся! — А борода трещит, ажник слеза прошибла. Ударил Меланью в ухо — удержалась за бороду. На губах пена выступила, глаза дикие, распахнутые, лицо перекосилось. Филимон зажал ей ладонью рот и нос и тут же отдернул руку — мякоть ладони прокусила. И все это молча, будто Меланья лишилась языка. Такою рабицу Филимон впервые видел и не в малой мере трухнул. Если умом рехнулась —

беды не оберешься. Ребенка изувечил, скажут, и бабу из ума вышиб.— Осподи, осподи! Опомятуйся, грю!

А тут еще бабка Ефимия подкинула:

— А, разбойник! Каково? На всякого зверя — волчица сыщется.

Голос бабки Ефимии дошел до сознания Меланьи, и она вдруг обрела дар слова:

— Сатано ты, сатано треклятый! Ребенчишка мово в кровь избил, лихоимец!

Вырвав руки из лап Филимона, Меланья царапнула его по пунцовому лицу своими черноземными ногтями — кровцу добыла. Рубаху разорвала до пупа.— Асмодей, асмодей! — кричит.— Топором зарублю! Грех на душу возьму — зааарууублюу!

— Экое! Экое! Ополоумела!

— Сааатааанооо!

Филимон оторвался-таки от взбешенной жены и прыгнул в сторону, за тополь, припустив по чернолесью — только сучья трещали под ногами.

Меланья запричитала:

— Исусе, за-ради каких мучений тою я на свет народилась! Али мыкаться мне до смертушки, аль бежать куды, господи!

Черные пытливые глаза бабки Ефимии глядели на Меланью с великим сожалением и земным спокойствием. Сколько она, Ефимия Аввакумовна, повидала за свою жизнь слез рабиц господних, немало выплакала своих, обретая понимание людей; на всякую всячину нагляделась, а все-таки одного не уяснила: с чего это люди изводят друг друга?

— Не реви, бойкая! — строго сказала бабка Ефимия. Демка жался к старушонке, перепуганный дракою матери с рыжим тятькой.— Ты чья будешь? Из Боровиковых? Или у Боровиковых?

— Про што вы?

— Из Боровиковых или у Боровиковых живешь?

— Дык у Боровиковых.

— Кажись, у тебя ребенка принимала?

— У меня.

— Да ведь я девчонку приняла, помню.

— Девчонку.

— И этот твой?

— Мой. Сиротинка несчастная.

— Разве не мужик тебе этот, рыжий?
— Мужик. Сатано треклятый.
— Как его звать-то, запомятовала. На Ларивона за-
похаживает.
— На какого Ларивона?
— Боровикова. Сына Филаретова.
— Не слыхивала про Ларивона.
— Да тебе-то сколь годов? Звать-то как?
— Меланья. А годов мне за двадцать пятый три месяца
прошло.

— Богородица пресвятая, как мне было на Ишиме, ког-
да пришел к нам человек светлый и разумный, в цепи зако-
ванный, Александра Михайлович! Время-то сколь минуло!
Ноне-то двадцатый год исходит нового века, а с кандаль-
ником свиделась в тридцатом старого века. Время-то, вре-
мя!.. Стара я, стара! Доживу ли я до дня светлого, когда
люди не будут терзать друг друга! Доколе же, скажи, со-
вести каменной быть, а разуму гнатым?

Меланья не понимала, о чем толкует старуха в монашес-
ком черном одеянии и отчего она так пристально устави-
лась на нее?

— Не ведаю, про што говоришь, бабушка.

— Кем взростишь сына, скажи: мучителем иль спаси-
телем? Если так вот будете терзать его, попомни мои
слова, мучителя взростите. И будет он казнить правых и
виноватых, как секли его до крови. Ишь как иссечен!

Меланья пожаловалась, что муж ее, Филимон Прокопье-
вич, невзлюбил ребенка и потому изводит его денно и
нощно.

— Так и сбудется,— вздохнула бабка Ефимия.— Мучи-
теля взростите.

— Духовником он будет. Клятва такая на нем.

Ефимия вздрогнула и посмотрела на Меланью взыски-
вающе-строго:

— Каким духовником?

— Нашей веры, тополевой. Как от крещенья тополе-
вец.

— Ведаешь ли ты, что глаголешь? Матери ли говорить
такие слова? Духовник у старообрядцев, как и поп в церкви,
чтоб блуд покрывать блудом, невежество — невежеством,
дикость — дикостью и чтоб люди до скончания века уто-
пали во мшарине невежества! А ежели парнишка твой ста-
нет потом духовником, каким был Филарет?

— На святого Филарета молимся, как прародителя нашего.

— Нечисть-то! Нечисты! Еретичество! — рассердилась бабка Ефимия, подымаясь от тополя, где она сидела.

Демка чего-то испугался, отполз от старухи, подобрал свои штанишки с болтающейся лямкой. Меланья кинулась к нему и подхватила на руки.

— погоди! погоди! Сказать тебе надо, женщина, — остановила ее бабка Ефимия. Имя Меланьи успела забыть — так резко рвались нитки в памяти. — погоди! Ты вот сказала, чтоб он, сын твой, стал духовником, каким был Филарет. А ведаешь ли ты, мать сына своего, каким был Филарет-мучитель? Да ежели он взрастет Филаретом — много крови прольется! Много будет несчастных, как ты вот сейчас! Знаешь ли ты, какую казнь учинил над моим телом и духом Филарет-мучитель? Как удавили под иконами сына мово, Веденейку кудрявого, Филаретовы апостолы? И крик был, и вопль был. Вопила я, видит небо, да не внял моим воялям ни Иисус Христос, ни отец, ни дух святой, ни сам Филарет Наумыч. Скажи же...

Меланья не стала слушать — Демка плакал от боли — на руках сидеть не мог.

— Чой-то вы пристали ко мне, бабка? Самой тошно. Голову не знаю где приклонить, а вы говорите всякое.

И ушла.

— Нету прозрения, вижу! Тьма пеленает людей, — сказала вслед Меланье бабка Ефимия.

...Все это время, после того как дом Ефимии в прошлом году сожгли белые, а люди метались в схватках друг с другом — красные с белыми, белые с красными, бабка Ефимия, покинутая всеми, нашла себе пристанище в старообрядческом женском скиту в Бурундате, куда Меланья отвезла хворую сироту Апроську. Но и в Бурундате у монашек не прижилась мятежная старуха — попраля старообрядческий устав, объявив его еретичным, и добиралась теперь до Минусинска в поисках своих дальних родственников. По пути в Минусинск заехала в Белую Елань, чтоб поклониться могиле Мокея Филаретыча — старому тополю, и тут застала зверство — избиение ребенка.

И подумалось Ефимии: не от того ли в мир приходит жестокость, что люди, терзая друг друга, сами не зная того,

пророждают изгоев, а не праведников? В любви рожденный, без любви возвращенный — кем будет? Зверем.

Погостила бабка Ефимия у тополя, вороша свои древние мысли и столь же древние видения, и пошла по стороне Предивной в поисках приюта на ночь.

Боровиковых минула — чуждые люди...

IV

Была ночь. И была тьма.

Черная осенняя тьма за окнами под тополем. И черная тьма на душе Меланьи.

Рабица господня отстаивала всюнощную молитву перед иконами, чтоб настало прозрение.

Молилась, молилась.

Мерцали у древних икон три свечечки.

Рядом с Меланьей лежал топор.

Филимон знал, зачем Меланья взяла топор и держала его под руками, а потому и удалился в горницу, где проживала квартирантка, Евдокия Елизаровна.

Квартирантка три дня как уехала в казачий Каратуз.

Филимон не знал, что в Каратузе, в Арбатах и в Таштыпе восстали казаки.

Уезд будоражился. Партизаны крестьянской армии Кравченко и Щетинкина ушли в Ачинск и Красноярск, а белые, улучив момент, подняли казаков...

Филимону намылила шею гражданка. Глаза бы не глядели ни на что в эком круговращенье.

Меланья молилась, чтоб святые угодники надоумили, как ей спасти возлюбленное чадо — сына Демида, чтоб не быть клятвopреступницей перед убиенным Прокопием Веденевицем.

Молитва на измор тела — тяжкая, а голоса видений тихие и внятные, из уст в ухо будто.

Меланье послышался голос Прокопия:

«И сказано, исполни волю мою: быть Деомиду духовником. Пушай ярится мякинная утроба, а ты будь твердой, каменной и обретешь силу. Вези к праведницам в Бурундат Демида, куда отправила в храмов праздник сироту Апроську, и попроси игуменью Пестимию, чтоб обучили чадо читать Писание, службы править и чтоб не опаскудился он среди нечистых, которых везде много. В обители будет ему

спасение. Пушай не даст корову Филимон для Апроськи, а ты отрой мой клад и возьми с собой долю и отдай Пести-
мии — ребенчишка примут и благодать будет».

— Слышу, слышу! — воскликнула Меланья. Детишки не проснулись от ее голоса. Демка спал на животе и во сне постанывал — на спину не мог перевернуться.— Слава Христе, слава Христе!

Утром Филимон собрался и уехал на пашню с двумя поселенцами — молотья подоспела.

— Оставляю Карьку,— сказал Меланье вскользь, глядя куда-то в сторону.— К обеду чтоб привезла молотильщикам снеди, да не забудь, накопай в огороде картошки. Молитвами хлебушка не омолотишь!

Меланья ничего не ответила. Но как только закрыла ворота за Филимоном, поглядела туда-сюда по ограде, взяла заступ и топор и пошла в баню.

Помолилась на закоптелую иконку.

Убрала пустую кадку, вывернула топором три половицы и стала копать. Как говорил покойник свекор, Прокопий Веденеевич,— наискосок под угол бани. Заступ ткнулся в камни. Убрала камни руками. Под камнями, обложенные шерстью со всех сторон, два берестяных туеса.

Достала один — замшелый, отсыревший, с налипшей шерстью. В бане было сумрачно, и она вынесла туес в предбанник. Выглянула — нет ли кого на заднем дворе и в ограде? Никого. Крышка туеса не поддавалась — разбухла и будто впаялась в бересту. Выбила ее топором. Оказывается, гвоздями была прибита по кромкам туеса. Сверху слой слежавшейся шерсти — для чего, не понимала. Под шерстью холщовый положек, а под ним пачки, пачки, пачки николаевских денег в бумажных банковских перевязях, и все крупные бумажки, золотом когда-то обеспечивались. По виду пачек — деньги не были в обращении. Будто покойный Прокопий Веденеевич получил их из рук в руки от самого помазанника божьего, самодержца российского Николая Второго.

Меланья знала, что в этот двадцатый год Филимон платил налог еще николаевскими, а керенские и колчаковские и всякие губернские боны не принимали в Совете.

Под пачками николаевских — четыре золотых кольца, два толстых из червонного золота, обручальных, а два с камнями — из дорогих, должно. Два золотых крестика на тонких цепочках. На чьих шеях висели эти крестики — кто

знает; Меланья о том не подумала. Четыре золотых серьги с камнями — из чьих ушей, знать бы! Ах, какие сережки! Вот если бы тополевая вера не была столь строгой к женщине — можно было бы носить в ушах серьги, золотые кольца, как бы Меланья могла нарядиться! Вот диво-то — к чему тытенка накупил серьги и кольца, с какими хаживают никониановские срамницы! Должно, получил от каких-то богатых пассажиров во время ямщины. Сколь ямщину-то гонял!.. И пачками николаевских платили, должно, и серьгами с кольцами, и крестиками — и кресты анчихристовой печатки.

Серебряные рубли и полтинники — много, много, много. Выгребла из туеса, отложив к пачкам и золотым безделушкам. Под серебром —

золото

золото

золото

золото

золото!!!

И сразу, в тот же миг, сатано лягнул Меланью своим раздвоенным копытом — затряслась, как в лихорадке. Торопится, торопится, оглядывается, а в пальцах, в трясущихся пальцах —

золото

золото

золото

золото!!!

Испугалась чего-то, накрыла сокровище жакеткой, выскочила из предбанника — никого, ни души! И бегом обратно, к сокровищу. Выгребла в кучу золото — много-много. А сколько? Считать не умела. Знала только дюжину — двенадцать. Вся превратившись в слух, поспешно раскладывала золотые на кучки по дюжине монет в каждой. Спешила, путаясь в счете, снова пересчитывала; двенадцать дюжин и еще семь золотых к ним. Серебро и бумажные не стала считать — ума-то сколько надо! Писарь, может, не сосчитает!..

БОГАТСТВО

БОГАТСТВО!..

Перевела дух, помолилась, сидя на корточках.

— Сусе! Сусе! Спаси мя! — бормотала себе под нос, поспешно складывая сокровища в туес в том порядке, как было

удожено когда-то Прокопием Веденеевичем. Крышку закрыла и забила ее топором. Опомнилась — с чем же поедет в скит, в Бурундат к монашкам! — Господи! Господи! Из ума вышибло. Из другого туеса возьму ужо. Из другого. Богатство-то экое, господи!..

БОГАТСТВО

БОГАТСТВО!..

Отнесла туес на прежнее место, вытащила другой, а этот обложила заплесневелой шерстью и сверху камнями. Быстро. Быстро, как будто сатано подстегивал копытами. В момент закопала, половицы наладила, кадушку поставила и еще раз присмотрелась, не видно ли, что половицы подымались? Нет как будто. Вышла со вторым туесом в предбанник. Так же выбила крышку топором. И тут сверху шерсть и холщовый положек. Серебряные деньги сверху — от пятиалтынного до рублей, и золотые часики на золотой браслетке. Точно такие же, как были у Дарьи Елизаровны. Сама тот раз на ладони держала. Золотые часики! Малюхонькие. К чему тятенька купил экие часики? Не понимала.

Выгребла серебро, а потом насыпала на шаль золото — золото — сияющее золото! Куски от солнца будто. Как же оно взбудораживает душу — будто силы прибавило Меланье.

— Господи, господи! Богатство-то какое! Ах, Демушка! Счастье твое, — бормотала себе под нос, и нечто неприятное мутило душу. — Ужли все отдать сыну? Самой ни с чем остаться! Господи! Али я не заробила у тятеньки? — подумалось. — Али не со мной втайне жил и в рубище Евы пред образами ставил! Господи! Демид может и на ветер пустить экое богатство. Исусе, спаси мя!..

Разложила кучки дюжинами. Четырнадцать дюжин золотых, а в каждом золотом — десять рублей. Сколько же это? «Ой, вного, одначе! Четырнадцать дюжин! Кабы счет знать, господи!»

На поездку в Бурундат отложила шесть дюжин и золотые часики с браслеткой. Остальное все сложила обратно, как и в первый туес. Заколотила крышкой. Подумала: шесть дюжин! А в каждой дюжине двенадцать золотых, а в каждом золотом — десять рублей. Шевеля губами, пальцами, считала, считала — и не сосчитала.

— Исусе! Шесть-то дюжин вного, одначе. За сто рублей золотом тятенька купил пару рысистых жеребят у Ме-

телина. А сто рублей это — это скоко же золотых надо?

И опять считала. В одном десять, да еще десять — двадцать. Десять рублей — десять по десять...

Испугалась:

— Господи! Всего десять золотых за два рысака! Дюжины нету! Сусе! А я шесть дюжин монашкам. Подавиться им. Ишшо подумают, что у меня вного золотых. Власти донесут. Господи! Дык часы ишшо. Подавиться им! Демка-то, поди, робить будет в скиту.

Оставить при себе лишние золотые не решалась, а вдруг, не ровен час, увидит мякинная утроба?

Еще раз открыла туес и две дюжины золотых положила обратно — взяла четыре. А какая сумма?

— Вного, одначе. Ну, да за Апроську, а так и за Демида, штоб духовником стал.

Успокоилась.

— Мааамкааа! — раздался голос Маньки.

Меланья до того испугалась голоса дочери, что животом легла на туес, будто дочь вошла в предбанник, а не кричала откуда-то от дома.

— Маааамкааа! Маааамкааа!

— Окаянная! — одумалась Меланья и, накрыв жакеткой туес, вышла из предбанника.

— Чаво орешь?

Манька кричала с крыльца.

— Демка плачет. Спина, грит, шибко болит. Ой-ой, как болит.

— Скоро приду. Ступай! Сиди с ним. Молока дай. Сметаны набери из кринки.

— Дык пост ноне.

— Для болящего... Ладно, не давай молока и сметаны. Меду дай из кладовки. Да мотри — не жри сама! Не из кадки бери, а из большого туеса. Нет, не из туеса. Из корчажки возьми. С сотами. И себе с Фроськой положи маненько на блюдечко. Мотри! Маненько возьми. Космы выдеру, ежли нажретесь. Золотуха будет. Ступай!

Распорядилась с Манькой и вернулась к сокровищу. Куда же деть туес? Ямку-то зарыла. Вот еще наваждение нечистой силы — из ума вышибло.

— Дык чо их в одно место закапывать? — подумала, круто сводя тонкие черные брови.— Вдруг чо приключится — не дай господи! В другое место зарю.

Куда же? Пораскинула умом. А что, если в омшанике?

Нет, нельзя. Тятенька туда бы не спрятал — омшаник-то новый, перед войной поставили. В овчарню лучше. На месте овчарни была когда-то старая конюшня. Самый раз. Унесла туес в жакетке, будто дитя возле груди, сыскала место в пустующей овчарне — овцы нагуливались в мирской отаре; выкопала ямку на полтора аршина глубины под стеной в углу на закат, поставила туда туес. Да ведь туес-то надо шерстью обложить, как было. Тятенька, поди, знал! Золото, как живое тело, иначе, тепло любит, холить надо. Уходит в землю, слышала, если человек недобр и небережлив. У бережливых золото, как хорошая баба, само пухнет; у ротозеев и простофиль — само себя изводит и уходит. А Меланья не хотела, чтобы оно исчезло. Золото за малый час жизни будто прошло сквозь ее сердце, и само сердце отяжелело, как туес вроде. Насытилось.

Сбегала под завозню, где на деревянных решетках проветривалась шерсть летнего настрига. Набрала охапку и укутала туес со всех сторон, с банной каменки притащила камней, придавила туес сверху и зарыла, притоптав землю.

Место трижды перекрестила.

— Спаси Христе!

Здесь ее клад, Меланья Романовны, дщери скопидома Валявина, младшей сестры завидуших скопидомок Белой Елани — Аксины Романовны, Авдотьи Романовны, Екатерины Романовны. Одна из сестер, Авдотья Романовна, побывала в замужестве за прискателем. Однажды муж вернулся с фартового места, застал жену с другим, собрался навсегда покинуть блудную бабу, но Авдотья Романовна, похитив у него золото, предварительно напоив сивухой, отрезала сонному бритвой нос. Чтоб не про золото вспомнил опосля похмелья, а про нос! Так-то надо выдирать у простофиль богатство — хитростью!..

Теперь надо скоренько собраться и ехать с Демкой в Бурндат. Как же быть с Манькой и Фроськой? Одних не оставишь. Надо найти единоверку на неделю, чтоб доглядывала за домом и ребятишками. Филимон, конечно, расвирепееет. Пушай! У Меланьи теперь сила — золото! А за золото она и черту глаза выдерет и нос отрежет, как сестрица Авдотья.

Единоверку сыскала. Собралась. Взяла на дорогу хлеба, масло в туесе для Апроськи и меду большой туес для монахинь, чтоб не ругались шибко. Демкины вещички сложила в мешок, запрягла ленивого Карьку в телегу, кинула две

охапки сена, выехала за ограду, вернулась за Демкой, еще раз помолилась в избе, и к телеге.

— Спаси Христе!

— Спаси Христе! — ответно поклонилась Меланья еди-
новерка.

Поехали.

v

В Таяты, в Таяты, в Бурундат!..

Я поеду в Бурундат,
В Бурундат, в Бурундат!
Богу молиться,
Христу поклониться...—

распевал тонюсеньким голосом Демка. Он едет в Бурундат, в Бурундат! И не будет терзать его рыжая бородаща — сатано! Демка вернется из скита духовником и вытурит рыжего в геенну огненную!..

К ночи приехали в большое кержачье село — Нижние Куряты.

Здесь живут старообрядцы-даниловцы и стариковцы; как и в Таятах — разные ветви от распавшейся Филаретовой крепости. Люто прикипели к земле — не выдерешь никакой силой. Дома ядреные, солнцем прокаленные; мужики бородатые, бабы все брюхатые, оттого и ребятенек полным-полно в каждом доме.

Справно живут.

Пришлые лентяи и обжимщики, чтоб пожить на чужой счет, в Нижних Курятах не задерживаются.

Меланья отыскала избу старовера и попросилась на ночлег. В избу вступила по уставу: «Спаси Христе чад ваших!» И ответное: «Спаси Христе и вас помилуй!» — с поклонами, без суетности и праздных слов. Староверы не выпрашивают — куда едешь, зачем едешь. Если пустят в дом, не преступай положенных пределов, не мешай хозяевам, не паскудь ни дома, ни стола, ни углов, не вскидывай завидующие глаза на амбары и клетки, на скотину-животину — в шею получишь.

Хорошо!..

Меланья с Демкой устроились в уголке, чтоб никому не мешать, поужинали своей снедью — пили свою воду из своей посуды, ели из своей посуды и улеглись на свое барахло.

Чуть свет Меланья заложила Карьку в телегу, вынесла на руках сонного Демку, поблагодарила за приют хозяина с хозяйшкой и поехала дальше в Верхние Куряты.

Верхние от Нижних ничем не отличаются — тот же русский дух и той же Русью пахнет.

Коня покормили на берегу Кизира. Демка бегал возле реки, радовался, как будто и не был бит смертным боем; детское тело забывчиво.

Мать всю дорогу наговаривала сыну, как кротко и послушно надо держать себя перед матушкой-игуменьей, чтоб она не отказала принять его в скит на возрастание и ученье.

Солнце скатилось за бурую гору, как за медвежью спину; шерсть на медведе вспыхнула в багровом зареве.

Приехали в Таяты. Село большое, размашистое, по берегу Кизира, и с такой же старообрядческой строгостью нравов и обычаев, как и в двух Курятах.

Дома крестовые, заплоты все тесовые.

Община крепчайшая, какой не сыщешь во всей России — прадеды вышли из Поморья в поисках обетованного Беловодьюшка. Дошли до края земли, в места, известные в ту пору зверю и птице. Рыбы в порожистой реке сколь хошь, зверя много, лесу красного — море разливанное, пашни по взгорьям славные — земля сытая, травы по лугам в пояс.

Живи не тужи!

Пришлых с ветра не принимали.

Пришлому — ни здравствуй, ни прощай; единовецца — душевно привечай и ворота открывай.

Меланья с Демкой переночевали в доме единовецца, утром помолились, хозяину с хозяйшкой поклонились, Христа добром помянули и за порог нырнули, как говаривают при-словьями в этих местах.

Утро выдалось с мороком — туман чубы вскидывал над Кизиром и лохматыми Саянами.

До Бурундата шесть верст, и все горою.

Тянигус, тянигус, гянигус. Как будто пузатый Карька тащил телегу на небушко.

По берегу малой речушки, шириною в шаг, возле румяных сосен, на обширной елани три домика за частоколовою оградой — женский скит. Шагов за полсотни — еще две избы за забором из жердей — старцы живут, пустынники.

Меланья привязала Карьку у столбика для приезжих, наказала Демке, чтоб он не слезал с телеги, накрыла его

шабуром, помолилась на иконку на столбу ворот, прошла в ограду. Кругом порядок, чистота. Три амбара, поднавес с машинами, конюшня, коровник, овчарня, колодец с колесом и с ведром на крышке колодца, за амбарами — большущий огород, обнесенный тыном, баня в огороде, а там, еще дальше, — синие горы.

В крайнем домике у сенной двери — колокольчик. Меланья позвонила и, насунув черный платок до бровей, подождала, когда вышла послушница-белица, еще не принявшая пострижения в монахини.

Обменялись староверческим приветствием.

— К матушке-игуменье?

— К ней. Спаси Христе.

— А! Я вас узнала. Меланья из Белой Елани? В храм праздник вы привезли к нам девушку, Апросинью.

— Привезла. Привезла.

— Плохая она. Совсем плохая. Скоротечная чахотка у ней. Если бы вы привезли осенью, может, спасли бы. Теперь поздно. Как свечечка догорает.

— Спаси ее душу, господи!

Белокурая красивая девушка, заблудшая в миру овца, Евгения, дочь колчаковского полковника Мансурова, где-то летающего с бандой по уезду, сама похожа была на догорающую свечечку: тоненькая, белолицая, вся в черном по обычаю скита, так кротко и покойно смотрела на Меланью своими большими серыми глазами, как будто ей было известно, что жить и ей осталось мало, — и она сгаснет, отойдет в иной мир, и там кому-то пригодятся ее начитанность и влюбленность в небо. В ее голосе не было скорби по догорающей Апроське, а скорее радость — отмучается, несчастная, и на небеси возликует среди ангелов.

VI

Белица отвела Меланью в отдельную залу для приезжих — комнатка с двумя окошками, с двумя лавками, голым столом, с иконами в переднем углу и с русской печью на пол-избы — здесь же и пекарня для обитательниц скита.

Куть была отделена от залы ситцевой занавеской. Обволакивающий запах свежеспеченного пшеничного хлеба успокоил Меланью, и она, поджидая игуменью, крестясь на темные лики икон, обдумывала, с чего начать приступ

к игуменье — шутка ли, в женский скит мальчонку привезла, да еще с коровой обманула!

Вошла игуменья Пестимия, строгая старуха в черном одеянии, как лодка, проплыла мимо Меланьи. За нею белица Евгения. Пестимия помолилась, а белица тем временем застлала лавку черным плюшем, и тогда Пестимия села возле стола. Посмотрела на Меланью, отбивающую поклоны на коленях.

— Встань.

Меланья поднялась.

— Корову привела?

— Дык-дык белые-то забрали Апроськину корову. Хозяин мой возвратился из пропащих, Филимон Прокопьевич. В чужую веру прыгнул. Белой Церковью прозывается и согласьем, грит.

— Австрийское согласие?

— Согласие. Согласие.

— Ну, а корова-то тут при чем? Ты же привезла девицу и сказала, что к осени приведешь корову. Белых с зимы нету. Ты же ничего не говорила про белых, когда привезла в мой скит болящую?

— Дык хозяин-то — мужик мой — осатанел в чужацкой вере. Тополевый толк наш отринул. Меня смертным боем бил и ребенчишка — малого парнишку — забил насмерть. Привезла вот.

— Кого привезла? — строжела Пестимия, перебирая в пальцах черные четки на шнурке.

— Дык ребенчишка. Сына мово, Демушку.

Игуменья выпрямилась на лавке, положила кисти рук на черное одеяние, обтягивающее ноги до полу, посмотрела на Меланью так сердито, что та снова бухнулась на колени и крестом себя, крестом с поклонами, не жалея лба, стукнулась в половицы, выскобленные до желтизны.

— Зачем ты ребенка привезла? Показать?

— Дык, осподи! — к вам привезла: смилуйтесь за-ради Христа, матушка!

Игуменья рассердилась:

— Ты никак умом рехнулась?

— Осподи! Осподи! Ма-а-атушка! — завопила Меланья, падая на колени. — За-ради Христа!

— Да встань ты! Чего воешь? Как будто я не понимаю вашей кержачьей хитрости! Ох, господи! Спаси и помилуй. Когда же вы прозреете, сирые! Когда же вы вспомните про

господа бога, сына человеческого и святого духа! Когда же вы поймете, что входить надо к богу тесными вратами, потому что широкие врата и просторный путь ведут к погибели. И ты... как тебя звать? Меланья? Да встань же ты, наконец.

Меланья поднялась.

— Ну так вот: ты надумала еще в храмов день обмануть меня с коровой. А к обману вел широкий путь и широкие врата моего доверия. А теперь корову белые забрали. И ты все это говоришь перед образами? Ты обманула не меня — господу бога! Может, разговаривала с еретичкой Ефимией, коя проживала у меня с год, натворила паскудства, оплевала святую обитель и ушла. Виделась с Ефимией? Она же из Белой Елани.

— Дык-дык-дык...

— Виделась! Так и есть!

Игуменья поднялась — взгляд, карающий грешницу, пальцами сжала черные четки.

— Вот что, Меланья. Обманувшая обитель — не достойна быть и малый час в ней. А на парнишку твоего смотреть нужды нету — здесь женский скит, не мужской. Или ты не в своем уме?

— Клятва на нем, мааатушкааа! — завопила Меланья, снова бухнувшись на колени. — Тайная клятва на нем! Слово с меня взято, мааатушкааа!..

Игуменья задержалась, соображая, о чем бормочет баба, спросила:

— Какая еще «клятва»?

— Дык-дык колды помирал убиенный...

— Убиенный?

— Допрежь сказывал...

— Вразуми меня, господи, понять эту женщину! — взмолилась игуменья Пестимия. — О чем ты бормочешь?

— Дык клятву взял с меня духовник в бане — батюшка наш, Прокопий Веденеевич...

— Тот греховодник, которого клянет Елистрах?

— Дык сказал мне он до гибели своей: «Ежли, грит, сгину, то отдай Дионида в скит праведнице Пестимии на возрастанье, чтоб грамоту узнал, Писанье мог читать, службы править по нашей тополевой вере. А на то дело, грит, клад завещаю — четыре дюжины золотых и часы ишшо»...

Да простит господь Меланью! Она успела окончательно

уверовать, что покойный Прокопий Веденеевич завещал клад не Демиду, а только ей, Меланье, а из того клада — четыре дюжины золотых да часики для Демида... А все, что в туссах — для нее, только для нее, рабицы господней! Это она сама скопила золото. Сама. Сама! Сама ямщину го- няла. Сама. Сама! В туссах ее золото, ее золото!..

Игуменья подумала:

— Тебя мучает какая-то тайна?

— Мучает, матушка. Мучает. Про парнишку сво- во. Про Демушку.

Игуменья кивнула белице-послушнице, и та вышла за двери.

— Поклянись перед создателем, что говорить будешь только правду.

Меланья поклялась, наложив на себя тройной крест.

— Говори.

Пестимия вернулась на лавку.

— Дык мужик мой — ирод, сатано, отринувший нашу праведную веру...

— Тополевый толк — греховный, — укоротила Пести- мия. — В чем твоя тайна, говори!

— Дык Филимон-то — мужик — изводит ребенчишку мово, Демушку.

— Изводит? Почему?

— Дык как по тополовой вере народился...

— При чем тут ваша топовая вера! Не понимаю.

— Дык-дык радела я с духовником...

— С духовником? С каким духовником?

— Дык-дык с тятенькой, со Прокопием Веденеевичем, как со праведником.

— Как «радела»? Говори же ты толком!

— Дык во стане сперва, когда Филимон во тайгу убер от войны той. Хлеб убирала со свекром, и явленье было ему: матушку свою во сне узрил, и она сказала, чтоб он тайно радел со мною, и радость, грит, будет, и у меня народится сын потома.

— Что? Что? — тарашилась игуменья. — Спала со свек- ром, что ли?

— Во стане сперва, а потом дома. В рубище Евы зрил меня, — лопотала Меланья, и ни искорки стыда не было в ее карих, спокойных, как у коровы, глазах.

— Господи! — Пестимия осенила себя крестом. — Так ты парнишку родила от свекра?

— От духовника, матушка.
— Так он же твой свекор?
— Ежли по мужику...
— Помилуй меня! Кем же еще может быть свекор, как не отцом твоему мужу. Ты хоть в грехах-то покаялась?

— Дык пошто? Как по нашей вере...
— Какая вера?! Дикость! Преступность-то! Сожитие со свекром — отцом мужа твоего, это же тягчайший грех, женщина! Судить за то надо, судить! Не божьим, а мирским судом. Бог осудил вас в ту же ночь, как вы позволили себе экий срам. О, господи! Слышишь ли ты! В тюрьму бы тебя со свекром!

— Дык-дык батюшка-то сказывал — святой Лот со дщерями своими, грит...

— Тьфу! Тьфу! Тьфу! — плевалась Пестимия.— Как же мне с тобой разговаривать, грешница, если ты и греха-то не видишь, когда по уши утопла в грязи и блуде?! Слыхано ли, господи!

— Дык-дык разе я одна тополевка. В Кижарте вот — али вот суседка моя такоже радела с батюшкой и двух дитев народила.

— Господи помилуй, в полицию бы вас! В полицию! Да плетями бы вас, плетями, плетями! Видел царь...

Игуменья осеклась на слове — что поминать царя, когда его пихнули вместе с престолом!

Меланья, не уразумев, за что на нее гневается матушка Пестимия, сказала:

— Дык царь-то не видел. Не было его в стане, когда мы с тятенькой...

— Тьфу, тьфу! Замолкни! Дура ты, что ли, в самом-то деле! И этот ребенок жив?

— Дык привезла к вам, матушка.

Игуменья всплеснула руками:

— Богородица пресвятая, слышишь?! Она привезла ко мне своего выб...— Пестимия не выговорила слово — подавилась. Четки в ее пальцах пощелкивали, будто черт стучал копытцами, танцевал от радости, созерцая нераскаившуюся грешницу.— О, господи! На старости лет слушать такое...

Игуменья примолкла, а Меланья все так же глядит на нее своими коровьими глазами, ждет милости.

— Что же он завещал тебе, этот блудник и преступник?! И нет ему отпущения грехов!.. Что он завещал?

— Дык-дык сказал на остатность — мучился от плетей шибко.

— Так его все-таки драли плетями? — обрадовалась игуменья.

— Драли, матушка. Шибко драли казаки...

— Слава Христе, — помолилась игуменья. — Ну, и что он завещал?

— Оставляю, грит, шесть дюжинов золотых на возрастанье Диомида. Четыре, грит, отдай матушке Пестимии, шток грамоте обучали в скиту и шток опосля стал духовником, как я...

— Господи! Нераскаившийся пакостник завещал блуднице, чтоб она на замену ему вырастила еще одного снохача. И она, грешница, привезла в мой чистый скит во грехе и блюде рожденного и просит... Нет, не могу! Сил лишусь, господи!..

VII

Игуменья надолго примолкла.

Четыре дюжины золотых? О чем бормочет нераскаившаяся грешница?

— Господи! И ты еще жалуешься на мужа своего! Да тут и сам святой растерзал бы тебя, блудница!..

Но — четыре дюжины золотых! Это сколько же? Сорок восемь? Чего сорок восемь? Да ведь она сказала — шесть дюжин. Сперва четыре, а потом шесть. Ох, грешница! Можно ли верить такой грешнице? Пред иконами лжет и не раскаивается!

— Про какие шесть дюжин говоришь?

— Про четыре, матушка. Часы ишшо.

— Ты же сказала — шесть дюжин?

— Дык-дык-дык четыре, матушка. Для скита. Часы ишшо.

— Ты, я вижу, скрытная и жадная. На свое и на чужое добро жадная. Врешь ты богу и мне. Вижу то! Покарает тебя господь, ох, как тяжело покарает. И не искупишь потом свой грех никакими дюжинами, грешница!.. Где эти дюжины и часы?

Меланья показала себе на грудь:

— Тута.

— Покажи.

Сверток в старом платке засунут был между грудей. Меланья достала и протянула матушке Пестимии.

— Встань и сама развяжи на столе.

Развязала. И вот оно — золото

золото

золото

золото!..

И золотые часики на золотой браслетке с камнями. Игуменья взяла их с платка, разглядывала на вытянутой руке.

— Чьи часы?

— Дык батюшки.

— Такие часы покупают только богатые барыни за большие деньги. Кому он купил часы, старый грешник?

— Дык не покупал... в ямщине заробил, грит.

Золото сверкает на темном платке — сатано скалит зубы, радуется, совращает непорочную святую Пестимию, чтоб спеленать с грешницей Меланьей. Сорок восемь зубов выставил. А все ли они здесь, сорок восемь?

— Четыре дюжины?

— Как есть четыре. Хучь сосчитайте, матушка.

— Не вводи во искушение! Господи меня помилуй! Так что же ты хочешь?

— Чтоб малого мово, Демушку, взяли от погибели. Ирод-то, Филимон Прокопич, прибьет его, истинный бог!

— Не ирод муж твой, а святой мученик, если до сей поры не пришиб тебя насмерть за такое паскудство! Господи! Как же мне поступить с этой грешницей?

— Смилостивьтесь, мааатушкааа!..

— Молчи. Я помолюсь.

Считая четки, Пестимия долго молчала, читая про себя молитву, чтоб не ввел ее нечистый во искушение.

Сорок восемь золотых десятирублевиков лежали на платке. И часики. Редкостные заморские часики. Любая барыня за такие часики... Ах, господи! Остались ли в городе барыни? Ну да золото всегда останется золотом, и — часики...

— Ты же сказала: шесть дюжин завещал грешник?

— Дык-дык батюшко-то сказывал: четыре дюжины, грит, в скит отдай, штоб малого взяли учить Писанию. А две дюжины — штоб опосля ученья хозяйством обзавелся. Ить Филимон-то Прокопьевич ничаво не даст Демушке из хозяйства. Вот те крест! Не даст.

— Не накладывай на себя кресты, грешница! Но как же мне поступить?.. Ох-хо-хо! Скотство. Как звать сына?

— Диомид. Дема.

— Пять лет ему?
— Четыре, пятый. Недели две, как четыре сполнилось.
— Послушный?
— Души не чаю в нем. Ум в глазах светится.
— Откуда тебе знать, ум или дикость светится у него, если ты — тьма неисходная!

Игуменья еще помолчала, кося глаза на кучу золотых. Сорок восемь? Четыреста восемьдесят золотых рублей! Не легко скопить золото и даже великому грешнику...

— Муж знает про дюжины?
— Оборони господь!
— Как же ты живешь с ним, если кругом обманываешь?

— Не обманываю. Оборони господи!
— А это? Что это?
— Дык-дык клятбу дала...
— Ладно. Заверни все это в платок и пойдем. Покажи ребенка.

Меланья завязала дюжины с часиками в платок и протянула игуменье. Та посмотрела на нее взыскивающе-строго:

— Ох, грешница! Сама утопла в тяжких прегрешениях и меня вводишь во искушение. Нечистый дух попутал тебя. Изыди! Не во храме ли божьем пребываешь? Не пред ликами ли святых? Не приму твоих дюжин — из нечистых рук они. Отверзни душу и лицо свое в час прозрения да прокляни навек совратителя твоего! Аминь.

Прошла мимо растерявшейся Меланьи, оглянувшись:

— Веди к ребенку.

Низко опустив грешную голову, зажав в обеих руках платок с золотом, Меланья вышла из избы со вздохами: «Осподи! Кабы все шесть дюжин привезла — приняла бы Демушку».

Возле крыльца игуменья взяла свой черный посох, поскрипывая рантовыми ботинками, шла медленно из ограды.

Демка успел уснуть под шабуришком.

— Демушка! Демушка! Подымайсь!

— Ой, мамка! Больно. Шибко больно! — хныкал спростонья малый, не в силах сесть на телеге даже на мягкое сено.

Черная высокая старуха уставилась на него испытующим взглядом. Так вот он какой, во блюде рожденный! Кудрявые волосенки ниже плеч — мать не стригла сына, глазенки синие, спокойные, удивленно распахнутые. Хол-

щовая рубашонка и штанишки, чирки на ногах, рослый для четырех годов — может, и тут обманула, блудница?

— Дык четыре, четыре, матушка. Вот те крест! Тянется! Покойный батюшка, Прокопий Веденевиц...

— Окстись! — отмахнулась игуменья. — Не поминай имени совратившего душу твою. Навек забудь! Проклят он, и нет ему спасения на том свете. Тебе жить — тебе и грех свой замолить. Ежли прозреешь только. Ох, господи! Вразуми эту рабу божью!

— Дык-дык что же мне таперича, осподи! — смигнула слезы Меланья, готовая разреветься. Игуменья прикрикнула — не слезы точи, мол, а молитвы читай да пред богом покайся во всех своих тяжких прегрешениях.

— На какую боль жалуется?

— Дык смертным боем бил его Филимон Прокопьевич. Кабы вы зрили, осподи!..

— Покажи.

Меланья спустила с Демки штанишки — малый не сопротивлялся. За дорогу от Белой Елани до Бурундата мать многим показывала, как он избит рыжей бородищей.

Еще не затянувшиеся коросты на иссеченном тельце.

— Святители! — испугалась игуменья. — Не звери ли то, господи!

— И бабка Ефимия также сказала, — обмолвилась Меланья.

Игуменья рассердилась:

— Не поминай имени еретички, как и совратителя своего. Аминь. Чтоб ни в душе, ни в памяти!

Помолчали.

Высокая игуменья медленно перебирала четки, глядя на пенные горы, близко подступившие к скиту.

Горы пенятся туманами к непогодью.

— А мы еще пшеницу не всю в скирды сложили, — сказала игуменья. — Да и в тайгу надо ехать монашкам, чтоб ульи составили в омшаник.

Меланья подумала, что игуменья приговаривается к ней, чтоб она помогла скитским управиться с хлебом.

— Дык-дык ежли на неделку, дык останусь. Филимон-то Прокопич не знает, што я к вам уехамши.

— У нас хватит сил и рук, чтоб управиться с хлебом, со скотиной и пчелами. Ты о душе подумай! О своей душе подумай!

— Как приняла я тополевыи толк...

— Ладно. Не о том говорить будем. Отвези эти дюжины и часы сатанинские мужу своему, отдай и во грехе покайся пред ним и пред господом богом. Сделаешь так?

У Меланьи и рот открылся, а во рту-то сухо — ни слов, ни божьей мяты.

— Дык-дык как же? Клятьба-то на мне экая!

— Али ты навек продала душу сатане?

— Осподи!

— Прозрей, пока не поздно. Отдай дюжины мужу, говори. И мир будет в доме вашем.

— Дык осподи! Прибьет он меня! Прибьет. Остатное востребует. Скажет: где хоронился клад? Покажи? Туес, весь... — проговорила Меланья и сама испугалась.

— Туес?! Так я и знала! Пред иконами лгала! Лгала, лгала! Нечистый кругом запеленал тебя! Изыди! Изыди! Поезжай сейчас же домой и молись, молись, молись! Ежли прозреешь — навестишь скит мой. До прозрения не приезжай, говорю. И мальчонку не привози — не место ему в скиту.

Меланья в слезы: не судьба, видно, быть Демке духовником. Так со слезами и уехала и долго, долго плакала дорогою, не уяснив, за что же на нее разгневалась старуха игуменья? Может, за то, что корову не привела? Так ведь четыре дюжины золотых давала! «Осподи, что же это такое? Али греховный толк наш? И Демушку не приняла. Что же мне делать-то, матушка! Горемычная моя головушка!..»

Всю дорогу до Белой Елани исходила слезами и решила-таки отдать мужу тятино золото. И Филимон Прокопьевич, глядишь, мягче будет, смирится с выродком.

...Возликовал Филимон и зарок дал (в который раз) не трогать Демку, а золото, богатство экое, надежно припрятал, пустив в оборот «николаевки», покуда у Советской власти не было еще своих денег.

Года на три в доме у черного тополя настал мир и согласие.

Подрастал Демка...

ЗАВЯЗЬ ВТОРАЯ

I

Вешняя оттепель голубила землю.

Над просторами Амыла, над безлюдными, угрюмыми

Саянами, над синь-тайгой, накапливая тепло, подтачивала стынть зимы весна 1923 года. Теснее жалось к тайге солнце. Чернели зимники по займищам. Реки пучились наледью. Забереги отжевывали лед от берегов. Птицы, совсем недавно безголосые, наполняли щебетом и гомоном обжитые места. На солнцепеках пашен темнели веснушки проталин. Деревушки подтаежъя не буравили черными штопорами небо, а выстилали по земле свадебные дымовые шлейфы: земля готовилась к венчанью с солнцем, чтобы потом справить свадьбу у первой борозды на пашне, когда еще окрест голые леса и сама земля в серой шубе прошлогодних вытаявших трав. Ну, а после свадьбы земли с солнцем, после сладостного томления вешних поченок брызнут травы по лугам, развернутся листья на деревьях, и даже люди тайги молодеют, вспоминая зимушку, как вчерашний день.

Такие же перемены бывают и в жизни...

Недавно лилась кровь; бились грудь в грудь красные с белыми, не чая увидеть завтрашний день; белые армии гибли, горели, как солома на огне, красные — уверенно и немилосердно дотапывали на Востоке гибнущие армии — и дотоптали их.

Бряцаая шпорами юфтовых сапог, вчерашний командир кавалерийского взвода Пятой Красной Армии Мамонт Голвня шел дорогою из Каратуза в Белую Елань.

Если бы кто со стороны посмотрел на Мамонта Петровича в красноармейском воинском наряде, он мог бы подумать, что вояка перемещается с позиции на позицию. Лихо заломленная смушковая папаха со звездочкою, буденновская длиннополая шинель с красными хлястиками на груди, болтающаяся кривая шашка с золотым эфесом, парабеллум в кобуре на ремне, портупей, само собою — шпоры, притянутые ремешками к задникам сапог — без слов говорили о том, что Мамонт Петрович достаточно порубил беляков кривой шашкою, если получил ее в дар от Реввоенсовета республики, и немало успокоил врагов из парабеллума, коль приклепали к рукоятке оружия серебряную дарственную пластину от Главкома Пятой армии.

Но Мамонт Петрович шел не на войну, а с войны: наелся войной по горловую косточку.

Дымчатая синь-тайга да вороны встречались вояке на дороге. Под ногами ледок Амыла. Вешний, пористый. Подковки мягко бряцают по льду. Хорошо. Радостно Мамонту Петровичу. Над Амылом курилось волглое марево: солныш-

ко плавало в белесой пене. Куда только мог хватить глаз, не видно было ни души. Справа — отвесные горы. И где-то там, на горах, качали мохнатые вершины сосны и пихты. По крутым местам взгорий карабкались вверх березки. Слева тайга, и кто ее знает, куда она ушла!..

Как-то там, в Белой Елани! Аркадий Зырян, бывшие партизаны отряда Головкин, и вот еще Евдокия Елизаровна. Уезжая из Белой Елани, он успел поговорить с Дуней. Откровения особого не было — про любовь там, вздохи и всякое прочее, буржуйское, но Мамонт Петрович сказал-таки, если Евдокия Елизаровна не брезгает им, кузнецом, то пусть ждет его возвращения, и они потом вместе одним мехом будут раздувать угли в советской кузнице. Дуня обещала ждать. «Мной бы не побрезговал, Мамонт Петрович, — сказала ему — А я буду ждать с радостью». Ждет ли? Не надеялся Это же Дуня Юскова!..

Вдруг Мамонт Петрович остановился, широко распахнув глаза: прямо перед его носом из-за тороса выглядывал широкий, как печная заслонка, зад бурого медведя.

— Едрит-твою в кандибобер! — ахнул Мамонт Петрович, и зад медведя моментально скрылся за торосом. — Стой, гад! Стреляю! Стой!

Медведь припустил по льду такой рысью, что ему мог бы позавидовать рысак.

Мамонт Петрович кинулся следом с парабеллумом в руке. Торосы мешали бежать, и он раза два разостлался на льду во весь свой богатырский рост, гремя военными доспехами. Медведь ухал, шпарил что есть силы. Кто-то не вовремя поднял лежебоку из берлоги, вот он и шатался, перебираясь с одного берега Амыла на другой. Добежая до огромной полыньи. Сунул лапу в воду, ухнул сердито, повел головою в одну сторону, другую, а сзади выстрелы — бах, бах, бах! Одна пуля влипла в стегно, и медведь, рывкнув во всю медвежью глотку, прыгнул в полынью, аж брызги посыпались во все стороны, и поплыл. Мамонт Петрович добежал до полыньи, посмотрел на пятна крови, а сам медведь тем временем вылез на лед с другой стороны и — дай бог ноги!..

— Ушел, каналья! — не то пожалел, не то обрадовался Мамонт Петрович, пряча парабеллум в кобуру. — Вот бы Евдокии Елизаровне был подарочек! Шкуру я бы сам выделал. Встал утром, опустил ноги на шкуру и, пжалста, закуривай!

И Мамонт Петрович закурил японскую сигаретку, а шкура для Евдокии Елизаровны, ухая от радости, что уцелела, косолапила в тайгу.

II

Куда он шел, Мамонт Петрович? Не в ту ли сторону, куда пригнали его по этапу еще при царском прижиме на вечное поселение, и он не обрел в глухомани ни семьи, ни дома, а так и остался одиноким бобылем! Какая неведомая сила тянула его в таежную глушь, он и сам того не разумел. А ведь мог бы теперь уехать в родную Тулу на оружейный завод, на котором в раннюю пору стал кузнецом, а отец слыл за такого умельца, что и блоху знаменитого Левши мог бы подковать! Мамонт Петрович запомнил Тулу, Москву и всю Расею-матушку — студеная Сибирь спеленала по рукам и ногам, и он не помышлял своей дальнейшей жизни без людей тайги. Он был кузнецом, политиком в доме Зыряна, повстанцем и командиром партизанского отряда — здесь его отчий край, не в Туле розовой юности.

Он не думал кого-то обрадовать своим возвращением в Белую Елань — тут живут люди, скупые на праздное слово, зато цепкие, звонкие и размашистые, как сама матушка-тайга!..

Долго шел трактом по займищу; солнце ткнулось в сияющие хребты Саян, и стало холодно: схватывался ледок на лужах, потрескивая, как стекло, под сапогами кавалериста. Плечи одеревенели от тяжести мешка на ляшках. Что было натолкано в заплечный мешок, пуда в два весом, неизвестно; Мамонту Петровичу не привыкать к вьюкам. За годы гражданки он привык к большим переходам и ко всяким тяжестям. «Мамонт вывезет!» — обычно говорили о нем товарищи.

Миная деревню, Мамонт Петрович завернул в окраинную избушку: нет ли у хозяйшки чайку или кринки молока?

— Экий молосный! — усмехнулась ладная чалдонка, плеснув в лицо Мамонта Петровича карий свет своих любопытных глаз. — Из Красной Армии, поди?

— Из Красной Армии.

— На побывку, чать? При оружие-то.

— Насовсем. Оружие у меня именное — навечно останется со мной.

И словно тучка насунулась на лицо хозяйшки в бума-

зейной кофтенке, полногрудой, изождавшейся мужской ласки.

— А мой-то сгил до Красной Армии в партизанах,— печально прошелестели вдовушкины слова.— Век горевать одной да ребятишек рóстить. Трое сирот осталось.

— А где он был в партизанах, ваш муж?

— На восстанье сперва ушел, ишло когда белые власть взяли, а как разбили восстанье — с отрядом Мамонта Головни скрылся в тайгу и там сгил.

— По фамилии как?

— Ржанов. Петр Евсеевич. Вот ездила осенью в комму-ну возле Курагиной. Партизаны Головни сгорнизовали там комму-ну в экономии Юскова. Крупчатный завод у них, коней и коров много. Встрела одного коммунарского, по фамилии Зырян. Мельницей управляет. Он тоже был у Головни в отряде. Сказывал, будто отряд ихний на приски пришел, а управляющий приска выдал их карателям. Сонных захватили на заимке — семеро спаслось токо. А карателями командовал хорунжий Ложечников. Будь он проклят! Кабы я это знала, я б иво кипятком ошпарила, истинный бог!

— Как бы ты его могла ошпарить кипятком?

— Да у меня ведровый чугунок кипятка стоял в ту ночь в печке!

— В какой печке? — Мамонт Петрович решительно ничего не понимал.

— Да я не все обсказала вам,— спохватилась вдовушка.— До того как побывать мне в коммуне партизанской, за неделю так или чуть больше, заявили ко мне среди ночи четверо — двое мужчин и две женщины; изба-то у меня на самом краю деревни. Верхами приехали, и все при оружии — мужчины и женщины. Грязнющие, мокрые, не приведи господи. Дождина полоскал всю ночь ту. Печь заставили топить, барана жарить, а сами разболклись и мокрое развесили сушить у печи. Ну, разговаривают промежду собой, а я все слышу — от кути далеко ли? Рядышком. Мужчины один другого называют по имени-отчеству.

— Так! Так! — насторожился Мамонт Петрович, забыв про чай и молоко.

— Один такой высокий, русый, поджарый — Гавриил Иннокентьевич.

— Ухоздвигов?!

— Он самый. Мне потом сказали. А другой — Анатолий Васильевич.

— Хорунжий Ложечников?!

— Кабы знать!

— Ну и что они? О чем говорили?

— Банда у них была большая, сабель триста, из казаков вся. Пробивались через Саяны в Урянхай, да их перехватили за Григорьевкой, растрепали вкучую — спаслось мало, окаянных. Жарю им мясо, сволочам, а они цапаются друг с другом, кто из них больше виноват, что их так растрепали. Сытый этот, Анатолий Васильевич, попрекал Евдокию Юкову, полюбовницу Ухоздвигова...

— Што-о-о? — вытаращил глаза Мамонт Петрович. — Евдокию Елизаровну?

— Али знаешь ее?

— Знал.

— Да вы откуда будете?

— Из тех же мест, кузнец.

— Кузнец? Ишь ты! А теперь, поди, командиром был в Красной Армии?

— Командиром. Говори дальше. За что попрекал Ложечников Евдокию Елизаровну?

— Дык за разгром банды. «Твоя, грит, сельсоветская потаскушка подвела всех нас под монастырь». Будто Гавриил Иннокентьевич посылал Евдокию Елизаровну в Ермаки и в Григорьевку, чтоб она все там разузнала про каких-то чонов.

— Части особого назначения?

— Вот-вот. Банды уничтожают.

— И что же она, не разузнала?

— По словам Ложечникова, выходило так, что она, Евдокия Елизаровна, будто снюхалась с теми чонами, и вся банда казаков угодила в западню за Григорьевкой. Пулеметами стрелили. Ну, а сам Ухоздвигов защищал свою полюбовницу. Что она, дескать, знать ничего не знала про пулеметы чонов.

— Все может быть, и не знала, — кивнул Мамонт Петрович. — Ну и чем кончилась ссора?

— Не приведи бог, как они сцепились. Ребяенок моих перепугали в горнице, и меня у печи так трясло, что я руки себе обожгла в беспамяестве. Схватила голыми руками за сковороду с мясом. Ох, как они тузили друг друга и за револьверы хватались. И бабы промеж собой сцепились. Катерина какая-то, полюбовница Ложечникова, чуток не придушила Евдокию Елизаровну. Вот тут она ее в угол втис-

нула и душит, душит за горло. Кричит ей: «Шлюха ты красная! Всех как есть перекрутила и запутала!» Какими только срамными словами она ее не обзывала — не слушать бы! А Ухоздвигов-то, хоть и поджарый, а верткий такой! Как поддаст, поддаст толстому Ложечникову, так тот в стену влипает. Стол опрокинули, посуду всю перемесили под ногами. Не знаю, чем бы кончилась ихняя потасовка, кабы не забегал в избу ишшо один бандит. Орет им: «Чоновцы выступили из Каратуза!» Ну, эти враз прикончили драку. Мужчины вышли на улицу, а бабы сопли да слезы растирали у себя по щекам, космы приглаживали.

Час так прошел; я увела ребятшек к суседке: бандиты вернулись — Ложечников с Ухоздвиговым потребовали мясо. Меня ударил бандюга Ложечников за пригорелое мясо. А то не понимает, как бы я сберегла мясо, когда они друг друга мутузили!

Самогонку из четверти пили. Похабствовали, и бабы с ними похабствовали. Ну, прямо, как свиньи. А меня так-то лихотит, так-то лихотит, гляючи на них. Потом Ухоздвигов куда-то ушел со своей полюбовницей, а Ложечников с Катериной остались и спать легли в горнице на кровати. Там бы я их, если бы знатье, как он убил мово Петра, ошпарила бы кипятком. Истинный бог, ошпарила бы!..

Мамонт Петрович, сидя на лавке возле стола, крутил в пальцах свой русый ус. Евдокия Елизаровна! А он еще подарки для нее несет!.. В избу вошла девчушка лет одиннадцати в мужском полушубке с завернутыми рукавами. Остановилась у порога и смотрит исподлобья на незнакомого дядю.

— Что вы молоко-то не пьете? Крынку просили, а кружки не выпили.

Мамонт Петрович сыт — горячий камень застрял в глотке, на щеках желваки вспухают.

— Разбредила я вас, должно, рассказом про бандитов.

— Спасибо, хозяйюшка, — поблагодарил Мамонт Петрович и, чтобы вытравить несносную боль из сердца, отвлечься, спросил: — Ты не сказала, как партизаны в коммуне живут?

— Хорошо живут. Меня звали с ребяташками. Особенно этот Зыряя, который про мужика мово рассказал мне.

— Самое верное дело для тебя — коммуна, — заверил Мамонт Петрович

— Собираюсь вот. Двое ребяташек в коммуне теперь. У меня вить никакого хозяйства нет. Конь издох, осталась коровенка. Весною приедут за мной коммунары.

Собираясь уходить, Мамонт Петрович взял за свой увесистый мешок, что-то вспомнил, развязал его, порывлся и вытащил богатющий узорчатый платок с кручеными кистями — трех баб завернуть можно, и еще один, наряднее первого, шелковый, японский; немислимые для крестьянки: кулек с рисом и пакетики с шоколадом, японскими галетами, с пряниками, черепаховый гребень — не волосы чесать, а чтоб голову украсить красавице. И все это добро положил на стол. Хозяйка смотрела на диковинные вещи недоумевая — богатством хвастается, что ли?

Мамонт Петрович так же молча завязал мешок и закинул его себе за плечи. Ремни поправил на шинели. Папаху надел.

— Ну, до свидания, хозяйюшка.

— А добро-то, добро-то оставили!

— На память тебе от партизана. Твой муж, Петр Евсевич, погиб смертью храбрых за дело Советской власти. Не сонный погиб, а с винтовкою в руках. И меня лично спас в том бою в тайге. В коммуне мы еще свидимся.

— Да постойте же! Постойте! — вцепилась хозяйюшка. — Хоть скажите, кто вы?

— Мамонт Петрович Головня.

— Бог ты мой! Бог ты мой! Сколь про вас слыхивала, а впервой вижу. Как же вы? Бог ты мой! Про Петеньку бы рассказали мне! Про Петеньку-то! Бог ты мой! Нюся, проси дяденьку, чтоб остался. Хоть на одну ночь с нами. За-ради бога! Про Петеньку-то!..

Мамонт Петрович стиснул зубы — самому бы не расплакаться, а вдовушка цепляется ему за плечи. Девчушка ревет.

— Мы еще свидимся. Как тебя звать-величать?

— Клавдеей звать. Ржанова. Ржанова. Бог ты мой! Да останьтесь же вы! Останьтесь. Куда на ночь глядя? Непогодь подымается. Останьтесь же! Про Петеньку расскажите.

Но разве мог Мамонт Петрович остаться, если у него в башке ералаш, а в горле камень катается? Евдокия Елизаровна!.. Хоть глоток холодного воздуха хватануть бы, чтоб не задохнуться.

— Свидимся в коммуне, Клавдия. В коммуне. Идти мне

надо. Идти. Такое дело. Извиняй, пожалуйста.— И вывалился из вдовьей избы, не оглядываясь.

III

Небо затянуло лохматою овчиною. Непогодь. Вскоре повалил снег. Мокрые хлопья липли на лицо Мамонта Петровича, но он все шел, шел навстречу непогоди, чуть пригнув голову. В ложбине сбился с дороги, угодив в сугроб по пояс. Присел отдохнуть под кустом черемухи. Черные сучья качаются под напором ветра, циркают друг об дружку, а Мамонту Петровичу кажется, что это черные косы Дуни. Ветер сюсюкает в косах, издевается: «Не ссс тоообооой! не ссс тоообооой!»

Мамонт Петрович вскочил на ноги, зло уставился на куст черемухи с перепутанными голыми ветками. С визгом вылетела шашка из ножен и со всего плеча по черным косам Дуниных волос:

— Гадюка ползучая! Ррраз, рраз! Перед строем партизан речь говорил! В куски, в прах, ко всем чертям!

«Вззи, вззи, вззи!»— поет кривая шашка, отхватывая сук за суком у безвинной черемухи.

— Клялась, что навсегда повернулась лицом к мировой революции, а ты, оказывается, буржуазная гидра!..

Одеревенела рука, занемело плечо, а Мамонт Петрович, освобождая сердце от тяжести, рубил и рубил сучья черемухи...

Умаялся, сел передохнуть. Грудь вздымается, как мехи в кузнице. Если бы он знал!.. Он мог бы остаться на Дальнем Востоке. Его уговаривали поехать учиться в школу красных командиров, но он отказался. Человек он мирный, просто кузнец, и за оружие взялся по крайней необходимости. И он себя показал, что значит рука кузнеца с шашкою! Не раз побывал на свиданке со смертью; под Читою он со своим взводом потерпел полный разгром и угодил в лапы семеновцев. Сам некоронованный владыка Забайкалья допрашивал Мамонта Петровича в атаманском вагоне, грозился зажарить его живьем, но не удалось атаману привести свой замысел в исполнение: эшелон семеновцев слетел с рельсов, и Мамонт Головня бежал по шпалам до Читы. Тринадцать дырок насчитал в шинели, и хоть бы одна пуля царапнула — судьба берегла, что ли? Для каких же свершений она его берегла, хотел бы он знать!..

Командование кавалерийским полком считало его погибшим в Забайкалье и послало о том извещение в Белую Елань и Сагайскую волость. Мамонт Петрович не стал опровергать извещение: пусть считают погибшим. Некому особенно плакать о нем — ни жены, ни детей, а про родичей в Туле и не вспомнил даже. Он считал себя вечным солдатом мировой революции, а солдату не пристало носиться со своей персоной. И вот сейчас, возвращаясь к себе в Белую Елань, Мамонт Петрович ни в Каратузе, ни в Сагайске не назвался и никому не представился. Ни к чему! Он решил потихоньку добраться до Белой Елани, разузнать, что и как и кто где, а потом, возможно, так же тихо покинуть таежный угол. Жизнь коротка, а земля чересчур огромная, хотя у Мамонта и длинные ноги. Махнуть бы в Москву, что ли? В столицу мировой революции, поближе к Ленину!..

Не мог рассудить о себе: отчего у него вдруг ярость взграла? Какое ему дело до Дуни Юсковой? Ну, в банде! Рано или поздно сломит себе голову, ну и пусть! Ан нет! Ему не все равно. Как заноза в самое сердце.

Посвистывает ветерок в сучьях черемух. Сыплется и сыплется снег на грозного солдата мировой революции, а самому солдату мерещится Дуня в медной мастерской деда Юскова. Она мешает ему вытачивать на станке серебряные и медные подвески и бляхи для наборных шлей и хомутов; она залезла на верстак и смотрит на него своими черными, влажно-блестящими глазами. Платье ее задралось, и он видит ее округлые колени.

«Политики могут любить?» — спрашивает Дуня.

«Такая подвеска не для шеи социалиста-революционера», — отвечает Мамонт Петрович.

«Ты социал-революционер? А что это такое?»

Он отвечает нечто странное, в чем и сам плохо разбирался. Дуня хохочет.

«Я красивая? Скажи, красивая?»

«Очень даже красивая».

«В Туле есть такие красивые?»

«В Туле мне не до красавиц было».

«А почему ты такой высокий, как каланча?» — похихатывает Дуня.

«А это чтобы далеко видеть. Специально вытянулся. Из тайги Тулу вижу».

«И кого ты видишь в Туле?»

«Медные самовары».

«Ой, боженька! Медные самовары!» — заливается Дуня

Он так и не мог объяснить себе в ту пору, отчего она липла к нему, моль таежная? Он помнит, как Дуня жаловалась ему на свирепого отца, на неприкаянность в родительском доме, и как ее испугал какой-то парень на рыжем коне в Каратузе, и она провалилась на экзаменах в гимназию. И еще вспомнил ту рождественскую ночь, когда Дуня прибежала к нему в избушку Трифона и просила его, умоляла, чтобы он спас ее от живодеров и увез бы куда-нибудь, а он не посмел дотронуться до нее — так далеко и невнятно он видел тогдашнюю Дуню! А именно она, тогдашняя, была ближе к нему, чем теперь.

Минули годы, и он, Мамонт Петрович, не признал в истасканной девице ту Дуню, которая когда-то опалила его своим горячим дыханием; перед ним была другая Дуня — грубая, курящая; не было в ней наивности прежней Дуни, чистоты и этакой сизой вязкости, как это бывает в летнюю пору в тайге, когда все кругом цветет и благоухает. И еще вспомнилась третья Дуня, связанная по рукам и ногам, с кляпом во рту; и в этой третьей, искаженной, как будто воскресла на одну ночь та первая, из медной мастерской. Теперь он, Мамонт Петрович, наверное, встретится с четвертой Дуней — из банды хорунжего Ложечникова...

А что, если Дуня и в самом деле ни в чем не повинна? Все может быть! Ухоздвигов с Ложечниковым просто запутали ее, и она им всем отомстила — подвела под чоновские пулеметы.

Надо подумать. Охолонуться. Казнить легче всего; миловать не всякому дано. Для милости надо иметь натуральную душу, а не овчину с барана.

Снег, снег и ветерок к тому же. Ветерок. Непогодь. По всему свету непогодь. Что-то ищут люди. Кидаются в крайности. Сбиваются с дороги, петляют, возвращаются старым следом и опять ищут, ищут, ищут, а кругом непогодь, непогодь, непогодь!

На век людской или на три века — непогодь?..

Что-то ищут люди...

Вечности или забвения?

Присыпает снежок Мамонта Петровича, ветерок посвистывает, убаюкивает, будто спать укладывает в белый пуховик.

Спать. Спать. Спать.

Откуда-то взялся дед Юсков, хромый. Угрожает:

«На чей каравай рот раззявил, поселюга? Али ты не знаешь, какого мы роду-племени, Юсковы? За Дуню мы тебе век укоротим!»

Мамонт Петрович очнулся. За Дуню? Ах, да! Тогда она просила меня спасти ее от живодеров, а я отвез ее обратно к Юсковым на съедение волкам, едрит-твою в кандибобер!..

Так оно и было.

Он самолично отвел агницу на закланье дьяволу.

Не с его ли легкой руки Дуню растерзали, истоптали, и он потом не признал в ней таежной лани, и не то чтобы не удивился, а просто подумал, что так и должно — «буржуйская порода...»

Непогодь для всех пород одинаковая — и тем, и другим не сладко.

Кто-то сбился с пути, кто-то кого-то столкнул с дороги, ушел дальше, а оставшийся на обочине гибнет, и все проходят мимо — у каждого своих хлопот полон рот.

Суд свершен скорый и правый: сильный притаптывает слабого и приводит приговор в исполнение — втаптывает живьем в землю.

Так легче жить.

А легче ли?..

Выхватить вострую шашку из ножен и рубить сплеча черные косы Дуниных волос... и вместе с косами — голову? «Была не была! Не сбивайся с дороги!..»

«Нет, так жить в дальнейшем не будем, — туго проворачивает Мамонт Петрович, выбираясь на дорогу. — Если ее тут окончательно втоптали в грязь, я должен оказать ей помощь при наличии всего моего вооружения, а так и моих принципов. Был такой момент, когда она выручила нас, партизан, и не дрогнула — первая кинула бомбы в проклятый дом, в котором над ней свершили первую казнь. И я того не понял. Я должен был взять ее с собою в отряд».

Надо все разузнать и принять экстренные меры.

Мамонт Петрович буравит снег смушковой папахой...

IV

Невдалеке послышалось: «Геть, стерьва! Нин-оо!..»

Мамонт Петрович подождал на дороге. Кто-то ехал в кошеве. Когда кошева поравнялась с Мамонтом Петровичем, он без лишних слов запрыгнул в передок.

— А, мать божья! — испугался возница. Еще один лежал укутанный в доху — ни головы, ни ног, густо засыпанный снегом.

— Не подвезешь, хозяин?

— Да ты вже влез!

— В Белую Елань едешь?

— До Билой Илани, хай ей пузырь вскочет на самую холку. Геть, стерва!.. Це больная лежит, не наступи. Хай спит. Угрелась пид дохою. Геть, геть! Нн-оо! Отвозил до Каратуза нарочного от того чона, шо банды стреляют, да ще хфершала, бодай його комар. Всю дорогу хфершал тягал горилку, стерва. Садился у Билой Илани на своих ногах... геть, сивый!.. а в том Каратузе слиз — ни ума, ни памяти. Я иму кажу дорогой: «Це горилка у вас, чи шо?» А вин мене: «Ни, каже, це такая желудочная хикстура. Страдаю, кажет, желудком». А как пидъихали до больницы в Каратузе, вин вже ни матки, ни батьки, ни чого не разумее. Храпит, як хряк. С тем парнем, нарочным чона, вытащили его з кошевы, а вин кричит на всю улицу: «Клизьму поставлю зараз!» Во скотиньяка. Ннн-о, сивый!

Мамонт Петрович стянул вьюк со спины и положил его к себе под ноги, пристроившись на облучке, спиной к ветру и мокрому снегу. На папаху накинул суконный башлык и завязал уши и щеки.

— А ты, часом, не комиссар, га?

— Не комиссар. С Дальнего Востока. С Красной Армии.

— Из Билой Илани?

— Иду туда.

Мамонт Петрович не называл себя встречным и поперечным — ни к чему лясы точить.

— Японцив мурдовали?

— И японцев, и англичан, и американцев с французами. Всю мировую контру пихнули в океан с нашего берега.

— Эге ж. Доброе дило. Нн-о, сивый! Геть, геть! Дюже ленивый мерин, стерва йго матке. Винтит хвостом, як та хвороба, а рыси нима. В плуге тягае за два коня. Кабы себе такого коняку!

— А чей конь?

— Маркела Зуева. Мабуть, знаете?

— Нет. Не знаю.

— А богатеи Потылицыных знали? Казаки були стороны Предивной. С того Каратуза переихалы у Билую Илань, шоб добрые земли занять.

— А! Но ведь Потылицыных истребили партизаны?

— Стребили. А Маркел Зуев поставил свою хату на погорелье тих Потылицыных, эге ж. Сперва була хата, а зараз ще дом поставили. Два сына поженил, худобы накупил, земли мае бильше, чим було у Потылицыных. Крупорушку купил, сенокоски, жатки, молотилку, маслобойню поставил. Эге ж! В его хате на погорелье зараз я живу с семьею, роблю на куркуля и подводу гоняю за него. Була у мене своя хата на стороне Щедринки, худоба была, да спалили белые хату, хай им лихо. Худобу забрали, а мене плетей надовали, поганцы. Кажуть: «Тожись, кум Головни, влупим тебе плетей». И влупили. Добре влупили.

Мамонт Петрович присмотрелся к хохлу:

— Как так — «кум Головни»?

— Мабуть, знали Головню? Був головою тих партизан в нашей тайге. И ковалем був ще до войны. Дюже добрый коваль був, хай ему на тим свити мягко буде спати.

— А как он стал твоим кумом?

— А так. Ще в четырнадцатом роки, в травень жинка моя, Гарпина, прийшла к нему в кузню, щоб косу склепал. Стал он клепать ту косу, а Гарпину попросил раздуть мехи — один був в кузне. А Гарпина моя, бодай не комар, в тягости була. Эге ж. Скико раз рожае, и все не так, як трибо. Ще на другой год, як мы поженились, родила, хвороба, пид коровою. Ивась вырос. Добрый мужик. Геть, геть, сивый! Нн-о, стерьва! А после Ивася родився Павло. Жили мы ще на своем хуторе на Полтавщине. Пид самое рождество случилось. Парубки з дивчинами калядовали, и моя жинка з ними калядовала. А потом як схватит ие, хворобу, а парубки с дивчинами хохочут, стерьвы, катают ие по снегу, а она вже родила. Эге ж. Так и приесли в хату ряженую и з дитятей.

Мамонт Петрович все вспомнил, но терпеливо слушал биль кума, потягивая японскую сигаретку.

— И в кузне Головни случилось. Схватило Гарпину, вона скручилась, хвороба, кричит Головне: «Ой, лихочко! Зови, каже, якуюсь бабку чи старуху. Родить буду». Эге ж. Головня туда, сюда — никого нима. Зовет на помощь тих староверок, шо двумя перстами хрестятся, а они, ведьмяки, не идут. Бо им никак нельзя по их дурной вере принять дитину от бабы шо в цирковь ходить, бодай их комар. А до нашей Щедринки бежать далеко. И шо ты думаешь, добрый чоловік? Тот Головня сам принял дитятю у моей жинки.

Геть, стерьва! С того и стал моим кумом. До билых вин був головой ревкома — куркулей смолил той продразверсткой. Добре смолил! Как праздник, чи шо, вин вже подарок своей крестнице несе — конхфеты, чи на платье, чи сам зробит якусь диковину. И дочка до того поллюбила йго, шо до сего роки жде: не придет ли крестный тато? «Где мий тато, каже; чи скоро приде?» Ждет, хвороба. Вумная да красивая растет дивчина, эге ж. Девятыи рок пиде з лита, а она вже картинки малюет, букварь читает. Мабуть, мордописцем буде, га?

Так, значит, есть хоть одна живая душа, которая ждет возвращения Мамонта Петровича! Как он мог забыть про крестницу Анютку? Да и самого кума Ткачука не узнал — бедняк из поселенцев Шедрияки.

Анютка!.. Нету у Мамонта Петровича подарка для крестницы Анютки, да он и не вспоминал про нее; для Дуни складывал в мешок диковинки из японских, французских и английских трофеев; для Дуни тащился в глухомань за тридевять земель, хотя и сам себе не мог бы признаться в том.

Снег все так же метет в кошеву, лениво шлепает копытами мерин — ни рысью, ни шагом.

Под дохой кто-то пошевелился.

— Как тут партизаны живут? — спросил Мамонт Петрович, только бы не думать про Дуню.

— Хай их перцем посыпят тих партизан, — плюнул кум Головни, понужая сивого. — На кажинной сходке выхваляются друг перед другом, хто из них був главнейший, вумнейший, храбрейший, а того не разумеют, головы, шо вси разом були не вумнейши, не храбрейши, а як ти зайцы — трусливейши, эге ж. В тайгу поховались от мобилизаци, и как тико у билых була гулянка, чи шо, вылезали из тайги ночью, кусали билых за ноги, забирали у мужиков худобу чи хлеб, и опять ховались в тайгу, стерьвы.

Мамонт Петрович готов был выпрыгнуть из кошевы от подобного поношения красных партизан.

— Как так «трусливейшие зайцы»?

— А як же? Зайцы! Колчак як правил, так и правил бы, кабы не Красная Армия з Расеи. Вот ты, добрый человек, з Красной Армии...

— А тебе известно, — напомнил «добрый человек», — что вся Енисейская губерния горела под ногами колчаковцев?

— А як же! Горела! Красная Армия пидпалила.

— А партизаны...

— Я ж говорю: ховались, стерьвы, по тайге чи по займам. Налетали на тих билых, когда билых було мало, чи совсем не було, а мужиков грабили, скотину забирали, а зараз похваляються, як воны завоевали Советскую власть, и грудь себе бьют кулаками. Глядите на них! Тьфу.

У Мамонта Петровича дух перехватило — до того он разозлился на кума. Как можно так говорить про красных партизан?!

А кум Ткачук зудит:

— Кабы у того Колчака було чим заслониться от Красной Армии з Расеи, вин тих партизан зловил бы и стребил бы, як чоны стребили банду Ложечникова. И самого Ложечникова споймали, эге ж.

— А тебе известно, кто прикончил карателей есаула Потылицына в Белой Елани? — еще раз сдержанно напомнил Мамонт Петрович.

— Евдокея Юскова стребила,— ответил кум Ткачук. У Мамонта Петровича папаха съехала на лоб — так он тряхнул головой.— Це ж такая дивчина, кабы вы не знали! Эге ж. Хай ей сон сладкий снится зараз,— кум Ткачук покосился на человека под дохою; Мамонт Петрович не заметил взгляд кума.— Позвала партизан Головни на масленицу, когда тот поганый есаул Потылицын со своими казаками гульбу устроил у Билой Илани. Эге ж. А Евдокея припасла гостинцев для есаула: бомбы, пулеметы, тико рук не було — гукнула партизан. А у того Головни чи десять, чи пятнадцать партизан осталось в живых — сгибли все; белые стребили.

У Мамонта Петровича не нашлось слов, чтобы отместить навет на его славных партизан, а кум Ткачук, не замечая перемен в попутчике, дополнил:

— Це ж такая отчаянная голова! Эге ж. Сама бросила бомбы в свой дом, где гуляли казаки. Тут и партизаны подмогли. Ох, и лупили! Пять домов спалили в ту ночь. И утекли на Енисей, бодай их комар, а Евдокею бросили. Во головы!

Мамонт Петрович промолчал.

— Сам кум Головня,— продолжал Ткачук,— когда уезд заняли партизаны и Евдокея возвернулась у Билую Илань, говорил, шо она была главнейшая по стрелению карателей Потылицына. И я ту речь слушал, эге ж. Дюже

гарно говорил кум. Такой вин був правидный чоловик.

Мамонт Петрович окончательно притих. Он, конечно «правидный чоловик», а вот кум Ткачук все переврал.

— Она сейчас в банде Ложечникова?

— Про кого пытаешь?

— Про Евдокию Юскову.

— О, мать божья! Це ж брехня, гречь ей в гриву!..

Балакали про Евдокею Елизаровну, шо вона ушла в банду. Да не так було. Ни. Ще в прошлом роки до снигу приихала Евдокея Елизаровна в Билую Илань с командиром отряда того чона, Петрушиным. Собрание було. Командир тот, Петрушин, балакал, шо Евдокея Елизаровна помогла йго отряду стрепить главные силы банды Ложечникова. Во как! И стала она опять секлетарем у сельсовете, да бандиты не змирились: пид рождество скараулили не да с винтовки стреляли по ней. А живая осталась, живая! О то и оно! Самого Ложечникова споймали с йго Катериной, хай им лихо. Мабуть, отправят в Минусинск в тюрьму. Кабы не мене в подводе быти, гречь им в гриву!..

— А Ухоздвигов пойман?

— Нима Ухоздвигова. Не було в банде.

— Осенью он был в банде.

— Спытать надо Евдокею, она, мабуть, знае: був, чи не.

Геть, сивый! А ты, я бачу, в сапогах? Чи мороз не бере?

Из-под дохи раздался невнятный голос живой души. Мамонт Петрович не спросил, кто лежит в кошеве под дохою. Если бы он знал, что рядом с ним была та самая Дуня!..

V

Дуне снился странный сон.

Она видела себя девчонкой в нарядном батистовом платье. И на руках ее была девочка — ее дочь. Она не помнит, как родила дочурку, она просто радовалась, что на ее руках малюхонькая дочь. Она видит себя на резном крыльце отчего дома — того дома, который сожгла двумя бомбами. В ограде много-много гусей. Вожак-гусак бродит по ограде с красным бантом на шее. Вокруг него гусыни — одинаково белые, одинаково краснолапые, одинаково гогочущие. Маленькой Дуне холодно, но она сидит на крыльце и ждет Гавриила Ухоздвигова. Он должен увидеть, какая у него красивая дочь родилась. Но его нет. Вдруг подошел отец — чернушая борода, медвежий взгляд и голос зверя:

— А, тварь! Народила мне, курва прохойдонская! В пыль, в потроха, живьем в землю! Раззорррву!

Дуне страшно. За себя, за маленькую дочку. Он убьет ее, убьет!

— Боженька!..

— В пыль, в потроха! Марш, сударыня, полы мыть в доме. Вылижи языком до блеска, чтоб лакированными стали. Мотри!

И она, Дуня, моет полы в доме. Моет, моет, а грязь все ползет и ползет — вековая грязь от сотворения мира. В ушах будто зазвенели малиновые колокольчики. Тоненько-тоненько. И она, теряя силы, падает в холодный колодец. Чашечку бы чаю!

Здоровенный полицейский навинчивает крендельки усов:

— Чашечку чаю? Чашечку? Не будет тебе чаю, прости-тутка! Отвечай: при каких обстоятельствах ударил тебя ножом господин Завьялов, акцизный стряпчий! Не вр! Упреждаю. Деньги вымогала?

Дуня не помнит, что она вымогала у господина Завьялова. Это он, стряпчий, истязал ее, совал в губы замусоленную трешку, предупреждая: «Бери, шлюха, да помни! Ежли еще раз отвернешь от меня рыло — щелкну, как гниду!»

Гусак орет на всю ограду:

— Го-го-го-го-го!..

Дуня проснулась не от голосов разговаривающих мужчин, а от сильного толчка изнутри — ребенок, которого она еще не родила, пошевелился в ней. У ней будет ребенок. Сама себе не верила, что станет матерью. Она хотела стать матерью и боялась того. Она не посмеет назвать имя отца ребенка, не назовет его отчеством — изгой, скрывающийся под чужой фамилией...

Холодно Дуне. Настыли ноги в пимах — пальцы как будто одеревенели. Переменила положение, привстала чуть, отвернув с лица воротник дохи. Белая мгла. Ночь. Ткачук ворочается рядом и понуждает мерина. Кто-то сидит в башлыке на облучке кошевы. Кто это?

Дуня прислушалась к разговору мужчин.

— Була б для моего кума добрая жинка,— говорит Ткачук. О ком это он? — Сама балакала мне, шо кум Головня, комысь уходил з Билой Илани с теми партизанами на Красноярск, сказал ей: «Жди мене, Дуня. Возвернусь с войны — жить будем». Добре говорил кум, эге ж. Да не сбылось. Как

тньо прислали дурную вестъ у сельсовет, шо Мамонт Петрович сгиб где-то в бою, Евдокея сама сменила себе хвамялиню и стала Головной.

— Головной?! —

— А то як же, Головной. Кабы не подстрелил злодей, хай ему лихо, бандюге. Мой куркуль, Маркел Зуев лютуе: «Здохла бы, каже, стерьва. Бо вина сама свой дом пидпала бомбами; мать ридную сгубила». Эге ж. А того не разумеет, куркуль, шо це був за дом! Злодияки, какого свит не бачил.

Дуня благодарна была Ткачуку за такие слова; не все клянут ее, как злодейку. А кто же этот, в шинели и в башлыке?

— А кто у вас председатель сельсовета? — спрашивает Ткачука человек в башлыке.

— Куркуль из кержаков, Егор Вавилов. Партизаном був у Головни. Богато живе, стерьва. Був партизан Зырян головою сельрады, зараз в коммунню уихав.

— Вот бы и ты поехал в коммуну — для бедняков в самый раз.

— Эге! В той коммуне ни жити, а волком выти, — ответил Ткачук. — Сбежались людины со всих деревень — не робить, а скотину гробить. Економию того Юскова жрут — коров режут на мясо, мукомольный завод мают, песни спивают. Як сожрут всю економию — разбегутся. Один до лиса, другой до биса. Эге ж.

— Едрит-твою в кандибобер! — выругался человек в шинели и в башлыке. Дуня вздрогнула — знакомый голос. До ужаса знакомый голос! — Вонючий ты мужик, Ткачук. Определенно вонючий. На коммуну сморкаешься, на партизан плюешь, а чем ты сам живешь, спрашиваю?!

«Боженька. Боженька! Неужели?» — испугалась Дуня, напряжено приглядываясь к человеку на облучке кошевы.

— О, матерь божья!..

— Нет, погоди, кум! Кто тебе вдолбил в башку вредные рассуждения про коммуну и партизан? — гремит человек в шинели — Если бы не наши красные партизаны, Колчак мог бы в пять раз больше бросить белогвардейцев на фронт с Красной Армией. Известно это тебе или нет? А кто разгромил войско атамана Бологова в Белоцарске? Кто вымел белых ко всем чертям из Минусинского уезда еще до прихода Красной Армии в Сибирь? Попался бы ты ко мне в отряд, едрит-твою в кандибобер!..

— Матерь божья! Ратуйте! — воскликнул Ткачук и вожжи выпустил из рук.— Це ж сам Мамонт Петрович, га! А штоб мои очи повылазили — кума не признал.— Оглянулся на Дуню.— Не спишь, живая душа? Дивись, дивись, це ж твой мужик, Евдокея.

А Дуня все смотрела и смотрела на Мамонта Петровича, це веря собственным глазам. Он ли?! Неужели Головня? Как же она теперь? Фамилию его присвоила себе, чтоб навсегда откреститься от злополучного рода Юсковых. И вдруг!..

И у Мамонта Петровича дух занялся, аж в глотке жарко. Ничего подобного он, понятно, не ожидал. Вот так свиданьице подкинула судьба! Мало того, что перед ним Дуня — Евдокия Елизаровна, так еще и по фамилии Головня! Значит, не запаматовала Мамонта Петровича! А он только что сплеча рубил шашкою ее чернущие косы — ветки черемухи. И голову срубил бы под горячую руку.

«Едрит-твою в кандибобер, какая ситуация!»— только и подумал Мамонт Петрович, стягивая с рук шерстяные перчатки. Башлык зачем-то развязал, откинул его за спину; папаху поправил, шашку между коленями. А снег сыплет и сыплет. Ветерок скулит. А кум Ткачук подкидывает:

— А, гречь вам в гриву! Чаво ж вы очи устави́ли друг на друга, тай молчите, як те сычи у гае! Матерь божья, гляди на них! Чоловик с жинкою постричался, и хоть бы почоломкались, гречь им в гриву. Да я б жинку свою зараз затискал! За пазуху б ей руки, щерб жарко було, ей-бо! Чи у красных, кум, кровь не рудая, а билая да студеная? Ай-йй, гречь вам в гриву!

— Боженька! Боженька! — едва-едва выдавила из себя Дуня, глядя на Головню, возвышающегося на облучке, как памятник на постаменте.

— Евдокия Елизаровна,— натужно провернул Мамонт Петрович; за всю свою жизнь он еще ни разу не целовал женщину.— Думать о том не мог, что встречу вас, следовательно, на дороге, в данной ситуации.

— Ще це за ситуация, кум?

— Мамонт Петрович! Если бы я знала... я бы... я бы не посмела фамилию вашу,— бормочет Дуня.— Случилось так... не могла оставаться Юсковой... кругом все тычут в глаза... Юскова, Юскова... взорвала своих родных бомбами...

— Дивись на них, нибо! — воскликнул неугомонный кум

Ткачук.— Друг друга навеличивают, як ти свергнутые паны. Геть, сивый!..

— Я... я напишу заявление...

— Геть, геть, сивый! Ннн-о! А щоб тоби копыты поотваливались!.. Они вже бегут! Один до лиса, другой до биса. Цоб мене!

Мамонт Петрович окаменел на некоторое время. Он слышал, что ему говорила Дуня, а высказать себе не мог. Да разве он в чем-то попрекает Евдокию Елизаровну? Но в данной диспозиции боя, так сказать, он еще не сообразил, с какого фланга надо начать атаку.

— Боженька! Пусть я останусь Юсковой... если... если у меня такая злая судьба...

— А, мать божья! Дуня, бери мою хвамилию, бодай ие комар. Хай я не партизан — гречь им в гриву! Но хвамилия Ткачука добрая. И будимо мы тебя кохати, Дуня, як ридную дочку, ей-бо! И я, и Гарпина, Ивась, старший, Павло, Микола, Саломея, Хведосья, Анютка, Аринка малая. Все зараз будимо тебе риднее ридных, бодай нас комар!

Дуня расплакалась от таких простых и сердечных слов Ткачука, и сам Ткачук вытирает слезы на рукавицы, а Мамонт Петрович, окончательно сбитый с толку, выпрямившись аршином на облучке, тарашится на них, машинально ухватившись за эфес шашки.

Ткачук заметил, что кум Головня схватился за шашку, и пуще в слезу:

— Рубай нас, кум Головня! Рубай шашкой.

— Едрит-твою в кандибобер! Замолкни сей момент! — взыграл на самых высоких нотах Мамонт Петрович, только бы подавить в себе растерянность и великое смущение.

— Рубай нас, кум! Рубай! Який ты есть...

— Замолкни, Ткачук!

— Мать божья, як мене змолкнуть, колысь рядом слезы точит живая душа, и нима у ней малой хвылины, яка б защитила ие! Не повезу я тебе дальше, товарищ Головня. Не можно! Тпрру!

И тут произошло совершенно невероятное, к чему никак не подготовился речистый кум Ткачук: Мамонт Петрович сграбастал его и выбросил вон в снег. «Рааа-гуйте!» — заорал кум Ткачук, а Мамонт Петрович никакого на него внимания. Опустился рядом с плачущей Дуней, неловко обнял ее вместе с дохою и сказал, что он окончательно рад, что встретил ее на дороге.

— В данной ситуации, как я тебе дал слово, прямо заявляю, что я имею полную ответственность,— трубил Мамонт Петрович, будто Дуня была глухая.

— Не надо! Не надо! — испугалась Дуня.— Я сама кругом зануталась.

— Никакой путаницы. Жить будем, как я дал слово.

— Чи можно мене сидать в коншеву? — спросил кум Ткачук.

— Садись да молчи. Упреждаю.

— Добже! — Ткачук занял место на облучке — Геть, сивый! Нино!

Поехали.

VI

Едут...

Месяц копытами ночь со снегом и волглым ветром.

Едут к живым в жилое.

Дуня пожаловалась Мамонту, что ее всю трясет и она никак не может согреться.

На этот раз Мамонт Петрович проявил сообразительность. Поближе, поближе, вот так; одним теплом живо согреемся, и таежная лань — долгожданная лань прильнула к нему, а кум Ткачук укутал их сверху дохою, довольный, что грозный Головня наконец-то смягчил свою партизанскую душу и слился с жинкою; геть, сивый! Геть!

А под дохою в угревье свой мир и свои сказки-побаски...

— Боженька! Как все неожиданно произошло,— лопочет Дуня, пригретая Мамонтом Петровичем, и он отвечает ей:

— Очень даже великолепно произошло. Теперь я окончательно и бесповоротно воскрес из мертвых. За такую ситуацию я бы еще три года пластался на позиции.

— Не надо больше позиций, Мамонт Петрович. Я так рада, что вы вернулись. Если бы я знала, что вы живой... но я теперь не одна...

— Само собою, Дуня. Нас теперь двое. Окончательно и бесповоротно,— ответил Мамонт Петрович и, призвав на помощь всю свою отвагу и отчаянность, поцеловал Дуню в щеку, а Дуня лопочет, что она не одна совсем в другом смысле; она беременна

— У меня будет ребенок. Нет, нет! Я не замужем. Он убит бандитами. Я только что узнала в Каратузе. Он был командиром Минусинского отряда чон и погиб в бою с бан-

дою Ложечникова. Сергей Петрушин, — соврала Дуня. Надо же кого-то назвать отцом своего будущего ребенка. — Он мне говорил, что вместе с вами был у Щетинкина.

— Петрушин? Сергей Петрушин? Очень даже великолепно помню, — ответил Мамонт Петрович. — Так, значит, он был командиром отряда чон? В нашей крестьянской армии он командовал всей нашей артиллерией. Из унтер-офицеров. Справедливый большевик и полностью за мировую революцию. А тебе, Дуня, скажу так: тут никакой твоей вины нету. Такое наше время. Если будет ребенок — само собою будет, вырастим, следственно. Никаких разговоров быть не может.

— Боженька! Я такая несчастная! — еще теснее прижалась Дуня к Мамонту Петровичу, вдруг вспомнив не Сергея Петрушина, погибшего от рук бандитов, а Гавриила Иннокентьевича Ухоздвигова. Но разве посмеет она сказать грозному партизану Головне, что ребенка ждет вовсе не от Петрушина, а от Ухоздвигова!

Хорошо Мамонту Петровичу сидеть в обнимку с Дуней; таежная лань, у которой так красиво выгибались ладони лодочками, и сама она в свои пятнадцать лет была нетерпеливая, призывно-ищущая, наконец-то угрелась под нолою его шинели, и губы ее жаркие, жалищие будто накалили до белого свечения сердце кузнеца, впору хоть подкову из него куй, и Мамонт Петрович, впервые вкусив сладость женских губ, онянел и до того размягчился, что готов был примириться со всем белым светом. А со стороны, как бы с другой планеты, доносится песня кума Ткачука:

Ой, хмелю ж мий, хмелю,
Хмелю зелененький,
Де ж ти, хмелю, зиму зимував,
Що й не развивався ..

Ой, сину, мии сину,
Сину молоденький .
Де ж ти, сину, ничку почував,
Що й не разувався...

Поет кум Ткачук, радуется кум Ткачук в предвкушении свадьбы грозного кума Головни. Мерин винтит хвостом, а рыси не прибавляет.

На дороге слышалось гиканье — кто-то ехал следом.

— Эй, с дороги! С дороги!

Ткачук свернул в сторону. Кто-то пролетел на тройке,

впряженной гусем. В кошеве ехали четверо, торчали пики винтовок. И еще пара лошадей, впряженных в сани. Ткачук разглядел пулемет.

— Матерь божья, гляди, кум!

Еще одни сани с пулеметом и люди с винтовками. И еще такие же сани. Конные в полшубках. Карабины за плечами, при шашках, только копыта пощелкивают. Карабины, шашки. Рысью, рысью, рысью.

Ткачук притих на облучке, сгорбился; Мамонт Петрович успел пересчитать конных — семьдесят пять всадников.

— Мабуть, казаки, га?

Дуня слышала в больнице Каратуза, что позавчера буд-то восстали казаки в Саянской и Таштыпской станицах.

Мамонт Петрович подумал вслух.

— Если это банда, чоновцы в Белой Елани дадут им бой.

— Скико, кум, тих чонов у Билой Илани? Чи тридцать, чи сорок.

— Без паники. Поехали. Если услышим выстрелы, сообразим, как быть в дальнейшем.

Выстрелов не было, и они поехали в деревню мимо кладбища. По другую сторону от кладбища, среди голых вековых берез, чернело пепелище сожженного дома Ефимии Аввакумовны Юсковой — белые сожгли...

У первой же избы — присковой забегаловки — поперек улицы стояли сани с пулеметом. Лошади кормились возле изгороди. Трое с карабинами стояли на середине улицы.

— Стой! Кто едет?

Подошли к кошеве. Мамонт Петрович накинул на себя доху, чтоб оружия не было видно. Ткачук сказал, что он здешний и к нему в гости едет кузнец с жинкою.

— Кузнец? Папаха на нем офицерская. И шинель под дохою. А ну, руки вверх! Без шуточек. Офицер?

Дуня кого-то узнала:

— Иванчуков? Не признал меня? Евдокия Головня. А это Мамонт Петрович Головня. Мы его считали погибшим, а он вот вернулся из армии. А я испугалась — не казаки ли!

— Головня? А документы есть, что вы — Головня?

Мамонт Петрович достал документы. Чоновец в полшубке и в шапке-ушанке попросил товарища посветить спичками.

— Ого! Награду имеете от Реввоенсовета республики? Здорово! Просим извинения, товарищ Головня. Про вас я много слышал. Тут у нас сейчас военное положение. Ожи-

дается налет казаков. Главарей банды собираются отбить. Ну, вот. Товарища Гончарова знаете? Он у вас был партизаном. Сейчас он начальник ОГПУ. А председатель ревтрибунала — Кашинцев, из Красноярска. В школе заседает трибунал. Судят главарей. Может, заедете к нам в штаб? Командир отряда, Сергей Петрушин, убит. Знаете? Ну, вот. Так что извините, товарищ Головня.

Когда отъехали от чоновцев, Ткачук сказал:

— Колысь тико кончится лютая хмара, грець ей в гриву. Э Полтавщины пишут: то один батька литае, то другой, то чоны, а як людям жити?

— Раздавим буржуазную гидру и жить будем,— заверил Мамонт Петрович, стоя в кошеве, как фараон в двухколесной таратайке. Дуня посматривала на него с некоторым страхом — не шутка быть женою грозного Мамонта Головни! — Заедем в штаб чона. Как ты, Дуня?

— Я так себя плохо чувствую, Мамонт Петрович,— пожаловалась Дуня.— Три месяца вылежала в больнице. Не знаю, пустит ли меня в дом Меланья Боровикова. Я у них стояла на квартире, до того как меня подстрелили на улице.

— Отвези, Ткачук, к Боровиковым. Подними Меланью и скажи от моего имени, чтоб все было как полагается. Без всяких старорежимных фокусов и тополевых запретов. Ясно? И чтоб самовар был готов к моему приходу. Чин чином. Поезжай. Мешок мой занесешь в горницу жены.

Дуня не ослышалась — Мамонт Петрович так и сказал: «в горницу жены». Впервые Дуню назвали женою, да еще кто — Мамонт! Не радость, а мороз от головы до пяток. А что скажешь?!

VII

Как будто ничего не переменялось за три года на большаке стороны Предивной, а Мамонт Петрович не узнает улицу. На пепелище Потылицыных чья-то изба поставлена, а рядом новехонький, еще не отделанный, без наличников и ставней крестовый дом Маркела Зуева — одиннадцать полукруглых окон в улицу. Такой поздний час, а в пяти окнах горит свет — розовые шторы, отчего в улицу сочатся кровавые отсветы. Еще три новых дома на пепелищах — застраиваются жители Предивной. В доме бывшего ревкома — сельсовет, и тут же штаб части особого назначения.

Сани, сани, на крыльце станковый пулемет, и на санях пулеметы; красноармейцы с винтовками, часовые возле ворот и в улице. Захваченные бандиты: полсотни казаков, тридцать мужиков из тех, кому Советская власть прищемила хвост за колчаковщину, и шесть женщин с ними, находились под усиленной охраной в сельсовете и в школе, где когда-то Мамонт Петрович размещался со своим первым ревкомом. В одной из комнат заседал ревтрибунал. Мамонта Петровича не допустили на закрытое заседание трибунала. Судили главарей банды: полковника Мансурова, подьесаула Коростылева, хорунжего Ложечникова и его верную сподвижницу, начальницу штаба банды — Катерину, и сотника из казачьего Каратуза Василия Шошина.

В ограде полыхал большой костер из старых бревен — грелись красноармейцы. Мамонту Петровичу приятно было, как на него с завистью поглядывали красноармейцы: шутка ли, командир партизанского отряда и недавний кавалерийский комвзвода в Пятой армии! Все уже знали, что у Мамонта Петровича золотая шашка Реввоенсовета и парабеллум от Главкома Пятой армии. Мамонт Петрович сожалел, что орден Красного Знамени привинчен у него на френч — на шинель бы его, чтоб все видели.

Ходит Мамонт Петрович вокруг костра, позвякивает серебряными шпорами. Так и надо держаться командиру мировой пролетарской революции! Чтоб видела мировая контра, каковы теперь командиры Красной Армии. Не слыкивали про такую армию? Ну, так вот, понюхайте, чем пахнет ее увесистый кулак! А если и того мало — получите такой пинок под зад, что лететь будете кубарем через моря и океаны. Так-то!

Около часа похаживал Мамонт Петрович, покуда трибунал не вынес свой приговор особо опасным государственным преступникам — расстрел.

— Мамонт Петрович! Ну и ну! Здорово! — подбежал к нему Гончаров, его бывший партизан, маленький, верткий, в длиннополой шинели внакидку, в папахе. — Обстановка сложилась... Знаешь? Ну вот. Откуда ты? Мы считали тебя погибшим, согласно сообщению из Пятой армии. Надолго к нам? Да что ты! Ну, нет, Мамонт Петрович. Рано тебе демобилизовываться. Здесь мы тебя мобилизуем — будешь командовать частями особого назначения. Надо же покончить с бандами.

Мамонт Петрович обиделся, что его не допустили на за-

седание трибунала, и потому, разговаривая с Гончаровым, поглядывал на него с некоторым пренебрежением с высоты своего двухметрового роста. Ишь ты, как полез в гору его бывший партизан!

— Засекретились, чиновники! Где же могли спустить меня на заседание трибунала — субординация не та!

— Да что ты, Мамонт Петрович! Я только что узнал. И даже не поверил. Не может быть, думаю. Такая неожиданность.

— Само собой. Неприятная.

— Да брось ты! С чего взял, что неприятная?

— Хотел бы я посмотреть на главаря Ложечникова.

— Увидишь. А Катерину помнишь?

— Ложечникову? Откуда я ее мог знать. Я и самого Ложечникова в глаза не видел.

— Почему Ложечникову! Она Можарова. Ефима Можарова жена. Из Иланска учительница. В Стенном Баджее, помнишь?

— Та Катерина? Как же! — Мамонт Петрович великодушию помнит красавицу Катерину Можарову. Она еще выхаживала его, когда он валялся в тифе. Так разве она...

— Она самая! Если бы мы тогда знали. Бой в Вершино-Рыбной, под Талой; когда растрепали манцев еще до нашего прихода к ним, бой под Григорьевкой, когда мы шли в Урянхайский край, — помнишь, как наш полк тогда разделили белогвардейцы? Все это на совести Катерины. Она была заслана контрразведкой к партизанам еще осенью восемнадцатого года.

— Едрит-твою в кандибобер!

— В двадцатом, когда в Красноярске захватили документы контрразведки, все разом открылось. Сам Можаров был тогда в Красноярске. Кто ее предупредил, неизвестно, но она успела сбежать. В банде Мансурова была начальницей штаба, и у Ложечникова была начальницей штаба. Такие вот невеселые дела. Трибунал приговорил ее к расстрелу.

Закурили.

— Хорошо повоевал?

— Нормально.

— Холостуешь?

Нет, Мамонт Петрович не холостует. Он женат, и жена его находилась здесь — Евдокия Елизаровна Головня.

Маленький Гончаров принял это за грустную шутку.

— Понимаю! Присвоила твою фамилию, а мы здесь уши

распустили. В ОГПУ было достаточно документов, чтобы ее взять и определить куда следует, да я прошляпил. Завтра я ее арестую в Каратузе. Вот сейчас здесь Ухоздвигов. Это же...

— Па-азволь! — отрубил Мамонт Петрович.— Мою жену арестуешь? Пока я жив, и орден Красного Знамени горит у меня на груди, и золотое оружие Реввоенсовета республики вот здесь, а парабеллум Главкома Пятой армии вот здесь находится,— никто пальцем не тронет мою жену, Евдокию Головню. Ясно?

Маленький Гончаров чуть было в землю не врос под таким энергичным натиском Мамонта Петровича. Такой же, каким был в партизанах! Но то, что у Головни орден Красного Знамени и наградное оружие, этого Гончаров не знал.

— Не горячись, пожалуйста. Вопрос очень серьезный. Есть в ОГПУ достаточно документов относительно Евдокии Юсковой. На заседании трибунала бандиты показали...

— Юскову не знаю! Есть Евдокия Головня. Мало ли какие показания не дадут бандиты перед тем, как их в распыл пустят. А мне доподлинно известно, как в сентябре прошлого года в доме вдовы Клавдии Ржановой в Старой Копи произошла драка между Ложечниковым и Ухоздвиговым, а так и Катерины с Евдокией Елизаровной.

Мамонт Петрович рассказал все, что узнал от вдовы.

У Гончарова не было таких данных. Ну, а про то, что Евдокия Елизаровна подвела банду под чоновские пулеметы — ерунда! Банду выдал некий Максим Пантюхич из бывших партизан-анархистов, а Евдокия Елизаровна, наоборот, пыталась спасти бандитов. Ее связь с Ухоздвиговым доказана. Она здесь не случайно осталась, а из-за приисков. Имеется донесение Филимона Боровикова...

— Хэ! — отмахнулся Мамонт Петрович.— Филимон Боровиков на кого угодно донесет, только бы свою шкуру спасти. Где он сейчас? Ямщину гоняет в Красноярске? Хэ! Это же такой космач! Сам Тимофей Прокопьевич брал его за жабры еще когда! А ты вот что скажи,— Мамонт Петрович надвинулся на маленького Гончарова, взял его за воротник шинели, подтянул к себе,— ты вот что скажи, служивый из ОГПУ: кто нас спас от полного уничтожения здесь, в Белой Елани, в ту масленицу? С чем мы вышли, числом в тринадцать лбов из тайги, чтоб освободить заложников? Какое вооружение имели в наличности? Какое количество патронов к винтовкам и берданкам? Без пороха и пистонов

к дробовикам! Помнишь или нет, начальник? А кто нас выручил в ту ночь? Святой дух или архангел Гавриил на золотых крылышках? Не ты ли первым говорил, не одолеть нам казаков, а мы, двенадцать, заставили тебя идти вместе с нами. Помнишь или вылетело из башки? Кто нас выручил в ту ночь? Кто? Кого я на руках вынес из амбара Боровиковых?

— Не будем шуметь, Мамонт Петрович,— оглядываясь, сказал Гончаров.— Нас слушают красноармейцы.

— Слушают? А кто же должен нас слушать?

— Да пойми же...

— Преотлично все понимаю, Гончаров, и переводчика с японского языка на русский не потребую,— рубил Мамонт Петрович.— И прямо заявляю: если посмеете арестовать мою жену — я махну к Ленину в Совнарком. Сей же момент! Я еще сумею постоять за себя и за свою фамилию Головни. Это тебе раз. На моих глазах прошла жизнь Евдокии Елизаровны, и я превосходно помню, как изничтожил ее сам Юсков, какое изгальство она претерпела. А время какое было? Мотались не такие головы из стороны в сторону! Покрепше! Это так или нет? А ты с нее одной хочешь спросить за весь буржуазный класс и за все шатания-мотания, какие она пережила за гражданскую? Ломали ее так и эдак, или мало того — теперь мы будем доламывать? Это будет два. Она моя жена — это будет три. Ясно?

— Ясно. Пусть будет твоя жена,— сдался Гончаров, и Мамонт Петрович отпустил его душу на покаяние.— Придется мне сейчас говорить с членами трибунала. Вынесено определение...

— Я сам буду говорить!

— Нет уж, позволь, Мамонт Петрович. Ты не член ревтрибунала. Тут я буду говорить. Не беспокойся, не подведу. Жена так жена. Только я не хотел бы, чтоб ты, мой командир по партизанскому отряду, оказался в таком же положении, в каком сейчас Ефим Можаров. Это тоже наш партизан и большевик с девятьсот десятого года. Машинист паровоза. Отец его казнен в Иланске в девятьсот пятом — биография!.. А жену — жену приговорили к расстрелу. И он был на заседании ревтрибунала. Легко или нет? И он тоже доверял ей за все время партизанства у Кравченко. А сколько мы потеряли товарищей, когда белые громили нас? Белым все было известно! Каждый наш патрон, каждое движение! А сколько она со своими бандитами порешила людей за три

последних года?! А ведь учительница! Под большевичку играла! Так или нет?

Мамонт Петрович и тут нашелся:

— А у тебя есть такие данные, чтоб эта самая учительница взорвала бомбами карателей в собственном доме, где находилась ее мать и сестра? Есть такие данные?

Нет, таких данных не было и быть не могло.

Гончаров ушел в школу говорить с членами ревтрибунала.

Мамонт Петрович бряцал шпорами.

VIII

А снег все сыплет и сыплет. Всю ночь сыплет снег. Прорва мокрого снега. И ветерок к тому же. Ветерок. Ветерок.

Непогодь.

Свету белого не видно.

Грядет ли утро? И будет ли день?..

Непогодь.

В обширной ограде кони, кони под седлами, присыпаемые снегом.

Мамонт Петрович думает.

Чоновцы в шинелях, в полушубках, шубах, с карабинами и винтовками вокруг костра, и над всеми витает напряженное ожидание чего-то важного, чрезвычайного; все знают, что пятеро главарей банды будут расстреляны.

Мамонт Петрович все так же похаживает вокруг костра, постукивая сапогом о сапог — прихватывает пальцы ног, и кажется ему, что он не в ограде бывшего ревкома, а в Степном Баджее на Мане, среди партизан в самые тревожные дни Степно-Баджейской республики, и там он встретился с Ефимом Можаровым и с его красавицей женою, Катериной Гордеевной. Он помнит ее лицо — улыбающееся, круглое, доброе, и такие выразительные синие глаза. Синие? А не карие? Кажется, карие. Точно. Катерина утешает его: «Вы такой могучий, Мамонт Петрович. Обязательно выздоровеете. Мамонты от тифа не умирают». И улыбается, улыбается оскалом белых и крупных зубов.

Из школы вышли четверо — прокурор уезда в дохе и длинноухой шапке, председатель ревтрибунала в шубе и в папахе, Гончаров в шинели и в папахе и Ефим Можаров — начальник милиции из Каратуза.

Гончаров представил Мамонта Петровича — боевой командир партизанского отряда, недавний комвзвода Пятой армии, краснознаменец и все прочее, и Головня пожал руку всем трем; Ефим Можаров почему-то сразу отошел в сторону — ему нелегко, понятно, к расстрелу приговорили женщину, которая жестоко обманула его. Как и что пережил он на заседании ревтрибунала — никому не известно; он стоял в стороне от всех и беспрестанно курил прямую трубку. В кожанке под ремнем с кобурой, в кожаных штанах и в сапогах, в белой смушковой папахе, точно такой, как у Мамонта Петровича.

Мамонт Петрович взглядывал на Ефима Можарова. Он его великолепно понимал, но ничем утешить не мог — такое время. Борьба все еще идет по городам и всям своей железной метлой, и тут ничего не попишешь! Надо вытянуть и этот тяжкий воз, чтобы наконец-то установить порядок и начать новую жизнь.

Можаров сам подошел к Мамонту Петровичу, когда трибунальцы вернулись в школу.

— Так, значит, вернулся? Не ожидал, что мы еще раз встретимся и в таком вот положении. Знаешь?

— Угу,— кивнул Мамонт Петрович, закуривая. Поглядел на осунувшееся лицо Можарова, посочувствовал:— А ты держи голову тверже. Если она столько лет гнула свою контрреволюционную линию, какой может быть разговор! А может, что не так? Есть ли определенные доказательства?

— Хватает, чтобы сто раз расстрелять,— глухо ответил Можаров, кося глаза в сторону.— Хватает!

— Гончаров сказал, что ты сам ее разоблачил?

— Почему «сам»? — Можаров выбил трубку и снова набил табаком. Долго прикуривал.— «Сам»! Хэ! Документы колчаковской контрразведки ЧК разбирало полгода. В июле так, когда я был в Красноярске, вызвали меня в ЧК. Она фигурировала под именем Лидии Смородиной. Ну, ее собственноручные сообщения, донесения, шифровки, и вдруг нашли приказ о представлении к награде Лидии Смородиной — Екатерины Григорьевны Шошиной — ее девичья фамилия. Она ведь родом из Каратуза, казачка! Я в тот же день махнул в Иланск — нету. Успела скрыться. Куда? Неизвестно. И сына бросила. Потом из Минусинска поступило сообщение о банде Мансурова — в двадцатом осенью, в октябре, кажется.

Помолчал, раскуривая трубку.

— Ну, вот. И я прилетел в Минусинск и с той поры здесь работаю. Теперь в Каратузе начальником милиции. Два года мотался с чоновцами по уезду, но так мне и не удалось схватить ее. Я бы ее сам! Собственноручно! Ну, да о чем говорить! Ну, а ты как? Демобилизовался? Останешься здесь или махнешь к себе в Россию? Ты из России, кажется? Из Тулы? В Тулу уедешь?

Нет, Мамонт Петрович не собирается в Тулу.

— Ты сказал — Григорьевна? Она же Гордеевна?

— Гордеевна. А в приказе генерала Шильникова — Григорьевна. Какой-то писарь переврал. Какое им дело, как ее величать? Попалась птичка, стой, не уйдешь из сети. Не расстанемся с тобой ни за что на свете. Как в песне.

— Она призналась?

— Хо! Призналась? Не те слова. Послушал бы, какую она речь закатила в трибунале. Ого! Патриоткой себя величает. Ах да о чем толковать!

Махнул трубкой — искры посыпались.

— Сын у меня растет. В Иланске сейчас у моей матери, — вдруг вспомнил Ефим Можаров. — Я ведь с ней жил с зимы четырнадцатого. Машинистов такого класса, как я, на фронт не брали. Водил пассажирские. Она у нас начала учительствовать. Ну вот. Сын растет. Хорошо, что он в Иланске сейчас. В банде у нее еще родился ребенок. Девчонка будто. Ну да, девчонка. А у кого оставила — не сказала.

Можаров оглянулся на школу, перемял плечами.

— Что они тянут, трибунальцы? — как будто сам себя поторапливал. — Казаки могут налететь с часу на час. Когда мы их только призовем к порядку? И нэп как будто самое подходящее для них, а все еще взбуривают и пеняются, сволочи чубатые!

Из школы вывели приговоренных — четверо мужчин, связанных попарно одной длинной веревкой, и пятую Катерину — ее не связали.

Можаров сразу же отошел от Мамонта Петровича.

Подошел Гончаров — дымит сигаркой самосада.

— Самая неприятная обязанность — вот эти дела, — сказал как бы между прочим. Мамонт Петрович спросил, который атаман Ложечников. Гончаров указал на левого в первой паре. Правый — полковник Мансуров.

— Понятно! — кивнул Мамонт Петрович и пошел взглянуть на карателя. Так вот он каков, недобитый фрукт белогвардейский! Здоровый мужик в шубе и в шапке, морда круглая, упитанная — не успела исхудать, глаза смиренные, открытые, в некотором роде добряк, если судить по круглой физиономии с курносим носом.

— Ложечников?

Ложечников чуть дрогнул, приглядываясь к высоченному военному, которого он принял за какого-то нового, только что подъехавшего комиссара.

— С кем имею честь?

— Мамонт Головня.

— Ма-амонт Го-оловня?!

Все пятеро — четверо мужчин и Катерина, уставились на Мамонта Петровича.

Катерина не опустила голову — ответила прямо и твердо на взыскивающий взгляд Головни. Она, конечно, узнала его, бравого партизана. И он ее узнал сразу. Из-под теплого платка выбилась прядка прямых волос на ее бледную щеку. Резко выделяются черные, круто выгнутые брови, пухлый маленький рот, утяжеленный подбородок с ямочкой, круглолицая, одна из тех, про которых говорят — русская красавица. У партизан в Степном Баджее она была писаршей в штабе, и не раз сам Кравченко, главнокомандующий крестьянской армией, посылал ее в опаснейшие рейды в тыл белых за медикаментами и перевязочными материалами, и она всегда возвращалась благополучно. Говорили, что она находчивая, смелая, отважная, а было все не так — белые сами помогали доставать ей медикаменты, а взамен получали от нее все данные о партизанской армии. Они все знали, подготавливая июньский сокрушительный удар, — только чудом спаслась партизанская армия, бежав с берегов Маны в глубь непроходимой тайги, через лесной пожар за две сотни верст в Минусинский уезд, где партизан никто не ждал.

Мамонт Петрович хотел спросить Катерину, почему она, столь важная разведчица белых, не осталась на Мане, когда партизаны беспорядочно и суматошно бежали в тайгу?

Но он спросил совсем не о том:

— Так, значит, Катерина Гордеевна? М-да. Не думал не гадал о такой встрече. Один вопрос у меня к вам, последний. Евдокию Елизаровну помните?.. Из-за чего вы дра-

лись с ней в доме вдовы Ржановой, что в Старой Копи?

Мамонт Петрович говорил спокойно, как будто размышлял вслух над трудным вопросом, и это его спокойствие передалось Катерине, смягчив ее окаменевшее сердце. Она не ждала, что с нею кто-то из этих красных может так вот по-людски заговорить, как будто трибунал не приговорил ее к расстрелу.

— В Старой Копи? — переспросила она дрогнувшим голосом.— Помню, помню. Осенью прошлого года это было. Глупо все вышло. Ужасно глупо. Все были издерганы после боя за Григорьевкой. Если увидите Евдокию Елизаровну — пусть она простит меня. Теперь я знаю, кто подвел нас под пулеметы чоновцев. Он еще свое получит. А Евдокия Елизаровна... Дуня... Она сейчас в больнице в Каратузе. Кто ее подстрелил в рождество — не знаю. Никто из наших не стрелял в нее. Никто. Это я хорошо знаю. Пусть не грешит на нас. А впрочем!.. Ее участь такая же, как и моя. «Мы жертвами пали в борьбе роковой!»...

— Это не про вас! — оборвал Мамонт Петрович.

— Как знать! Про всех, наверно. Ах, да какая разница!.. Я хочу сказать... Дуня ни в чем не повинна, хотя и была с нами. И с нами, и не с нами.

— В каком смысле?

— В прямом. Она ни с кем. Ее просто смяли и растоптали. А притоптанных не поднимают.

— Она моя жена! — вдруг сказал Мамонт Петрович.

Катерина посмотрела на него непонимающим взглядом.

— Жена? Дуня? Ваша жена? Да вы шутите! Ничья она не жена. После того что с нею случилось — она ничья не жена. Ничья. Она не живая. Изувечена.

— Воскреснет еще,— сказал Мамонт Петрович, не вполне уверенный, что Дуня может воскреснуть из мертвых, но отступить ему не дано было — в самое сердце влипла.

— Дай бог! — натянуто усмехнулась Катерина, удивленно разглядывая Мамонта Головню. Чудак, и только. Ах, если бы побольше было чудачков на белом свете! Но она об этом не сказала Мамонту Петровичу.— Боже мой, как все запутано! Как все запутано! А вы... забыла, как вас величать... не судите меня строго. Я к вам, если помните, не питала зла. Нет! Если помните, конечно. И если разрешено вам помнить,— жалостливо покривила пухлые губы.— Я исполнила свой долг перед Россией, которую... так жестоко,

так жестоко растоптали. Будет время, «подыметя мститель суровый, и будет он нас посильней!..»

— Это песня тоже не про вас,— перебил Мамонт Петрович.

Катерина покачала головой:

— Еще никто ничего не знает! Никто — ничего! Да, да! Не надо быть такими самоуверенными. Ах да. У меня так мало осталось времени! Так мало!.. Я хочу... извините... попросить вас... поговорите, пожалуйста, пожалуйста! С Ефимом Семеновичем. С Можаровым. В трибунале я не могла... последняя моя просьба... разбередили вы мне сердце, что ли!.. О чем я? Ах да! Про сына. Пусть он ничего не говорит обо мне сыну — не надо! Неумно отравлять жизнь сыну. Вы меня понимаете? Это наша борьба. Наша кровь за кровь. А у сына... я еще ничего не знаю! Кем он будет, рожденный в мае пятнадцатого года? Кем? Я ничего не вижу. Тьма! Тьма! Если бы мы знали наше будущее!.. О господи!.. Как мне стало тяжело!.. Размягчили вы меня, что ли? Скажите, чтоб он не отравлял сердце сыну. И еще про дочь. У меня остается дочь. Полтора года девочке. Скажите ему... если он... Нет, нет. Это невозможно! Хочу сказать...

Катерина не успела договорить — подошел Гончаров. Шепнул Мамонту Петровичу, что он задерживает.

— Кого задерживаю? — не понял Мамонт Петрович и взглянул на Гончарова, а потом на конвой с винтовками наперевес — понял все и отошел в сторону.

Раздалась команда караула:

— Трогайтесь!..

Первая пара, за нею вторая тронулись с места, а потом и Катерина. Она так и шла с недосказанными словами на припухлых губах, в черном мужском полушубке, глядя вперед себя, в неведомое, мятежное, с ветром и мокрым снегом.

Трое чоновцев с винтовками наперевес шли впереди, по трое с боков и двое с карабинами сзади. Следом за ними — председатель ревтрибунала, прокурор. Гончаров бок о бок с Мамонтом Петровичем, и чуть в сторону, ссутулившись, втянув голову в плечи, Ефим Можаров в кожанке под ремнем. Руки он засунул в карманы.

А снег все сыпал и сыпал, как бы нарочно заметал следы.

Меланья не хотела пустить Дуню в дом, но кум Ткачук поговорил с нею, пригрозил грозным Головной, и хозяйке пришлось принять «ведьму квартирантку», самовар поставить и на стол собрать.

Филимона дома не было — на всю зиму уехал гонять ямшину куда-то в Красноярск.

Кум Ткачук посидел часок с Дуней, выпил с нею по чашке чаю и ушел, так и не дождавшись Головни: «Почивайте, Евдокея Елизаровна, и хай вам добрые сны привидятся».

Но куда уж там до добрых снов!

Подмывало под сердце — трибунал заседает! Утопят ее бандиты, особенно Катерина. Она ее щадить не будет. Все выложит: и про связь Дуни с Гавриилом Ухоздвиговым, и про то, что Дуня всем нутром была с бандой, и пусть, мол, ей будет то же самое, что и нам,— смерть!..

Страшно и постыло.

Ждала Мамонта Петровича — больше некого было ждать в столь тяжкий час жизни. Она примет его и, если надо, всплакнет о своей горькой доле, только бы он защитил ее от новой напасти. Не любовь, а страх и безысходность пеленали ее с Мамонтом Головной; не любовь, а страх прищемил сердце. Сколько раз взглядывала на часики — тики-так, тики-так, придет не придет...

Деревянная кровать, пара табуреток, две лавки, иконы в переднем углу с луковицей свисающей лампы, кросна с недотканными половиками, самопряха в углу с льняной бородой на прялке, большущий кованый сундук и мешок с вещами Мамонта Петровича.

В мешок не посмела заглянуть.

А что, если Мамонт Петрович не придет? Наверное, он там узнал всю подноготную про нее и скажет потом: «Ответ будешь держать перед мировой революцией, едрит-твою в кандибобер!»

Холодно.

Когда под шестком в избе в третий раз загорланил петух, Дуня надумала сама пойти в штаб чоновцев и в трибунал — пусть берут ее, только бы не мучиться в неведении.

Посмотрела время на ручных швейцарских часах — половина четвертого жуткой ночи!.. Горько усмехнулась сама над собою: «Вот уж счастливица, боженька! Нашелся

муж, назвал женою и, не переспав ночи,— убежал. Сдохнуть можно от такого счастья!»

Вышла на улицу в дохе,— если посадят, тепло будет. Не замерзает же в кутузке!

В калитке задержалась. Куда идти? Если уж сами придут, тогда другое дело. Что это? Кого-то ведут серединой улицы. Ближе. Ближе. Впереди красноармейцы чона в шинелях и в шлемах, с винтовками наперевес. Издали узнала Мамонта Петровича — спряталась за калитку, оставив ее чуть открытой. В оцеплении караула четверо со связанными руками, боженька! И Катерина с ними! Дуне страшно. Жутко. Доха не греет — до того трясет от мороза. Узнала маленького Гончарова, Можарова из Каратуза — начальник!.. Следом за всеми ехали на двух санях двое красноармейцев. К чему сани-то? Или их увезут куда-нибудь подальше? «Вот и отстрелялись на веки вечные! — подумала она.— Как теперь Катерина? Говорила, что она слезу не уронит перед красными. Сколько она партейцев самолично прикончила, и сама попалась».

Когда все скрылись под горою в пойму Малтата, Дуня прошла заплотом к высокой завалинке дома, поднялась, ухватившись за наличник, глядела вниз, в пойму, но ничего не увидела — снег, снег, метелица!..

Белым-бело, как в саване.

Вся жизнь представилась Дуне тесной, узкой, как тюремный коридор. Одни — лицом к стене, других ведут мимо, мимо. Она побывала с Гавриилом Ухоздвиговым в красноярской тюрьме — смотрели красных. Думалось тогда — прикончили большевиков. Навсегда! Само «красное» стало пугалом не для одной Дуни. А вот они — красные! Живут и вершат свой суд революции. Какая же сила подняла их — обезоруженных, полуграмотных, притоптанных и оплеванных важными господами?..

Понять не могла. Свершилось так, и все тут. Знать, такая судьба матушки-России!..

Х

Пути-дороги скрещиваются.

На скрещенных дорогах развязываются узлы, и сама вечность как бы останавливается перед днем грядущим.

Пятеро главарей банды прошли последний путь и стояли теперь невдалеке от берега Амыла лицом к лицу со своими

судьями и с теми, кому выпал жребий привести приговор в исполнение.

Четыре бандита, связанные одной веревкою, в сущности, не сегодня оказались связанными вместе, а давно еще, в пору Самарской директории и жесточайшей колчаковщины, когда каждый из них вершил казни над красными по своему опыту и разумению, не щадя ни женщин, ни стариков, ни малых детишек. Каждый из них мог бы соорудить себе пирамиду из трупов казненных. Они сами в себе вытоптали и огнем выжгли все человеческое и, конечно, знали, что их никто не помянет добром, а только проклятием и полным забвением; для них не было дня сущего и дня грядущего. И это они понимали, и потому им было страшно. До ужаса страшно.

Катерина в черном полушубке, неестественно выпрямившись и глядя вверх на отягощенное тучами небо, как будто шептала молитву.

Снег был глубокий и рыхлый, и главари банды увязли по колено в снегу.

Перед ними немо сторожили семеро чоновцев с винтовками наперевес.

В лесу на прогалине было необыкновенно тихо.

Темнели высоченные ели по берегу Амыла. Фыркали кони, впряженные в сани.

Один из красноармейцев светил фонарем «летучая мышь», и председатель трибунала читал приговор осужденным.

Каратель Коростылев втянул голову в плечи.

Хорунжий Ложечников не выдержал и крикнул: «Кончайте!» И выматерился.

Председатель трибунала продолжал читать.

Мамонт Петрович внимательно слушал, глядя на Катерину. Он и сам не мог бы себе объяснить, почему ему, бывалому партизану и комвзвода Красной Армии, было жаль вот эту женщину, столь отчужденную и далекую от него во всех отношениях.

Председатель трибунала спросил, какое будет последнее слово приговоренных.

— Не ломайте комедию, обормоты! — крикнул Ложечников.— Кончайте!

Катерина коротко взглянула на всех и почему-то опустила шаль с головы на плечи.

Ничего не сказала.

Полковник Мансуров, заикаясь от страха, напомнил, что он лично не казнил совдеповцев. Он-де не был министром в кабинете кровавого Колчака. «Произошла жестокая ошибка. Пощадите мою дочь, Евгению! Она ни в чем не виновна. Пощадите ее! Она ни в чем не виновна!»

— Заткнись, полковник! — крикнул Ложечников, но полковник все еще умолял, чтобы пощадил его дочь Евгению. Ложечников матерился.

— Заткните пасть этому волку! — не выдержал полковник. — Я прошу вас... прошу... о боже!.. помилуйте мою дочь!.. Пусть я достоин смерти с этими вот... бандитами. Но моя дочь, боже!..

Председатель трибунала ответил:

— Вашу дочь никто не собирается расстреливать.

— Дайте мне слово! — выкрикнул сотник Шошин. — Нас приговорили к смертной казни, а генералов почему не судили? Али помилуете? А еще большевиками прозываются!

— Будет суд над генералами, не беспокойтесь, — ответил Шошину председатель трибунала.

Мамонт Петрович спросил у Гончарова, про каких генералов говорит бандит?

Оказывается, в Таятах в женском староверческом скиту арестованы были два колчаковских генерала — Иннокентий Иннокентьевич Ухоздвигов и Сергей Сергеевич Толстов — князь, которых надо доставить в Красноярск.

— Где эти генералы?

— Здесь. В нашем штабе.

— А сколько всего бандитов?

— Восемьдесят шесть со скитскими. Игуменью взяли с монашками, а эти монашки — две жены бандитов: Ложечникова и генерала Ухоздвигова, а две — дочери. Одна — Мансурова, другая — генерала Толстова. В скиту у игуменьи был главный штаб банды.

К Гончарову подошел председатель трибунала. Переглянулись. Гончаров молча кивнул.

Настал последний момент...

— Го-о-отовсь!

Ложечников выматерился.

Полковник Мансуров громко сказал:

— Господи, помилуй меня! Спаси мою душу грешную! Евгению спаси, господи!

Гончаров скомандовал:

— По врагам мировой пролетарской революции и рабоче-крестьянской Советской власти — пли!

Раздался залп из семи винтовок.

Четверо упали тесно друг к другу.

С деревьев посыпался снег.

Катерина продолжала стоять, подняв согнутые в локтях руки на уровне плеч, ладонями от себя.

Густо пахло жженой селитрой.

Гончаров повернулся к красноармейцам, вскинул револьвер, скомандовал:

— По белогвардейской шпионке и начальнице штаба банды — пли!

И еще один залп.

Мамонт Петрович видел, как Катерина с маху оттолкнула от себя огненную жар-птицу, но жар-птица раскинула ее руки в стороны, клюнула в грудь, в самое сердце. Катерина так и упала навзничь с широко раскинутыми руками. И вдруг, совершенно неожиданно, как будто кто щелкнул бичом,— еще один выстрел...

Никто не ждал этого выстрела.

Мамонт Петрович быстро оглянулся:

— Едрит-твою в кандибобер, Можаров!..

Шагах в десяти от всех Ефим Можаров, как-то странно прижав руки к груди, согнувшись, сделал шаг, еще шаг и упал лицом в мягкий снег.

Один — лицом в землю. Другая — лицом в небо...

Все подбежали к Можарову. Он лежал скрючившись, зарывшись головою в снег. Папаха слетела. Мамонт Петрович повернул Можарова на спину. В руке зажат наган. В зубах — трубка. Потухшая трубка. Кожанка расстегнута. Никто не видел, когда он снял ремень и расстегнул кожанку. Выстрелил себе в грудь, точно, без промаха. Наповал. Снег быстро потемнел от крови. Под тусклым светом фонаря лицо Можарова казалось чугунным, как будто обуглилось.

Первым опомнился молчаливый прокурор:

— Как мы могли прошляпить, товарищи? Нельзя было допускать его на заседание трибунала.

— Он держался нормально,— сказал Гончаров.

— Головы, туды вашу так! — выругался Мамонт Петрович.— Бывшую жену вывели на расстрел, и — «нормально!» У него, может, нутро перевернулось за эту ночь. Он говорил мне про сына, который сейчас у него в Илан-

ске у матери, а у самого в лице туман и отчаянность. — Может, нам не все известно? — Гончаров переглянулся с председателем ревтрибунала. — Я говорил: как могло произойти, что он с четырнадцатого года по февраль двадцатого проживал с нею, так сказать, одну постель мяли, а потом вылезло наружу из захваченных документов контрразведки: жена — белогвардейская шпионка! Тут что-то...

— Голова! — оборвал Мамонт Петрович. — А ты подумал про такую ситуацию: если бы шпионка не сумела обмануть одного человека, который доверял ей и ни в чем не подозревал, тогда как бы она могла обмануть всех нас? Я прееотлично помню, как она ухаживала за мной, когда я лежал в тифу. Подбадривала, проклинала всех белых и все такое, а сама — белая! Знал я про то или нет? Мог ли подумать? Хэ! А вот почему она ничего не сказала в последнем слове после приговора — загадка. Глянула на всех, как с отдаленной планеты, и молчок. Я так думаю: перед смертью она, может, первый раз посмотрела на себя и на бандитов не криво, а прямо. А что увидела? Ни сына у ней, ни дочери, ни земли, ни неба! Докатилась до последней черты. Я это так понимаю. И сам Можаров от стыда и позора, что он когда-то доверял такой бандитке и сына заимел от нее, пустил себе пулю в грудь. Душа не выдержала. Или вы думаете, что у коммунистов чугунные души?

Все примолкли, а Мамонт Петрович дополнил:

— В душу к нему не заглянули, вот что я вам скажу, трибунальцы!

Про душу-то и в самом деле запомнили.

А возле берега, сажени за три, лежала Катерина. Ноги ее увязли в снегу и согнулись в коленях. Будто она куда-то шла, шла, притомилась, села на снег, а потом легла на спину, уставившись в небо. Чоновец с фонарем подошел к ней. Пятно света упало на ее бледное лицо, обрамленное рассыпавшимися темными волосами. На ее распахнутые ужасом глаза падали снежинки и тут же таяли, стекая от уголков век крупными слезинками по вискам, словно она и мертвая плакала. Все ее лицо покрылось капельками, будто вспотело. Белела полоска зубов. Чоновец в буденовке наклонился к ней и пальцами прижал веки, закрывая глаза. Веки были холодные, но когда пальцы скользнули по щеке, он испуганно отдернул руку — щека была еще теплая. Пятно света переместилось на полушубок, застегнутый на пуговицы. Крови не было. Ни капельки. Подошел еще один крас-

исармеец, и первый с фонарем сказал, что надо ее повернуть. И тот повернул. На снегу под спиною натекла кровь, и в полушубке вырваны были клочья овчины...

— Отлетала в бандитах, шпионка! — сказал тот, что говорачивал. И когда он опустил плечо, тело снова легло на спину. Надо было вытащить ноги из снега, но красноармеец не сделал этого. Первый с фонарем отошел в сторону, вытер тылом варежки пот со лба, поставил фонарь на снег и, расстегнув пуговицы шлема, стащил его с головы и шлемом вытер потную шею и голову. Он был еще молодой боец части особого назначения войск ОГПУ и впервые за свою жизнь участвовал в расстреле врагов Советской власти. Красноармейцы перетащили тела бандитов в сани, чтобы захоронить их где-нибудь подальше от деревни на неведомом месте. Трое подошли к телу Катерины. Она все так же лежала лицом в небо ..

По черным елям пронеслась верховка, и деревья тихо зашумели, а потом послышался скрип чернолесья, усилился шум, а из деревни донесся собачий брех. Местами небо прояснилось, и робко выглянули звезды.

Мамонт Петрович не стал ждать трибунальцев — они все еще обсуждали самоубийство Ефима Можарова, пошел размашистыми шагами в обратный путь. Горечь недавно пережитого была до того вязкая, что впору ложись в снег, чтоб отвратность ушла из души. Свершилась какая-то роковая ошибка, но в чем эта ошибка?..

Жалел Ефима Можарова и не мог себе простить, что в тяжкий момент не стоял плечом к плечу с ним. Надо было его поддержать, а он, Мамонт Петрович, все свое внимание обратил на бандитку, как и все трибунальцы. А свой, в доску свой человек, оставленный без внимания и участия, пустил себе пулю в сердце. «Это же до умопомрачения дико произошло, — размышлял Мамонт Петрович. — Она его столько лет обманывала, предавала всю нашу партизанскую армию, летала по уезду в банде, а он не сумел вытоптать эту бандитку в самом себе. Какая сила вязала его с ней?»

Понять того не мог.

XI

И крута гора, да забывчива; и лиха беда, да избывчива. Горы надо одолевать, чтобы гора не видать.

А что, если за горами еще больше гора и зла неизбежного?..

За годы гражданки Мамонт Петрович немало отправил беляков на тот свет, но никогда ему не было так тяжело и сумно, как сейчас. Как будто залп грохнул не по бандитам, а — нутро изрешетило. В горле сушь и в голове туман.

Поднимаясь на боровиковскую горку из поймы, смотрел на черный тополь.

В голых сучьях черного тополя посвистывал ветер.

У столба ворот Боровиковых увидел Дуню в пестрой дохе. Удивился: почему она в улице? Может, Меланья не пустила в дом? Но когда подошел близко и встретился с ее глазами, догадался: она все знает.

— М-да. Не спишь? — И не узнал свой голос. Звенит, как колокольная медь. Дуня прижалась спиной к столбу, а в глазах вьет гнездо страх. Чего она испугалась? Сказать про то, что случай занес его присутствовать на казни бандитов, — не мог. Тяжесть такую не вдруг подымешь на язык.

Ничего не сказал.

Дуня прошла в ограду, и он следом за нею. Выбежала лохматая собака, взлаяла. Мамонт Петрович чуть задержался, посмотрел на собаку, и та, захлебываясь лаем, отступила и, скуля в бессильной злобе, спряталась в теплый свинарник.

В избе горела плешка и пахло жженым конопляным маслом. Густились тени. Иконы казались черными, без лиц и нимбов. На столе стоял медный самовар, собранная снедь в двух глиняных чашках — отваренная картошка, квашеная капуста, постное масло в блюде и две солдатские алюминиевые кружки — посуда для пришлых с ветра.

Дуня сбросила доху и повесила на крюк возле двери. Под дохою был еще черный полушубок, точь-в-точь такой же, как на Катерине. Мамонту Петровичу вдруг примерещилось, что перед ним в полумраке не Дуня, а Катерина.

«Что он так уставился? — дрогнула Дуня, машинально расстегивая пуговики полушубка. — Наверное, ему что-то сказали про меня!.. А что, если в Таятах схватили...» — Но даже сама себе не отважилась назвать имя человека, которого окрестила «последним огарышком судьбы» — Гавриила Иннокентьевича Ухоздвигова.

Полушубок кинула на лавку.

Мамонт Петрович, как столб, возвышался посредине избы. И та же отчужденность в усталом лице. Что он знает? Почему он так страшно молчит?

— Подогреть самовар? — тихо спросила Дуня.

— Не надо.

Мамонт Петрович оглянулся по избе, подошел к кадке. Ковшика не было, и Дуня подала ему кружку. Зачерпнул из кадки воды и выпил разом.

— В горнице постель, Мамонт Петрович, — так же тихо сказала Дуня и, взяв платку со стола, прошла в горницу. Слышала, как по половицам скрипнули рантовые сапоги — офицерские! Поставила платку на стол.

Мамонт Петрович молча снял папаху, положил на табуретку, затем шашку, хрустящие ремни с парабеллумом в кобуре, генеральскую шинель на красной подкладке, достал из кармана шинели трофейный английский портсигар, вынул японскую сигаретку и медленно прикурнул от спички. Дуня до того оробела перед молчащим Мамонтом, что не знала: привечать ли его, бежать ли от него без оглядки? Взялась разбирать постель. Это была ее постель: одеяло из верблюжьей шерсти, две пуховые подушки в давно не стиранных наволочках, пуховая перина.

Докурив сигаретку, Мамонт Петрович так же молча перенес оружие на пол возле кросен, отстегнул шпоры, разулся и, сложив сапоги голенищами вместе, положил на шашку и парабеллум. Дуня догадалась, что он устраивается спать на полу. «И оружие под голову! Правду говорил Гавря: нам никогда не будет доверия от этих красных! Никогда! Им век будут мерещиться наши миллионы, которых мы сами в глаза не видели. Век будут подозревать. Что у него за бляха? Орден, может? А разве у красных есть орден? Они же кресты и медали офицерам забивали в грудь, а в погоны, в звездочки, вколачивали гвозди. Боженька! Как мне страшно! Завтра меня возьмут или сегодня? Хоть бы скорее все развязалось! Если схватили Гаврю в Таятах...»

И сразу же вскипела ненависть к этим красным — и в бессильной ярости тут же притихла.

Мамонт Петрович лег на пол на затоптанные половики в своем френче и в казачьих диагональных брюках, укрылся шинелью. Его длинные ноги вытянулись до двери. Он все время думал, как и что сказать Дуне, но подходящих слов не было, как будто он растерял их в пойме Малтата.

Молчание стало тяжелым и давящим.

Дуня примостилась на край деревянной кровати, не смея взглянуть на Мамонта Петровича. Но он ее видел всю — от

ног в черных валенках, до углистых волос, небрежно собранных в узел. Понимал: казнь бандитов, с которыми она зналась, прихлопнула ее, и она сейчас в душевном смятении. Вспомнил разговор с Гончаровым. Понятно, в ГПУ достаточно материалов, чтобы взять Дуню под арест, и тогда она будет восемьдесят седьмой. Ну а что потом? Упрячут в тюрьму за связь с бандой, а из тюрьмы она выйдет, начиненная ненавистью ко всем красным, в том числе и к Мамонту Петровичу. Такого он допустить не мог.

Достал из кармана френча трофейные часы и посмотрел время. Шумно вздохнул, пряча часы в карман.

— Ложись, Дуня. Скоро шесть утра.— Но это были не те слова, которые он должен бы сказать.— Такая вот произошла ситуация, м-да. Непредвиденная. Голова гудит, и тошнота подступает. Тяжелое это дело — казнить врагов мировой революции, а что поделаешь, если враги не сдаются без боя. А ты ложись, спи. Ни о чем таком не думай, и так далее. Если я дал слово, кремень значит. Так что не беспокойся. С бандами мы в скором времени покончим. Определенно!

Суровые слова Мамонта Петровича не утешили Дуню, а еще пуще расстроили. Она и сама понимала, что силы такой нету, чтоб мог подняться ее «огарышек судьбы» и она бы обрела с ним счастье. А в чем теперь ее счастье? Если не арестуют, то все равно не будет ей жизни. Кто и что она среди этих красных «мамонтов»? Век будут попрекать юсковским корнем, и куда бы она ни сунулась, за нею будет тянуться хвост ее окаянной жизни. «А, скажут, Дунька Юскова? Знаем ее! Вертела хвостом направо и налево — с красными и с белыми. Юсковская порода. Гниль да барахло».

«Боженька! Хоть бы к одному концу скорее!»

Но она ничего не сказала Мамонту Петровичу.

Ничего не сказала.

Как в свое время Дарьюшка не нашла слов к Тимофею Прокопьевичу в последний час своей жизни, так и Дуня изведала такое же чувство одиночества и отчуждения в стенах боровиковского дома.

Где-то в отдалении раздалась пулеметная очередь. Дуня сразу узнала знакомый голос «максима» и винтовочные выстрелы.

Та-та-та-та-та!

Мамонт Петрович поднялся одним махом.

— Вот и банда припожаловала,— сообщил спокойно, обуваясь с поспешностью военного. Не минуло трех минут, как он был в шинели, в папахе, при шашке, а парабеллум вытащил из кобуры, посмотрев обойму, заслал патрон в ствол и сунул в карман шинели. Наказал Дуне, чтоб она никуда не выходила из дома; в случае чего, он найдет ее здесь. Не оставит на произвол банды.— Выждали момент, сволочи, чтобы захватить отряд чона врасплох. Молодцы ребята. Это наши пулеметы работают.

С тем и убежал, бренча шпорами.

Вскоре в горницу заглянула Меланья в длинной исподней холщовой рубахе, босая, в черном платке, уставилась на Дуню:

— Господи! Банда, што ль?

Дуня ничего не ответила.

— Головня выскочил-то?

— Головня.

Выстрелы слышались все чаще и чаще с разных концов деревни.

— Огонь-то потуши. Живо на свет явятся.

— Не кричи. Никто к тебе не явится.

— До кой поры будет экая погибель?

— Пока всех не перебьют.

— И то! Никакого житья не стало. Хучь бы Филимон скорее возвратился.

Филимон! Она ждет Филимона, тьма беспросветная!

— Не беспокойся, вернется твой Филимон. Его не сожрут ни красные, ни белые, никакие черти вместе с его Харитиньюшкой.

Меланья не ждала такого удара.

— Откель про Харитинью знашь?

— Откель! В Ошаровой видела его с Харитиньей еще в двадцатом году. Если бы я не оторвала его тот раз от Харитиньи, он бы и сейчас там «временно пребывал». Напрасно я его вытащила. Какая ему здесь жизнь? Ты только и знаешь, что лоб крестить да поклоны отбивать. Фу! Дремучесть. А Харитинья, как я ее видела, веселая баба. Бежала за кошевкой и кричала: «Воссиянный мой, возвратись! Воссиянный мой». Лопнуть можно. Это Филимон-то воссиянный?!

Залпы из винтовок раздались под окнами — зазвенели стекла под ставнями. Меланья ойкнула и убежала к ребятишкам. Дуня быстро отошла от простенка к дверям гор-

ницы. Стреляют. Стреляют. В кого стреляют? Кто стреляет? Ржут кони. Долго и трудно ржут пораненные кони. Кто-то ударился в ставень — звон стекла на всю горницу. Дуня подскочила к столу и потушила плошку. Отбеливало в двух окнах, что в ограду, не закрытых ставнями. Начинаясь рассвет. Кто-то орал возле дома: «Робята, робята! Не бросайте! Не бросайте!»

Пулеметные очереди сыпались вдоль улицы.

Та-та-та-та-та-та-та!..

И где-то вдали цокает пулемет и хлещут из винтовок и карабинов.

Дуня накинула на себя полушубок, шаль и выбежала на крыльцо.

В ограде стрельба слышалась явственнее. Бой шел, как определила Дуня, с трех сторон: возле дома Боровиковых, на окраине приисковой забегаловки и где-то со стороны Щедрники.

На деревне лаяли собаки, мычали коровы.

Синь рассвета плескалась над крышами домов.

Ветер свистел в карнизах крыльца.

Час прошел или меньше, Дуня не знает, но возле дома Боровиковых прекратилась стрельба. Только слышно было, как трудно ржала чья-то лошадь в улице и возле ограды стонали двое или трое. Дуня отважилась выглянуть из калитки. Как раз в этот момент лихо промчались вниз в пойму конные — бандиты или чоновцы в полушубках, кто их знает. Посредине улицы распласталась раненая лошадь. Она все еще вскидывалась, чтоб подняться, падала мордой в истоптанный снег и дико ржала. Еще одна лошадь поодаль откинула копыта. Рядом с нею валялся убитый в полушубке. Одна нога его была под лошадью. И возле дома Трубиных тоже убитая лошадь без всадника. Кто-то стонал рядом. А, вот он! Человек полз к пойме возле завалинки. И еще откуда-то раздавался стон. Дуня присмотрелась — никого не видно. А стонет, стонет. Кто же это? От тополя, кажется. Ну да! И этот ползет вниз, к тополю. Со стороны штаба чоновцев бежали люди с винтовками. Дуня спряталась за калитку, выглядывая в щель. В буденовках — в шлемах, заостренных кверху. Хлопнул выстрел — и стон прекратился. И еще, еще выстрелы. С той и с другой стороны. Кто-то стрелял в чоновцев от тополя. Бандиты, конечно! Те, что остались без коней.

Развиднело.

Ни выстрела, ни конского топота.
Тихо...

ХИ

Она сама пришла — ее никто не звал.

У бывшего дома переселенческой управы, где размещался штаб чона, Дуню остановили красноармейцы в шубах — трое. Она их не знала. Спросили: к Гончарову? Фамилия? Дуня подумала: если назовется Юсковой — не пустят.

— Мамонт Петрович здесь?

— Нет, Мамонта Петровича нет в штабе.

— То к Гончарову, то к Мамонту Петровичу. Кто такая, спрашиваю? — подступил молоденький красноармеец в тулупе.

— Евдокия Головня, — назвалась Дуня.

— Головня? Так бы сразу и сказала. Жена, что ли? Его сейчас нету в штабе. Увел нашу конницу вдогонку за бандой. Слышала, как налетели казаки?

— Слышала. Но мне надо повидать товарища Гончарова.

Красноармейцы переглянулись.

— Спешно, что ли? Тут казаками набили полный двор. Товарищ Гончаров разбирается с ними.

— Скажите ему, пожалуйста, что Евдокия Головня пришла к нему для важного разговора.

Чоновцы подумали и разрешили — иди.

Дуня прошла в ограду. Сразу у заплота, ничем не закрытые, трупы убитых чоновцев. Сколько их лежало — пятнадцать, двадцать? В крайнем правом узнала Иванчукова! Тот пулеметчик, который задержал кошеву кума Ткачука. Вот она какая жизнь человека с ружьем!..

Тут же в ограде навалом лежали убитые казаки. В бекешах, шубах, полушубках, в шапках, папахах.

Одни лежат тесно друг к дружке, как будто отдохнуть прилегли после жаркого боя; другие навалом, как стаскивали, бросали, так и коченеют теперь.

Ни мира, ни войны между теми и другими — тишина: ни забот, ни тревог.

Отвоевались.

Одни у заплота, другие у завалинки дома, как обгорелые черные сутунки.

Тех, что у заплота, — охраняет почетный караул — по

два чоновца с винтовками с двух сторон. Винтовки со штыками. Честь честью.

Этих, накатанных друг на дружку, никто не охраняет. Хотя именно они на рассвете примчались в Белую Елань, чтоб уничтожить отряд чона и освободить захваченных бандитов.

Обмозговали захватить врасплох, сонных, а нарвались на пулеметный огонь.

Такова война — малая и большая.

Одним — почетные похороны, как героям; других сваливают в яму — столько-то убитых, и все.

Это было знакомо Дуне по фронтовым денечкам. И все это ей опостылело.

С другой стороны дома, у второго крыльца, сбившись в кучку, сидели прямо на снегу под охраню захваченные живьем бандиты. Казаки, казаки... Чубатые казаки! Без шашек и карабинов. Возле них прохаживались Гончаров и прокурор уезда. Того и другого Дуня знала.

Пискливым тенорком говорил какой-то казак. Дуня прислушалась. Что-то про Ухоздвигова!

— Оно так, начальник. Сами должны были думать. Ипеть-таки скажи: как заявился к нам в станицу капитан Ухоздвигов, обсказал про тайный приказ Ленина, чтоб уничтожить поголовно всех казаков, как не подумаешь? К погибели дело подошло! С того и станица поднялась.

— Приказ! Приказ! — громко сказал Гончаров. — А вы подумали: как мог Ленин издать такой приказ, если на всю РСФСР объявлена новая экономическая политика? Нэп! Слышали? Так что же вы городите про какой-то тайный приказ! А что такое нэп? Заводись хозяйством, подымайся каждый, у кого сила имеется, а если мало силы — товарищества взаимопомощи организуются повсюду. Четыре коммуны в уезде. Это что вам, «зничтожение»?

— Капитан Ухоздвигов зачитывал приказ-то, — сказал еще один из казаков. — Печатными буквами приказ-то. Помню такие слова: «Казачество, как Дона, Кубани, Урала, Сибири, а также и Забайкалья, на протяжении всей мировой революции показало себя...» Запоматовав, как там было дальше. Злющие слова. Ну, как бы попросту. Показало, значит, как за буржуазию воевало супротив мировой революции. А по такой причине, значит, уничтожить поголовно всех. И подпись: «ЛЕНИН».

— Нет у Ленина такой подписи,— сказал Гончаров.— Он подписывается: «В. Ульянов», а в скобках: «Ленин». Ульянов было или нет?

— Ульянова не было. А разве Ленин — Ульянов?

— Вот видите,— подхватил Гончаров,— как вы легко попались на провокацию капитана Ухоздвигова! Даже настоящую фамилию Ленина не знаете. Он — Ульянов! А кто такой капитан Ухоздвигов? Сынок золотопромышленника! Говорил он вам, что среди захваченных бандитов в Таятах — взят его старший брат, генерал Ухоздвигов? Нет! Каких же казаков вы спешили освободить? Семнадцать бывших офицеров, а среди них — два генерала. Остальные, правда, казаки. Генералов пришлось расстрелять, когда вы обложили со всех сторон наш штаб. Так что напрасно ловчи ваш Гавриил Иннокентьевич! И врасплох нас не захватили. Ну, а теперь ответ будете держать.

Гончаров сам увидел Дуню и подошел к ней.

— Ну, здравствуйте, Евдокия Елизаровна! — пожал руку Дуне.— К Мамонту Петровичу? Увел он нашу конницу. Выручил отряд! Отменный командир. А я, понимаете, когда налетела банда, схватился за голову: где Мамонт Петрович? В каком доме остановился? А он — вот он! В самый раз подоспел. Петрушин убит в Таятах, Иванчуков пал возле пулемета. Ах да! Извините! — спохватился Гончаров.— Поздравляю вас, Евдокия Елизаровна! Ну, ну! Как будто никто не знает! Мамонт Петрович торжественно заявил нам, что вы его жена. Так что...

— Нет, нет! — разом отрезала Дуня.— Я пришла... мне надо поговорить с вами.

Гончаров посмотрел на нее внимательно, чуть склонив голову к левому плечу, позвал за собою в ту самую комнату, где ночью заседал ревтрибунал.

Дуня шла как тень за маленьким Гончаровым.

Квадратная комната с кирпичной плитой. На плите солдатские котелки, кружки, продымленный чайник, дрова, чьи-то валенки на просушке, на стенах — шубы, шубы, полушубки, а в углу свалены трофеи — казачьи шашки, палаши, сабли, клинки и даже самоковки. Ремни карабинов, винтовки и ручной пулемет «лююис». Табуретки возле стен, два или три стула, тот же стол, за которым когда-то восседал Мамонт Петрович с Аркадием Зыряновым, когда Дуня пришла в памятную ночь в ревком...

Знакомое и чуждое.

Гончаров пригласил сесть.

В комнатушке жарко, а Дуне холодно.

Гончаров снял шинель, повесил ее на гвоздь, туда же ватную безрукавую душегрейку, паначу, пригладил русые волосы, одернул гимнастерку под ремнем и тогда уже спросил, какая нужда привела Евдокию Елизаровну к нему?

— Тогда, в больнице, в Каратузе,— начала Дуня, взглянув на сапоги Гончарова.— Я утаила...

Голенища сапог поблескивают, а мысли Дуни тускнеют, линяют, и она их никак не может собрать в кучу.

Гончаров не помогает ей. Прохаживается наискосок по комнате. Курит.

— Разрешите, если можно, закурить?

— Пожалуйста. Но у меня скверный самосад.

— Ах, мне все равно.

Дуня послюнула кончиком языка завернутую сигарку, склеила. Гончаров поднес огонек от патронной зажигалки. Точь-в-точь такая же зажигалка, какую подарил Дуне какой-то чистенький штабс-капитан в Самаре!

Табак был крепкий — задохлась. Аж слезы выступили. Сразу стало легче, безразличнее, покойнее. «Все равно к одному концу».

— Тогда я вам дала показание...

— Я вас не допрашивал,— перебил Гончаров.— Просто зашел поговорить с вами.

— Да! да! — «Он зашел поговорить, начальник! Как у них все просто», а вслух:— Ну вот. Я не все сказала. Фамилию Головня я присвоила умышленно...

Гончаров все так же прохаживается наискосок по комнате, думает, покуривает. Знать бы, что у него на уме?

— Кто вам говорил про заявление Филимона Боровикова? — спросил в упор.

— Про какое заявление? — хлопала глазами Дуня.

— Так-таки ничего не слышала про заявление Боровикова?

— Ни сном-духом.

Еще одна петля по комнате, и:

— Я вас сейчас познакомлю с этим заявлением. Но — должен предупредить: не разглашайте.

Обо всем могла догадываться, многое предвидеть, но чтоб Филимон Прокопьевич сочинил такое заявление, Дуня никогда и никому бы не поверила.

Заявление было вот какое:

В город Минусинск в ГПУ начальнику самолично Гончарову от Филимона Прокопьевича Боровикова из Белой Елани Сагайской волости.

З а я в л е н и я:

Как я есть сознательный хрестьянин и в белых не пребывал, а так и по причине родителя моего, Прокопия Веденеевича, как сгибшего от белых карателей, и как не из миллионщиков, по такой причине заявлено делаю в ГПУ насчет Евдокеи Елизаровны Юсковой.

Про Евдокею Юскову заявляю, что она есть насквозь белая и самолично слышал обо всем, докладую: — декабрь был 1919 года, в деревню Ошарову из Красноярска пришли множеством белые каратели, как генерал Ухоздвигов, а так и три брата Ухоздвигова, особливо самый злющий охфицер Гаврила Ухоздвигов, а с ним была полюбовница Евдокея Юскова самолично.

Меня заарестовали белые, как за родителя моего, который воевал за красных, и вели по деревне исказнить. Тута встретила меня с Гаврилой Ухоздвиговым Евдокея Юскова и обсказала, что как она землячка, так пуцай покеля живет, да под мобилизацией будет. Меня замобилизовали в подводы. Из Ошаровой повез я на своих конях охфицера Ухоздвигова с полюбовницей Дунькой Юсковой. В Даурске произошел сговор ихний. Чтоб она ехала в Белую Елань доглядывать за приисками. Охфицер Ухоздвигов пригрозил мне смертной казнью, а Дунька Юскова ехала в моей кошке с левольвертом, ежели засопротивляюсь, убиенство учинить.

В Новоселовой Дунька Юскова при угрозе оружия заставила меня спать на одной кровати, чтоб я ее самолично охранял от мужика-скорняка, ну, а я, как не из блуда происхожу, всю ночь не спамши был и совращенья не было. А Евдокея утром так сказала: «Ежели ты, Филимон, донесешь красным на меня, тебя на куски изрежет сам Ухоздвигов, у которсго, дэскать, руки длинные». Ипеть я не

убоялся, потому как природа наша насквозь известна.

Приехавши в Белую Елань, Евдокея Юскова поселилась у меня, а в тайне ездила на свиданку с Гаврилой Ухоздвиговым и потом была в банде для стрелбенья Советской власти. Ишло было такое, как Евдокея подбивала меня пошуровать на пепелище Юсковых, да пепелище обыщуровали сами власти и там нашли золото. С банды Евдокея возвернулась ипеть ко мне в дом, всячески грозила Ухоздвиговым, который собирал новую банду из казаков. Допреж, когда была секлетаршей в Совете, Дунька срамно себя держала, как она есть шлюха и про то вся тайга знает. Как за то самое ее подстрелили и потом повезли в больницу — меня дома не было. Ишло была угроза Евдокеи Юсковой сознательному хрестьянину Маркелу Зуеву. А по какой причине Дунька угрожала, поясню: для банды надо было собрать деньги, а так и коней казакам. А у Маркела Зуева были кони, да и так справно жил, но на банду рубля не дал. При новой власти Маркел Зуев на ноги поднялся.

Какая она есть Евдокея Юскова, я прописал в доподлинности, как не мог утаивать по причине мово дорогого родителя, сгибшего от белых казаков во время восстания в 1918 году опосля покрова дня, про што все скажут у нас в деревне.

Прошу заарестовать Евдокею Юскову и дознание произвести чтоб она призналась, как полюбовница Ухоздвигова, а так и зловредный лемент мировой революции.

Подписуюсь — Филимон Боровиков».

Числа под заявлением не было. Года также.

У Дуни дух занялся от «заявления сознательного хрестьянина, в белых не пребывавшего!» Все, что она решила сказать, разом вылетело из головы. Осталась одна злость, злость на Филимона. Надо же! Филимон! Мякинная утроба!

— Боженька! — едва продохнула Дуня. — Филимон все врет! Все врет!

— Врет? — спокойно спрашивает Гончаров.

И тут Дуню осенило:

— Да ведь это Маркел Зуев научил Филимона написать такой донос! Маркел Зуев!

— Маркел Зуев?

— Я все скажу. Все! Это было в масленицу в девятна-

днатом. Я жила здесь, в доме Ухоздвигова. С матерью у нас была ссора. Из-за золота. Два слитка золота по пуду. Это было золото отца. Оно досталось мне. Понимаете? Мне! За все мои мытарства! Я не хотела отдать это золото ни матери, ни Клавдии — сестре с ее мужем Валявиным Иваном. Ну, вот. Два слитка золота!..

Меня изломали с девичества, выдали замуж за жулика — за пай на прииске!.. боженька!.. за тот пай на прииске, перепроданный и проданный! Ну, вот!.. Разве не мое это золото? Чье же? Мякинная утроба — Филимон Боровиков — пишет, «срамно держала себя, как она есть...» А разве я сама стала такой? Разве не меня терзали и мотали? Не меня покупали и продавали? А с чего все началось? С отца родного! И я сказала: «Это мое золото, и я его никому не отдам!» Но мать подговорила есаула Потылицына. О, господи! Маменька!.. И вот тогда, в масленицу, в доме Боровикова искалчил меня есаул Потылицын. Причина была — я застрелила бандита Урвана, своо мучителя. Да все это для отвода глаз. Терзали из-за золота, чтоб я назвала тайник.

Боженька! Как я только не умерла после той казни! Бросили меня в беспамятстве в амбар, и тут нашел меня Головня. Помните? Вы тогда были в его отряде. Ну вот. А есаул в ту ночь взял золотые слитки из тайника в конюшне Ухоздвигова. Есаула взорвали бомбами в доме Потылицыных, и дом сгорел. А золото? Где золото?

Когда вернулась в Белую Елань, вижу — на пепелище Потылицыных поставил избушку приисковый шатун, Маркел Зуев. Он же ни одного золотника не намыл на приисках, и вдруг — коней накупил, коров, барахла всякого, а теперь еще и дом крестовый поставил для сыновей. На какие дивиденды разбогател? Ага!

Пришла я к Маркелу Зуеву и сказала ему: «Не твое золото, хотя ты и нашел слитки в пепле. Отдай мне хоть фунт из двух пудов». Как бы не так! Всеми богами клялся, что ни «сном-духом» не видывал слитки. А я ему: «С чего же ты разбогател?» Ну и все такое. Сказала, что донесу в милицию. И не успела. Если бы вы слышали, как Зуевы накинудись на меня! Я думала, разорвут. А через два дня, ночью, шла из сельсовета, и меня подстрелили. Из переулка Трубиных раздался выстрел. Сам Зуев стрелял или сыновья его, чтоб я не донесла на них.

— Почему же вы сразу не сообщили в ГПУ про этот

факт? — спросил Гончаров. — В Каратузе в больнице вы сказали, что вас подстрелили бандиты. А теперь говорите, что стреляли Зуевы.

— Да ведь я не видела, кто стрелял в меня! Думала, может, бандиты. А про Зуева не сказала потому, что не хотела говорить про это проклятое золото.

— Ну, что ж, разберемся, Евдокия Елизаровна. Спасибо за правду. Так и должна поступать жена Головни.

Дуня не смела возразить. Жена так жена! С тем и ушла из ревкома, унося опустошение и недосказанность.

...В этот же день Маркела Зуева с двумя сыновьями упрятали в кутузку. Трое суток Зуевы запирались, напропалую врали, а когда Мамонт Петрович Головня, которому Гончаров поручил довести это дело до конца, заявил, что избушку Зуевых и новый дом раскатают по бревнышкам, а на пепелищах просеют всю землю, и если золота не найдут, то Маркела с сыновьями спровадят в тюрьму на веки вечные, как контру Советской власти, Маркел сдался — они действительно нашли оплавленные слитки. Но ведь это их находка! Их счастье, а не какой-то Дуньки-потаскушки, которая подкатывалась к Маркелу, страшая его, чтоб он поделился находкой с нею и с Ухоздвиговым...

И вот еще что потешно: из Маркела Зуева выдавили вместо двух пудов всего-навсего одиннадцать фунтиков, пять золотников и три доли! Эким прожорливым оказался бывший бедняк и незадачливый приискатель.

— Гидра капиталистическая! — только и сказал о нем Мамонт Петрович.

Дуня держала себя с мужем кротко и тихо — ни слова поперек. Встречала его ласково и сама управлялась по домашности. Поселились они в пустующем доме Зыряна, но не успели обзавестись хозяйством — Мамонта Петровича назначили командиром части особого назначения ОГПУ. И снова дороги, леса и горы, погоня за бандитами. На праздник Первое мая понаведалься в Белую Елань, и вот тебе подарочек: Евдокия Елизаровна родила дочь. Этакую чернявую, волосатую, просто чудище.

Но Мамонт Петрович ничуть не перепугался.

— Красавица будет, погоди! Капля в каплю ты, — сказал жене.

Сама Дуня отворачивалась, глотая слезы.

— Назовем Анисьей. Мою покойную мать так звали. Как ты на это смотришь?

— Да хоть как назови! — махнула рукой Дуня.

В миру появилась еще одна живая душа с именем Анисьи Мамонтовы Головни...

ЗАВЯЗЬ ТРЕТЬЯ

I

Год от году старел тополь...

Крутая, незнамая новина подпирала со всех сторон. То было время вопросов, недоумений, нарастающих тревог, когда на смену старым понятиям и установлениям приходило нечто новое, еще никем не изведенное, потому и непонятное.

То было время, когда Советская власть, набирая силы, проникала за толстые бревенчатые стены деревенских изб, садилась в передний угол в застолье, вмешивалась в родственные узлы, перемалывая кондовые нравы и характеры, когда мужики на сходках шумели до вторых петухов, схватываясь за грудки.

То было время, когда Советская власть шла своею трудной дорогой. Порою — глухолесьем, упорно прорубая просеку в будущее.

Не вдруг, не сразу мужик принимал новое. Были поиски. Иногда отчаянные, страшные!

II

Филя не доверял власти — мало ли к чему призывает? Объявился некий нэп, и сельсоветчики из кожи лезли, чтоб Филимон Прокопьевич прикипел к земле, отказался бы от ямщины, чтоб хозяйство поднять и расширить посевную площадь. «Как бы не так! — сопел себе в бороду Филимон — Рядом коммунию гарнизуют, а мужикам мозги туманят. Мороковать надо: что к чему? Ежли коммуны верх возьмут, стал быть, в два счета все хозяйства загребут в те коммуны, а к чему тогда хрип гнуть? Ужо гонять ямщину буду. Так сподобнее».

И — гонял. Как только схватывались реки, уезжал из Белой Елани в Красноярск будто и до весны не возвращался. Меланья догадывалась: у Харитинюшки живет, по-

роз,— а суперечить не могла. Кабы жив был Прокопий Веденеевич, тогда бы мякинной утробе прижали хвост. Сколь раз Меланья кляла себя за то, что отдала мужу два туса с золотом. Правда, отполовинила в тусах, но все-таки отдала же! А он, Филимон, и к Демке душой не прильнул и от самой Меланьи отвернулся. «Чаво тебе? Мое дело ямщина, а твое — хозяйство. С выродком и с девчонками справишься, гли».

— Да вить кругом мужики хозяйство поднимают, богатеют, а ты все едино прохлаждаешься в извозе!

— И што? Такая моя планида. А хозяйство подымать при таперешней власти морока одна. Седне подымешь, а завтра Головня зайвится с сельсоветчиками — и спустит с тебя шкуру. Власть-то какая, смыслишь? От анчихриста! Разве можно верить? Погоди ужо, повременим.

Если возвращался из ямщины по последнему вешнему бездорожью, то не обременял себя работой по хозяйству — жаловался на хворь в ногах, хотя мужик был — конем не переехать. Завалится на лежанку у печки, храпит на всю переднюю избу — силушку копит. Тащили Филимона в комбед, в товарищество взаимопомощи. А он знай себе похрапывает.

— Филя, хучь бы коровник подновил,— скажет Меланья.

— Не к спеху.

— Столбы-то перекошились, упадут.

— И што? В Писании сказано: сойдет на землю анчихрист, и порушатся все заплоты, коровники, овчарни, в тлен обернутся хрестьянские дома, и настанет на земле расейской пустыня арабавинская.

— Што же нам, помирать, што ль?

— Помрем, должно. Как большаки окончательно взнуздают теми коммуниями, так все помрем, яко мухи али твари ползучие. Аминь! — зевнет Филя во всю бородагую пасть.

Работящая Меланья, так и не набравшая тела в доме Боровиковых, родив еще одну девчонку — Иришкой назвали,— без устали вилась по дому, по хозяйству, подстегивая дочерей — Марию и Фроську — с Демкой, а Филя толкует Святое писание да ласково привечает сельчан, исповедующих старую веру. Не тополевыи толк и не филаретовский, а просто старую — двоеперстную без всякого устава службу.

Из богатых мужиков скатился до середняка. Из четверки коней оставил пару для ямщины и пузатого Карьку для

хозяйства; из трех — две коровы да десяток овец. А деньжонок и золотишка не тратил — складывал в тайничок «на время будущее».

Под осень 1929 года к Филюше стали наведываться богатеи Валявины: тестюшка — Роман Иванович, дырник по верованию, и братья его — Пантелей и Феоктист.

Придут под вечер, запрутся в моленной горнице и совет держат перед иконами: как жить? Как обойти Советскую власть и как сухими из воды выскочить? Вскоре в дом Филюши невесть откуда привалило богатство — шубы, дохи, кули с добром и всякой всячиной, и все это переносилось в надворье темной ночью из поймы Малтата. Не жнет, не пашет Филя, а живет припеваючи. И медок, как слеза Христова, и белый крупчатный хлебушка, и мясца вдосталь.

Средь зимы — гром с ясного неба: раскулачивание!..

Филя не успел сообразить, что означает мудреное слово — раскулачивание, как тесть Роман Иванович и шуряки — Пантелей Иванович и Феоктист Иванович — вылетели из своих крестовых домов в чем в мир хаживают: что на плечах — твое, что за плечами — мирское, колхозное.

«Зачалось! — ахнул Филя. — Али не на мое вышло, как я толковал? Дураки нажили хозяйства, а теперь вытряхнули их без всяких упреждений. Каюк! И тестю, и шурякам, а так и всем, которые грыжи понаживали себе на окаянном хрестьянстве. То-то же! Вот она власть-то экая!.. Кабы я раздулся, как тестюшка, да работников держал, вытряхнули бы теперь без штанов на мороз. Эх-хе! Мое дело сторона. А все ж таки поостеречься надо. Махнуть в ямщину. Али вове скрыться?»

Пошел Филя к сельсовету, а там — вавилонское столпотворение. И бабий рев, и детский визг, и мужичий рокот на всю улицу, а возле богатых домов Валявиных — народищу, пальца не просунуть. Мороз давит, корежит землю, белым дымом стелется, а всем жарко.

— Отпыхтели окаянные!..

— Ишь как Валявиху расперло — в сани не влазит, — гудел народ, любуясь, как толстую Валявиху с тремя дочками выпроваживали из собственного надворья. Дочери вышли в подборных шубках, начесанных пуховых платках, в белых с росписью романовских валенках.

— Экие телки молосные! Впору землю пахать.

— А што? Лошадей-то вечор у Валявина всех забрали. Вот таҕерича он бабу свою да дочек запрягать будет,—

алорадствовал конопатый безлошадный мужичишко Костя Лосев.

— Чья бы мычала, а твоя бы, Костя, молчала,— осадил его Маркел Мызников, по прозвищу Самося, так как был он в многочисленной своей семье «сам осьмой».

— Это ишшо пошто я должен молчать? Советская власть, она знает кому укорот дать. Как я батрак, таперь имею право...

— Не батрак ты, а лодырюга. Вечно бы пузо грел на печке, откуда у те достаток будет? Каков поп, таков и приход. А Валявин от зари до зари хрип гнул на пашне, и семья его такоже.

— Я вижу, ты, Самося, как был подкулачником, так и остался. Погоди, ишшо определяют и тебя на высылку.

— Меня?! Не ты ли меня определишь? За што? За то, што я роблю, а не побираюсь, как ты? Не высматриваю, где што плохо лежит, и у соседей гусаков не ворую?!

— А ты видал, как мы гусаков украли?! Ты нас поймал?! — взвизгнула, подскакивая к Маркелу, сухопарая баба Кости Лосева, Маруська, мешком пришибленная, как припечатали на деревне.

— Ну, поперли! Ишшо этого не хватало, чтоб собирать таперь про всех кур и гусей! Уймьтесь! Маркел Петрович! И чего ты взъелся? Ведь не про тебя речь, а про живоглота Валявина. Вот ты скажи, стал бы ты своей скотине глаза ножом выкалывать? Нешто это порядок — изгаляться над животным?

— Аспид он, Валявин! Аспид! — подхватила старуха Мызниковых.— Собственными глазами видела, как он, асмодей, вчерась за поскотиной игреневую кобылку изнахратил. На займку ее, должно, волок, спрятать хотел. А на встречу-то по дороге вдруг машина из району. Ну, известное дело, животная, она отродясь такого страху не видывала. У меня у самой-то руки-ноги млеют, как ее, окаянную, заслышу. Валявин-то кинулся было ей глаза дрхмашками прикрыть, а она, бедная, так вся ходором и ходит, так и ходит! Как поравнялась машина-то — Игренька в дыбы. Валявин и так и сяк, а она очумела, бедная, подмяла его под себя — и волоком, волоком, да по колкам, по колкам! Страсть! Тут он и остервенел. Ножик, аспид, выхватил из-за пима, такой кривой сапожный ножичек — да по глазам ее, по глазам! Я кричу, а он колет и колет! Уж как она иржала, сердешная! Ну, чисто человек! Да сослепу-то грудью

об березу, потом об пень, упала, перевернулась и в тайгу! Таперь, поди, все ноги переломала...

— Господи, господи! Спаси и помилуй! Ополоумели рабы твоя...

— Тут ополоумеешь, когда жизнь вся летит вверх тормашкой.

Толпа подавленно гудела. Люди отворачивались друг от друга, как будто всем вдруг отчего-то стало стыдно. Новость про игреневую кобылку взбудоражила их еще больше. Многие остервенело матерились, проклиная и Валявина, и новые порядки, и всю неразбериху. Эта кобылка была общей любимицей деревни, как малое дитя, которого все ласкали и баловали. И вдруг людская любовь почему-то обернулась ненавистью и зверством. Все знали, как Валявин выхаживал эту кобылку, родившуюся в самые морозы, как ростил ее до весны в избе вместе с ребятишками, как поил из соски. И кобылка, привыкнув к человеческой доброте, лезла в каждые открытые сени, прыгала на крыльцо, а иногда забредала даже в куть, прямо к столу, выпрашивая крошку хлеба или горстку сахара. Не раз навевывалась она и к Филе, где малый Демка угощал ее стянутыми со стола кусками хлеба. Однажды она даже сожрала у них целую миску меда.

— О! Чтоб тебе околеть, окаянная! — матерился Филя. — Пшла, пшла, нечистая сила! Это ты, варнак, привадил проклятую кобылу. Вот я тебе сейчас окрещу, шток помнил... — И крестил. Кобылу по липким шелковистым губам, Демку — по чем попало.

Но даже и Филе стало жалко эту «окаянную» кобылу, когда он представил себе, как Валявин кривым ножом тычет в доверчивые карие глаза с длинными белесыми ресницами. Украдкой он покосился на нагруженный воз Валявина и втайне поймал себя на мысли: «Туда ему и дорога».

Переглянулся Филя с тестем и голову опустил. Тесть машет ему собачьими лохмашками и кричит:

— Свершилась, Филимон Прокопьевич, анчихристова воля. Выпотрошили из своо дома, лишили всево добра. Ну да мое спомянется! Рыком из нутра выйдет. Слезы наши землю наскрозь прожгут.

— Давай, давай, не задерживай!

Длиннополая доха Валявина тащиалась по снегу.

— Отрыгнется мое сельсоветчикам! — вопит Валя-

вин.— Слышь, зятюшка! Да воскреснет бог, да расточатся врази его!

Зятюшки след простыл. Не помня себя, Филя влетел в дом и, ошалело крестясь, выпалил, что настал конец света и что им с Меланьей и ребятишками надо бы сготовиться, чтоб «предстать в чистом виде» перед лицом создателя.

— Своими ушами слышал, как сельсоветчики говорили, што надо бы пошшупать Филимона. То есть меня, значит. Грят, будто добро Валявиных у меня припрятано. Кабы худо не было. Не мешкай, собирай рухлядь всю. Живо мне!..

Меланья носилась из угла в угол, из двух горниц в избу, стаскивая богатство батюшки.

III

...Два отцовских туеса с золотом Филя самолично вытащил из подполья и перепрятал в овечий хлев. Но и там не залежались. Ночью разворотил каменку в бане, под каменной выкопал глубокую ямишу, обложил ее досками, и там, в яме,— еще тайничок, куда Филя засунул туеса с золотом.

Золото! Уж что-что, а золото у Фили никто не вырвет. Ни господь бог, ни сам антихрист.

Никогда Филя не работал с таким остервенением, как в ту памятную морозную ночь. Фунтов пять сала спустил с боков и на лицо заметно осунулся, а успел вовремя. К утру заново сложенная каменка на месте тайника весело потрескивала березовыми дровами. Хоть не субботний день, Филе понадобилось попариться. И вышло хорошо. Филя хлестался распаренным березовым веником, когда в дом ввалились сельсоветчики во главе с председателем, Мамонтом Петровичем Головной. Пришли с обыском. Конфисковали кулацкое барахло и самого Филю арестовали как подкулачника. Меланья исходила криком, девчонки цеплялись за шаровары тятеньки, и только один Демка, тринадцатилетний подросток, поглядывал на рыжебородого тятюку исподлобья, как звереныш.

Филя успел шепнуть Меланье:

— Гляди за выродком — волком зырится! Отвези к куме Аграфене в Кижарт. Сей же час. Пусть там побудет до моего возвращения. Как вроде в гостях. Смыслишь то?

— Ночью-то как?

— Ни пискни! Сполняй! Он нас под самый корень срежет. Скажешь: в гости едем. И так дале.

Покорная Меланья заложила лохматого, заиндепевшего Карьку в сани-розвальни, кинула туда охапку лугового сена, положила в головки саней топор на всякий случай — если волки нападут в дороге, наскоро одела сухонького, лобастого и всегда молчаливого Демку в рваную шубу и в разбухшие отцовские пимы, прихватила кое-какое барахлишко в подарок куме Аграфене и в середине ночи выехала из ограды. Сразу за воротами — дорога в пойму Малтата. А там, в десяти верстах за Амылом, кержачье поселение Кижарт.

Небо прояснилось рясыми звездами. Между звездами — точно от крупчатой булки, крошечная краюшка луны. Певуче и сладко скрипел снег под полозьями. Карька лениво шлепал нековаными копытами, будто бил в ладоши.

— Погостишь малость, Демушка, — тараторила мать, подстегивая хворостиной вислопузого Карьку. — От ученья-то худущий стал. Хоть бы поправился, болезный мой.

— Как же! — пробурлил Демка в облезлый воротник шубы. — То все молились, как бы бог прибрал выродка, а тут — штоб поправился.

— Окстись, што бормочешь-то?

— Не правда, што ль? Мне в школу надо, а тут — в гости.

— Дык грю: худущий ты. Силов у те никаких нету-ка на анчихристову школу.

— В гости — есть, а в школу — нету? Уйду я от вас.

Мать начала хныкать, сморкаться, жаловаться на свою лихую судьбу, что вот — вырастила сына и добра от него не жди. Демка отмалчивался. Наслышался он всякого от отца и матери, только ни разу никто не приласкал Демку, не пожалел. Гоняли из угла в угол, кидали его книжки, тетрадки, грифельные карандаши, и единственно, в чем согласны все были, так это — что он выродок. И сестры звали выродком, и мать, и отец. И отец ли Демке Филимон Прокопьевич? Жил Демка, как огарышек в поле. Кругом радостная зелень, а огарышек торчит, маячит перед глазами, и никому до него дела нет.

Сам Филя не жаловал Демку. Для него сын — пустое место, как срамной туес, из которого старообрядцы потчуют водицей пришлых людей с ветра.

В ту пору как Филя несолоно хлебавши вернулся с германских позиций и узнал, что отец в его отсутствие призвал

и тайному радению невестку Меланью и та осенью 1916 года родила мальчонку, он готов был испепелить все надворье. Нету теперь в живых батюшки Прокопия Веденеевича, а выродок окаянный вот он — жив-здоров!..

IV

...Парнишке полюбился тополь. Не раз Демка поднимался на развилку старого дерева, мастерил там самострелы из гибких сучьев, засматривался в дымчатую синь тайги.

— Ишь, язва! Как белка летает по дереву,— поглядывал Филимон Прокопьевич.— Кем будешь, Демид: кедролозом аль водолазом?

— Комсомольцем хочу,— сказал однажды сын.

— Што-о? Под анчихристову печать метишь? Я те покажу косомол! Попробуй токмо. Так исполосую шкуру — сам себя не признаешь.

— Все в школе вступают, и я вступлю.

— Все, гришь? А ну, слазь, лешак!.. Я те покажу косомол!

И — показал. Содрал с Демки шароваришки на лямках и долго порол ремнем с медной пряжкой, приговаривая: «Вот те, выродок анчихристов, косомол и вся Советская власть. Вовек не забудешь».

Постепенно между отцом и сыном будто кошка хвостом дорогу перемела — оказались чужими. Отец давил на сына жестокою синевою глаз, бил нещадно, на всю мужичью силу, на что сын отвечал угрюмым, настороженным сопением. И хоть бы раз попросил пощады. Упрется глазами в землю — ни слова. Только кряхтит — тяжело, с придыхами.

Как-то поутру Филя позвал Демку в моленную горницу, поставил на колени перед иконой Пантелеймона-чудотворца и спросил:

— Чадо, зришь ли бога?

Демка поглядел на иконы и лба не перекрестил.

— Зришь ли бога, вопрошаю? — наступал Филя.

— Какого бога? Тут одни доски разрисованные.

— Што-о?! — вытарачил глаза Филимон Прокопьевич.— Доски, гришь? Ах ты, окаянный выродок! — И, как того не ждал Демка, Филимон Прокопьевич схватил его за тонкую шею и ударил лбом в половицы. Раскровенил нос,

губы, и кто знает, до какой степени измолотил бы его, если бы под тот час не подоспел Мамонт Головня, председатель сельсовета.

— Истязательством занимаешься? — гаркнул высоченный Головня, вторгаясь в моленную.— За такой номер при Советской власти очень свободно загремишь в тюрьму. Сей момент составлю протокол, единоличная контра!

Филимон Прокопьевич позеленел от злости.

— А ну, гидра библейская, пойдем в сельсовет, потолкуем.

Почуяв недоброе, «как-никак Филимон-то хозяин: а без хозяина и дом — сирота!» — Меланья кинулась в ноги Мамонта Петровича и, заламывая руки, причитая в голос, всячески чернила собственного сына.

— Кабы знали, какой он вреднуший аспид, осподи! — вопила она.— С отцом огрызается, девчонок затравил, зменыш. А лодырюга-то, лодырюга-то какой, осподи! Сидит себе с книжками, и хоть рожь на нем молоти! Как же такого лоботряса не проучить? В петлю из-за него лезти, што ль?

У Демки от напраслинных слов матери слезы закипели в глотке. Это он-то лодырюга! С утра до ночи работает, и он же лоботряс.

— Уйду от вас! Все равно уйду,— бормотал Демка, размазывая кровь по щекам.— Живите со своими иконами и с Библией. И в бога вашего дурацкого совсем не верую. Вот!

Пунцовое лицо Филимона Прокопьевича готово было брызнуть кровью — до того оно пылало.

Протокол Мамонт Петрович не составил, но в сельсовете круто поговорил с Филей. Толстоногий, упитанный Филя не знал, чем и оправдываться. Бормотал себе в бороду нечто невнятное о «тятинном грехе», и что у него все нутро выболело, и дал слово больше не трогать пальцем.

Слово свое сдержал — отмахнулся от сына, как будто и не видел его в доме.

Постепенно мутная горечь обиды на покойного тятеньку отстоялась у Фили, как старая опара в квашне. Пусть живет тятин грех, коли бог не прибрал!.. Да вот беда: временно-то какие смутные! Как бы выродок про золото не пронюхал.

И вот Демку мать отвезла к крестной Аграфене в Кижарт...

Вдовая Аграфена приняла Демку ласково. Жила она

в маленькой избенке о трех окнах, занималась рукодельем, имела своих пчел, коровенку и кобылу.

Демка старался помогать одинокой Аграфене: и дрова таскал в избу, и за коровой смотрел, и за сеном не раз съездил. Потому что крестная Аграфена сама была хвора. Все кашляла. На грудь жаловалась. А к весне и совсем согнулась, скрючилась, как обруч. Все ей холодно было, мерзла.

Однажды ночью подозвала она к себе Демку, попросила воды, пожаловалась, что в избе не топлено и ей придется умереть не согревшись.

Демка, конечно, не верил, что крестная Аграфена вдруг умрет. Но однажды утром она не встала с постели. Тогда Демка притащил два беремя дров, растопил железную печку, чтоб крестная немного отогрелась. Но та лежала на деревянной кровати желтая и неподвижная. Рука ее, свисая с кровати, не гнулась. Демка попробовал поднять руку, но вместе с рукой поворачивалась крестная Аграфена. Демка даже удивился, как за ночь она вдруг помолодела. Морщины на лице разошлись, нос стал тоньше, с забавной горбинкой, которой не было вчера...

На похороны приехала мать. Сообщила, что Филимон Прокопьевич сидел в каталажке и, как только его выпустили, уехал будто бы насовсем из Белой Елани, так что в хозяйстве теперь у матери остался только вислопузый Карька да одна корова. Овец и свиней отец прирезал.

Демка как чужой слушал мать. И когда крестную схоронили, он сбежал к кижартской учительнице, наотрез отказавшись возвращаться домой. Учительница приняла Демку, обиходила и отвезла в Каратуз в интернат школы крестьянской молодежи. В Каратузе весной встретил Демку Мамонт Петрович Головня.

— Демид? Ого! В натуральную величину вытянулся. В какой группе учился? В пятой? Маловато. Чем и как жить будешь летом? Не знаешь? А вот я имею соображение. Поедешь со мною в Белую Елань...

— Не поеду! — перебил Демка.

— В каком смысле, то есть?

— Не хочу, и все.

— Ну, это ты брось! Заладил. Дело есть при колхозе. Пасека у нас огромная собралась. Пчеловодом взяли Максима Пантюховича, предбывшего партизана из Кижарта. Поживешь с ним до осени на пасеке, подкормишься. Ну,

а зимой, слышь, самолично отвезу тебя в Красноярск на курсы по лесному делу. В самый аккурат будет для такого орла, как ты. Парень ты смысленный. Для чего мы кровь проливали в гражданку? Чтоб такие орлы пропадали задря?..

Демка не посмел перечить и приехал с Мамонтом Петровичем из Каратуза в Белую Елань. Перед тем как отправить Демку в тайгу на пасеку, Мамонт Петрович наказал:

— Гляди за пасечником-то! Хоть мы его и не выселили с его кулачкой Валявихой, как в работниках он у ней пребывал, а нутро у него подпорченное. В кулаки метил, сивый. Смотреть надо. Ты это таво, Демид, смотри за ним в оба и на ус мотай, хотя усов у тебя в доподлинности не имеется. Но вырастут еще! Вырастут!

v

...Из-под мшистых камней пробивается родничок. Прозрачный, звонкий и резвый. Это еще не река, не ручей даже, а только родничок. Здесь путник может утолить жажду. Здесь кругом вольготные заросли дикотравья — дремучие, непролазные дебри — тайга. Родничок журчит, бормочет, сверкает меж камней и бежит, бежит. По пути он собирает другие роднички. И вот уже не родничок, а ручеек. Еще дальше — речушка в шаг шириной.

Так от источника к источнику набираются толщи вод, покуда не заиграет такая вот могучая и гордая река, как Амыл, несущая шумливые воды в слиянии с Тубою в Енисей и дальше в океан льдов.

Демка — еще не мужчина, не парень даже, он только журчащий родничок. Журчит, журчит, бежит, бежит, — а куда? Про то и сам Демка не ведает. Он растет еще, мужает.

Скучно Демке с Максимом Пантюховичем на пасеке.

Пасека далеко от деревни. Очень далеко! Места здесь по взгорью залиты душистым иван-чаем, над которым с утра до вечера жужжат пчелы. Богатей Валявин давно еще облюбывал место в верховьях Жулдетского хребта для пасеки. Начал строиться. А нынче весной перевезли сюда всех пчел, отобранных у раскулаченных мужиков.

Дом еще не отстроили. Не вставили окна, двери. Но дом будет большой, пятистенный.

Тошно Демке с Максимом Пантюховичем у костра. Рыжее пламя плещется, жжет темень, а просвету нет.

Накрывшись дерюгой до черной бороды, Максим Пантюхович лежит возле костра и смотрит в небо. Не спит, Бормочет себе в бороду, крихтит.

Демка наблюдает за Максимом Пантюховичем с другой стороны костра. Вздыхает.

Ночь. Теплая, июльская. С двугорбого хребта тянет в низину верховой ветерок. По берегам речки тоскливо шумливают лохматые деревья. На прогалине белеет дом с торчащими ребрами стропил. Квадратные глазницы окон без рамин чернеют как пропасти. И кажется Демке, что в срубе дома хозяйничает домовый, черный, лохматый, бородатый, похожий на Максима Пантюховича. И он отчетливо слышит, как домовый посвистывает, перебирает щепы, шебуршит, стучает чем-то, будто на кого сердится. Только бы не ополчился на Демку за щепы и обрезки досок. Если вдруг сядет на шею да крикнет: «Вези, Демка, да не оставляйся!» — вот тогда хана Демке. Бога нет — это точно. Сколь раз тятка колотил его в моленной. И никакая холера не заступилась. А вот черти есть. Крестная Аграфена кажинную ночь крестик из прутиков на порог клала и под цело. Это от чертей. Она сказывала, как самолично видела чертенят у заслонки.

Шумливые воды Жулдета ворчат на перекате, плещутся возле берега. Темная туча ползет по небу, застилая звезды и синеву небес, а куда? Учительша, Олимпиада Петровна, говорила, что тучи вокруг земли плавают. Вот бы оседлать тучу и полететь с нею. А вдруг она спустится на землю и ляжет вот здесь, возле костра, придавив Демку, Максима Пантюховича с берданкой, что лежит у него в изголовьях!.. Да нет, Демка не видел, чтобы тучи спускались на землю в низине. Оседлает туча макушку горы, полежит немножко и уплывет дальше. Но так, чтобы туча кого-то придавила, — не слыхивал. А кто ее знает! С тучами разное случается. И градом хлещут, и молнией жгут. Глаза Максима Пантюховича, черные, углистые, под метлами косматых бровей, устрашающе поблескивают в отсветах костра. И что так тревожно ухаёт тайга? И отчего стволы берез возле омшаника черные, а листья отбеливают, трепещутся? И что там в небе за тучей? И отчего так беспокойно Демке? И сердчишко ноет у Демки, и ноги занемели от сидения на корточках. Наседает гнус. Липнет пригоршнями на продегтяренное лицо. Максим Пантюхович отмахивается от гнуса, матерится, похожий на большущего паука. Лежит мужик на

душистых хвойных лапах, подтянув под себя ноги, охаст, как истый лешак.

Муторно Демке. Никого-то, никого у Демки теперь нет. У всех, как у людей, и тятка, и мамка. А у него тятки вроде отродясь не было. «Выродок». Об матери и говорить нечего! У ней Манька, Фроська, Иришка да эти иконы...

Нет, как ни говори, а крестная его любила. И книжки давала читать. Особенно он любил ту, с картинками, про геологов. Вот бы и ему выучиться на геолога и пойти искать в тайге золото и разные там металлы, минералы... А вот теперь он, Демка, за сторожа на пасеке.

— Кинь хворосту! Вишь, тухнет? — рыкает Максим Пантюхович.

Костер и в самом деле тухнет. Угольки покрываются сединкою пепла, подмигивая Демке красными бусинками, как будто мышинными глазками. Но ведь хворосту на всю ночь не хватит, если все время подбрасывать по охапке?

— Дык горит же, — мямлит Демка, пихая в костер хворостину.

— Ты што? Тебя зачем послали? Помогать?

Демка отбежал от костра, захватил хворосту, подбросил в огонь.

— Ох-хо-хо, — стонет Максим Пантюхович, ворочаясь на хвое. — Душа ноет, мается. Места себе не находит. Эхма! Молодость-то промчалась по земле в бесшабашье, все было нипочем. А вот теперь судьба пристигла — похолодела душа. Нет у ней пригрева: ни детей, ни бабы, ни курочки рябы. Знать, сдохну, и креста некому будет поставить. Ну да об кресте печали не имею. Потому: ни в бога, ни в черта отродясь не веровал.

Демка внимательно слушает рокот Максима Пантюховича, угодливо соглашается:

— Бога нет. Я тоже не верую... Дурман один.

— Как так?! А тебе откуда это известно? «Не верую!» Да ты сопля, чтобы знать, есть он, Христос-спаситель, или нет его!..

Демка погнулся у костра, примолк.

Вот так каждую ночь. Хоть беги из тайги. Что-нибудь да выкопает Максим Пантюхович в душонке Демки. Зловредный мужик. Хуже самого черта. И борода у него чернее сажки, и лицо углистое, и нос крючковат, и голова лохматая, как шерсть на неостриженном баране.

Максим Пантюхович кряхтит, садится на лагун, закури-
вает. Из залатанных штанин выпирают мосалыги коленей.
Он вздыхает, горбится, а из ноздей — вонючий дым.

— И что меня крутит? — бурчит он. — Который день
душа мается, будто пчела в нее всадила жало. И какие мои
ишшо годы, чтоб об смерти думать? А вот, поди ты, мается
душа. Знать, окончательно переехала ее телега жизни.

— А душа, значит, есть? — Демка вытянул тонкую шею,
ждет, что скажет Максим Пантюхович. В отвесах костра
насквозь просвечиваются оттопыренные уши Демки, словно
большущие лепестки розы с ниточками жилок.

— Душа-то? Ежели мается, знать, существует. Душа
у человека — сердце. В нем есть такая чувствительность,
что всего тебя переворачивает, и ты не знаешь, куда сунуть
голову. Ежли вынуть сердце — капут.

Демка моментально соображает. Если у человека душа
в сердце, то и у свиньи есть душа. Он сам видел, как Фи-
лимон Прокопьевич, зарезав свинью, зажарил ее сердце.
И потом они съели свинячье сердце. А выходит — душу у
борова слопали.

— И у борова душа есть? — тянется Демка.

— Как так у борова? — Максим Пантюхович повернулся
к Демке, подозрительно посмотрел. — Ты ее видел, у боро-
ва? Экая сопля! И туда же со словом. Вынуть бы из
тебя душонку да мою вставить, чтоб ты уразумел, что и к
чему.

Демка испугался. А что, если в самом деле мужик вы-
нет из него душу да себе вставит? У него-то душа, поди,
старая, никудышная, а у Демки — как желторотый птен-
чик, едва оперилась. С такой душой жить да жить!..

От свирепого взгляда Максима Пантюховича губы у
Демки слиплись, веки пугливо запрыгали, сердчишко за-
ныло, и весь он, еще более сжавшись узкими мальчишески-
ми плечами, готов был слиться с землей или, превратив-
шись в дым, подняться в небо к звездочкам. Чугунный на-
пор углистых глаз давил Демку, сверлил, пронизывал. Оза-
ряемое красными космами костра бородатое лицо Максима
Пантюховича, прошитое рытвинами морщин, нагоняло на
Демку такой страх, что он дрожал как осиновый лист. Не
зря же в Кижарте Максима Пантюховича побаиваются!
И нелюдимым зовут, и лешаком, и носатиком. А за что?
Про то Демка не ведает. Не потому ли Мамонт Петрович
наказывал Демке смотреть за ним и, если что заметит по-

дозрительное, немедленно сообщить. А как смотреть? Он, Демка, не знает.

Скорее бы минула мгла парной ночи да настал рассвет. Днем Максим Пантюхович говорит Демке о жизни пчел, о трутнях, которых безжалостно истребляет, заботливо доглядывает за ульями. К пчелам он подходит с некоторым умилением, с ласкою. Никогда не надевает лицевой сетки, и пчелы его не жалят. Демка не раз видел, как пчелки, ползая по лицу Максима Пантюховича, забирались ему в ноздри, и тогда он громко чихал. Не терпит Максим Пантюхович курильщиков, близко к пасеке не подпускает их, хоть и сам с кisetом не расстается, когда не работает у пчел. «Пшел от ульев, пшел,— кричит он на курцов-махорочников.— Не с твоим дымогарным рылом подходить к вразумленным тварям».

Прежде чем выйти к пчелам, Максим Пантюхович полощет рот кипреем, моется и Демку заставляет мыться настоем воды на кипрее и белоголовнике. Простой водой никогда не плеснет на руки. Под вечер, когда наступают сумерки, мужик мрачнеет, темнеет, а к ночи он уже не Максим Пантюхович, а лешак. И тогда для Демки настают мучительные часы бдения у костра. Максим Пантюхович не дает ему спать, тормозит, зырится на него подозрительно и зло, а если Демка прикорнет сидя, он рычит на него страшным голосом. И кого он боится, леший? В избушке Максим Пантюхович почти не бывает. «Для человека природа сготовила одну всеобщую крышу — небушко,— говорит он, пользуясь этой крышей в любую погоду.— Кто помочит, тот и высушит. Кто в озноб кинул, тот и отогреет». Но Демке в его рваной одежонке невесело под такой крышей. Знай таскай хворост для костра да сиди вот так, каменея на корточках. И так до самой зорьки. Как только плеснет по небу зорька и звездочки одна за другой потухнут, Максима Пантюховича одолевает долгожданный сон с тяжелым храпом. Тогда Демка валится на бок и, забыв обо всем на свете, дрыхнет как убитый. Ни укусы комаров, ни гнус — ничто не в силах нарушить сон Демки.

Два дня назад на пасеку забрел гость — в коричневой кожаной куртке с ружьем. Он вышел из тайги под вечер, когда на траву пала роса. Максим Пантюхович угощал пришельца медовухой, сотовым медом и переспал с ним в избушке. Демку угнал на крышу омшаника. Утром пришелец, умываясь в Жулдете, подозвал к себе Демку и, заглядывая

ему в глаза, спрашивал, есть ли у Демки родители, чей он, у кого живет, и пообещал взять с собой на охоту, если Демка будет прилежным парнем. Но что значит быть прилежным? Что разумел под прилежностью охотник со шрамом на лбу и с такими жидкими русыми волосами на темени, что Демка про себя назвал его лысым? И не его ли боятся и караулит Максим Пантюхович?

VI

Макушка горы курилась, как кипящий чайник. Жарища — ни гнуса, ни комарья. И птицы не хлопают крыльями. Максим Пантюхович с Демкой с утра приподняли крышки над ульями, чтоб пчелам не было душно.

К полудню вся тайга укуталась в кипящую струистую мглу. И заросли кустарника по берегам Жулдета и речушки Кипрейной, и горы — все стало сине-синим. Кругом ни облачка. Небосклон не васильковый, а в серой паутине.

Словно пылью одуванчиков, припорошило диск солнца.

С горы Лысухи зашелестел по листьям деревьев резвый ветерок, сразу же напахнуло гарью.

Максим Пантюхович с Демкой работали возле улья; очищали с рамок трутневые свищи.

— Гарью несет! — Максим Пантюхович потянул в себя воздух и, прямя сутулую спину, огляделся. — Так и есть, поджег, сволота! Эх-хо-хо, люди. Куда идут? Кому вред причиняют? Сами себе. Ну, кончай, Демка, пойдем.

Накинули на рядки рамок холщовый положок, испачканный рубчиками пчелиного клея — прополиса, закрыли соломенным матом и пошли варить обед.

После обеда Максим Пантюхович ушел с берданкой в тайгу и вернулся поздним вечером. Демке — ни слова. Выпил кружки две медовухи, спрятался в затенье оплывшего смолкой сруба и так просидел дотемна.

Неповоротливые роились думы. Когда-то и он не был вот таким, нелюдимым и угрюмым, а был просто Максимкой на прииске Благодатном. Хаживал с артельщиками по речушкам тайги в поисках золотого форта, не вешал головы, когда форт плыл мимо рыла. Всякое приключалось в жизни! Парнем ушел в город, на «железку». Кочегарил на «кукушке», слушал забастовщиков, побывал в пикетчиках возле депо, схватил лиха в кутузке, а позднее — отведал пороховой гари на позициях. Свободушку оберегал пуще гла-

за. Зачем ему семья? Ребятчи рты? Не лучше ли парить по жизни вольным соколом? И он парил, распушив усы.

На фронте, сразу же как свергли царя, Максим показал немцам спину — и был таков. Керенцы запрятали его в штрафной батальон как дезертира, но он сумел уйти от них.

Пешком от Казани до Рязани, и от Рязани до Белой Елани; баловался силушкой.

После солдатчины работать отвык, а харч казенный получать негде было. Поневоле побывал в поденщиках. От литовки разламывало плечи; от комарья — зудилась шея. На удачу Максима, в Белую Елань вышли из тайги партизаны. Винтовки не досталось — подвернулся дробовик. И то не без ружья, стрелять можно. Распушил Максим чуб, нацепил на рукав красную девичью ленту; кругом стал красивый. В первой же схватке с беляками пофартило обзавестись винчестером. Сабля на боку, винчестер за плечами, маузерá, две бомбы «картофелины» у пояса, вместо ремня — пулеметная лента — громовержец! Глянет на себя Максим, аж самому страшно. Ну а про молодок-солдаток или там девок — говорить нечего. Не житье, а удадь. Но и удали настал конец. Колчака изгнали, на деревнях мужики засиживались на сходках. Обсуждали новую жизнь, что к чему и как. Максим приземлился в Кижарте. В Белой Елани обошли его мужики. Метил в сельсовет, но там и без него достаточно было героев. И рыжий Аркадий Зырян, и длинноногий Головня, и Павел Вихров, да мало ли? Еще раз повоевал — в банду метнулся... Потом прибился в тайгу — притихший, как вчерашний день.

В Кижарте Максима приняла в дом вдовушка из рода белоеланских Валявиных — хозяйственная бабенка.

Про любовь и разную там чувственность разговоров не было. Потянуло Максима на пятистенный дом, коровник, пригон для овец, омшаник на сотню ульев. Мать вдовушки, прижимистая старушонка, не позволила, чтобы дочь вышла замуж за бесшабашного мужика перекаати-поле. Но как одним управиться с таким хозяйством? Сенокосилка, жатка, новенькая молотилка «мак-кормик», маслобойка. Нет, без мужика, без работника невозможно! Так и жил покуда в работниках. Но вот пришел день, и на собрании бедноты вдовушку Валявину подвели под раскулачивание.

По улицам мела поземка, лютовал февраль, а в надворье Валявиных безлошадные мужики заглядывали в зубы откормленным коням. Вдовушка, очумев от горя, вцепившись

на красных лапах. Как тогда. Сгорим. Вроде с прииска пожар начался. Ох-хо-хо!.. Люди!..

Демка вздохнул, облизнув губы. Измаялся Демка с Максимом Пантюховичем. Хоть бы сбежать, что ли. Не по плечу Демке житье на пасеке. Первый взяток меда откачали, а до второго еще неделя. Тогда приедут колхозники. Демка уедет с ними в деревню. Обязательно. Ни за что не останется в тайге.

— И вечер навернуло страшным сном,— гундосит себе в бороду Максим Пантюхович,— и третьеводни. С чего бы? Нутром чую беду, как грыжей погоду. И вроде сила в ногах есть, и телом не так чтобы окончательно изнаосился, только бы жить да жить, а смерть стоит за плечами. Чую, стоит. Вот оно, какой конец пришел мне, шпингалет. Такое наваждение, господи! И через что? Через нрав неукротимый. Сколь лиха хватил из-за дури своей, господи!.. Всего навидался на своем веку. Пуля другой раз свистнет возле уха, как песню пропоет. А ты чешешь себе, аж в пятках смола кипит. Воевал, воевал, а что завоевал? В какую только петлю шею не пихал, а через что?! И вот опять сыскал меня, подлюга!..

— А зачем к вам охотник приходил?

Максим Пантюхович вздрогнул, свирепо повел взглядом:

— Не мели боталом! — И, минуты две помолчав: — У каждого своя линия жизни. У одного — такая, у другого — шиворот-навыворот. А кто знает, куда затянет линия? Кабы знатье!

Демка подбросил в костер хворосту. Стало светлее. Максим Пантюхович подставил к огню сгорбленную спину и замолчал надолго.

Из-за омшаника, издали, послышался собачий лай.

— Кому бы это быть, а?

Максим Пантюхович вскочил на ноги, не забыв вооружиться берданкой.

— Знать, настал мой час,— проговорил он, не обращая внимания на Демку.

Где-то за Кипрейчихой трещали сучья. Споткнувшись на хворостинке, старик упал навзничь, прямо в костер, аж искры брызнули, и тут же вскочил, подхватив рукою затлевшие штаны.

Ошалелый взгляд его на секунду задержался на лице Демки. «Ах, да! Вот еще с ним Демка!..»

Демку он не даст в обиду. К чему парню мучиться за чужие грехи? Уж он-то, Максим Пантюхович, знает Ухоздвигова, если что, сущий дьявол, живого свидетеля не оставит. Или сказать все Демке? Открыть тайну узла с Ухоздвиговым? Но поймут ли его люди? Не поймут. Да, может быть, обойдется еще все по-хорошему! Он должен повлиять на Гавриила Иннокентьевича, умиловать бандита словом, авось отстанет. Уйдет в другие места. Тайга-то — море разливанное!..

Вот еще беда-то какая! Будь она проклята, эта нечаянная встреча с Гаэриилом Иннокентьевичем! Не думал, не гадал, а жизнь полетела кувалдом. И как бандюгу занесло на пасеку? Зачем он дал ему слово исполнить все как следует? А вот как пришлось взяться за исполнение поручения, так и руки упали. Вышел позавчера на сопку хребта, как посмотрел с горы на пасеку и на привольное богатство тайги, так и брызнули слезы. Не ему, Максиму Пантюховичу, ходить в поджигателях. Дело прошлое — побывал в бандитах. И по сей день скрыл от людей постыдный факт. Так вот крутанула житуха, будь она неладная.

«Душа изныла, а смерть — за плечами. Если что, бандюга выцедит из меня кровушку. Ну да я свое отжил. Молодость напетляла, что век не расхлебать, а парня надо спасти!»

— Дядя, а дядя, штаны-то у тебя загорелись — дым идет, — подал голос Демка, не понимая, отчего так перепугался Максим Пантюхович.

— Тут не штаны, душа горит, парень, — выдохнул мужик, снова хватаясь ладонью за зад шароваров. — Бандюга идет на пасеку. Понимаешь? Бандюга первый сорт. Бери берданку да беги в деревню. Живее! Не заблудись! По Кипрейчихе. Как перевалишь хребет, так иди берегом реки. Скажи там, что, мол, на пасеку пришел Ухоздвигов. Сын того Ухоздвигова! Не забудь: сынок того самого Ухоздвигова. Скажешь: Ухоздвигов банду собирает из кулаков. И меня приходил сватать на такое паскудство, да нутро у меня не позволило! Слышишь? Не позволило нутро. Так и скажи. Может, прикончит меня бандюга. Иди, иди, Демка. Да не робей. На мою тужурку. В карманах патроны. Краюху бы тебе на дорогу, да бежать надо в избушку. А, вот они, господи!..

Возле омшаника, шагах в трехстах от костра, выплыли углисто-черные движущиеся тени людей.

— Беги, Демка! Беги, парень. Господи, пронеси беду. Может, отговорю еще? Задержу их. Помоги мне, господи! Вроде идут двое. Трое, кажись. Беги, Демка.

Демка не слышал, что еще кричал вслед Максим Пантюхович. Он нырнул в чашобу, будто игла в стог сена.

VIII

Есть нечто жестокое в самом ожидании. Приговоренный к смерти отсчитывает жизнь минутами. Они ему кажутся то мучительно долгими, изнуряющими, то слишком быстротечными.

С той секунды, когда возле омшаника показались пришельцы, Максим Пантюхович соразмерял свою жизнь со стуком сердца. Сперва сердце будто замерло, остановилось. На лбу, на волосатых щеках, на шее Максима Пантюховича выступил холодный пот. Потом сердце лихорадочно стукнуло в ребро и забилось часто-часто, нагнетая кровь в голову. Максиму Пантюховичу стало жарко, душно, не продохнуть. И вдруг сердце опало. Максим Пантюхович похолодел с головы до пят; спину до тошноты пробрало морозом. Перед глазами расплывалось оранжево-зеленое пятно, расходящееся кругами, как вода в омуте от кинутого камня. И сразу же тени людей сплылись в кучу. Вдруг зрение прояснилось. Он увидел все отчетливо и резко, как бывало в детстве. И Ухоздвигова в кожаной куртке, и блеснувшую пряжку ремня-патронташа, и ствол ружья, и насунутую на лоб кепку. Рядом шел незнакомый человек. За ними — еще кто-то, и еще кто-то. Не опознать. И опять зрение укуталось в мутную привычную сетку. Фигуры людей стушевались, предметы слились в черное.

Внутри Максима Пантюховича за какие-то минуты свершилась такая работа, так много перегорело в нем, что он вдруг почувствовал себя совершенно разбитым, усталым.

— Ну, как ты тут, Пантюхович, мудрствуешь лукаво? — были первые слова Ухоздвигова. — Грешься?

— Греюсь, Иннокентьевич, — развел дрожащими руками Максим Пантюхович. — Милости просим к огоньку.

— Что же ты огонька не развел побольше, как мы тогда договорились? Ты же обещал за два дня понаведаться на прииск и поджарить их там?

Едущие, сплывшиеся к переносью, глубоко запавшие глаза смотрели на Максима Пантюховича в упор, не мигая,

будто приколотив к тьме за спиною. В горле у него першило, и он закашлял.

— Печенка не выдержала, так, что ли? — впивался допытывающий голос.— Кто тут у тебя побывал после меня?

— Да никто вроде. Места глухие. Даль.

— Не криви душой, Пантюхович,— угрожающе процедил допрашивающий.— Я тебя насквозь вижу. На предательство потянуло, сивый ты мерин!

— Истинный Христос никого из деревни не было. Да и зачем? Взятки увезли, а до другого взятка — неделя-две.

Максим Пантюхович, растрепанный и всклокоченный, облизнув сохнувшие губы, поглядел на окружающих. Тут он только заметил знакомые лица, с кем не раз встречался.

Ни взгляда, ни участия! А трое знакомых мужиков! Соучастники робко прячутся за спину Ухоздвигова. Они даже свидетелями себя не выставляют. Они просто при сем присутствуют и — не по своей, дескать, воле! Вот хотя бы Крушинин «Пронесло бы, господи,— молился он.— Конечно же, если Максим Пантюхович останется в живых, то Иннокентьевичу несдобровать. А тогда... Немыслимое дело! Куда ему еще жить, Пантюховичу? Размяк, совсем размяк мужик. Потерял окончательно линию жизни. Прибрал бы его господь, только бы без ужастей». Под «господом» Крушинин разумел Ухоздвигова. «Жалко мужика. Вроде безвредный жил, а вот, поди ты, набедакурил. Дело-то щекотливое. Из-за одной срамной овцы, а всем на голову погибель».

Больше всех Максим Пантюхович надеялся на защиту хакаса Мургашки. Именно Мургашку Максим Пантюхович выручил в двадцать втором году из беды. Их было двое в тайге: Мургашка и Имурташка. Оба они были проводниками у золотопромышленника Ухоздвигова. Мургашка, младший брат Имурташки, пользовался доверием сынов Ухоздвигова, а сам Имурташка — не признавал сынов, а подчинялся только хозяину. Случилось так, что при побеге с прииска сам Ухоздвигов где-то в тайге спрятал золотой запас. Имурташка был с ним. Когда в подтаежье настала Советская власть, Имурташка скрылся. И вот вместо Имурташки ОГПУ арестовало Мургашку. Максим Пантюхович, бывший приискатель, партизан, грудью встал на защиту Мургашки. И хакаса освободили.

Но именно Мургашка с особенным нетерпением ждал, когда же «хозяин» воткнет кривой охотничий нож в пузо

Максима Пантюховича. Мургашка чувствовал себя отменно, когда сосед корчился в предсмертных судорогах. «Хозяин знает, как надо резать баран. Сопсем плохой дух у блудливый баран».

Но Максим Пантюхович еще верил, что мужики не дадут его в обиду. Он же стоит перед ними в залатанных штанах, в одной грязной, испачканной медом рубахе, безоружный и одинокий. А они все в силе, в здоровье, с ружьями! С кем им воевать-то?

Минуту молчания смел властный голос главара:

— А парнишка где?

Максим Пантюхович схватился рукой за шаровары:

— Вот так погрелся я, якри ее,— бормотал он, делая вид, что не слышал вопроса Ухоздвигова, и стараясь собственной забывчивостью разжалобить, рассмешить мужиков.

— Горят штаны-то, робята! Горят! Как припекло-то, а? И не чую даже. Хе-хе-хе!..

Отчаянная усмешка над самим собою Максима Пантюховича мгновенно угасла. Никто ее не поддержал.

— Парнишка где, спрашиваю! — зыкнул Ухоздвигов.

— Демка-то? — Максим Пантюхович развел руками, поддернул прогоревшие сзади штаны.— Должно, спит на омшанике или еще где. Умаялся за день.

— А ну, позови его!

Максим Пантюхович отупело уставился в узкое и длинное лицо Гавриила Иннокентьевича, будто припоминая что-то. «Ишь ты, позвать! Демка, может, далеко не ушел. Вернется на мой голос. Помешкать надо».

— Пойти разве поискать?

Лапа Гавриила Иннокентьевича схватила Максима Пантюховича за воротник рубахи и так рванула, что от рубахи остались рукава да перед. Костлявая спина оголилась. Руки его повисли вдоль тела. Перед рубахи, потеряв поддержку воротника, свесился карнизом, оголилась волосатая ребристая грудь. Максим Пантюхович рванулся было из последних сил, чтоб раствориться в темноте ночи. Но цепкие лапы, теперь уже не одна, а две, три, четыре сдавили ему железными заклепками запястья и горло.

Теперь он перед ними голый, беспомощный. А костер тухнет. Но вот Мургашка подсунул хворосту, напахнуло чадом тряпицы. Ухоздвигов кинул в костер лоскутья рубахи.

— Ты не финти, мерин! — гремел Ухоздвигов. — Парнишка здесь был. Куда ушел? Ну? Крикни ему. Слышишь? Или я из тебя душу вытрясу. Кричи, тебе говорят!

— Што же вы, робята, а? — взмолился Максим Пантюхович. Слезы катились по его щекам, теряясь в зарослях бороды. — Ни в чем я не виноват, робята. Помилосердствуйте!.. Мургашка! Я же жизнь тебе возвратил, спомни!.. Что же вы, а? Не мне жечь прииск, пасеку и тайгу. Ни к чему такое дело. Кому вред-то? Себе же. Потому и руки не подняя на поджог. Ему-то что, Гавриилу Иннокентьевичу? Махнет в город. У него везде найдется угол. А мы-то как? Приискатели чем жить будут? Народ?! Войдите в понятие, мужики. Не трожь меня, ааа!..

Ухоздвигов схватил Пантюховича за горло. Голова мужика болталась во все стороны, зубы цокали.

— Так, так! Бить надо, глупый баран. Сопсем баран! Бить надо баран. Прииск сопетский жалел, баран. Кинь-жал в бок! — свирепел Мургашка.

— Ты же, мерин, предать меня задумал! На предательство потянуло, дохлый сыч. А ты забыл, какие ты номера выкидывал в моем отряде в двадцать пятом году? Как ты из коммунистов жилы вытягивал? На огонь тебя, Иуда! На огонь. Ты нам сейчас скажешь, куда послал парнишку. Скажешь! Мургашка, подживи костер.

Максим Пантюхович понял, что теперь ему конец. Но он не подал голоса, не вернул Демку. Пусть парнишка уйдет от греха да скажет людям, от чьей руки погиб Максим Пантюхович. «Насильственная смерть скостит с меня все тяжести, какие я навьючил себе на хребет. Изгаляться будет, бандюга! Господи, помилосердуйте! Сниспошли мне смерть скорую, господи!..»

Сухой валежник, накиданный Мургашкой, поспешно разгорался.

Крушинин, вылупив глаза, обалдело тарачился на огонь. Ни о чем не думал. Очумел.

— Так ты не скажешь, мерин, куда послал парня, ну? В сельсовет послал? Говори!

Максим Пантюхович пересилил страх смерти.

— Не скажу, бандюга! Скоро тебя скрутят, попомни мое слово. Демка сообщит про тебя власти. Сыщут и прикончат!.. Попомни мое слово!.. Прикончат!.. И вам, мужики, худо будет! Демка, он...

— А ну, Мургашка, двинь его в скулу! Да в костер! На огонь его, на огонь. Крушинин! Живо!

Крушинин, изнемогая от стонов Максима Пантюховича, топтался на одном месте.

— Что ты мнешься? — кинул ему «сам». — Помогай! Поджарьте этого мерина. Да огня под сруб дома. Тащи туда огонь, Крушинин!.. Живее!..

Максим Пантюхович отпихивался от мужиков, кричал им что-то о каре, но те свалили его голой спиной в пламя костра.

Хватая судорожными глотками воздух, Крушинин опустился на землю.

— Праааклинаю, бандюга-а-а! — истощным воплем понеслось в глухомань тайги. — Праааклинаааю!..

IX

Истощный вопль Максима Пантюховича подхлестнул Демку. Он еще не верил, что на пасеку заявили бандиты. Но вот тайга, вся лесная темень лопнули от крика Максима Пантюховича. Со всех рассох, падей, с каменистых обрывов двугорбого хребта неслись истощные крики.

Демка кинулся бежать. Темень, хоть глаз выколи. Выставив вперед руки, чтоб не напороться на сучья, он шел, спотыкаясь о валежины, падал, спохватывался, не чуя под собою ног. По крутому склону отрога хребта он лез на четвереньках. Сердчишко Демки исходило в страхе, пот застилал глаза, головенка тыкалась то в коряжины, то в пни, трава царापала щеки, но Демка, не чувствуя боли, лез и лез в гору. Он не знал, куда карабкается, что его ждет там, на горе, единственное, что его подгоняло, был страх перед бандитами.

Сколько он прошел, вернее прополз, он и понятия не имел. Но здесь, на горе, среди шумно лопочущего леса, он немножко пришел в себя и, переведя дух, осмелился оглянуться. И что же он увидел? Танцующее пламя на том месте, где была пасека...

— А! — вылетело у Демки. Больше он ничего не мог сказать. Горел сруб дома. Вся пасека в багряных отсветах пламени видна была с горы как на ладони. Ряды пчелиных домиков, старая береза возле избушки, крыша над омшаником, а там, за Жулдетом, отвесная стена черных елей. Горящие головни, подхватываемые огненным вихрем, взле-

тали в небо, рассыпаясь над землей летучими искрами. Ветер нес валежник.— Горит, горит! — бормотал Демка. По щекам его катились слезы.— Горит, горит!.. Все горит.

Но вот по ту сторону Жулдета поднялся к небу столб огня. Пожар перекинулся на тайгу.

Возле пасеки суетились какие-то люди. Двое или трое. Они были до того маленькие, как те домовые, про которых когда-то рассказывала крестная Аграфена Карповна.

— Все, все сожгут,— вздыхал Демка.— И Максима Пантюховича сожгли, наверно, и все улы!.. А что, если меня сцапают? Тот бандит-то видел меня на пасеке... Ухоздвигов, значит. Вот он какой, Ухоздвигов-то!..

И Демка кинулся в дебри.

Труден путь по бездорожью и бестропью. Но во сколько раз он труднее по тайге! Демка не шел, а вламывался в чащобу, шаг за шагом. Деревья то сплывались стеной, не пройти, то расходились на шаг-полтора, как бы открывая двери в некое потаенное местечко. И так — дверь за дверью, шаг за шагом. Тужурку Максима Пантюховича Демка тащил то на плече, то волочил за собою, и она ему мешала, цеплялась за деревья. Он хотел ее бросить. Но ведь в карманах тужурки патроны от берданки!

— Зарядить надо берданку. Если что — двину,— подбодрил себя Демка.

Присел на валежник, зарядил берданку, выкинул холостой патрон. Долго искал патрон, завалившийся в траву, и найти не мог.

Натянул на себя тужурку, закатал рукава и опять пошел вперед, шмыгая и разговаривая вслух, чтобы самому себя слышать:

— Если зверь налетит — пальну. Да нет! Заряды-то дробные. Пальнешь, пожалуй! Он потом, зверь, как насыдет на тебя, так враз кишки выпустит. А может, есть заряды с пулями?

Демка говорит с паузами, врасстяжку. Он теперь не шпингалет, а мужчина, настоящий мужчина. Тайга — и он в тайге. И больше никого. Но страхота-то какая!

Х

На солнцевсходе Демку сморила усталость. Он присел возле выскори — вывороченного из земли дерева, зажал берданку в коленях и крепко заснул.

И чудится Демке, что он не в тайге, а плывет на большущем белом пароходе по Енисею, на том самом пароходе, какой он всего один раз видел в Минусинске. Тогда Демка стоял на крутом берегу и нюхал, именно нюхал пароход. Смотрел и нюхал. Пароход так вкусно пах, что он так бы и съел его. Толстушая коса пароходного дыма стлалась по самому берегу. И Демка, раздувая ноздри, втягивал в себя запах каменного угля. Такого запаха не было в тайге.

— Ох, какой он пахучий! — восторженно отозвался Демка, на что дружок его, чернуший Степка Вавилов, поддерживая штаны на ляжке, ответил:

— Они все пахучие, пароходы. Я завсегда их нюхаю.

— Вот жратва так жратва! — вздохнул Демка. — От одного запаха можно насытиться.

— Ну да! Насытишься, — пробурлил Степка, — это ж так воняет каменный уголь. Перекипятят камни в смоле да жгут их потом. А тятка говорит, будто вынимают из земли этот камень. Если, значит, наверху земли камень — тот простой камень. А если под самой землей камень — тот каменный уголь.

Из разъяснений Степки Демка уяснил только одно, что большущие пароходы на Енисее жрут каменный уголь. И этот уголь чрезвычайно вкусно пахнет. С той поры как только Демка, возвращаясь к приятным воспоминаниям, тешил себя видением парохода, он припоминал запах парохода и никак вспомнить не мог. Перебрал все запахи на деревне, в тайге, на пасеке, но ни один не был похожим. И вдруг сейчас, в тяжкую минуту, во сне, на Демку повеяло тем самым чудесным запахом!

Демка во сне захлебнулся от удовольствия. Чудно! Он плывет на пароходе и в то же время — видит весь пароход, будто сидит не на самом пароходе, а на толстой косе пароходного дыма и смотрит на пароход сбоку. Но он, Демка, плывет! Конечно, плывет! Он чувствует, как качается его головенка от движения парохода по волнам Енисея. Вперед и назад, вперед и назад...

Сладкий утешительный сон. Но если бы Демка не спал так крепко, он бы увидел, как в каких-то тридцати шагах от него по высокогорной тропе в сторону Верхнего Кижарта прошли бандиты: охотник в кожаной куртке, что приходил к ним на пасеку, и еще какие-то двое.

Такова матушка-тайга!

Кто не бывал в тайге, тому трудно ее понять — непро-

ходимую, со звериными тропами, где легко потеряться, но нелегко выбраться новичку. Тут можно пройти мимо батальона солдат, спрятавшегося где-нибудь в пади, и остаться уверенным, что кругом безлюдье.

Демку разбудил стук дятла и запах дыма. Будто кто-то стучал в ухо: «Беги, Демка, беги! От смерти уходишь!» Демка испуганно проснулся. Над ним, в сизой паутине дня, качается широченная лапища сосны. И сразу же на Демку наплыли ужасы минувшей ночи: столб огня в зажулдетской стороне, истошный вопль Максима Пантюховича, пожар пачеки, черные фигуры бандитов. Надо бежать, бежать. Но куда же он забрел ночью? Впереди деревья и с боков деревья. Под ногами прошлогодние, иссохшие на корню травы, прикрывающие едва пробившуюся зелень, валежник, трухлявые пни, а сверху — мглистое, горячее небушко без солнца.

Солнце где-то над головою, но его не видно. Между солнцем и землею — синие разводы плавающего дыма.

У Демки болят исцарапанные руки, колени, мозжит все тело. Ему бы хоть глоток воды! Всего один глоток. От вчерашних страхов пересохло внутри. Губы у Демки обгорели и во рту сушь, точно он наглotalся горячих углей.

Но где же течет Кипрейчиха — слева или справа? А может быть, надо идти вот так прямо, к Становому хребту Жулдета?

Поник Демка. Он не знает, куда ему идти. А идти надо. Не стоять же здесь, под сосною возле выскори!

Прежде всего Демка обшарил карманы тужурки Максима Пантюховича. Из одиннадцати патронов, оттянувших карман, только семь оказалось с зарядами. Пять с дробью и два с пулями. Демка разложил патроны на тужурке и долго разглядывал их. «Как налетит зверь, пальну», — решил он, заряжая ружье.

В другом кармане тужурки нашелся складной кривой нож с деревянной рукояткой и неполный коробок спичек. И еще какая-то тряпка. Демка завернул спички в тряпку, чтоб не отсырели.

«Максима-то Пантюховича нету-ка таперича, — вздыхал Демка, соображая, как ему поступить с тужуркой. — Рукава обрежу, и она мне придется в самый раз».

Так он и сделал, потом двинулся дальше по отрогу, наугад, куда судьба выкинет. Ту горную тропку, по которой утром прошли бандиты, Демка пересек, даже и не заметив.

Июльский денек — семнадцать часиков. Немалый путь прошел Демка по глухолоесью до того, как солнышко свернуло в заобеденную грань. В рассохе между Становым хребтом и его отрогом Демка отдохнул у речушки, напился, умылся и побрел дальше.

XI

...Накануне Нового года по укатанному санному следу, скрипя подполозками, на большак Белой Елани выехала кошева. Мимо полуотстроенных новых домов, мимо присыпанных снегом руин пожараща провели из тайги пойманных бандитов. Вся деревня сбежалась посмотреть на виновников своего несчастья. Ребятишки, улюлюкая, стеною валили за кошевой, буравя крупитчатый снег по обочине дороги.

— Пошли отсюда! А ну, назад!..— кричал Мамонт Головня, размахивая рукояткой бича. Бандитов было двое. Мургашка и охотник Крушинин. Их поместили в сельсовете, в жарко натопленной комнате с буфетной стойкой. Приставили стражу и дали отдохнуть до утра.

Косясь на мужиков, Мургашка лежал на полу маленький, желтый, как лимон, выкуривая одну трубку за другой. Одет он был в какие-то лохмотья, в яловые ичиги, а с головы так и не снимал рваную баранью шапку-треух.

— Ну, как тебя звать, гость дорогой? — спросил Головня, суживая маленькие колючие глазки и закуривая «козью ножку».

— Мургашка.

— А фамилия?

— Меня все звал Мургашка. Нас два был — Мургашка и Имурташка. Я, который вот я, и другой, который был главным проводник самого хозяина.

— Какого хозяина?

— Один был хозяин тайга. Ухоздвигов.

— Кем же ты был, второй Имурташка?

— Работал немного. Земля таскал. Всего делал немного.

— На кого работал?

— На хозяина. Кого еще? — рассердился хакас.

— Откуда ты родом?

— Какой «родом»? Не понимайт. Ты кто? Начальник?

— Председатель сельсовета.

— Пошто хлеб не даешь, председатель? Пошто голод

держишь? Мургашка закон знает. В тюрьма хлеб дают. Баланда дают. Чай дают. Сахар дают. Прогулка. Советская власть нет закон бить. Ваш колхозник бил! Зачем бил Мургашка? Я шел тайга. Мало-мало охотился. Медведь смотрел. Ружье был. Билет был. Все забрал!

Мургашка, успев отдохнуть, заготовил целую речь. Он, конечно, знать ничего не знает ни о каком Ухоздвигове!

— Все врешь ты, как сивый мерин,— сказал Головня.

— Ты, председатель, не имейт права так говорить. Я сказал: был в тайга на охота, значит, так запиши. Другой ничего не знайт! Ваш колхозник все скажет. Я ничего не знайт!

— Знаешь! Где сейчас Ухоздвигов?

— Может, помер, может, нет.

— Финтит, язва,— сказал один из мужиков, стороживший Мургашку с карабином наизготове.— Хитер, подлюга.

У Мургашки огонь в глазах. Желтые, прокуренные зубы щерятся — вот-вот укусят!

— Сколько тебе лет, Имурташка? — спрашивает Головня.

— Мургашка я! Мургашка! Трисать зим Мургашке. Сопсем молодой. Имурташке сорок пять зим давно. Должно, сдох теперь Имурташка...

— Тоже мне, молодой! Жених прямо!.. Ссохся весь, как печеное яблоко, грязный, вонючий... Вши вон по тебе ползает. Тридцать зим Мургашке, и уже каюк, да?..

Мургашка хмурится, попыхивает едким самосадам и, чтобы не продолжать разговора с Головней, свертывается калачиком, ложится в угол за шкаф, бормочет:

— Мургашка ничего не знайт. Мургашка будет помирай.

Головня спрашивает у стоящих в охране рабочих присика — сына и отца Улазовых:

— Их что, не кормили?

— Какое! Буханку хлеба слупили да чаю выдули чуть не с ведро,— поясняет Улазов-отец, здоровый, широкоплечий, косматый мужик лет шестидесяти.— А што, Мамонт Петрович, скоро мы их спровадим в огэпеу? Противно на них смотреть, пра-слово. Люди-то они оба бегучие, что этот Крушинин, что Мургашка. А Крушинин,— Улазов качнул головой в сторону охотника, укывшегося однорядкой,— орудовал в нашей тайге при Колчаке. Знаю я его как облупленного. Сдается мне, он да Мургашка этот знают все тай-

ные ходы Ухоздвигова. Без их помощи он бы давно наружу выплыл.

— А ну, поднимите его! — Головня подвинул к себе стул. Крушинин привстал на локоть, зевнул.

— Значит, бандит со стажем?

Крушинин молчит, будто не у него спрашивают.

— Я у тебя спрашиваю, Крушинин!

— Крутили я, товарищ председатель. Как вечер говорил, так теперь поясняю: нивчью попался! Пришел вот на займку вот этот косоглазый...

— Хе-хе-хе, ловко! Насобачился, стерва,— замечает Улазов-отец.— Вы, Иван Михеич, не играйте в прятки. Мамонт Петрович не любит кривых выездов. Говорите правду-матку. Вам ловчее, и нам легче.

Крушинин, вылупив глаза, непонимающе помигивает на Улазова. Накидывает на плечи однорядку, садится на пол возле стены, отвечает:

— Да ты чо, паря? Ополоумел или как?

— Давно ли ты, Иван Михеич, перелицевался? — спрашивает Улазов-старик.— Финтишь, а ведь люди-то знают тебя! Не Крутили ты, паря, а Крушинин. Две буквы переделал в фамилии, а вот про душу-то, паря, забыл. Родом ты, паря, из казачьего Каратуза, а не из Кижарта. Земляки мы с тобой. Аль запоматовал Улазовых? Ты казак, и я казак. Ты рубил красных, и я рубил красных... по дурости, прости меня, господи, как не разобрамшись. Тогда тебе нашили лычки... Я за свое казачество, паря, отбрыкал семь лет, а вот ты бы не сносил головы.

— Вот оно какие дела! — проговорил Головня, встав со стула.

— Поклеп, товарищ председатель. Обознался мужик-то. А мне-то, мне — петля! Охотник я из Кижарта. Там и семья у меня...

— Ты не сепети,— урезонил Улазов-отец.— Я и в Кижарте встречал тебя, и в Сухонаковой!.. Видал, а молчал. Думаю, пусть живет мужик, коль прибил к берегу. Сбежал ты со, ссылки-то. По дороге сбежал. И семью свою уволок. Двух детишек схоронил по дороге. Все знаю!.. Но таперича молчать не стану. Потому — с бандой увязался.

Охотник даже позеленел. По его хищному взгляду, как он смотрел исподлобья на старика Улазова, Головня понял, что он использует любую оплошность охраны, только бы убежать.

— Свяжите его,— сказал Головня.— Скоро мы их отправим.

Сын Улазова, такой же коренастый мужик, как и отец, ни слова не обронивший во время разговора отца с Головней, молча связал руки Крушинину, хотя тот и пустил слезу, умоляя Улазова-старика отказаться от своих слов.

Вскоре после ухода Мамонта Петровича в буфетную зашла Авдотья Головня. Румяная, нарядная, она всегда входила гордо, грудью. Никто еще из мужиков не видел ее угрюмой, мрачной. Она была приветлива, легка на шаг. Авдотья попросила оставить ее на минутку с Мургашкой.

— А ежлив што случится? — косился Улазов.— Ить они в окно выпрыгнут. Тогда как?

— У меня не выпрыгнут! — успокоила Авдотья.— Да вы встаньте один у двери, другой у окна. И охотника возьмите с собой в сени. Я буду говорить одна с Мургашкой. Мне Головня велел,— соврала Авдотья не моргнув глазом.

— Ну велел так велел.— И ушли.

Мургашка притворился спящим. Но услышав насмешливый голос Авдотьи, приподнялся, невозмутимо посмотрел на нее и, не торопясь, стал набивать алюминиевую трубку.

— Што надо, баба?

— Мне тебя надо.

— Я весь тут. Вот он.

— А весь ли? Может быть, ты здесь, а душа улетела куда-нибудь к Разлюлюевскому местечку? — Авдотья хитровато шурит черные глаза, присаживаясь на корточки возле Мургашки.

Мургашка не любит женщин. Мургашка не выносит женского взгляда. Он морщится и пыхает вонючим дымом в лицо Авдотье.

— Да не дыми ты, Сарооб!

— Как?! Как?

Мургашка даже трубку выронил от такой неожиданности. Сарооб, Сарооб! О, великий Хангай! Это же его настоящее имя, некогда пропетое ему над колыбелью матерью. Как узнала баба его настоящее имя? Ведь по обычаю Мургашкиного рода ни одна женщина не смеет вслух произносить имя мужчины. Даже мать поет над колыбелью сына, называя ребенка как угодно, только не своим именем, чтобы злые духи не подслушали и не унесли его. Но, видно, женщины Мургашкиного рода не соблюли этот закон со всей

строгостью. И вот налетели злые духи, принесли неизвестную болезнь, и не стало в юрте ни отца, ни матери, ни сестер. Может быть, и Мургашки не было бы, если бы не забыл он навсегда своего имени? Всю жизнь Мургашку знают как Мургашку, и никак иначе. Когда они с братом пришли в тайгу к Ухоздвигову, он приютил их, назвал брата Имурташкой, а его Мургашкой, так это и осталось навечно. Никаких документов у них никто не спрашивал, да они и не имели их. «Ты, Имурташка,— сказал золотопромышленник,— будешь мой проводник. Я тебя научу понимать тайгу, искать в ней золото. Ты будешь первым Имурташкой на всем белом свете!» А Саро́л стал Мургашкой. Когда пропал хозяин, когда пришла Советская власть и Мургашку посадили в тюрьму, чтобы допытаться, куда хозяин упрятал свое золото, Мургашка так и не сказал своего настоящего имени, будто его и не бывало. Круговерть унесла все в тартарары. С тем из тюрьмы и вышел.

— Как? Как ты сказал, баба? — переспросил Мургашка, поднимая трубку.

— Да разве ты забыл свое имя, Саро́л из рода Мылтыгас-бая? — удивилась Авдотья, отмахивая ладонью вонючий дым.

— Ты сам шайтан, баба! Как знал — Саро́л Мылтыгас? Кто сказал? Ты — кто?

— Твой дом сказал. Я живу в твоём доме, который построил вам с братом хозяин. Хороший дом. Только больно потолки низкие. Как у вас в юртах. Эх ты, Саро́л Мылтыгас-бай!..

— Так не говори. Я — Мургашка. Всегда Мургашка.

— А я вот знаю, что ты не Мургашка, а Саро́л Мылтыгас-бай. Помнишь, как ты приходил к нам в Белую Елань с братом. Тогда я была еще совсем девчонка. Ты сидел на крылечке... Помнишь? А мой отец и твой хозяин Ухоздвигов Иннокентий Евменыч обсуждали, где лучше построить для вас с братом дом. Я тебя еще напоила чаем. А ты просил варенья и меда. Помнишь? Ну вот. А в твоём доме теперь живу я. В подполье я нашла шкатулку. Там лежали ваши метрики, в труху истертые, какая-то книжка, разные бумаги. Неужели ты совсем забыл про свою юрту, Саро́л? Про свою мать.

Хмурое лицо Мургашки заметно переменялось. Нечто живое тенью прошло от его потухших глаз до бескровных губ — и сгасло.

— Мой юрта! Мой юрта!.. Мой баран!.. — бормотал Мургашка, в такт слов покачиваясь всем корпусом. — Был юрта — нет юрта!.. Шайтан забрал. Все забрал!.. Был Сарообл Мылтыгас-бай — нет Сарообл Мылтыгас-бай!.. Есть Мургашка. Сопсем один. Помирать надо. Заптра помирать. Жить не надо Мургашка... Зачем живет? А? Сопсем плохой человек. Сопсем дурак. Вот такой. — (Мургашка очертил круг трубкой в воздухе). — Круглый дурак! Живет — зачем живет? Сам не знайт. Когда был царь, когда был порядок тайга, Мургашка знал, зачем жил. Был хозяин у Мургашка. Нет царь, нет порядок, нет хозяин, есть много нашальник — Мургашка помер. Нету! — И грустно покачал головою. Жидкая бороденка тряслась, как у старого емана.

Авдотья притронулась рукою к плечу Мургашки и, склонившись, тихо спросила:

— Скажи мне, будь добрый, только правду скажи... Где твой молодой хозяин?

Мургашка выпрямился, отстранил руку.

— Ты шиво? Баба! Шайтан! Какой хозяин? Я шел охота. Помирать шел в своя тайга. Меня забрал дурак! Бил!.. Я брал билет. Медведя хотел стрелять. Меня...

— Зачем ты мне-то городишь чушь этакую? Я же протокол не пишу. Ты же видишь — один на один разговор веду? У меня... дочь есть, Мургашка. Понимаешь?! Дочь! Эта дочь...

Мургашка сузил глаза, присмотрелся.

— Тебя как звать?

— Дуня... Юскова. Головня теперь. Помнишь Елизара Елизаровича Юскова?

— Дуня? Ализара Ализарыча? Ай-яй!.. Знай!.. Гаврила любит тебя, скажу, Дуня. Сильно любит, шайтан. Сном видит тебя. Я буду ворожить, дай бобы. Есть бобы? Нет бобы? Ну, ладно. Спичка пополам, будем ворожить. Скажу тебе все про хозяина.

Хитер хакас! Авдотья, невесело ухмыляясь, смотрела, как Мургашка, ломая спички, пересчитывал их, потом положил перед собой, разделил на три кучки, потом еще на три, и еще на три, разложив кучки в три ряда. Что-то помещал, подул вправо и влево, а тогда уже, вздохнув, заговорил:

— Слушай, Дуня. Не перебивай. Бобы правду держат — на червонного короля Гаврил. Фамилий как — не знаю. Бобы не сказал. Имя сказал. Гаврил. Всю жизнь сказал — впе-

ред и назад. Все сказал. Страшно! Ой-ой-ой, как страшно. Боишься?

— Не из пужливых, говори.

— Молчать будешь?

Авдотья кивнула головой.

— Бобы сказал: был Гаврил богатый батыр — стал бедный батыр. Мало-мало живой.

— А дальше?

— Не перебивай!.. Когда родился батыр, звезда упал с неба и утонул в воде. Вода была холодный, плыл туда-сюда лед, звезда замерз и сопсем потух. Тогда сказал шаман: «Твой звезда, Гаврил, утонул в лед. Ты будешь ходить свобода. Будешь искать — нет нигде!» Так сказал шаман. Гаврил жил, мало-мало искал счастья, мало-мало любил русский дебашка-красавиц. Был одна самый красивый. Он стал баба председатель.

— Не ври, — не удержалась Авдотья.

— Пошто мешашь? Бобы говорит — не я. Не надо — буду молчать.

— Говори, говори.

— Потом начался холхоз. Новый порядка. Беда! Гаврил много шел тайга, ломал себе ноги. Хотел в тайга спасться, искать свой звезда. Искал долго, плохо кушал, плохо спал, сильно мерз зима! У, как сильно! Брр! Сопсем простыл, захворал... Идет Гаврил по тайге — рысь упал с дерева — плечо выдирает сопсем! Еще больше захворал Гаврил. Черный стал день и черный ночь... Никто не стал лечить Гаврил. Он лежал — помирать хотел. Стал копать яма себе — глубокий яма. Ой-ой, как глубокий. Хотел сам лечь яма и помирать, чтоб медведь не тащил кость...

— Врешь ты все! Врешь, Саробл! Не верю я тебе, — вскинулась Авдотья, ухватив Мургашку за бешмет.

У Мургашки выпала трубка из зубов.

— Шайтан-баба! Шайтан-баба! Пусти! — бормотал Мургашка, отодвигаясь от Авдотьи. — Ты сопсем не Дуня! Ты шайтан-баба! Чего хватал за грудь. Чего дергал Мургашка?

— Ну, скажи же, наконец, жив он? Жив?

Мургашка подтянул под себя ноги калачиком, запахнулся.

«Ух, какой злой баба! Горячий баба», — подумал, косясь на Авдотью.

— Не сердись! Скажи же, что дальше говорят бобы?

— Ничаво дальше нет. Кончал базар!

— Ну, будь добрый! Не мучай меня. Доскажи судьбу-то Гавриилу. Не про себя же ворожишь?

Зажмурив глаза, Мургашка подумал. Подвинулся к разложенным бобам-спичкам:

— Что последний сказала?

— Сказал, что стал он яму себе рыть...

— Когда сопсем глубоко стал рыть — нашел золото. Много золота! Ой-ой, как много!.. Свой звезда нашел. Тот, что искал. «Я не буду помирать,— сказал Гаврил.— Возьму золото. Маленько возьму. Много оставлю»... И ушел из тайги. Сопсем ушел.

— И опять ты врешь, Саро́л! Не может этого быть.

Мургашка пожевал трубку, покачал головой, смахнул ребром ладони спички-бобы, рассердился:

— Ты шибко хитрый баба! Я тоже хитрый. Хошь знать больше Мургашка? Вот как!.. Бобы все врал — ты слушал.— И усмехнулся вымученной улыбкой.

XII

В тот же день Мургашку с Крушининым-Крутилиным увезли в Минусинск в ОГПУ.

Мургашка плевался всю дорогу.

— Какой баба! Тьфу, ведьма! Дунька — ведьма!..— и цыркал желтой слюной по белому снегу.

Крушинин-Крутилин, притворившись казанской сиротой, плаксиво бормотал в спину Улазова-отца:

— Душу мою погубить задумал, паря. А с чего? Что мы с тобой не поделили? Я поперек твоих дорог не хаживал, а ежлив ты зуб поимел на меня за ту выдру, которую я тогда достал в Кижарте, то поимей в виду, на кляuze ты никуда не уедешь! Значит, зло сорвать хочешь на моей судьбе?

— Не ври,— ответил Улазов-старик.— Никакой выдры в помине не было. Едешь и придумываешь, как тебе ловчее выкрутиться.

— Господи! С выдры-то и понес на меня!

— Не умничай, Иван Михеич. Ни к чему,— ответил Улазов-старик.— Таперича Советская власть. Ее на кривой кобыле не объедешь.

— То-то ты и выслуживаешься! Хвост-то он и у тебя при-маран.

— Я от старого давно отторгся.

— Знамо дело! С берданкой этой куда ловчее управляться, чем хрип гнуть на пашне. Все Улазовы лодырягами были. Помню. Не забыл. Весь Каратуз знает — как сенокос или страда, так Улазовы работников ищут! А таперича вам совсем лафа — набивай пузо дармовым хлебушком!

— Заткнись! Или я тебя изничтожу, как при попытке к бегству!

— Пуляй, пуляй! Токмо свидетелей куда денешь? Так всю дорожку и ехали, ссорясь.

Ночью Мургашка не спал, бегал из угла в угол по катажке, насмерть перепугал Крушинина-Крутилина, беспрестанно бил кулаком в дверь, вызывал начальника.

На первом допросе у начальника Мургашка метался как угорелый.

— Ой-ой, я сопсем ничего не знайт, начальник. Не был банда, нет в тайге банда! Тайга сам горел. Ничего не знайт!..

Самое страшное началось в обед, когда в катажку подали в глиняной миске картофельную похлебку на мясном бульоне. Крушинин-Крутилин, подвинувшись к Мургашке на нарах, хотел было принять свою миску, чтобы пересесть от вонючего соседа подальше, как вдруг Мургашка подпрыгнул, дико отшвырнул алюминиевую ложку: ему показалось, что из миски по черенку ложки ползла золотая змея с белыми глазами. Сперва он глядел на нее ошалелым неподвижным взглядом, но потом, когда исчезла ложка и миска, а на месте ее толстым клубком, шевелясь кольчатым туловом, оказалась змея, Мургашка вскрикнул, отшвырнул миску в сторону. Тут и началось. Со всех сторон камеры тянулись к нему золотые змеи. Из окон, с потолка, из подполья — отовсюду ползли змеи. Мургашка видел, как, медленно передвигаясь, выполз золотой удав с головой Ухоздвигова.

«А! Мургашка! Ты что же, подлец, делаешь? — сказал хозяин, вылупив на Мургашку фиолетовые глаза. — Ты что же, а? Подлюга! Предаешь меня?» И потянулся к шее Са-робл Мылтыгас-бая.

Вид его был ужасен. Воспаленные, налившиеся кровью глаза с мешковатыми отеками в подглазьях дико озирались, не задерживаясь ни на одном предмете. Мургашка за неделю осунулся, страшно пожелтел, будто в самом деле поми-

рать собрался. Что бы ему ни подали: чай, хлеб, трубку,— везде он видел змей. Они его душили, мучили. «Ой-ой! Давай нашальника! — вопил Мургашка во все горло, когда его связали.— Зачем запирали Мургашка? Зачем напускали змей? Ой-ой!..»

Мургашка, умевший забывать даже собственное имя, так и не дал ни одного показания. С тем и отправили его в Томскую психиатрическую больницу, как это случилось в 1923 году с его старшим братом Имурташкой..

Крушинин-Крутилин сознался в преступлении злоумышленного поджога тайги, не забыв главную вину свалить на Ухоздвигова. Суд присудил ему высшую меру наказания за убийство и поджог. Но после кассации приговор заменили десятью годами.

...Спустя семь лет Мургашка снова вернулся в тайгу доживать век — больной, помятый и какой-то бесцветный; не житель, а пустоцвет на земле.

ЗАВЯЗЬ ЧЕТВЕРТАЯ

I

Старый хмель жизни не слился с новым. Размышляя над судьбою Демида, уехавшего учиться в город, Филимон Прокопьевич вспомнил библейскую притчу о том, что никто не вливает молодое вино в мехи ветхие; иначе молодое вино прорвет мехи и само вытечет. И никто, пив старое вино, тотчас не захочет молодого, ибо говорит: старое лучше.

Молодое вино бродило, пенилось в деревне, набирая силу. Мужики хоть и оглядывались на старину по привычке, а все-таки не сидели сложа руки — работали в колхозе.

«Может, и бога вовсе нету?» — соображал Филимон Прокопьевич.

Три года Филимон Прокопьевич скитался по свету, промотал хозяйство и вернулся домой осенью 1933 года «со вшивым интересом»; и на рождество, подсчитав свое одиноличное состояние, порешил отпихнуться от старой жизни.

Всю ночь сочинял заявление о приеме в колхоз. Меланья

клала поклоны в моленной горнице, где когда-то радели тополевы и покойный свекор толковал ей таинственный смысл бытия о дочерях Лота, а Филя, мусоля языком химический карандаш, описывал всю свою «жисть», как он ее понимал. Начал с тополевого толка, и как дремуче веровали люди в пору его молодости, и как измывался над ним покойный тятенька, и что он, Филимон, долго не мог высвободить затуманенную голову из густых зарослей старого хмеля...

Был морозный день, когда Филя уложил на сани уцелевший сакковский плуг, деревянные бороны, подцепил сзади телегу и, нахлестывая Карьку, перевез свое богатство в колхозную бригаду, которая размещалась в надворье раскулаченного тестя Валявина.

— Вот оно все мое единоличество, — сказал Филя.

— С таким достоянием, Филя, на тот свет в самый раз, никаких излишков, — посмеялся бригадир Фрол Лалетин, такой же рыжебородый, как и Филимон.

— Корову тоже привести?

— Держи у себя. А вот телушка, видел, стоящая. Добрая корова вырастет. Отведи ее на нашу ферму.

— Ишь как! — щелкнул языком Филя. — Как же без мяса проживу? Силов не будет на работу.

— Проживешь старым жиром, — хлопнул по тугому загривку Филя Фрол Лалетин. — Хозяйство-то промотал — хоть телушку приведи в колхоз.

— Ежели так, берите и телушку, — согласился Филя и даже повеселел, как бы освободившись от непомерной тяжести. — Все едино, мороки меньше.

Долго стоял на пригорке, глядя на седой тополь. Тонкие и толстые сучья — до ствола в наметах куржака, как в иглистом серебре, сухо пощелкивали.

«Эх-хе-хе, горюшко людское, — подумал Филя. — Не выдрать тебя из земли, не изничтожить. Тятенька жил так, а меня вот кувырнуло вверх тормашкой: в колхоз записался. В коммунию попер, якри ее. А што поделаешь?»

II

Из города вернулся Демид в леспромхоз.

Лохматая тайга встретила Демиду пахучестью хвойного леса, работающим народом, перепевами зубастых пил, вкусными щами в орсовской столовке, и что самое интересное,

Демид сразу стал самостоятельным парнем. Никто не попрел его куском хлеба — он ел свой.

Тайга, тайга!..

Близкая и таинственная, она звала к себе юное сердце Демида, будоражила кровь, и он, забывая обо всем на свете, работал с лесорубами, довольный собственными, хотя и небогатыми, получками зарплаты. Вернулся он из города взмужалым, рослым и стал работать по сплаву леса. Беспокойный и бесстрашный, неломкий в трудных переплетах, рыскал он по таежным рекам месяцами, подгоняя хвосты молевого сплава. Как-то по мартовской ростепели навестил Демида отец на дальнем лесопункте Тюмилъ. Демид жил в бревенчатом бараке, в самом конце, в отгороженной досками клетушке. «Чистый свинарник», — отметил Филимон Прокопьевич, втискиваясь в клетушку.

Застал сына за скудным обедом. На голом столе картошка в кожуре, щепотка соли, кирпичина черного хлеба, медный, прокоптелый на кострах чайник и алюминиевая кружка вся во вмятинах. Стены проконопачены мхом. Деревянный топчан накрыт серым одеяльцем, вместо подушки — комом свернутая телогрейка. На стене брезентовый дождевик с обтрепанными рукавами, нагольный полушубок, да еще ружье — «из дорогих, должно, бескурковое. Стоящую премию цапнул».

Единственное окно с одинарной рамой оледенело снизу доверху.

— Эх-хе-хе, постная у тебя житуха, Демид. — Филимон Прокопьевич оглянулся, куда бы сесть. Две чурки, на чурках доска неструганая. Демида только что назначили прорабом. И он жил тут же, на лесосеке, не покидая своего участка. — Вроде в начальниках ходишь, а выглед копейный.

— Не жалуюсь.

— Оно так. Поди, весь заработок на займы отдаешь?

— Сколько полагается, отдаю.

— Одичал, вижу. Рубаха-то с грязи ломается.

Демид перемял широкими плечами:

— Тут ведь тайга, папаша. Всяко приходится жить.

— Оно так. И холодом, и голодом, а мильенами ворочаете. Лес-то куда турите? За границу? Эге! Кто-то греет руки на нашем нищенстве.

— Кто же это греет? — синева Демидовых глаз скрестилась с отцовской хитринкой.

— Ты грамотный, сам должен понимать — кто. И в Библии про то сказано. «Оскудеет земля под анчихристом, и люди станут, яко черви ползучие — во грязи, во прахе, в возе, и без всякой людской видимости».

Демид посунул от себя картошку, поднялся с табуретки:
— Ты что, Библию пришел читать?

У папаша нашлось более важное заделье:

— Посодействуй, слышь, устроиться в лесники на Большой кордон. Не по ндраву пришлась колхозная житуха. Не житье — вытье. Один — не тянет, не везет, другой — на небо поглядывает. Третий ворон считает. А все не прибыль, а убыток. Порешили стоящих мужиков, а голь перекатная из века в век с куска на кусок перебивалась. Глаза бы не зрили.

— На единоличность потянуло?

Филимон Прокопьевич махнул рукой:

— Отторглась единоличность. Как костыль из души вынули. Тапереча одна линия — в пустынность, чтоб глаза не зрили этакую житуху.

— Нету такой пустынности на земле.

— Как так? А Большой кордон? В самый аккурат. Избу новую поставлю на свой манер, коровенка, лошаденка...

— Иконы туда перевезешь?

— А што? Перевезу. Не груз — руки не оттянут.

— Кончать надо тебе с иконами.

— К анчихристу перекатиться?

— И с антихристом кончать надо.

— Ишь ты! Отца учишь!

— Не учу, советую. Ничего ты не достигнешь ни с иконами, ни с антихристом. Берись за дело.

— Толкую про дело. Устрой в лесники. Самое по мне.

— Рановато тебе в лесники, — пробурлил Демид, косясь на полнокровное лицо папаша. — Иди в бригаду лесорубов.

— Несподручно. Сила не та, штоб лес ворочать.

— Силы у тебя за четверых.

— Все может быть. Но силу надо расходовать умеючи. Не ровен час — надорвешь жилы, а ради какой корысти?

— Не буду я тебя устраивать в лесники.

— Ишь ты, как привечаешь! — крикнул Филимон Прокопьевич, поднимаясь с лавки. — А вроде сын мой, а? Истинно сказано: «И станет сын врагом отца своего, брат подымется на брата, а сама земля остынет. Не будет ни тепла,

ни людства, никакой другой холеры»,— вешал Филимон Прокопьевич.— И еще скажу тебе...

И тут только Филю осенило: перед ним вовсе не Демид, а братан Тимофей, каким он запомнил, когда брат приехал из Петрограда. И поджарость та же, и прямина спины, и разлет бровей, и малая горбина на носу, и лбина Тимохин!

Так вот что подмывало под сердце Фили, когда он вошел в клетушку Демиды. Он встретился с Тимофеем. Истинно так!

«Удружил мне тятенька, царствие ему небесное,— ворохнулась тяжелая дума.— Если умом раскинуть: в каком родстве я состою с Демидом? Кто он мне? Сын аль братан?»

В самом деле — кто Демид Филимону Прокопьевичу? — По жене Меланье — как будто сын. А если взять по Прокопию Веденевичу, от которого Демид на свет появился, то брат, выходит? И кем будут доводиться Филе дети Демиды? Внучата иль племянники?

«Ах ты, якри тебя в почки,— сокрушался Филя, топчась на одном месте.— Стыдобушка-то какая, а?»

— Ну я пойду, прощевай,— заторопился Филимон Прокопьевич, запахиваясь полушубком.

Демид удивился, что за перемена произошла с отцом.

— Погости,— пригласил сын.— Схожу в столовую — обед принесу. Мы хоть и бедно живем, а щи в столовке имеются.

— Спасибочка на приглашенье. Без щев обойдусь. А ты што же к матери не наведываешься? Уж если ко мне прислон не держишь, то про мать-то пошто запомнил?

Демид сказал, что скоро переберется в Белую Елань и будет там жить.

— Сплавконтору откроем.

— Ишо одну контору? Повелось же! В колхозе у нас контора, в сельсовете тоже — секлетарь пишет, в леспромхозе еще одна контора, и прииск открыл свою контору. Ловко! А мы-то жили, якри ее, никаких контор не видали.

— Вы — жили! — усмехнулся Демид, и опять Филе показалось, что даже усмешка у Демиды Тимохина.— Одни молились из избы в дырку на восток, другие — на рябиновый крест. Холстом покрывались и дерюгою одевались. И тоже — жили!

— Оно так. Из холста не вылазили,— поддакнул Филимон Прокопьевич, а сам подумал: «Истинный бог, выли-

тый Тимоха! И голос с той же глухостью, и глазами пробирает до нутра, как Тимка. Оказия! Што же происходит, а?»

А сын Демид спрашивает:

— Хотя бы тополевыи толк. К чему он привел?

У Фили захолонуло внутри, будто схватил сгоряча ковшик квасу со льдом.

— Толк-то? Пропади он пропадом.

— Ты же ему веруешь?

— Я-то? Што ты, Тимоха! — вырвалось у Филимона Прокопьевича. — Господи помилуй, Тимофея вспомнил. К добру ли?

Демид потупился и смял в пальцах махорочную сигарку. Он не раз слышал от односельчан, что очень запахаживает на дядю Тимофея и что Филимон Прокопьевич ему не отец.

Но в каком же дурацком положении оказался сам Филимон Прокопьевич, менее всего повинный во всей этой истории?!

— Раздевайся, отец. Я сейчас схожу в столовку, что-нибудь сготовят. Медвежатины попрошу поджарить.

— Пост ноне. Мясного на дух не подпущу до самой пасхи. Разве постных щец похлебать?

— Найдем что-нибудь. Завтра вместе поедем домой. Ты с попутчиками? А нет, так у меня юсковский рысак есть — моментом домчит.

— Ишь ты! Юсковский! Который год, как их вытряхнули из деревни, а рысаки живут. Хо-хо. Чего не переживешь и не перевидаешь.

Демид раздобыл в столовой постного масла, мороженой рыбы — ленков и хариусов, сам поджарил рыбу, чем не в малой мере удивил Филимона Прокопьевича, и угостил отца на славу. Отец подобрел, отмахнулся от навязчивой и сердитой тени брата Тимофея и даже дозволил себе пропустить чарку водки — свершил тяжкий грех.

— Жили-то мы как, Демид? — бормотал повеселевший Филия. — И то нельзя, и это непозволительно. А штоб вином умилостивиться — оборони бог. Отец насмерть пришиб бы. Так и говорил: со щепотником, бритоусцем, чаехлебом, табачником — не водись, не дружись и не бранись Великий грех будет. А ты усы бреешь, табак куришь, постов не блюдешь, а ничего — живешь и в ус не дуешь. Никакой холеры не боишься. Вольготно так-то.

Филия призадумался.

— Жизнь вся перевернулась вверх тормашкой! Будто

старого вовсе не было. Хотя бы вот наш тополь. От мово прадеда происходит. Как думаешь: грабануть бы его под самый корень, а?

Демиду тоже не раз довелось подумать о тополе. Но можно ли одним топором разделаться с памятью старины? Со всеми предками? Не угодно — взял и вырубил под корень. Все равно, что перечеркнуть собственную фамилию.

— Что он тебе, тополь?

— Застит окошки, якри его.

И долго еще Филимон Прокопьевич поведывал сыну Демиду про старину, про брата Тимофея, как малый Тимка порубил иконы в моленной горенке и потом бежал в город и одиннадцать годов глаз не казал дома, а заявился из самого Петрограда насквозь красным — от ушей до пят, так что краснее его никого на белом свете не было.

В печурке звонко потрескивали еловые дрова. Чугунная плита пылала, как борода Филимона Прокопьевича. В бараке кто-то пел песню без начала и конца, а Филимон Прокопьевич, удобно устроившись на деревянном топчане, может, впервые почувствовал себя отцом Демиды. И сам Демид звал его не тятенькой, как девчонки, а именно отцом — создателем всей живности на земле.

«Эх-хе-хе! Вот она, жизнь человеческая! — размышлял Филимон Прокопьевич. — Никому не ведомо, куда повернет тебя судьба!.. Вот он, хоша бы Демид. Худо, хорошо ли, а выгнул-таки на свою линию — начальником стал! Недаром сказано в Писании: «Судьбами людей наделяет бог с высоты седьмого неба».

III

Не думал Демид, с высоты какого неба бог распоряжается его судьбою.

Давно растолкнулся он с отчим домом и со всеми его богами, редко навевываясь даже к матери.

И кто знает, как сложилась бы дальнейшая жизнь Демиды, если бы судьба не столкнула его с красноармейкой Агнией Вавиловой.

Как-то вешним вечером Агния встретила Демиду на берегу реучего Амыла.

«Демка! Ей-богу, он самый!» — обрадовалась Агния. Она же давно не видела Демиды. А разве не вместе сидели они за одной партой на зависть всем девчонкам?! Детство! Смешное и милое было время. Разве не Демка говорил ей,

что как только вырастет, они обязательно поженятся и будут жить в городе на Енисее... Смешной парень Демка. И вот он теперь перед ней в болотных сапогах с высокими голенищами, в брезентовой куртке, поджарый и рослый, с кудрявым пшеничным чубом, чуть горбоносый, с обветренным лицом. Вот он каким стал, Демид Боровиков! Такого Демиду Агния впервые видит и робеет перед ним.

— Агния? — И голос совсем немальчишеский — грубоватый, чуть охрипший. — Ну, здравствуй, Агния. — И протянул сухую, шершавую ладонь.

— Здравствуй, Демид, — промолвила Агния, не отнимая руки.

— Вот ты какая стала, Агнейка!

— Изменилась?

— Не то что изменилась, а как бы тебе сказать? В общем, не Агнейка. Что это тебя совсем не видно? Сколько раз проходил мимо Вавиловых, глядел через заплот и в окно, но ничего не выглядел. Прячешься, что ли?

— От кого мне прятаться?

— Что не бываешь в клубе, хотя бы в кино?

— Мне теперь не до кино. У меня сын растет.

— Про сына слышал. На Степана похож или на тебя?

— Весь вылитый Степан. Я думала, что-нибудь перейдет от меня. Ни капельки. Как уголь чернявый и такой ревучий. Второй год пошел. Ну а ты когда женишься?

— Я? — Бровь Демиды опять кинулась вверх и там замерла. — Молевщики говорят: «Когда Жулдет вспенится — тогда Демид женится».

— Что так?

— Да уж так. Ну а ты, счастливая?

— Мое счастье известное. Четыре стены, три коровьих хвоста, три свиных рыла, чугуны да ухваты, а потом — контора колхоза. Трудодни разношу по книжкам.

— Здорово! Ты же на геолога училась?

Агния потупила голову:

— Если бы ты знал, Дема, как мне бывает трудно! Другой раз так подмоет под сердце, что хоть с берега и в воду. Сама себе хомут надела на шею... И в техникуме не доучилась, и с кержаками не примирилась.

Да, она была чужой в доме свекра Егора Андреяновича. Высокий, вислопечий, костистый, усатый, как уссурийский тигр, Егор Андреянович Вавилов ходил по дому тяжело, на

всю ступню. Правда, Агнию он не обижал. Но была еще свекровка Аксиныя Романовна, набожная староверка, суетливая и жадная. Не одну слезу уронила Агния в пузатый двухведерный чугунок с картошкой для свиней; не один раз подкашивались ноги от усталости, а свекровке все мало. Гоняла невестку и днем и ночью. Ни веселья, ни радости. И вчера и сегодня — одно и то же. Супились брови, старилось сердце.

И вот неожиданная встреча с Демидом! И вечер выдался необыкновенно теплый, прозрачно-синий, когда вся земля млеет в истоме после жаркого дня. Полыхала багряно-красная зарница. Лениво и сонно порхали птицы в чернолесье.

— Помнишь, как мы с тобой каждый вечер торчали где-то здесь, на берегу?

— Не здесь. У старой дороги. Там, где был паром.

Подул легкий освежающий ветерок. Дурманяще резко напахнуло молоком цветущей черемухи.

— Чувешь? — Демид раздул ноздри, приняхиваясь.

— Черемухой пахнет.

— Черемуха — все равно что сама любовь. Носится вот так, ищет кого-то. Может, тебя?

— Что ты! — испугалась Агния.

— А я б с моим удовольствием встретил ее! Пусть бы жгла душу — не жалко.

— Ты парень. Кто что скажет?

— Степан скоро вернется?

Агния горько вздохнула:

— Он остался служить сверхсрочно. Учится в Ленинграде на командира. Обещается на побывку в будущем году.

— Понятно.— Демид поднял булыжину и кинул в улово под яр. Камень булькнул, а брызг не видно — так черно внизу. За рекою лают собаки и кто-то растяжно кричит: «Ма-аню-ута-а!» И эхо трюит голос: «У-та, у-та».

По листьям плакучей ивы, склонившейся с берега к воде, пронесся внезапный трепет, точно ива продрогла. Листья зашумели, как мыши в соломе.

— Люблю ночь встречать на реке,— сказал Демид.— Вот обниму иву и буду целоваться с ней. Слышишь, как она лопочет?

— Разве девок мало на деревне? — тихо спросила Агния, а у самой сердце захолонуло.

— Моя не в девках.

— Где же? В бабах, что ли? Не Дуня Головня?

— Моя Дуня — вот она! — И, как того не ждала Агния, Демид обнял ее с такой поспешностью, что она вскрикнула.

— Что ты! Что ты! С ума сошел. Отпусти, Демид. Ну, говорю тебе, отпусти. Еще увидит кто!..

Большие карие глаза Агнии сейчас казались черными. Демид обнял ее, потеснив к старой иве. Агния хотела оттолкнуть Демиду, но руки у ней ослабли, согнулись в локтях, и она прижалась к Демиду своей полной грудью, чуть откинув голову, встретилась с его горячими, сухими губами. Мягко лопотали листья ивы над головой.

— Пусти же. Вдруг кто увидит.

— Пойдем к старому броду.

Шли берегом, пробираясь в густых зарослях чернолесья. Дикотравье цеплялось за ноги, хлестало Агнию по голым коленям. Демид крепко держал ее за руку. Еще спросил, отчего у ней ладошка холодная? Мягкие ветви черемух, осыпая белыми лепестками простоволосую голову Агнии, цеплялись за ее плечи, за пряди растрепанных волос.

Вот и прогалина, и старый брод. Здесь когда-то был паром. И Демид с Агнией часто сиживали здесь, на берегу.

Потом они пошли к старому тополю: там никого не бывает вечерами.

Агния глянула на развилку старого тополя — и ей стало жутко. Она столько слышалась страхов про могилу каторжанина. Но ведь не одна же, с Демидом?!

Вокруг тополя — лохматые кусты черемух, боярышника, молодого топольника — тьма-тьмущая. Шумливая, загадочная и волнующая.

Слова Демиды тихие, как шалый сухой веткой, и руки его стали горячие, нетерпеливые.

— Погоди, не трожь меня, Дема,— пролепетала Агния, опускаясь на брезентовую куртку, которую Демид кинул возле тополя.— Видишь, я вся как в огне. И щеки горят, и во рту сохнет. Боже мой, с ума сошла я, что ли? — шептала Агния, глядя на лицо Демиды снизу вверх.— Глянь, как сквозь сучья тополя небо проглядывает. И мне кажется, будто мы с тобою никогда не расставались, Дема.

— Милая моя Агнейка! Ты для меня всегда будешь Агнейкой, какую я знал.

— Если бы я не была душой, разве бы выскочила замуж за Степана?

Тихо, словно спросонья, бормотал старый тополь, будто ему известно было нечто важное и значительное, чего не могли знать ни Демид, ни Агния.

Листья-лапы казались черными. Примятая трава терпко пахла мятой. Откуда-то тянулись перепутанные нити хмеля, зелеными пуговками обвисая плетями с толстых сучьев.

В небе одна за другой зажглись звездочки-свечки — яркие, лучистые. Агния запомнила их на всю жизнь. Они глядели прямо ей в глаза через листву, ласково помигивая. К ее ресницам протянулись тонюсенькие лучики-паутинки. Если бы их поймать, намотать на клубок, можно было бы соткать нарядное праздничное платье — мягкое, легче шелкового, и теплое. Потому что ниточки от звезд должны быть теплыми.

И ниточки и звездочки пронеслись и сгасли.

Агния только видела его глаза — Демидовы, и они тоже горели, как две звездочки, неодолимо притягивая ее к себе...

IV

А назавтра, чуть сизый дымок затянул горизонты тайги, когда горкло запахло сыростью пойменной низины и лес налился густой чернью и прохладцей, Агния спешила, летела по заброшенной дороге, густо заросшей кудрявым подорожником.

Прочь, прочь от постылых вавилонских стен! От безрадостной, ледяной кержачьей твердыни, от угрюмого ворчанья свекровки! Скорее, скорее на простор, туда, к тополю! Там ждет ее Демид. А с Демидом она готова хоть на край света!

От зноя в сердце, от необоримого желания снова увидеть его, она бежала и ног под собой не чуяла.

Вот и скамеечка бабки Ефимии.

Скамеечка была пуста. Но с другой стороны тополя, на разостланной брезентовой куртке, поджидал ее Демид. Он вскочил, как только услышал легкие шаги.

— Агнюша! Пришла... А я уж думал...

— Дема! Милый!.. Я вся дрожу! Я так бежала. Этот тополь. Что это он? Ветра нет, а тополь шумит.

— Он всегда шумит,

— Тут, говорят, часто бывает бабка Ефимия. Лучше уйдем отсюда. Я боюсь.

— Что ты! Здесь хорошо. Сюда никто не придет.

— Дема, милый, я умру без тебя,— шептала Агния, прислушиваясь, как сердце Демида стучало ей в грудь.— Без Степана могла пять лет жить — без тебя пяти дней не проживу!.. И как будто заново народилась. Как будто и не было ничего: ни Степана, ни Андрюшки... Во всем теле у меня теперь такая робость, будто я ничегошеньки не знаю. Как девчонка...

— Я тебя люблю, Агнюша.

— Как же нам быть-то теперь, а?

— Может, осенью уедем отсюда.

— У меня же Андрюшка, милый!

— Ну и что?

— Ах, какая же я дура! И зачем я только тогда за Степана выскочила? Ведь не любила же я его, не любила. Я это и тогда чувствовала. И как я теперь буду тятье в глаза смотреть?

v

...Его все звали Зыряном, будто у него не было ни имени, ни отчества. Ребятенки, играючи, подражали его неторопливой походке, изображая Зыряна за штурвалом «Коммунара» либо за рычагами ЧТЗ. Никто в Белой Елани не мог бы представить себе старого Зыряна без трактора или комбайна. И если кто тужился вспомнить, когда в Белой Елани появился первый трактор, то вместо трактора прежде всего видели Зыряна — кривоногого, приземистого, с рыжими усиками и седыми патлами кучерявых на темени волос.

Зырян сел на трактор «фордзон» еще в двадцать седьмом году в коммуне «Соха и молот», куда он ушел из деревни. Позднее коммуна влилась в колхоз «Красный таежник», и Зырян притащил на тракторе американскую молотилку — достояние коммунаров.

Многие трактора побывали в цепких руках Зыряна. И тучный, прожорливый «катерпиллер», и капризный, привередливый на горючее «валлис», и первый путиловский с бобиной, не терпящий пыли и сырости, и длинношпорый СТЗ, урчащий, будто внутри его сталкивались громовые тучи, и грузный, тяжелый ЧТЗ. Так что всю технику колхоза Зырян познал практически. Посутулился мужик, а все еще

крепок на ногу, ядрен, как лиственный пень,— не столкнешь.

Под крышею зыряновского дома, прячущегося в ограде в зарослях черемуховых кустов, жил немирный дух хозяев. Сам Зырян после гражданки был председателем сельсовета, нажил себе много недругов, но никогда не падал духом. Случалось, туговато было. Ни хлеба, ни табаку, но не лежал на боку — работал.

Анфиса Семеновна — дородная, статная, родившая Зырянну двух дочерей и сына, чуть курносая, белолицая, нестареющая бабенка, умеющая отпотчевать гостей и отшить недругов, под стать была своему супругу. Зырян называл ее Метлой, изредка — милой Метлой, что было высшим признанием заслуг супруги.

В зыряновском доме чаще пели, нежели плакали. Сам Зырян приналегал на тальянку. Вечерами выходил на лавочку под черемухи и начинал поигрывать «На сопках Маньчжурии», полюбившуюся ему за минорные переливы. В такие моменты он не смеялся, не шутил, а усердно растягивал пестрые мехи тальянки, чуть склонив голову набок, как бы прислушиваясь к чему-то.

Дом Зыряна делился на две горницы и кухню с перегородкой, где стояла железная койка Зыряна, до того узенькая, похожая на плаху, с волосяным матрацем, на которой телесная Анфиса Семеновна и дня не улежала бы.

VI

...По весне, когда на Амыле трещал синюшный лед, а на займищах успела пробиться изумрудинка зелени, Зырян застал студентку дочь в пойме Малтата со Степаном Вавиловым. Уж чего-чего, а такого позора Зырян не ждал. Его дочь! Агнюша! Так вот ради чего она покинула геологический техникум. Еще год — и дочь стала бы геологом-исследователем. Она бы порадовала сердце Зыряна, всегда помышлявшего об открытии чего-нибудь необыкновенного, так чтобы утереть нос кержакам Вавиловым, этим «твердолобым тугодумам», которых он ненавидел. Это они, Вавиловы, к делу и не к делу поднимали на смех Зыряна, видя в нем потешного человека без всякого смысла, некую увеселительную побрякушку.

Зырян не любил их кондовые твердыни, не хаживал к ним в гости. Они последними вошли в колхоз, но и там держались плечом к плечу. Никакая новь не волновала

Вавиловых: ни первый трактор, ни комбайн, ни сложная молотилка МК-1100, ни радио, ни веселье клуба, куда они почти не заглядывали. Таким же был Степан, сын Егора Андреяновича. Взгляд исподлобья, косая сажень в плечах — весь из кержачьей кости. Три года водил трактор СТЗ, получал премии, и все-таки чужим был. Не раз Зырян пробовал пробить вавиловскую броню на сердце Степана, да ничего не вышло. И вот с этим-то парнем-нелюдимом согрешила его Агния.

— Эх, доченька, удружила ты мне потеху! Век не забуду. Лучше бы ты в подоле тайменя принесла, чтоб тебя черти побрали! Срам на всю деревню! — костерил дочь Зырян, конвоируя ее от поймы Малтата до села.

Следом за ними шел Степан, точь-в-точь медведь крался по следу. Слышно было, как он бухал сапожищами и сопел.

Невдалеке от крестового дома сельсовета Степан позвал Агнию.

— Зайдем, что ли, в сельсовет, — сказал он, опередив Зыряна.

— Куда ты ее зовешь, кержак? — вспыхнул Зырян.

— В сельсовет, — невозмутимо ответил Степан.

— Это... зачем в сельсовет? По какому случаю?

— Запишемся, вот зачем.

— Куда запишетесь?

— На мою фамилию, Вавиловой будет, не Зыряновой. Ясно? И вы не очень-то разоряйтесь. Она самостоятельная. Может сама решать вопросы как и что.

Так Агнюша и ушла со Степаном. Зырян выкинул ее пожитки, накричался в границах собственного дома, дав зарок не видеть больше дочь и заявив, что Агния ему вовсе не дочь, а так, черт знает что такое.

Прежде чем ввести Агнюшу в дом, Степан долго разговаривал со своими, оставив невесту под крышей завозни. Тут ее и застал свекор, Егор Андреянович. Он вышел к ней в подштанниках, высокий, белоголовый. Присмотрелся, как к некой диковинке, ковырнул:

— Пришла, стал быть? Корень зеленый! Ишь ты! Как же Зырян? Супротивничает? Пустой человек Зырян. Смысла жизни не имеет. Ему бы звезды считать, а не дом вести. Это ничего, что ты пришла. В нормальности. Свадьбу справим.

На вешнего Николу Егор Андреянович справил сыну богатую свадьбу.

Вавиловы жили по старинке, только не постились. «Я грешник с ребячества,— говорил Егор Андреянович.— Но Миколу-угодника ввек не забуду. На Миколу, паря, жеманул меня медведь. Перепоясал вот эдак, тиснул, а я, господи помилуй, обратился к Миколе-угоднику. Ведь как приспичило! Имя свое забыл. Мне надо бы Егория вспомнить, а я — Миколу. И помогло. Косолапый замешкался, а я пырнул его под лопатку. Аж до рукоятки завязил нож. Так он и осел, как мешок с пшеницей».

Когда сватья Маремьяна крикнула: «Горько!» — Степан, сдвинув брови, поцеловал красавицу Агнию, как деревянную икону, вскользь, мимоходом. Никогда ей не было так тяжело, как тот раз, когда Егор Андреянович подвел ее со Степаном к постели. «Ну, детки, живите, милуйтесь, корень зеленый!» И сам обнял Агнию. Поцеловал в шею, потираясь пышными усами, а Степан смотрел на нее, как на подпленную березоньку. Что было в его взгляде? Кто его знает! В семье он слыл за молчуна, смирягу, как и его дядя Санияха, медвежатник об одном глазе. Другой раз скрипнет зубами, сомкнет брови и с тем уйдет, не обронив слова.

Все лето Агния работала учетчицей в тракторном отряде, втайне помышляя уйти в геологоразведку. Осенью Степана призвали в армию.

VII

Лихо отплясав на проводах, проломив половицу в отцовском доме, Степан еще в ту пору надумал не возвращаться в Белую Елань. Опостылел ему отцовский дом.

Взьерошивая пятерней нечесаную заросль волос, грозя коротким толстым пальцем, Егор Андреянович наказывал: «В армии, Степан, держись на определенной струне! Ты Вавилов. Корень у те ядреный. Я преж, бывало, служил на флоте его императорского величества, на крейсере «Новик». В сраженьях за Порт-Артур был не последним, за что получил награды, а также и звание георгиевского кавалера. Смыслишь? Мотай на ус!»

Всхлипывая в подушку, Агния жаловалась, что с ума сойдет от тоски, а Степан, вперив немигающий взгляд в горбину матицы, лежал подле нее, как бревно, прибитое течением к берегу. Подойдет волна — бревно унесет дальше. Невзлюбил он Агнию-мечтательницу, хоть и сам привел ее в дом. Работящая, кроткая, она, как выюн, вертелась по

дому, угождая суровой свекровке, Аксинье Романовне, в теряясь под чугунным, неломким взглядом ядерного свекра.

— Ты хоть скажи: как мне жить? — спрашивала она Степана.

— Иди в тайгу. Собиралась же?

— Я же... беременная.

— Не всю жизнь будешь беременной. Родишь. Обыкновенно.

— Не любишь ты меня, Степа, совсем не любишь!

— Хватит. Слышал. Спать надо.

Так и лежали друг подле друга, законные муж и жена, в действительности — чужие люди, каждый наматывая на свой клубок собственные думы: Агния — таежные, приисковские, Степан — армейские. «Останусь сверхсрочным, командиром буду, как Жарлыков».

Агния боялась, что не примут ее родители с ребенком, а у Вавиловых оставаться не хотела. «И буду ходить я по тайге с малым дитем на руках! Вот и техникум мой, и вся геология!» И тихонько кусала наволочку подушки.

По приморозку, звонко скалывая синюшную накипь льда на лужицах, на паре племенных жеребцов Мамонт Головня отvez призывников на пристань в Минусинск. Хмельной Степан, бесчувственно свалившись в дрожках, не слышал, как Агния, утирая платком щеки, причитала над его черной головушкой, чуя сердцем долгую разлуку.

Когда пароход, такой же белый, как пена тумана, отчалил от берега, медленно разворачиваясь на обмелевшем фарватере, Агния все еще стояла на берегу и махала клетчатым платочком с узорной обшивкой. Игнат Вихров, Мишка Спиваков, Васятка Пашенный дружно кричали ей «до свидания», а Степан так и не поднялся на палубу; выглядывал из окна. Он и парнем чурался людей. Жил, как и отец, по-вавилонски скупко роняя слова в текучую жизнь.

В марте, когда небушко над тайгою румянили вешние зори, а из тайги по отталке напахнуло йодистым запахом прошлогоднего вытаявшего разнотравья и с заречных целинных земель подули теплые ветры юга, уминая глубокие снега под настом, Агния родила сына.

Вечером она еще родила двух коров и, натруждаясь ведрами, принесла с речки, кипевшей наледью, студеной воды, а ночью подоспели роды. Они пришли вдруг сразу, во сне, Агнюша проснулась от нещадной боли. Путая чер-

ные волосы по подушке, скорчившись под суконным одеялом, она потихоньку стонала, боясь нарушить сторожкую тишину избы. Скажут еще кто знает что! Вавиловы не любят слабых людей. Мало ли кто не мается животом? Но боли не проходили. В избе пошумливали хриплым маятником ходики. В окне виднелась сучковатая голая береза. Крестовина рамины, уродливо вытянувшись по полу от лунного наводнения, лежала во всю горницу до деревянной кровати. Слышно было, как Аксинья Романовна что-то проворчала спросонья, а кошка, мягко шурша под печкою, мяукала подле котят.

— Степа! Маменька! — крикнула Агния. Внизу живота ровно что-то рвалось, распирая бедра и схватывая за сердце.

— Ты чо орешь? — окликнул свекор и тут же захрапел.

Обомлевшая, испуганная Агния, не помня как, скатилась с кровати на крестовину лунной тени. Она не слышала, как проснулась Аксинья Романовна, вздула огонь, как подняла ее на кровать, подостлала рядом, как пришла повивальная бабка — все это прошло в тягостных муках.

— Внук, корень зеленый! — обрадовался Егор Андреевич.

Через три дня новорожденного осмотрел патриарх рода Вавиловых, сам Андреев Пахомович, скуповатый на теплынь любовную к правнукам.

— Надо бы Алексеем назвать, — сказал патриарх, — но не наше имя, не вавиловское. Будет Андреем. Так и запишем. Да не мешкайте, завтра призовите духовника и будем крестить по нашему старообрядческому обычаю. Без крещения — на глаза не кажите.

Записали новорожденного, окрестили, справили крестины Андрею Вавилову.

Не скоро откликнулся на счастье отцовское Степан. Каждую неделю Агнюша слала мужу письма в Ленинград, но муж молчал, будто утоп где-то там в Неве. Егор Андреевич сам написал забывчивому сыну письмо с пристыдкой, и от Степы пришла долгожданная весть из ленинградского военного училища. Ни искорки не было в том письме. Агния перечитывала его много раз, а все не грело, ровно льдину прислоняла к сердцу.

И чудилось Агнии, что у Степы есть зазноба в Ленин-

граде. И город-то на Неве она представляла каким-то странным, громоздким, с длинными прямыми улицами, с туманами, этакой серой громадиной! Она любила тайгу, лес, дубри. От неба до неба синегрудую тишь, изморозь по первопутку, керосиновые огни в раминах — все это пленило ее простое сердце, и она не помышляла покинуть свою обетованную землю. Здесь все такое близкое, родное!

VIII

А любовь? Про любовь не думала Агния. Кто же ее, любовь-то, из баб или молодух в деревне видывал?

За три года замужества Агния глаза в стручок спрятала. Певуньей была и самой красивой девкой в Белой Елани. А тут — увяла, как цветок, раздавленный копытом.

— Агния-то как переменялась в доме Вавиловых! — судачили бабы.

— И! Как ковшом кто вычерпал.

— У Вавиловых расцветешь! Свекровушка — польнь горькая. На зубах не разжуеть и внутрь не проглотить.

— Степан-то пишет ей?

— Пишет будто. Сверхсрочным остался в армии. Потом, как зайвится, подхватит любую девку — и был таков.

— У ней же сын растет.

— Мало ли што! С тремя бросают, а то с одним.

Пересуды смущали, точили сердце Агнии, и она все чаще, смыкая черные брови, задумывалась, входя в дом Вавиловых, как в тюрьму.

Вавиловы хоть и в колхозе работали, а службу старобрядческую справляли по всем правилам, особенно свековрка, Акси́нья Романовна. Станет перед иконами и частит лоб двумя перстами, бормочет молитву. С переднего угла, заставленного темными ликами старинных икон, несло чадом лампады и еще чем-то горьким, перегорелым, как сырая трава на огне. Свекор, Егор Андреянович, молитв не читал и двоеперстием будто отмахивался от мух. Мужик он был в завидной силе — семнадцать пудов навьючит на хребет и не согнется. Вечерами он играл на однорядной гармошке. Клапаны у гармошки западали, и она то визжала, то подвывала хриплыми басами.

— Люблю музыку, Агнеюшка, — скажет иной раз свекор, а сам подмигивает невестушке. — Скушнота без музы-

ки, истинный Христос. Другой раз до того свербит в душе, будто кто там ногтем ковыряет, корень зеленый. А я как возьму ее, милую, растяну пошире, враз сердце опреснится, будто ветром обдует. Эх, кабы мне, Агнеюшка, лет двадцать сбросить с хребта, я б еще так завьюживал, ох-хо-хо!

— И, бабник окаянный! — встрянет в разговор Аксинья Романовна. — Мало тебя носило по деревне, лешего, ишшо ноздра свистит, штоб тебя расперло!

— Ну, понесло мою телегу! — отмахнется от жены Егорша.

Вавиловы жили зажиточно. Сам Егорша вырабатывал до шестисот трудодней. С весны до лета на посевной в тракторной бригаде, потом на сеноуборочной, а как поспевали хлеба — становился машинистом на молотилку МК-1100. И на пасеке мог работать, и в кузнице, и по столярному ремеслу. В личном хозяйстве держал двух коров и нетель, два десятка пчелиных ульев и выкармливал две-три свиньи. Огородище охватывал чуть ли не гектар. И со всем хозяйством надо было успеть управиться. Свекровка поднималась потемну, а за нею — Агния. Нароботавшись дома, Агния шла в контору колхоза.

Бежать бы Агнии от Демида, но куда убежишь от собственного сердца, от желания снова и снова видеть его?!

Никуда она не уйдет и не убежит от Демида. К чему бежать от самой себя? К чему ей, Агнии, постылые вавилонские стены, коровьи хвосты и свиные морды? Вот он рядом с нею, молодой парень, чуть моложе ее, которого она тайком поджидала в пойме Малтата еще тогда, в детстве. Пусть они в то время были несмышленими, но ведь и молодой квас и тот играет.

А тополь шумел и шумел предостерегающим мудрым гудом.

Вокруг тополя лохматые кусты черемух, боярышника, молодого топольника — и тьма-тьмушая. Шумливая, загадочная, волнующая. Невдалеке брякало ботало на чьей-то блудливой скотине.

Возле ствола тополя — скамеечка бабки Ефимии. Сколько раз Демиду доводилось видеть старушонку, как она, вся в черном, кутаясь в шаль даже в теплый день, пробиралась к тополю и коротала здесь время.

— Тут хорошо, Дема, и совсем не страшно, — шептала Агния, обрывая с хмелевой плети липкие бархатные шишечки. — Мне всегда кажется: тополь живой. А вдруг он заго-

ворит, а? Мы ведь на могиле каторжника. Слышишь, Дема, шумит тополь? Как в сказке.

— Горькая сказка,— откликнулся Демид, накинув на плечи Агнии свою куртку.

Еще не потемнила ночь двуглавую вершину тополя, еще не успела Агния прильнуть к Демиду всем сердцем, как невдалеке за кустарником послышался мягкий, шуршащий хруст веток: кто-то шел. Агния спохватилась и, отступая вместе с Демидом, спряталась возле черемух. Вскоре к тополю вышло нечто скрюченное и черное — бабка Ефимия!

— Я же говорила!

— Вот еще черт носит старушонку.

— Тсс!..

Бабка Ефимия по-хозяйски уселась на собственную скамеечку, передохнула и, осенив себя крестом, опустила на колени.

— Помолится и уйдет,— сказал Демид.

— Погоди, послушаем.

— Будто реченье слышу? — раздался скрипучий голос бабки Ефимии.

Демид фыркнул в кулак.

— Яви мне свет лица твоего, создатель! Просветли душу, ибо силы мои иссякли и телом я немощна. Исцели меня, господи, вдохни в сердце мое силу, чтобы могла я вознести молитву во славу твою, ибо в смерти какая сила? Каждую ночь слезами омываю ложе. Изверилась я! Доколе же люди скверну творить будут? И будут ли когда постыжены и посрамлены враги твои, яко твари ползучие? Чую снова приближение львов рыкающих, и сердце мое от страха делается как воск. Сила моя иссякла, память ослабла, язык прильнул к гортани, и приближаюсь я к смертному одру... Доколе же глаголать мне? Слово мое — яко звук, исторгнутый в пустыне... И скопище злых духов снова обступило меня. Чую, чую, как поднимаются они вокруг! Они пронзили руки мои, и ноги мои, и пальцы мои. Они смотрят на меня, яко звери рыкающие!.. Крови они жаждут. Крови!..

— Как страшно, Дема! — молвила Агния, теснее прижимаясь к Демиду.

— Тронулась она, что ли?

— Слышу, слышу, создатель! — вещала бабка Ефимия, глядя вверх на сучья тополя.— Повинуюсь во всем тебе, господи! А жалко, жалко учителя-то Лаврищева. Добрый был человек. Добрый.

— Что это она? Про Лаврищева что-то бормочет.

— Жалееет. Разве ты не слышал, что учителя Лаврищева арестовали? Как врага народа, говорят.

— Ерунда! Какой он враг?

— И в газетах сейчас пишут про разные разоблачения врагов народа.

— Не верю я... Старухи всегда о чем-нибудь каркают,

— А мне страшно, Дема!

Старуха запела что-то тонюсеньким детским голосом. Слов не разобрать.

— Что это она?

— Это она всегда так. Песни про любовь поет.

— Про любовь?

— Ага. Я слушал раз, она песню Соломонову пела.

— Песню Соломонову? — вдруг спросила бабка Ефимия, оглянувшись. — Чей голос слышу, господи? Не твой ли, Амвросий праведный? Не твой ли дух поднялся со дна моря Студеного? Не ты ли, Амвросий, ждешь меня в своей пещере каменной, чтобы принять просветление души? Утоли мою жажду, господи! Яви мне лик Амвросия Лексинского! — неистово молилась старушонка, глядя на сучья тополя, как на лик господа бога. — И песню песней пропою тебе. Возверни мне младость души моей, чтоб узрила я берега Лексы и Выги и Студеного моря, чтоб сподобилась жить во граде Китеже святейшем! Сведи меня, господи, с возлюбленным моим, и я скажу ему: «Приди, возлюбленный мой, выйдем во поле и поглядим, распустилась ли виноградная лоза? Раскрылись ли почки на деревьях? Расцвели ли гранатовые яблони? Положи меня, как печать, на сердце твое, как перстень, на руку твою: ибо крепка, как смерть, любовь, люта, как преисподня, злая ревность, и стрелы ее — стрелы огненные...» А род человеческий неисправим. Во грехе и блуде пребывает. Быть крови, быть! Грядет анчихрист, грядет! Чую я, чую!.. Слышу тебя, Амвросий праведный! Гонение будет, гонение! И Боровика Тимофея, и возлюбленного моего Лопарева, и Лаврищева учителя уже увели...

— Мне страшно, Дема.

— Ну чего ты, глупая? Ты же со мной, — успокаивал Демид, а у самого мурашки по спине бегали.

— Бежим отсюда, — пятилась Агния.

— За что же арестовали Лаврищева? И Мамонт Петрович говорит: «У кого-то мозги свихнулись набекрень»,

Шли дни — переменялось погоды ненастьем. Плыли толстые и тонкие бревна по Амылу, Разлюлюевке, Кижарту и по другим рекам леспромхоза. Демид носился от реки к реке, подгонял молевщиков и сам работал с багром, но не было такого дня в неделе, чтобы он не встретился с Агнейкой.

Не один раз старик-тополь прикрывал грешную любовь Агнии и Демиды своими пышными ветвями, осыпал полумесяцами сережек, серебрил их головы летучим пухом.

После каждой ноченьки, желанной и бесонной, у Агнии опускались руки от бессилья и подкашивались колени. Ее полные заветренные губы шелушились, а в карих глазах неугасимыми искрами теплилась всеми охаянная любовь.

Так и пролетела эта хмельная весна 1937 года.

Брызнуло жаркое лето.

За летом наплыли густые осенние туманы.

Снова непогодь пеленала землю...

X

Хвост молевого сплава вышел в устье Малтата в первых числах сентября. Малтат обмелел, и по его дну перекатывались лиственницы-утопленницы, закупоривая русло.

Рабочих на сплаве не хватало, и Демид день и ночь бродил в ледяной воде с багром в руках, проталкивая на отмелях и подтягивая к берегу ослизлые лиственницы и осины.

— Проклятые утопленницы! — ворчал Демид. — И когда же мы от них отделаемся?

Возле старого брода образовался большой затор. Двое суток бригада молевщиков билась на заторе, растаскивая бревна баграми. Река пучилась в запруде, вскидывая серебряную гриву сыпучих брызг.

К вечеру Демид так изматывался, что даже и не ходил в деревню, а коротал ночи тут же, у чадных костров, подкрепившись скудной артельной похлебкой.

Как-то раз, наработавшись на заторе, но так и не пробив пробку, Демид решил сбегать в деревню: кончились сухари и другие припасы, да и Агния давно не шла.

— Сбегаю сегодня в деревню. Попарюсь, — сказал он Павлухе Лалетину, своему напарнику. — Ноги чего-то ломит...

— Знаем мы твою ломоту! — заржали мужики. — Валяй, валяй. Да смотри, чтоб к утру вернулся.

Берегом, напрямик, не чуя под собой ног, помчался Демид в деревню. И вдруг у самой обочины дороги, за кустами черемух он услышал голос: не то зверь скулил какой, не то ребенок плакал. Демид кинулся на голос и увидел на заброшенной дороге Аниску, дочь Мамонта Петровича Головни. Девочка сидела, ухватившись за голую ступню, и, покачиваясь, бормотала с подвыванием:

— Ой, чо теперь будет? Ой, чо будет?..

— Аниса! Уголек! Что с тобой? — кинулся к ней Демид.

Он всегда называл ее Угольком, хотя давно минула пора, когда Аниска застенчиво пряталась за спину Мамонта Петровича, цепляясь за его штаны, если Демид заходил к ним в дом, и вспыхивала, как уголек, румянцем от малейшей его ласки. Теперь Аниске шел пятнадцатый год, и она из худенькой, смуглой, черноглазенькой девочки превратилась в ладного подростка с копной рыжеватых, вьющихся из кольца в кольцо волос.

— Змея, змея, змея!.. — бормотала девочка, моргая черными смородинами глаз, омытыми слезами.

Демид заметил, как на обочине дороги мелкою волною шевелится подорожник. Но он не стал искать змею. Ухватив ногу девочки, он увидел, что из четырехзубого прокола еще сочится кровь. Он впился в ногу Аниски губами и стал отсасывать и сплевывать кровь.

— Ой, ой! Не надо, дядя Демид! — орала Аниска, извиваясь. — Бооольно!

— Ничего, ничего, — говорил Демид. — Потерпи, Уголек. А то ногу отрежут. Эх ты! Разве можно в пойму бегать босиком? А еще невеста. Ты зачем сюда пришла?

— Меня... Меня папа послал. К тебе, дядя Демид, — сквозь рыдания бормотала девочка.

— Ко мне?

— Моего папу арестовали, дядя Демид.

Жаркая волна ударила в голову Демиду и отхлынула по ложбине спины липким, холодным потом. «Как?! Мамонта Петровича?! Но за что же? За что? Не может того быть!» И как-то сразу выплыло в памяти иссеченное грубыми прошвами лицо Мамонта Петровича. «Он же красный партизан! Честный, непримиримый большевик!»

Все в леспромхозе знают, что Мамонт Петрович жил в большой дружбе с Демидом. Не раз ездили по участкам

вместе, подгоняли хвосты молевого сплава и случалось — выпивали из одной поллитры.

— Дядя Демид, а тебя арестуют?

Демид вздрогнул.

— Почему арестуют?

— Про тебя спрашивал толстый Фролов из НКВД. «А где, говорит, сейчас находится Демид Боровиков?» Папа сказал: «Не путайте его в эти дела. Он, говорит, еще не успел начать жизнь. А вы ему, говорит, географию ломаете».

— География?..

— Так папа сказал. И еще что-то говорил, совсем не помню. А потом отвел меня в сторону и шепнул: «Беги к дяде Демиду. Скажи ему, пусть уходит из Белой Елани. Плетью обуха не перешибешь».

— Он так и сказал?

— Так и сказал.

«Так вот откуда пришла беда! Вот они, какие дела!..»

Ощущение потерянности, скованности овладело Демидом. Беспричинный страх волною подмывал под сердце. Демид никак не мог унять противный стук зубов. Он знал, что надо что-то немедленно предпринять, что-то делать, бежать куда-то. Может, поехать в район к прокурору!.. Но он знал также, что Мамонт Петрович два дня как вернулся от прокурора, куда ездил с протестом об аресте Кости Лосева. И этот протест подписал Демид. Костю Лосева арестовали только за то, что он назвал Троцким ненавистного всей деревне быка Ваську. А Голоवेशиха донесла об этом уполномоченному, злобясь на Костю за перетасканные из чайной стаканы. Мамонт Петрович в пух и прах разругался с Голоवेशихой и поехал защищать Костю. А что из этого вышло? Уж не потому ли арестовали и самого Мамонта Петровича?.. А учитель Лаврищев? Который был так уверен, что немедленно вернется. Где он теперь?.. Мысли билась в голове Демиды, как птицы в клетке, не находя выхода.

По Амылу плыли бревна, красные и желтые. Как бодливые коровы, они тыкались в берег упрямыми лбами, и не было им ни конца и ни краю. А небо, свинцовое, мутное, кучилось низкими облаками, предвещая долгое непогодье.

Демид брел наугад, подставляя грудь и лицо ветру, стараясь остудить бешеный стук сердца.

Ветви деревьев хлестали Демиды по лицу.

Играла зарница, кидая по небу багровые метлы. Тихо и упорно пошумливал черный лес, насыщенный осенним

увяданием. Желтые и багряные листья хлопьями устилали землю. Несметное число ворон, чуя перемену погоды, металось в воздухе, беспрестанно каркая, носясь кругами над лесом.

Демиду противно было слушать воронье карканье и противна была дрожь, которую он не мог унять. Сжимая Анискину руку, он долго пробирался узенькой тропинкою возле воркующего обмелевшего Малтата до огорода Головни.

Низ огорода густо зарос бурьяном и крапивой в рост человека. Узкая стежка, по которой носили воду, изрыта была приступочками. Лиловыми округлыми головами торчали кочаны капусты. Одноногие подсолнухи кучились возле изгороди, глядя чуть в сторону и вниз своими лохматыми шапками. Местами в междугрядье набирали спелости пузатые тыквы, распутив длиннущие усы-плети. Посреди огады, на скрещенных палках, торчало пугало в лохмотьях и в старой партизанской папахе Мамонта Петровича. С парниковой гряды сползали желтые семенные огурцы, и на соседней гряде вились на палках высохшие гороховые и бобовые побеги.

На крыльце крестового дома, кутаясь в черную шаль, сидела бабка Ефимия.

Как только Аниска прыгнула на крыльцо, бабка Ефимия очнулась, что-то пробормотала себе под нос и уставилась на Демиду морщинистым желтым лицом с крючковатым носом:

— А! Боровик?! — каркнула старушонка. — Еще не забрали тебя, голубчика? Заберут, заберут. Лётает ястреб, лётает! Отольется тебе последняя слеза Дарьюшки! Господи, сверши волю твою!

Бухая болотными сапогами, Демид молча прошел мимо старухи и нырнул в квадратные темные сени, как в сундук.

Если бы мог Демид задержаться на три-четыре минуты, пригляделся бы к старухе, поговорил бы с нею, может, она и сменила бы гнев на милость. Бабка Ефимия давно начисто вычеркнула из памяти и сердца жаркие дни молодости, декабриста Лопарева, собственных сынов, с которыми так и не ужилась, растеряла по белому свету правнуков и праправнуков. Все как есть, все запаматовала бабка Ефимия! Жила она теперь как случайная свидетельница из минувшего века. Мимо нее проходили совершенно незнакомые люди, известные ей только по фамилии, и она их путала с теми, которых когда-то знала.

«А, Боровик?» А какой Боровиков? Может, сам Филарет-старец? Или Ларивон, сын Филаретов? Или Прокопий, сын Веденеев? Или Тимофей, сын Прокопия? Или Филимон? Про Демида — сына Филимона — совсем ничего не ведала. Одно то, что Демид очень похож на Тимофея, страшно сердило бабу Ефимию. Но если бы спросить старуху, чем ее разгневал Тимофей, она бы, наверное, не сумела пояснить.

Все смешалось и перепуталось у бабки Ефимии. Она даже не знала, у кого век доживает. Кто ей Авдотья Елизаровна? Одно родство — из одного корня происходят.

Беспощадна и жестока старость, когда дряхлеет тело, слабеет мозг и тухнет огонь жизни в глазах человека!..

Первое, что увидел Демид, входя в переднюю избу, была сама хозяйка, Авдотья Елизаровна. Она стояла возле окна, опираясь руками на косяки, и смотрела в улицу. Ее толстая черная коса лежала вдоль спины по серому платью.

Каждый раз, встречаясь с Авдотьей Елизаровной, Демид испытывал неприятную оторопь. Робел и страшно смущался. Не раз перехватывал на себе испытующие взгляды Авдотьи, и тогда Демид чувствовал, как у него будто сжималось сердце.

Разное говорили про нее. Бабы с ненавистью обливали ее грязью. Мужики с затаенным интересом посмеивались в бороды. Всегда нарядная, броская незаурядной внешностью, она держалась среди баб, как гусыня среди индеек — спесиво и трусовато. Не раз была бита, когда попадала в плотное окружение трех-четырех баб. Поспешно отступала в стены своей бревенчатой крепости, оберегая от затрещин румяные щеки с ямочками, но никогда не вешала голову.

— Мама! — позвала Аниска.

Авдотья Елизаровна вздрогнула, оглянулась.

— Демид? — не то спросила, не то удивилась Авдотья Елизаровна.

— Анису вот привел.

— Привел? Откуда?

— Из поймы Малтата.

— Что ее туда занесло? — машинально спрашивала Авдотья Елизаровна, ни на минуту не отрываясь от окна.

— Ее змея ужалила.

— Змея? Какая змея?.. Боже мой! Одно горе за другим! Да ты зачем лётала в пойму босиком, дура? Ветрогонка ты несчастная! Что же мне делать, а? — мстнулась она к Аниске и вдруг опять кинулась обратно.— Сейчас его

увезут,— сообщила как бы для себя.— Машина подошла.

Демид и Аниска подскочили к окошку.

Насупротив, через улицу, возле высокого крыльца сельсовета, возвышаясь, как мачта, стоял Мамонт Петрович Головня в своей неизменной кожаной куртке, в кепке, а рядом с ним — сотрудник НКВД. Дождь лил как из ведра, не утихая ни на минуту, будто небо опрокинулось и решило залить землю потоком. Вода лилась Мамонту Петровичу за воротник, стекала струйками по изборожденным морщинами щекам, капала с подбородка, но он стоял каменным изваянием, вперившись немигающим взглядом в сторону своего дома.

Мамонт Петрович поднялся в кузов полупорки и снова повернулся лицом к своим окнам. И в тот момент, когда машина газанула и тронулась, в глазах Аниски точно опрокинулось небо.

— Папа! Папа! Папочка!

— Перестань! Сейчас же перестань! — крикнула Авдотья Елизаровна.

— Папа, папочка,— твердила Аниска.— Ой, что же будет?! Что будет!.. Бедный папа. Я побегу туда... Я с ним...— рванулась Аниска от окна.

— Сядь! — мать ударила ее по щеке и отшвырнула на пол в угол горницы.

— Ну что вы в самом деле, Авдотья Елизаровна! — Демид заслонил Аниску от матери.— Нельзя же так, честное слово. У Анисы такое горе. И нога вот еще...

— Ой, нога, ой, ноженька,— еще громче запричитала Аниска.— Так тюкает, так тюкает...

— Заживет твоя ноженька!..

Да, нога заживет у Аниски. Демид отсосал яд гадюки. Но вот когда отсосется тот яд, которым отравили сердце Аниски? Аниска верила в папу, Мамонта Петровича. И он ее любил, папа Мамонт, человек с таким огромным и неловким именем. Он был добрый и самый справедливый папа! Конечно, у Мамонта Петровича много недругов в Белой Елани и во всей подтайге. Здесь он устанавливал Советскую власть, был первым председателем ревкома. Он беспощадно воевал с дремучими космачами-раскольниками. Он организовал колхоз и вытряхнул из деревни кулаков. Человек он был резкий, прямой, как шест, негнувшийся в трудные моменты, и вот чем все это кончилось...

— Ах, боже мой, боже! Что же мне теперь делать?! —

причитала Авдотья Елизаровна.— До какой жизни я дожила с критиканом несчастным! Хоть бы раз, единый раз послушался меня Мамонт! Так нет же! Сам себе жизни не мог устроить и меня доконал! Все правды искал! А где она, правда-то? Чихала я на правду! Другой бы, похитрее, куда взлетел после партизанского командирства? А он, Головешка, остался тем же, кем был: ничем! Зато с принципами! Вот и достукался!..

Демид не знал, что и сказать Авдотье Елизаровне. Конечно, она сейчас несет такое, от чего через час сама же откажется. Но все-таки как обидно, что Авдотья Елизаровна так несправедлива к Мамонту Петровичу.

— Не я ли ему говорила, так дальше не пойдет! Кончать надо. Так он же верил в эту свою проклятую мировую революцию. Вечно носился со своими планами, с какими-то делами, которые век не переделаешь. А в ревкоме тогда и в сельсовете вез за четверых, и в леспромхозе тянул за директора, а что вышло? Что заработал?

— Мама, перестань! Перестань, мама,— рыдала Аниска.

Демид посутулился на лавке.

— Разберутся еще,— глухо проговорил он.— Мамонт Петрович, как вот подумаю, самый справедливый человек.

— Разберутся! Жди!.. Дурак несчастный! Не видел ничего, что вокруг творится!.. А как я жила с ним? Ни света, ни потемок. Пустота одна. Все учил уму-разуму. Это меня-то учить уму-разуму? Да я такое видела, чего ему и во сне не снилось. А тоже, было время, всему верила. А жизнь-то как ко мне повернулась? Что и обидно, что он, Головешка, из этого ничего не понял...

— Не говори так, не говори так! Папа хороший, хороший,— захлебываясь, твердила Аниска.

— Хороший? Ох, сколько он мне кровушки попортил твой хороший! Не я ли ему говорила: бросай свою политику, в город поедем. Да я бы там разве так жила? А он все твердил: сиди, сиди, чего тебе надо? Подожди, скоро во как заживем! Вот и дождалась. Досиделась!

Такую Авдотью Елизаровну Демид впервые видел. Было в ней что-то отчаянное, недоговоренное, туго закрученное и неприятное. И в то же время Демид как бы враз увидел ее всю жгучую, собранную, с высокой шеей, с красивыми ступнями маленьких босых ног, с ее чуть вздернутым, туповатым носом, упрямо выписанными бровями, пухлоротую, с бешеными черными глазами.

— Так тюкает, так тюкает,— хныкала Аниска.

— Что еще? — Авдотья Елизаровна все забыла.

Посмотрела ногу Аниски. Ступня опухла, как подушка. Но опухоль выше щиколотки не поднялась.

— Надо бы фельдшеру показать... Сейчас же собирайся! Пойдем. Тошно мне, тошно. А ты сиди, Демид, коли пришел. Сейчас я сбегая и все разужнаю.— И, взглянув в окно, предупредила: — Огня не зажигай. А ставни я закрою.

XI

У юности цепкая, когтистая память.

Надолго, на всю жизнь запомнил Демид эту жуткую осеннюю ночь тысяча девятьсот тридцать седьмого года. Чего только не передумал он, сидя в потемках. «Как же так? Как же так? — неотступно билось в его мозгу.— И в самом деле, он еще молод и ни в чем не разбирается. Но за что?! За что? Ума не приложу, что делать? Что делать?»

Чернота опустилась на землю, будто крышка гроба хлопнула. А потом раз за разом сверкнули молнии, белым полымем охватив всю избу и двор Голоवेशихи.

Вслед за молнией — удар грозы, будто кто по крыше грохнул железным листом.

Хлынул дождь.

В избу вошла бабка Ефимия, скинула шаль на кровать и, шаркая чирками, топталась возле кухонного стола, потом хотела вздуть лампу, но невзначай уронила стекло и долго ползала по полу, собирала осколки. Потом вскарабкалась на русскую печь и там притихла.

Демид курил папиросу за папиросой, прислушиваясь к шуму дождя.

Резко прихлопнулась половина ставни, за нею другая, и загремел железный засов в косяке. Одно за другим закрылись все ставни на окошках в избу и в горницу. Мокрые, чавкающие шаги в сенях. Пискнула дверь.

— Темень-то какая!

Демид зажег спичку.

— Не ушел?

Авдотья Елизаровна сняла у порога сапоги, мокрую жакетку, платок.

— Лампа на кухонном столе. Зажги.

— Бабушка вот стекло разбила.

— А, чтоб ей провалиться! — Авдотья Елизаровна полезла на полку за новым стеклом. Достала, протерла пузырь рушником, наладила семилинейную лампу, поставила на стол.

— Как с Анисой?

— У Макар Макарыча оставила. Смотреть будет до утра. Ну, а теперь вот что, слушай. Фролов ищет тебя по всей деревне. Своего человека послал в Кижарт. Молевщики-то говорят, что ты с ними был на заторе до самого вечера. И дома у вас сидит сотрудник — тебя ждет. Господи, как меня всю трясет!

— Если меня ищут — надо идти.

— Сдурел, что ли?

— Я ни в чем не виновен.

— Ой- ой, какой ты еще зеленый, Демид! Мужиком стал, а ума не нажил. Время-то такое, видишь? Уйти надо тебе из тайги. От греха подальше. Хоть на Таймыр, что ли? Там у меня знакомый человек проживает. Хочешь, адрес дам?

Демид ничего не ответил. Он все еще не мог собраться с духом.

С печи высунулась белая голова бабки Ефимии.

— Сон-то ноне будет аль нет?

— Ты же легла? Спи.

— Подай мне творожку, яви такую милость. А это кто там сидит на лавке? Боровик? Боровик, Боровик! Скажи, чтоб ушел.

— Да отвяжись ты от меня, надсада! — прикрикнула Авдотья Елизаровна. — А ты сиди, Демид! Сиди! Не пущу тебя, на беду глядя.

— Смотри, смотри, Дуня. Как бы с тобой не приключилось того, что с Дарьюшкой, вечная ей память, — проговорила бабка Ефимия, зло косясь на Демида.

— Не стращай, худая немочь! Лежи и спи. Без творага проспидишь одну ночь. — И со злом задернула занавеску на верху печи, спрятав там беспокойную старуху.

— Нет, я пойду. Раз такое дело, чего же прятаться? — решился Демид.

Авдотья Елизаровна стояла рядом грудь в грудь. Ее черные глаза придвинулись к Демиду совсем близко. Теплое дыхание опалило щеки.

— Никуда ты не пойдешь. Слышишь? — Ее мягкие, но сильные руки легли ему на плечи. — Раздевайся. — И сама

сняла с него брезентовую куртку, повесила на гвоздь.— Не пушу. Ни за что не пушу!.. Ты для меня сегодня как последняя соломинка. Уйдешь — и я с ума сойду. Слышишь, с ума сойду! Не останусь я в такую ночь одна вот с ней! — махнула рукой на верх печи.— Не останусь! Мне живая душа нужна сегодня! Живая душа!.. Иль ты не мужик? Пожалей ты меня! Правду тебе говорю, неужели сам не видишь, что со мной делается?

— Успокойтесь, успокойтесь, Авдотья Елизаровна... У меня же ни паспорта, никаких документов... И Агния...

— Агния! Ах, вот оно что! Ха-ха! Агния! Вот о чем у тебя забота. А с виду робкий ты... Как же ты такую затворницу сумел расшевелить? Она же из дома Вавиловых, как из скворешни, выглядывала. Вот так робкий! Ну да с Агнией тебе придется проститься, миленочек! Слушай меня. Уж коли Агния тебе дорога, ты и носу к ней не показывай! Был и сплыл. Мне-то нечего терять. А Зыряна сразу же загребут, как только узнают, что ты у них скрываешься. Понял? Это во-первых. А во-вторых, Агнии твоей дома нету. Она третий день как в район с Андриюшкой уехала. К доктору его повезла. Ну, а документы твои сама принесу. Хочешь? Я все могу. Я такая. А могла бы и иначе поступить... Где у тебя документы-то?

— Сумка такая у меня. Висит в амбарушке. Я там спал... На брус висит.

— Достану. Так что и комар носу не подточит. Ну, не вешай голову. Посмотри на меня. Какой ты красивый парень. Жалко мне тебя, ей-богу! И ничего-то, ничего еще в жизни не знаешь! Дай мне руку. Вот так. Обними меня. Забудь обо всем на свете. Сразу полегчает. Иди сюда...

Обнимая Головешиху, Демид с тоской чувствовал, что все дороги у него теперь к Агнии отрезаны. Разве можно было думать об Агнии после такого? Нет, нет, надо бежать, бежать из Белой Елани!..

XII

Как лист срывается с дерева и потом несет его ветер, куда дождь и непогодье не прибьют к земле, так сорвался из Белой Елани Демид Боровиков, и никто не видел, куда его унесло суматошным ветром.

Кривотолки плескались из дома в дом. В районной газете напечатали статью про вредительство в леспромхозе,

где недобрым словом помянули молодого прораба Демида Боровикова. И что будто молевой сплав злоумышленно затягивал до поздней осени, и ни слова про то, что леспромхозовцы с момента организации лесных разработок в тайге работали по старинке — топором, поперечной пилой и лес возили гужем. Что рабочих не хватало и заработок был мизерным — так что никто не шел в леспромхозы. Если верить газете, то вся вина ложилась на четырех человек: на Мамонта Головню, Игната Мурашкина, Демида Боровикова и Толоконникова. А что могли сделать четыре человека, если леспромхоз не имел даже трактора?

Аркадий Зырян тыкал в газету, ругал Агнию за то, что она спуталась с отчаянным прохвостом, с Боровиковым, и что дочери пора взяться за ум и перейти на работу в МТС.

Агния ничему не верила. Ни газете, ни отцу. Знала: Демид ни в чем не виноват.

Побывала у Боровиковых, впервые переступив порог сумрачного дома, и встретилась с тихой, неприметной Меланьей Романовной — Филимонихой, как ее все теперь звали на деревне.

Крашенные охрою стены избы, деревянная кровать у порога, половики и — гулкая пустынность.

Филимониха не пригласила Агнию пройти на лавку и не подала табуретки.

— Про Демида спрашиваешь? — кособочилась Филимониха, глядя подозрительно на Агнию. — Откель нам знать, где он пропадает? Ни слухом ни духом не ведаем. Один бог знает.

— Мне-то можно сказать. Я для него не чужая, — напомнила Агния.

— Не знаю, Агнеюшка! Не знаю! Про что толкуешь-то — не пойму. Ты же нам вроде сродственница. Аксинья-то Романовна — сестра моя старшая. Што у вас произошло-то — не ведаю. Слышала: осрамила ты дом Вавиловых. Худо! Ой, как худо!

Агния попросила воды напиться. Филимониха испуганно глянула на нее, точь-в-точь сама Аксинья Романовна, и с неохотой пробормотала:

— Воды попить? Не запасла воды для пришлых, милая. Туес пустой стоит.

А рядом с Агнией, у порога — полная кадушка воды, накрытая крышкой. И ковшик на кадушке. Филимониха перехватила взгляд Агнии, прошамкала:

— Из кадки-то нельзя. Сама знаешь: веры старой держусь. Ты напешься из кадки, а потом што делать? И кадку выкинуть, и ковшик.

Агния молча повернулась и ушла не оглядываясь. До чего же противное староверчество! И воды испить не дадут, если в доме срамной туес пустой, сесть не пригласят, и уж, конечно, переночевать в таком доме не думай — за порог не пустят, хоть умри возле дома.

Довелось Агнии поговорить в конторе колхоза и с Филимоном Прокопьевичем. Боровиков явился узнать, сколько у него выработано трудодней. Агния справилась, записала трудодни в книжку и, провожая Филимона Прокопьевича из конторы, спросила с глаза на глаз, есть ли какие вести от Демида?

— Што ты! Што ты! — замахал руками Филя. — Ни слухом ни духом! Кабы знал, где он, самолично притащил бы в энкавэдэ.

— За что в энкавэдэ?

— Экая! Или не читала газету? Чистый вредитель. Я ишло когда заметил в выродке вредящую линию. С мальства! Таких надо под самый корень выворачивать, чтоб и духу ихнего не было. Спроси хоть у ково в деревне, все знают, как прижимал меня Мамонт Головня. И так брал на притужальник, и этак. Чистый зверюга. Таким и Демид вырос. Вся деревня про то скажет.

XIII

Непогожая выдалась осень тридцать седьмого года. Дождь лил и лил, перемежаясь грозами. Земля раскисла. Молнии вспыхивали над Белой Еланью, будто резали серебряными пожарами ржаной квасник. С хребтов тянуло сыростью и стужей. Розоватые облака, наливаясь синевою, меркли.

Притихли, замыслились события последних дней. Никто ни слова не говорил про арест Мамонта Петровича, побег Демида... А между тем была еще одна встреча, про которую никто не знал, но она могла бы пролить свет на многое.

На багряной осине, у сметанного зарода сена, рядом с паровым полем, чернея комьями, беспокойно гоношились две мокрые вороны. То перелетали на зарод, то снова возвращались на осину.

Снизу зарод сена был разметан, и под его карнизом на

душистом сене лежал Ухоздвигов. Голоवेशиха сидела рядом, разбирая принесенную снедь.

— Раскаркались, проклятые! — беспокожно и зло сказал Ухоздвигов.— Шугнуть бы!

— Не надо. Здесь теперь никто не ходит,— успокоила его Голоवेशиха.— Охотников по этой рассохе нет. Разве волк забредет.

— Значит, говоришь, Мамонта взяли?

— Спекся, голубчик!

— Ты все исполнила, как я сказал?

— Все, все! Сама ездила в район к следователю НКВД и все ему обсказала... И какие Головня речи разводил в лес-промхозе. И как ругал Советскую власть вместе с Демидом Боровиковым...

— Да-а, дела! — раздумчиво сказал Ухоздвигов, заку-ривая папиросу и устало взъерошивая белесые волосы.

Он сильно постарел, опустился. Волосы на темени еще больше поредели, отчего лоб казался огромным, выпуклым.

— Зарос-то как! Бедный мой! — сказала Дуня, обнимая его и ласково потершись щекою об его колючую щетину.— Пожил бы у меня, отдохнул. Горница моя, сам знаешь, как устроена — солдат с котомкой завалится, и век не найдешь.

— Нет, Дуня. Не до отдыха теперь. Аресты кругом идут. Могут и меня сцапать. Такое дело! — устало ответил Ухоздвигов.— Я вот что пришел тебе сказать... Я, Дуня, пришел проститься.

— Как? Насовсем?

— Уходить надо, Дуня. Совсем уходить.

— А как же я?! Нет, нет! Гавря, милый! Неужели ты меня кинешь?!

Дуня всхлипнула, вытирая нос уголком повязанного платка.

— Что же мне теперь?.. Совсем, совсем одна!

— Погоди, погоди, Дуня. Не плачь.

Не зная, чем утешить, угрюмо сказал:

— Что я могу поделатъ? Ты же сама видишь, какая складывается обстановка... Нельзя мне больше здесь оставаться. Измучился я. Вечно прятаться... Как волк. Сил нет. Надоело. Надо уходить в город. Там народу больше... Видишь сама, какой я стал. Ноги хрустят в суставах, будто в чашечках дресва. А тут еще с весны привязалась рожа к ноге, будь она проклята! Зудит и зудит между пальцами, хоть вой!

— Вот и побыл бы.

— Нельзя, Дуня!

— Я принесла тебе чистые портянки. И белья смену,— покорно сказала Дуня.— Тут вот, в котомке, сало и свежие лепешки...

— Ничего, ничего, держись! — угловато обнял Дуню Ухоздвигов, с наслаждением вдыхая аромат ее волос.— Может, еще свидимся. Устроюсь где-нибудь подальше от тайги. Дам знать. Как там Аниса? Береги ее, Дуня. Жалей. Эх, жизнь проклятая! А как бы мы могли жить! Ну да ничего! Наше от нас не уйдет,— подавил он в себе вздох отчаяния.— Не горюй. Жить будем. Не пропадем! Есть у меня такие люди в городе, помогут... Во Владивосток подамся.

А все-таки обидно. До чертиков обидно. Вот она в трех километрах, Белая Елань, отчий дом, богатейшие отцовские и юсковские прииски... Дунины прииски! Сколько раз он проклинал свою нелегкую судьбину! Кем он стал в тайге? Зверем. Очерствел, одичал. Ему бы сейчас в постель, на Дунину мягкую перину!.. Все, все рухнуло! У него ничего нет. Что его будущее? Лучше об этом не думать!

Труха сена набилась за воротник полушубка, покалывая шею. Нестерпимо зудилась спина между лопатками. Так бы прошелся по коже скребницей, не говоря уже о парной бане с березовым веником!

— Бросаешь, стал быть, меня?.. И не жалко? — плотнее прижимаясь к Ухоздвигову, говорила Дуня.

— Глупая!

— А я еще в силе, Гавря, ей-бо!.. Любой девке за мной не угнаться, прямо скажу. Девки ноне — хиль какая-то. Настя Устюжникова ночесь проваландалась с Петькой Шаровым, встретила со мной в проулке Зыряновых, а в глазах-то пустошь. Будто ее ковшом кто вычерпал. Эх, говорю, Настя, в твои-то годы я до того была дюжая, что драгой не вычерпаешь, не то что каким-то Петькой. Ну, чего ты совсем скис, бедный мой? — тормозила Ухоздвигова Дуня, стараясь изо всех сил подбодрить его.— Как зверобоем-то напахнуло. Чувешь? Так и пьянит сенцо. Лист к листу, сердце к сердцу, тело к телу — то и жизнь, Гаврюшенька! Живем одиножды, умираем каждый час понемножку. Одним узлом-то связаны... Поди, изголодался в тайге-то?

Ухоздвигов невесело усмехнулся.

— Что смеешься? Не навек расстаемся, поди?

— Ты все такая же!

— Какая?

— Ненасытная.

— А что заранее помирать? Я ведь тоже в поле обсевок. Почитай, всю Сибирь из конца в конец прошла. И в Питере мыкалась, и пулеметчицей была. Чего не пришлось! А об счастье так и не запнулась. Да что счастье? Как ветер. Сегодня подует на тебя, а завтра загонит в яму и дует на другого... Да ежели бы я каждый раз помирала, сколько меня судьба трепала, давно бы старухой стала. А я вон гли какая... Дай руку, пощупай...— и заговорила сбивчиво, шепелявя, скороговоркой: — Грудь-то так и млеют. Век бы... с тобой бы... Не расставаться бы нам!.. Худущий какой стал... Придет время, Гаврюшенька! Мы еще живые, слава богу!.. Сколько натерпелась я от дурака Головни с его мировой революцией... Теперь бы жить, жить бы!.. И Анису растить — твою кровинку. Боженька, как я люблю тебя! Никто не знает нашей тайны, Гавря!.. Никто!.. Вместе бы нам уехать из тайги, а? Вместе бы!..

Любовной утехе помешала мышь. Она как-то пролезла за пазуху Ухоздвигову, скобленув по телу коготочками. Ухоздвигов дико вскрикнул, выбежал из-под зарода, нащупывая мышь рукою. Когда выхватил подол рубахи из брюк, мышь камнем упала к его ногам. Он ее отлично видел! И тут же скрылась.

«Это к гибели!» — холодея от ужаса, подумал Ухоздвигов.

— Ты вроде захворал, Гавря?

— Я? Н-нет. Прости, Дуня. Нервы...

— Измотался, сердечный! Вконец измотался.

...На закате, когда вокруг сгустилась лиловая пасмурь и вся земля, пропитанная влагой, источала осеннюю острину, Голоवेशиха проводила Ухоздвигова в дальнюю дорогу.

ЗАВЯЗЬ

ПЯТАЯ

I

Хрустким ледком покрылись осенние лужицы. Оголилась двуглавая крона старого тополя. Как-то ночью Агния вы-

глянула в окошко — кругом белым-бело. Зима пришла.

Изба Зыряна выстыла. Малый Андрюшка спал на сундуке, раскидался и скорчился, озяб, должно. Агния хотела переложить сына на свою постель — и тут же присела. Тошнота подкатилась. От Андрюшки несло запахом парного молока. «Неужели?!» — кольнуло в сердце. Что же она теперь будет делать? Что скажет отцу и матери?

Неожиданно Агнии довелось поговорить с Авдотьей Елизаровой.

Под вечер так шла Агния в сельпо и встретила лицом к лицу с нарядной Дуней. В белых чесанках, в беличьей шубке, единственной на всю Белую Елань, в пуховом платке, Авдотья Елизаровна не шла, а будто плыла по улице. Агния слышала, что Авдотья устроилась в магазин ОРСа леспромхоза и жила припеваючи.

— Тут вот письмецо к тебе, Агния,— оглядываясь, сообщила Авдотья Елизаровна.— Давно хотела передать, да не встречала тебя.— И подала Агнии бумажку.

Коротенькая записка, всего несколько слов:

«Агния! Пишу тебе мало — сама все знаешь. Не верь никаким слухам. Не виноват я ни в чем решительно. Самое светлое, что у меня было в жизни,— это ты. Никогда бы от тебя не ушел, если бы не такое положение. Прощай. Демид».

У Агнии муть в глазах. Видит и не видит перед собою черноглазую Авдотью Елизаровну. Вспомнила, что молевщики говорили, будто Демид ушел тот раз из поймы Малтата с дочерью Авдотьи Елизаровны, с Аниской. Где он был, Демид, в ту ночь? Неужели у ней, вот у этой женщины?

На секунду столкнулись карие глаза с черными — и будто увидели нечто такое, что карие глаза стали злыми, ненавидящими, а черные воровато схитрили и спрятались в ресницах.

— Где он был тогда?

— Откуда мне знать?

— У тебя он был в ту ночь?

— Не понимаю, про что говоришь. Записку мне сунул прохожий.

— Неправда!

— Другой правды у меня нету, милая.

И так же спокойно, как соврала, Авдотья Елизаровна поднялась на крыльцо сельпо.

— Головешиха ты проклятая! — вырвалось у Агнии

вслед Авдотье Елизаровне.— Вся черна, как сажа, и других запачкала.

Авдотья Елизаровна поглядела на Агнию с высоты крыльца, как с капитанского мостика, сокрушенно покачала головою.

— Да ты, я вижу, дура, Агния Аркадьевна. А еще в техникуме училась. Ай-я-яй! Постыдилась бы. Кого чернишь? От живого мужа хвост припачкала и на меня же пальцем тычешь. Молчала бы. А кого ждешь — не жди. Он по тебе не очень-то скучал, скажу по секрету. Парнишка очень обходительный, не тебе чета. Найдет еще подруженьку, не печалься. До свиданьяца.

И ушла в сельпо.

С этого памятного вечера Агнию будто подменили, знала, что покоя ей теперь не ждать и что вся ее жизнь полетит кувырком.

Ночами душила тоска. Мутная, как вешняя тина в Малтате, схватывала за горло, втискивая лицо в подушку, истекая редкими слезинами.

«Вот и осталась я со своим стыдом и горем,— никла Агния, как ракета на ветру.— Если бы Степан вдруг приехал на побывку да застал бы меня на боровиковском пригорке, возненавидел бы на всю жизнь!»

II

...Степан и в самом деле застал Агнию на окраине большака, на боровиковском пригорке. В начале марта он приехал в краткосрочный отпуск из Ленинграда. До Агнии еще не успела дойти весть о приезде Степана, и она, ничего не подозревая, вышла теплым вечером посидеть на лавочке дома Санюхи Вавилова. Дом Санюхи стоял через улицу от Боровиковых.

Смеркалось. Из поймы тянуло горьким дымом. Где-то в Заамылье жгли прошлогоднюю гнилую солому. Султаны прибрежных елей торчали из стелющегося дыма, как вежи узловатой дороги.

Агния сидела на плашке возле калитки притихшая, потерянная, сосредоточенно к чему-то прислушиваясь. Еще в обед, когда она с матерью перебирала картошку в подполье, она почувствовала, как что-то тяжелое и сильное подкатилось под сердце, потом боль медленно сошла вниз, распирая бедра. Прикусив до крови губы, она долго сидела, не в силах встать на ноги.

«Что же мне теперь делать?! — думала Агния, глядя на

черный дом Боровиковых с закрытыми ставнями.— Не жить мне в Белой Елани, уехать бы...» Но куда Агния могла уехать с малым Андрюшкой и с тем, которого должна скоро родить?

А в доме Боровиковых одна из дочерей Филимона, Иришка, кажется, затянула песню:

За окном черемуха колыщется,
Распуская лепестки свои...
А за рекой знакомый голос слышится,
Где всю ночь нели соловьи ..

Голос мягкий, еще неустоявшийся, будто стелющийся на зелены холсты, упругий, беспечальный, какой бывает только у девушек.

К Иришкину голосу привязался резкий подголосок, и сразу песня раздвоилась. Девичью чистоту, как ножом, резала черствая сила. Агния узнала — подпевает Фроська, сестра Иришки...

«Такая же, как Дуня Голоवेशиха»,— думала Агния, глядя на дом Боровиковых, где билась знакомая песня, то порхая жаворонком на одном месте, то ястребом кидаясь вниз.

Из ограды Санюхи раздался хриловатый голос:

— Нааастасьяаа!.. Куда, холера, запропастилась?

Санюха жил все так же замкнуто, обособленно от всех братьев, да и не похож был ни на одного из них. Те, что медведи: ширококостные, тяжелые, рослые, лобастые, Санюха — последыш, мелок в кости, щупловат, молчун.

Не успела Агния подняться с плашки, как в калитку высунулась голова в лохматой шапке.

— Настасья! Аль не слышишь?

— Тут нет Настасьи.

— Нету-ка? — углистый, единственный правый глаз Санюхи, как сверлом, нацелился в лицо Агнии.— Агния? — пробурлил он в бороду, вылезая из калитки.

В брезентовом шумящем дождевике, перепоясанный патронташем, с ножом у пояса, до того длинным, что им можно было бы насквозь проткнуть медведя, Санюха подошел к Агнии и долго молчал.

— Сумерничаешь? — спросил.— Как живешь-можешь?

— Живу вот.

— Угу. Худое несут про тебя бабы, слышал.

— Пусть несут. Всю не разнесут.

— Оно так. Не разнесут, а душу изранят, язби их в серд-

це. На меня тоже всякое несли опосля гражданки. Начисто отбрили от деревни. Оттого и в молчанку сыграл. А был бедовый парены!.. Тебе это не уразуметь — молодая ишшо: мало соли съела. А я ее слопал, будь она проклята, центнера три, не мене. Вот нутро и просолело. Отчего такое, понимаешь? Угу. Не понимаешь. Братаны меня урезали, язби их. Они воевали с красными, а я с белыми. Эх-хе-хе!

А из дома Боровиковых:

За окном весенняя распутица,
Ночью выпал небольшой мороз,
Мне недолго добежать до проруби,
Не расплетая даже русских кос...

У Агнии сжалось сердце в горячий комок и подкатилось к горлу — не дыкнуть. А тут, как назло, двое шли улицею.

— Ишь, топают моя баржа-перегрузка,— проговорил Санюха.— И мужик с нею? Кого ведет в дом на ночь глядя?

С приземистой, толстой Настасьей шел высокий человек в шинели. Он курил папиросу.

Агния не знала, куда деться от злоязыкой Настасьи, и придумывала, какое бы найти заделье, чтоб Настасья не чесала лишний раз языком. И без того разговоров на деревне хоть отбавляй.

— Вот те и на! — ахнул Санюха.— Степан, кажись?!

Агнию будто подбросило с плашки.

— Племяш! Ах ты, язби ты холера! Племяш! — рычал Санюха, облапив Степана и троекратно чмокнувшись с ним в губы.

Настасья, подоткнув руки в бока, смотрела на Агнию.

— Ипеть у нашей подворотни, милая? — начала она ласково, что предвещало неумную бабью колкость.— Иссыхаешь по любовнику? — Будто хлестнула наотмашь Агнию по лицу.— Гляди, Степа. Я же говорила: редкую ноченьку Агния не токует у нашей подворотни. Все ждет, когда подаст о себе весть Демид Филимоныч.

И, повернувшись к Агнии, осмотрев ее с ног до головы, Настасья спросила:

— И не совестно тебе, Агнея? Да я бы, вот те крест, провалилась сквозь землю. Брюхо-то какое нагуляла, ай-я-яй!

Живот Агнии, когда с я привалилась спиной к столбу, выдался вперед. Она запахнулась полами жакетки, но полы не сошлись.

Степан смотрел на нее в упор. Агния не в силах была

встретиться с его черными, едучими глазами. Она чувствовала на себе их чугунную тяжесть, и ей стало жарко, а зубы мелко стучались друг об дружку.

— Та-ак, все ясно,— глухо вывернул Степан.— Андрюшку я возьму к своим. Они подрастят его, пока я в армии. Завтра оформим развод. Лучше уж гуляй под своей фамилией.

— И то правда,— вздохнула Настасья.— Она хвостом вертит, а грязь на Вавиловых летит.

Агния передернула плечами.

— Может, сейчас можно взять Андрюшку?

— Андрюшку?

— Не тебя же!

Настасья хихикнула, Санюха громко сморкнулся, уставившись на живот Агнии с упрямым кротким недоумением, какое бывает только у мужчин, которые всю жизнь помышляли о собственном ребенке, но так и не извели счастья отцовства.

— Договорились?

Агния вздрогнула и впервые глянула в полнокровное, возмужавшее лицо Степана. Какой он стал красивый!..

— Не бойся, бить не буду.

— Меня? Бить?! Ты?! — Агния рванулась вперед. Степан попятился.— Меня? Бить? Бей же, бей! Только до смерти бей! Бей, говорю!..

— Не стоит марать руки.

— Не стоит? У тебя они чистые, да? Руки твои чистые, да? Или такие, как мои, а? Кержаки вы проклятые! Изранили мне всю душу. Кто ты мне? Муж, да? За три года — два письма, и — муж, да? Разве такие мужья бывают? Андрюшку еще задумал взять! Ты его родил, Андрюшку? Ты его рóстил? Деньги, может, слал? Ты его хоть раз видел? И ты — меня бить, да?!

— Сдурела баба! — всплеснула ладошками Настасья.

— Не видать тебе Андрюшку! И разводиться с тобой не пойду. Оформляй сам, как хочешь.

— Оформлю. А насчет Андрюшки — суд скажет свое слово.

— Не суд, а я. Тут тебе и суд, и прокурор.

— Ах ты, бесстыдница!

— Кто бесстыдница? — Агния круто повернулась к Настасье и моментом вцепилась ей в волосы. Настасья дико завопила на всю улицу. Степан схватил Агнию за руки

и с силою отнял их от головы Настасьи. Агния, не помня себя, кинулась на него, но он так стиснул ее запястья, что она почувствовала нестерпимую боль. И, как того не ожидал Степан, у Агнии подкосились колени, и она повисла на руках, как надломленная ветвь.

Степан оставил Агнию на лавочке отдышаться, а сам пошел к Санюхе. Агния не помнила, как шла домой, долго потом искала веревку под навесом и, когда нашла, тщательно запрягала под жакетку. Над оградой Зыряна плыл молодой месяц, как белый рог быка. Вышла в улицу — тишина. Уродливые лунные тени протянулись до середины улицы. В редкой избе светился огонек.

Шла туда, к пойме Малтата, к старому тополю...

Земля, припорошенная снегом, тверда, как уголь. Агния спешит, торопится. Цветастый платок сбился ей на плечи, и волосы растрепались.

Скорее бы, скорее! Может, в последний раз бежит Агния по большаку, где ей знакома каждая заплотина. Пусть смотрят на нее черные стекла рамин, они все равно ничего не видят. Только бы поскорее укрыться под тополем. Под ним она была так счастлива с Демидом, и под ним пусть будет ее могила...

На крутом спуске Агния задержалась, глянув помутневшим взором на громаду черного тополя. Стала опускаться вниз прямо по обрыву от угла дома Боровиковых. Юбка зацепилась за что-то, она ее рванула с силою. Послышался треск по шву. Сердце туго сжалось и заныло.

Главное — ни о чем не думать. Агния никак не может унять противный стук зубов. Дрожащими руками достала из-под полы свернутую веревку. На веревке болталась бельевая прицепка. Как она ее не сняла? Отцепила и бросила. С силою подавила застрявшее в горле рыдание. Не до слез!..

Какой сук выбрать? До любого не достать рукой. Раза три закидывала веревку на сук, но та срывалась. Цепляясь за обломанные сухие сучья, прильнув голыми коленями к шершавой бугорчатой коре, полезла на дерево. Так она поднялась на метр от земли и только хотела ухватиться рукою за толстую ветку, как под ногою хрустко переломился сучок, и Агния, неловко взмахнув руками, полетела вниз. И сразу же почувствовалась страшная боль. Начались схватки. Звенело в ушах и сохло во рту. Не в силах подняться,

она поползла по снегу к пригорку и стала кричать. Она еще видела, отчетливо и резко, как к ней подбежал сперва Санюха, а потом Степан.

— Егорий-громовержец!..— ахнул Санюха.

— Что ты, Агния?! — Степан наклонился, поддержнул на плече сползающую шинель.

— Веревка-то, видишь? Вешалась, знать-то.

Степан попытался поднять Агнию и вдруг услышал тонюсенькое, незнакомое, чужое и непонятное «аааа», похожее на писк звереныша,— отпрянул.

— Егорий-громовержец, родила!

Санюха хотел развязать узел на петле веревки, но пальцы у него тряслись, и он никак не мог распутать узел. Степан побежал за Настасьей. Та выскочила из дома, а из Боровиковой ограды вышли сестры — Иришка и Фроська — и сразу подбежали к Агнии.

Настасья вынесла какой-то половик, на который Степан с Санюхой бережно уложили Агнию.

— Ой, матушки, померлааа! — завопила Настасья.

— Тихо! — скомандовал Степан.— Давай, дядя, к тебе занесем, что ли?

— Куда же еще, паря. Давай, давай!..

Санюха додумался влить Агнии водки в рот. Ложкою разжали зубы и влили. Агния открыла глаза и сразу увидела Степана. Хотела встать, но Степан удержал ее за плечо.

— Девчонка! — сообщила Настасья.

Степан видел, как по впалым щекам Агнии прокатились одна за другой слезинки, и, сомкнув брови, скрипнув зубами, отвернулся.

Агния глубоко вздохнула. Напахнуло застоялым кислым воздухом. Где она? В чьей избе? Рядом топчется толстая Настасья Ивановна и сутулый одноглазый Санюха. «Тошно мне, тошно мне! Стыд-то какой! У Санюхи в доме»,— и до крови прикусила губы. На какое-то мгновение еще раз встретилась с черными глазами Степана — и зажмурилась, сдерживая подступившее к горлу рыдание.

Степан глухо попрощался с дядей Санюхой и с Настасьей Ивановной. Потом хлопнула дверь — ушел!

Навсегда ушел...

На другой день Степан уехал в свою воинскую часть в Ленинград, заявив, что никогда больше не вернется в Белую Елань, и даже не взял развода.

Так и осталась Агния Вавиловой. Не замужняя, не вдова...

Как только чуть подросла Полюшка, дочь Демида, Агния перебралась из Белой Елани на лесопункт Раздольный, унося в душе обидное и горькое воспоминание — развилку старого тополя.

Она все еще ждала Демида. Хотела, чтобы он узнал, что у него растет синеглазая дочь. Но Деמיד так и не узнал. Откуда-то с Украины в середине ноября 1941 года вдруг пришла Боровиковым похоронная: в боях за Днепр 19 сентября 1941 года погиб Деמיד...

— Хоть бы весточку какую прислал до смерти! — причитала постаревшая Меланья. — Сколько годов ни письма, никакого известия и вдруг — убили Демущку!..

III

С вечера Меланья зажгла десяток тонюсеньких восковых свеч у потускневших старообрядческих икон и долго молилась, чтобы господь бог смилостивился и распахнул бы перед убиенным Деמידом врата рая.

Сам Филимон Прокопьевич лба не перекрестил.

— Как был он вырождком, лшак, такая и смерть пристигла!

— Мой грех, мне и слезы лить, — ответствовала, сутулясь, тихая Меланья Романовна.

И надо же было под этот час зайти в дом Боровиковых престарелой бабке Ефимии! И без того в доме тошно, а тут еще на ночь глядя, вся запорошенная снегом, в рваном полушубчике, перепоясанная веревкой, в какой-то немислимой шапчонке, в разбухших мужских валенках, опираясь на толстую палку, вкатилась в избу старушонка.

От такой неожиданности у Филимона Прокопьевича зарябило в глазах и перехватило в глотке. «Свят, свят! Изыди!» — еле пробормотал Филимон Прокопьевич и со всего размаха ткнул себя двумя перстами в лоб, потом в туго набитый плогным ужином живот, в плечи, пятясь в передний угол под образа.

— Спаси вас Христос! — возвестила старушонка обычное приветствие староверов, уставившись на хозяина черными провалами глазниц.

Четыре года, как не появлялась бабка Ефимия в Белой Елани. Куда ее спровадила Авдотья Елизаровна, никто осо-

бенно не интересовался, тем более Филимон Прокопьевич, и вдруг — Ефимия в доме!

— Стужа-то какая! — шамкала старушонка, протягивая к теплой русской печи свои скрюченные, почерневшие руки.— Не время бы морозу быть, а лютееет, лютееет.

— Экая! — продохнул Филимон Прокопьевич, сообразив, что перед ним не привидение, а сама бабка Ефимия.— Откель тебя принесло-то? С самого тридцать седьмого года ни слуху ни духу, и на тебе! Где жила-то?

— Везде, везде. И в Минусинске, и в деревне Подсиной у правнучки Алевтины Крушининой, а потом в Новоселовой — там отыскалась правнучка Апросинья Григорьевна, — бормотала старуха, прикладывая иссохшие ладони к теплomu боку печи.— Не больно приветливая Апросинья-то. Не больно! Все в родстве ковырялась и не находила. Как жэ не родственница! От Евгеньи дочери происходит, четвертое колено. Муж у ней добрый человек, Алексей Никанорыч. Дай бог, чтоб минула его пуля Гитлерова. Ох-хо-хо! Война-то какая полыхнула, а? Как наполеоновское нашествие. И теперь еще в памяти сам Наполеон, как мы шли к нему на Поклонную гору. Несли иконы из нашего Преображенского монастыря и красного быка гнали. Думали, навеки пришел Наполеон, а он — зимы не пересидел. То и с Гитлером выйдет. Бежать, бежать будет, как поджарят его огоньком, как того Наполеона!

— Гитлер не побегит! — бухнул Филимон Прокопьевич и тут же спохватился.— Там без нашего ума обойдутся, должно. Война, она такая штука — раз на раз не приходится.

— Приходится, приходится,— стояла на своем бабка Ефимия, шаря рукой по полушубку в поисках пуговиц, хотя и была перетягута веревкой.— Нашу землю никто не одолеет. Нету такой силы, Прокопий Веденеевич.

— Эко! Прокопия спомнила!

— Обозналась? — и тут же перескочила на правнучку Апросинью.— Споманется ей, Апросинье, ох, как споманется! Как взяли на войну Алексея Никанорыча, так и отправила меня в Белую Елань. Сам-то Алексей Никанорыч — добрый человек, привечал меня, как родную матушку. И разговоры со мной вел, собеседования. И пропись сделал с моих слов про раскольников, как мы шли с Поморья в Сибирь с Филаретом-старцем. Царствие ему небесное, Филарету Наумычу. Записал и про Александра Михайловича

Лопарева, как он бежал от стражников в кандалах. Спаси его бог!

Заметив горящие свечи у икон, бабка Ефимия перекрестилась.

— Иль праздник какой? — спросила. — Свечечки-то горят.

Филя махнул рукой и тяжело опустился на лавку. Меланья Романовна смахнула слезы с щек.

— Спрашиваю, иль праздник какой? Я-то числа все перепутала. Не стало памяти.

— Сына убили на войне.

Бабка Ефимия глянула на Меланью Романовну и перекрестилась: царствие ему небесное. Спросила:

— Которого сына? Тимофея?

— Свят, свят! Што ты, бабушка! Не было у нас сына Тимофея. Один был у меня сын — Демид.

— Демид? погоди, погоди! Тебя как звать-то? Степанида Григорьевна?

— Да ты што, бабушка? Степанида Григорьевна когда еще померла. Моя свекровушка. И Прокопий Веденеевич, покойничек, — свекор мой.

— Помню, помню, царствие ему небесное. Как же!.. Слышала, как он тайно радел с невесткой. Ай-я-яй!.. Не так он уразумел слово Писания. И сказано: «Вопль содомский и гоморрский поднялся и достиг неба. И сказал господь бог: сойду и посмотрю, точно ли так поступают грешники в Содоме и Гоморре, как о том вопль исходит от них ко мне? Так ли они погрязли в тяжких прегрешениях?»

«И послал господь двух ангелов. Праведник Лот поклонился им и пригласил к себе в дом: «Государи мои, — сказал ангелам Лот, — войдите в дом раба вашего». А жители Содомы явились к дому Лота и сказали: «Где люди, пришедшие к тебе? Выведи их к нам, и мы познаем их». Лот сказал им: «Не троньте моих гостей. Я вам дам своих дочерей, и вы сделайте с ними, что угодно. Только людям сим не делайте ничего, так как они пришли гостями под кров дома моего».

Не послушались Лота содомовцы и стали ломиться в дом. Тогда ангелы ослепили их, и жителей Содомы всех ослепили. И старых, и малых. А Лота с дочерьми и женой, яко праведников, увели из Содомы, а на город обрушили пепел и серу горячую. Жена Лота оглянулась на город — и стала соляным столбом. И стал жить Лот на горе в пещере, и с ним

две дочери его. И сказала старшая дочь младшей: отец наш стар, и нету человека, который вошел бы к нам по обычаю всей земли. Напоим отца нашего вином и переспим с ним...»

Меланья Романовна попятилась в угол, сгорая от стыда. Она все еще помнит и никогда не забудет, как читал ей Святое писание свекор Прокопий Веденеевич. Доколь же ей напоминать будут о таком грехе?!

Филимон Прокопьевич поднялся с лавки. Ох, как ему осточертели все предания про Лота!

— Погрелась, бабка? Иди.

— На другой день сказала старшая дочь Лота младшей...

Филимон Прокопьевич не стерпел дальнейшего. Подскокил к бабке Ефимии и, схватив ее под мышки, приподнял с табуретки:

— Говорю, обогрелась, иди. Наслышался твоих сказок, буде. И без того накликала на мой дом беду. Иди себе.

— Погреться бы мне. Остудина в теле. Видит бог!

— Ступай к Авдотье Елизаровне и там грейся. Сродственница твоя.

— К Авдотье? Ведьма Авдотья-то. Истая ведьма. Прогнала меня.

— Тогда шуруй в сельсовет. Там разберутся.

— В Совет? И то! Дай руки-то погреть. С испару зашлись. Не помню, не помню, чтоб сразу после покрова дня так лютовал мороз. Студено, студено на улице. Ту ночь провела в Таскиной. Добрые люди приняли хорошо. Как фамилия-то? Запомятовала. Еще сам хозяин читал мне газету про сражение под Москвой. Говорит: Москву ни за что не отдадут Гитлеру. Я-то ему толковала, как в Москву заявился Наполеон и как горела потом Москва. Не верит! А все прошло на моей памяти. И наполеоновская война, и Севастопольская, и японская, и германская, и белые с красными. Еще про матушку покойную говорила, как она пришла из богатого княжеского дома в монастырь на Преображенское кладбище, чтоб спасти душу. И опять мне не поверил. Я толкую: были такие князья Дашковы...

— Были да сплыли,— подвел черту Филимон Прокопьевич, не чая как выжить старушонку.

— И то верно, и князья, и дворяне, и сам царь. Все сплыли, как на земле не живши. Сколько перемен прошло на моей памяти? А тут вот Советы. Неслыханно, неслыханно. Ни в каком Писании про Советы не было сказано. Ни

в бытии Моисеевом, ни в книгах Ездры, ни в книгах Царств...

— Ступай, ступай,— подталкивал Филимон Прокопьевич.— Давно помирать пора, а ты все еще шляешься по земле.

— Пора, пора. Чую смертушку. Сон такой видела. Амвросий праведный будто явился за мной. Взял так за руку и говорит: «Заждался я тебя, Ефимия, пойдём». И я пошла. И святой град Китеж там, на дне моря Студеного. Волжские раскольники толковали, будто град Китеж на дне озера. Врут, врут. На дне моря Студеного град Китеж. В том Китеже — Амвросий праведный и Лопарев там, возлюбленный мой. Ждет меня, ждет.

— Вот и ступай к нему, к возлюбленному своему. Ступай, ступай, пока ночь не пристигла.

— Зол ты, вижу, Прокопий. Каким был Ларивон, дед твой. Сам себя возлюбил, яко тварь ползучая свой хвост. Филимон Прокопьевич вытарашил глаза.

— Спомянется тебе убиенный каторжанин! Вижу перст, занесенный над тобою. Вижу! — грозились бабка Ефимия.

— Чо мелешь-то, старая? Совсем из ума выжила. Какой тебе Ларивон? И в памяти такого нету.

— Врешь! Врешь. Не отрыгнешься сам от себя. Борода-то огненная. Твоя, твоя.

— Мое прозвание — Филимон, бабка.

— Гореть будешь в геенне огненной — вспомнешь меня. И батюшка Филарет в могиле перевернется от грехов твоих. Крестом положил человека наземь, собакам стравил. Грех! Тяжкий грех! — вещала свое бабка Ефимия.

— О, богородица пречистая! — взмок Филимон Прокопьевич.— Чо несешь-то, непотребное, старая? Ступай, грю. И без тебя тошно.

— Пойду, пойду. В свою избу пойду. Может, кто живет в моей избе, не знаешь?

— В какой твоей избе?

— У поскотины, в роще. Иль запомятовал?

— Помилуй нас! Избу вспомнила. Ту избу твою еще белые сожгли.

— Сожгли? Врешь, врешь. Стоит изба моя,— упорствовала бабка Ефимия, копясь за пазухой полушубка.— Стоит, стоит.

— Иди, бабка. Иди, не мешкай.

— Иду, иду. Не толкай меня, анафема!..

Вышла бабка Ефимия в ограду — а кругом ночь. Лютая да ветреная. Снегом лепит в лицо. «Дойду, дойду до избы своей», — бормотала себе под нос бабка Ефимия, выползая из ограды на улицу. Свернула в переулок, в сторону большого тракта. Постояла в проулке, подумала. А снегом лепит и лепит!

Тыкая палкою, долго шла до следующей улицы.

«Нелюдим Боровик-то, нелюдим. Который Боровик-то? Борода красная и лицо как из меди литое. Ларивоновы приметины. Ишь, сам от себя отказался. На войну бы его, на Гитлера послать».

Из чьей-то подворотни вылетела лохматая таежная собака и кинулась в ноги бабки Ефимии. Она отпихнула собаку палкою.

— Ишь, нечистая сила, как подкатывается ко мне. Не возьмешь, мразь! Изыди!

Вихрился и танцевал снег, подгоняемый ветром. В какой-то избе светилось три окошка. «Не моя ли изба? — пригляделась бабка Ефимия. — Нет, не моя. Рощи не видно. Моя дальше. Дойду, дойду небось. Если кто живет — не прогоню. Пусть живут добрые люди. А Дуня — ведьма. Черна, как чугун, гулящая. На порог не пустила, лихо-манка».

Шла, шла трактом, и все рощи не видно.

Остановилась передохнуть, и подкосились колени...

«Сила будто уходит. Творожку бы мне, самую малость. Ох, Боровик-разбойник!.. Есть ли у тебя сердце, лешак таежный?!»

Бабка Ефимия присела возле дороги, прямо в снег, лицом к ветру. Хотела отвернуться — ни рукою, ни ногою пошевелить не могла. А мысль зреет ясная, и память воскрешает то одного сына, то другого, то третьего. То одну дочь, то вторую.

«Всех, всех вижу! И Гришеньку, и Сашеньку, и Васятку, и Михайлу убиенного, и Евгенью, и Марию».

И опять подумала про свою избу...

«А ведь и правда: сожгли мою избу белые! Куда шла-то? Мне бы в Совет надо, пожаловаться на Авдотью. Снегом-то как лепит! Хоть бы лицо спрятать. Знать, во всем теле набирается остудина. Надо бы Давыдов псалом прочитать».

Долго перебирала в слабеющей памяти Давыдовы псалмы и наконец припомнила сто тридцать восьмую песнь:

«Господи! Ты испытал меня и знаешь. Иду я к тебе. Ты окружаешь меня тьмою, снегом и видишь: я жду приобщения к дарам твоим,— пела бабка Ефимия, вплетая в мертвый псалом собственные живые мысли.— Взойду ли я на небо, и там ты. Спущусь ли я в преисподнюю, и там вижу тебя. Скажу ли я: может, тьма сокроет меня и свет вокруг меня станет ночью, и тело мое съедят черви. Но и тьма не затмит тебя, господи. И ночь станет днем, и звезды померкнут в небесах. И скажу тогда: возьми меня, ибо ноги мои не несут тело, и сердце не гонит кровь к щекам. И нет мне пригрева!.. Где моя роща березовая, господи? Кто сжег избу мою? Кто наслал на землю белых и красных, и злобность людскую? И стало у людей черное сердце и лютая кровь, яко у зверей рыкающих? — спрашивала бабка Ефимия.— И ты ответь мне, господи, всесилен ли ты, коль на землю опять сошли, яко волки, изверги гитлеровы? Еще скажи мне, господи, где начало света и конец тьмы кромешной? Есть ли исход бытия? Откель оно началось? От тьмы иль от света?»

«Искала я в земле Поморской правду-истину, а нашла там кару лютую. Хотели меня приковать в каменном подвале с донной водой на железную цепь и мучить семь лет — денно и ношно! По твоей ли воле приказ такой вышел из Собора, господи? Коль не по твоей — пошто не покарал нечестивцев? Отчего отдал меня в руки изверга-охотника Мокя — сына Филаретова, который измывался над телом моим, яко коршун кровожадный? Есть ли ты, господи? Не вижу тебя. Не вижу».

Мысли путались, и во всем теле настало умиротворяющее, долгожданное успокоение. Всего на один миг в тухнувшем сознании бабки Ефимии алой зарницею пронеслось видение камышистого берега Ишима, и там стоял Александр Лопарев, бывший мичман гвардейского экипажа. В белой посконной рубахе, в белых штанах, и звал к себе. «Иду, иду!» — откликнулась Ефимия молодым голосом.

Голоса не было — виденье одно.

Живое стало мертвым...

Так умерла Ефимия Аввакумовна Юскова на большом тракте на сто тридцать седьмом году жизни...

Авдотью Елизаровну стыдили всей деревней, но для Дуни стыд не дым, глаза не выел и морщин не наметал на лицо.

Гулко стонут мерзлые деревья. Охапки иглистого снега летят с хвойных лап, засыпают головы, руки и одежду лесорубов. По всей лесосеке слышен дробный перестук топоров — подрубают пихты и сосны. Визжат поперечные пилы. Слышно, как с шумом падают деревья, хрустко подминая молодняк.

Рубят и рубят лес!..

Если со стороны глянуть, не поймешь, кто копошится на лесосеке: не то мужчины, не то женщины. Неуклюжие, неловкие человеческие тела в телогрейках, бушлатах, иные в рваных полушубках, в немислимых платках, в шапках. Тут же барахтаются на санях подростки — совсем ребятишки. Им бы в школе сидеть, а они работают в лесу, возят толстые и тонкие бревна на берег реки Раздольной, обрубают сучья.

— Па-аберегись! — слышится рядом.

— Давай, подруженька, по-фронтовому! — заносит пилу молодуха в мужском бушлате.

И подружки, налегая на пилу, врезаются в толстый ствол старой пихты.

На лесосеке — Агния Вавилова.

— Бабоньки, торопиться надо. Не унывайте, милые. День-то совсем короткий — поспеть надо, — торопит она измученных, усталых женщин.

Агния! Кто бы ее теперь узнал? В нагольном полушубке с наполовину оторванной полрой, в суконной шаленке с обтрепанными концами, в больших сапогах с кирзовыми голенищами, бродит она по лесосеке от одной пары женщин к другой, поторапливает, помогает советом и все время напоминает, что надо выполнить дневную норму.

Кругом одни женщины. Здесь нет мужчин, кроме малых подростков. А лес надо заготовить, вывезти к берегу реки, сложить в штабеля и потом сплавить по реке до Амыла и Тубы, где молевой сплав продолжат рабочие сплавконторы.

Как только началась война и мужчин мобилизовали, Агнию оторвали от конторы лесопункта, где она занималась счетоводством, и поставили руководить заготовкой леса.

«Люди-то где? — оглядывалась Агния. — Кем руководить-то? Хоть бы на весь участок два-три мужика. Ведь одни бабы. У той малые ребятишки, у другой — пятеро по лав-

кам». От гяжких дум ломило в висках и весь свет перед глазами морщился, как овчина на огне. А надо, надо заготовить лес. Надо! Лес нужен для экспорта. Каждое сосновое бревно — это автомат или пушка. Патроны или снаряд. Лес — это чистое золото.

Простуженный голос Агнии напоминает:

— Бабоньки, что же вы сели? Иль, думаете, на фронте ваши мужики сидят сложа руки?

— Там у них паек на фронте, Агния. Не такой, как у нас. Овсянка да хлеб из просяных охвостий. Силу-то где взять?

— Стыдилась бы говорить такое. Паек! Со смертью рядом — кусок в горле застрял бы у вас.

Бабы поднимаются и берутся за топоры и пилы.

И опять по всей лесосеке слышится дружный перестук топоров.

«Так, так, так!» — ахают топоры о мерзлые деревья.

«Вжи, вжи, вжи!» — визжат пилы.

«Тррах-тах-шух», — со свистом и треском летят наземь спиленные деревья.

Хоть бы один-разъединственный трактор на подмогу! Есть на лесопункте три стареньких СТЗ, разбитых и давно списанных с баланса, — нету к ним запасных частей. Стоят возле сарая засыпанные снегом. До войны на лесопункте с техникой было не густо: пять тракторов и две автомашины. С первого дня войны машины угнали на железнодорожную станцию, а спустя неделю — туда же ушли и два новых «Сталинца» вместе с тракторами.

На фронт, на фронт!

На каждом бараке, на конторе лесопункта — красные полотнища:

«Все для фронта! Все для победы!».

Ветер треплет красные полотнища, пытается сорвать с гвоздей. Но Агния крепко их прибила — не сорвешь. Каждый метр ситца или сатина — диковина. Нету в магазинах ОРСа ни мануфактуры, ни сахару, ни конфет, ни пряников. Хлеб — по карточкам, и того мало. Ко всему привыкли люди — не жалуются.

На второй год войны в Раздольное явились старики из Белой Елани — один другого белее, сутулее. Пришли они с собственными топорами и пилами. Бригаду стариков привел на лесопункт Егорша Вавилов, свекор Агнии. Встретился с невесткой возле конторы и, прямя спину, представился:

— А вот и я, Агния, со своей гвардией. Гляди — один к одному, лоб в лоб. С такой ротой можно и на фашистов двинуться. Тут нас примут аль нет?

— Всех принимаем, Егор Андреяныч.

— Туго с народом?

— Очень трудно.

— Оно так, невестушка. Война лютует. Степан пишет — жмут на фашистов, а перемен покуда что не видно. Читала: под Сталинград немцы подкатились? В ту войну так не было. Этак немудрено к Уралу позиции перенести.

— До Урала не дойдут.

— Оно так. Не одолеют нас немцы, корень зеленый. Не одолеют. В случае чего, сам двинусь на позиции. Нацеплю на грудь все свои кресты и медали, какие поимел в награду за японскую войну, и — двинусь. Пешком до самого фронта. Дойду небось. И буду же я их лупить, супостатов, до той поры, покуда в землю на аршин не вкочучу. Во как!

И так же решительно, как соображал двинуться на позиции второй мировой войны, Егор Андреянович повел свое старое, испытанное в житейских невзгодах войско на штурм тайги.

Кряхтят старики, хватаются руками за поясицы, пыхтят, как паровозы, — пилят, рубят, зачищают стволы. Топоры у них отточены, что бритвы, пилы — с хорошим разводом, не заедают, да и глаза стариков наметаны. Знают, с какой стороны ловчее свалить дерево, чтоб оно не зажало пилу и, чего доброго, кого-нибудь не изувечило.

— Нажмем, нажмем, ребятушки! Такое ли видывали на своем веку! — басит Егорша на всю лесосеку, подкидывая вверх свои вислые, обмерзающие усы.

И ребятушки, задыхаясь, обливаясь потом, потягивают пилы, машут топорами, храбрятся, а к вечеру — еле передвигают не гнущиеся в коленях старческие ноги.

— Эх-хе-хе! — кряхтит один. — Кабы не холерская грыжа, да я бы, едрит-твою так, всех баб Агнеинных за пояс заткнул!

— Куда там! — вторит другой старик. — Скинь с моей шеи годов пятьдесят, да я бы, осподи, Микола-угодник, что натворил бы! В тридцать-то лет я, паря, один на медведя хаживал.

— И! — шипит третий в бороду. — В тридцать-то лет я, паря, сутунок на плечо — и тяну за пару лошадей.

Истинный бог, не вру. Во силища была! Как у нашего Егорши.

Сам Егорша Вавилов хоть и не прочь прихвастнуть, но, соблюдая бригадирскую дистанцию, хвалит других — и Михай Выжников был в силе, и Андрон Корабельников — коня на скаку останавливал, и Михайло Сутулов — по пятнадцать пудов на хребте таскал.

Старики слушают бригадира, храбрятся, подмигивают молодыхам-красноармейкам, а поздним вечером в дымном бараке при тусклом свете керосиновой лампы с закоптелым стеклом просят Егоршу прочитать газетку: как там сынки воюют на фронтах?

Корежили тайгу февральские морозы.

Дымно в тайге от стелющегося тумана. Жулдет и река Раздольная кипят наледью.

Мороз за сорок пять градусов. К середине февраля — пятьдесят три градуса.

Замерла жизнь на лесопункте — не дыхнуть. Сколько женщин обморозились, не говоря о ребяташках.

Простудным кашлем наполнились бараки лесорубов. День и ночь бухают старики бригады Егорши Вавилова. И сам Егорша, с примороженными щеками, синеей горбиной носа, свирепо насаждает на начальника лесопункта — требует фельдшера.

— Бревно ты аль бесчувственность какая! — ругается Егорша в конторе лесопункта. — Достань хоть мази для обмороженных. Мозгой шевелить надо, товаришок.

«Товаришок» — тщедушный, усталый пожилой человек из горячего цеха ПВРЗ отмахивается руками:

— Нету такой мази, товарищи. Где ее взять, ту мазь? Я и сам кругом обмерз. И ноги обморозил, и руки.

У Агнии на щеках чернеющие пятна, как отметины жарких поцелуев. Егорша глядит на невестку, журит:

— Холерская, аль не успела оттереть? Куда глядела-то? Дошла до бесчувственности?

— И у вас, тятенька, нос прихватило. И щеки тоже.

— Ишь ты! У меня! Да ты с мое поживи, худая немочь. Мне, поди, шестьдесят пять годков. Не мало! Да и оттого ли я обмерз? Слышала — похоронную от Николая получил? Васька без вести пропал, как в воду канул. И от Степана другой месяц нету письма. Душа обмерзла, вот она какая статья, невестушка.

И ушел к себе в барак — веселить стариков.

Чадно в бараке и холодно, холодно.

Старики беспрестанно шуруют три печки сосновыми чурками, а жару нег — барак насквозь промерз. Наледи на стенах, на полу. По углам и у дверей — наметы куржака, как на медвежьих берлогах.

Белые головы стариков на черном фоне стен барака вырисовывались, как кочаны капусты, прихваченные морозом. Подобно журчанию таежных ключей, голоса стариков лились в густые сумерки. Выделялся боевитый голос Андрона Корабельникова, кузнеца из колхоза «Красный таежник», и медлигельный бас Михея Вьюжникова.

Любопытно заметить, как сидели старики в бараке. Возле пузатых железных печек расселись старшие — Васюха-приискатель, средний брат Егорши Вавилова, Михай Вьюжников, Митрофан Харитонов и еще пять или шесть белых голов.

За белыми головами — сивая просесть, или, как они сами себя зовут, — «шестидесятники». Одному — за шестьдесят, другому пятьдесят девять, третьему — шестьдесят три.

Их тридцать семь человек. Когда-то они вместе охотничали, шлялись по золотым местам, бывало, ссорились, обходили друг друга, снова сходились, но не вместе собираются помирать. Нет среди них Прохора Зыкова, Никишки Валявина. Но они помнят их, умерших: Афанасий Мызников тогда-то помер, помнишь? Рекостав был. Прохора Зыкова медведь задрал. Ну и медведище был! Не лапы — сковороды!

И вот сидят они в бараке, похожие на зимний белый лес, потрепанные невзгодами, дурными годами, с глубокими морщинами на бурых лицах. Тому что-то нездоровится, у другого спина разболелась — поясницу не разогнуть, у третьего со вторника грыжа расшумелась — погоды переменится.

Они не перемальваются, скоропроходящие слухи, их не волнуют страсти молодежи — они свое пережили. Остались на дне их жизни весома, проверенная годами мудрость, сноровка, смекалка и стариковская хитринка.

Разговор один и тот же — про войну...

— В ту войну не так было, паря, — толкует Митрофан Харитонов. — Сам в окопах лежал, помню. Жали немцы,

супротив ничего не скажешь. Но чтоб до Волги дошли — оборони господь бог!

— Спомни, как в газетах прописывали: ни одной пяди земли не отдадим. А куда дело обернулось?

— Чего не писали! Как в японскую. Шапками закидаем, а как жаманули япошки, господи помилуй, не помню, как угодил в плен, на остров Окинаву. Семь годов мантулил на японца, якри его в почки. Приглянулась мне там японочка, — журчит тенорком Михей Вьюжников. — Как спомню — смехота, и только. Та японочка, ну, как бы вам сказать? С лохмашку будет аль нет, истинный бог! На ладони носил ее, холеру. Вот так посажу и несу к самому морю. Выпущу у моря, как стриганет в воду, ну, как та русалка. Истинный бог! Не успеешь глазом моргнуть, как она на версту уплывет от берега.

— Ишь ты! На море возросла.

— Ишшо бы! Там все на острове возросли.

— Ну, и как ты с ней, Михей Евграфыч, поладил аль так просто, всухую?

— Что ты, паря. Ребенок родился.

— Да ну?!

— Истинный бог. Девчонку бог дал. Обличность вроде бы с русской схожа, а глаза раскосые.

— Ишь ты! Как только она выдюжила, та японка? Совсем махонькая была, гришь?

— Они, паря, ох до чего дожие. Вроде в чем дух держится, а как по женскому понятию — наша баба не устоит. Да и я был в ту пору в силище. Матросом первой статьи плавал на крейсере. Адмирал Рождественский самолично к награде представил за одно сраженье.

— Ну и трепанули же вас японцы в ту пору!

— Не говори! Три раза, паря, с духом расставался. Ну, думаю, гибель пришла. Батарейного командира, офицеров, механиков — всех порешило, и сам крейсер лишился плавучести, а я знай себе наярываю из тяжелого орудия. Вдруг — заело. Механизмы вышли из строя. Тут и взяли япошки в перекрестный огонь. Как лупили — светом не возрадовался. Начисто снесли всю надпалубку, истинный бог. Как корова языком слизала. Не крейсер, а одна срамота осталась. С тем и взяли в плен, проклятущие.

Егорша Вавилов, мусоля карандаш, подсчитывал недельную выработку старой гвардии. «Кубов не хватает, якри ее, — пыхтит Егорша. — Кабы не мороз — подрезали бы

пятки нашим бабенкам. А так что — не с чем лезти на Красную доску!»

В барак зашел начальник лесопункта.

— Товарищи! Сообщают по радио — армию Паулюса разгромили под Сталинградом. И самого фельдмаршала взяли в плен.

Тишина...

— Слава тебе господи! — перекрестился Михай Вьюжников.

— Таперича — баста! — прямит богатырские плечи Егорша Вавилов.— Помяните мое слово: война на перелом пошла. Лиха беда начало. Так завсегда бывает: трудно прорвать малую дырку, а большая сама образуется.

— Оно так, паря,— поддакивают старики.

VI

Совсем другие песни в бараке лесорубок-красноармеек...

Известие о разгроме армии Паулюса под Сталинградом женщины приняли как известие о конце войны.

— Бабоньки, радость-то какая! Война-то, знать, захлебнулась.

— Может, и мой скоро возвратится. Ох, и буду же я, бабоньки, песни петь на встрече.

— Погоди еще, погоди, Степанида. Может, не песни петь, а слезы лить придется.

— Не каркай, рябиниха! Духом чую.

— Мне тоже во сне чуялось, да наяву не исполнилось.

— О чем вы только говорите! — журит женщин Мария Спивакова, чернявая, бровастая, старшая дочь Филимона Прокопьевича.— В газете про что пишут? Про битву под Сталинградом, а вы — конец войны учуяли. От Волги до Берлина ох какая дальняя дороженька, милые. Потопаешь.

— Знать, Маруська, не ждешь ты Мишку Спивака, коль не возрадовалась,— кто-то кинул Марии с дальнего угла барака.

— Я не жду? Это ты лопочешь там, Настя? Дура ты, и больше ничего. Может, не так, как ты, жду. Покрепче.

— Видать!..

И кто бы мог подумать, что через каких-то две недели, в этом же бараке, Мария Спивакова, трясущимися руками вскрыв тонюсенький конверт, свалится с ног в тяжелом обмороке!

— Ай, бабоньки, Маруська-то обмерла! Что с ней случилось-то? Письмо вроде...

Кто-то заглянул в бумажку, выпавшую из рук Марии.

— Похоронная! Михаила Спивакова убили под Сталинградом...

Так проходили дни за днями. Трудные. Нестерпимо тяжкие, горькие и, как думалось всем,— неизбывные.

Подули теплые апрельские ветры с юга. На реке Раздольной посинел ледок, разъедаемый заберегами.

Агнию Вавилову послали руководить сплавом.

— Кого, кроме тебя, пошлешь на сплав? — говорили в дирекции леспромхоза.— Ты же за военного комиссара среди женщин. Они тебя понимают лучше, чем любого мужчину.

— Кидаете вы меня, как мячик, с места на место. То один лесоучасток, то другой, а теперь на сплав. Что-нибудь бы одно.

— Ну, ну, не скупись на добро, Агния Аркадьевна. Будешь у нас за инженера на сплаве. Ты же в техникуме училась.

— Не в лесном же!

— Какая разница? Пять лет знаем тебя — справишься.

Ничего не поделаешь — пришлось взяться за сплав леса. Не раз вспомнила Демида. С Раздольной — на Тюмил, с Тюмиля — на Кизир и Казыр — обе реки капризные, порожистые. Не сплав — мучение. Не успеешь к июню выгнать лес к устью Казыра — кричи караул. Хоть руками перетаскивай бревна через обмелевшие пороги.

Отучилась Агния думать и понимать постороннее. Только лес, лес и лес. И вчера, и сегодня, и завтра.

Ко всему привыкла, все могла перенести и пережить, не роняя жалких слез, а вот к одиночеству так и не притерпелась.

Не раз Агнию охватывали вдовьи слезы. Вдруг получит кто-нибудь похоронную — и тут же, в бараке ли, на сплаве ли, падает камнем и ревет в голос. Агния спешит как-то утешить несчастную женщину, говорит, что жить надо хотя бы ради детишек и что после войны настанет совсем другая жизнь...

— Да мне-то какая радость, Агния? Вдругоредь на белый свет не нарожусь. Не расцветешь под старость. На кого

он меня покинул, горемычную головушку! Не я ли ждала — ночами глаз не смыкала? Не я ли печалью изводилась? Не я ли молилась за него и денно и ношно? Убилии!.. Нету более у меня мужа! Нету! Совсем одна!..

«И я тоже всегда одна», — думалось Агнии в такие моменты.

Подрастали Андрюшка, вавилонская ядреная кость, кудрявая синеглазая говорунья Полюшка, дочь Демида, а у сердца Агнии лежала нетающая льдинка — одиночество. Обшивала, кормила ребятишек, учила их, всю силу убивала на сплаве леса, но как только оставалась одна хоть на час-два, так сразу же к горлу подкатывал клубок — не дыхнуть. Отожмутся редкие слезы в подушку, а во сне — Демида увидит. Всегда Демида и никогда Степана...

— Хоть раз отпиши Степану, — укоряла мать. — Деньги шлет, знать, не считает за чужую.

— Не мне деньги, сыну.

— А сын-то чей? Иль чужой тебе?

— Отстань, пожалуйста. И без моих писем Степан воет хорошо. Не буду же я лнуть к нему, как повиллика.

— Одичаешь эдак. Мужчина что любит? Ласковость и покорность. Чтобы покорились ему. Повинилась бы.

— Непокорная я. И не из виноватых. Проживу без мужика.

Сказать легко, а прожить в одиночку — пустота несусветная. Будто весь век сидишь в избе, поставленной от солнца, — всегда в тени.

О Демиде часто напоминала Полюшка.

— Когда убили моего папу? Где? Кто убил?

Агния поясняла, как могла, что отца Полюшки убили проклятые фашисты еще в самом начале войны, где-то на Днестре, на Украине. Угрюмоватый Андрюшка бурчал:

— И совсем не правда! Не было у Польки отца. Безотцовщина она, вот и все.

Как ни укрощала Агния упрямого Андрюшку, ничего поделать не могла. Съездит Андрюшка в деревню, наслушается бабки Аксиньи Романовны и дурит потом целую неделю, изводит сестру Полюшку.

Возвращались с фронта мужья солдаток. Агния радовалась чужому счастью, а собственное сердце исходило стоном.

«Несчастливая я. На работу везучая, а в жизни — как цветок густоцвет».

Год от году пережитые военные трудности как-то тускнели, стирались в памяти.

Время затягивало открытые раны, лечило живых.

Отгорел на щеках Агнии девичий румянец. Глаза ее, такие ясные, карие, с точечками у зрачков, словно потускнели и глядели себе в душу, будто искали там что-то заветное и милое. На высоком смуглом лбу таежницы врезались морщинки, и в межбровье будто вороненок скобленул коготком. Углы пухлых губ сдвинулись вниз, и редко на черном бровом лице Агнии порхала беспечная улыбка, как в пору девичества. Сердитые брови сжимали кожу над переносьем, старя сердце.

Частенько Агния наведывалась на боровиковскую горку, чтоб поглядеть на черный тополь.

И он, старый тополь, тоже переменился с той поры, когда под его развесистыми сучьями встречались Агния с Демидом.

Двуглавая вершина тополя в нынешнюю весну не выкинула лапы-листья, осталась чугунно-черной, неприглядной. И сразу тополь стал непохожим сам на себя. Разросшиеся сучья старого дерева нарядились в бархатистую зелень, широко размахнувшись вокруг, а сверху словно кто воткнул железные вилы, смертельно поранившие ствол.

Нынче почернела вершина, потом тлен проникнет вглубь, до самых корней, и тогда под окном Боровиковых торчать будет мертвый скелет тополя. Вороны еще будут садиться на голые сучья, но никто не услышит лепета листьев, вешнего переклика старого дерева с молодняком, никого не порадует прохладная тень от тополя. И самой тени не будет. Отпечатается на земле узорчатая вязь перепутанной кроны, вот и все.

Старый тополь умирал стоя...

VII

Еще до того как старый тополь вырядился в вешнюю обнову, шла Агния в бригаду молевщиков на Жулдет и долго глядела на тополь. Щедро поливало апрельское солнышко. Обычно тополь наряжался раньше всех деревьев в пойме. И одевалось дерево, как и должно, с вершины. А тут —

глядит Агния и удивляется: вершина углистая, а на толстых сучьях раскручиваются клейкие трубочки листиков.

Дня через два, когда бархатистая листва усыпала все дерево, Агния уверилась в догадке: вершина тополя засохла. Вскоре вся деревня заговорила про боровиковский тополь. «Отжил свой век,— толковали старики.— Деревья и те не могут пережить самих себя».

Но старый тополь все еще не поддавался смерти...

Гордый, по-прежнему непокорный и могучий, он будто ринулся в последнюю схватку с недугом, выкинув небывалую пышную зелень по всем сучьям. И если бы кто пригляделся внимательно к дереву, то, наверное, заметил бы, что именно с нынешней весны от корней отошли новые побеги, стрелчатые, как иглы, и на сучьях дерева особенно их было много — тонюсеньких, гибких, как пальчики младенца.

И что самое удивительное: Боровиковы узнали последними про недуг тополя. Филимон Прокопьевич не поверил даже, когда ему кто-то сказал, что тополь сохнет. «Неужто правда?» И сам поглядел на тополь. Обрадовался.

— Чернеет, окаянный! Настал-таки черед. Таперича года два -- и высохнет на корню. Потом я обрублю сучья, и каюк ему. На ползимы дров хватит.

Подслеповатая, рано постаревшая, еще не дожив до шестого десятка лет, Меланья Романовна не возрадовалась, как Филимон Прокопьевич, но каждую субботу, поминая за упокой сына Демида и всех родственников, не забывала и про тополь: «Прости мне, господи, и свекору покойному все тяжкие тополевые прегрешения. Каюсь, господи!..»

Филимон Прокопьевич о грехах не думал. Не тем голова была занята. Еще со второго года войны избрали Филимона Прокопьевича общим собранием завхозом «Красного таежника». И Филимон Прокопьевич, щедро оделяя колхозным добром районное начальство, особенно медом, занимаясь артельными делами на пару со свояком, Фролом Лалетинным, председателем колхоза. Про них в районе так и говорили: «Две красных бороды, и обе хитрые».

«Две красных бороды» постарались: «Красный таежник» сполз на последнее место в районе. Но сам Филя не обеднел! Немало добра скупил за бесценку у эвакуированных людей с запада. Туго набил карман червонцами, но по-прежнему в собственном доме было пусто: все, что Филе

ползло в руки, тут же оборачивалось в хрустящие бумажки.

— Ну, жмон Филя! Этакого свет не видывал! — толковали меж собою колхозники.

Вешнюю птичкою-говоруньей влетала в дом Боровиковых Полюшка, дочь Демида. Вьющиеся льняные волосы Полюшки успели отрасти в толстую косу до пояса, и Полюшка очень гордилась своей косой. Сама тоненькая, синеглазая, беленькая и румяная, она так и светилась радостью. Бабка Меланья и та преображалась, как только Полюшка переступала порог.

— Моя ты ненаглядунья! Ласточка сизокрылая, — бормотала Меланья Романовна, стараясь удержать в доме Полюшку. — Ах, если бы Демушка был жив. Как бы он возрадовался!

— Да ведь он меня не знает, бабушка?

— Што ты, што ты, ласточка. Кровь-то, личико, глаза куда денешь? Все капли Демидовы переняла.

— А бабушка Анфиса говорит, что я похожа на какую-то ее сестру, которая померла давно.

— Врет Анфиса Семеновна. Она же из Федоровых, из приискателей. Всех ее сестер помню. Чернявые были, как угли. А если взять по Зыряновой родове, — рыжий рыжего погонял. В отца ты удалась, в Демушку.

— Андрюшка дразнит меня «безотцовщиной».

— Плюнь и не слушай. Андрюшка — несмышлениш, мало ли што не брякнет.

— Я знаю. Я все знаю, бабушка. Мама очень любила моего папу. Над ней все смеялись, а она все равно любила. И я бы любила, если бы папа был живой.

— И мертвых любить надо, Полюшка. Не от своей смерти сгас Демушка, отец твой. От пули гитлеровской смерть принял. Теперь и Гитлер окошел в своей берлоге, и все фашисты погибель нашли на нашей земле, и войско наше в Берлине, што более! Отомстилась извергам безвинная кровушка Демушки и всех, которые погibli на войне. Тебе жить — тебе и память держать про отца. Я-то помру, кто помнить будет? Мать твоя, может, сойдется со Степаном Егорычем. В законе состоят, и сын растет у них. А ты за всегда останешься дочерью Демида.

— Я буду помнить, бабушка. Всегда-всегда, — обещала Полюшка. — Если бы хоть одна карточка осталась от папы!

— Нету, милая. Нету карточки. Мать твоя тоже спрашивала. Нету, — скупилась Меланья Романовна, хоть в ее

огромном сундуке, в заветной подскринке, куда Полюшка не смела заглянуть, лежали две или три фотокарточки Демида молодого, чубатого, еще совсем зеленого парня. Меланья даже сама не глядела на эти карточки: все, что лежало в сундуке,— дорогие вещи, старовечерские иконы, золото, бумажные деньги, было неприкосновенно, «про черный день», и сама Меланья до того сжилась с огромным кованым сундуком, что не было такой силы, чтобы посунуть ее от сундука хотя бы ради собственной кровинки. Это было ее сокровище.

VIII

Не жаловал Полюшку Филимон Прокопьевич. Никак не мог сообразить, по какой причине прилипла чужая девчонка к его старухе? Что у них за секреты объявились? Как бы старушонка не сболтнула чего лишнего!

— С чего к нам в дом зачастила Зырянова перепелка? Иль не понимаешь, кто такой сам Зырян? С потрохами слопает,— бубнил старухе Филя.— Смыслишь, на какой должности состою? Завхоз — все равно что амбар под замком. Каждый норовит заглянуть в амбар: что там лежит? И Зырян подбирает ко мне ключи. Слух пустил, будто я начисто облупил всех эвакуированных. А еще сундук откроешь перед перепелкой аль в казенку заведешь: гляди, мол, скоко у нас добра напасено про черный день.

— Свят, свят, свят! Чо мелешь-то?

— У тебя ума хватит.

— Оборони меня господь бог! — крестилась Меланья Романовна.

— Гляди! Старый Зырян яму под меня и под Фрола Андреича копает. В райкоме разговор вел: так, мол, и так хозяйничают в «Красном таежнике». Ишь, сволота какая!

— Осподи! Зырян-то, Зырян-то с чего несет на тебя? Его же Агнея скоко время с Демидом путалась, и на тебя же экий поклеп.

— Мстит, стал быть,— пыхтел Филя.

— Через што мстить-то?

— Экая! Как не дотумкаешься: Агнея-то с чьим прикладом осталась? Тумкай, старая. Кабы не приклад — жила бы теперь и нос задирала кверху! Майорша! Степан-то до майора дошел. Званье Героя Советского Союза поимел. Всего лишилась через приклад, хи-хи-хи!.. Ловко ее объего-

рил Демидка. Как спомню, как они токовали ночами под тополем — смех в глотке застревает. Умора! И так он ее обихаживает, и этак. Лежу раз в черемухах и слушаю: про что толкуют полуночники. Демид говорит ей: «Осенью уедем с тобой в Манский леспромхоз. Зовут, грит, туда на должность технорука». Ишь ты! Зовут — не кличут, и в зубы натычут, думаю. Вот ты теперь и кумекай: по какой причине Зырян засылает к нам в дом перепелку?

— Аль есть причина? Демушкина дочь-то.

— Плевать ему на Демушку твою!

— Свят, свят! На мертвого-то мыслимо ли плевать?

— Зырян на всех плюнет. Хоть на мертвых, хоть на живых. Такая у него линия. Ни родства, ни кумовства не признает.

— От безбожества все!

— Про бога тоже помалкивай, как неоднократно тебе указывал. Держи про себя, и все. Потому — в завхозах хожу.

— И так держусь, — вздохнула Меланья Романовна. — Тайно приобщаюсь.

— Твое дело, приобщайся. Но штоб люди не зрили. Гляди! У Зыряна кругом глаза. Неспроста засылает перепелку. Штоб выглядела: што и где лежит у нас? Много ли денег?

— Свят, свят, свят! Мыслимо ли?

— У партейцев все мыслимо. Понимать должна.

— Пошто заране не сказал?

Филя подпрыгнул на лавке:

— Сундук, должно, открывала? Аль в казенку пускала?!

— Што ты, што ты! Ни в жисть!

— Побожись!

Меланья Романовна бухнула на колени:

— Вот те крест непорочный, ни сном ни духом не зачерненный. Говорю перед Пантелеймоном Чудотворцем — не открывала Полянке сундука и в казенку не пускала.

— А разговор был про барахлишко?

— Не заикнулась даже. Вот те крест.

— И Полянка не выпытывала?

— Ни сном ни духом. Про карточку Демушкину сколь раз спрашивала, а так чтобы про вещи, про деньги — оборони бог.

— Карточки-то в сундуке? Знать, открывала?

— Господи! Разе я дам в ихі руки Демушкину карточку? Сказала нету, и все тут.

— Ну и слава богу,— перевел дух Филимон Прокопьевич, не забыв важно распушить бороду.— Так што — держи ухо остро с перепелкой. Пытать будет так и эдак — не проговорись.

— Да я ее, лихоманку, на порог не пушу.

— Не сразу. В глаза всем бросится, коль турнешь сразу. А так постепенно отваживай. Хворой прикидывайся. Мозгой ворочать надо, старая. Время такое приспело. Без хитрости никак не проживешь. Фрол Андреич и так изворачивается, и этак. А все мокрое место. Фронтовики всю наседают. Все возвращаются и возвращаются. Жмут, лешаки! И колхоз развалился, и прибылей нету с пчеловодства, и на звероферме лисы попереходили, язби их, и хлеб каждый год под зиму уходит. Кругом дыры. Собирались вот у Фрола, мозговали. как быть? Я так присоветовал. Собрать малочисленное собрание и поставить председателем Павлуху Лалегина.

— Сынка Тимофей Андреича? Он же племянничек Фрола Андреича.

— И што? Фронтовик — первая статья. При двух орденах — вторая статья.

— Парень-то он шибко тихий, покорный.

— Ишь, разглядела-таки, старая. Знать, у те в голове еще варит. Хе-хе-хе. Оно так — тихий, покорный и весь в кармане Фрол Андреича. Потому — выпить любит.

— Куда же Фрол Андреича?

— И то обмозговали. Присоветовал так: Фрол Андреич станет заведовать всеми номерами пасек. Полторы тысячи ульев! Житуха, якри ее. Руки погреть можно, хе-хе. Кажинная пасека чистая деньга. Что твой прийск.

— Богатство-то экое! — всплеснула ладошками Меланья Романовна.— Кабы в одни руки!

— В мои бы,— вырвалось у Фили.

— Мать пресвятая богородица, жили бы как, а?

— Ну, ну! Я так, шутейно, а ты всуерьез причинаешь. К чему нам такое богатство? Маета одна.

— Куда же тебя, коль Павлуху поставите председателем?

Полнокровное лицо Фили расплылось в самодовольной улыбке до ушей.

— Без меня у всех кумовьев Лалетиных — дырка будет,

которую они никак не закроют. На том же месте остаюсь. Завхозовать. Ну, пропесочат на собрании. Покаюсь, должно. А там! — Филя махнул рукою.

Меланья Романовна стала собирать ужин.

— Только ты смотри! Про наш разговор — ни гугу!

— Што ты! В меня как в яму сложил. Што положил, то и будет лежать на месте.

И это было так — как в яму.

После ужина, перед тем как уйти в правление колхоза, Филя попросил у старухи ключи и заглянул в огромный, окованный железными полосами сундук, куда можно было бы сыпать кулей пять пшеницы.

Деньги лежали на своем месте. И тридцатки, и десятки, и пятидесятки хрустящие, помятые, а все денежки — не водца!

Если бы знал Филя в этот час, что именно эти драгоценные денежки вдруг лопнут, как мыльные пузыри!..

IX

На исходе года Филя укатил в город на новогоднюю ярмарку с колхозными поросятами.

На трех подводах везли штук двести визгливых, не в меру прожорливых тлятток, только бы с рук сбыть. Дорога дальняя — за сто километров. А тут еще мороз приударил.

Филя натянул на шубу собачью доху, на руки — двойные лохмашки, завалился между клетками с поросятами и сопит себе в воротник. Две колхозницы-свинарки Манька Завалишина, курносая, полнощекая, и Гланька Требникова, конопатая даже зимой, одетые в шубенки — веретеном тряхни, бежали вслед за санями вперегонки — только бы не замерзнуть.

— Жмон-то, жмон-то, сидит себе, и хоть бы хны!

— Ему-то что? — еле шевелила замерзшими губами Манька Завалишина. — На нем жиру, поди, как на упитанном борове. Истый пороз!

— Поросята бы не примерзли.

— Пусть мерзнут, леший, — пыхла Манька. — Я сама, то и гляди, льдышкой стану.

— Амыл-то как дымится! Свету белого не видно. Ты давно была в городе?

— Впервой еду. Да что мне город-то? Кабы с деньгами

ехать, а так что! Гляди, да не покупай. Маета одна.

— Я там слетаю на барахолку.⁶ Платок хочу купить, как у цыганок — поцветастее, — мечтала Гланька.

— Тебе идет цветастый: к лицу. Чернявая.

— И, чернявая! Кабы глаза, как у той Голоवेशихи, а то что: волосы черные, а глаза — простокваша. Терпеть себя не могу из-за глаз.

Филимон Прокопьевич тем временем ударился в бого-слобие:

«А бог, он все ж таки существует, как там ни крути. Партейцы, оно понятно, — им бог — кость поперек горла, а вот для меня — действительно, — сопел Филя, усиленно двигая пальцами в валенках — начинало прихватывать. — Што для меня бог? Как вроде телохранитель. И в ту войну господь миновал — хоть турнули на позиции, но, пока шель да шевель, переворот произошел. Ипеть я цел, невредим. А другим, которые в безбожестве погрязли, тем хана, каюк. Или вот красные с белыми. Кабы прильнул я к белым, ипеть вышел бы каюк. Бог вразумил: в тайгу ушел. Кабы не колхоз — богатым был бы и в почете числился бы. Ну да мне и так не худо. Хоть тот же Тимоха. Што выиграл от своей политики? Ровным счетом ничего. Прикончили белые, и батюшка тако же смерть сыскал. Вот оно каким фертом вышло!.. А я, слава Христе, в живых пребываю».

Пощипывало кончик носа. Филя потер его лохмашкой и глубже запрятал голову в воротник.

«В колхоз вступил? Господи помилуй, тут моей вины нету. Такая линия вышла. Всех в колхоз турнули. И так три года скрывался, чуть не сдох в Ошаровой вместе с Хари-тиньюшкой. И ту в колхоз загнали».

Нет, Филю бог никак не может покарать за то, что он вынужден был вступить в колхоз. Тут его вины нету. Хоть так верти, хоть эдак. Чистенький.

«Разве я от бога отрекся, как другие? Оборони господь! В помышленье такое не имел. Бог он все зрит! Понимает, стало быть, что к чему. Ежли про тополевыи толк — дык што в нем толку? Одно заблужденье. Потому и отторг от души, как несуществительность. Богу надо поклоняться незримо, как сказано в самом Писании. Без храмов и без фарисеев чтоб. Оно и я такую линию держу. Тайную. И бог со мною. Не забывает. Вот хотя бы эта война. Мало ли мужиков перещелкали? Эх-хе! Видимо-невидимо. Другие от голодухи попухли, а я, слава Христе, приобьк. И са-

мому тепло, и старухе, и про черный день припас — хватит!»

Сколько же он припас, Филимон Прокопьевич? Много ли выторговал на барахолке в городе, сбывая вещи эвакуированных и при случае прикарманивая денежки колхоза, когда ездил самолично продавать мясо?

«Эх-хе-хе! Жить надо умеючи в таперешнее время. От сатаны сорви клок — богу прибыток. Вот хотя бы эти девчонки-свинарки. Што заимели? Хи-хи-хи! Ловкая житуха! Они выводят свинушек, а прибыток перепадает мне, а так и Фрол Андреичу, и так дале. Мороковать надо. Есть ли в том грех? Нету. Потому бог сказал: грейте руки возле анчхриста, а во славу мою псалмы читайте».

Ну, на псалмы Филя не скупец. Если надо, день и ночь читать будет. Конечно, сугубо тайно, чтоб посторонние глаза не зрили, какой он богомольный. Пусть все почитают за безбожника, а вот он перед господом богом чистенький, как червонец из денежной фабрики. Ничьими руками не заляпанный.

«Или вот Демид,— вспомнил Филимон Прокопьевич погибшего сына.— Как ни живал будто. Отчего такое? Греховное во грехе сгило. Должно, искусил нечистый тятеньку, подвох вышел. Эх-хе! Житие Моисеево»,— спутал Филимон Прокопьевич «бытие» из Библии со староверческой книжкой «Житие Моисеево в пещере на Выге», которую когда-то читал.

К вечеру подъехали к Малой Минусе, где и остановились на ночлег в колхозном дворе.

Манька и Глянька разворошили солому с клетушек, заглянули к поросяткам. Те скрючились, жалась друг к дружке — жалкие, тощие, визжащие до полной невозможности.

- Глянь, Манька, тут-ка вот сдохли! Три штуки!
- Манька перебежала к следующим саням, поглядела.
- Филимон Прокопьевич, поросюшки-то доходят!
- Куда доходят?
- Сдыхают, грю.

Филимон Прокопьевич тоже посмотрел и обрушился на молодых свинарок.

— Вот как влуплю по акту за ваш счет издохших, тогда познаете, как со свиньями возиться! — рычал Филя.

- Дык мы-то при чем тут!

— Я вот вам покажу! Чем глядели-то? Вас к чему приставили?

— Вот еще! Сам ехал в дохе и шубе, а тут беги за саними в полушубчишке, и ответ нам же держать. Как бы не так! Ты есть завхоз — сам понимать должен. Можно аль нет везти поросюшек в экий мороз? А то на ферме ни кормов, ни муки, никакой холеры, и мы же виноваты. Глядите на них! — разорялась боевитая Гланька. — Начальство тоже мне! Нет того чтоб поросят подкормить, а потом продать. Так приспичило: везите на ярманку! Будто у ярманки глаз нету.

Пришлось бежать Филимону Прокопьевичу к колхозному председателю договориться, куда определить поросят, потом таскать их в чью-то пустовавшую хлевушку, нагревать ее всякими хитростями и спасать визгливые создания от окончательной гибели. Мало того — у поросят открылся понос: перемерзли. На этот раз Филя откупил чью-то баню, и там сутки возились с поросятами.

— Ну поездочка, штоб она в тартарары провалилась! — пыхтел Филимон Прокопьевич.

Мороз заметно сдал, потеплело. Проглянуло на какой-то час солнышко и опять скрылось.

Под вечер двадцатого декабря Филимон Прокопьевич пошел по деревне «понюхать воздух», как он сам определял свои прогулки в чужих деревнях.

Середь улицы толпились мужики. Филимон Прокопьевич поздоровался со всеми, прислушался к разговору.

— Так сказывал: ждите, грит, — долбил о чем-то приземистый мужичок в дождевике поверх шубенки.

— Может, враки? — усомнился другой. — Вот вы тоже приезжий, товарищ. Может, слышали про реформу?

Нет, Филимон Прокопьевич ничего не слышал.

— В каком понятии реформа? — поинтересовался.

— Да вот был тут человек из города, сказывал: у кого, грит, деньги лежат по кубышкам, то пиши хана им. Пропадут.

Филимон Прокопьевич разинул рот.

— В нашей деревне, можно сказать, ни у кого кубышек нету, — сказал третий, из молодых.

— Не говори! К примеру возьмем Феклу Антоновну. Всю войну торговлишку вела в городе. То перекупит и пере-

продаст, то молоком торговала — лупила будь здоров! То еще чем. У ней денег скопилось — ой-ой-ой! За сотню тысяч, если подсчитать. И все хоронятся в кубышке.

— Вот теперь и увидим, где лежат деньги у Феклы Антоновны, а так и у других. Кто набил карманы, а кто жил на совесть, как весь народ. Реформа выяснит.

Филимон Прокопьевич еле продыхнул:

— Позволь, товарищ, какая такая реформа? Слушаю, а в толк войти не могу.

Филимону Прокопьевичу разъяснил мужчина все, что сам слышал про надвигающуюся денежную реформу.

— Эвон как! — У Фили зарябило в глазах. — Может, враки? Какая может быть реформа, когда государство наше совершило полную победу над фашизмом?

— Там была военная победа. А здесь — на хозяйственном фронте. Мало ли денег напускали во время войны? Во что рубль обернулся? С этих соображений, значит.

— А! Из соображений! — туго вывернул Филимон Прокопьевич, ухватившись за собственную бороду.

Мужики говорили так и эдак. Будет и не будет. Филимон Прокопьевич слушал, слушал и до того расстроился, что не помнил, как дошел улицей до конца деревни.

Всю ночь мыкался на полу под собачьей дохою в чьей-то избе, никак уснуть не мог. Только сомкнет глаза — и вдруг ползет на него реформа в виде Татар-горы. «А ну, гидра библейская, сколь накопил денег в кубышке?» — рычит нутряным голосом Татар-гора.

«Экая дрянь в голову лезет!» — стонал Филимон Прокопьевич, перекатываясь с боку на бок.

Под утро успокоился:

«Вранье! Переполох один. Власть стоит — и деньги стоять будут».

С тем и выехал в город. Настал день, двадцать первого декабря. Манька и Гланька удивились, что случилось с завхозом за ночь? Молчит, как сыч.

И вдруг, возле самого города, от какого-то встречного трахнуло, как обухом в лоб: объявлена по радио денежная реформа!

У Фили вожжи выпали из рук и язык присох к гортани.

— Филимон Прокопьевич, дай сбегать в кассу или куда там, — узнаю. У меня же триста рублей, — надела Гланька.

— Молчайте! Вы к чему приставлены?! — орал Филимон Прокопьевич, испуганный не меньше Маньки и Глань-

ки.— Заедем вот на постой к Никишке Лалетину, там все прояснится.

Никишку Лалетина, земляка, не застали дома. Заехали в ограду и узнали от соседей, что вся семья Лалетина убежала в какой-то пункт менять деньги.

— На старые деньги теперь ничего не купишь,— тараторила соседка Лалетина.— Сейчас вот посылала парнишку за хлебом — шиш, не берут старые деньги!

— Как же я-то, мамонька! — заголосила Гланька.

— Я пойду менять, и все! — решительно двинулась к воротам Манька, а за нею Гланька.

Машинально, не помня себя и не осмысливая движений, Филимон Прокопьевич распряг лошадей, поставил их к заплоту на выстойку, а сам свалился в сани — сердце что-то зашлось. Крушенье пристигло. Беда! Если и в самом деле свершилась реформа — плакали денежки Филимона Прокопьевича! И те, что в кованом сундуке, и те пачки подобранных тридцаток, какие спрятаны в тайнике в казенке. Прикинул: сколько всего? Более ста тысяч! Всю жизнь копил-тянул по сотне, а где и тысячонками, а с торговли колхозным медом хапнул на пару с пчеловодом немного нима-ло, а по пятьдесят тысяч!..

«Господи, отведи погибель! — цедил сквозь зубы себе под нос Филимон Прокопьевич.— Покаяние принесу тебе, господи! Хоть в церковь схожу — молебен закажу,— на все решусь! Господи! За сто тысяч у меня. Это што же такое, а? Сусе!.. Ограбление. Сколь мыкался, изворачивался, и вот— дым, незримость одна».

Вспомнил еще, как тайком сбыл со зверофермы десятков черно-серебристых лисьих шкур по пять тысяч каждую.

«Еще продешевил. В ту пору буханка хлеба стоила сто рублей».

Все, все денежки лопнули!

Х

Вечером Никишка Лалетин трижды перечитал Филимону Прокопьевичу в районной газете «Власть труда» правительственное постановление о денежной реформе, но Филимон Прокопьевич решительно ничего не понял: затменье нашло.

Гланька весь вечер ревела. За триста семьдесят пять

рублей она получила тридцать семь рублей и пятьдесят копеек. На такие деньги цветастый платок, конечно, не купишь.

Филимон Прокопьевич не плакал — защемило сердце. Если бы каждый потерянный рубль вышел у него хоть единой слезинкой, он бы весь изошел на соленую воду.

Свинарки сами торговали поросятами на колхозном рынке, а Филя отлеживался на квартире земляка. За три дня он до того осунулся, что можно было подумать, что он не менее года вылежал в тяжелой хвори. Весь почернел, погнулся и все молчал, беспрестанно перебирая пальцами в бороде. Сядет за стол — и кусок в горле застрекает.

— Может, врача позвать, Филимон Прокопьевич? — встревожился земляк Никишка.

— Нутро, паря, перевернулось, — жаловался Филя. — У меня, слышь, дома лежат чужие деньги — пять тысяч. Перехватил на покупку коровы. И — лопнули.

— Старуха-то обменяет!

— И, куда там! Моя старуха, брат, из дома не вылазит. Пальцем не тронет деньги.

Не мог же Филимон Прокопьевич сказать земляку, что он нахапал за сто тысяч!..

Только на третьи сутки, перед самым отъездом, Филимон Прокопьевич вдруг вспомнил, что у него в грудном кармане пиджака, тщательно зашитые Меланьей Романовной, лежат колхозные семь тысяч рублей. Деньги взял на покупку сбриу. Кинулся прямо с базара в ближайшую сберкассу, а там — из маленького окошечка да медовым девичьим голосом:

— Опоздали, товарищ. Реформа закончена. Где же вы были?

— Деньги ведь! Деньги! Не мои, колхозные! Семь тысяч!

— Идите в банк.

Поплелся Филимон Прокопьевич в Госбанк. Едва ноги тасил. Прохожие на тротуарах оглядывались: не болен ли мужчина?

Бормоча молитву, «мужчина» поднялся на второй этаж Госбанка. От окошечка кассира — к управляющему. Попался человек добрый, обходительный, вежливый, но до чего же неподатливый! Все допытывался: откуда? По какой причине приехал в город? Филя бубнил, что денежную реформу провел в дороге.

— В какой деревне ночевали в день денежной реформы?

— В дороге же, говорю.

— Среди поля?

Филя пыхтел.

— Вроде к Малой Минусе подъехали.

— В котором часу подъехали?

— Часов не имею, товарищ.

— А утром из какой деревни выехали?

— Из Малой Минусы.

— Что же там не обменяли?

— Так ведь только слухи бродили про реформу! Да разве мыслимо, думаю, чтоб советские деньги при Советской власти лопались без всякого переворота. Это же уму непостижимо!..

— Значит, денежная реформа застала вас в городе?

— В точности у винзавода, товарищ. Воссочувствуйте за-ради Христа!

— Так что же вы не обменяли деньги? — не понимал Филимона управляющий.

— Из ума вышибло. Так пристукнуло, что и дух вон.

Ничего не поделаешь — неси убыток, Филимон Прокопевич.

«Эх-хе-хе! Погорел я, знать-то, окончательно. Таперича сел на щетку... Кабы был дома — хоть десять тысяч, а мои были бы. И то денежки! Теперь и карточек в городе не будет. Вольная торговля открывается. Ох-хо-хо! Чем отчитаюсь перед правлением колхоза? Хоть бы с шелудивых поросюшек сорвал щетинку, а ведь девкам доверил продажу!»

Кругом вышла поруха.

Приехал Филя домой из города — еле-еле душа в теле. Не успев перенести ноги через порог, спросил у Меланьи Романовны:

— С деньгами как?!

— Прибегали тут девчонки, грят, еформа какая-то прошла. Ишшо звали на еформу. Турнула их.

— Турнула?! — Филя еле прошел в избу.

— А как же! Все подсвاتفываются доченьки к денежкам. Пусть сами наживут, лихоманки.

Филя упал на колени перед образами и наложил на себя тяжкий крест с воплем:

— Скажи мне, господи, за што караешь? Бабу послал — непроворотную туманность, от которой я как без рук живу. Кругом один, господи! Могу ли я управиться со всеми де-

лами? Как мне жить в дальнейшем? Иль в петлю голову пихнуть, а? Господи!

— Свят, свят! — перепугалась «непроворотная туманность».

— Замолкни! С богом разговор веду,— гавкнул Филимон Прокопьевич.

Понаведаясь к хворому завхозу председатель колхоза, Фрол Андреевич.

Прошел в передний угол, сел на красную лавку.

— Ты что лежишь, Филя? Прихворнул?

— Сам видишь. Дух в грудях сперло.

— Худо дело! — вздохнул Фрол Андреевич.— В такое время нам с тобой не надо бы хворать.

— Болезнь, она не спрашивает. Пристигла — ложись.

— Значит, семь тысяч лопнули?

— Лопнули, кум. Как пузыри из мыла.

— М-да,— пожевал губами Фрол Андреевич.— Одно к одному идет. Тут вот Зырян готовит всему правлению фронтовой раздолбон.

— Знаю!

— Ревизию вызывает из района.

Филя привстал на подушке.

— Дык у нас своя ревкомиссия. Как по уставу.

— Ха! Тут вот проходило у нас расширенное заседание правления с директором МТС, Ляховым. Ну, Зырян, как и вообще, подвел под все наше правление определенную линию, и под ревкомиссию также. Как будто мы все тут перевязали друг другу руки кумовством. И все такое протчее. До райкома дело дошло. Сейчас вот явился инструктор. Начинает принохиваться.

У Фили отлегло от сердца. Не он один страдает, и кума вот припекло. Ему тоже, однако, не шанги снятся.

— Пусть нюхает. У меня по хозяйству, что имеется, все в полной наличности. Какая моя должность?

— В правлении состоишь?

— Дык што? Мало ли нас в правлении? А всему голова — председатель.

Фрол Андреевич никак не ожидал такой пакости от кума, Филимона Прокопьевича.

— Вместе работали, Филя. Чуть не с самого начала войны, а ты норовишь сигануть в сторону. Вместе и ответ держать должно. Оно завсегда так. Куда иголка — туда нитка.

— Эге! — воспрял Филимон Прокопьевич. — Это с какой стати я должен ответ держать вместе? Или я нажился на завхозованье? Реформа, она, кум, вывела всех на чистую воду. У кого по кубышкам накопились денежки, а у кого — ши на очкуре. Я как был со вшивым интересом, так при нем и остался. Слава те господи! Не крал, не утаивал, как другие при должностях. Вся Белая Елань про то скажет. Может, моя старуха или я сам обменял на реформе деньги? Тышчи на сотни, как другие? Вот хотя бы Маремьяна Антоновна. Прибеднялась, а, говорят, куль денег приперла. Семьдесят тысяч!

Меланья Романовна шурует железную печку, чтоб прогреть перемерзшие кости Филимона Прокопьевича. Фролу Андреевичу жарко в дубленном полушубке. Но он терпит. Ни хозяин, ни хозяйка не привечают что-то.

— Тут, кум, самим бы как удержаться.

— А по мне — хоть сегодня растолкнусь с завхозованьем. Наелся. С поросятами, думал, издохну. Дались они мне, будь они прокляты!

— Под мороз попали. Надо было переждать.

— Сам же торопил, Фрол Андреич. Я бы вовсе не поехал на такую погибель, якри ее. Скажи: как с деньгами-то быть? Лежат вон в тряпице. Рубль к рублю — семь тысяч. Што же мне теперь, из штанов выпрыгнуть, или как?

Фрол Андреевич подумал.

— Обмозговать надо, кум. Булгалтерия, сам понимаешь, щекогливая штука.

Филимон Прокопьевич заохал:

— Вот еще погибель на мою шею, господи! Кто-то денежки менял, хоть за десятку рупь, а с меня, то и гляди, три шкуры спустят. Што же это, а? Ты вот говоришь, махнул со своими деньгами в райцентр, пятьдесят тысяч обменял. Коня загнал. Это я говорю промежду нами. Стал быть, у тебя, кум, водились денежки? А я вот, как сам Христос, безо всякой корысти. Колхозные и те не сумел обменять из-за хвори. Три дня валялся в постели у твоего брата Никишки. Хоть бы помереть мне! — развел нутрянной стон на всю избу Филимон Прокопьевич.

Фрол Андреевич покосился на стонущего, утешил, чем мог, и ушел.

Кто-кто, а сам председатель знал, какие у Фили руки с крючьями. Но вот вопрос: ни старуха Филимона Прокопьевича, ни его три дочери — Мария, Фроська и Иришка, не

меняли крупных денег во время реформы. Сам Фрол Андреевич в день реформы навестил Меланью Романовну, предупредил: если лежат деньги — не мешкайте, меняйте.

Филимониha махала руками: «Ни копеечки не водится, осподи!.. Откелева деньги-то?!»

«Загадал он мне загадку, Филин,— сопел Фрол Андреевич, шествуя серединой улицы к правлению «Красного таежника». — Не съел же он их? И в доме пусто. Ни вещей, ни дорогих пустяковин, какие выменивал у эвакуированных. Куда все делось?»

Аркадий Зырян и тот развел руками:

«Не соображу, в чем тут секрет? Боровиков всюду хапал деньгу. И вот, пожалуйста, ни рубля не обменял. Вот так номер!»

«Номер Филин» оказался везучим. Филя оседлал бескорыстнейшего иноходца и попер вперед: глядите всем миром — чистенький как стеклышко. Все считали, что Филя хапуга, жмон, набил карманы во время войны, а я вот он какой — глядите!..

Мало одной печали, нагрязнула другая: отчетно-перевыборное собрание. Приехали представители МТС и района.

Филя сразу учуял: пахнет паленым и, не задерживаясь, хныча, жалуясь на простуду, ушел с собрания. Утром узнал — вытряхнули его из завхозов! Фрола Андреевича переместили на заведование колхозными пасеками — на самое теплое место, а Филюше — прямая дорога в полеводческую бригаду.

— Кукиш вам с маслом! — сунул Филя трехпалое оружие в сторону правления колхоза. — Вот оно как ночью! И Лалетины откачнулись. Павлуху председателем поставили. Фролу пасеки отдали, а меня — под зад. Таперича конец! Палец о палец не ударю. Найду себе место.

Новый председатель Павел Лалетин не хотел отпускать из колхоза бескорыстнейшего Филимона Прокопьевича, но помог кум — Фрол Андреевич. «Пусть, мол, уходит». Знает кошка, чью мясу съела!

Отдал Филя нетель колхозу в счет семиста рублей, приобщил еще пустые бумажки, которые неделю назад ценились семью тысячами, отлежался дома и двинулся к знакомому лесничему в Каратуз. На этот раз повезло! Освобдилось место лесника на Большом кордоне.

«Сколь годов я собирался на Большой кордон!» — возрадовался Филя, поджидая попутную подводку в Белую Елань.

С того дня как Филимон Прокопьевич принял немудрящее хозяйство лесника на Большом кордоне, он начисто вычеркнул из памяти и сердца все годы, какие прожил в «Красном таежнике». Если встречался с колхозниками — отворачивался. «Пропадите вы пропадом! Не я ли лез из кожи, а — вытряхнули с завхозов. Ну, погодите! Еще спомяните меня, Фрол Андреич. Ноне ты заведующий пасеками, а как фуганут тебя — дальше меня улетишь!»

И сердце начинало побаливать у Филимона Прокопьевича, и голова кругом шла — все никак не мог примириться с потерей денег.

Изредка Филя навещал Белую Елань, где коротала жизнь в одиночестве Меланья Романовна, как бы являясь сторожихой в опустевшем доме при большом кованом сундуке, с которым она не расставалась — и спала на твердом, как камень, сундуке.

День за днем дом Боровиковых чернел изнутри и снаружи, как будто из бревенчатых стен шаг за шагом уходила жизнь...

ЗАВЯЗЬ ШЕСТАЯ

I

Шла весна 1949 года...

Канун февраля дохнул оттепелью; в начале марта мягко и призывно зашумели хвойные леса. Оголилась макушка Татар-горы. Закипели студёные воды в ревучем Амыле, выплескивая синюшную накипь на ледяную твердь. А там, где течение билось с особенной яростью, распахнулись дымящие полыньи, будто река, оборвав застёжки ледяного тулупа, выставила свою богатырскую грудь, готовая вырваться на простор, поиграть силушкой.

Дороги развезло, улицы почернели, тучи ползли низко, и сам воздух, настоящий на таежной растительности, стал гуще, духмянее.

От вытаявших пашен терпко несло ржаной закваской.

И девушки, по-весеннему яркие, нарядные, беззаботные,

голосистые, как сама матушка-тайга, допоздна засиживаясь на клубных вечеринках, ждали весну, солнце и ничего другого знать не хотели.

Они смеялись и тут же, бывало, плакали — всего понемногу. Им предстояло веселиться и жить, любить и быть любимыми, для них шла весна после лютой стужи.

Как никто из девочек, радовалась весне Анисья Головня, горячая и подвижная, как таежная лань.

Анисья готова была вдохнуть в себя всю оттепель марта и вдруг, превратившись в облако, подняться высоко над землей, чтобы почувствовать себя совершенно свободной от всех земных страхов и обманов.

— Весна пришла! Весна пришла! — пела Анисья, сверкая оскалом широких и ровных сахарно-белых зубов. И глаза ее, большие, округло-черные, влажно-блестящие, то искрились призывно, то тосковали по ком-то. Глаза Анисьи искали любви, бурной, как воды Амыла, и такой же чистой, прозрачной, как капля родника, впитывали в себя всю терпкую, хмельную силушку жизни.

— Ну и девка у Голоवेशихи! — говорили про Анисью в Белой Елани. — Норовистая, холера. Если попрет в Авдотью — беды не оберешься, всех мужиков перекрутит.

Анисья и сама не ведала, куда ее потянет беспокойный норов. Ей хотелось многого и столь необъятного, что от одних дум и желаний кругом шла голова.

С нескрываемой ревностью зрелой женщины приглядывалась к Анисье Агния Вавилова.

«У нас теперь две Голоवेशихи, и обе беспутные», — зло думала Агния. Она все еще не простила Авдотье Елизаровне давнишнюю обиду.

Много перемен произошло за двенадцать лет. И сама Агния поутихла, и дети ее подросли, и даже старый тополь Боровиковых прошлое лето не выкинул ни единого зеленого листика. Филимон Прокопьевич постарался: не пожалел полтора пуда соли, вдосталь напоил корни тополя, и дерево наконец-то засохло.

Ни вешние ветры, ни солнце — ничто не в силах оживить мертвое дерево. Отшумело оно, отлопотало свои песни-сказки и торчит теперь мрачное, черное, присыпанное прахом земли, не дерево, а сохнувший на ветру скелет. Настанет день, когда его срубят, и останется только пень, который со временем сгниет. И никто тогда, пожалуй, не вспомнит, что когда-то в Белой Елани шумел нарядный тополь, возле ко-

того собирались старообрядцы на молитву. Да и теперь мало кто знает, как радели «тополевы». Разве Меланья Романовна глянет другой раз в окошко из малой горенки, осенит себя двоеперстием и вдруг вспомнит лобастого, немлокого свекра, Прокопия Веденеевича...

«Осподи! И я в ту пору в силушке да в красе была»,— вздохнется Филимонихе.

Если поднимался ветер, голые сучья громко стучали по крыше дома, и тогда одинокая Филимониха, падая на колени, до измора отбивала поклоны. И чудилось ей, что по дому ходит свекор, стучит бахилами, охает, побряхтывает и все что-то ищет. Былое, что ли?

Минуло былое, кануло в вечность!..

И только Агния Вавилова навевывалась на боровиковский пригорок, будто ее тянула к черному тополи неведомая сила.

«Осподи! Доколе ждать будет? — вздыхала Филимониха, глядя на Агнию из окошка.— И косточки Демушки, поди, давно сгнили, а ей все нейдется. Из смерти ишшо никто не возвертывался».

И молилась за упокой сына Демида...

«Живой он, живой! Я чувствую, что он живой»,— как бы в ответ Филимонихе шептала Агния, глядя на развилку тополя. И если бы незримо приблизиться к Агнии в этот момент, глянуть ей в лицо, рдеющее румянцем, то можно было бы увидеть, как много разных чувств — то грусти, то глухой, застарелой бабьей тоски, то мимолетной радости — порхает на ее лице! «Как недавно и — как давно это было! И мертвого Демида люблю, как живого. Что же это со мною?» Она все еще чего-то ждала. Каких-то перемен, и — счастья. Хоть немножко, на одной ладони, а счастья бы!

Жизнь, как и вешняя погодушка,— го теплом повеет, то приморозит. Вот опять за одну ночь деревья оледенели и вырядились в белые шубы куржака. В тайге, на дорогах, на пашнях образовалась ледяная корка — копытом не продавить. Настала гололедица. От бескормицы гибли красавицы маралы, сохатые, дикие козы. Волки подступали вплотную к деревне. Но люди не унывали. Они знали, что весна придет, весна придет!

Белая Елань, хоть и звали ее белой, днями и ночами курилась черным дымом.

Вешний ветер играючи стучится в калитки, в ставни, раздувает веером хвосты петухов и куриц, завывает на разные лады в карнизях, мечется по улицам и переулкам, свистит в сухих сучьях черного тополя и как бы ненароком напирает на ставни дома Боровиковых.

Дом никак не отзывается на посвист южного гостя. Окна дома, выходящие на улицу и в пойму Малтата, наглухо задраены толстыми ставнями с железными накладками. Калитка закрыта; ворота с резным навесом точно век не открывались.

Утреннее солнце заглядывает в глубь ограды. У заплотов толстые наметы снега, не тронутого за зиму ни ногою человека, ни копытом животного. Развалившиеся стаюшки и амбары с прогнившими крышами подставляют солнцу черные ребра стропил.

Кругом царит запустение. И вместе с тем в доме кто-то живет. Над крышею вьется тощий скруток дыма, пахнущий черемухой: хозяева жгут хворост.

Если внимательно приглядеться к дому, к порожкам крыльца, к железному кольцу на сенных дверях, к аккуратному заколоченным воротам, к тому, как заботливо смазаны смолою железные петли на калитке, можно понять, что дом некогда не переходил из рук в руки и что здесь живут те же хозяева, что и двадцать, и пятьдесят лет назад. И что запустение усадьбы и дома пришло не вдруг сразу, а медленно, с годами. Сперва заколотились большие ворота, потом стаюшки, опустели поднавесы, затем амбары, за ними — задний скотный двор, конюшня, а потом уж осел в землю большой дом. Видно, внутри дома, сейчас онемевшего, с бельмами ставней на окнах, некогда бушевали страсти, сталкивались бурные, противоречивые мнения, пылали людские сердца. И вот теперь осталось одно немое свидетельство всех минувших гроз и потрясений.

Ветер крутил косицу дыма над прогнившей крышей. На крыльцо вышла старушонка в заношенной бордовой юбке, в чириках на босу ногу, простоволосая, с помойным ведром.

Она осторожно спустилась по скрипучим порожкам, прошла по натеренной тропке в глубь ограды, выплеснула помой и тем же мелким, шаркающим шагом, не глядя по сторонам, пошла обратно, выставив к солнцу свою горбатящуюся, костлявую спину с шевелящимися лопатками.

Звякнуло железо калитки. Старушонка оглянулась. В ограду перенес ногу сам Филимон Прокопьевич. Его красная, окладистая борода горела на солнце, как медная лопата.

В дождевике поверх подборной черной борчатки, в лисьей шапке с длинными ушами, с двуствольным ружьем, Филя выглядел молодцом для своих шестидесяти лет. Покосился на старуху, пробурчав: «А, жива!» — и провел в ограду сытого мерина, увешанного кожаными сумами. Вслед за хозяином прошел в ограду лесообъездчик Мургашка в полушубке и в шапке-ушанке, который так и жил у Фили на кордоне с тех пор, как вышел из сумасшедшего дома. Он тоже провел за собою лошадь. В тороках Мургашкиного коня — тюк сена, стянутый алюминиевой проволокой.

— Давай, Мургашка, пристраивай лошадей, — командовал Филя, снимая кожаные сумы с пушшиной и таежной добычей. — В избе, поди, холодище? — спросил у старухи.

— Вишь, топлю. Ночесь выдуло.

— Дрова-то все сожгла?

— Скоко их было, всех-то? Кабы не Полюшка — давно бы замерзла, может. Силов нету дрова рубить аль пилой пилить. Полюшка придет, нарубит да наколет, вот и живу, греюсь.

Филя фыркнул.

— И плахи с заплота рубишь?

— Дык заплот-то все равно перевалился в пойму. Весной, поди, рухнет.

Филя плюнул, выругался и потащил вслед за старухой кожаные сумы, которые оставил в сених.

Про заплот Филимон спросил просто так, для блезиру, чтоб наномнить, что из тайги заявился хозяин, который волен за все спросить и взыскать. Ну, а если взаправду, то Филя давным-давно плюнул на заплоты, стаюшки и на всю прошлую житуху. Он таки уразумел, что напрасно тужился в тридцатом году, уклоняясь от коллективизации и потихоньку пакостя Советской власти. А власть-то оказалась на редкость выгодной. Разве при единоличности, во времена царского прижима, мог бы Филя так покойно и сытно жить, дармовой скедью набивая брюхо и не надрывая пуп на работе? Немыслимо подумать даже! А что при Советской власти получилось? Разве от едкой соли у него расплзается теперь рубаха, как при тятеньке? Или грыжа погоду пред-

сказывает? С прохладцей, с ленцой, вразвалку да вразминку — вот и вся работа. А хлебушка всегда на столе — есть не хочу, и крошки не смахивай со столешни в рот да в лохань. Хватит. Ну, а если к тому же словчить, на теплое место пристроиться, как вот он теперь, можно жить совершеннейшим лодырюгой — жрать и спать от ноздри до ноздри и в ус не дуть. Там сорвать, тут прибрать к рукам. «Буржуйская житуха настала», — размышлял Филя у себя в лесном имении, недалеко от прииска Разлюлюевского вверх по Амылу. Оно и правда — для таких, как Филя, буржуйская. Устроился Филимон Прокопьевич лесником, поселился в хорошем казенном доме на берегу Амыла; лошадь у него, сенокос, корову и нетель увел от старухи к себе в именье, а старуху оставил при доме сторожить углы — таковская. Ни к чему ему старуха. Одна маета; к иконам приросла, как накипь к чайнику. Ну и пусть себе изживает век в пустом доме. Не убыток, а прибыль. Оно понятно, Филимону Прокопьевичу положено смотреть за лесом, сторожить несметные богатства тайги, ловить браконьеров, истребляющих живность. Да мало ли чего положено! Бывает, попадают браконьеры на месте преступления. Схватишь у теплого марала или сохатого, тут и распушишь для страха. Глядишь, браконьер раскошелится и отвалит откуп. Без акта, полюбовно. Лапа в лапу. И опять на боковую. Если вспыхнет пожар в тайге — опять-таки не свои шаровары горят; пусть горит. Ну, похлопочешь, потопчешься для примера, и на том пожар кончится. Житуха, истинный бог. И мясцом запастись можно и рыбой. Да еще какой! Хариусами, ленками, тайменями. Сорожняк не в рыбий счет. И главное — тебе же почет: на государственной должности состоишь. Надо только уметь должность для себя с выгодой обернуть. Тогда не жизнь — манна небесная!

В полутемной избе холодно и сыро. Воздух затхлый, так и бьет в ноздри.

— Экая вонница! Тьфу, срамota. Аль ты на корню гниешь? Чистая упокойница.

— И то! Знать, господь смилостивится, приберет мои косточки, — прошамкала Меланья Романовна, подкладывая черемуховые кругляши в железную печку. — Сон ноне такой привиделся. Будто появился в избу упокойничек Демушка в красной рубахе. А на голове-то корона из чистого золота. Так и светится, ажник само солнышко. Грит: «Ты здесь, мама? Я за тобой пришел». И руку так протянул ко

мне. А рука-то холоднющая, холоднющая! Прокинулась я и слышу: кой-то стучит, будто ходит по избе. Хочу крикнуть, а голоса нету. Вроде сама упокойница. А по избе стучит, стучит!..

— Ишь ты! — безразлично отозвался Филимон Прокопьевич, стягивая дождевик с черной борчатки. — Просон опосля доскажешь. Дай-ка мешок. Да который почище.

— Куда с мешком-то?

— Не твое дело. Живо мне!

Меланья Романовна подала мешок.

— Топи большую печь, чтоб избу нагреть да похлебки сварить. Рыбешки на варево дам, копалушек, рябчиков. И баню пусть Мургашка стопит. Попарюсь маненько.

Уделив старухе пару копалух, трех рябчиков, десяток мерзлых хариусов и ленков, Филя собрался уходить, предварительно нагрузив мешок дичью и рыбой.

— К ведьме собрался?

— Молчай!

— Осподи! Хоть бы помереть мне! Покарает тебя господь, Филя. Погоди! Никакого пригрева от тебя не вижу. Сколь годов! Как заявишься, так бежишь к ведьме аль по магазинам шастаешь. И корову в тартарары сбыл, и нетель. И куриц перевел. Чем жить-то мне? С сумой пойти — силов нету. Знать, отходила. Кабы не Полюшка, с голоду померла бы.

Филя махнул рукой. Наслышался он разных песен от своей «непроворотной туманности».

— Ты же при колхозе состоишь? Пусть помогают. Моя линия при лесхозе. Такая жизнь происходит. Планиды наши с тобой разошлись. Если не хошь одна жить, возьми в дом Марию с ребятишками.

Меланья Романовна поджала губы и отвернулась.

— Во сне-то мне привиделся вовсе не Демущка, а покойничек свекор, — вдруг сообщила Меланья Романовна и перекрестилась.

Филя торопливо вышел из избы.

— Тьфу, пропастина! Доколе будет скрипеть? — спросил сам себя, охолонувшись на свежем воздухе.

III

Дула верховка.

Рваные хлопья облаков заслоняли полуденное солнце.

Хвойный кивер Татар-горы темнел лиловым пятном, а юго-западные склоны багряно рдели. По затенью Татарской рассохи толпился плотный лес, а на восточных склонах виднелись прогалины — елани. Почернелый снег под настом смахивал на чешуйчатый панцирь.

На вытаявшей полосе, возле кучи прошлогодней соломы, от которой несло йодистым запахом прели, мышковала желтая лисица. По ее следу, взгорьем, крался здоровущий волк, а за ним — волчица, до того отошала, что ее ребра выпирали из-под кожи, что обручи на бочке. Шерсть стояла дыбом, хвост, как прут, волочился по проталинам.

Волчица задержалась на обочине полосы возле кустов черемухи; волк осторожно полз на брюхе к лисице. Ветер верховки тянул на него, и он, чуя запах псины, крался так ловко, что корка хрусткого наста не шуршала под его тяжестью. Волчица неотрывно следила за ним. С ее усатых губ текла слюна, а по отвисшему брюху с набухшими сосками пробегала судорога. Изголодалась она, избегалась в зимнюю свадьбу.

Волку оставалось осторожно подтянуть зад и — прыгнуть на лисицу, как вдруг, совсем рядом с черемухами, хрустнул наст. Волчица успела повернуть голову. Прямо на нее уставилась круглая дырочка ружья. Она видела лыжины, две ноги в серых пимах, низ белого овчинного полущубка и, рванувшись к кустам, оглохла от выстрела. Она еще подпрыгнула вверх, упала, кинулась в сторону, сунувшись мордой в кусты: передняя правая лапа была подбита.

Из-за кустов прыжками вылетел волк; человек с одноствольным ружьем, не успев выбросить стреляную гильзу, остолбенел от ужаса. Но тут же перехватил ружье за ствол и, орудуя им, как дубиной, огрел волка по голове. Удар был до того сильным, что матерый хищник перевернулся вверх лапами, но тут же вскочил.

Длинная, горбоносая морда старого волка с торчащими ушами, узко поставленные горящие глаза, могучие лапы, чуть вывернутые наружу, клыкастая пасть — вот все, что успел разглядеть человек за какую-то секундную передышку.

Борьба за жизнь предстояла неравная. Длинные, не охотничьи лыжины, привязанные к пимам сыромятными ремнями, мешали пунику. Он пытался освободиться от них, движениями ног растягивая ремни, а волк кидался на него

то с одной стороны, то с другой, ловко отскакивая от ударов... Волчица, рыча, пятная кровью снег, тоже ползла к нему.

Орудя левой рукой, путник приловчился сбросить заплечный мешок, в котором что-то стукнуло. Волк моментально вцепился в мешок и откинул его в сторону. Подстреленная волчица, бросаясь по снегу туловищем, запустила клык в лыжину и так рванула ее на себя, что охотник опрокинулся на спину. И сразу же бросился волк, пружиня мускулы, готовый перекусить человеку горло. Но тот ухитрился перекинуть волка через себя, моментально освободив ноги от пимов. Теперь он был бос, в холщовых портянках. Шапка его валялась на снегу. Его белые волосы свисали прядями на просторный лоб, закрывая впадину левого глаза под кожаным кружочком. Отмахиваясь от волка, охотник сбросил белый полушубок, оставшись в грубой солдатской гимнастерке под ремнем. «Нет, вы меня живьем не возьмете!» — приговаривал он, отбиваясь от зверей.

Раздавались рычание — надсадное, утробное, — хруст уминаемого снега, хищный щелк зубов и трудные, отчаянные крики человека.

Он звал на помощь, проклинал, бил, бил! Но что он мог поделать с двумя хищниками? С разгоряченного его лица градины катился пот. Дышал он тяжело, прерывисто. Его единственный глаз, светло-синий, расширенный от ужаса, глядел по сторонам как-то странно дико, не моргая. Он не знал, сколько времени бился с волками. Он еле стоял на ногах. И тем свирепее наседали волк. Старый хищник брал жертву измором.

— Помо-оги-ите-эээ!

Истошный зов человека разбудил эхо в рассохах Татарского хребта.

Черные вороны, неизвестно откуда налетевшие, кружились прямо над его головой, каркали, перелетая с березы, к стволу которой он прислонился спиной, на куст черемухи и обратно.

И это нудное карканье ворон, и волчья осада так изматывали пуглика, что он едва держался на ногах и, качаясь, то отступая на шаг от березы, то снова прислоняясь к ней, бормотал что-то невнятное. Смерть как бы глянула ему в лицо двумя парами звериных глаз, каркала над ним, как щипцами схватывая за сердце. Он уже знал совершенно оп-

ределенно, что продержится на ногах не больше часа, а затем сунется в снег,— и конец! И смерть настанет трудная, мучительная.

Набравшись сил, он снова несколько раз крикнул:

— По-о-мо-о-гии-те-ээ!

И как бы в ответ прямо перед ним, задрав голову, завыла волчица. Это был не просто вой, а гудение — тугое, протодиаконским басом. Ничего подобного он за свою жизнь не слыхивал.

Мысли его путались, а волк в полтора шагах от него, ощерив пасть, подобралшись, готовился к прыжку.

Когда и с какой стороны подоспела подмога?..

Он даже не сообразил, в чем дело, когда увидел, именно увидел, а не услышал, большую черную собаку. Он сперва принял ее за третьего волка, но когда собака бросилась на волчицу, он громко крикнул:

— Дави ее! Рви! Рви!

Вдруг собака пронзительно взвизгнула и кинулась прочь. И в то же мгновение донеслось до его слуха откуда-то со стороны:

— А-а-нисья! Анисья! Вернись!

Кто звал? Какую Анисью? Ему было решительно все равно, но Анисья — шла, бежала, спешила. И это имя иглою прошило его насквозь, оно слилось с ним, с его жизнью, со всеми его надеждами на будущее. В Анисье — жизнь, живинка! «Анисья! Анисья!» — выстукивало его сердце. И он, собрав все свои силы, громко закричал:

— Анисья! По-о-омоги!

Если бы он мог хоть на мгновение оторвать взгляд от хищников, особенно остервеневших в последнюю минуту, он бы увидел, как взгорьем, поперек полосы, бежала женщина в черном полушубке с вилами в руках.

Это и была Анисья Головня.

Мать ее, Авдотья Голоवेशиха, стоя на санях-розвальнях, кричала дочери что есть мочи, чтоб та вернулась.

Ехали они за сеном. Анисья, как только услышала зов о помощи, долго не раздумывая, схватила с саней железные вилы и, не мешкая, кинулась в гору.

Гнедой конь, почуяв волков, закусив удила, взял махом вверх по Татарской рассохе, звонко шелкая шипами подков о ледок почерневшей дороги.

Авдотья Голоवेशиха, отчаявшись вернуть Анисью, намотав вожжи на руки, пыталась было сдержать Гнедка, но

то ли у ней силы не хватило, то ли испуг одолел, но конь будто не чуял вожжей. Он летел с такой быстротой, что сани, визжа стальными подполозками на раскатах, готовы были перевернуться вверх тормашками. Голоवेशиха, вцепившись в отводья, сидела на санях ни жива ни мертва.

Слева, на елани, темнел зарод сена. Голоवेशиха, собравшись с духом, натянула вожжу. Гнедко, храпя, врезался оглоблей в зарод.

Между тем черная собака, обежав кусты черемухи, вцепилась зверю в загривок неповоротливой шеи. Свившись тугим клубком, они катались по снегу. То волк оказывался сверху, то собака. То черное, то серое.

И как-то сразу, в мгновение, путник увидел женщину в черном полушубке нараспашку, с шалью на плечах. Ему показалось, что в ее руках ружье.

— Скорее! В волка, в волка стреляй! — орал он.

Трехлапая волчица бросилась в сторону к кустам, но женщина со всего размаха ударила волчицу железными вилами по черепу. Он слышал, как певуче зазвенели вилы. Машинально, сам не понимая, что делает, он взвел курок, приложил и нажал на спуск. Курок шелкнул без выстрела. И опять он взвел курок, не помня, что в ружье — стреляная гильза.

И еще раз сухо шелкнул курок.

— Ружье зарядите! — крикнула Анисья.

Он поднял на нее свой единственный глаз, но не видел ничего: слеза застилала. Сзади, за спиною, что-то тяжело ворочалось, рычало, сопело, мяло, скреблось, подкатившись вплотную к нему. Он отполз на четвереньках, сунувшись лицом в снег. Зубы его жадно вцепились в снег, перемешанный с землею. Освежающий холодок разлился по всему телу, и он почувствовал такую слабость, что не в силах был пошевелиться.

— Ружье зарядите! — донеслось до его сознания. Он спохватился и первое, что увидел, — перебирающую задними лапами волчицу.

— А!.. — вскрикнул он, шаря по снегу. Нашупав ружье, он догадался, что надо выбросить гильзу, что он должен торопиться. Но он забыл, где у него патроны. В карманах брюк и гимнастерки их не оказалось. Пополз за полушубком. Анисья шагах в трех от него била волка вилами. Оса-таневший волк, поранив собаку, кидался на Анисью.

— Ружье. Ружье зарядите!

За каких-то две-три минуты передышки путник воспрял. Движения его теперь были уверенными, определенными, осмысленными. Не вставая на ноги, он достал из кармана полушубка патроны, разломил ружье и, выбросив гильзу, засалал туда патрон с зарядом.

Раздался выстрел. Волк свалился замертво. Путник снова зарядил ружье и прицелился в мертвого волка.

— Где она, тварь? Где она? — искал он волчицу. — Я ее... я ее — разорву! — И, встав на ноги, пошатываясь, пошел к волчице. Следом за ним по истоптанному снегу тянулись портянки. Он не чувствовал, как у него околоченили ноги, ему было жарко. Он видел, что волчица околеваает, но бил, бил и бил ее ложею ружья, пока не размозжил череп.

— Конец! Конец! Теперь тебе конец!.. — приговаривал он, еще раз свирепо ударив по трупу волчицы ложей ружья, вдруг покачнулся и упал, вцепившись в шкуру руками и уткнув в шерсть лицо.

— Возле самой деревни! — бормотал он, задыхаясь. — На фронте!.. В окопах... в концлагерях... в карцерах... в каменных карьерах... жив остался... а эти... меня... возле самой деревни! Возле самой деревни!..

Кажется, для него нестерпимо обидным было то, что какие-то шелудивые, проклятые волки могли разорвать его возле самой деревни. Спина его солдатской гимнастерки была мокрая и дымилась испариной. Анисья накиннула ему на плечи полушубок.

— Хиузом тянет с гор, простынете. Обуйтесь!

Он медленно поднял голову от волчицы, вытер кулаками подглазья, поправил сбившийся кружок кожи, прерывисто перевел дыхание. На его мокром багрово-красном лице клочьями прилипла волчья шерсть.

— Здорово они меня прижали! Конец бы! — сказал он, глядя на Анисью.

Лицо ее показалось ему поразительно знакомым. Когда и где он мог видеть это лицо? Оно было девичьим. Определенно девичьим. Розоватое, словно умытое брусничным соком, с колечечками красновато-каштановых волос на висках и на лбу. Ее глаза — большие, влажно-блестящие, будто искупанные в свежем напыске меда черные смородины, — такие удивительно знакомые! Он не мог оторвать взгляда от ее глаз — ласковых и в то же время странно робких, застигнутых врасплох. Он где-то, где-то видел точно такие

глаза — обволакивающие, как бы притягивающие к себе. Может, просто ему показалось?

— Обуйтесь же! — напомнила Анисья, не выдержав пристальный взгляд незнакомца. — Без ног останетесь.

Он стал обуваться, наспех обматывая ноги портянками и вытряхнув снег из пимов.

— И черт его знает, откуда взялся второй волк? Как изпод земли. Стрелял в одного, а их оказалось два. Разорвали бы, определенно. А ты... смелая, вижу, таежница. Из Белой Елани?

— Откуда еще? Ехала с матерью за сеном. Слышу: «Помогите!» А потом и волк завыл. Схватила вилы — да в гору. А возле полосы — ямина. Как ухнула — по самую шею. Ох, и перетрусил! Думаю, а что, если не выберусь?

Сейчас она готова была посмеяться над своей минутной слабостью, когда, подбежав к месту схватки человека с волками, попросту струсила. Сперва она подумала, что волки напали на старика — вислые, седые усы, белая голова. Но теперь она разглядела путника. Ему нельзя дать и сорока лет. Он спросил, чья же она из Белой Елани?

— Собственная дочь, — уклончиво ответила она.

IV

Хотя солнце стояло высоко, но внизу деревня и лес в пойме Малтата заметно темнели.

Из промоины облаков выглянуло натужное солнце, багряными мазками плеснувшее по черным крышам домов Белой Елани, цепочкой растянувшихся вдоль крутого, обрывистого берега реки. И вся деревня вмиг преобразилась, будто помолодела, туго наполнившись жаркой кровью.

Анисья стояла рядом с охотником, присматриваясь к нему сбоку. Да, он здорово измаялся в схватке с хищниками. Его светло-синий, почти белый глаз беспрестанно помигивал, словно от дымного чада.

Что за странный человек! Он не из здешних. Анисья, по крайней мере, знает всех жителей Белой Елани и соседних подтаежных деревень. Измученный, одноглазый, седой, а брови — черные. Что он говорил о каких-то концлагерях? И почему он так мучительно приглядывается к Белой Елани? Да он, кажется, плачет!..

Багрянец разлился по всей деревне, прихватив обширную пойму, а по щекам незнакомца катились слезы. Он

плакал молча, окаменело. Щека его подергивалась и белый ус шевелился.

— Все по-старому! — вздохнул он.

И этот тяжкий вздох резанул Анисью. Никогда еще ее девичье сердце не испытывало такой терпкой, горячей боли, как сейчас.

Багряный луч угас — солнце укрылось в гряде облаков.

— И все на том же месте! И то, и не то. Кажется, ничего не переменилось — ни тайга, ни Татар-гора, ни Лебяжья грива, ни берега Малтата и Амыла, а — что-то вот не узнаю.

— А вы разве из здешних?

Он криво усмехнулся и вдруг стал спрашивать о людях, которых Анисья хорошо знала.

Наконец странный пришелец произнес:

— А Голоवेशиха все еще скрипит?

— Вы... вы ее знаете? — тихо переспросила она.

— Кто же ее не знает, Голоवेशиху! — с иронией проговорил охотник, закусывая кончик уса. — Цветет, наверное, поет и пляшет? Мастерца на клязусы да провокации.

Румянец густо прилил к щекам Анисьи, словно все ее лицо охватило пламя. В ее глазах стояли испуг, смятение, растерянность. Это же...

«Демид! Демид Боровиков! — твердило сердце Анисьи. — Нет, нет! Мне просто показалось».

Оба молчали. Она чувствовала, как пальцы рук у ней мелко вздрагивали. Одна тень за другой набегали на ее щеки с ямочками, на лоб, затемненный кудряшками растрепанных волос. Странные были у нее волосы. Густые, пышные, темноватые у корней, постепенно набирая красноватый оттенок, они, казалось, вот-вот вспыхнут.

«Кто такая? Чья? — спрашивал себя пришелец. — Мало ли подросло девок за это время! Но что она так смотрит?»

«Он меня не узнал! Ах, если бы он никогда не узнал меня и никогда бы нам не встречаться. Что же делать? Если он увидит маму, тогда... А что, если взять да и сказать ему, что она — дочь той самой Голоवेशихи? Напомнить бы ему одно-единственное слово — Уголек! Только один Уголек, — он же, Демид, назвал когда-то ее, Аниску, Угольком!»

Но, видно, то, о чем она хорошо помнила, было настолько трудным, запутанным и необъяснимым, что от одной мысли сказать ему, что она дочь Голоवेशихи, у нее разжались пальцы и руки беспомощно опустились.

С усилием отрывая от земли одеревеневшие ноги, Демид (Анисья уже не сомневалась в этом) шаг за шагом обошел место недавней схватки, брезгливо и удовлетворенно глядя на трупы волков. Пнул ногою самца и, взяв его за задние лапы, подтащил к волчице. Потом отвязал от лыжин сыромятные ремни, соорудил подобие санок и, привязав вместо поводка лыжную палку, уложил зверей.

— Ну, я пойду,— сказала Анисья, запахивая полушубок и повязываясь пуховой шалью.

— Куда же вы! Пойдите. Сейчас мы вместе двинемся и найдем вашу мать.

— Если вам в Белую Елань,— тихо ответила Анисья,— то здесь совсем близко. И легко идти. Со склона к деревне сами скатитесь. А я как-нибудь одна найду мою...— Она помолчала и с трудом выговорила: — Голоवेशиху.

— Голоवेशиху? — оторопел Демид.

— Моя мать...

— Постой, постой! Как же это? Так неужели ты... Не может быть!

Анисья быстро повернулась и побежала вниз по расщелине, легко, ни разу не проломив корку наста. Ей было стыдно и горько, что у нее такая мать, которую редко помнят добрым словом.

Она как сейчас видит тогдашнего Демида — лобастого, поджарого, плечистого парня, на которого заглядывалась не одна пара девичьих глаз. Она помнит, как любила слушать Демида, когда он рассказывал ей о встречах со зверями, о тайнах сибирской тайги. Анисье хотелось тогда стать таежницей. Все будут говорить: «Голоवेशихина-то дочь, глядите, какая непохожая на мать...» Во всем быть непохожей на нее, жить совсем по-другому — вот чего хотелось Анисье.

Была еще одна причина стыда за мать, самая горькая!..

Девчонкой Анисья влюбилась в Демида. Да как! Места себе не находила. То была чистая любовь подснежника к лучу солнца. Детская душа Анисьи вдруг раскрылась, как цветок, и никто об этом не знал! Ни мать, ни подружки. Она вообразила себе какого-то особого Демида: необыкновенного чудо-Демида, богатыря, перед которым расступается тайга. И он приходил в ее светлый мир, волновал воображение, манил за собою в таежную хмарь, в горы, в непролазные дебри, к Белогорью. Он был ее вправдашним героем. Он ее назвал Угольком, как никто не догадался на-

звать. А Демид пришел и сразу дал ей точное имя. Будто заглянул в ее рано разгоревшееся сердчишко. «Ну где тут мой Уголек?» — обычно спрашивал он, входя к ним в дом. И ей так было приятно, когда Демид, ласково поглаживая кудряшки ее волос, смеялся над застенчивостью девочки: «Гори, гори, Уголек, разгорайся!»

Да, ей было хорошо и радостно с Демидом! И эту радость отняла у нее мать! Изо дня в день мать поучала Анисью своим неписанным законам: «Девка рождается для мужиков, для хитрости. Постоянство — для дур!» И чем чаще мать учила дочь своей морали, тем невосприимчивее к ее поучениям становилась Анисья.

Ей, девчонке, нравилось все страшное, необычное. Иногда ночами она уходила за деревню, на кладбище. В бурю, в непогодь она частенько бродила в дремучих зарослях чернолесья, простоволосая и необыкновенно счастливая. А помнит ли Демид ту ночь дождливого сентября? Это она принесла ему страшные вести об аресте отца и о том, что собираются арестовать его!..

Помнит ли он?

А Демид вспомнил свое...

Недолго погулял он, покинув Белую Елань. В Петропавловске, как только устроился на работу, его арестовали. Судили тройкой за соучастие во вредительстве. Дали десять лет. Главным обвинением служили показания Головешихи. Потом два года восемь месяцев кайлил камень для постройки плотины, писал жалобы на имя Сталина. Перед самой войной добился освобождения из-за отсутствия состава преступления. И вот фронт. Но и на фронте Демиду не повезло. Дивизия, в которой он служил, угодила «в клещи».

Батальон, где Демид служил минометчиком, был отрезан на правом берегу Днепра. Надо было прорваться на свой берег или погибнуть.

Демид со своим минометом прикрывал переправу батальона, но был присыпан в траншее землею от взорвавшегося тяжелого снаряда. Когда к нему вернулось сознание, он почувствовал на себе непомерную тяжесть. Он не мог пошевелить ни рукой, ни ногою, не мог поднять голову. Но он свободно дышал. Трудно Демид выкарабкался из-под засыпавшей его земли. Когда он вылез, то не мог встать на ноги. Долго полз по земле, перепаханной снарядами, ничего не слыша и не соображая. В голове стоял странный неут-

хающий гул, в ушах звенело. Он видел лес с обтрепанными вершинами, срезанные под корень мощные дубы, кланяющиеся от ветра ветки лещины, видел птиц, порхающих в багровых лучах заката, но не слышал ничего.

Ночь пролежал под дубом — и очень удивился, что дуб похож на тот самый прадедовский тополь!..

Утром он вышел на дорогу, направляясь на восток, но далеко не ушел — схватили...

Некий зондерфюрер решил, что к нему попался не иначе как переодетый комиссар. Подручный зондерфюрера, бандеровец, заверял, что он будто бы видел Демида в штабе дивизии.

Месяц Демида мучили в гестапо Житомира. Допрашивали, били, выжгли пятиконечную звезду на груди, истязали, потом погрузили в товарный вагон и повезли в Германию.

Жестоко избитый эсэсовцами и бандеровцами, с опухшим лицом и кровоподтеками на теле, Демид лежал в вагоне, не ожидая ничего хорошего от будущего.

Потом тюрьма в Моабите, побег, но неудачно!

Чего он только не пережил и не перевидал в концлагерях! Он постоянно видит кошмарные картины...

Поймут ли его здесь, на родине?

V

Анисья бежала по склону хребта, мелькая между белыми толстыми березами черной тенью. Щеки ее — в напыске вишневого сока, кудряшки растрепались и вились медными змейками по ушам, смоченные градинами пота. Сердце сильно билось, и она прижала ладонью упругую грудь, распахнув полы полушубка навстречу ветру. Бежала — и все думала, думала...

Вот ей уже двадцать шесть лет. А большая любовь — ответная, счастливая — так и не пришла к ней.

И вдруг нежданная встреча! С тем, кого любила с детства, — с Демидом! Но — с каким! Ей стало жутко. Она бежала, бежала, будто спешила унести совесть от неумолимого позора.

Запыхавшись, не в силах остановиться на крутом спуске к присковой торной дороге, с разбегу обняв рукою шершавый ствол сосны, Анисья крутнулась возле дерева.

«Что это я? С ума сошла, что ли! — опомнилась она, уги-

рая тылом руки потный лоб.— От кого бежала-то? И вилы там оставила! Ну, дура. С чего я взяла, что он Демид? — колынуло в сердце.— Да разве похож?»

«Разве похож?» — снова спрашивала себя Анисья, осторожно отталкиваясь от дерева и продолжая удаляться от того похожего-непохожего...

Потихоньку, словно крадучись, шла она к зароду, видневшемуся в излучине Малтата.

Головешиха еще издали встретила дочь руганью:

— Как ешь шальная! Куда запропастилась-то, дура? — кричала она, идя навстречу Анисье. Вернее сказать, Головешиха не шла, а плыла — статная, высокая, на голову выше дочери, моложавая, в черном распахнутом полушубке, отороченном кудрявыми смушками.— Что там случилось-то? А вилы где? Да что ты молчишь?

— Поедем домой, вот что.

— Здравствуйте! Спятила, что ли?

— Я вижу — на всей заречной целине у колхоза один зарод сена. Кругом — одонья. Как же можно брать сено, если у колхоза последний зарод? А что будут есть коровы?..

— Э! Были коровы, а ноне будьте здоровы. Одни хвосты остались! Ни коров, ни телушек, ни овец, ни ягнушек. На процветание дело идет. Как окончательно процветем, так и без коров проживем.

— А я не буду метать это сено.

— Да что ты?! — Подбоченясь, Головешиха подошла вплотную к Анисье.— На сено у меня квитанция от правления. Деньги уплатила за три центнера! Слышишь? Твое-то какое дело, последний или нет зарод сена у колхоза? — презрительно скривила губы сердитая мать.— Ты сиди себе в леспромхозе, клади в карман зарплату да поплеывай в потэлок.

— Какая же ты в самом деле!

— Какая же? — прищурилась мать.

— Мастерница на кляузы да провокации, как про тебя сказал один человек.

На минуту Головешиха растерялась, не зная, что ответить. Ноздри ее тонкого носа раздулись, губы зло подергивались.

— Это кто же такую воньку про меня пустил? — спросила она, сдерживаясь.

— Кто бы ни пустил, а правду сказал,— отрезала дочь,

ни на шаг не отступив перед матерью.— Ты и меня кругом запутала. Долго ли так будет? Боже мой, какая же я дура!

— Ты.. ты... сдурела, не иначе! Да я...— у Головешихи перехватило дух.— Я те покажу!..

— Ты? Мне? — Анисья тряхнула головой.— Насмотрелась я, хватит. Ты меня еще в сорок первом запутала с этим проклятым дядей Мишей. Как же вы заплевали мое девичество? Чего вы с ним ждали? Перемен? Каких? Ждали, когда немцы возьмут Москву? И сводки у вас были особенные. Помню! Все помню. Как вы замутили мне голову, боже мой! А вечные пьянки! Полюбовники твои! Как все это противно и гадко, гадко!

Мать не в шутку перетрусилась. С чего Анисья вдруг разразилась обвинительной речью? Кто ее подзавел? Надо с ней поосторожней. Сдуру сама себя утопит.

— Ты лучше, милая, прикуси язык,— и, боясь, как бы кто не оказался рядом, Головешиха оглянулась.— Не раз говорила тебе: не меня, себя топишь. Себя, себя! Мне-то что? Я свое пожила. А у тебя — молодая жизнь, красота в расцвете. Побереги ее! Чего задумалась-то? Чем тебе не потрафила мать? Не я ль тянулась в нитку, чтоб ты закончила институт? Чьи денежки получала? Прожила бы на стипендию или нет? То-то и оно! Умей жить — умей крутиться. Так в нынешнее времечко. Не из-за тебя ли я крутилась? А дядя Миша... Какая ты забывчивая! Не он ли устроил тебя в институт? Погиб, может, а ты его кости перемываешь. Ишь, воскипела, инженерша! Хоть скажи, кто тебя подзавел на горе?

Анисья смотрела куда-то в сторону.

Мать еще раз напомнила:

— Думаешь, если бы утопила меня, то сама сухой бы из воды выскочила? Не-ет, так не бывает. Утонула бы первая. Видела, да скрыла. Знала, да помалкивала.— И тут же спохватилась: — Да что худого я сделала? В чем меня виноватишь?

— Что худого? — язвительно переспросила дочь.— Откуда у тебя взялось золото?.. Куда ты его сплавляла?

— Цыц ты!

— Не цыкай, пожалуйста! — отпарировала дочь.— Рано или поздно все это вылезет наружу. Да и сейчас ты скупаешь золото. Где та черная бутылка?

— Да ты что, ошалела? Белены объелась? Убиралась бы

ты из тайги, если тебя червь точит. Вот что я тебе скажу. Поживи при городе или где в другом леспромхозе. Мало ли я тебе добра припасла? Бери все до нитки, только не заедай мою жизнь.

— Не я твою, а ты мою заела! — ответила дочь. — С таким грузом, какой лежит у меня на душе, я никуда не уеду. С тобой буду век вековать... второй Головешихой!

Головешиха расплакалась, кляня себя, злсй рок судьбы и всех на свете. Она и такая, сякая, разэтакая, только ни в чем не виноватая.

— Вся-то моя разнесчастливая жизнь в узлах да в обрывках, — бормотала она сквозь слезы. — В девичестве били, били да и вытолкали на все четыре стороны!.. А что я пережила на стороне? Кто меня жалел? Хоть бы одна живая душа...

— Перестань, пожалуйста! — не выдержала дочь. — Будем метать сено.

Мать все еще всхлипывала. Анисья залезла на зарод и начала сбрасывать на сани сено охапками.

— Куда гниль-то кидаешь? — моментом воспряла мать, как будто и слез не лила. И, что-то вспомнив, сказала: — Ты еще над тем раскинь своей умной головой, что если и было что — былъем поросло. Если бы...

Завидев человека в белом полушубке, направляющегося поперек елани к зароду, Головешиха осеклась.

— Кого еще черт несет? Да он с нашими вилами! Знать, на него напали волки-то?

Анисья взглянула на Демида (это же Демид, конечно!) и ничего не ответила матери, продолжая кидать охапками пахучее сено.

VI

— Господи! — удивилась Головешиха. Она будто впервой видит этого одноглазого с вислыми седыми усами. Может, заезжал когда ночевать в гостиницу — бывший Дом приискателя, где работает заведующей Авдотья Елизаровна?

— Что у вас за кладь на лыжах? — спросила, приглядываясь к незнакомцу и не узнавая его. — Волки? Вот уж диво-то! — И с той же важностью, как держала себя, пошла взглянуть на волков. Какие матерые зверюги! Голова одного из волков разворочена пулей, а второй весь в кро-

ви — истыкан вилами. Знать, Анисья убила! Когда вернулась к незнакомцу, сказала: — Как ты только отбился, господи! Нонешнюю весну напропалую лезут к деревне, к колхозной ферме. На неделе задрали трех телок. Должно, эти самые. А волчица-то, кажись, старая.

— Не из молодых, — ответил охотник. Он успел передать вилы Анисье на зарод. И к Голоवेशихе: — Да и вы не молодая теперь, Авдотья Елизаровна, как в те годы.

Голоवेशиха подошла вплотную:

— В какие «годы»? У меня, мил человек, немало было разных и всяких годов. — Прямо и нагло всматриваясь в незнакомое лицо, усомнилась: — Я, кажись, впервой вас вижу. Незнакомец криво усмехнулся.

— Забыла, как из Белой Елани меня провожала? — напомнил, вздернув бровь над зрячим глазом. — Парнем тогда был, а ты будто такой же, как сейчас. И годы тебя не берут, и войны не гнут.

— И! Какие мои годы! — хихикнула Голоवेशиха, прикрыв рот рукою в вязаной варежке. — Мне-то, поди, не сто лет, а всего-навсего тридцать седьмой. Уж не обознался ли?

— Вот это здорово! — захохотал путник, у Анисьи на зароде вилы выпали из рук: так неожиданно прозвучал хохот. — И в тридцать седьмом году — тебе шел тридцать седьмой годок, и через двенадцать лет — тридцать седьмой годок. Когда же стукнет пятьдесят?

И тихо, но внятно назвалась:

— Демид Боровиков. Помнишь?

Голоवेशиху будто кто толкнул в грудь. Она отступила на шаг, прижав руки к полушубку. Перед ее глазами на какой-то миг полымем мелькнуло давнее и почти забытое. Арест мужа, Мамонта Петровича, о чем не очень-то горевала, хотя и побаивалась, как бы ее, «свидетельницу», не вывернули под пятки, Демид в ее избе, когда она удержала его, чтоб он не влип сдуру, осенний дождичек, притихшая, нахохлившаяся деревня, мокрая и грязная улица...

— Что пугаете-то? Господи! Да что вы!.. Скажут же!.. — бормотала Голоवेशиха и почему-то сняла варежки. — Нет, нет! Похоронная же была.

— На похоронную и рассчитывала, что ли, когда показания давала, будто я вредительством занимался в леспромхозе вместе с Мамонтом Петровичем? А ведь я тогда поверил, что ты и в самом деле ничего не знаешь! А ты, оказывается, на всю нашу, так сказать, «группу» дала показания.

Еще до того как Мамонта Петровича взяли. Ну, дела!

Головешиха безжалостно теребила пальцами узорчатую кайму пухового платка

— Да что ты, что ты! Ничего не знаю!.. Не виновата я, истинный бог. Ни в чем не виновата. Эта сам следователь Андреев напетлял, чтоб ему провалиться. Грозился, что сгноит меня в тюрьме, как дочь бывшего миллионщика, хотя я в глаза не видывала никаких миллионов!.. Как тут не подпишешь, коль тебя вот так прижмут? В уме ли я была, спроси! Ведь Аниска на руках, а кругом — ни души, ни вздоха!.. На кого бы покинула девчонку? Вот и подписывала протоколы. Не читая подписывала. Клянусь, как перед богом.

— Неправда! — раздался, как выстрел, голос Анисьи с зарода. Она смотрела вниз на мать и Демида. — Не так все было! Почему не сказать правду?

— Не так?! — Щеки Головешихи, как оползни, сдвинулись вниз; она смотрела на дочь зло и брезгливо. — Не так? Или ты за моей спиной стояла, когда я подписывала протоколы? Ты, может, лучше меня знаешь, какое было время тогда? Как меня страх пеленал по рукам и ногам — известно тебе или нет? Не из-за тебя ли...

— Оставим, Авдотья Елизаровна, — сказал Деמיד. — У меня было время подумать. Сам был не маленький, когда сдуру бежал из Белой Елани. Теперь бы не кинулся в побег. Ну да что было, то было. И быльем поросло, с обидами век не жить.

У Головешихи **отлегло** от сердца.

— Что правда, то правда, Демушка. Господи! Вижу и глазам своим не верю. Воскрес из мертвых, значит?

— Как будто воскрес, — отозвался Деמיד, еще не вполне уверенный в том. — Значит, не ждут меня?

— Какое! Сколько лет прошло-то. Мать пенсию за тебя получает. А ты вот он, живехонек. Отец-то твой, Филимон Прокопьевич, при Жулдетском лесхозе лесником. Такой же красный, как медь, и борода медная. Вот уж кого годы не берут! А ты совсем старик. И усы седые, как у Егорши Вавилова. Как ты переменялся-то, а? Глаз-то где потерял?

— В концлагере. Овчарка выдрала, — ответил Деמיד, сворачивая сигарку.

— Из плена? — оживилась Головешиха. — Как же тебя долго держали!

— Не одного меня держали и держат еще.

«Такой же гордец, каким был Тимофей Прокопьевич. А пятно-то черненькое. Из плена, что из тлена. Одна дорога — с печи на полати по кривой лопате», — подумала Авдотья Елизаровна, окончательно успокоившись: беда минула стороной!

— Мать-то не опознает тебя, ей-богу! Испугаешь ты ее до смертушки. Одна живет в доме-то. Филимон редко наезжает. Сегодня, кажись, приехал со своим Мургашкой — леосообъездчиком. Помнишь Мургашку?

— А, тот самый!.. — кивнул Демид, подумав: «Папаша опять стриганул из колхоза. Оно понятно: жить там, где пожирнее».

Головешиха будто догадалась, о чем подумал Демид:

— Умора! Ты бы знал, Демущка, как Филя завхозовал в колхозе во время войны. Мужики-то ушли на войну, кого на трудовой фронт мобилизовали, а Филимона Прокопьевича в завхозы выбрали. Фрол Лалетин был председателем; два сапога пара. Хи-хи-хи. До чего же они ловко спелись — водой не разлить. А тут еще понаехали эвакуированные с запада. Душ за двести было. Голоднющие, перепуганные. Ну, Филимон Прокопьевич пригрел которых. За буханку хлеба или за килограмм мучки — юбку с бабы снимал. Какие были у кого стоящие шмутки — все скупил. У нас ведь лисий питомник при колхозе. Так питомником-то заведовал племяш Фрола, а Филимон шкуры лисиц сбывал в Минусинске. За шкурку — шкуру драл с головы до ног, хи-хи-хи!.. Думали — денег у него тысяч триста. А тут вот, позапрошлым годом, бах — реформа. Чтоб ей провалиться. Меня и то притиснуло. Маремьяну-казачку знаешь? Ну, которая с Головней партизанствовала в гражданку. За семьдесят тысяч притащила денег на обмен. Битком набитый куль. И что же ты думаешь? Твой папаша не обменял ни одного рублика. Вот загадка-то. В те дни он как раз ездил в город с поросятами. Как вернулся с лопнувшими колхозными деньгами — из памяти вышибло, жаловался. И девки потом говорили, которые с ним ездили в город, что он там и рубля не менял. Куда же деньги девались?

Головешиха напала на торный след — выложила всю подноготную про Филимона Прокопьевича, про Фрола Лалетина, про убитых и пропавших без вести — куча новостей, и все с душком.

— Понятно!..

Демид горестно покачал головой. Папаша отличился!

Это на него похоже. Как был единоличником-хитрюгой, таким и остался!..

Голоवेशиха меж тем подковырнула, как бы мимоходом:

— Андрюшку Старостина помнишь? При тебе в леспромхозе бригадиром был.

— Помню. Где он?

— Хи-хи-хи! В лагере теперь. Прошлый год возвратился из плена из этой самой Германии. Ну, потоптался с месяц на радостях, что кости дотащил домой, потом устроился в леспромхоз начальником участка. Теперь ведь у нас новый леспромхоз — от Украины. Хохлы понаехали за лесом; погорелье свое застраивают. Дали им технику в центре. Районной власти не подчиняются — перед Украиной отчет держат. И сам директор хохол. До чего же толстущий да проворный. Веселый мужик. Анисья моя в этом леспромхозе инженером. Она ведь институт закончила, — сообщила как бы между прочим. — Ну, Андрюшка Старостин чтой-то разругался на участке с хохлами, а те его и взяли в переплет, так из плена, значит. Моментом с копылков слетел. А тут и эмгэбэ присваталось, хи-хи-хи!.. Вот уж счастьеце!

Демид поежился, будто внезапно продрог, сидя под зародом. Голоवेशиха примостилась рядом, удобно устроившись на мягкой подушке сена: в спину не дует и снизу греет. Анисья не видит их — мечет воз сена. Голоवेशиха специально отвела Демиду с глаз дочери, чтоб та не подслушивала разговор.

— Что ж ты, Дема, про Агнею-то ничего не спросишь? — вдруг переключилась собеседница, а сама так и впилась в Демиду. Тот дрогнул, но ничего не спросил. — Такая стала раскрасавица, хоть сейчас на выставку. Хоть и залазила в петлю из-за тебя, но если ты ее поманишь пальцем, побежит за тобой, истинный бог, как моя Альфа за зверем. Она ведь и родила дочку от тебя в доме Санюхи Вавилова...

Глаз Демиду сверкнул:

— Дочь?!

— Вылитая твоя копия. Полюшкой назвала.

— Моя дочь?!

— Чья еще? Твоя, твоя, миленький. Не ветрова же! — доканывала Голоवेशиха.

Демид поднялся и отошел от Голоवेशихи.

Полюшка! У него есть дочь Полюшка... А он ничего и не узнал бы о ней, если бы не выбрался из кромешного ада.

Как же он, Демид, встретится с Агнией?

Подошла Голоवेशиха. У ней еще есть новости...

— Степан-то Вавилов до майоров дослужился,— сообщила с некоторым сожалением.— Звезду Героя Советского Союза получил. В Берлине сейчас. Письмо было Агнии насчет Андрюшки. Сын-то при ней. Вот уж привалило бабе счастье — от двух мужей ребятишки, и оба мужика в живых оказались. Да еще с Золотой Звездой законный мужек, хи-хи-хи!.. А у тебя-то, Дема, какое звание?

— Военнопленный,— угрюмо вывернул Демид.

— И-и, как не повезло-то тебе! Ни орденов, ни медалей, а усы серебряные. И голова побелела, однако? Да ведь еще как посмотрят на твой приход из плена. Сыграют, как с Андрюшкой Старостиным, и вся недолга. Докажи, что ты не сивый. Характер у нашего народа знаешь какой? Если топить — топят с камнем на шее, чтоб не вынырнул. Если почнут хвалить да пригревать — очумеет который от радости и ног под собой не чует. Думает, что на небеси взлетел. Хи-хи-хи! Уморушка, не жизнь. Век так перемывают: то вверх, то вниз.

Демид чувствовал, как у него вспотела спина и начался зуд между лопатками,— давала себя знать экзема, нажитая в концлагере. Ему стало тяжело — будто темень глаз застилала. Сердце наполнилось чувством страшной горечи: помышлял вернуться домой с войны непременно героем при орденах и медалях, чтоб враз выпрямиться и обрести силу, а вышло все вверх тормашками — военнопленный! Но — живой же, живой, живой! Наплевать, в конце концов, на всякие разговоры и страхи; он будет работать, жить, и все увидят, что он не конченный человек, если даже судьба обошлась с ним сурово — не приголубила и добром не одарила. Он не поддался ни на какую провокацию американских офицеров и наседок ЦРУ, не завербовался в школу диверсантов, не стал предателем Родины. И он докажет это. Пусть не спешит Авдотья Елизаровна на его похороны!..

Но он ничего подобного не сказал Голоवेशихе: научился держать язык за зубами.

VII

Анисья проворно и ловко затянула воз бастриком. Не воз, а загляденье. Обчесала вилами со всех сторон, чтоб дорогою не терять сено, и очески приметала к зароду.

— Ловкая ты, Уголек! — похвалил Демид и спохватился: — Извини, пожалуйста, что я тебя так назвал. Сколько лет прошло, а из памяти не выветрилось. Но какая же ты раскрасавица, честное слово! Замужем?

— И, милый! — встряла Голоवेशиха со своим коньком. — Разве для Анисьи Мамонтовны сыщется жених? Кто бы на нее ни взглянул — каждому от ворот поворот. Как принцесса какая.

— Оставь, мама!

— Не ругаю же. Хвастаюсь. Али грех похвастаться?

— Спасибо, Уголек. Не струсила с вилами кинуться на волков.

— Она и на самого черта кинется, — усмехнулась мать.

— На черта легче кинуться — его в природе не существует. А вот на волков!.. Сердце, значит, доброе. Отзывчивое. Такое не у всех бьется.

А сердце Анисьи будто сжалось в комочек, готовое растаять от ласковых слов Демиды.

— Я сразу не узнал тебя. Вижу — знакомые глаза. А чьи? Не мог признать. И волосы. Такие редко у кого встретишь. Совсем забыл твои кудряшки.

— Да ты уж не влюбился ли, Демид Филимонович?

Демиду стало неудобно; Анисья смутилась и покраснела. «Бессовестная», — только и подумала дочь о матери.

— И, господи! Не было печали, так черти накачали! — всполошилась Голоवेशиха. — Головня с мужиками. Из тайги тащутся, медвежатники. Давай-ка, Анисья, заведем воз на другую сторону зарода. Пусть их лешак пронесет мимо.

— А что особенного? — спокойно ответила Анисья. — У тебя же квитанция на сено от правления колхоза?

Охотники шли дорогою гуськом друг за другом. Впереди гнулись двое в упряжке — тащили за собою какую-то кладь на лыжах. Двое последних остановились, говорили о чем-то, к ним еще подошел охотник с ружьем.

— Головня агитирует, чтоб ему лопнуть! — ругалась Голоवेशиха.

Головня! Мамонт Петрович!

— Так он жив-здоров? — спросил Демид.

— Еще в сорок седьмом вернулся с отсидки, — небрежно кинула Голоवेशиха, глаз не спуская с высоченного Головни. — Может, пройдут мимо.

— Я рад. Очень даже!

— Пойди тогда к нему навстречу, порадитесь вместе, —

присоветовала Головешиха.— Сюда летит, чтоб ему окосеть.

— Мама!

— Молчи, когда не спят сычи. Мне придется отбрехиваться от заупокойного активиста, чтоб ему на лыжах разъехаться.

За Головной шли еще двое. Мамонт Петрович первым подлетел к зароду на коротких охотничьих лыжах, подшитых камусом — шкурками с голенью сохатинных ног.

Высокий и поджарый, прямой, как телеграфный столб, в полушубке и дождевике нараспашку, с двуствольным ружьем за плечами.

— Па-а-анятно! Грабишь?!

Подкинул рукавицей рыжие торчащие усики, оглянулся на своих спутников:

— Вот полюбуйтесь! Собственной персоной Авдотья Елизаровна — моя предбывшая супруга. Моментик. Как вам это нравится? И ты, Анисья?! Тэк-с! Великолепно.

Длинное, носатое, очень подвижное лицо Мамонта Головни со впалыми щеками было одним из тех лиц, о которых говорят: щека щеку ест. Пунцовое от долгого пребывания на морозе, оно будто затвердело, подернувшись медной окалиной. И дочь тут же! Его дочь Анисья, из-за которой он не раз схватывался с Головешихой еще в те годы, когда Аниска была маленькая,— вот до чего она докатилась!..

— Тэк-с,— крикнул Головня, шумно вздохнув.

Двое других охотников помалкивали. Один из них, участковый милиционер Гриша — медлительный, тихий, недоуменно косился на незнакомца в белом полушубке; второй — здоровенный вислоусый Егор Андреянович, бывший партизан отряда Головни, поглядывал на Анисью с Головешихой с некоторым участием: не наша, мол, вина, что налетел на тебя твой бывший супруг. Демид, в стороне от всех, у зарода, чувствовал себя подавленно. Мамонт Петрович показался ему каким-то жалким, прихлопнутым, хотя и держался воинственно. Жалел Анисью-Уголька. Она ни за что влипла — уж в этом-то был уверен Демид. Головешиха самого сатану запутает и обедеет вокруг пальца.

А голос Головни, насыщаясь гневом, постепенно набирая силу, гудел на всю окрестность:

— Один зарод сена на весь колхоз, на всю посевную, а тот растаскивают, иждивенцы проклятые! На работу вас

с фонарем не сыщешь, на воровство — тут как тут. Навьючили воз — коню гуж порвать, и ждете ночи, чтоб задворками к своему огороду подвезти. Не выгорело? Влипли? Ну погоди, гидра, высадим тебя в отдаленные земли!

Голоवेशиха картинно подбоченилась:

— Не ты ли меня выселишь?

— Я!

— Отвали ты от меня на полштанины!.. Индюк ты краснотопый!

— Я тебе еще покажу! Погоди, вот напишем акт.

— Не надо шуметь, Мамонт Петрович, — вмешался покладистый Егор Андреянович. — Одним возом все едино все конские, а так и коровьи утробы не набьешь.

— Примиренческие рассуждения, Андреяныч, — огрызнулся Головня. — Если так миротворствовать, то очень определенно сядем все на шетку. Ты подумал, как жить в дальнейшем? Грабят колхоз всякие присоски, как вот Голоवेशиха, а мы глаза закрываем. Откуда будет достаток, если на корню тащат хлеб, воруют животину, а списывают как погибшую али пропавшую в тайге от зверья. Кончать надо эту лавочку. Авдотье с ее заезжей-переезжей гостиницей пинком под зад! Порядок нужен. Вот они, воры! — ткнул на Голоवेशиху и Анисью. — Не жнут, не пашут, а живут припеваючи. Отчего такое происходит? Ты вот, Григорий, как участковый милиционер, ответь: какую борьбу проворачиваешь с расхитителями? А никакую! Сквозь пальцы глядишь на колхозное добро. Будто оно есть бесконечно далекий Млечный Путь.

Голоवेशиха, подбоченясь и чуть склонив голову к плечу, всем своим видом как бы отвечала: мне наплевать, куда и кому предназначено сено — для посевной ли, для коров ли на МТФ; у меня вот разрешение правления «Красного таежника». И, в подтверждение этого, подошла к участковому Грише, подала квитанцию:

— Вот погляди, Гриша. За сено уплачено. Уйми ты этого индюка за-ради Христа!

За сено и в самом деле Голоवेशиха уплатила в колхозную кассу тридцать два рубля семь копеечек. Наряд на получение сена подписали председатель колхоза Лалетин, бухгалтер Вихров-Сухорукий. Честь честью.

— Порядок, — вздохнул участковый Гриша, возвращая квитанцию.

— Какую она еще маневру придумала? — оторопел Го-

ловня.— Ага! Квитанция. Па-анятно-о! Знаешь, чем пахнет твоя хитрость, Авдогья?

— Сеном пахнет, индюк! — невозмутимо ответила Головешиха, пряча квитанцию.— Так и прет от него медвяный дух. Принюхайся, пока я не увезла его домой. Знать, уж такое мое счастьеце. Кому — сено, а кому — шиш под нос! — И поставила перед носом Мамонта Петровича свое трехпалое сооружение.— Видел? И весь тебе тут смысл.

— Замри, гидра! — брезгливо процедил сквозь зубы Головня и тут же обрушился на Анисью.— И ты, Анисья! И не стыдно тебе? Как ты можешь смотреть людям в глаза после такого совершенствования? Позор! Вот до чего ты докатилась, технорук леспромхоза. Мало тебе зарплаты в одну тысячу семьсот рублей, когда колхозники перебиваются на копейках, так ты и на копейки позарилась. Кто ты есть после этого, спрашиваю? Воровка!

Анисья, ни слова не сказав, кинулась в сторону тайги. Слезы обиды, стыда и позора подступили ей к горлу. Отец! Это ее отец! Пусть мать давно отвергла отцовство Головни, но сама Анисья слышать не хотела ни о каком другом отце, кроме Мамонта Петровича. Мало ли что не скажет такая мать, как Головешиха!..

— Это ты зря, Мамонт Петрович,— заметил участковый Гриша.— Если имеется документ, как можно говорить, что сено воруют? Через документ не воруют.

— Па-азво-оль!

Егор Андреянович махнул рукой и, ничего не сказав, пошел прочь от зарода. Следом за ним участковый Гриша. Головня остался лицом к лицу со своей «предбывшей».

— Поворачивай оглобли! — подтолкнула Головешиха.— Индюк ты заполошный. Чего ищешь, скажи? Справедливости для всего света? А кто тебя просил искать эту справедливость? То ты носился, как чумной, с мировой революцией и ног под собой не чуял, то тебя кидало по тайге за бандитами, как за теми зайцами!.. То тебе не потрафил сам Сталин, и ты на него шипел, индюк!.. А он тебя за шиворот да в ящик!.. До какой же поры ты будешь эдак кричать и носиться на красных лапах? Спасибо говори колхозникам, что они доверили тебе конюшню, кусок хлеба дали на старости лет, да и Маремьяна-партизанка пригрела! Сдох бы ты под забором, каменный плакат мировой революции! — И, круто повернувшись к прихлопнутому Демиду, Головешиха мах-

нула широким жестом: — Вот, полюбуйся, Демид Филимонович, твой друг и соратник Мамонт Петрович!.. Радуйтесь тут, а мне надо ехать!

Головня на некоторое время оглох от подобной отповеди, и тем более поразили его последние слова Голоवेशихи. Демид Филимонович? Вот этот белоусый?

Демид сам подошел к Мамонту Петровичу и подал руку:

— Здравствуй, Мамонт Петрович. Вот как мы встретились!

— Миленькая встреча! — прошипела Голоवेशиха.

Жалостливо и недоуменно помигивая, Мамонт Петрович некоторое время молчал, собираясь с духом.

— Постой, постой! — Не отпуская руку Демиды, Головня пригнул голову, будто диковину разглядывал.— Демид?! Как же ты, а?! Откуда? Это же — это же — едрит-твою в кандибобер, событие!.. Демид, а? Живой! Очень даже натурально. Жив-здоров и невредим святой Никодим! Явился — не запылится, только усы белые. Но как же так — усы белые, а? Ах ты, едрит-твою!..

Мамонт Петрович сграбастал Демиды и стиснул в объятиях, бормоча:

— Рад, Демид Филимонович! Как если бы невооруженным глазом открыл новую планету. А у нас тут видишь какие порядочки? Одни — жар загребают чужими руками, а другие — вкалывают!.. Ну, нет. Так дальше не пойдет. Ну да, про порядки и прочее потом поговорим. Откуда ты? Што-о-о? Из плена?! Угу! Как же это ты, позволь?!

— Как на войне, обыкновенно,— поутих Демид.

— Само собой, на войне. Но... М-да! Надо бы нам потолковать с тобой. Я ведь тоже в известном роде на боевых фронтах побывал. Десять лет Колымы хватанул! Как произошло подобное, не думал? Эге! Математика из двух действий, как дважды два. Всякие недовольные Советской властью, как вот эта гидра, почуяв кампанию, которую развернул Ежов как борьбу с врагами народа, ловко передернули карты. Руками Советской власти прикончить доподлинных революционеров, каким был я, а так и другие пострадавшие. И если вникнуть...

Голоवेशиха не позволила вникнуть — заорала во весь голос:

— Ааа-ааа-аааниисьяааа!

Головня погнул голову. Зря он накричал на Анисью, всячески позоря дочь!..

— До свидания, Мамонт Петрович,— попрощался Де-
мид.— Пойду за Анисьей. Напрасно вы так...

— Нече за ней ийти,— ворчула Головешиха.— Сама
найдет дорогу. Это ты, индюк, чтоб тебе лопнуть с твоим
горлом! Нно! Тяни, Гнедко!— И поехала. Сено по-
везла.

Головня остался у зарода, растерянный и жалкий.

Демид шел следами Анисьи до излучины Малтата. В лесу
снег был глубокий и рыхлый. Анисья местами провалива-
лась, но все шла и шла к реке. Так она спустилась на лед
и взяла вниз по Малтату. Чем дальше, тем спокойнее были
ее шаги: ровные разрывы между следами.

«Дойдет,— подумал Демид, присаживаясь на корягу по-
курить.— Такие-то дела, Демид Филимонович,— с горечью
сам себя пожурил.— Жизнь — штука суровая. Каждому
своя доля. Что-то будто сломалось в Мамонте Петровиче.
А жаль! Совсем не такой, каким был!.. Уездили сивку кру-
тые горки, да Головешиха помогла, черт бы ее подрал. Ну и
баба!.. Надо же?! Как ее ни вертело-крутило, а все на по-
верхности плаваает. Из нетонуших, что ли?»

ЗАВЯЗЬ СЕДЬМАЯ

I

Время! Кто знает, что такое время, истинный смысл
его?

Смутные ли, беспокойные тени былого, как лучом проре-
зая нашу память, говорят нам о времени минувшем, незаб-
венном! Морщины ли, некстати набежавшие на лицо, напо-
минают о прошлом: где-то там, далеко, детство, отрочество,
юные мечты, возмужание! Когда-то, совсем недавно, ка-
жется вчера, ты переступил отроческую черту и почувство-
вал себя не по возрасту взрослым человеком. Давно ли ты
задумал то-то и то-то, а вот уже минуло столько лет!..

Кто, скажите, кто не хотел бы заново пережить счастли-
вый день своей жизни? Кто с умилением не вспоминал бы-
лое? Кто, возвращаясь в родные места, не говорил себе:
«Как тут все переменялось!» — не замечая перемен в самом
себе?

Можно ли пережить заново минувшее? Есть ли грань
времени: когда оно началось и где ему конец?

Оно без конца и начала.

Никто не отметил чертой его первоначальной грани, не указал конечной. Не задержать его, не повернуть и не ускорить.

Попробуйте ступить в одну и ту же проточную воду два раза. Там, где только была ваша нога, — журчат новые струи. Река — непрерывное движение.

Время, как и река, мчит свои воды вперед, в будущее, оставляя в нашей памяти либо смутные, как далекие тени, либо яркие, как утренние зори, воспоминания.

Воспоминания — следы жизни...

II

«Как тут все переменялось!» — думал и Демид, приглядываясь к окрестностям Белой Елани.

И дорога совсем не та, и лес как будто поредел, и горы, кажется, стали выше, синее и круче.

Демиду показалось, что он уже видит тополь. Тот самый прадедовский тополь!

Странно — тополь совершенно белый, огромный, расплывчатый, как облако.

Демид остановился и, приставив руку козырьком к шапке, долго смотрел в низину поймы. Нет, то не тополь белый, а облако тумана, медленно ползущее по склону Лебяжьей гривы.

Вечерняя мгла кутала окрестность. Демид ждал ночи — просто ноги не несли. Чем ближе к дому, тем тяжелее путь.

Отчий дом чернел высоко на горе безглазой глубиной.

Да, да! Как тут все переменялось. И отчий дом двенадцать лет назад был, кажется, выше и светлее, и небо будто опустилось ниже.

Он хорошо помнит, какие нарядные росли сосны на том склоне Татарской рассохи, где его прижали волки. Теперь там пашня.

Время меняет не только человека, но и землю.

Удивительная картина! Он, Демид, успел побелеть за двенадцать лет, а дом его почернел и, кажется, наполовину врос в землю.

«Какой я был дурак и шалопай!» — подумал Демид, припоминая былое. Какая теперь Агния? Он никак не мог представить себе, какой была Агния в то давнишнее время. Помнит: у Агнии карие глаза с поволокой, с точечками, черные брови и белая высокая шея. Напрягая память, Демид ста-

рался увидеть всю Агнию, и вдруг, совершенно некстати, наплыло лицо одного солдата, смертельно раненного в живот. Шел бой под Киевом. Демид сидел со своим минометом в окопчике, а рядом с ним молоденький необстрелянный солдат с винтовкой. Рванул снаряд, и винтовка из рук солдата выпала. Осколок снаряда угодил солдату в живот. Демид пытался расстегнуть шинель у солдата и вдруг испугаясь, глянув, что наделал осколок. Солдат в упор смотрел на него белыми глазами. Его безбровое лицо, совсем мальчишеское, было удивительно спокойным. Потом оно вдруг потемнело, и глаза начали гаснуть. «Как она меня гвозданула, а? — проговорил умирающий мальчишка, глядя в упор на Демида.— Мама осталась совсем одна! Ма-амочка! » И этот предсмертный вскрик солдата, и то, как омертвели светлые мальчишеские глаза, навсегда запомнились Демиду. Так и умер солдат с удивленно-распахнутыми глазами, прижимая правую руку к животу, а левую к сердцу.

— Как она меня гвозданула, а? — повторил Демид слова неизвестного солдата, глядя в беспредельную даль. Там, за этой далью, далеко-далеко, он столько пережил и выстрадал, что ему хватит воспоминаний на три жизни, если бы он их имел... Одну-единственную — и ту укоротили. Каменные блоки, бункера, эсэсовцы, овчарки и черствые, как камень, люди!..

«Трудно мне будет, — невольно подумал Демид.— Ну, да ничего. К земле протяну руки — в ней вся сила».

Разве думал он когда-нибудь, что ему придется вот так прибиться к родным берегам, измотанному физически и нравственно? Не думал, и во сне не снилось.

III

Когда Демид почувствовал под ногами поскрипывающие порошки знакомого крыльца, окинул взглядом запущенную ограду отцовской усадьбы, увидел черные, перекосившиеся столбы, подпиравшие добротный поднавес, крытый лиственными плахами, — сразу обмяк, обессилел. Никаких признаков животины в ограде не было. Из-под снега, у самого крыльца, торчали толстые будылья прошлогоднего дикотравья. Наверное, летом вся ограда зарастает дурниной. На карнизах дома пристыли сверкающие в лунном свете потеки подтаявшего снега. Ворота в лиственных, обшитых тесом столбах, не похожи были на те, какие знал

Демид. Резной навес над воротами, где в давние времена обитали голуби, сейчас обвалился, на фоне неба торчали черные ребра стропил. Большие ворота, занесенные до половины подтаявшим и посеревшим сугробом, как видно, давным-давно не открывались.

Демид вспомнил, каким нарядным был дом отца в пору его детства. В ограде, вымощенной торцом, с трех сторон красовались вместительные поднавесы, где, чинно расставленные, смазанные маслом, стояли машины: конная молотилка, конные грабли — зубьями их он любил звенеть. Под вторым поднавесом спасались от непогодного времени телеги, сани, дрожки, выездная кошевка, обитая медвежьей шкурой, резные дуги с колокольчиками, сбруя и всяческая хозяйственная утварь. Третий поднавес служил для сушки конопли и льна. Здесь же, в глубине поднавеса, был двойной амбар для зерна, а слева — глубокий погреб для хранения солонины и мяса осеннего убоя. На заднем дворе, где сейчас пустырь, был скотный двор с летником и зимником. А там, дальше, в необозримом огороде, стояли рядками расставленные ульи пчел. Когда-то Прокопий Веденеевич жил богато, как и большинство крестьян Белой Елани. До кулака Прокопий Веденеевич не дотянул — времени не хватило, да и жаден был на копейку. Скорее сам согнется в три погибели на пашне, домашних загоняет до полусмерти, но работника не наймет. «Наемный человек — поруха хозяйству, — говаривал Прокопий Веденеевич, рачительный и суетливый. — Работник за копейку рубль в землю вгонит. А мы сами. Попотеем, зато зимушку пузо погреем».

Как тут все переменялось!

Мать — старуха. В силу ли ей содержать дом и хозяйство? Отец, как сообщила Голоवेशиха, при лесхозе обосновался. Да, он знает отца. Не прижился он в деревне. Единичник. Собственник.

Настывшее железо щеколды жгло руку. Демид долго стучал кольцом в дверь, чувствуя, как кровь бурно приливала к голове и к сердцу, отчего ему стало жарко. Он распахнул полушубок, сошел с крыльца и, подтянув лыжины с кладью, повернулся на хлопнувшую дверь. На крыльцо вышел Филимон Прокопьевич. Отец!

— Кого тут черт носит?!

И этот злой, ворчливый голос отца как-то сразу воскресил тяжелую память детства. Будто что-то наплыло на Демиду взморозью, серым, пробирающим до костей туманом...

— Погреться можно, хозяин? — спросил Демид, зябко потирая ладони.

Филимон Прокопьевич рывкнул:

— Христарадничаешь? Самим жрать нече!

Вот теперь он окончательно узнал отца. Такой же он скупой и черствый!..

— На тепло-то не скупись, хозяин.

Филимон Прокопьевич булькнул, как рассерженный индюк:

— Тепло, старик, оно тоже даром не дается в таперешние времена. Откуда будешь?

Демид ответил с заминкой:

— С... прииска.

— С которого? Тут приисков много, господи помилуй, и все на ладан дышат.

— С... Благодатного.

— Эва! Что у те за кладь? Волки? Эх-ва... Где завалил? В Татарской рассохе? Ишь ты! Тут их пропасть. Волчица и сам волк? Смотри ты!

Филимон сошел с крыльца, пнул ногою волков, нагнулся и, запустив пальцы в шерсть, наставительно проговорил:

— Ошкуривать надо, приискатель. Ночь переночуют — утре шкуру зубами не отдерешь. Давай помогу с половины.

— Берите их целиком! — кинул Демид, не в силах одолеть неприятную нервную дрожь.

Филимон Прокопьевич еще раз булькнул гортанным выдохом, но миролюбиво проворчал:

— Оно и то верно говоришь, старик. Куда тебе с ними канителиться. А мы вот их заташим в баню, она еще горячая — недавно мылись. А потом я их ошкурую. Хе-хе-хе. Переночуешь у меня, буханку хлеба на дорогу возьмешь, то, се, чай там, постель, погреешься — все едино расход, а не приход. Дам тебе на четушку. Далеко путь держишь-то? Ну заходи.

Демид втянул голову в плечи, деревянным шагом поднялся на крыльцо. За ним шел сам хозяин. Сколько лет не был в сенях Демид, а безошибочно впотьмах опустил руку на дверную скобу. Напахнуло теплым, застоявшимся воздухом избы. Полумрак. Первое, что бросилось в глаза Демиду, — омертвевшие ходики. Черный пятак неподвижного маятника, стрелки, застывшие на четверти третьего, — не то дня, не то ночи. Матово-темное стекло рамины, закрытой ставней. Под потолком горела семилинейная лампа под аба-

журом. Стены, когда-то крытые охрою, теперь почернели.

Филимон Прокопьевич по-хозяйски прошелся в передний угол, сказал, чтоб старик погрелся, а затем сообщил старухе, что прохожий приискатель заночует у них и пусть старуха подогреет чайку да соберет на стол «что бог послал».

IV

Демид стоял в тени у порога. От железной печки несло жаром. Ноги Демиды словно приросли к половицам. Во рту сохло. Он облизнул запекшиеся губы и, закусив изнутри щеку, украдкой взглядывал на мать. Пожелтевшее, маленькое, изрезанное морщинами вдоль и поперек лицо, и — тусклость. Как на старинной иконе. Какая она старенькая, его мать! Коричневая кофтенка бог весть из какой материи, мешковатая юбка, чирки на босу ногу, седая, трясущаяся голса. Она как-то отчужденно-безжизненно глянула на пришельца и тут же отвернулась, пройдя в куть, шаркая пятками чирков.

— Поляночка! Это не мать пришла, вылазь. Чай-то будешь допивать?

— Я напилась, бабуся,— ласково пропел детский, еще не окрепший голосок, ожививший мертвые стены.

У Демиды затряслись ноги в коленях. Полянка! Неужели его дочь? Какая она? Почему она здесь?

И сразу же больно заняло сердце. Но тут взгляд Демиды уперся в пунцовый загривок складчатой шеи отца. Мать едва жива, а папаша раздобрел! Он бодр, румян. Борода отца, такая же красная, как и его загривок, с вьющимися волосами, расчесана, как у Иоанна Кронштадтского, чей портрет сорокалетней давности, похожий на чайный поднос, украшает стену над мертвыми ходиками. Сколько годов прошло, а тени минувшего, отжившего, кажется, приросли к стенам Филимоновой твердыни.

В дверях горницы показалась, как в черной рамине, одиннадцатилетняя Полянка. Рослая, по-детски тонкая, белокурая и белолицая, в темном платье под белым фартуком. Полюшка! Вот она какая, Полюшка! Демид видел ее пухлые губки, легкий подбородочек, кудряшки волос и большие, доверчивые, наивно открытые на жизнь глаза. Его глаза!

Демид вздохнул и выпрямился. У него было точно такое состояние, словно он после долгого охмеления обрел наконец трезвость и увидел вокруг себя вещи и явления жизни такими, какие есть они на самом деле, действительными. И отца он видел теперь единственным глазом в полный рост, и Иоанна Кронштадтского на жести, и согбенную мать, и вот эти черные, прокоптелые стены.

Полюшка! Полюшка! Чувство стыда, горечи, раскаяния комом подкатило к горлу — не дыхнуть. Хорошо, что он стоит в такой густой тени, да еще у порога, и на него никто не обращает внимания, как на случайного прохожего, которому из милости открыли дверь.

— Ты, Полянка, ступай домой, к матери, — пророкотал Филимон Прокопьевич (хозяину не хотелось сказать при Полюшке, что ему достались дармовые волки). — Ступай. Потому — порядок требует.

— Что ты ее гонишь? — огрызнулась мать.

— Ты помалкивай, старая. Я тут хозяин.

— А ты хозяйствуй в лесхозе! Корову и нетель увел, углы оставил, да и над углами приезжаешь командовать? Поди к Голоवेशихе и там хозяйствуй! А нас не трожь. Я, может, век доживу с Полянкой. И дом ей откажу. Все не бросит, похоронит честь честью.

— Ты дом-то сначала заведи, а тогда и отказывай.

— Это мне-то заводить дом? — выпрямилась старуха. — Сорок лет гнула на тебя спину, и угла своего нет? Ишь как рассудил! Дом на колхозной земле. Я десять лет при колхозе роблю, а ты по заработкам прохлаждаешься! И зверина у тебя, и дичина, и бог твой там. Молитесь хоть черту, хоть ведьме, окаянные. К кому ты утресь заявился, прежде чем к своему дому подъехать? К Голоवेशихе! Все знаю, боров. Привез ей, поди, свежей рыбки, медвежатины, орешков — все забава ведьме. Вот на кого нет управы! Черна, как змея, а норовит отбелиться. Доберется до нее Головня! Вытряхнет из деревни.

— Наперед она его вытряхнет из штанов. Голоवेशиха не колхозная моль, а баба со смыслом. Она тебе так вытряхнет, что и родню не вспомнишь.

— Дедушка, а что у вас за секта? Такая же, как у деда Акима? — спросила Полюшка, хитровато поглядывая на Филимона Прокопьевича.

Филимон Прокопьевич не удостоил внучку ответом. Послышался звук хлопнувшей калитки.

— По стуку узнаю — Агнея. Она так ходит, — сказал он.

Полюшка шмыгнула в горницу, Филимониha сморкнулась в передник и, еще более согнувшись, засуетилась с чайником.

— Отогрелся, старче? — обратился Филимон Прокопьевич к одноглазому путнику. Сам присел на лавку, чинно распушив бороду на две половины.

Прислушиваясь к скрежету железной щеколды на сенных дверях, к шагам Агнии, к тому, как она нашарила дверную скобу, Демид отпятился к печке и застыл белой тенью на ее темном фоне.

В избу вошла Агния без стука, высокая, в плюшевой жакетке, в белых чесанках и в пуховой шали, небрежно накинутой на голову.

— Здравствуйте.— Агния остановилась у порога. Заметив белоголового седоусого человека, сощурилась и спросила у Филимониhi:

— Полька у вас?

— Где же ей быть еще, Аркадьевна? — поспешно отозвался Филимон Прокопьевич.— Вот спряталась в горницу и велела сказать, будто ее нет.

Агния горестно вздохнула:

— Замучилась я этот год с ней. Как с ума сошла! Работы по горло, дома приходится бывать в неделю раз, а тут еще она села мне на шею. Ни учиться, ни помогать в доме ничего не хочет. И что с ней? Двойки, двойки! С осени начала хорошо, ну, думаю, остепенилась после третьего класса. И вдруг тетради в сторону, книги побоку, и пошла!.. То в кино, то вчера вместо школы умудрилась стригануть в Кижарт!

— Знать, переняла все штуки Демидовы,— протянул Филимон Прокопьевич.— Тот, не приведи господь, до чего был упрямый. Драл я его как сидорову козу.

— Что и говорить, прикладывал ты руки к Демушке,— вздохнула старуха.— И за дело, и так, а все березовой кашей потчевал. Бил-то за что? За доброту Демушкину! Тот каким рос? Рубашку с плеч для другого, а ты за дубину и потчевать: «Не растаскивай! Не будь простофилей!»

— А ты бы как хотела растить человека? — огрызнулся Филимон Прокопьевич.— Чтоб все имущество растащил да и тебя бы в залог отнес в сельпо. Так, что ли?

Агния хотела было сесть на стул, поданный ей Филимоном Прокопьевичем, но почему-то, взявшись рукою за спин-

ку стула, снова оглянулась на незнакомца у печки и задержала на нем взгляд.

— Агния, — тихо, очень тихо сказал он.

Какая-то страшная сила тянула Агнию к белоусому человеку, назвавшему ее имя.

— Не узнаешь? — снова проговорил незнакомец, машинально проведя темной ладонью по носу, губам и подбородку.

Молчание в избе стало тягучее, настороженное, если бы эти слова грянули с самого неба, — и тогда бы они так не оглушили Агнию. Еще до того как он назвал ее имя, ей почудилось, что это... Демид. Но вот сейчас, когда он знакомым жестом провел ладонью по лицу, она уже не сомневалась, хотя и заставляла себя это делать. «Не может быть! Нет, нет! Мне показалось!» — Она подошла вплотную к Демиду и откачнулась на косяк двери, беспомощно опустила руки.

— Вот и я... — проговорил Демид, жадно заглатывая горячий воздух, обжигающий губы и горло.

— Да ты кто будешь, приискатель?! — с тревогой спросил Филимон Прокопьевич, когда старуха, ойкнув, опустилась на лавку.

— Демид! — вскрикнула Агния и, пригнув голову, ткнулась лбом в косяк, тихо всхлипывая.

— Дему-ушка-а! — визгливо прозвенел голос матери. — Ай, господи! — Мать рванулась к сыну, но у нее подкосились ноги, и она упала на пол, сперва на колени, а потом ткнулась головою в половицу. Демид подскочил к ней и бережно усадил на лавку. Она хватала его за плечи, тянулась ладонями к его лицу, но руки у нее падали, как плети.

— Демушка! Демушка! — бормотала мать словно в забытьи.

Филимон Прокопьевич растерянно разводил руками, то поднимаясь, то садясь на лавку. Полюшка, выскочив из горницы и не понимая, в чем дело, кинулась к матери.

Демид, осторожно отстранив мать и не глянув на отца, подошел к Агнии.

— Агнюша!.. — Что-то сдавило ему горло, лицо перекопилось, побледнело. Полюшка испуганными глазами глядела на него снизу вверх. — Полюшка!.. Доченька!.. — И, схватив девочку, прижался к ее щечке своим мокрым глазом.

— Светопреставление! — бухнул Филимон Прокопьевич. — И сказано в Писании: да вернется блудный сын к

дому породившего его отца. Мургашка, вставай, леший!
Мургашка, беспробудно спавший на лавке под тулупом, дернулся и, поспешно сев, спросил:

— Ты меня звал, Филя?

— Вставай, вставай, светопреставление!

Агния будто очнулась. Голова ее склонилась Демиду на плечо, а руки словно не по ее воле обвили Демида.

— Демушка, Дема! — шептала она, всхлипывая. — Я так и знала, так и знала, что ты жив! Знала я, чувствовала!.. Дема!..

— Прости меня, Агнюша!.. Прости!.. Я...

— И сказано в Писании, — гремел Филимон Прокопьевич, — до семи ли раз прощать сыну моему, согрешающему супротив меня? — И ответил господь бог: «Не говорю до семи раз, а до седмижды семидесяти раз!»

Однако Филимон Прокопьевич, прежде чем подойти к сыну со своими отцовскими чувствами, вспомнил о драгоценной кладу у крыльца:

— Вставай, Мургашка, — заторопил он своего подручного. — Тебе говорят, вставай, лешак! Бери нож свой да иди ошкуруй волков. Сын вот возвратился, двух волков приволок. А завтра премию цапнем, хе-хе-хе. — И, выпячивая грудь, направился к Демиду и Агнии. — А про меня-то забыл, Демид? Негоже. Я для тебя первая статья. Потому отец...

Дальнейшее осталось невысказанным. В сенях раздались чьи-то голоса, шум ног, кто-то шарил по стене в поисках дверной скобы, наконец нашел ее, и вот — на пороге сама Авдотья Голоवेशиха, а за нею — сестры Демида: Фроська Корабельникова и Мария Спивачиха. Шествие замыкал участковый милиционер Гриша, детина под потолок ростом, в форменной шинели, подтянутый, строгий и важный.

V

Пожалуй, никого еще так не проклинал Демид, как Голоवेशиху в этот поздний час. Есть ли у ней хоть капля совести?

— С праздником вас, — врасстяжку заговорила Голоवेशиха, проходя в передний угол. — Не ждали этакой радости? Господи, каких перемен на свете не происходит! Другой раз — темень, глаза выколи, и вдруг — замельтешил огонек. Вот и свиделись, сердешные! А ведь не было бы у вас none радости, кабы не моя Анисья. Говорил Демид иль нет, как

Анисья спасла его от волчьего? Господи, что было-то!..

Сестры — Фроська и Мария — кинулись к брату. Белокурая полненькая Фроська повисла на шее Демида, оттеснив Агнию к кровати. Черноволосая Мария, плача и сморкаясь, вспомнила погибшего на фронте мужа. У нее пятеро детей, один другого меньше.

Филимон Прокопьевич, не обращая внимания на сына и дочерей, распушив бороду обеими руками, не знал, куда и посадить Авдотью Елизаровну.

— А я к вам не с пустыми руками,— сообщила Головешиха, поднимая на стол вместительную продуктовую сумку, откуда достала три поллитровки водки, несколько банок консервов, селедку и кусок медвежьего мяса, килограмма на три с половиной.— Вот и я побывала на охоте. Медвежатина-то свеженькая.

— Что же мне делать-то, осподи! — опомнилась Филимониха, все еще не осознав, что ее единственный сын воскрес из мертвых.— Гостей-то принимать надо, Филя, а у нас...

На призыв матери отозвалась проворная Фроська, любимица Филимона Прокопьевича. Она сейчас же сбегает домой, принесет и варево, и жарено, и самогонки четверти три, которую Фроська в присутствии участкового Гриши назвала скромно «медовухой на хмелю».

— Давай, давай, Фрося! Тряхни заначку мужика свово. Ну а что Мария притащит на встречу брата?

— А что мне тащить, тятя! Пятеро голодных ртов...

— Хе-хе-хе, действительно,— отозвался Филимон Прокопьевич, разведя бороду обеими руками.— Без них можно обойтись.

— Веди, веди, Маруся, всех своих ребят. Обязательно! Я хоть погляжу, что у меня за племянники и племянницы,— сказал Демид, глянув на отца исподлобья.

Участковый Гриша, переждав суету хозяйских распоряжений, подошел к Демиду и присел на лавку.

— А я тебя, Демид, у зарода ни за что не признал!.. Значит, спытал хлеб-соль у союзников? Здорово они тебя устряпали. Ну, ничего, дома поправишься. Были бы кости, мясо нарастет. Усы сбрей. Зачем тебе седые усы? Ты ж мой годок.

Вышло так, что Агния с Полюшкой оказались в углу возле дверей, в суматохе оттесненные от Демида, на деревянной Филимонихиной кровати, на куче рухляди и рваньи.

Настороженная, немножко испуганная происходящим, Полюшка не спускала глаз с Демида. Отец! Это же ее отец!.. Вот этот высокий, белоголовый, усатый, с заветренным лицом человек в солдатской гимнастерке без погон — ее отец! Она же так много слышалась про Демида, который будто бы жестоко обманул ее мать. Как обманул? Когда? Она не знает. Но все говорят, что Деמיד был плохим человеком, и вот Полюшка видит отца — и совсем не такого, каким она представляла его. У него такой мягкий, душевный голос и ласковый взгляд часто помигивающего глаза.

Агния между тем решала трудную задачу. Самолюбие ее, гордость, боль, которую испытала, были оскорблены. Как же ей поступить сейчас? Встать и уйти? Ну а потом? Завтра, послезавтра?

— Полюшка, собирайся, пойдем.

— Что ты, Агния? — спохватился Деמיד, покидая участкового Гришу. — Куда идти? Что ты!

— У нас есть свой дом, Деמיד... Филимонович.

Агния подала Полюшке шаленку и поторопила одеваться.

— Да что ты, Агнюша? Я же... я же... еще не успел повидаться с Полюшкой. Если бы я знал, что у меня растет такая хорошая дочь...

— Какая она тебе дочь? — выпрямилась Агния, застегивая жакетку. — Мой грех — мои и заботы. Что ворошить-то старое?

— А старое-то, Агния Аркадьевна, на хмелю настояно, крепче молодого на ржаной закваске, — ввязалась в разговор Головешиха, выдвигаясь на середину избы. — Может, ты думала, что вот, мол, заявила Головешиха и дорогу тебе поперек перейдет. Не думай так: не дура, ума набралась.

Агния не слушала Головешиху. Давнишняя обида на Демида хлынула из сердца, холодом налив ее карие, печальные глаза.

— Ну что ты копаешься? — тормошила она девочку.

Деמיד вдруг обнял Полюшку и прижал ее к себе:

— Моя ты, моя ты! Полюшка!.. Не уходи!

Руки Полюшки тянулись к Деמידу, но Агния, схватив дочку за воротник пальто, выдернула ее из объятий отца, толкнув ногою дверь, не вышла, а боком вывалилась в сени вместе с Полюшкой.

— Пусти меня! Пусти! — кричала Полюшка, отбиваясь от матери.

Демид хотел было кинуться в сени, но загремел Филимон Прокопьевич:

— Опамятуйся, Демид! Потому — линия.

— Что? Что ты говоришь? Какая линия? — не понял Демид, ладонью закрыв кожаный кружочек над потухшим глазом.

— Говорю — линия! Агния не признает тебя ни в какую, смыслишь? Это она сгоряча на шею тебе кинулась. А как поразмыслить: ты не статья для нее. Потому — партийная. Место такое занимает в геологоразведке. Соображаешь? Окромя того — Степана ждет из Берлина.

Слышно было, как шумно вздыхали сестры.

Демид усталился в угол материнской кровати, где недавно сидела Агния с Полюшкой. Он стоял посредине избы под матицей полатей — высокий, прямоплечий, белоголовый...

VI

Тускло горит подслеповатый огонек в двух окошках дома Аркадия Зыряна. Три четверти дома спит, а в двух окошках мерцает, словно кровцой налитый, красноватый свет. Не спит Агния, места себе не находит на пуховой, негреющей постели.

Две черные косы Агнии, свисая до полу, шевелятся; Агния то в одну сторону повернет голову, то в другую. Полюшка спит рядом с ней. Кудряшки ее золотистых волос, касаясь оголенного плеча матери, щекочут тело, будто по коже ползают дикие пчелы. Пухлые губы Полюшки расплываются в сладостной улыбке. «Верно, приснился ей отец, — думает Агния, часто-часто помигивая. — Как разгорелась-то, ласточка моя. Какая она рослая да тонкая. Как есть его портрет, ни капельки от меня. Все от него».

И кажется Агнии, что это не Полюшка рядом с нею спит, а он, ее Демид, ее любовь!

«Никогда я не любила Степана так, как Дему. В Деме вся моя душа, все мои радости и веселье! Если бы в ту пору не беда эта, жили бы мы с ним души не чая друг в друге. И любила-то я его больше жизни!»

«Не узнаешь?» Как нежно и ласково он позвал ее «Агния».

Так и слышится его голос — страждущий, исторгнутый из сердца.

«Одна я ждала его, — думает Агния. — Может, моя любовь и спасла его от смерти? Что же мне делать, боже мой?»

Агния повернула голову и поглядела на кровать Андрюшки. Тот спал лицом к ней, слегка посапывая. Углицо-черные волосы и брови, сплывшиеся над переносьем, утяжеленный Степанов подбородок, смуглявое лицо — Вавиленок, упрямый и норовистый. Не парнишка, а взрослый парень. Нынешний год Андрей получит паспорт и уедет учиться в город.

— Не балуй, грю! Как пхну — покатишься!..— вскрикнул спросонья Андрюшка.

— С кем он воюет? — вздрогнула Агния.

Как странно! Полюшка — истый Демид, Андрюшка — Степан Егорович. И почему-то Полюшка ближе к сердцу Агнии. Андрюшка льнет к деду Егору Андреяновичу, Полюшка — у сердца матери, не оторвать.

«Правду говорят в народе: любовь — присуха. Сколько лет прошло, а все Демид для меня, как первый листок на березоньке. Люблю его, одного его. Хоть и не будем мы вместе, чую сердцем, не будем».

И ей так захотелось в этот тревожный час ночи, чтобы Демид был с нею, вот здесь, рядом! Как бы она прижалась к нему — трепещущая, зябкая, счастливая от его близости. Как он ласкал ее! И она не стыдилась ни его страстной, обжигающей любви, не прятала глаз на деревне; ей все было нипочем!

«Может, я теперь постарела? — кольнула в сердце отрезвляющая дума.— Да ведь и он не парень!»

«А что, если взглянуть на себя в зеркало?»

Потихоньку встав с постели, ступая на кончики пальцев, Агния подошла к треугольному столику, где горела лампа. Перенесла лампу к зеркалу, поставила на подоконник возле белой, расшитой узорами занавески, пугливо оглянулась на кровать Андрюшки: не проснулся? Потом подошла к сыну и, бережно взяв его за плечи, повернула лицом к коврику на стене.

Теперь она одна, сама с собою да со своим отражением в большом зеркале. Чья же эта счастливая, порхающая улыбка озаряет смуглое, млаожавое лицо с красиво выписанными полудужьями черных бровей, и тонким, чуть горбатящимся носом, и таким легким, округлым подбородком? Кому улыбаются широко открытые карие глаза под тенью черных изогнутых ресниц в лучиках едва заметных морщинок? Чьи это пальцы скользят по лицу, разглаживая морщинки у глаз и на просторном лбу, а черные косы, струясь,

как ручейки смолы по белой сорочке, то приподнимаются, то опускаются? Это она, Агния, страстная, беспокойная, нетерпеливая и неугомонная! Сорочка медленно, будто неохотно, сползает вниз, оголяя упругие, еще не опавшие груди. Агнии у зеркала приятно и радостно смотреть на ту Агнию — пьянище-свежую, крутобедрую...

— Дема, милый, я все та же, ей-богу! — тихо, певуче прошептала Агния. — Дема, да ты посмотри, какая я!.. Ну что, разве я переменялась, а?

И вдруг, словно кто со стороны шепнул: «А если рядом будет стоять Анисья?»

Лицо Агнии в зеркале постарело, углы губ опустились и глаза потухли.

Она поспешно отошла от зеркала и стала одеваться.

«Хоть бы взглянуть на него, как он там сейчас, в доме у себя? Ну что такого, если бы я побывала там с Полюшкой? Он же отец Полюшки. Какая я трусиха! Он еще подумает, что у меня в душе — ни искорки к нему. Как будто он мне совсем чужой! Пойду, и хоть издали, да буду смотреть на него».

И тихо-тихо, чтобы не разбудить ребят, Агния замурлыкала песенку:

За окном черемуха колышется,
Распуская лепестки свои...

Медленно замер голос Агнии, и слезы брызнули из ее глаз.

Уткнув лицо в ладони, согнувшись на кровати, она плакала по Демиду, оттого что он не с нею, что между ними залегла какая-то страшная ямина, через которую ни ей, ни ему не перешагнуть.

«Если я подойду с поймы к ихнему окошку, меня никто не заметит, — решила она. — Что особенного, взгляну только и сразу вернусь».

За каких-то две минуты она успела надеть на себя платье, плюшевую жакетку, повязалась шалью и только тогда вспомнила, что она босая. Валенки в комнате не было, они сушились на русской печке в передней избе. А там, за печью, на железной кровати, спит чуткий Зырян, отец.

Агния заглянула под кровать — нет ли там туфель. Но туфель не оказалось — все в передней избе в ящике для обуви.

Потихоньку, так, чтобы не скрипнуть, не брякнуть, Агния прошла через большую комнату, где спала мать с двумя

меньшими сестрами, Маринкой и Иришкой, и так же осторожно вошла в переднюю избу. Из двух окон тускло падал свет на белую русскую печь, на широкий стол, покрытый клеенкою. На своей ли кровати спит отец? Может, он в горнице у матери? Что-то не слышно его всхрапывания?

Руки в привычном месте нашарили валенки, из-за печи раздался голос отца:

— Куда собралась?

Руки вздрогнули и досадно замерли.

— Что молчишь, спрашиваю?

— На двор, куда же больше? — И не узнала собственного голоса.

— Дворов в Белой Елани — четыреста семьдесят пять. В который из них путь держишь?

— На свой, что вы в самом деле!

— Не дури. Я тебя вижу насквозь. Как встретила Демидка, так враз все забыла. И что муж обещает домой вернуться, и про Андрюшку. Не нравится мне такое обстоятельство. Кем он для тебя был, Демид Филимонович? Соображать надо, а не прыгать очертя голову, куда толкает тебя дурная матерна кровинка.

— Ты чего шумишь, старый? — раздался из горницы голос хозяйки — Анфисы Семеновны.

— Помолчи, метла, дай обуться Агнеюшке. Она вот спешит на свидание к Боровикову, а катанки перепутаны. Куда пойдешь: один белый, другой черный?

В избе посветлело. Это над Белой Еланью прояснилось небо. Облака рассеялись, проглянули звезды. Стояло полнолуние. Молочно-белый свет разлился на косяках окон.

— Нет, постой, голубушка! — загородила дорогу мать. — Смотри у меня! Так отдую, что не на чем сидеть будет.

— Отстаньте вы, ради бога! — Агния выскочила в сени и вскоре на крыльцо.

Анфиса Семеновна, припав к окну, сообщила, что непутевая дочь ушла из ограды.

— Ах дура-то, ах дура-то! — ругалась Анфиса Семеновна. Ее широкая спина и плечи загородили половину окна. Щуплый Зырян, поддегивая рукой подштанники, подошел к дородной Анфисе Семеновне со спины и, положив ладонь на ее затылок, склонившись к мочке уха с золотой серьгой, спросил:

— Кипит?

— Што кипит?

— В затылке, спрашиваю, кипит у тебя иль нет?

— Да я ее, дуру, за косы приволоку от Боровиковых! Она за ночь-то такое накрутит, век не распутаешь. Пусти! Зырян как бы ненароком обнял податливое, теплое тело жены, пробормотал:

— До чего же ты у меня горячая, метелушка! В тебе энергии, голубушка, что в электростанции. Только подведи провода — и на всю деревню электричества хватит. Али ты забыла, как сама была молода? Может, и тебе тоже проветриться захотелось?

— Да будет тебе! — не без виноватости в голосе сказала Анфиса Семеновна.

Что она могла поделать с непутевой дочерью, когда все знали, что и сама Анфиса Семеновна стояла в доме, как веретено, на которое наматывали трудовые деньги Зырян с детьми. Не раз Анфиса Семеновна пускала на ветер все сбережения. Если Зыряниха запила, то с дымком, по-приискательски. До бесчувствия не напивалась, было хуже: как начнет гулять, соберет узел, да и махнет на прииск Благодатный к старику отцу, и нет Анфисы Семеновны! «Моя супруга жить не может без проветривания души», — пояснял соседям Зырян. Вернется Анфиса Семеновна, виноватая, в глаза не смотрит Зыряну, а он и виду не подает, что ее дома не было. Как ночь, Анфиса на коленях прощения просит за грехи земные.

— Вот дура-то! Кого прощать-то? Ее или тебя? Ты всегда в приличном политическом виде, а она — дура. Бить ее? Жалко. Да и смысла нет. Вовсе сдуреет. Стремнина бушует — поставь плотину — выпрет на займище. Проветрилась, ну и слава богу.

Под местоимением «ее», «она» был сокрыт некий бес души Анфисы Семеновны.

В мать удалась Агния. Такая же кареокая, статная, влюбчивая и беспокойная.

VII

А ночь легла светлая да теплая.

Лучистая россыпь звезд усеяла небо от горизонта до горизонта, сияюще-пыльный Млечный Путь высветлился, слабо мерцающая далекими, неизвестными мирами. И все окрест —

и это алмазное небо, таящее вечные загадки, Млечный Путь над синь-тайгой, и сама тайга, как бы притихшая и онемевшая, пахучие дымы деревенских изб, большак стороны Предивной, лунные тени через всю улицу — все будто слилось в единую гармонию, призывая живых к миру и отдохновению.

Агния любила вешние ночи, они возбуждали ее, взбадривали, и она, бывало, часами любовалась небом и синь-тайгой, прежде чем расстаться с днем уходящим и встретить день грядущий.

Но сегодня ночь легла особенная...

Из мертвых воскрес Демид — ее тревожная и несчастная любовь, замыслось что-то в сердце или сама Агния постарела, но она давно уже не видела Демида во сне и вдруг неожиданно встретилась с ним наяву.

В пойме Малтата собирался туман, как мыльная пена в корыте. Султаны прибрежных елей торчали из тумана, как вежи узловатой дороги, ведущей из глухомани на енисейские просторы.

А южный шалый ветерок, взбивая седые кудри тумана, летит к Белой Елани, попуткою тревожа черный тополь, будто хочет оживить великана, отчего тополь шуршит и скрежещет своими стариковскими, высохшими сучьями.

Луна только что взошла над Белой Еланью — среброликая, круглая, как дно цинкового ведра, отбелив правую сторону улицы и притемнив левую; от левой к правой дремотно тихо лежали уродливые тени домов, заборов из жердей и заплотов из плах, частокол пятнил почернелый снег. У конторы леспромхоза сверкали в лунном свете лобастые лесовозы, еще новые, не разбитые по таежному бездорожью. И, как нектати, от конторы леспромхоза в улицу вышла Анисья Головня вся в черном. Сперва она не заметила Агнию и направилась в ту же сторону, на конец большака — к Боровиковым, наверное! Заслышав шаги, она оглянулась и остановилась. У Агнии враз отяжелели ноги, но она упрямо приблизилась к Анисье. Глаза их сцепились в немом поединке.

— Агния? — робко прозвучал голос Анисьи.

— Что так посмотрела на меня, будто смолой окатила? — зло спросила Агния, хотя сама устала на Анисью с нескрываемой ненавистью.

Для Агнии Анисья была сама Голоवेशиха, с той только разницей, что мать Голоवेशиха — отцвела, оттопала и вы-

являла, как старая гусыня, а доченька — в силе девичества; кому не вскружит голову, если захочет. Правда, про Анисью говорили, что она ни с кем не вяжет узлов; живет замкнуто, сдержанно, у всех на виду и, мало того, пользуется большим уважением у приезжих украинцев, добывающих лес, чтобы застроить выжженные войною хутора и села Украинны.

— Да нет, обыкновенно смотрю,— растерянно ответила Анисья и ни с того ни с сего сообщила: — Хотела уехать на лесоучасток, а никого из наших нет. А тут еще в тайге туман собрался. И дом на замке. Мать куда-то ушла.

— Знаю я ваши с Голоवेशихой туманы,— выпалила Агния.— Всю жизнь топчетесь в тумане, когда вы только выберетесь на свет! — И язвительно спросила: — Говорят, будто ты Демида спасла от волков? Вот, однако, радости-то было у вас при встрече!.. Как в кино. Хоть бы со стороны посмотреть. Помню, ты и девчонкой лънула к нему. А теперь что-то поостыла, вижу. Никаких слухов про тебя. Силу копишь, что ли? Или орла высматриваешь? Да ведь Демид, скажу тебе, далеко не орел!.. С ним и без тебя Голоवेशиха управится. Или на пару веселее?

И захохотала — чуждо, нехорошо, грязно.

Лицо Анисьи в лунном свете казалось страшно бледным, неподвижным, словно вылепленным из алебаstra. Светились только чернущие глаза, как у цыганки. Точь-в-точь Голоवेशихины!

— Ладно, я тебе отвечу, Агния! — И, глубоко вздохнув, Анисья зябко перемяла плечами, будто продрогла.— Отвечу без зла...

Но она не могла ответить без зла. Она с трудом подбирала слова, глядя прямо в лицо Агнии:

— Я тебе отвечу, Агния!.. Постараюсь ответить так, чтобы ты запомнила мои слова на всю жизнь. Да! На всю жизнь. Ты меня больно ударила. Очень больно. Не первый раз меня бьют вот так, ни за что ни про что. Но я не о том. Да, я лънула к Демиду девчонкой! А что тут стыдного? Если бы тебя, как меня, рвали всю жизнь за руки: мать — в одну сторону, отец — в другую. Один — в небо, другая — живьем в землю! Ты бы тоже, может, придумала бы свою какую-то особенную любовь и готова была бы вспыхнуть и сгореть за одно-единственное ласковое слово: «Уголек»!

Помню, как бежала к нему на лесосплав, когда отца арестовали. Мне было страшно. Очень страшно! Я еще ничего

не понимала и ни в чем не разбиралась. Слышала — Демида возьмут, как и моего отца. И я бежала к нему, чтобы спасти его. Только бы успеть! Только бы успеть! Это было самое страшное для меня — не успеть! И я успела, Агния. Не ты, а я! А где же была ты в то время со своей любовью? Разве ты не чувствовала, что кругом творится неладное? Где было твое сердце и любовь твоя взрослая, а не моя девчачья? Ты была не девочка! Не-ет! Если бы ты его любила — не проморгала бы, скажу. И сегодня я спасла Демида от волков. И я рада, рада, понимаешь? Не ты, а я спасла. Только почему опять не ты, а я?

Агния задохлась от злости.

— Молчишь? Или нечего сказать? Ладно, Агния, слушай: если ты спешишь к Демиду — иди же, иди скорее! Сейчас иди. Не завтра, а сейчас. Спешу к нему, когда он совсем-совсем один и такой прихлопнутый! Не завтра, когда он выпрямится, а сегодня. У тебя же Полюшка! Демидова Полюшка! Да я не верю, что ты спешишь к Демиду. Ты бы давно была там. Что же ты не с ним? В такой час не с ним?

— Не твоего ума дело! — вспыхнула Агния, готовая вцепиться Анилье в кудряшки волос, выющиеся по бледным щекам. — Там, где вы с мамашей напетляли, — живая трава не растет. Голоवेशихи вы проклятые! Ненавижу вас! Обоих ненавижу!

Анилья нашла в себе силы сдержаться:

— Ладно, вали все на двух Голоवेशек! Только скажу тебе, хоть ты и партийная, а в людях ты нисколько не разбираешься. Просто баба, и все тут! Пусть я проклятая Голоवेशиха, но я тебя вижу насквозь. Степана ты ждешь — Героя Советского Союза, вот что. И к Демиду тебя тянет, да вот как со Степаном-то быть? Он не чета Демиду! Он-то справился бы с двумя волками без всякого ружья. А Демид позвал на помощь. Ползал по снегу, босый, весь включенный, жалкий!.. Не герой!.. Да. Просто обыкновенный человек, которому не повезло в жизни!.. Вот ты и злишься: и этого жалко, и того бы не упустить. Только скажу: за двумя зайцами не гонись — ни одного не поймаешь!

Агния вздрогнула и чуть отступила, будто Анилья плюнула ей в лицо.

Но не успела ответить Анилье: послышался чей-то крик. Девчонки плакали, кажется.

Анилья оглянулась. От Боровиковых бежала женщина с ребятами. «Кажется, Мария со своей оравой. Что это они

ревут?» — узнала она Марию Спивакову, вдовушку, старшую сестру Демида. А с нею — весь выводок: три плачущих девчонки и два подростка.

Агния быстро прошла мимо Анисы навстречу Марии.

— Что случилось? — спросила.

— Ах, боже мой! Отец с Демидом схватились, — ответила Мария. Девочки продолжали хныкать, мальчишки отошли в сторону. — Ребятишек перепугали, господи!.. Ни с чего будто, а как собаки сцепились, ей-богу. Кто-то успел наговорить Демиду про отца, как он тут завхозовал в колхозе, и про эвакуированных... Голоवेशиха, наверное, чтоб ей сдохнуть!

— Она везде успеет! — поддакнула Агния.

Анисю будто кто подтолкнул — она метнулась мимо Агнии и Марии с ребятишками в сторону дома Боровиковых.

Зачем она туда шла? Что ее несло к Боровиковым? «Скорее бы, скорее!» — торопила она себя, не видя по сторонам ни домов, ни лунных теней, ни чубатого тумана, успевшего укутать в серую овчину всю пойму Малтата.

VIII

Не было мира и отдохновения в эту тихую и звездную ночь.

Из дома Боровиковых, как из кипящего котла сатаны, рвутся в ограду истошные крики, рев, бабы причитания.

Что-то звонко треснуло, рассыпалось на осколки. Кто-то бухнул в стену. Потчуют друг друга матерками. Сенная дверь открыта настежь, и на крыльце толпятся мужики и бабы, бог весть откуда набжавшие на шум драки.

Началось будто бы с пустяка...

Филимон Прокопьевич в застолье оказался рядом со сватом Андроном Корабельниковым, колхозным кузнецом, еще здоровым и сильным мужчиною, хотя ему и перевалило за шестьдесят лет. Андрон слыл на деревне за молчуна и правдолюбца. Он скромно сидел в застолье в залатанной рубахе, не ввязываясь в разговор.

Филимон Прокопьевич, бахвалясь, уязвил свата Андрона, выставив на посмеяние компании Андронову залатанную рубаху.

— Вот хотя бы Андрона взять, — кивнул Филимон Про-

копьевич.— Как ежли по совести: мало ли ты, Андрон, железа перековал на разные штуковины?

— Много! — ответил Андрон.

— А чаво ж ты рубаху себе не выковал за тридцать годов в колхозной кузнице? Ты ведь еще, помню, в коммуне был?

— Был. Как же!

— И там рубаху не выковал?

Андрон — всклоченный, седоголовый, готов был провалиться в подполье от стыда.

— Дык не выковал, Филимон Прокопьевич. Колхоз — не прииск, а так и другие гарнизаии. Само собой.

— «Гарнизаии!» — хохотнул Филимон Прокопьевич, по-хозяйски развалясь в переднем углу.— Гарнизацию, сват, надо иметь у себя в башке, тогда и жить можно, хе-хе-хе! Кочуй ко мне в лесхоз, хоша бы в лесообъездчики! Обую, одену и денег еще отвалю. У меня мошну набьешь и килу не наживешь. Это тебе не колхоз, сват!..

Может быть, тем бы и дело кончилось — потехою над пристыженным Андроном в залатанной рубахе, если бы на другом конце не поднялся Демид. Он был еще трезвым, как и все в застолье, но в его лице и особенно во взгляде, который он кинул на Филимона Прокопьевича, было что-то чуждое мирной компании, чересчур серьезное и взыскательное. Со стороны Филимона уставились на него четверо — сам Филимон, сват Андрон, Фрол Лалетин и улыбающаяся Авдотья Елизаровна; но улыбка ее моментально сгасла, встретившись с Демидовым отталкивающим взглядом. По левую сторону стола на табуретках и скамейке сидели тетушки Демиды, которых он и в бытность парнем в Белой Елани никогда не навещал — Авдотья Романовна, не в пример матери, крепкая, здоровая, носатая, с мужскими плечами и такими же крупными ладонями рук, и ее младшая сестра, Аксинья Романовна, мать Степана Вавилова — свекровушка беспутной Агнии Аркадьевны. А с ними — медвежатник Санюха Вавилов со своей толстой Настасьей Ивановной, и на уголке стола примостился тронутый умом седенький Мургашка, ссохшийся и скрюченный, как паук.

На лавке, спиной к двум окнам, разместились в некотором роде единомышленники Демиды — Павлуха Лалетин, председатель «Красного таежника», милиционер Гриша, сестра Мария Филимоновна с двумя черноголовыми парнишками — одному за четырнадцать, другому — двена-

дцать, ничуть не похожими на боровиковскую кость — мелкой спиваковской породы; сидела еще Апросинья Трубина, соседка-вдова, муж которой был убит бандитами в 1918 году. Пышная и веселая Фроська с матерью потчевали гостей. На столах было собрано и жарено и варено — сами гости нанесли; хозяйшка-то с куска на кусок перебивалась — не до угощений.

Сам Филимон Прокопьевич ничего худого не заподозрил со стороны Демида. Может, что скажет про свой плен? И, как бы подталкивая, намекнул:

— Скажи-ка, Демид, как там в загранице живут людишки. Ты ведь в Германии и во Франции побывал. Колхозники там есть али другие вот такие гарнизации, где хаживают в таких рубахах — заплата на заплате, как вот у свата Андрона? Очинно интересно знать.

— Довольно, папаша, не хорохорься! — врезал Демид. — У тебя «гарнизация», вижу, самая крепкая!

— Экое! — поперхнулся Филимон Прокопьевич.

— За границей такие, как ты, — живьем людей глотают, вместе с заплатами. Там это позволено.

— Вот те и на! — ахнул Санюха-медвежатник.

— В каком смысле? — тарачился Филимон Прокопьевич.

— В том смысле, папаша, в каком ты показал себя во время войны завхозом колхоза. Поработал на славу, говорят. И теперь еще, наверное, эвакуированные поминают тебя лихом. Обдирал ты их, говорят, ловко — «воссочувствие» оказывал! За буханку хлеба — шаль; за полпуда — шубу или пальто. На это ты горазд со своей «гарнизацией»! Таким ты всегда был. Содрать шкуру с ближнего — и не охнуть. Теперь вот стриганул в лесхоз — и там приложишь руки. А руки у тебя с крючьями.

Наступила до того страшная, неподвижная тишина, что, казалось, вся компания враз окаменела. Никто ничего подобного не ожидал услышать от Демида. Голоवेशиха и та струхнула — это ведь она «качнула Демиду все новости про Филимона Прокопьевича!..» Сам Филимон сперва растерялся, шея и лицо его сравнялись в цвете с бородой, до того налились кровью, а Демид подкидывает:

— Помню тебя, папаша, помню! В тридцатом ты быстренько умелся из деревни — «гарнизация сработала»; овец и двух коров пререзал и мясо увез на паре лошадей. Коллективизация припекла, понятно!.. Где ты скитался три

года? И с чем явился? Со вшами? Да еще имущество кулаков Вавиловых прятал у себя.

— Осподи! Демущка! — всполошилась мать.

— Ты зрил то имущество, проходимец?! — взорвался Филимон Прокопьевич.

— Головня может подтвердить.

— Головня? — заорал Филимон, будто в застолье были глухие.— Штоб ты околел вместе с Головней! Али не тебя с Головней выдернули из леспромхоза как вредителей и врагов народа? Ты успел стригануть из деревни, выродок, да еще Агнею-дуру обрюхатил! А теперь дочь Полюшку сыскал, проходимец? Ты ее растил, выродок? Али не из-за тебя Агnea в петлю залазила и вот у Санюхи девчонку родила? И меня ишшо поносишь какими-то акуированными? Отрекайся от слов сей момент, али выброшу из дома!

— Тятенька, тятенька!

— Осподи!..

— А ну, попробуй!

— Под пятки выверну, варнак!

— Филя, Филя, охолонись!

— Я на все решусь! — тужился Филимон Прокопьевич.

— Я еще не все тебе сказал, каков ты есть,— молотил свое Демид.— Ты ведь и в гражданку показал себя со своей «гарнизацией». Отца родного бросил и удрал подальше от восстания, чтоб шкуру спасти. Ни с красными, ни с белыми! Самое главное для тебя — шкура. А шкура у тебя крепкая. Другие на смерть шли за Советскую власть, а ты шкуру спасал. Это из тебя так и прет — шкура!..

«Судьба решается»,— осенило Филимона Прокопьевича. Он не слышал, кто и что говорил за столами. Единственное, что его жгло, были слова Демиды. Если он сейчас же не срежет его под щетку, то худая молва разнесется по всей деревне, и тогда глаз сюда не кажи. А чего доброго, слова Демиды дойдут и до лесничества, и там призадумаются: оставить ли Филимона в должности лесника на займище кордона или дать ему под зад, как он получил от колхозников в позапрошлом году.

Машинально, сам того не сознавая, Филимон рванул ворот синей сатиновой рубахи — дух в грудях сперло, а правой рукой нашаривал на столе подручный предмет.

— Отрекайся от слов, выродок! — наплыл Филимон, зажав в руке железную вилку.— Отрекайся, грю! Али разорву сей момент на сто пятнадцать частей!

— Господи! — присела со страха Меланья Романовна.

— Филя, Филя, охолонись!

— И ты, Демид, нехорошо так-то! Отец он тебе, а ты его этак осрамил, — гудел кум Фрол Лалетин.

— С чего взбесились-то, петухи драные! — попробовала примирить отца с сыном всемогущественная Головешиха, чинно покинув застолье. Подошла к Демиду. — Али мало на войне кровушки выплеснули? Вот уж повелось, господи! Как заявится кто из фронтовиков, так тут же и потасовка на всю деревню.

Филимон пуше того раздулся, почувствовал поддержку компании:

— Отрекайся, грю! Али не жить тебе!..

— Потише, папаша! Потише. Говори спасибо народу, что тебя в тюрьму не уекли за все твои завхозовские дела. Дай тебе волю — ты бы ободрал всю тайгу, как тех эвакуированных.

— Акуированных? — поперхнулся Филимон. — А ты зрил тех акуированных, которых я ободрал? Али они в Германию, али Францию прибегали к тебе с жалобой? Сказывай, варнак! Али я деньги менял в еформу, как другие по сто тысяч?!

— Пра-слово, не менял деньги! — поддакнул Фрол Лалетин.

— Господи! Ипеть про окаянную еформу. Да што ты, Демущка? Как жили-то мы — все знают. С куска на кусок. Ажник страх божий! — лопотала Меланья Романовна, а тут и две тетушки и сестры Демида встряли: не менял, не менял деньги! Ни рубля, ни копеечки. Колхозные и те не успел обменять.

— Далась вам реформа! — всплеснула руками Головешиха. — Кого не скобленула? Были деньги в руках — пустые бумажки оказались, чтоб окна заклеивать, хи-хи-хи! Чего вспоминать-то?

IX

...Между тем было нечто особенное в ссоре Демида с Филимоном Прокопьевичем. И, конечно, не из-за эвакуированных, которых неласково пригрел хитромудрый Филимон Прокопьевич, разгорелся сыр-бор. Нужна была только причина, чтобы прорвался застарелый нарыв. Ни Демид, ни Филимон не могли подавить в себе вскипевшей нена-

висти друг к другу, выношенной годами, всей жизнью, и не щадили один другого во взаимных оскорблениях.

Демид все так же стоял возле стола, упираясь кулаком в столешню, накрытую поистертой клеенкой. Он думал, куда же в самом деле девались деньги у тугодума-папаши?

— Да он их сгноил в кубышке! — вдруг осенило его.

— Кого сгноил, варнак?!

— Деньги сгноил! Наверняка. Пока твоя «гарнизация» сработала.

На Филимона Прокопьевича нашло затмение, будто на солнце среди ясного дня наплыла черная тень луны. Шутка ли! Демид наступил ему прямо на сердце — раздавил, как гнилую грушу. Лопнувшие деньги для Филимона были тяжким воспоминанием, что он долгое время всерьез побаивался, как бы ума не лишиться от такого переживания.

— Деньги сгноил, гришь? — заорал Филимон во все горло, рванувшись из-за стола, опрокинув свата Андрона вместе с табуреткой. — Аааслабодите! Я ему морду сворочу набок! — рвался он из рук Фрола Лалетина и Санюхи Вавилова.

— Тятенька! Тятенька!

— Ох, Демид! Ох, Демид! Как тебе не стыдно! — ругала сестра Мария, поспешно покидая застолье вместе с мальчонками; ее девочки, перепуганные до икоты, жались в углу на деревянной кровати.

— Господи! Мать пресвятая богородица! — частила Меланья Романовна, крестясь не на иконы, а на затылок Демида.

— Аааатрекааайся, выроодоок!..

Меланья повисла на шее Демида:

— Отрекись, Демущка! Он вить, леший, сатане служит. Ипеть в новую веру переметнулся — пятидесятью!

— Молчай, старая выдра! — орал Филимон. — Я из вас обоих одним разом весь смысл вытряхну. Одним разом! Мургашка, хватай двустволку. Слышишь? Влупи им по заряду!

— Тя-а-атенька! — подвывала Фроська, бегая между отцом и братом, как бы притаптывая пожар: то к отцу подбежит, то к брату; ее черная расклешенная юбка то раздувалась от крутых поворотов, то опадала. — Чо не поделили-то, господи? Ребятишек, гли, перепугали!

Может, удалось бы мужикам удержать Филимона и Демида, если бы не Голоवेशиха.

— Да ты сам-то каков, соколик?! — подскочила она к Демиду, грозя ему кулаком. — С фронта? С какого фронта? Не со власовцами ли стрелял своих же, как Андрей Старостин? Тот тоже выдавал себя за героя, а как потом открылось — был самым злым власовцем. Эткими героями, как ты, дороги мостят!

— Власовец?! — хрипло переспросил Демид. Лицо его задергалось и перекошилось. Одним рывком он отбросил прочь Павлуху Лалетина с милиционером Гришей и, не размахиваясь, сунул Голоवेशихе кулаком в подбородок. Тут и пошло. Филимон кого-то сбил с ног и сграбастал за грудки Демиды. Трещали рубахи, отлетали стулья и табуретки. «Ааа, такут-твоё!» — пыхтел Филимон. «Шкура, шкура!» — дубасил отца Демид Филимонович. Сила силу ломала. Один из столов опрокинули. Тетушки с визгом и ревом вслед за Марией с ребятишками бежали прочь из избы. Меланью шквалом отбросило на деревянную кровать, и кто-то грузный навалился на нее спиной. Настасья Ивановна, кажись. Мургашка вопил во всю глотку, угрожая, что он всех перестреляет за Филю:

— Стреляй буду! Бей, Филя! Моя отвечай не будет!

Мургашка и в самом деле лез на кровать за ружьем, висящим на стене.

— Аааай, мааатушки! — завывла Настасья Ивановна. — Саааня, спаааси!

Санюха Вавилов сграбастал Мургашку со спины:

— На мою бабу лезешь, вша таежная! Прысь отселева!

— Кусай буду!

— А, клещ окаянный! — Санюха выбросил Мургашку вон из избы в сени.

А по избе метут, метут, как будто всех закружил внезапно налетевший смерч. Визг, истошный рёв, хруст тарелок и чашек под ногами.

— А ежели по-праведному, так вот как! — развернулся кузнец Андрон и ахнул Филимона в челюсть. — Так штоб по-праведному!

— Тятенькааа!

— Отвали ты от меня на полштанины! — орала Голоवेशиха, отбиваясь от милиционера Гриши, который изо всех сил удерживал ее. — Я ему, недоноску, другой глаз вырву!

— Тиха! Тиха!

Рикошетом влетело в затылок Санюхи. Он даже не со-

образил, кто его гвозданул. Помотал башкой и, долго не думая, вырвал из железной печки трубу, размахнулся и трахнул по лбу Фрола Лалетина.

— Такут-твою в копыто! Это тебе за председательство, моль таежная!..

— Ты штооо?..

На этот раз Фрол Лалетин помел по избе с Санюхой — железную печку раздавили в лепешку. Сопят, рычат и подкидывают друг другу под сосало.

Филимон и Демид свалились на пол, продолжая тузить друг дружку, перекатываясь из стороны в сторону.

Как раз в этот момент в избу вошла Анисья в распахнутом черном полушубке. На нее никто не взглянул. На перевернутом столе рычали Санюха с Фролом, оба дюжие, рукастые. Настасья Ивановна, выручая Санюху, тащила Фрола за ноги, а Фроська удерживала Санюху. Анисья видела только Демиду и Филимона. Ей было так стыдно и горько за Демиду, что она, кусая губы, спустив шаль на плечи, готова была расплакаться. Демид! Демид! Тот самый Демид, который для юной Анисы был необычайным героем, взаправдашним парнем, и она готова была бежать за ним в огонь и воду, если бы ей годов было побольше. И вот Демид — рычащий, свирепый, расхристанный. И это она его спасла от волков? А может, это не тот Демид, которого она спасла? Тот был какой-то жалостливый, когда смотрел с горы на деревню и по его лицу скатывались слезины...

— Тащите их за ноги, за ноги! — кричал милиционер Гриша.

— Веревки! Веревки! Где веревки? — тормозил Павлуха Лалетин Фроську, когда разняли Фрола Лалетина с Санюхой; Настасья Ивановна успела утащить Санюху из избы.

Наконец-то дерущихся разняли.

Упираясь в пол руками, поднялся Демид. От его гимнастерки и нижней рубахи болтались только лоскутья. Он их тут же сорвал и бросил на пол, камнем опустившись на табуретку.

Филимон, отдуваясь, голый по пояс, уселся на лавку в простенке между двух окон.

Все молчат, трудно переводя дух, и те, что дрались, и те, что разнимали.

Теперь все увидели трезвого свидетеля — Анисью.

Из губ и носа Головешихи текла кровь по подбородку.

— Полюбуйся, полюбуйся вот, доченька, какого ты героя спасла от волков! — хныкала Головешиха, вытирая кровь платком и подбирая шпильки.

Анисья метнулась к Демиду и впилась в него взглядом. Губы у ней подергивались. Все ждали, что она скажет ему.

Демид выпрямился и, будто обвиняемый при словах: «Суд идет!» — встал с табуретки. Лицо его кривилось, словно он пытался улыбнуться Анисье: «Я, мол, невиновен. Не признаю себя виновным».

Но он ничего не сказал.

— Это — это — это — что?! — едва выговорила Анисья с паузами, кусая губы. — Самосуд, да?! Самосуд?! — Она задыхалась от обиды и горя, едва сдерживая слезы. А тут еще Головешиха-мать ввернула:

— Поцелуй его, соколика!

Анисья, не помня себя, ударила Демиду по щеке.

— Теперь — меня, меня бей! Твори самосуд! Бей! — И еще раз влепила с левой руки — голова Демиды качнулась в сторону.

— Так его! Так! Выродка! — удовлетворенно крикнул Филимон — всклоченный, красномордый, раздувая тугой волосатый живот.

По избе дохнул сквозняк шумных вздохов. Демид стоял перед Анисьей, опустив голову, прерывисто дыша.

— Бей меня! Бей! Твори самосуд!

— Тебя?! — Демид покачал головой. — Н-нет! — Еще раз помотал головой: — Тут не было самосуда. С папашей вот итог жизни подбили. Назрела такая необходимость.

Опустив руки, не видя и не слыша никого, Анисья стояла возле Демиды, готовая упасть перед ним на колени. Нечаянно взглянула на обнаженную грудь Демиды. Что это? Вместо правого соска — лиловое рубчатое пятно в виде пятиконечной звезды — отметина взбешенных бандеровцев в житомирском гестапо... «И я его же!» — обожгло Анисью. Что-то несносно-муторное подкатилось ей прямо к горлу, стесняя дыхание. В ушах возникло странное шипение, словно она с крутого яра Амыла бросилась в пенное улово. И звон, звон в ушах! Расплываются перед глазами звенящие волны...

А Филимон бубнит:

— Все едино изничтожу выродка!

— Не марай руки, Филя,— каркает Голоवेशиха, тыкась по избе в поисках своей одежды.— Помяни меня: подберет его эмвэдэ не сегодня так завтра, как Андриюшку Старостина. Не я буду Авдотьей, если не упеку субчика! Он меня еще попомнит, власовец.

— Давай, давай! — глухо ответил Демид.— Тебе не привыкать упекать людей.

Все засобирались уходить.

Фроська вдруг вынула из-за пазухи кусок рыбьего пирога, поглядела на него, недоумевая, и залиvisto захохотала:

— Пирог! Ей-бо, пирог! Ха-ха-ха! Чо, думаю, колет в грудях? А туда пирог залетел. Ах, господи! Вот уморато!

И, как того никто не ждал, Анисья вдруг медленно сникла, опустившись на табуретку возле Демида. И, как мешок, сползла на пол.

— Фроська, воды! Живо! — подхватил ее Демид.— Что с тобою? Уголек?! Уголек!..

— Отвались ты от нее, бандюга! — взыграла Голоवेशиха, отпихнув Демида от Анисьи.

Анисья медленно пришла в себя — звон в ушах оборвался.

— Убирайся, сейчас же! — обессиленно сказала она матери.— Кто тебя сюда звал? Не ты ли успела наговорить Демиду про Филимона у зарода? Кто тебя сюда звал? Там, где ты, не бывает мира!

— Сдурела!

— Убирайся, слышишь!

Голоवेशиха попятилась от дочери, выговаривая ей обиды: вырастила, выкормила, дала образование, и она же ее гонит.

— Жалеешь, что отхлестала по морде власовца?

— Ты — ты — как смеешь?! Ты забыла, кто ты есть сама? Забыла, какие дела проворачивала здесь вместе с Ухоздвиговым во время войны?

— Отвались ты от меня, дура! — отпрянула Голоवेशиха от дочери и вон из избы, не закрыв за собою дверей — ни избяную, ни в сенях.

Настороженные, трезвеющие взгляды прилипли к Анисье. Про какого Ухоздвигова она в сердцах обмолвилась? Давным-давно не слышали про Ухоздвиговых, и на тебе — Анисья вывернула матери такую вот заначку.

Участковый Гриша в черной шинели, застегнутой на все металлические пуговицы, и в форменной фуражке подошел к Анисье:

— А разве Ухоздвигов был здесь во время войны?

— Что? — опомнилась Анисья. — Какой... Ухоздвигов? А... а... разве... не было здесь Ухоздвигова во время той войны?

— Экое, господи прости! — шумно перевел дух Филимон Прокопьевич. — Что вспоминать про ту войну!..

Демид вытер лицо лоскутьями рубахи, сел за стол с уцелевшей закуской и выпивкой; Павлуха Лалетин успел поставить на место опрокинутый стол, жалостливо улыбнувшись Анисье. Толстенная Фроська, причитая, собирала с матерью осколки посуды.

— Бедные мои тарелочки! Фарфоровенькие! Сколь берегла их!.. Из города везла — не разбила. Бедные мои тарелочки...

Фрол Лалетин, успев натянуть дубленую шубу, поджидал в дверях Филимона с Мургашкой, чтоб увести их от греха подальше.

Меланья, набрав в подол юбки побитой посуды, наткнулась на Анисью:

— Что стоишь, как свечка? Иди отсель! Звали вас с матерью обеих сюда, што ль?

Стыд! Стыд! Позор!

Х

Прозрачная и звонкая ночь, и темень, темень на душе Анисьи.

Выбежала за ворота, а куда идти, неизвестно!

Отошла вправо от калитки — и привалилась к заплоту у столба.

Луна поднялась высоко — круглолицая, как Фроська.

«Как же я? Что я сказала? — соображала Анисья. — Если рубить сук... сама свалюсь в яму. Во всем виноватой окажусь одна я, и мать, конечно. А он? Где он? И что я знаю о нем? Что я знаю?».

Сама себе разъяснить не могла.

«Меланья выгнала меня. И правильно. Что меня занесло сюда? Юсковская кровинка?»

Кто-то вышел из калитки. Фрол Лалетин с Филимоном и Мургашкой.

Мургашка дымил трубкой, бормоча что-то себе под нос. На минуту остановились у ворот, но не взглянули в сторону Анисьи.

Филимон на чем свет стоит клял Демида, грозясь, что он «подведет под выродка линию»; Фрол Лалетин увещевал кума: Демиду и без того будет не сладко. Как ни суди — из плена.

— У нас этаких не жалуют, паря. Ловко Анисья управлялась с ним, язва! — гудел Фрол Лалетин. — Как оладьями отпотчевала. Хи-хи-хи! Истая Голоवेशиха, якри ее. Экий норов. Так и будет получать он оладьи со щеки на щеку. И захохотал.

Анисья готова была сгореть от стыда. Она всего-навсего Голоवेशиха! «Оладьями отпотчевала!» Завтра вся Белая Елань узнает про ее подвиг — хоть в лес беги от судов-пересудов. Ну зачем, зачем я это сделала? Он мне никогда не простит. Никогда!»

Отошла на пригорок за угол дома и, как бы освобождаясь от чадного угара, глубоко вздохнула, уставившись на громаду черного тополя. Он свое отшумел, а все еще занимает место на земле среди живых, как бы напоминая им о мертвых.

Вспомнилось: мать говорила про сестру Дарьюшку — умную, начитанную, метущуюся, и будто Дарьюшка знала какие-то пять мер жизни и таинственное розовое небо. Как это понимать? Юная Аниса выпрашивала у матери про эти «пять мер жизни» и «розовое небо», но ничего не узнала.

А что, если и вправду существуют пять мер жизни и загадочное розовое небо, как алые паруса, про которые Анисья читала в книге Грина? Или вся жизнь складывается из одних будней и серости?

Анисья никак не могла представить, какая была Дарьюшка? Если такая же, как мать, тогда бы она не кинулась в полынью! И сейчас на Амыле, на том же месте, взбурливает полынья, но никто в нее не бросился. Мать-Голоवेशиха за километр обойдет, а Филимон Прокопьевич — за пять сторонкой объедет. И что Анисья знает про Дарьюшку и людей того времени, которые ушли из жизни до того, как она на свет появилась?..

«Если решать так, как тетушка, — рассудительно подумала Анисья, — Демид никогда бы не воскрес из мертвых». Вот еще Демид...

Такая ли она, как Демид? Сумеет ли она устоять при

самых тяжелых стечениях обстоятельств и выцарапаться к родным берегам. Демид бы мог промолчать, не сказать своему отцу, каков он есть фрукт, и не было бы драки. Почему он не умолчал?..

«А я? Как же я?..»

Про себя не хотела думать. Страшно.

«Скоро мне стукнет двадцать шесть,— горестно вздохнулось.— А там... почернею, как этот тополь!..»

Не восемнадцать, когда она готова была взлететь в небо и так легко мечталось, и пелось, а двадцать шесть лет сматалось на клубок, и не размотать его в обратную сторону. Она никак не могла поверить себе, что останется навсегда в глухомани; она рвалась в город — в большой город, и каждодневно ждала какой-то перемены. Но ничего не было. Уходящие дни попросту гасли, как керосиновые огни ночью в подтаежной деревне. Один за другим, а потом и вся деревня мирно и тихо засыпала. Все реже Анисья оглядывалась на себя, мотаясь по участкам леспромхоза: весна, лето, осень, зима, а сердце день ото дня стыло, пеленаясь тоскою. Одна и одна! Красивая, а не счастливая. В отпуск всегда ездила с матерью — в Ереван, на Южный берег Черного моря — в Сухуми; в Ленинград, и всегда мать с кем-то встречалась, находила каких-то нужных людей, с которыми у ней были дела. Анисья догадывалась — золото! В Ереване у матери был сокомпанеец из пожилых армян, и она с ним куда-то ездила, а куда — Анисья не расспрашивала: не хотела пачкаться. Мать покупала ей дорогие наряды, и наряды не радовали.

Сама Голоवेशиха не подталкивала дочь на знакомства, как бы мимоходом напоминая: «Твое от тебя не уйдет. При такой красоте да при дипломе завсегда туза выдержишь из колоды». Противно было слушать, и уж, конечно, ни о каком тузе не мечталось.

В восемнадцать лет, когда к ней льнули парни-ровесники, она держала себя замкнуто, отличалась прилежностью в учебе и поведении. У нее была всего одна подружка за все школьные годы, рыжая, веснушчатая, но такая светлая, жаркая, что Анисья восхищалась ею. Потом они поссорились и навсегда разошлись. Парни про Анису говорили: «Эта не про нас. За какого-нибудь инженера выскочит». Она не собиралась за инженера. Просто жила сама в себе с какими-то надеждами и мечтаниями. Она перечитала все книги в Уджейской библиотеке. Книги вносили в ее жизнь особен-

ный мир, неизвестный и совершенный. Потом началась война, и парни ушли на войну, и мало из них вернулось. Из ее класса, как она узнала, в живых осталось пятеро, и трое инвалидами. С младшими не о чем было говорить, а мужчины, начиная с пятнадцатого года рождения, хлебнувшие войны,— семейные, и у них свои заботы и узелки жизни. Просто так связаться с кем-то — не могла себе позволить, чтоб не повторить судьбу матери. Уж лучше быть всегда одной, нежели осмеянной.

Уходящая юность покрывалась твердеющей окалиной, хотя сердце под окалиной было жарким, нежным, как и в восемнадцать лет.

Колос пшеницы, ткнувшийся в землю, прорастает в непогоде; колос, сохранивший устойчивость, сушит зерна на ветру, чтобы в будущем, когда зерна кинут в землю, были хорошие всходы.

Анисья стояла, как колос; но ведь не вечно же колосу стоять, иссушивая зерна?..

Работа, кино, книги, встречи на людях «так-сяк», а у себя дома — утвердившийся порядок. Никого близкого рядом; матери чуралась и ни о чем с ней не откровенничала.

Как-то в тайге, на участке, влетело в ухо Анисьи:

— К техноручке не подъезжай — пустой номер. Старая дева.

Это было как плевок в лицо.

Она, Анисья, старая дева...

XI

...Когда началась война, в августе, кажется, среди ночи к Голоवेशихе постучался Филимон Прокопьевич: «Человека к тебе привез, Авдотья. Знакомый, грит. Попуткою из города взял». И этот человек не сразу вошел в дом, а вызвал мать в ограду; Анисья не узнала мать, когда она вошла в избу. Чем-то встревоженная, лицо заплаканное, тыкалась по избе, привечая дорогого гостя. Он был пожилой, в болотных сапогах, в дождевике, сутулился и так-то пристально уставился на юную Анису. Мать сказала: «Это дядя Миша — мой сродственник. Сколь лет не виделись, господи! Привечай, Аниса, как отца родного». Аниса сдержанно поздоровалась с дядей Мишей — мало ли что не скажет мать! Отец Анисы, Мамонт Петрович, в ту пору отбывал срок, и писем от него не было, да и не ждала от него писем пере-

женчивая Авдотья Елизаровна. «Был и сплыл!» — не раз говорила Анисе.

Меж тем с приездом дяди Миши — Михаила Павловича Невзорова, охотника-промысловика, в доме Головешихи произошли большие перемены. Ночами мать о чем-то секретничала с ним, потом они уехали в верховья Амыла на прииски. Когда-то Аниса жила на Сергиевском прииске на Амыле — это было давно еще, в двадцать девятом году, когда мать в первый раз ушла от Мамонта Петровича. В тридцать третьем они уехали с прииска, и мать снова сошлась с Головней.

Недели через полторы вернулась мать, но без дяди Миши. Она была какая-то особенная, помолодевшая.

— Вот уж поглядела я на свои прииски, боженька! — загадочно проговорила мать, прищуро взглядывая на восемнадцатилетнюю дочь. — До чего же ты писаная красавица, Аниса! Как будто себя вижу, какой была в девичестве. Только волосы у меня были всегда чернушние, а у тебя с огоньком, хи-хи-хи!.. Ох и заживем же, когда все утрясется и смрадный дым развеется!

Аниса не поняла загадок матери.

— Погоди, придет час, узнаешь. Богатой проснешься, истинный бог! Доколе мне быть продавщицей да заведующей сельпо! Смехота одна, не жизнь! Погоди же!

Аниса так и не узнала, на какое неожиданное богатство намекала мать.

Когда выпал первый снег, из тайги вернулся дядя Миша и в тот же час порадовал Анисью: пора собираться в институт! Есть возможность поступить в лесотехнический.

Анисья не собиралась в этот институт — хотела в медицинский, но дядя Миша урезонил:

— В медицинском тебя в два счета оформят в школу медсестер, и не успеешь оглянуться — на фронт, в санбат. А с фронтом не надо спешить.

— Что ты, что ты, Гавря! — испугалась мать, нечаянно назвав какое-то чужое имя, и тут же засмеялась: — С чего это я оговорила, господи!.. Хватит того, что я свое девичество истоптала. Разве не в лесу живем? В самый раз — лесотехнический.

Так и распорядились с Анисьей — мать и дядя Миша.

Из Минусинска в Красноярск плыли с последним плоскодонным пароходишком «Академик Павлов». По берегам были забереги — зима легла ранняя. Тяжело вздыхал чер-

ный Енисей. Он всегда бывает черным в хмурые и холодные дни уходящей осени. Пароход был забит мобилизованными приискателями с Амыла — молодыми и пожилыми. Мобилизованных провожал до Красноярска начальник прииска — тихий, печальный человек, страдающий астмой. Он все время хватался за сердце и бегал то к фельдшернице за лекарствами, то к молодому толстому капитану за последней сводкой Совинформбюро. Анисья помнит, как дядя Миша как-то обмолвился на палубе про мобилизованных: «Никто из них не вернется. У немцев хорошая мясорубка. Особенно танковая. Да и бомбить с воздуха умеют — европейская выучка! А у нас ни танков, ни самолетов. Энтузиазм пресловутой гражданки, да и маршалы — смех и грех! Им бы коней, дармовые харчи, знамена и песню: «По долинам и по взгорьям»! Ну, на этой песне они до весны не пропнут».

Он ничуть не жалел этих, которые никогда уже не вернутся...

У Анисьи было много багажа — два куля картошки, бочка с огурцами, ящик со свиным салом, три больших туеса с медом, тюк с постелью и чемодан. Мать привезла ей с прииска красивую беличью дошку — на золото купила. Анисья не думала, откуда у матери взялись золотые боны.

Город встретил их мокрым снегом и пронзительным ветром; в беличьей дошке было тепло. В магазинах — шаром покати, пусто. У продовольственных ларьков вились живые очереди за хлебом по карточкам. Анисья остановилась у землячки, тети Кати — продавщицы в каком-то магазине у железнодорожного вокзала. Муж тети Кати был на фронте. Они жили двое в избушке у самого Енисея, под яром. Была когда-то чья-то баня, а тетя Катя с мужем переделали баню в избу. Маленькая избенка, как тугой кулак, и все под руками. В десяти шагах — бормочущий Енисей. Вылези на берег — за три квартала центр города.

Дядя Миша без особых хлопот устроил Анисью в институт. Занятия давно шли, но в институте оказался большой недобор студентов. На факультете, где училась Анисья, осталось только три парня, и тех не взяли в армию по уважительным причинам. Один был горбатый, второй близорукий, а у третьего на ногах были сросшиеся пальцы. Но и этот третий скоро добровольцем ушел на фронт. Анисья со студентками ходили провожать его на вокзал. Каждый день из Красноярска уходили эшелоны на запад, и, как бы

возмещаая отлив людей из города, один за другим прибывали поезда с тяжелоранеными.

Отгорал с грохотом и кровью тревожный и лютый 1941 год.

Однажды Анисья шла с дядей Мишей на улице Маркса, и они остановились на тротуаре напротив двухэтажного деревянного дома.

— Посмотри на этот дом внимательно,— сказал дядя Миша.

Дом с большущими итальянскими окнами, замысловатыми резными карнизами и наличниками, а по первому этажу окна закрывались ставнями, и в каждом ставне — вырезанный червонный туз. С улицы в дом был когда-то парадный вход с крыльца под резною крышею, но теперь желтая дверь была заколочена.

— Запомнила? — кивнул дядя Миша. — Улица эта когда-то называлась Гостиной. На каждом квартале здесь были частные гостиницы со всеми удобствами. А в этом доме было заведение мадам Тарабайкиной-Маньчжурской.

— Фу, какая чудная фамилия!

— Не очень приятная. Особенно профессия этой мадам.

— Купчиха была?

— В Маньчжурии она действительно была купчихой, а когда приехала в Красноярск, выстроила вот этот дом и открыла заведение для девиц.

— Как это понять: заведение для девиц?

— Ну, таких заведений в России было очень много.

Дядя Миша показывал Анисье дома: вот этот миллионера Кузнецова и построен был архитектором Никоном, архиереем. При Советской власти Никон отрекся от священного сана и построил много домов в Москве, таких же замысловатых, как и этот, красноярский. А вот здесь жили Юсковы, а вот тут был собственный магазин купца Шмандина, здесь — гадаловские магазины, купчихи Щеголевой, особняк губернатора... А вот здесь, возле горсада, был первый в городе «электротئاتр» Полякова, кино по-теперешнему.

Воскресали какие-то странные тени исчезнувших людей.

Анисья помнила, когда они жили на Сергиевском приiske в верховьях Амыла и мать заведовала золотоскупочным магазином, она не жалела денег на наряды для единственной дочери, и однажды открыла ей великую тайну, что Мамонт Головня вовсе не ее отец: «Не вскидывай на

него глаза. Судьба скрутила меня с ним, как лисицу с волком. Слава богу, что волк не сожрал меня вместе с тобой, — наговаривала мать, ласкаясь к дочери. — Ты ведь не знаешь, какая метелица мела по Сибири в восемнадцатом году, а я пережила ее. Обмирала и оживала несколько раз! Ох, Аниса! Была бы ты счастливая, если бы обгорелые головы не стали у власти. Ни ума у них, ни сердца. Головня и есть головня. Не полено даже, а головня. И меня из-за него прозвали Голоवेशихой, чтоб им всем сдохнуть. Да разве такая участь была написана на моем роду?»

Но кто же ее настоящий отец и где он? Жив ли? — с этими вопросами она не раз приставала к матери.

— Живой, живой! — уверила мать. — Да вот случилось с ним так, что он живым не может быть при Советской власти. Я ведь из рода Юсковых. Одна-единственная уцелела! И он такой же огарышек судьбы, как и я. Ты не Мамонтовна, а Гаврииловна. Да вот не суждено было мне записать тебя в метрику Гаврииловной. Про себя помни, а на людях молчи. Беда будет!

Фамилию настоящего отца Анисья мать не назвала, будто сама запамятовала.

Как-то ночью, перед отъездом Анисьи с дядей Мишей в Минусинск, мать долго секретничала с ним в горнице, и Анисья случайно подслушала их разговор.

— Ох, Гавря, Гавря! — слышался певучий голос матери. — Если бы все свершилось, как ты говоришь, да я бы от радости молебен заказала в церкви, хотя отродясь туда не хаживала, ей-богу!

Знакомый голос дяди Миши уверил:

— До весны они не протянут, это точно. Праздновать Седьмое ноября им не придется в Москве. Ну, а там...

— Боженька! Дай нам радости! — воскликнула мать. — Анисья вот выросла, и от тебя, и от меня собрала все золотишки. Может, не надо ей ехать в институт? Подождать?

— Образование ей не повредит, — успокоил дядя Миша.

— Подцепит ее там какой-нибудь голодранец, скрутит голову, а потом что? Боюсь я за нее, Гавря!

И опять «Гавря», не Миша! У Анисьи в комочек сжалось сердце. Она же Гаврииловна. Значит, не случайно обмолвилась мать, когда дядя Миша явился в дом в ту первую ночь? Так кто же он? И почему от нее все скрывают? Если она, Анисья, «собрала все золотишки и от него и от

нее», дядя Миша — ее отец? Иначе как понять обмолвку матери?

Анисья не стала слушать дальше — мороз пошел по телу, и она, так и не потревожив мать с дядей Мишей, легла в свою постель и долго не могла уснуть.

У матери потом не отважилась спросить: кто такой дядя Миша? И почему мать наедине с ним зовет его Гаврей?

...Еще вспомнила, как ездила с дядей Мишей на правый берег Енисея посмотреть беженцев с запада. Лепило мокрым снегом и было холодно. Они сошли с пригородного поезда на станции Злобино, перешли пути, и сразу же начался «Китай-город» эвакуированных.

На обширном пустыре, продуваемом со всех сторон, не было ни домов, ни бараков. Кругом землянки, землянки с толстыми крышами на метр от земли, и там жили дети, старики и больные. Все эти люди эвакуированы были вместе с паровозостроительным заводом из города Бежицы. Между рядами землянок возвышались брезентовые палатки. На веревках трепыхалось развешанное белье, дымились костры, вокруг которых кучились люди, кто в чем. Поодаль, у железной дороги, сгружено было оборудование завода — станки, штабеля железных труб и всякая всячина. И что самое удивительное — под снегом стояло пианино, а возле него навалены были какие-то разрисованные доски — театральная бутафория и книги — множество книг. Анисья подняла одну из книг — не художественная, про паровозы что-то, бросила обратно в кучу. Дядя Миша задерживался у костров, спрашивал какого-то знакомого, а когда пошли обратно к станции, он сказал Анисье, что все эти беженцы так и замерзнут на пустыре, и никому до них дела нет, и что в Москве приготовлены самолеты для бегства правительства. И что при побеге правительство, понятно, вывезет из Государственного банка все золото и драгоценности, и ничего о том не знают люди, мерзнущие под открытым небом. Он будто жалел несчастных беженцев. «Ты должна все это видеть, запомнить, — поучал он Анисью. — Наша жизнь вся из узлов». Именно в этот раз он сказал Анисье, что настанет час и она будет гордиться своим отцом, который не покривил совестью, как бы ему ни было трудно, и что во имя возрождения свободы в России он готов сложить голову. «Противоестественной власти скоро настанет конец, и мы обречем

свободу и сумеем еще послужить отчизне». Он так и сказал: «отчизне».

В восемнадцать лет душа распахнута к тайнам и подвигам «во имя справедливости», хотя Анисья и не очень разбиралась, в чем истинная суть и смысл человеческой справедливости и что такое свобода для избранных и тюремная крепость для всех? Она просто верила дяде Мише, хотя знала уже, что он не дядя Миша, а Гавриил Иннокентьевич Ухоздвигов — последний из Ухоздвиговых, как мать ее — последняя из Юсковых. У ней еще не было ни собственного взгляда на жизнь, ни опыта, ни мозолей на сердце, натираемых невзгодами. Все это пришло позднее.

В конце войны дядя Миша в последний раз навестил Анисью в институте. Он приехал из тайги какой-то болезненный, помятый, прихлопнутый, еще больше сутулился, жаловался на ревматизм в суставах, и на голове его увеличилось залысины. За годы войны и напряженного ожидания великих перемен он согнулся и постарел.

— Такие-то дела, Аниса,— сказал он, когда они шли улицей к ресторану «Енисей». — Укатали сивку крутые горки! Ах, да что там говорить. Свершилось! Как крышка гроба захлопнулась над головой.

Анисья навсегда запомнила эти страшные слова...

В ресторане он отыскал укромный уголок за колонною и попросил официантку никого не подсаживать к их столу.

Говорил мало и Анисью ни о чем не расспрашивал, как бывало в прошлые годы. Он никак не мог стряхнуть с себя какое-то сонное оцепенение.

Когда официантка подала закуску и водку в графинчике, а для Анисьи поставила портвейн, дядя Миша медленно так оглянулся, посмотрел на подоконник, на окно, будто что-то искал, и потом вздохнул:

— Тут могут быть везде уши. Ладно, дочь, выпьем за твое здоровье и благополучное плавание! Защитить диплом, и в добрый путь!.. А путей-дорог у Советской власти много — выбирай любые. Живи, дочь, и отца помни. Он для тебя сделал все, что мог, даже сверх того!..

Анисью озадачило подобное откровение. Почему он так громко и торжественно заявил, что она его дочь и что у Советской власти много путей-дорог? Она-то знала, как он жаловал Советскую власть, при которой так и не стал хозяином папашиных и юсковских приисков.

— Само собою, после института выйдешь замуж, — продолжал так же мрачно дядя Миша. — Об одном прошу: если у тебя будет сын, назови его Гавриилом.

И поглядел на Анисью как-то отчужденно, неузнаваемо. О чем он думал?

Когда вышли из ресторана, прямо в улице услышали по радио сводку Совинформбюро: советские войска подошли к Берлину...

Дядя Миша скупо попрощался и ушел, не оглядываясь, по улице Перенсона.

XII

Из дома Боровиковых вылетела песня. Сперва в один хрипловатый мужской голос:

Бьется в тесной печурке огонь...

И тут же подхватили еще два мужских голоса и один женский. Это было так неожиданно, что Аниса с недоумением уставилась на черные стены дома.

На поленьях смола, как слеза...
И поет мне в землянке гармонь
Про улыбку твою и глаза...

Это же Демид, Демид поет! Она узнала его особенный голос, выделяющийся из всех, — высокий, переливчатый. Такого голоса, как она знает, нету ни у Павлухи Лалетина, ни у милиционера Гриши. И у Фроськи такой же высокий и приятный голос. Какие они голосистые, Боровиковы!

Когда пропели:

Ты сейчас далеко, далеко...
Между нами снега и снега...
До тебя мне дойти нелегко...
А до смерти четыре шага...—

сама не понимая с чего, Анисья расплакалась. Смотрела на черный дом, потом на тополь и плакала, плакала.

Когда песня смолкла и наступила пугающая тишина, Анисья пошла прочь от дома Боровиковых серединою большака в лунном наводнении. Редко в каком из домов светились огни. В одной половине дома матери, в горнице, просвечивались розовые шторы, отбрасывая в улицу заревые пятна. Анисья остановилась, подумала — и пошла дальше.

Она попросится переночевать к Груне Гордеевой, известной на деревне хохотушке.

Когда-то Груня работала на тракторе, соревновалась с мужиками, всегда выходила победительницей, потом ушла на колхозную ферму и выхаживала телят. Полугодовалых телков она поднимала себе на плечи и танцевала с ними.

В окошках ее дома не было света. Анисья постучала в ставень. В ограде залаяла собака.

— Кого там черт носит? — раздался грубый голос Груни.

— Это я, Анисья Головня.

— Анисья? Что тебе?

— Пусти переночевать.

— Переночевать? Умора! — захохотала в избе Груня.— Иди в ограду, открою.

— Там собака.

— Не сожрет тебя собака, если волки не слопали. Ох, умора!..

Вскоре Груня вышла на крыльцо в одной нижней короткой рубашке выше колен, рослая, крупная, широкая в плечах, как мужчина, босоногая и простоволосая. Шумнула на собаку, и та спряталась под крыльцо. По приступкам поднялась Анисья.

— С матерью поцапалась?

— Угу.

— Бывает. Мать у тебя с душком.

Было довольно холодно, градусов за десять, а Груня стояла на высоком крыльце в трикотажной сорочке, плотно обтягивающей ее мощное, ядреное тело, запрокинув голову, любовалась луной:

— Какая лунища-то, глянь, инженерша! Как зеркало, ровно. Вот бы поглядеться в него вблизи. Люблю полнолуние, истинный бог. В такое время я сама, как вымя невыдоенной коровы, полным-полнехонька,— и опять громко захохотала своим мужским, раскатистым смехом.— А на тебя действует луна?

— Что-то не замечала.

— Вот уж мне девка! При полной луне груди бренеют, будто их распирает, ей-бо, хоть никогда ты и дитя не рожала. И вот тут такое томленье,— ажник невтерпеж! А как луна пойдет на ущерб, внутри тебя все опадает, обвисает, и ты ходишь сонная, квелия, будто тебя полная луна выдоила. Ха-ха-ха! Умора!

Все недавние горечи и страшные вопросы жизни враз отступили от Анисьи, и ей стало легко и свободно вздохнулось.

— Какая ты удивительная, Груня! — промолвила Анисья, восхищаясь подружкой. Анисья не раз ночевала у Груни, и всегда ей было весело и забавно слушать и видеть эту неповторимую, самобытную, смелую и дерзкую и во всем откровенную Груню, про которую на деревне по-разному судачили бабы.

— Ты бы лучше стихами, — хмыкнула Груня, что-то вспомнив потешное. — Тут у меня побывал корреспондент из районной газеты. Ну, ходит и ходит за мной, как хвост за коровой. Сам такой молосенький, несмелый, хотя годов ему, наверное, под сорок. Бывают такие мужики, которые всю жизнь ходят молосными, ровно маменьки родили их недоношенными. Так и живут до смертушки недоношенными. Я ему говорю: «Ну, что ты льнешь ко мне, суслик? Ведь я, говорю, если приголублю тебя, помрешь возле моей груди, и маменька про то знать не будет, на каком поприще ты дух испустил». Так нет же, льнет и льнет. Да еще стихами потчует. Песню мурлычет и даже пританцовывает. А сам щупленький, волосенки реденьки, личико в кулак собрать, росту — мне вот так, — Груня показала ребром ладони себе под грудь. — Умора, истинный бог! Видела бы ты его — сдохнуть можно.

Мороз был — инеем телята покрылись, а он пританцовывает возле меня в своих кожаных штанах и в летчицких унтах — где он их только раздобыл, суслик! «Я, говорит, покорен вашей природной щедростью, сударыня». Чтоб ему околеть — сударыней назвал! «Если позволите, говорит, узнать вас ближе, очерк напишу в газету или даже книжку выпущу про вас». Вот ведь трепло!

Глянула на него — посинел от мороза и на усишках мокрость настыла. Ажник отвернуло, а — терплю. Из газеты ведь! Павлуха Лалетин привел на ферму, чтобы я ему про себя обсказала.

Позвала к себе в гости, отпочевала вареньем, угостила своей наливкой, он и вовсе разморился в тепле и этикие мне стихи лопочет, что в животе у меня расстройство вышло. У другого, может, стихи иначе звенели бы. Потому — от природы все. На колени упал передо мной, обихаживает мои ноги и мурлычет, мурлычет, точь-в-точь шелудивый котишко. А у меня нет к нему никакого интереса — одно рас-

стройство, думаю. В чем только дух у него держался! Вышла я посветить ему в избе, а он, как увидел меня, сиганул с перепугу на кровать деда.

Анисья покатывается, схватившись за живот, аж слезы выступили. Груня хоть бы смешинку уронила. Стоит этакая серьезная, со скрещенными руками на груди, качает головой — и продолжает:

— Убежал он в ту ночь и портфель свой забыл. Так и лежит у меня его портфель. Бумаги там, газеты, книжка со стихами Есенина, зубная щетка с порошком, мыльница с огрызком мыла. Имущества на рупь с полтиной. Еще блокнот лежит, в котором он пропись делал про меня, чтоб очерк дунуть в газетку. Читала блокнот, и такое меня зло скобило, попался бы он мне под горячую руку!.. Про меня — ни слуху ни духу, а все больше про телят: сколь вырастила, сколь подохло, чем выкармливала, про тракторную бригаду прописал: с кем работала, на каком тракторе, и еще, как я осталась круглой сиротой с дедом Гордеем, когда бандиты убили мать и отца, двух сестренок со старшим братом в двадцать третьем году в Уджее. Ложечникова банда прикончила. Вот ведь! А он про все в три строчечки. Главное ему — телята и трактор! Сколь раз читаю в газетах такие статьи про людей и всегда злюсь до невозможности. Человека-то для них нету! Как будто мы на свет народились с «производственными показателями», чтоб им окосеть!

Груня плюнула и про луну забыла.

— Ты же замерзнешь, Груня! — опомнилась Анисья.

— Это я-то замерзну?! Да я голышком могу пойти сейчас в Каратуз и, не обопнувшись там, вернуться. Али не видела, как я хожу на ферму зимой? В косыночке да в тулжурке «веретенном тряхни», и хоть бы чох! Ну, пойдем. Не споткнись. Тут у меня мешки с комбикормом для телят. Воруют доярки, чтоб их черт побрал. У себя комбикорм храню.

Анисья задержалась у порога, покуда хозяйка зажгла семилинейную керосиновую лампу, висящую над столом. Вся изба застлана самоткаными половиками. Справа на кровати лежал столетний дед Гордей, весь в белом, совершенно лысый — без волоска на голове, только на щеках и бороде щетинилась седина, стриженная овечьими ножницами. Иссохшие руки он сложил на груди, как покойник, а сам длинный, в белых подштанниках, ступнями уперся в железные прутья кровати. Он посмотрел на Анисью, бор-

мотнул что-то и опять отвернулся, уставившись неподвижным взглядом в беленый потолок.

Кругом по избе стояли цветы — на трех подоконниках, на лавке, на табуретках, в горшках, кадушках, — везде цветы. Груня разводила такие диковинные цветы, каких не видывали даже в городских оранжереях. И на любовь Груня не скупилась, но замужем не побывала. Ее полнехонькие груди выпирали из-под сорочки, как сдобные булки. Анисья разделась у порога, повесив полушубок и шаль на вешалку под ситцевой занавеской. Сняла валенки, по совету Груни, положила их к боку теплой русской печи, чтоб просохли к утру.

— Перекусить не хошь?

У Анисьи с утра во рту маковой росинки не было.

— Если можно...

— Фу-ты ну-ты, ножки гнуты! «Если можно...» Извольте, сударыня-барыня, в передний угол под образа! Чем тебя угостить? Остались обедешные щи в печи, нарежу мороженого сала, молоко есть, сметана, хариус соленый. Может, выпить хошь? По лицу вижу — осунулась. Чего не поделили? Ах да, разве в дележе вопрос! Бывает, ни с чего поцапаешься, ажник в затылке потом кипит. Садись, садись, красавица. Хочешь выпить, чтоб угар прошел? Ишь, как позевнула! Это завсегда так, если на душе муть.

Говоря так, Груня успела достать из печи в чугуне щи, налила в тарелку, нарушила хлеб здоровенными ломтями, выбежала в сени и притащила кусок сала — трем не управиться, и мокрой, вынутой из рассола рыбы — хариусов.

Анисья села на лавку спиной к окну в улицу, в черном шерстяном свитере с тугим воротом под подбородок, в черной юбке и в черных чулках. Волосы у ней рассыпались, шпильки вывалились, она их собрала и положила на подоконник.

— Как он, седой, говорят? — спросила Груня.

— Седой. И усы седые.

— Усы? У Демида усы? Вот уж диво-то. Хоть бы взглянуть Я ведь в него была влюбимшись, ей-богу. Так втрескалась — ночей не спала, дура.

— Ты што раскаркалась, ворона? — раздался голос деда Гордея.

— Вот еще мне горюшко! — махнула рукой Груня в сторону кровати. — Я ведь тоже с ним цапаюсь. У-у! Как ра-

зойдемся — углы трещат и тараканы разбегаются во все стороны. Как мужик какой придет ко мне, так он, ерш, всю ночь пузыри пускает.

— У тебя никого нет? — тихо спросила Анисья, скосив глаза на закрытую дверь горницы.

— Ха-ха-ха! — рассыпалась Груня, покачиваясь возле стола. — Нету, милая. Одинешенька, как рукомоийник с водою. Ткни в рыльце — вся водой истеку. Ладно, что зашла ко мне. Я ведь, знаешь, когда хожу полная, плохо сплю. Мутит и мутит. Другой раз таракана поймаю, зажму в ладони и наговариваю ему про любовь да про вздохи при полной луне. Ей-бо!

— Смешная ты, Груня. Лучше бы вышла замуж.

— Хо, замуж! Изволь узнать: есть у вас на примете женишок, специально под мой образ и мою конхфигурацию? — Груня провела руками по своим полным грудям, по бедрам, и, поставив босую ногу на лавку, шлепнула себя по ляжке. — Чувствуешь, какой у меня товарец? Купца бы на него, да не захудалого, как тот корреспондентиска, а чтоб от моего кулака с ног не падал. У меня ведь знаешь какой удар кулаком? Быка Марса видела? Вчера я саданула его кулаком в лоб, так он очумел, холера. Мотает башкой и понять не может, что за снаряд ударил ему в голову.

А сама хохочет, хохочет, поблескивая крупными, сахарно-белыми зубами. Глаза у нее большущие, синие, игривые. Про свои глаза Груня говорит, что они у нее разбойничьи.

— Ну так за что же мы выпьем? — подняла Груня полный стакан со зверобойной настойкой. — За него, что ли? За воскресшего?

— Да! — ответила Анисья. За здоровье Демида она с радостью выпьет. — Только я не могу столько, честное слово. Ты же знаешь, я...

— Не принуждаю. Выпей столько, сколь желаешь ему здоровья. А я за него до доньшка — хоть не мой кривой, а все едино нашенский. Пусть ему не будет лихо, как говорят твои украинцы в леспромхозе.

Не запрокидывая голову, Груня осушила в три глотка граненый стакан — и тылом руки по губам.

Анисья чуть помедлила, набрала воздуху полную грудь и, прижмурившись, поднесла стакан настойки ко рту, будто ковш раскаленных углей. Обожгло язык, нёбо, горло, но она пила, пила маленькими глотками, запрокидывая голову. Едва вытянула до дна.

— Ого! — только и сказала Груня. А у Анисьи от стакана настойки дух зашелся и слезы выступили. Схватила хариуса и в зубы, а слезы катятся по щекам. — Ого! — еще раз сказала Груня, о чем-то задумавшись.

— И у меня, Груня, понимаешь, муть на душе, — быстро пьянея, проговорила Анисья. Лицо ее насытилось румянцем. — Не потому, что поругалась с матерью, а, понимаешь, накатилась какая-то муть, понимаешь, хоть на луну вой.

— И взвоешь! — понимающе поддакнула трезвая Груня. — Тебе ведь, милая, не семнадцатый годочек! Как помню, на три года моложе меня. Ох, боже мой, тридцать один год оттопала! Это же надо? Тридцать один!.. Сдохнуть можно от такой радости.

Анисья туго соображала:

— Погоди. Как на три года? Если тебе — если тебе тридцать один, а мне — а мне — двадцать пять...

— Ой, ври! Это ты перед парнем молодись да чепурись, а я за тобой не ухлястываю. Двадцать восемь тебе.

У Анисьи распахнулись глаза, как черные окна, озаренные молнией.

— Да нет же! Двадцать шестой мне.

— Еще прибавь, милая, — смеется Груня. — Мы же с тобой вместе были на Сергиевском прииске. Помнишь?

— Помню.

— Слава богу, хоть это помнишь. А Сохатиху с Филатихой помнишь?

— Помню.

— А Мавру Тихоновну помнишь?

— Н-нет.

— Ладно. Сохатиху помнишь?

— Помню.

— А я жила у Сохатихи. Она моя тетя по убитой матери. Мы с ней золото мыли лотками. А ты с нами ходила мыть золото. Помнишь?

— Помню.

— А сколько тебе лет было тогда, помнишь?

— Н-нет.

— А тебе было столько лет, сколько мне. Только я отроду удалась крупной кости, и вся разница. Знать, тридцать один годочек тебе, подруженька!

Вот так подсчитала Аграфена Гордеевна Гордеева!

— Это, это — как же? — чуть не подавилась словами Анисья, захваченная врасплох. — Да нет же!

— Есть же, милая. «Иже еси на небеси», как поет мой дед Гордей Гордеевич Гордеев. У нас были все Гордеи и по фамилии Гордеевы. Коммунисты от пятки до затылка. Потому и бандиты в куски изрубили отца, и мать, и сестер, и брата. Есть же, милая! Тридцать один годочек с хвостиком. Это у меня с хвостиком — я в феврале родилась. А ты? Ах да! Откуда тебе знать. Мать у тебя умнящая! Попроси ее, завтра припасет тебе метрику, и будет в ней семнадцатый годок тебе! Пора нам, подруженька, подмолодиться! Ха-ха-ха!

Этот раскатистый смех Груни неприятно подействовал на Анисью, но она стерпела, подумав: а что, если и в самом деле оттопала она тридцать один годочек? Ужас! Тихий ужас! Да нет же! В сорок первом она закончила среднюю школу...

— Я же перед войной, понимаешь...

— Что перед войной? — не поняла Груня и не дала досказать Анисье. — Повезло тебе, истинный бог! Нет того чтоб мне спасти его от волков. Я ведь только что мимо вас проехала с дровами тем же логом. Так нет же, приспичило волкам напасть на него после того, как я проехала!

— В самом деле, ты только что проехала, — вспомнила Анисья.

— Вот именно. Не судьба, видно. Как ты думаешь: Агния опять прильнет к нему? Да нет! — возразила себе. — У ней теперь Степан при Золотой Звезде. Деньги от него получает. Ешь, ешь! Что ты как на поминках?

— Не представляешь, я, кажется, пьяная, — лопотала Анисья, неловко двигая руками.

— На радостях я бы вдрызг была пьяна. Про Полюшку он знает?

— Знает.

— Лучше бы я ему родила Полюшку, — вздохнула Груня. — Ты вот скажи: какая со мной холера приключилась, что дите родить не могу? И врачи ни черта не понимают. А ребенка хочу. Ой как хочу! Ажник день и ночь подсасывает. С моими-то грудями я бы, истинный бог, четверых кормила. А вот надо же, а? Сколько раз в городе врачам показывалась, а они, белохалатники, ни в ноздрю свист!

И вдруг без перехода схватила Анисью за нос, чуть подержала, и ахнула:

— Ма-атушки! Влюбилась!

— В кого ты влюбилась? — вскинула чернущие брови Анисья.

— Не я, а ты, подруженька! Шишечка-то носа раздвоилась — холоднющая. А я-то смотрю, смотрю тебе в лицо и в толк не могу взять: откуда эта краска у тебя в щеках и туман в глазах? А это же — то самое!

— Что — «то самое»?

— Влюбилась, вот что. И не с матерью ты поцапалась, а места себе не находишь после встречи с Демидом. Я же девок и баб читаю от корки до корки, как завлекательные книжки. Ха-ха-ха! Ну и как он, узнал тебя?

Анисья пуще того раскраснелась:

— У-узнал.

— А ты его?

— Узнала.

— Сразу?

— Нет. Потом, когда он смотрел на деревню. И так мне стало тяжело. Вспомнила, как он меня называл Угольком... Так сразу и назвал Угольком!.. Давно... как сейчас помню, понимаешь...

— Тогда не чикайся. А то ведь и другие при теперешнем голоде на мужчин мух ловить не будут. Хотя бы я. А что? С моим удовольствием. Хоть седой, хоть кривой, а мой! Ха-ха-ха! Не бойся — пощажу твою душу образованную. Из плена? Невесело! Ну да обомнется, беда сотрется, и душа проснется.

И, покачав головой, Груня призналась:

— Ох, Анисья, если бы ты знала, какая я жадная! Люблю тайгу, небо и землю, телят моих молосеньких. От них так приятно пахнет парным молочком! Или вот дома летичком иль весною. Выйду поутру на крыльцо, сон еще за плечами, а по ограде курицы бродят, в огород лезут, язвы. Махну вот эдак рукой: «Кышь вы, ясная поляна!» И так-то славно тебе, хоть танцуй от радости. А еще бы девчонка иль парнишка с тобой — своя кровинка... Понимаешь, если бы я могла родить, — давно бы вышла замуж. А так — к чему обман, когда столько девок и вдов того больше, и все не уроды, не от медведей народились. Им тоже ведь, милая, нелегко мять холодные постели!.. Как в песне: «Горе горькое по свету шлялося и на нас невзначай набрело!..» На всех набрело!.. Вот она, война-то, чем кончилась!.. Ну, а что же ты, господи! Ты же красавица, инженерша! Что же ты прикипела? Иль от гордости ног под собой не чуешь?

— Н-нет. Не потому. Не знаю. Не потому.

— Заладила. Почему же? Ни разу ни с кем тебя не видела.

— Не могу,— жалостливо усмехнулась пьяненькая Анисья.— Не могу! По мне: или один раз на всю жизнь, или — никого и ни разу.

— Ужли ты и вправду ни с кем?

— Ни с кем.

— Ей-богу?

— Честно.

— Умора! Ха-ха-ха! Да ведь ты так иссохнешь, как тополь Боровиковых. Разборчива, что ли?

— Н-не знаю. Не могу.

— Ну, а если он?

— Он? Он?

Анисья застеснялась и закрыла лицо ладонями.

— Лопнуть с вами можно, фантазерки вы образованные,— рассердилась Груня.— А жизнь-то проще, скажу тебе. Проще и слаще. А ты ее сушишь, и сама сухарем станешь. Да нет, не верю! Скрытная ты.

— Ты што раскаркалась, ворона!

— Спи, лешак!

— Мотри, вздую тебя, ворона!

— Я тебе вздую, леший! Спи.

Дед Гордей поворчал еще и притих. Груня разлила остаток настойки в два стакана.

— Я не буду. Извини. Ты же видишь — пьяная.

— Выпьем за то, чтоб свершилось то, что я задумала. Про тебя задумала. Слышишь? Не я буду Гордеевой, если не сведу тебя с ним. Ладно, молчи! Хоть раз в жизни отдай счастье, а тогда и отнекивайся.

— Как же... не понимаю... я... он...

— И ты и он будете вместе! Нравишься ты мне, Анисья.

В большой горнице пахло цветами. Лапы фикусов висели над кроватью, черные как смоль. Рядом спала Груня. Анисья долго не могла уснуть. Закутавшись по грудь в стеганое одеяло, она смотрела на фикус, но видела хмурые дебри леса, пойму Малтата. Сухонаковский лесопункт и Демиды... «Ну зачем, зачем я это сделала? — думала Анисья.— И всегда так: одно зацепится, потянет за собой другое, третье». Она гнала от себя мысль о Демиде.

Как пронзительно зазвенело в ушах! Будто ее кто ударил. Да, да! Она же просила, чтоб Демид ее ударил. Но он не поднял на нее руки. И от этого ей было еще больнее.

Она еще видела черные листья фикуса, угол полукруглого окна, потом все перекувырнулось, и она как-то вдруг сразу перестала чувствовать собственное тело. И — радуга, радуга! Огромная, разноцветная, через всю тайгу. Из-под радуги прямо к ней шел Демид, и она потянулась к нему — трепетная, чистая, как вешний подснежник к жарким лучам солнца.

Но Демид не было. Он слился с радугой...

На другой день Анисья собралась в дальнюю дорогу, в Красноярск, в командировку. Складывая в чемодан белье, платья, вспомнила вчерашнее и готова была бежать к Демиду просить прощения.

«Нет, нет! Разве такое прощается?»

С матерью расстались сдержанно. У Головешихи на лице от вчерашней потасовки прикипели синяки и губы вздулись.

Стальные подполозки на оголенной земле неприятно визжали: по коже мороз продирает. Караковый мерин с лохматыми бабками, напрягаясь, еле тащил кошку по трудной дороге.

За деревней поехали веселее. Здесь еще лежал оледенелый снег.

Воздух синий, прозрачный. Вдали виднеется Жулдетский хребет. Анисья смотрит на лиловый горизонт тайги, и что-то тяжелое, горькое подкатывается к горлу.

«Демид мне никогда не простит,— подумала она.— И никогда не узнает, что я люблю его».

Росные горошины навернулись на глаза Анисьи.

Нет, нет! Уехать надо, уехать хоть на время из Белой Елани! Уехать бы и не возвращаться, забыть и мать, и Демид, и всю эту путаницу в сердце.

ЗАВЯЗЬ ВОСЬМАЯ

I

Шумнуло по всей Белой Елани — от стороны Предивной до Щедринки: Демид Боровиков воскрес из мертвых. И похоронная была, а вот, поди ты, живехонек, хоть и одногла-

зый. Мало того — успел подражаться с прижимистым папашей Филимоном Прокопьевичем.

Толковали всякое. Одни хвалили Демида, другие осуждали.

Всем интересно было поглядеть: каким он стал, Демида? Не парень теперь с кудрявым чубом, а мужчина за тридцать лет.

Ни свет ни заря заявили к Филимонихе соседки, но старуха не пустила их через порог. В сенях встретила и вы проводила вон: не до соседушек!..

Еще до того как Агния пришла на работу в контору геологоразведочной партии, молва докатилась до нее, будто бы Демида чуть ли не насмерть пришиб Голоवेशиху и что Ани-сья надавала ему по щекам.

В бревенчатом крестовом доме, где когда-то жил дядя Голоवेशихи, Андрей Феоктистович Юсков, раскулаченный в начале тридцатого года, в трех комнатах работали геологи — Матвей Вавилов, двоюродный брат Степана Егоровича; инженер Матюшин, еще молодой парень; Олег Двоеглазов — начальник комплексной разведывательной партии треста Енисейзолото; маленький, шербатый Аркашка Воробьев — геолог-практик и две девушки — Лиза Ковшова и Эмма Теллер. Лиза и Эмма, недавние десятиклассницы, работали помощницами Агнии в коллекторской. Еще неопытные, путающие аншлифы минералов, с трудом отличающие кобальтовые минералы от магнетитовых или даже железных руд.

Агния прошла через большую комнату, как сквозь строй. Она догадалась, что в конторе только что разговаривали про нее и про Демида Боровикова.

В обеденный перерыв в коллекторскую к Агнии зашел Матвей Вавилов — нескладный, долговязый мужчина.

— Я про Демида Боровикова, — начал Матвей, усаживаясь возле стола Агнии. — Такого таежника, как он, не сыскать. Надо взять его к нам в партию — ко мне в отряд. Нам же рабочие во как нужны. Позарез! Как ты на это дело смотришь, а?

За окном — включенное, пасмурное небо. Тучи ползут так низко, словно сейчас вот спустятся на землю и станет темно и сыро. И настроение у Агнии такое же пасмурное. Какое ей дело до Демида? Будет ли он по-прежнему работать в леспромхозе или у геологов — ей решительно все равно. А Матвей долбит:

— С Двоглазым разговаривал. Ты слушаешь?

— Ну?

— Говорю: с Двоглазым разговаривал. Обрисовал ему всю картину Демида, как и что. Загорелся! Такого, говорит, нам вот как нужно,— Матвей резанул ладонью по выпятившемуся кадыку.— Слышь, поручил мне сосватать Демида, и как можно скорее. Завтра я махну в Лешачье. Ты тут поторопи, чтоб Деמיד поскорее оформился.

— С чего это я буду торопить его? — рассердилась Агния.

— В наших же интересах!

Агния сидела как на углях.

И каково же было ее удивление, когда она вечером дома не застала Полюшки и мать, Анфиса Семеновна, скептически поджав губы, сообщила ей, что Полянка совсем выпряглась и самовольно ушла к Боровиковым.

Тут-то Агнию и взорвало.

— Самовольно! А ты что смотрела? — накинулась она на мать.— С девчонкой совладать не могла. Дала бы ей, чтоб у нее вся дурь выветрилась из головы.

Анфиса Семеновна моментом выбежала из дому и через некоторое время приволокла Полюшку за руку, всю в слезах, растрепанную, немало оскорбленную буйной бабушкой, но по-прежнему непреклонную.

Со двора забежал Андрюшка — черноголовый, в тужурчонке по пояс, в рваных штанах, глянул на Полюшку да и сказал:

— А что ее держать? Пусть уходит к своим Боровиковым.

— Молчи ты! — прикрикнула Агния.

Черные едучие глаза Андрея засверкали, как у звереныша.

— Молчать не буду! — крикнул он.— Если она Демидова — пусть и убирается к Демиду-дезертиру!

— Ты сам убирайся отсюда! — У Полюшки враз высохли глаза. За отца-то она сумеет постоять.— Двоечник!

— Я вот тебе как поддам!

— Брысь! — оттолкнула Андрея воинственная бабушка.— И не стыдно тебе? Полмужика скоро, а с девчонкой связываешься! А ты смотри у меня, задира. Не лезь к нему.

Андрюшка проворчал нечто не весьма внятное, провел рукой по углисто-черным волосам и с достоинством покинул избу.

Агния смотрела ему вслед... До чего же он лицом похож на Степана!..

II

Филимониha собирала на стол обедать. Собирать-то особенно нечего было. Нарезала треугольными ломтиками черный хлеб, состряпанный из овсяной муки напололам с пшеничными охвостьями, поставила в щербатой тарелке квашеную капусту с огурцами, разлила в две алюминиевые тарелки жидкую картофельную похлебку, заправленную конопляным маслом, пережаренным с луком,— вот и все сборы.

Демид сидел возле окна на лавке. Щека его, рассеченная во вчерашней драке, запухла, и ссадина затянулась коростой. В подглазье накопел синяк, и зрячий глаз подпух. Губы, разбитые увесистым кулаком Филимона Прокопьевича, неприятно вздулись, и верхняя поднялась к распухшему носу. Голова у него страшно болела: не пошевелить. Шею будто кто свернул.

Нет, он не раскаивается в том, что сделал вчера.

Глаз Демиды уперся в стену возле дверей. Там висит чудесная двустволка, из штучного производства «геко», с которой он охотился до побега из Белой Елани. Такую двустволку редко встретишь. И на зверя и на птицу — без осечки. Кто же ею пользуется теперь? Конечно, Филимон Прокопьевич. Демид ее возьмет. На двустволке кожаный патронташ на полсотни патронов в два яруса, сумка кожаная, изрядно потасканная. Все охотничье снаряжение Демиды.

Демид снял двустволку с патронташем и сумкой и понес в горницу.

— Куда ты, Демушка? Сам завладел двустволкой-то,— всполошилась мать.— Оборони бог, он за двустволку пришибет тебя.

— А ты вот что, мать: кончай с ним. Нечего ему делать в нашем доме.

— Дык он и так бывает наездом. Как приезжает, так больше с Головешихой прохлаждается.

— Пусть туда и катится! Здесь ему делать нечего.— И, глянув на мать, на ее рваную юбку и кофту, поинтересовался:— Что у тебя в тех двух сундуках в горнице, на которых я спал сегодня?

— Дык что, барахлишко.

— Открой. Посмотрю.

— Что ты, Демушка? Нечего смотреть-то. Рвань разная.

— Слышал, ходила по миру?

Филимониha всхлипнула в грязный фартук.

— Ходила, Демущка, ходила. Как солнышко пригреет, так иду по миру, христарадничаю. Кто кусочек, кто гривенник, кто чем, и на том спасибо. Доченьки-то, ни одна алтын не занесла. У Фроськи ничего не допросишься, у Марьи — брать нече. Сама перебивается с куска на кусок.

— А Ирина как?

— Иришка-то? И! Милый. Та глаз ни разу не казала, Мызничиха.

Демид долго стоял в дверях горницы, что-то напряженно обдумывая. Жизнь начинать надо сызнова, на голом месте. Ну ничего!

Ушел в горницу, и вскоре оттуда раздался его хрипловатый голос:

— Где у тебя ключи от сундуков?

Филимониha вздрогнула, выронила краюху из рук прямо в тарелку с похлебкой.

— Я спрашиваю, где ключи?

Демид стоял в дверях. Бережно потирая ладонью лицо, глядел в спину матери. Та не обернулась и не пошевелилась.

— Ты что, мама?

— Я-то? Дык-дык ничего. Сердце штой-то зашлось. Ровно кто кольнул. Отдыхиваюсь. На ладан дышу, осподи. Знать-то, ноне господь бог приберет.

— Ты это похоронную песню гони в отставку. Я вот поступлю в леспромхоз или в геологоразведку, заживем.

— Примут ли?

— Примут. Не беспокойся. Рабочие руки везде нужны.— И еще раз спросил, где ключи.

— Да где же они? Ума не приложу, куда я их засунула. Давай пообедаем. Суп-то остынет.

За обедом мать поднесла припасенную чарочку водки на похмелье. Демид выпил с удовольствием, повеселел. Говорил о том, как они хорошо заживут без Филимона Прокосьевича, что настанет такой час, когда на свой заработок он купит матери и новую кофту, и юбку, и еще кое-что.

— Кабы ночесь стол не опрокинули да печку, на неделю бы нам харчей хватило,— вздыхала Филимониha, дуя на алюминиевую ложку.— И пирог рыбий, и мед сотовый, и стряпню Лалетиных, и медвежатину Голоवेशихи, все-то, как

есть все, истоптали ногами. Измесиши в грязь. Осподи! Утре собирала с полу, слезами заливалась...

III

Из ограды донеслись голоса Филимона и Мургашки.

Демид пересел на край стола, отодвинул от себя посуду. Ждал. Его черные брови, резко выделяющиеся на лице, слылись к переносью. Предстояло выдержать еще одну схватку с Филимоном Прокопьевичем: последнюю.

Первым в дверях появился Мургашка в бешмете, словно Филимон Прокопьевич выставил впереди себя заслон.

На Филимоне черная борчатка с перехватом у пояса, пыжиковая шапка и шерстяные перчатки.

Не раздеваясь и не ожидая приглашения, уселись на лавку возле окна в пойму.

Начал разговор Филимон:

— Тэк-с, Демид Филимонович. Стыдно тебе аль нет опосля вчерашнего?

— Не мне, а тебе должно быть стыдно,— ответил Демид, заметно подобрившись на лавке.— Не я, а ты пустил мать по миру. Не я, а ты увел с надворья корову и нетель.

— Про мать, про коров разговор не ведем. Не тебе совать нос в мою жизнь, как она происходит. Мать живет себе, я себе. Каждый на свой манер. Хозяйство вязало; нет хозяйства — развязались и узелки врозь. Вот она какая планида нашей житухи.

— Что же тебе здесь нужно в таком случае?

— Про то будет разговор, зачем пришел. Опосля вчерашнего я покажу тебе из мово дома — порог и семь дорог. Катись по любой.

— Вот оно что! — Демид медленно поднялся с лавки. В груди его начал нарастать такой бешеный гнев, что он с трудом говорил:

— Дом принадлежит матери, Филимон Прокопьевич. Ты первый раз ушел из дома в восемнадцатом году. В тридцатом ты еще раз бежал — увел тройку лошадей, успел промотать сенокоску, жатку, двух коров, три десятка ульев пчел, а денежки сложил себе в карман. Таким образом, ты получил сполна свою долю. Я, Ефросинья, Мария — свидетели. Тогда ты оставил голый дом и надворье. А потом вернулся к нам со вшами за очкуром. С тем и вступил в кол-

хоз. А во время войны, сказывают, в спекуляцию ударился, эвакуированных обдирал. И опять — вон из дому!.. Где же твой дом, спрашивается? Там, где ты живешь. Тут и поставим точку.

— Рассудил, как размазал.

— Перемазывать не буду, Филимон Прокопьевич. И заявляю: с сегодняшнего дня чтоб ноги твоей не было в доме. Слышишь?

Филимона так и подбросило на лавке.

— Подумай, папаша, борчатка на тебе новая. Если полезешь в драку — останутся одни лоскутья,— предупредил Демид.

Борчатка! Филимон Прокопьевич мгновенно опомнился и, вздрогнув, опустился на лавку. Зло спросил:

— Такому обхождению с отцом тебя обучили на Западе? Но ты вот что поймей в виду: лучше тебе, пока не поздно, смазать лыжи из деревни. Потому как ты в тридцать седьмом году сидел по вредительству. Тебе сейчас моментом припаяют за прошедшее, а также за плен.

— Господи! — подала голос Филимониha.— За что паять-то?

— Не встревай в разговор! — осадил Филимон Прокопьевич.— Мургашка, забирай свои мешки. Пойдем от греха. Но попомни, Демид, я с тобой еще схлестнусь!

— Приходи, только без борчатки.

— Молчай, сукин сын! — рявкнул Филимон Прокопьевич, багровея.— Разорву одним часом. Не доводи до греха.

Мургашка вытащил из-под кровати три мешка, туго набитые пушниной,— таежный прибыток Филимона Прокопьевича. Но где же волчьи шкуры?

— Шкуры волков забрал, или как? Вечор отдал, утре конфисковал. Хе-хе-хе, жадность!

— Ты же получил шкуры с прохожего прискателя, с него и спрашивай,— криво усмехнулся Демид.

— Ладно. Я тебе потом все припомню! Отсчитывай свой век от сегодняшнего дня короткими шагами: укорочу. Не я, так сама Голоवेशиха. Она тебя уpekет! А двустволка где? — округлил глаза Филимон Прокопьевич, уставившись на стену.— Как?! Твоя?! Да я, я — разорву тебя одним часом! За мою двустволку — жилы из тебя вытяну. До единой. Слышь, супостат? Отдай сейчас же! Не доводи до греха! Мне за нее десять тысяч давали, да не отдал. Где двустволка?

Филимониha от испуга спряталась в куть, готовая нырнуть головой в печь.

— Ты не кипятись,— остановил Демид, на всякий случай заняв оборонительную позицию между кутью и столиком на треноге, где грудилось кухонное снаряжение — чугунки, сковородка, пустые кринки и оцинкованные ведра, засунутые одно в другое.— Остынь, папаша. Двустволку тебе не видать как своих ушей. С какой стати ты к ней примазался? Говори спасибо, что попользовался в мое отсутствие. И хватит. Самому нужна.

Филимон Прокопьевич задыхался от злобы. Ему стало жарко, несносно душно. К горлу подкатился такой ком, что он не мог выдавить из себя слово. Единственное, что его сдерживало,— позиция Демиды: непреклонная, уверенная. И он понял эту позицию. До него дошло: не одолеть ему Демиду, не смять. Если схватятся сейчас — польется кровь. А чья? Он уже знает, какой Демид в бешенстве. Такого Демиды Филимон не знал: ожесточился на чужбине. И хваток в драке, костей не соберешь. А Филимон Прокопьевич любит жизнь, бережет ее по-божьему. Бог дал — бог возьмет!..

Все это пронеслось в сознании Филимона Прокопьевича за какие-то десять — пятнадцать критических секунд. Наступила та свинцово-тяжкая тишина, когда слова не имели уже никакого смысла, когда злоба дошла до предела кипения. Слышно было трудное шипение тяжелых вздохов Филимона Прокопьевича, не менее напряженное дыхание Демиды.

Хоть бы глоток холодного воздуха! В голове у Филимона било молотками, туго налитое кровью лицо казалось медным. Машинально, сам того не сознавая, трясущимися скрюченными пальцами левой руки Филимон нашаривал в борчатке неподатливые крючки, расстегивая их, освобождая грудь от бараньего панциря, в котором он взопрел. Он стоял возле стола на широко расставленных ногах, упираясь кулаком в стол, похожий на большущий ржавый черный якорь, прислоненный к углой лодчонке. Его расширенные гневом глаза такого безобидно васильково-поднебесного цвета наливались кровью. Лицо его сравнялось в цвете с рыжей бородой. А со стены, чуть склонившись вниз, глядел на него благостно ухмыляющийся его двойник, протопол Иоанн Кронштадтский, которого Филимон Прокопьевич получил в дар от уджейской церкви в 1923 году за принятие

православной веры. Тогда он плюнул с высокой колокольни на все старообрядчество, чем жили его предки, начиная от пугачевца Филарета. Откровенно говоря, он вообще не верил в бога. Еще с тех дней, когда лежал в Смоленском лазарете с брюшным тифом и каждые сутки из лазарета вывозили десятки трупов солдат, усомнился Филимон в существовании бога, но приличия соблюдал. С тем и принял православие — ради приличия.

В смутную пору после гражданской войны, припрятав отцовское золото, Филимон ждал: когда же наконец все успокоится, «ушомкается», и он тряхнет мощной? Тогда бы он показал, на что способен Филимон Боровиков! Он бы завел конный завод, шестерки рысаков, гонял бы ямщину!.. Не зря покойный тятенька, Прокопий Веденеевич, поучал Филю: «Смотряй, вожжу не отпускай. Чо ухватишь — держи крепко. Раздуй кадило, чтоб затмить самого Юскова!» Но «кадило» раздуть не довелось — тут уж другие причины, а что насчет «чо ухватишь — держи крепко», — этой заповедью Филя никогда не пренебрегал.

И вот выставляют его из собственного дома. И кто? Сын-нок, варнак! Было от чего взбеситься Филимону Прокопьевичу. Собственный дом для него — видимый оплот жизни. И хоть не жил в доме, но всегда знал, что у него есть собственный домина. А тут еще двустволка, какую во всей тайге не сыщешь. Десятка три медведей уложил из нее, штук пятьдесят маралов, сколько сохатых, бессчетное количество снял белок! Верно, двустволка именная — ее получил как премию сын Демид, и на ложе серебряная пластинка с дарственной надписью, а где-то в сундуке Филимоники хранится соответствующая бумага... Все это так, но Филимон привык к двустволке и давно сказал: «Это — мое!» А «мое» отнять нельзя.

И вот стоит перед ним сын. Их разделяет угол стола, всего один шаг, а кажется, что не угол стола разъединяет отца и сына, а Жулдетский хребет — так далеки они друг от друга.

Если бы на лице Демиды дрогнул хоть один мускул, тогда Филимон обрушился бы на него, как гора на мышь, и раздавил бы. Но сын стоял перед ним напряжись, уверенный в своей силе.

«Судьба решается!» — снова осенило Филимона Прокопьевича. Он уже знал: если сейчас отступит, то никогда уже

не перенесет ногу через порог собственного дома. Он будет изгнан навсегда.

Филимонику была лихорадка. Зубы ее стучали, ноги подкосились, и она, придерживаясь рукою за печь, тихо сползла на пол возле кочерги, замерла в ожидании.

— Ай, что вы тут? Тятенька?! — неожиданно лопнула тягостная тишина.

Плечи Филимона и Демида враз обвисли; оба перевели дух. В избу вошла Иришка Мызникова, меньшая дочь Филимона Прокопьевича, а за нею — Иван Мызников, рослый парень. — Чтой-то вы, а?! Вчера, слышала, подрались? С ума посходили, что ли? — звонко лила Иришка, помигивая светлыми глазами.

Одета она была по-городскому. Нарядное пальто из коричневого драпа, замысловатые манжеты, объемистые карманы, куда можно было всыпать по полпуда зерна, дерматиновая сумочка на руке, яркая гарусная косынка, едва прикрывающая золотистые волосы Иришки, губы накрашенные, утолщенные, брови подведены, и даже на щеках румянец, кажется, не совсем натуральный.

Напряжение спало. Филимон обругал Демида, как непутового сына; Демид отвечал не менее энергично.

Иришка старалась примирить отца с Демидом, но ни тот, ни другой не приняли ее слов близко к сердцу.

Разошлись смертельными врагами. Филимон Прокопьевич отступил от собственного дома и от двустволки. На крыльце он плюнул, взвалил на плечо мешок и подался к Фролу Лалетину, свояку.

Между тем Иришка с Мызниковым пришли пригласить Демида к себе в гости. Демид, еще не остыв от напряжения, сперва не ответил на ее приглашение, с неприязнью косясь на Иришкины ноги, обутые в резиновые боты. Колени Иришки обтягивают тонкие чулки. Виднеется низ шерстяного платья со складочкой.

— Придешь, Дема? — трещала Иришка, поблескивая мелкими беличьими зубами. Подбородочек у ней легонький, носик слегка вздернутый: красавица. — У нас будут свои люди: мызничата да приглашу из геологоразведки Олега Двоглазова и Матвея Вавилова. Если бы я вчера знала, что ты возвратишься, прилетела бы к вам среди ночи.

Демид поднял голову:

— Говоришь, среди ночи прилетела бы?

— Еще бы, как пуля прилетела бы!

Демид криво усмехнулся, щека его задергалась:

— Что ж ты не прибежала к матери, когда она ходила с сумой по деревне?

Мызников кашлянул, переступил с ноги на ногу. Иришка глянула на мать, фыркнула:

— Она ходила по своей воле. При чем я-то?

— По своей воле?

— А что же? У ней небось зимой льда не выпросишь. Когда у меня родилась Гланька, я просила у ней хоть с метру батиста, дала мне? Фигу! Сундуки напихано добра, а сама ходит в рванье. Чего у нее там только не лежит! И куски бархата, и батист, и кружева, а денег — сколько... Тятенька-то, когда был завхозом, сколь всякого добра скупил у эвакуированных!..

— Ай бесстыдница! Ай бессовестная! — всполошилась Филимониха, беспокойно заерзав на лавке.— Вот врет-то, вот врет-то, бесстыдница окаянная. Ты мне клала в сундуки-то добро аль не клала?

Слова Иришки оглушили Демиду. Он не знал, что сказать. Не может же быть, чтобы в сундуках у матери лежало добро!

Не раздумывая, он пообещал Иришке, что придет к ним посидеть в компании, тем более — Иришка пригласила геологов, с которыми ему необходимо завязать связи, войти в жизнь поисковой партии, один из отрядов которой размещался в Белой Елани под начальством инженера Марка Граника.

Уходя, Иришка шепнула ему по секрету, что на гулянку пригласила Агнию Вавилову, и, блестя глазами, поскорее ушла из избы.

IV

Демид долго ходил по избе: никак не укладывалось в голове, что мать, имея деньги, ценные вещи, могла надеть на себя суму и идти по деревне. Это что-то чудовищное, неестественное, противочеловечное. Неужели до такой степени может изуродовать постыдное стяжательство, крохоборство, когда человек в состоянии голодать, лежа на хлебе?

— Так что же у тебя в сундуках, в самом-то деле? — остановился Демид перед матерью.

Желтое, иссохшее лицо матери пугливо отвернулось от сына, а тонкие, скупые губы прошептали:

— Рвань разная, Демушка. Истинный бог! Врет Иришка-то, врет! Чтоб ей не видеть белого света.

— Где ключи?
— Дык утеряла. Давно утеряла. Рвань-то чо смотреть?
— Может, в рванье найдется кофта почище, чем на тебе сейчас?

— И, милый! Весь народ во рванье да в хламиде.

Демид раза два прошелся по избе, заглянул на печку, под кровать, будто что искал.

— Значит, ключи потеряла?

— Мать пресвятая богородица, да што же это такое?! — взмолилась мать, не в шутку пугаясь.

Она видела, что Демид вытащил из-под печки конец толстой проволоки, из стены гвоздь, нашел заржавленные стамески, щипцы и перешел в горницу. Здесь как будто век не открывались окна. Пахнет плесенью и спертым, прокисшим воздухом. Душно!

Возле стены — два сундука, куда бы можно было ссыпать кулей по пять пшеницы в каждый. Демид приподнял один из сундуков — тяжел, наверное, не одно рванье.

— Господи! Царица небесная! Помоги мне, горемычной да обездоленной, — начитывала мать, всплескивая костлявыми ладонями. — Чо делаешь, Демушка! Замки-то испортишь! Матушки светы! Замки-то ханут... Таких нету таперь, осподи!..

— Рванье можно не замыкать.

— Агриппина-великомученица, помоги мне! Демушка, не ломай замки-то. Ключи найду. Завтра найду.

Но Демид прилаживал отмычку. Филимониha, видя, что никакие уговоры и молитвы не действуют, проворно выбежала в сени, достала там из тайника связку ключей, принесла сыну.

Со странным, далеким звоном запел внутренний замок трех оборотов. Музыкальный звук замка, раздавшийся как бы из минувшего века, резко и злорадно прозвучал в затхлой горнице. Демид открыл окованную железными полосками крышку сундука, набитого доверху вещами. Молча вытаскивая вещи из сундука, рассматривая, он складывал их прямо на пол, возле ног. Филимониha стояла перед ним, как изваяние из окисленной меди: безжизненная, остолбеневшая от ужаса, глядя на разворошенные сокровища.

Нарядные городчанские платья, слежавшиеся, как пласты каменного угля; три куса добротного бархата, кусок японского шелка, кружева, кружева, нарядные кофты с буфами на плечах, какие-то накидки, полушалки, платки,

платки, куски батиста — тончайшего батиста, какой теперь редко сыщешь! И все это слежалось, утряслось, отошло на вечный покой! Проживи Филимониha сто лет — богатство обуглилось бы.

А тут что завернуто? Демид распутывает узел. Тряпки, но не рванье, а куски от пошитых вещей. Внутри узла — пачки червонцев! Настоящих червонцев, выпуска 1924 года! Он смутно помнит эти червонцы — сеяльщик с лукошком. И вот они лежат в сундуке. Эти деньги в то время ходили в курсе золотого рубля. Сколько же их? Пачки, пачки! А вот и пачки керенок!.. Эти давным-давно превратились в ничто, а у матери все еще лежат, ждут возврата старых времен. А в мешочке что? Какой он тяжелый!

Демид развязал мешочек. В сундук посыпались николаевские десятирублевки. Один, два, три, четыре — сколько же? Сто пятьдесят золотых! Тысяча пятьсот золотом!.. Здесь и советские десятирублевки — граненые, давнишние, впервые увиденные Демидом. И советских сорок шесть штук — четыреста шестьдесят рублей. Полтинники, серебряные рубли — николаевские и советские.

Демид открыл второй сундук.

Первое, что он увидел, был его собственный баян. Ах да! Мать сказала вчера, что баян она сохранила.

Демид бережно поставил баян на стол.

И каково же было его удивление, когда он достал из сундука собственную кожаную тужурку из хрома, перчатки, шевиотовый костюм, белье, три шарфа и даже носовые платки, некогда подаренные и расшитые Агнией Вавиловой!

— А я-то в грязной рубахе, — вырвалось у Демиды. — Что же ты утром не сказала, что есть белье? Ты же видела, в чем я хожу!

Филимониha отвечала вздохами.

— Отец знал, что у тебя в сундуках?

— Как же! Вместе наживали.

— Что же он не залез в сундуки?

— Дык — получил свое.

— Корову и нетель, что ли? Тут же на сто коров лежит.

— Золото я ему отдала.

— Сколько?

— Туес полный. Покойный батюшка клад оставил нам.

И вещи он свои все забрал. Еще когда первый раз уходил к Харитинье. Золото взял, когда на кордон уехал

То, что открыл Демид в сундуках матери, смахивающих на мучные лари, потрясло его, обидело до слез, и он, вывалив содержимое ларей на пол, долго стоял в ворохе лежащих вещей и кусков тканей, потерянный, уничтоженный, оскорбленный. Мать! Он сказал ей, что, когда заработает денег, купит кофту и юбку, а тут, оказывается, сокрыты такие богатства...

Демид попросил открыть ставни. Мать послушно и безжизненно, как стояла в рваных чирках на босу ногу, так и вышла в ограду открывать ставни. Неприятно запищали ржавые засовы в скважинах. Сколько лет не открывались ставни — можно было судить по тому, что стекла на всех пяти окнах с наружной стороны покрылись таким плотным слоем окаменевшей пыли, что едва пропускали полуденный свет.

Демид осмотрелся, мучительно соображая, что ему делать, какое решение принять. Детишки Марьи ходят в рванье с чужих плеч, в обносках, изможденные от недоедания... Надо будет отыскать в душе матери какую-то неокостеневшую часть, чтоб она почувствовала, поняла, что так жить нельзя, чтоб разбудить в ее сердце сострадание к внучкам.

Прежде всего он должен хотя бы приблизительно подсчитать, на какую сумму лежит здесь ценностей. Его часы «Мозер»...

Завел часы, приложил к уху — идут. Сунул их в карман, склонился над сундуком. В угловом ящичке — подскринке — кольца, золотая цепочка, роговые шпильки, еще одни часы — старинные, толстые: отцовские? Он их не видел у отца. Пробовал завести — мертвые.

На дне сундука — его сапоги: он покупал их к двадцатилетию Октября, да так и не надел. Вот и диагональные бриджи, подтяжки, еще одни шагреновые перчатки, кожаная кепка.

«Любил я тогда щеголять», — невесело вспомнил Демид. А это что? Что так старательно завернуто в расшитые полотенца? Иконы! Груда бумаг. Какие-то справки, налоговые листы по сельхозобложению за 1922—1927 годы! Фотографии — целая стопка.

Какая-то странная, мимолетная улыбка пристыла на губах Демида.

С тоской поглядел на свою фотографию. Пышные кудри, большие открытые глаза. На фотографии, конечно, не видеть цвета глаз, но он знает и так, какие были у него синие глаза. Теперь один, да и тот уже не такой ясный.

Демид развернул толстый кусок бархата.

— Ай, господи, да прибереи ты мои косточки горемычные! — истошно завопила мать, глядя на шевелящийся кусок бархата. — Разор пришел, анчихристов разор! Что делаешь-то, Демушка? Побойся бога!

Демид бросил ткань, повернулся к матери:

— Откуда у вас столько вещей? Пачки денег? Откуда?

— Без тебя нажито, ирод. Без тебя!

— Со своего хозяйства вам никогда бы не набить сундуков, вот что я хочу сказать. Никакой «батюшка» такого золотого клада не оставил. Может, Филимон ограбил кого?

И, глядя на вещи, на сверкающее золото в первом сундуке, на груды пачек бумажных денег, не имеющих теперь никакой цены, покачал головою:

— Своим хозяйством столько не нажить!

— Своим! Своим нажили! — крикнула мать. Щеки ее спустились вниз, взгляд черных глаз стал безжизненным, тупым, как у старой коровы. — Царские золотые скопил еще Прокопий Веденеевич!.. Своим горбом нажили, вот что! До переворота нажили. Свекор копил деньги, чтоб купить конный завод, поставить мельницу, маслобойку... Да переворот помешал. Чтоб они провалились — и красные, и белые! А потом Прокопий Веденеевич, покойничек, золото завещал...

И, сморкаясь в грязный фартук, вся согнувшись, тихо всхлипывала. Она не сказала, кому завещал золото свекор. А ведь это Демидово золото!..

«Ничего! Я на нее сумею повлиять. Сползет с нее кержацкая скорлупа», — уверил себя Демид и ушел таскать дрова и воду в баню. С сегодняшнего дня он начинает новую жизнь — настоящую. Каким же слепым кротом он был в своей молодости!

После бани он сбрит себе усы, вырядится в те бриджи и сапоги, что не успел обновить двенадцать лет назад, возьмет свой баян, и они пойдут с матерью к Иришке-моднице. Но прежде всего он повеселит Марию. Конечно, пусть и у ней с ребятами настанет праздник. Что она такая печальная? Жить надо, черт побери! Жить. Сила в руках и ногах есть,

мозги работают. Что еще нужно? У него есть дочь Полюшка. Он и дочь порадует. Но как быть с золотом? Сдать его без лишних слов государству?

«Ну, заварил я кашу».

В большом чугунном котле, вделанном в каменку, ключом закипела вода. Камни накалились докрасна. Жару и воды хватит на десять человек. Баня устроена по-белому. Дым из каменки уходит в трубу. Стены побелены, полوک для парки в два яруса. Шайки деревянные, ковш железный, еще тот самый! Как долго живут вещи, удивительно!

VI

Вечерело. Филिमониha вышла на крыльцо, устaвилась на закатное солнышко, перекрестилась.

Демид уходил в баню с бельем, сапогами, костюмом.

— Да что ты, мама, такая унылая? — спросил он, задержав ногу на приступке крыльца. — Я же тебе говорю: жить будем веселее, в открытую. Да еще так, что и другим завидно будет. Сходи за Марией с ребятами.

— Власти не раскулачили — сынок возвратился, раскулачил, — как бы про себя проговорила Филимониha, уставившись на красное закатное солнышко.

— Опять за рыбу деньги! Я же сказал: покончено со старым. Что ты за него цепляешься? Живут же люди. И мы будем жить.

Вздых отчаяния вырвался из груди Филимониhi, но сын будто не заметил ее вздоха. Насвистывая песенку, ушел в баню. Филимониha проводила его сумрачным взглядом.

«Ишь, как распорядился, — ворочалась тугая старческая мысль. — Моим добром — Марьиных голодранцев обделять да утешать. Моими деньгами да ихние голодные рты насыщать, ирод проклятуший. Не знала, что ты таким уродишься».

Она его проклянет. Не будет ему покоя ни днем, ни ночью. Но как же золото? Бархат? Куски шелка?

«Все, все раздаст! Завтра буду голая и босая, осподи! Прибери мои косточки, мать пресвятая богородица!..»

Теперь она знает, что ей делать. Надо спешить, пока сын в бане. Все равно сын лишил ее самого ценного — золота. Ее золота!..

Вернулась в избу, стала на колени перед иконами и су

хим, трескучим голосом, как хруст сосновой лучины, минут десять читала молитву, чтоб бог простил ей все земные грехи да отворил бы перед ней, великомученицей, золотые врата рая. Багрянец заката падал ей на пергаментно-желтую кожу. Растрепанные волосы свисали на висок космами, отчего старуха смахивала на какое-то неземное чудовище. Костлявая спина, выпирающая из-под кофтенки, земно кланялась, а лоб стучался в пол. С переднего затемненного угла смотрели на нее едва видимые лики святых угодников с огарышками незажженных свечей.

— Проклинаю анчихристову душу! — вырвалось из ее груди со старческим хрипом.

И сразу же наплыло давнее, ее девическое. Отцовский дом Романа Ивановича Валявина; тройка на масленую неделю, свекор Прокопий Веденеевич, от которого родила Демида... Тополевое радение... Откровение Прокопия Веденеевича в бане, когда он указал Меланье на тайник с золотом, и она тогда поклялась, что золото сбережет до возрастания Демида, но так и утаила от Демида — не комсомольцу же проклятому отдавать!..

Для нее не существовало ни людей, ни деревни, ни ее трех дочерей и единственного сына! Вымри весь мир — она и бровью не поведет: была бы она жива и ее состояние, нажитое покойным Прокопием Веденеевичем за долгие годы скопидомства. Она совсем запомнила, какую клятву дала свекру!..

Демиду и в голову не пришло, какие чувства обуревали мать, когда он ушел в баню. С какой ребяческой радостью хлестался он березовым веником, покряхтывая, подбадривая себя, довольный, что истопил баню.

— Теперь мы будем беленькими, — смеялся Демид, нахлестывая спину. — Ах, как хорошо! Так ее, так ее! Еще, еще!..

Спустился с полка, окатился холодной водой из шайки, отпыхтелся и опять полез с веником, поддав ковшиком горячей воды на каменку.

Клубы горячего пара обволакивали его всего. Свистел веник, и горячие прилипающие березовые листья приятно щекотали ложбину спины.

Мылся он часа полтора. В бане стало совсем темно, и он зажег керосиновую копилку на окошке.

От слежавшегося в сундуке белья несло запахом кожи.

Не успел натянуть бриджи, как со стороны дома раздался визгливый пронзительный голос:

— Ай-ай, ма-атушки!..

Демид выскочил из предбанника. К воротам калитки от крыльца бежала Иришка.

— Ирина! Ирина! Что ты?

— Ах, боже мой, мать повесилась!..

Босоногий, по снегу, в какие-то секунды Демид пролетел от предбанника до крыльца. Одним прыжком перемахнул через ступеньки, влетел в открытые двери сеней и избы — и откатнулся на косяк. Прямо перед ним, загородив проход в передний угол, свешивалось с бруса неестественно приподнятое над полом тело матери. Голова ее откатнулась набок, рот открылся, и пена скопилась на губах.

В мгновение Демид подхватил тело, приподнял на руках, нашаривая узел на шее. Но узел не поддавался. Бешено колотилось сердце, словно пыталось разорвать ему грудь. Он звал мать, бормоча что-то бессвязное, одной рукой стараясь дотянуться до бруса и развязать бечевку. Когда поднялся на табуретку, не отпуская тела матери, мертвая рука, случайно приподнятая его локтем, сорвалась, ударив его по щеке.

— Мама! Мама! — вскрикнул он, развязывая узел на бресе.— Иришка! Иришка!

Но Иришки и след простыл.

Уложив легонькое, сухое тело матери на кровать, скинул петлю с шеи, приложился ухом к груди: ни вдоха

Вскоре прибежала сестра Мария с такими испуганными черными глазами, каких он никогда у нее не видел. За Марией — Фроська, Санюха Вавилов, а потом наполнилась вся изба.

В тот же вечер, когда старухи обрядили тело матери в чужое нарядное платье с кружевами, Демид пригласил в горницу председателя сельсовета Вихрова, старого Зыряна, участкового Гришу, Павла Лалетина и старого учителя Анатолия Васильевича Лаврищева, отбывшего полный срок наказания и возвратившегося снова в Белую Елань.

Демид открыл перед ними сундуки матери; высыпал на стол золотые десятирублевки из мешочка, выложил пачки червонцев, екатеринок, керенок; и, как потом подсчитали, советских денег лопнуло у Филимона Прокопьевича с Меланьей Романовной в денежную реформу 1947 года ни много ни мало, а сто семьдесят тысяч рубликов!..

Молча, без слов, глядели люди на куски бархата, шелка, батиста, маркизета, на груды золота, и кто знает, кто и что думал из них?

А старухи, собравшиеся в избе у покойницы, припомнили, какой красавицей была Филимониha в молодости и какая завидная она была невеста.

На похороны сошлись сестры Филимонихи — Аксинья Романовна, жена Егора Вавилова; Авдотья Романовна, вдовушка; Марья Романовна, жена Вихрова, председателя сельсовета. И так-то горько вздыхали все...

Побывал на похоронах и сам Филимон Прокопьевич. Молчаливый, угрюмый, настороженный. Он знал причину смерти Меланьи Романовны и, опасливо кося глазом на сына, ждал: не обронит ли слова Демид о тусесе с золотом? Было-то два тусеса!..

VII

Демид переселил старшую сестру Марию из ее избенки к себе в дом. И сразу мрачная Филимонова твердыня преобразилась: защелкали, запели звонкие детские голоса; заскрипели половицы в горнице, захлопали филенчатые двери. Словоно поток нахлынувшей жизни готов был распереть дом по швам. И веселье, и смех, и детский плач, и материнские шлепки, и снова хохот, суета, движение! И сам Демид, помогая трудолюбивой Марии отмывать прокоптелые стены и потолки, подшучивая над черноглазой, повеселевшей вдовушкой, как-то помолодел, преобразился. Им было радостно, они жили.

И только изредка под сердце Демида подкатывался тяжелый ком обиды на покойную мать. Разве она не могла вот так же устроить свою жизнь? Что ей мешало поселить у себя Марию с ребятишками? Может быть, он, Демид, слишком круто поступил с матерью в тот день, не сумел открыть в ней добрую половину души? Но тут уж виноват не он, а те сгустившиеся обстоятельства, в каких он тогда оказался в трудный день возвращения домой.

Вечерами Мария допоздна засиживалась за швейной машиной, торопясь пошить обновы ребятишкам. Те, сгрудившись, стояли возле матери — сияющие, радостные и непослушные, как все дети. У той будет новое платье, и у третьей! Мальчишки — одиннадцатилетний Гришутка, черный, как цыганенок, и старший Сашка — заняты были сооружением подводной

лодки. Строительным материалом для них послужил тот самый Иоанн Кронштадтский на жести, что недавно еще с такой умиротворенной, сытой улыбкой взирал на Филимона Прокопьевича со стены. Синие глаза Иоанна Кронштадтского, точно такие же, как у Филимона Прокопьевича, смотрели с двух бортов лодки.

— Глазастая у вас лодка вышла,— улыбнулся Демид.

— А мы их выцарапаем, глаза,— буркнул Гришка, поддегивая штанишки на ляжке.

— Зачем же выцарапывать? — остановил Демид.— Вы думаете, подводная лодка может быть безглазой?

— У подводки устроим перископ,— сообщил Гришка и, долго не раздумывая, выскреб глаза святому.

...Так — по малому, по крупнице, по частичке, исчезали из дома Филимоновы приметины, все, что составляло сущность его жизни.

В дом не закахивали обиженные сестры Демида и Марии. Они ждали, что Демид разделит между ними поровну состояние матери, но Демид распорядился по-своему: отдал все вдовушке Марии с детьми. И деньги, и вещи, и материю. Себе он ничего не взял, ни копейки. Только собственные вещи. Да попросил Марию не обделить подарками Полюшку.

Не менее обижены были и тетушки Демида, сестры покойной матери. Хоть и жили они не хуже других, а Аксинья Романовна в полном достатке, но все-таки ждали, что от сестрицы перепадет им кое-что. Аксинья Романовна побывала даже в сельсовете, но безрезультатно. Председатель сельсовета оказался на стороне Демида, а Аксинья Романовна не преминула шепнуть Авдотье Романовне, что Демид «хорошо подмазал председателя» и что управу надо искать в районе, а то и выше. Правда, дальше слов дело не пошло, но тетушки сплетнями старались очернить племянника. Он и такой, и сякой, и мать в могилу загнал, и отца из дому выжил!

Вечерами не закрывали ставней. Из батиста Мария сшила нарядные шторы на окна, отделанные кружевами. Достали две лампы: десятилинейную в горницу и «молнию» в переднюю избу. Наверное, никогда еще дом Боровиковых не сиял так в ночную пору, как в эту памятную весну. Он светился и в пойму тремя окнами, и в улицу пятью, и тремя в ограду. Со всех сторон к нему можно было подойти на огонек и, не постучав в двери, войти к гостеприимным хо-

зьявам, что и делали девчата и парни стороны Предивной. Сперва они находили заделье у Марии, с которой работали вместе на ферме колхоза, а потом приходили просто послушать баян Демиды.

Дня за три до Первого мая случилось еще одно событие, над которым Демид долго потом раздумывал.

Поздно вечером Мария занята была стряпней к празднику. Жарко горела русская печка, озаряя пламенем кухонный столик и окно. Демид наигрывал на баяне. Ребятишки облепили его со всех сторон, слушая музыку, заглядевшись на пальцы Демиды, скользящие по перламутровым пуговкам. Вдруг Гришутка от окна подал голос:

— Ай, дядя Дема, глянь-ка, наш тополь рубит Андрюшка Вавилов.

Демид и Мария разом подскочили к окну.

И в самом деле, чья-то черная приземистая фигура копошилась возле тополя, размахивая топором.

— Ты смотри-ка, а? Рубит. Ах ты, Вавиленок! Вот я ему задам сейчас,— заторопилась Мария.

Демид остановил ее:

— Я сам схожу. Надо с ним поговорить.

В ограде Демид задержался, обдумывая, с чего и как начать разговор с Андрюшкой. Потом спокойно подошел к пареньку.

— Бог в помощь, Андрей Степанович,— поприветствовал Демид.— Что, заготавливаешь дровишки?

— Нужны мне они, дрова,— пробурчал Андрюшка.

— Так что же ты, строить что-нибудь собираешься?

— Ничего не строить. Просто рублю, и все.

— А! И то неплохо. Я давно, брат, собирался срубить его. Помогу от всей души. Только где нам стекла достать, а? Иди-ка сюда, глянь. Ну что стоишь? Пойдем. Погляди, куда он рухнет, когда мы его срубим. Прямо в окна. Вот если ты залезешь на тополь и наклонишь его в другую сторону, а я тем временем подрублю его — к утру мы его завалим.

Андрюшка молчал, уставившись на Демиды исподлобья, как на врага, с которым он не намерен мириться и тем более разговаривать.

— Ну что, полезешь?

— Сам лезь! И сиди там до утра,— проворчал Андрюшка, забирая свою тужурчонку и шапку.

— Что ж ты рассердился? Какой же ты неразговорчивый, однако.

— Вот тебе и «однако»! — передразнил Андрюшка, закинув топор на плечо.— А тополь я все равно срублю. Вот посмотрите, срублю. Не будете тут под тополем обниматься да целоваться.

У Демида дух перехватило и даже уши запылали от таких слов Андрюшки. Чего-чего, а этого он не ждал.

Андрюшка ушел, а Демид все еще стоял под черным, тихо шумящим тополем, припоминая минувшие дни бурной юности.

VIII

Черный тополь!..

Ни вешние ветры, ни солнце, ни пойменные соки земли — ничто не в силах оживить мертвое дерево. Отшумело оно, отлопотало свои песни-сказки и теперь возвышается мрачное, углистое, присыпаемое прахом земли, — не дерево, а сохнувший на ветру скелет. Настанет день, когда Демид срубит мертвое дерево, и останется тогда пень в три обхвата, который со временем сгниет. И никто, пожалуй, не вспомнит, что когда-то в Белой Елани шумел нарядный и гордый тополь...

Демид смотрел в окно, и чувство горечи и одиночества накатывалось на него волной. Так же вот, как и этот черный тополь, торчал он в жизни столько лет. Держался на ногах, но не жил. Если бы он мог, то никогда бы не оглянулся на прошлое. На те каменные блоки и бункера, где он был погребен заживо.

Он вырвался из самой преисподней и все еще не верил, что он дома, что он живой. Ни разу даже во сне он не видел себя молодым и беспечным. Чаще всего ему снится один и тот же сон: побег из концлагеря Дахау по канализационной трубе. Он спускается в грязную, вонючую трубу, и лезет, ползет на брюхе, и никак не может проползти до конца эту проклятую трубу. Каждый раз он просыпается от страшного удушья и суматошных перебоев сердца. Вскакивает с постели, сворачивает махорочную сигарку, прикуривает и потом долго смотрит в окошко на черный тополь.

Весь лес и кустарник в пойме Малтата нарядился в зеленые пышные одежды, и только тополь под окном торчит, как обуглившийся скелет.

«Я его срублю. Хватит ему торчать здесь,— думал Демид.— И мне пора встряхнуться. Пусть обгорел, но не сгорел же!..»

Частенько к Демиду навевывалась Полюшка. Она при-

ходила тайком от матери и бабушки Анфисы Семеновны. Между отцом и дочерью установилась какая-то странная, молчаливая любовь. Полюшка ни о чем не расспрашивала отца. Она догадывалась, как ему тяжело. Сердце подсказало ей, что отцу больно всякое напоминание о прошлом. И она щебетала ему о своих неотложных делах, поверяла маленькие тайны, тормозила, когда он становился задумчивым.

Однажды Полюшка спросила:

— Папа, тополь совсем мертвый?

— Засох. У каждого дерева есть свой век.

— Тогда ты его сруби, если он совсем неживой.

Демиду стало грустно и больно. Ведь именно здесь, под старым тополем, он когда-то встречался с Агнией... А теперь Агния так далека от него. У нее своя дорога, трудом завоеванное место в жизни, хорошая зарплата, она партийная... А он что? Бывший враг народа, бывший военнопленный, бывший ее любовник!.. Ну бывший так бывший! Стало быть, все, что было между ними, былем поросло. И на этом пора поставить точку! Агния даже Полюшку к нему не пускает. Разве он дурак? Сам не видит, что их разделяет пропасть? Прав отец, что удержал его в тот вечер. А то бы все подумали, что он навязывается ей в мужья.

— Папа, скажи, ты сильный?

— А почему ты спрашиваешь?

— А бабушка Анфиса говорит, что ты теперь как дохлая курица. Это ведь неправда, папа? Скажи, неправда? Вон у тебя какие мускулы!

— Неправда, неправда,— смутившись, заверил ее Демид.

На другой день он ушел в тайгу с ружьем.

Оттепель. Курилась макушка Татар-горы. Демид долго стоял у подножия горы на берегу Малтата и вдруг кинулся на штурм по крутому склону. Камни летели из-под ног, Демид срывался и чуть не упал кубарем вниз, но успел уцепиться. Удержался. Три часа он бился, весь взмок до нитки, но одолел подъем. «Сила еще есть в ногах и руках»,— восторженно озирался он с макушки Татар-горы. Вдали синели тайга и ледники Белогорья.

IX

Неожиданно к Демиду в гости явились геологи: Матвей Вавилов, Аркашка Воробьев и совсем молодой парень, бело-

брысьи и белолицый, как женщина, и такой же улыбчивый, Олег Двоглазов.

Демид мастерил корчагу из ивовых прутьев для ловли щук в малтатских яминах. Сыновья Марии помогали ему: один подавал распаренные в печке прутья, другой, по примеру дяди, влетал прутья в корчагу.

— Эге, тут рыбалкой пахнет! — начал Матвей, как только перенес ногу через порог. — Ну а мы вот пришли к тебе в гости.

Демид смутился и ногой отпихнул связки прутьев вместе с корчагой. Матвей крепко пожал ему руку — пальцы слиплись.

— Ну как? В силе?

— С твоей бы рукой молотобойцем быть. Вместо кувалды навинчивал бы по наковальне.

— Будь здоров! Знакомься: Олег Александрович Двоглазов. Инженер, начальник партии.

Демид почувствовал, что Двоглазов оценивающе взглянул на него, будто хотел убедиться, пригоден ли Демид для поисковой работы в тайге?..

Ворохнулось что-то тяжелое, сердитое в сердце Демиды и, ворча, притихло.

Матвей что-то успел шепнуть Марии Филимоновне. Аркашка Воробьев, всегда тихий, такой же, каким его знал Демид, жался к двери. А ведь хороший геолог! Куда лучше Матвея. Скромняга! Так, наверно, и работает, как прежде, — за троих, и помалкивает.

— Я тебя давно не видел, Аркадий, — обнял Демид маленького Аркашку. — Ты ничуть не постарел, браток. Я-то думал, что ты теперь не иначе как начальник геологического управления.

— Будь здоров! Аркашка потянет, — откликнулся вездесущий Матвей. — Мы с ним, как Малтат с Амылом, неразлучны. Где мы только не бывали с Аркашкой! И в Туве, и в Казахстане, и на Урале, — а все тянуло в свою тайгу.

Демид пригласил гостей в комнату.

Как только переступили порог маленькой горенки, утопающей в сумерках угасающего дня, Матвей нарочно задержался у порога и, прищелкивая языком, сообщил Двоглазову, что вот, мол, Олег Александрович, вы столько раз слышали разговоры про старину, про былых раскольников, которых сейчас в Белой Елани днем с огнем не сыщешь, —

а вот и моленная «тополевецв»! Здесь происходили их радения и ночные бдения.

Демид не поддержал разглагольствования Матвея.

— А мне говорили, что у тебя усы,— проговорил Аркашка, прячась в тень возле протенка.

— Сбрил усы, Аркашка. Давай раздевайся. Что ты уселся в полушубке?

— Мне не жарко.

— Он ни зимой, ни летом с полушубком не расстается. Закон геолога,— ответил за него Матвей.

Мария подала закуску — огурцы, квашеную капусту, отварную щуку, а Матвей вытащил из своих объемистых карманов две поллитровки водки.

— Ну, как, Демид? Принимаешь сватов?

Демид перемял плечами.

— Мы пришли тебя звать на самый трудный маршрут: Жулдетский хребет пощупать надо. Без знающего человека тут не обойтись. Будешь за проводника и разнорабочего. Заработком не обидим. Харчи казенные...

У Демида запершило в горле, и он едва сдержал слезы. «Надо начинать все сначала»,— подумал он. И вслух твердо сказал:

— Раз надо, так надо.

— Это у меня самый тяжелый участок разведки,— дополнил Двоглазов.— Нам вот обещают из Ленинграда геофизиков. Но пока мы должны сами разведывать весь хребет. Подготовим плацдарм для них. А вы, говорят, все эти места хорошо знаете?

— Слепым могу туда пойти. Работал там когда-то в окрестностях. Лес валил. Не раз пересекал хребет.

— Вот и отлично. Нам как раз такого человека и нужно. Ну, а как здоровье?

— Не жалуясь. На днях поднялся на Татар-гору по коршуновской стороне.

— По коршуновской?! — уставился Матвей.— Вот здорово! Это же, браток, для альпинистов! Ну, тогда ты нам вполне подходишь. А я-то думал, ты совсем сдал! Вот даешь!.. Значит, сосватали?! Выпьем, братцы, за Демида! За сибиряка кремневой породы!

— И еще за удачную разведку Жулдетского хребта!

— И за Первое мая! Чего ждать? Два дня осталось!

— Правильно! Кто праздничку рад, тот накануне пьян. Все выпили и стали закусывать хрусткими огурцами.

Только Аркашка, отставив стакан, крикнул, шумно вздохнул и ни к чему не притронулся.

— Ты чего, Аркадий, сидишь, как красная девица? — подступилась к нему расторопная Мария. — Угошайся солониной-то, своя, домашняя, грузочки вот, огурцы...

— Живот у меня сегодня чегой-то купорит и купорит. Поел вчерась в чайной колбасы, и вот второй день все купорит и купорит...

— Эх, бедняга! Ну, это мы сейчас поправим. Раз купорит, надо раскупорить! — И налила ему еще полстакана водки.

Все дружно рассмеялись и выпили по второй. Полюшка заглянула было в горницу и тут же шмыгнула обратно.

— За красивых девушек! — выпалил ей вслед Матвей, взъерошивая слипшиеся волосы. — Мы же с тобой, Демид, годки. И оба старые холостяки. Тебе вот теперь подвалило счастье: дочь как-никак! А может, и мне откуда с неба свалится пара сынов, чем черт не шутит! А я был бы рад! Ей-богу, рад!..

х

Вся Белая Елань стекалась на первомайский митинг. Дул легкий ветерок, плескались красные знамена.

Престарелый Андрей Пахомович Вавилов — и тот не усидел дома. Он шел в клуб, где молодежь устроила вечер самодеятельности. Дед этот был известен на всю деревню как глава рода Вавиловых. Он давно уже не помнил, сколько ему годов, а однажды, возвращаясь из леса с грибами, перед тем как перебрести речку, снял холщовые подштанники, перекинул через плечо да так и прошествовал по всей деревне, позабыв надеть их обратно.

Андрюшка встретил прадеда у трибуны.

— Ты куда, деда? — спросил он, весьма озадаченный появлением худощего старика с вислыми белыми усами, все еще бодрого на шаг.

Старик даже не взглянул на такую мелочь, как Андрюшка. Неестественно прямо держа шею на ссохшихся костлявых плечах, не разгибая ног в коленях, шел он вперед, глядя куда-то поверх таежного горизонта.

— Деда, а деда, ты куда?

Скособочив голову, старик пригляделся к Андрюшке:

— Ты чей, пострел?

— Я-то? Вавилов. Ты что, не узнаешь меня, деда?

— Ишь, как хлестко режешь! Чей будешь, говорю?

— Дак Вавилов, дедка.

— Хо! Вавилов! Разве я знаю всех? У меня, пострел, одних сынов было девятеро, да дочерей семеро, да трех старух пережил, ядрена-зелена! А от них сколь народу пошло, соображаешь? Вот и спрашиваю: от чьего отводка этакий побег отделен? От Никиты аль Катерины?

— Я Степана Егоровича.

— Степанов? Ишь ты!

Андреян Пахомович помолчал минуту.

— Что Степан не зайдет ко мне? Возгордился?

— Да ведь он сейчас в Берлине...

— Ишь ты! В Берлине? Вот оно как обернулась война с Гитлером! Славно. В Берлине? Экая даль! В чужой державе, значит.

И невозмутимый прадед торжественно подался дальше.

Потом Андрюшка долго стоял на крутом берегу Малтата. Синь-тайга распахнулась от горизонта до горизонта. Снег местами еще не сошел, но уже заманчиво оголились сохатинные тропы. Скоро мать возьмет Андрюшку с собой в тайгу.

Подул легкий ветерок. К Андрюшке подбежала Нюрка Вихрова. У Нюрки — большие синие глаза и смуглая, обожженная солнцем кожа. Нос у ней немножко горбатый, как у деда Вихрова.

— Ой, кого я сейчас видела! Угадай!

— Чо мне угадывать. Сама скажешь.

— А вот не скажу!

— Ну и не говори. Важность.

— Самого Демида Боровикова! В кожаной тужурке и в хромовых сапогах. В клуб прошел с баяном. Играть будет. Вот! Пойдем послушаем, а?

— Плевать мне на твоего Демида-дезертира, — рассердился Андрюшка.

— И вовсе он не дезертир! В плену у Гитлера был, вот что. Говорят, у фашистов были такие лагеря, что всех пленных убивали или в печах сжигали. Отец рассказывал.

— Кого убивали, а Боровик вышел живой. Может, фашистам продался! погоди еще, узнают, — угрожающе процедил Андрюшка и плюнул под яр.

Нюрка примолкла, не понимая, почему Андрюшка сегодня такой злой.

— Ой, звездочка упала! Чур моя, — хлопнула она в ла-

доши, наблюдая, как над тайгою огненным хвостиком мелькнула и угасла упавшая звездочка. Оба задрали головы вверх, раскрыв рты, похожие на едва оперившихся птенцов тайги.

В клубе заиграл баян. Нюрка встрепенулась, как ласточка, готовая вспорхнуть и улететь.

— Ой, Демид заиграл! Пойдем, а?

Андрюшка пошел прочь от Нюрки и от клуба, только бы не слышать, как наигрывает на своем баяне Демид.

Но тут он увидел мать. Она стояла с высоким Матвеем Вавиловым возле крыльца клуба. Андрюшка хотел было шибануть камнем в окно клуба, но сдержался. «Погоди, я еще с ним столкнусь! Я ему покажу, ухажеру проклятому!» — бурчал себе под нос Андрюшка, придумывая, как бы позвать мать, чтобы она не торчала возле клуба. Ничего не придумал. Пришел домой и сказал бабушке, Анфисе Семеновне, что в клубе сейчас играет на баяне Демид и мать там же.

— Ты бы ее позвал домой!

— Как же, позовешь!

Анфиса Семеновна сама пошла в клуб за Агнией...

XI

Агния сидела за столом, как на железных шипах: в контору пришел Демид!..

Матвей Вавилов возвестил всем, что Демид явился к Двоглазову с заявлением и что именно он, Демид Боровиков, будет работать с Матвеем в девятом поисковом отряде.

Девчонки за коллекторскими столами шушукались. Агния слышала, как веснушчатая Лиза Ковшова шептала толстушке Эмме Теллер, что Демид совершенно необыкновенный парень, хотя и седой.

— Один глаз, а все видит! А как он играет на баяне, если бы ты слышала, Эмочка. Я так плясала Первого мая, что каблуки у туфлей отлетели. А он подошел ко мне и говорит: «Каблуки — не пятки, починить можно».

Секретарша Двоглазова, пожилая бывшая учительница, Елена Петровна, прервала шушуканье девчонок:

— Олег Александрович просит всех в кабинет. Агния Аркадьевна, захватите документы седьмого и девятого отрядов за прошлый год.

Лиза и Эмма погляделись в зеркальце, подчепурились и, сорвавшись со стульев, помчались из коллекторской.

Агния открыла одну папку, достала другую, третью и, перелистывая бумаги, никак не могла сообразить, что ищет. Ах, да! Маршрутные листы и документы. Но какие? Девятого отряда и пятого, что ли? Матюшин руководил девятым... Надо собрать все свои силы, чтобы вот так просто, обыкновенно, на виду у всех встретиться с Демидом.

Секретарша еще раз напомнила и помогла Агнии собрать документы.

«Я даже не успела прибрать волосы,— подумала Агния, когда секретарша открыла дверь комнаты начальника партии.— И лицо у меня, наверное, дикое!»

И сразу увидела Демида, отдохнувшего, помолодевшего. Голова белая, а на лице бурый загар и ни единой морщинки. Совсем парень!

— Начнем с девятого отряда,— подтолкнул голос Двоглазова, и Агния положила на стол начальника папку с документами седьмого отряда.

— Я же говорю: с девятого!

Присела на стул возле стола, боком к Демиду, внимательно слушала Матюшина, Матвея Вавилова, Двоглазова и решительно ничего не понимала: о чем они говорят?

— Если будут геофизики — другое дело. Геолог с молотком не прощупает землю на сто метров,— гундосит Матюшин, страдающий постоянным насморком.

Но вот раздался голос Демида:

— В марте тридцать седьмого года на Лешачьем хребте, помню, геологи подняли образцы марганцевой руды. Я тогда работал в леспромхозе. Может, там крупное месторождение?

— Случайная находка — еще не месторождение. Посмотрим, что нам даст Жулдетский хребет. Важно разведать и знать наверняка.

Двоглазов говорил долго, и Агния успела успокоиться. Теперь ей придется часто встречаться с Демидом, и надо привыкнуть к нему сразу, с первого дня.

Совещание геологов прервал незнакомый человек. Борода черная с проседью, вьющаяся, как у цыгана, и взгляд какой-то диковатый. Видать, из староверов. Он ввалился без разрешения в комнату и остановился у порога.

— Геологи тут? — спросил, снимая зимнюю шапку.— Мне надо бы начальника.

Двоглазов назвал себя.

Старик присмотрелся, хмыкнул себе в бороду, усомнился:
— А не врешь? Тут есть постарше тебя, гляжу.

— У нас совещание, дед,— усмехнулся Двоглазов, догадываясь, что старик нашел какой-нибудь блестящий камушек медной обманки и выдаст его за кусок золота.— Если у вас какая находка — выкладывайте. Или ждите до вечера.

Бородатый тяжело вздохнул.

— Мои жданы кошки съели, сынок. Вечером меня с собаками не сыщешь. А поговорить мне надо с начальником с глазу на глаз. Потому: дело сурьезное.

— Вы же видите: у меня народ.

— Вижу, парень. Накурили-то — не продохнуть. Вот и сделайте перерыв на десять минут, чтоб проветрить избу. Тут я и поговорю с тобой

Матвей Вавилов поддержал столь полезное предложение, и совешание прервали. Когда все вышли из кабинета, бородатый сказал Двоглазову, чтобы он открыл форточку для проветривания, а дверь кабинета закрыл бы наглухо.

— Теперь слушай, начальник. Письменности никакой не будет. Знаю я смертное место — открою для власти.

У Двоглазова белесые брови поползли на лоб.

— Как понимать «смертное»?

— Такое место, где не одного человека ухрястали. Смыслишь? Тогда слушай да не перебивай. Про Жулдетский хребет слыхивал, начальник?

— Ну и что же?

— С того хребта по рассохам вытекают три речки: Кипрейная, Жулдет и Талгат. Через хребет перевалишь — прииск. Кумекай. Вхолостую работают там, можно сказать. Золото лежит на Кипрейской рассохе. Много! На целый прииск хватит. На том месте Ухоздвигов, который был золото-промышленником, прииск хотел ставить. Революция помешала. Место глухое, дикое, а золота много. Прорва! Если лето поработать с лотком — всю жизнь можно на боковой отлеживаться. Как было на руднике «Коммунар», знаешь? Рудник задохся. Геологов — тьма-тьмушая, а золота нет. Тогда пришел к начальнику человек и сказал: «Дайте поработать мне на себя месяц — место открою». И что ты думаешь? Под носом у геологов взял полтора пуда золота! Хэ-хэ! Так-то, начальник.

— Вы старались на том месте?

— Не старался и рук прикладывать не буду,— отрезал

бородач.— Потому — смертное место. Сам хозяин держит его под своей пяткой.

— Какой хозяин?

— Сынок Ухоздвигова. Слышал про такого?

Двоглазов подумал: не спятил ли старик с ума?

— Он что, воскрес из мертвых?

— Дай бог, чтоб ему подохнуть,— отозвался бородач.— Да живой еще. Мало ли живыми ходят по земле из мертвых? По всем статьям — нету в живых, а — ходит, пакостит.

Старик помолчал, поковырялся пальцами в вечно нечесанной кучерявой бороде, потом достал из-за пазухи кожаный мешочек.

— Неверующему показать надо. Гляди! Это я взял на том месте. Шутейно взял. Вроде испыткок сделал. Без лотка. Соорудил желоб возле речки и покидал руками песочек. Без лопаты, парень. Вот! — И высыпал на чистый лист бумаги пригоршню тусклого золота.

Двоглазов определил — не менее полукилограмма.

— Вы же можете сделать заявку, товарищ. Получите деньги за открытие месторождения.

Бородач покачал головой:

— Ни к чему мне, парень, ни заявки, ни золото, ни деньги. Живу при пасеке, замаливаю старые грехи, грею кости на солнце и тем рад. Вот копнул, говорю, для приблизительности, и носил в кармане. Думал еще: эх, кабы молодым был, да в силе, да при семье!.. Опосля раздумал: погубил бы и молодость, и силу, и семью через это проклятое золото. Так-то преж бывало, парень. Теперь времена другие, другой хмель жизни бродит!.. — И поднялся.

— Что же вы не взяли свое золото?

— Эхва! Говорим вроде, а друг друга не понимаем. Я же сказал: со смертного места ничем не попользуюсь. Носил в кармане — отдаю тебе. Употребите куда надо, как состоите при руководящей должности.

— Точнее: где это место?

— Скажу. Наперед условие поставлю.

— Ну? Я слушаю.

— Дело давнее. И не надо бы ворошить, кабы не приметил я, что на том месте кто-то старается. Кругом шурфов понакопано. Стало быть, не чисто дело... Вот я и подумал: пасека-то моя от того места рукой подать. Как бы мне не угодить в лапы коршуну, как тому Максиму Пантюховичу...

— Какому еще Максиму Пантюховичу?

— Мужичу, что на моем месте был пчеловодом на кижартской пасеке. Давно это было, а в памяти живет по сей час. Сжег его бандюга Ухоздвигов в тридцатом году. Полтайги и деревня тогда сгорели. Вот я и думаю... Ежели опять роют, стало быть, не настал ли и мой черед?.. Потому и решил упредить. А условие мое такое: место то золотиносное по Сафьяновому хребту открыла вдова одна, Ольга Федорова. В двадцать четвертом году, кажись, это было. Бедовая была женщина! На том месте и столкнулась она с бандюгой Ухоздвиговым. Сидел он над ним, как коршун. Убил он ее. Так-то. Дело давнее, а на моей памяти, будто вчерашний день. Вот и говорю — смертное место. На крови стоит. А условие мое такое. Тут у вас, в Белой Елани, живет сестра той Ольги — Анфиса Семеновна. За Зыряном замужем. Слышал, дочь Зыряна и, стал быть, Анфисы Семеновны, Агния, геологом у вас. Ей и покажу место. Она тоже вроде вдова.

«Вот это космац! — подумал Олег Двоглазов, разглядывая бородачу.— Покопаться, так еще и не такое скажет». Но расспрашивать ничего не стал.

Условие старика Двоглазов принял без оговорок.

Поздним вечером, когда звезды в небе разгорались все ярче и ярче и горизонт окутывался непроницаемым мраком, Агния сидела на лавочке возле своей ограды.

На стороне Щедринской чей-то звонкий голос лил в таежную даль:

Молоденький казаченько, що ж ты зажурывся...

А со стороны Предивной, как бы отвечая на зов дивчины, кто-то орал пьяным голосом:

Укрой, тайга, меня, глухая,
Бродяга хочет отдохнуть...

В тайге этого нет. Там тягучая, медовая тишина. Драма. Звериные тропы, разливы таежных рек.

Агния думает о тайге, о предстоящем пути куда-то в верховья речки Кипрейной. Там потаенное место, как сказал угрюмый бородач с кижартской пасеки, — «смертное место». Агния знает старика. Зовут его Андреем Северьяновичем. Он вызвался провести Агнию с одним условием — ни часу сам не задержится на том окаянном месте. Агния должна ехать

одна. «Лишние глаза—лишний язык,—говорил Андрей Северьянович.— А ты приезжай, ежели смелая таежница».

— Я поеду с сыном,— ответила Агния.

Андрей Северьянович сперва воспротивился, но потом махнул рукой: приезжай, мол. Да накажи парню, чтоб не трепал языком.

Надо ехать. Ничего не поделаешь...

Темень в улице становится до того плотной, что избы на склоне Лебяжьей гривы чернеют, как копны сена. В конторе «Красного таежника» горит огонь. У раскрытой двери сидят мужики. Сверкают огоньки сигарок.

Подошел старый Зырян, присмотрелся к дочери, как к некой диковине. От его черных замасленных шаровар за метр несло керосином. Приземистый, в брезентовой тужурке нараспашку, лобастый, стоял он перед дочерью, как вопросительный знак, поставленный над всей ее жизнью. С того дня как появился Демид, Зырян редко разговаривал с Агнией, будто выжидал. Подойдет, посверлит глазами и с тем покинет.

«Все от Демида меня караулит». Агния спрятала руки в пуховую шаль, съезжилась, глядя себе под ноги.

— Думаешь?

— Нет. Так просто. Вечер такой погожий.

— Угу. Завтра едешь?

— Утром.

— С Андрюшкой?

— С ним.

— Подумать надо. Я вот разговаривал с вашим Двоеглазовым. Инженер-то он молодой, не обтертый на таежной мельнице. Как бы он не втравил тебя. Я бы на его месте взял этого Андрея Северьяныча за шиворот да в эмвэдэ.

— Это за что же?

— А за то, как старик этот — замок с секретом. В тридцатом он сбежал от раскулачивания и семью за собой уволок. А где скитался — неизвестно! Под конец войны возвратился в тайгу весь опухший. Говорят, «с трудового фронта». Живет вот теперь на пасеке, один, как сын!..

— Ну и пусть живет. Многие вернулись из бывших кулаков и тоже живут, работают. Я бы сказала, не хуже других. Андрей Северьянович сам пришел к начальнику партии. Чего же больше? Он мог и не приходить, и никто бы не знал. Место он укажет. И если там есть золото, будем разведывать совместно с геологами присковского управления.

Мое дело только дойти туда и установить заявку. Вот и все.

— Смотри! Я бы поостерегся. Не ровен час — налетит коршун, как в двадцать четвертом на Ольгу Семеновну.

— Нам ли с тобой, тятя, коршунов бояться!

— Кто-то же ковырялся там?

— Может, это дезертиры рылись во время войны.

— Вранье! Дезертиров было всего пятеро, и тех сразу выловили. Был кто-то другой. Прижать бы Андрея Северьяныча, выложил бы всю подноготную.

Агния молчала. Может быть, отец и прав, но нельзя же вот так просто взять и арестовать человека. За что?

Зырян раскурил трубку и, собираясь пройти в ограду, как бы мимоходом спросил:

— Боровиков тоже едет в тайгу?

Ах, вот в чем дело!..

— Да. У них свой отряд! С Матвеем Вавиловым и с Аркашкой Воробьевым. Жулдетский хребет будут разведывать.

— Угу. Понятно! — хмыкнул Зырян.

Агния с досадой отвернулась. «И чего ему надо? Неужели я не могу поговорить с Демидом или встретиться?!»

Улицей идут двое. Долговязого Матвея сразу узнала. И, конечно, Демид с ним. Громко разговаривают.

— А что ты не возьмешь баян? — гудит Матвей. — Не помеха, думаю. Зато как мы будем жить там! Возьми!

— Без баяна обойдемся, — ответил Демид.

— Агния, кажись? — задержался Матвей, приглядываясь.

— Ну я пойду, — проговорил Демид. — Надо еще зарядить патроны.

И ушел...

Матвей подошел к Агнии и сел на лавочку.

— Что-то, я вижу, Агния Аркадьевна, сторонитесь вы друг друга, как чумные. А чего вам сторониться? Не чужие, кажись. А?

Агния оглянулась на калитку, как бы стараясь убедить себя, что отца близко нет, тихо спросила:

— Выедете утром?

— Как только солнышко подмигнет, так и тронемся. Тебе на Кипрейную? Так что до Маральего перевала будем ехать вместе. Там заночуем.

Агния бесстрастно выслушала Матвея — пусть как хочет,

так и думает. Если бы она могла сейчас высказать, что у нее лежит на душе, о чем она думает днем и ночью; сказать бы, как ей нелегко видеть Демида и ни разу не подойти к нему, когда на каждом шагу подстерегают углистые глаза Андрюшки и много, много чужих глаз!.. Но разве можно сказать такое болтливому Матвею?..

XII

Утреннее солнце посылало лучи откуда-то из-за лилового хребта Татар-горы. Над Белой Еланью небо полыхало багровым заревом.

Мимо ограды старого Зыряна проехали трое верховых с тяжелыми сумами в тороках. Агния только этого и ждала — отряд Демида двинулся в путь.

Прикрикнув на сына, чтобы он еще раз проверил подпруги и правильно ли висят переметные сумы, Агния подошла проститься с матерью. Сам Зырян еще на зорьке уехал в тракторную бригаду колхоза. У него свои заботы.

— Ты поостерегись там. И Андрюшку-то береги,— наказывала мать.

— Ну что вы мне страсти нагоняете? Придумают бог знает что и других пугают. Уже по всей деревне переполох пустили.

— Ишь, какая смелая! Сестрица-то моя, Ольга, тоже была отчаянная. А сложила головушку. На золото идешь, понимать надо. Если жилу ктой-то скрывал, знать, доглядывает за ней.

От ворот по ограде, заросшей кустами черемух и яблонидички, шел Двоглазов с ружьем, пригибая голову под развесистыми сучьями,— белобрысый, поджарый молодой человек. Таким вот когда-то был Демид...

Анфиса Семеновна, одернув полосатую кофтенку, почтительно встретила начальника партии:

— Беспокоюсь я, Олег Александрович: ладно ли, что Агния едет одна?

— Думаю, что ничего дурного не случится, Анфиса Семеновна,— сказал Двоглазов.— Я вот принес Агнии Аркадьевне свою трехстволку — ружье надежное. И, кроме того, дал указание отряду Матвея держать постоянную связь с Агнией Аркадьевной. Они останутся недалеко от пасеки и пойдут потом следом.

Анфиса Семеновна поджала губы.

— Матвей-то не больно надежный.

Агния хотела возразить: не правда, мать не от доброго сердца говорит такое. Но, закусив губу, промолчала. Не в Матвее дело!..

— Езжай к воротам, — сказала Андрюшке.

Двоглазов отдал Агнии трехстволку и показал, как с ней обращаться.

— С таким ружьем не страшно встретить ни медведя, ни сохатого, ни самого лешего. Верное дело. И помните: как мы с вами договорились, так и действуйте. Как только возьмете две-три пробы — если даже неудачные, все равно — немедленно уезжайте оттуда. Я вас буду ждать на Верхнем Кижарте. Там решим, что делать. Поддерживайте связь с отрядом Матвея. Да будьте осторожны. В патронташе полсотни патронов с пулями для нижнего ствола. Как только выедете в тайгу — стреляйте. Надо к ружью привыкнуть. И у Андрюшки есть ружье?

— Берданка. Она у нас тоже надежная, — усмехнулась Агния.

— Ну, Андрей Степанович, ты теперь за мужика. Береги мать, привыкай, — посоветовал Двоглазов, осматривая притороченные сумы. — Что-то мало у вас сухарей. От Кипрейной до Верхнего Кижарта — немалый путь.

— Хватит. Завалим с Андрюшкой медведя да над костром накопим мяса — вот и еда будет.

Тронулись в дорогу. Двоглазов проводил Агнию и долго смотрел вслед: таежница! Побольше бы таких геологов партии!..

Лохматая тайга встретила путников волглостью хвойного леса, цветущим в низинах разнотравьем, гомоном пернатых обитателей.

Тайга, тайга!..

Шумишь ты днем и ночью, непокорная и щедрая кормилица медведей, маралов, сохатых, пушистохвостых белок, золотистых соболей и всякой живности. Не здесь ли звенят хрустальные ключи — истоки рек? Не в твоих ли недрах покоятся несметные сокровища?

Вольготно в тайге летом. По падам рассох и гор, по берегам малых речушек наливается жгучей чернотой смородина, черника, голубица. А в июле начинает красной осыпью вызреть малина! Чего тут только нет!

Кругом разлита сытая истома хвойного леса и разно-
травья. А дикий хмель по чернолесью!

Зелен хмель в мае...

Проходит пора, и хмель набирает силу.

«Отцвел мой хмель»,— думала Агния, глядя на тонкие
побеги, спиралями выющиеся вокруг черемух.

Думала и так и эдак. Боялась Демида, сторонилась,
а втайне грезила о неожиданной встрече.

XIII

Остановились на ночлег на Маральем становище, кило-
метрах в пятнадцати от пасеки колхоза.

Когда Агния с Андрюшкой подъехали к стоянке, отряд
Демида успел развести костер у холодноводного ключа.

— Давай, давай к нашему огоньку поближе! — привет-
ствовал Матвей, шагая навстречу на своих длинных, как
жерди, ногах.

Демид сидел возле костра и чистил рыбу. Мимолетный
взгляд — будто сверкнула искорка во тьме и тут же потух-
ла: Демид опустил голову и больше не взглянул на Агнию.

— Мы успели рыбы наловить,— сообщил Матвей.— Лен-
ков и хариусов вытащили из Малтата. За каждого ленка,
Агния, с тебя причитается по грамму золота.

— Не дорого ли берешь, Матвей Васильевич?

— Эге! Попробуй налови.

Андрюшка, разминая ноги, недовольно буркнул:

— Нужны нам ваши ленки и харюсы. Ешьте их сами.

— Ого! — Матвей уставился на Андрюшку, как аист на
ящерицу.— Вот ты какой...

Агния тем временем расседлала лошадей. Матвей помог
ей спутать их, отвел на лесную прогалину на подножный
корм.

Андрюшка усердно таскал сухостойник. Он надумал раз-
вести свой костер — у чужого не греться, тем более — возле
Демидова огонька.

Щупленький Аркашка Воробьев в брезентовом плаще,
до того длинном, что полы тащились по земле, пригласил
Агнию поближе к костру, но Агния, скупно поблагодарив,
отошла к своим выюкам и там помогла Андрюшке развести
огонь.

Матвей сперва наблюдал молча, потом возмутился:

— Да вы что, одиночники, или как? Негоже потакать

парню, Агния. Он же тебе шагу не даст ступить. А по какому праву, спрашивается. Ты кто такой, Андрюшка? Тля, и больше ничего. Если поехал с геологами — держись плечо к плечу. Не сопи себе в воротник. Моментом затуши костер. Одного хватит на всю тайгу.

— Мне какое дело до вашего костра? — окрысился Андрюшка.

— Да ты на какой земле живешь? Соображаешь? Геологи мы... у нас такой закон: все за одного и один за всех. Ишь ты, единоличник!

Агния заступилась за сына, наотрез отказалась от наваристой ухи, чем вконец испортила настроение Матвею.

— Попомни, Агния: вырастишь еще одного угрюмого кержака. Наломает он тебе шею.

Демид поглядывал на Агнию от старой пихты. Стоял во весь рост, прямой и высокий, белоголовый, с черным кружком на глазу, в теплом бушлате и в болотных сапогах. и о чем-то думал. Может, осуждал Агнию? Смеялся над ее материнской слабостью? Пусть смеется! Он ведь не растил детей, да еще от разных отцов на глазах у всей деревни.

Но Демид совсем не о том думал. Агния, вот она рядышком. Подойти разве, поговорить? Плевать на Андрюшку. Надо бы ей сказать, Агнии, что он, Демид, совсем не тот, каким был когда-то. «Внутри у меня, кажется, все перегорело и потухло. Не могу я теперь навязываться к ней на шею. Огня из воды не высечешь. И ей нелегко будет со мной, и мне невесело. Так и сказать надо». И вдруг, так неко времени, вспомнил распахнутые глаза Анисьи. Знал: не для него горит Уголек, и все-таки радостно, что на земле живет Уголек. «Эта Анисья теперь для меня, как заноза в сердце. С ума сошел!..»

Если бы Агния знала, о чем думал Демид!..

Легла ночь. Волглая и мягкая, духмяная, настоящая на таежной растительности. Низина наполнилась пойменной сыростью. Дым от костра не поднимался вверх, а стлался по земле.

Потрескивали еловые сучья. Агния глядела на раскаленные головни и никак не могла отогреться. Что-то знобило ее, точно она искупалась в ледяной воде. И сердцу больно, будто оно предчувствует беду. Вот он, в десяти шагах Демид; но Агнии холодно от такой близости. «Он меня совсем не замечает. И тогда в конторе, и потом на совеща-

нии, и на обсуждении маршрутов разведки сколько раз встречались и будто не видели друг друга. Может, он подумал, что я сторонюсь его? Хоть бы нам поговорить!»

Но как поговоришь, когда рядом недремлющий Андрюшка? Вот он беспрестанно подкладывает в огонь сухостойник. Оранжевые языки пламени жгут тьму. Чернеют конусы высоченных елей. Невдалеке фыркают лошади.

— В тайге еще много снега,— бормочет Андрюшка.

Да, конечно, чем дальше заедут в тайгу, тем больше будет снега. Лошадей придется кормить овсом и прошлогодними вытаявшими травами.

Агния видела, как Демид забрался в спальный мешок и улегся рядом с Аркашкой.

«Вот и поговорили! — ворохнулась горькая мысль, оседая тяжестью в ноющем сердце.— Он таким не был. Совсем, совсем другим стал!..— И легла на мягкую постель из пахучих пихтовых веток.— Завтра он повернет к Жулдету, а я пасеке. Так и разъедемся. Навсегда, может».

Обидно и горько, а что поделаешь?

Высоко-высоко мерцают звездочки. Агния смотрит на них сквозь пихтовые лапы точно так, как тогда, давно, глядела сквозь сучья старого тополя.

Костер Демида гаснет. Для Агнии по соседству только один Демид. Ни Матвея, ни Аркашки как будто нет. Есть Демид и гаснущий костер.

— Ложись спать,— говорит Агния сыну.

— Посижу еще. А вдруг волки? Задерут лошадей.

— В тайге волков нет.

— А где же они водятся?

— Всегда возле деревень. По балкам и оврагам.

Андрюшка помалкивает. Он бы хотел узнать, где и какими тропами будут ехать завтра до пасеки и до золотоносной жилы. Там откроют прииск. Вот это будет здорово! Только как бы тот угрюмый старик не прихлопнул их. «В случае чего — у нас два ружья. Я возьму трехстволку, а мать пусть с берданкой».

Андрюшка очень любит мать. Теперь никакой Демид не закрутит ей голову. И бабушка, Аксиныя Романовна, наказала Андрюшке, чтоб он глаз не спускал с матери и Демида. «Оборони бог, опять срам выйдет на всю тайгу».

Нет, сраму не будет. Андрюшка — настоящий мужчина...

Чуть забрезжила сизоватая зорька и над низиной Ма-

ральего становища собрался туман, геологи оседлали лошадей.

Демид подошел к Агнии.

— Ну, теперь мы разведемся,— начал он, глядя в землю.— Поберегись там. И не задерживайся. Возьмешь две-три пробы — и на Верхний Қижарт.

Вот он о чем беспокоится!..

— Я думала, ты что-нибудь другое скажешь.

Демид ответил твердым, спокойным взглядом. Ни один мускул не дрогнул на его лице.

— Я думаю, Агния, мы останемся с тобой хорошими друзьями.

— Друзьями? — У Агнии перехватило дыхание.— Разные бывают друзья, Демид Филимоныч.

— Я понимаю, Агния. Если бы можно было все пережить заново... Знаю, виноват. Если позволишь — Полюшке буду помогать.

— Ах, вот что ты надумал! — У Агнии кровь хлынула в лицо и даже уши зарделись.— Полюшке!.. Нет уж, Полюшка как-нибудь проживет без твоей помощи. А за дружбу благодарствую! Только... не нуждаюсь,— отрезала, как ножом, и ушла к Андрюшке.

Матвей и Аркашка Воробьев должны были ехать до пасеки, а потом свернуть в сторону Кипрейной и там поджидать Агнию с бородачом.

— Если что неладное окажется — двинь из двух створлов. Мы тут как тут будем. А так не покажемся,— сказал Матвей.— Пусть думает космач, что ты одна.

— Я не одна.

— Понятно! Ну, Андрей, держи ушки на макушке!

Демид поехал один в сторону Жулдетского хребта. Там он будет поджидать Матвея и Аркашку в геологическом пятом квадрате, как помечено на маршрутной карте.

До пасеки ехали торной тропой. По взгорью лошади вязли по брюхо в снегах.

Жулдет еще не успел набрать воды. По каменистому руслу бурлила ледяная суводь. Лошади фыркали и никак не шли с берега в реку. Агния взяла за повод Андрюшкиного солового и первая спустилась к реке. Андрюшка побаивался: а вдруг собьет бурное течение?

Переправились благополучно.

На берегу Жулдета показалась пасека. На обширной

елани — рядками расставленные ульи с утопленными днищами.

Андрей Северьянович встретил Агнию с Андрюшкой не особенно дружелюбно. Сказал, чтоб лошадей расседлали подле омшаника, подальше от пчел. «Уж не передумал ли?» — мелькнула отрезвляющая мысль.

— Вы так и живете один? — поинтересовалась Агния, когда расседлала лошадей.

— Со пчелами живу, дева. Один сдох бы. Без родства — душа омертвеет. Слыхивала? То-то и оно.

Вот и пойми: если с пчелами он, значит — не один.

— Ждал вас через неделку-две. В тайге снега, почти тай, чуть тронулись. Как одолеем ледник — ума не приложу. В избушке устроитесь или в омшанике? Смотрите, где лучше...

И пошел куда-то в тайгу. А вернулся поздним вечером. Долго грелся возле огня, решительно не обращая ни малейшего внимания на Агнию с Андрюшкой. Агния с сыном опять развели костер, и каково же было их удивление, когда на склоне горы они заметили пятно огня. Это же Матвеев огонек! Вот так спрятались. Хорошо еще, что Андрей Северьянович не заметил.

Но космач узнал-таки, что Агния приехала не одна.

Когда на рассвете собирались в дорогу, он долго к чему-то принохивался и бормотал нечто невнятное себе в бороду.

— Благослови, господи! — перекрестился Андрей Северьянович перед дорогой, не снимая шапки, и тут же оговорился: — А в бога я не верую. Дурман один. У меня свой бог — тайга-матушка. Молюсь, чтоб зверь не тронул.

И вдруг спросил:

— А ты что, дева, вроде сопровождаемых взяла? Огонь жгли вот там. А кому жечь? Охотников поблизости нету, да и на кого охотиться в такую пору? Говори: кто там?

Агния попробовала уклониться от ответа, но Андрей Северьянович рассердился:

— Не мальчонка я, за нос не води. Доверия нету — с места не тронусь.

— В той стороне у нас геологи. У них свой маршрут, у меня свой.

— Эх-хо-хо! — покряхтел космач и пошел впереди гнедка Агнии.

«Доверия нету, вот оно какая музыка, — бормотал себе

под нос Андрей Северьянович.— Опять-таки: через что я должен иметь доверие?»

Подумал и решил: заслуг для доверия не имеет.

XIV

Далеко от пасеки не уехали. Кони по пузо вязли в глубоких наметах рыхлого, крупитчатого снега. Агния с Андришкой вели лошадей за собой, пробираясь между сухостойными стволами старых пихт. Андришка еще удивился: куда ни глянешь — кругом мертвый лес.

— Хо-хо! В бурю-то в таком лесу — чистая погибель. Чуть замешкался — насмерть прихлопнет, парень.

— А почему он засох, лес-то?

— Пакость такая водится. Вредитель, значит. Жучок иль как там прозывается, токмо чистая погибель от него. Как напал на пихтач иль кедрач — вчистую погубит. Вот оно как. Одни в жизни добро делают, а другие — погибель сеют.

Наткнулись на свежий след. Андрей Северьянович пригляделся и сказал, что здесь только что прошли две лошади с тяжелыми вьюками и двое мужчин — один в болотных сапогах, какие носят геологи и приискатели, а второй, легкий на шаг, в броднях. Потому — один все время вяз в снегу, второй — держался на насте.

— По всему: идут за Большой Становой хребет. Если не ваши люди — оборони бог заявиться туда. Сказывай, дева.

— Я же говорила: геологи идут.

— На Большую Кипрейную?

Агния подумала. Большая Кипрейная — приток Крола. Это же за Большим Становым хребтом.

— Разве мы туда идем?

— Куда еще? Туда и есть. Токмо не перевалить через Становой. Не вовремя приехали. Сказывал: не раньше большой воды. А до воды, почитай, полторы недели ждать.

— Это же далеко, Андрей Северьянович! А вы говорили — рукой подать.

— Хо-хо! Золото, дева, токмо во сне близко лежит. А так — завсегда далеко и трудно. Место там дикое, безлюдное. На сотню верст, а то и более, до прииска нет займок и никакой холеры не проживает, окромя таежного зверя.

Вперед, со склона Малого Станового хребта, в струистом лиловом мареве плавал отрог Банского хребта. Таких Становых хребтов по тайге немало. Становой — значит главный, как бы старейшина среди гор. Есть Становой хребет на цепочке Жулдетских отрогов, Маральего перевала, Кижартского кряжа, а все они от Саян род ведут, от Саян, опоясавших каменным поясом Сибирь от Байкала до Алтая.

Со склона горы повернули в низину. Не шли, а ползли свежими следами по рыхлому, водянистому снегу.

ЗАВЯЗЬ ДЕВЯТАЯ

I

У каждого бывают безрадостные дни в жизни, когда небо кажется с овчинку. Другой раз так они навалятся на плечи, что дохнуть тяжело. Сидеть бы сиднем, пережидая житейскую непогоду. Иной как-то умеет перелить полынью горечи в другого: выскажется, что лежит у него на душе, ему посочувствуют, надают тысячу советов, столь же неприемлемых в жизни, как и легко все разрешающих, и — горюну легче дышать. И глаза засветятся у него веселее, в губах мелькнет притухшая улыбка, и он уже видит, хотя и не близкую, но перемену к лучшему.

«Лето не без ненастья,— говорит он себе.— Все перемелется — мука будет».

Не такова была Анисья Головня. Она переживала молча. И чем тяжелее было горе, тем суше были ее глаза. В такие дни она была особенно собранной, отзывчивой на чужое горе.

Безрадостным было для Анисьи возвращение из города домой. Она ушла от матери, собралась навсегда покинуть Белую Елань. В тресте ей предложили место технорука в леспромхозе на Мане. Но ей не хотелось возвращаться в тайгу. Она чувствовала, что надвигается какая-то страшная беда.

Тому причиной была одна случайная встреча в городе. Как-то на улице ее остановил пожилой человек в черном пальто. Он ее просто взял за руку чуть выше локтя и, когда она дернула руку, спокойно усмехнулся:

— Не узнала?

У Анисьи точно оборвалось сердце. Она, конечно, узнала его!

— Давно в городе? — спросил пожилой человек в черном пальто, пристально глядя ей в глаза.— А! По делам леспромхоза? Как успехи? Неважные? Не верю! Не верю, Анисья. В моей родове, как я хорошо помню, бесталанных не было. А ты вся в деда, в моего отца,— нажал он на последние слова и опять взял ее под локоть. Она не вырвала руку. Шла, неживая от страха.

— Зови меня просто дядей Мишей.— (Анисья вздрогнула.) — Ну, а что нового в Белой Елани?

Анисья не знала, что сказать, и совершенно случайно выпалила, что ее мать как будто вышла замуж за Филимона Боровикова.

Дядя Миша ничуть не удивился и не огорчился:

— За Филимона? Вот как! Разошелся со старухой?

— Она... повесилась.

На этот раз дядя Миша даже замедлил шаг:

— Повесилась? Удивительно! Она же из старообрядок-тополевец, а, как мне известно, у старообрядцев насильственная смерть — тяжкий грех. Прямая дорога в ад. Как же это случилось?

— Мама писала, что сын Филимонихи, Демид, нашел у матери золото и сдал государству.

— О-о! — протрубил дядя Миша.— Это уже причина!

Когда подошли к шумному перекрестку, дядя Миша пригласил Анисью в ресторан «Енисей» — в тот же!.. — отметить хорошим обедом их встречу. Анисья не хотела идти в ресторан, отговаривалась, но дядя Миша так цепко держал ее за локоть, что Анисье пришлось уступить. Все равно он ее не выпустит из рук.

«Теперь я погибла! Погибла, погибла!» — твердила Анисья про себя, а дядя Миша снял с нее пальто, пуховую шаль, отыскал столик в тени от света большой люстры с хрустальными подвесками, подальше от шумного оркестра.

Теперь они были вдвоем...

Он очень переменялся, «дядя Миша». Человек, которого Анисья даже про себя не могла назвать настоящим именем.

Одет просто — в черный шевиотовый пиджак, видна клетчатая рубаша без галстука, но лицо — другого такого не встретишь, наверное, во всем городе на Енисее! Оно было

особенным: заостренное, как лезвие бритвы, энергичное, изрезанное глубокими морщинами. У дяди Миши появились залысины и на темени серебрились реденькие волосы. Запомнились руки — нетерпеливые, нервные, цепкие, жилистые. Дядя Миша никак не мог их удержать на одном месте. То клал на скатерть ладоням вниз, то передвигал фужеры и узорные рюмки, то потирал ладонь о ладонь, похрустывая пальцами. И только глаза — глубоко запавшие, какие-то бесцветные, под такими же тонкими бесцветными бровями, смотрели на Анисью безжалостно и страшно: они копались в ее душе, в ее сердце, иглами покалывали напряженные нервы.

— Как поживает Крушинин в Сухонакове?

— Охотник? Тот, что отбыл срок за поджог тайги?

— Ну, я не знаю, за что ему тогда приварили. Меня интересует, чем он теперь занимается?

— Известно чем. Браконьерничает.

— А! — Дядя Миша тонко усмехнулся. Говорил он до того тихо, что Анисье все время приходилось нагибать голову. Со стороны глянуть — не иначе как старик затеял интрижку с бывалой девчонкой.

— Ну, а Потылицын как? Андрей Северьяныч?

— Какой Потылицын?

— Пчеловод. Он же там заведует жулдетской пасекой.

Нет, Анисья не встречалась с Потылицыным.

— Мургашку-хакаса видела?

— Лесообъездчик? Он на пару с Филимоном работает.

— Понятно! Боровик любит загребать жар чужими руками.

Официантка — круглая, как бочонок, — собрала на стол. Дядя Миша наполнил одну рюмку мадерой, а другую — водкой:

— За твои успехи, Анисья. И за счастье.

У Анисьи сдавило под ложечкой: какие тут успехи! Какое может быть счастье!

— Санюха Вавилов медвежатничает?

— Он всегда в тайге. Как бирюк.

— Так сложилась у него жизнь. Был веселым парнем. Братья его доконали. Это же космачи!

Анисья попробовала бульон с гренками, но не осилила и десяти ложек.

— Выпьем для аппетита, — предложил дядя Миша. — Без аппетита жить нельзя на белом свете.

Пришлось выпить. Приятная золотистая и вкусная мадера обожгла Анисью до кончиков пальцев.

Дядя Миша что-то вспомнил и пристально глянул Анисью в глаза. До нутра прохватил:

— А ведь у Филимона Боровикова, как я помню, сын погиб в начале войны. Разве у него еще был сын?

— Нет, тот самый. В леспромхозе до войны работал. Вернулся из плена.

— Ах вот как!

И, секунду помолчав:

— Как же он раскрыл материнскую записку?

— Не знаю,— Анисья не хотела говорить про Демида.

В одиннадцатом часу вечера поднялись из-за стола.

Из ресторана по улице Перенсона вышли на Дубровинскую, где Анисья остановилась на квартире у знакомых. Дядя Миша что-то говорил ей, чтобы она держалась молодцом и что не вечно же они будут последними могиканами, но Анисья ничего не понимала. Единственно, что ее жгло, как каленым железом,— сознание того, что она запуталась, запуталась навсегда и ей лучше бы умереть, чем жить с такой тяжестью на сердце.

Вспомнила Демида. Что сказал бы он, Демид, если бы знал всю подноготную про Анисью?

Долго и безутешно плакала в постели, накрывшись с головою одеялом. «Есть же счастливые люди! Живут, никакого горя не знают. А она должна нести такой крест. За что?»

В полночь тронулся лед на Енисее. Домик стоял недалеко от берега, и Анисья сразу проснулась, как только раздался гулкий треск льда. Из затона доносились протяжные гудки: где-то недалеко образовался затор.

На Анисью напала тоска. Она не знала, куда себя деть. Странилась товарищей. Вечерами допоздна торчала на берегу Енисея и все смотрела и смотрела на кубовые горизонты далекой тайги, будто хотела постигнуть их тайну.

II

Подтаежные колхозы начали посевную; на лесопункте образовался прорыв. Не хватало рабочих, а лесосплав не за горами.

В труде забываются невзгоды и огорчения. И Анисья с головой окунулась в нахлынувшие заботы. Она никому не

жаловалась на трудности. Ее видели то в седле, то на лесосеках, то на трелевочном тракторе. Случалось, ее ругали на планерках. Но не нашлось бы такого, кто не уважал бы Анисью. Рабочие прозвали ее Горячкиной. За темперамент.

Ее газетная статья про опыт мастерских участков лесопункта расшевелила райком.

Приехал секретарь райкома Селиверстов, похожий на монгола, подполковник запаса. Он встретился с Анисьей.

— Читал статью, читал,— сразу начал Селиверстов и крепко пожал руку Анисье.— Хороший горчичник приложила Завалишину. И мы еще приложим. Сейчас задача: подтянуть фланги. Такие мастерские участки надо организовать на всех лесопунктах. Особенно на Тюмиле.

Завалишин — бестолково-суетливый управляющий участком, с которым Анисья не раз схватывалась, держался на этот раз тихо: воды не замутит.

Шумел лес — пихтовый, пахучий.

Шум леса для нее стал печальным и грустным.

— Что ты невеселая, технорук? — заметил Селиверстов и, взяв за плечи Анисью, повел ее в свой «газик»-вездеход.

В машине Селиверстов спросил у Завалишина:

— Так что же ты надумал? Как организуете передачу опыта мастера Таврогина?

— Созовем совещание.

— Думаю, совещание ничего вам не даст. Надо организовать школу передового опыта. И тебе придется, технорук, взяться за эту школу. Обязательно. Ты комсомолка?

— Я? Н-нет.— Анисья облизнула сохнувшие губы.— Давно не комсомолка. С сорок седьмого.

— Вот как! А райком комсомола числит тебя в своем активе. Как же это произошло?

— Из возраста вышла. Мне же двадцать шесть лет.

— Подумать, какая старуха! Я вот пожизненно считаю себя комсомольцем. А ты записалась в старухи. Совсем нехорошо.

Селиверстов говорил долго и убедительно, но не тронул этим Анисью. У нее свои соображения и тайны. Не могла же она вот так, вдруг сразу, при Завалишине и шофере, распахнуть душу и сказать, что она сейчас живет, как зафлаженная волчица.

Вечером на лесопункте созвали мастеров и передовиков-рабочих. Секретарь райкома торжественно вручил прези-

диуму собрания переходящее Красное знамя и сказал коротенькую напутственную речь.

— А теперь давайте поговорим, что вам мешает работать еще лучше.

Анисья не хотела выступить, но ее заставил мастер Таврогин:

— Давай, Горячкина, скажи, как Завалишин устроил нам «скатертью дорога» из балансов.

— Крой, Горячкина! У тебя это накипело!

Ничего не поделаешь — пришлось выйти к столу президиума.

Завалишин покосился на Анисью, как на гремучую змею, и, втянув округлую косматую голову в плечи, сидел ссутулившись, точно ждал удара в затылок.

Анисья говорила про мастера Таврогина и про другие бригады, которые работали рядом с передовыми, а плелись в хвосте.

— А теперь я хочу сказать про мои взаимоотношения с управляющим участка...

— Подбить личные счета. Самое подходящее место,— подкинул Завалишин.

— Личных счетов с Иваном Павловичем не имею. Есть у меня счета по актам.

Анисья открыла толстую папку и положила на стол президиума несколько актов.

— Вот мои счета, Иван Павлович,— и, обращаясь ко всем, продолжала: — Товарищу Завалишину не нравится, что я технорук. Ему не по душе вообще техноруки. Ему бы хотелось работать по-семейному: ни я его, ни он меня. Взаимоприкрытие от всяких неприятностей. А так работать нельзя. Позавчера на нашем лесопункте товарищ Завалишин дал указание проложить дорогу по заболоченному месту из балансов для горной промышленности. Я не подчинилась приказу. Лес растет не для того, чтобы его срубить и сгноить на месте. Вот еще один акт. Под носом директора поржавели электропилы. Их привезли на участок непригодными к работе. Директор дал указание списать их...

— Не было такого указания!

— Было, Иван Павлович. Только не в письменной форме,— сдержанно заметила Анисья и, приглядевшись к задним рядам, к двери, осеклась. Возле дверей стоял... Демид Боровиков!

«Не может быть! — испугалась Анисья, совершенно забыв про все свои акты. — Я с ума сошла!.. Нет, нет!» И еще пристальнее поглядела на человека в кожаной тужурке. Его белая голова резко выделялась на фоне темной двери. Это, конечно, Демид! И рядом с ним Матвей Вавилов и Аркашка Воробьев. Геологи! Какими ветрами занесло их на собрание лесорубов?

— Продолжай, Анисья Мамонтовна, — напомнил Селиверстов.

Что она еще должна сказать? Никак не могла собрать в папку злополучные акты. Она видела, как Матвей Вавилов повернулся к двери и потянул Демиду за рукав тужурки. Он не должен уйти, Демид. Не должен. Демид — вот кто ей поможет выпутаться из трудных обстоятельств. Демид — единственный, кто поймет ее... Анисья хотела крикнуть, чтобы Демид не уходил. Что она должна с ним встретиться и все сказать. Пусть он ее судит, Демид. Он один имеет право судить Анисью.

Так и не закончив выступления, Анисья кинулась от стола президиума. И сторонкою, возле стены, пробралась к двери.

— Горячкина! Ты куда? Завалишина испугалась, что ли? — кто-то крикнул ей вслед.

III

Пригнув голову, ничего не видя и ни на кого не обращая внимания, Анисья выскочила на крыльцо, увлекая за собой Демиду. Ей было все равно, что подумают о ней люди, что скажут, лишь бы он не ушел вот так сейчас, сию минуту.

Запыхавшаяся, взволнованная, шла она по обочине дороги. Волосы ее были растрепаны и пряди топорщились красноватыми кольцами, падая на лоб и виски. На верхней губе пристыло пятнышко от мазута.

Теперь они были вдвоем. Только черемухи по обочине дороги да пыльный смородяжник источали пряное дыхание. И сразу же Анисья испугалась. Что она наделала? Зачем на людях схватила Демиду за руку? Что подумает он сам? Что хотела сказать, вдруг исчезло куда-то, растерялось...

— Что с тобою, Уголек? — Как давно он не называл ее так! — Что случилось?

Она не сразу уяснила, что значат его слова, и мучитель-

но вглядывалась в его лицо. Значит, он, Демид, не сердится на нее? В его взгляде столько теплоты и участия. Седые волосы коротко подстрижены и сверкают на солнце, как серебро. А лицо бурое от загара и совсем помолодевшее. Они не встречались с той страшной ночи, и было удивительно, что он совсем не такой, каким ей показался в первый раз. Тот Демид, которого она спасла от волков, а потом надавала пощечин, был какой-то подавленный, отчужденный и омерзительно свирепый. А этот — простодушный, сияющий, радостный.

— Ну, что же ты, Уголек? Что ты так смотришь? Я же к тебе приехал! — с запинкою проговорил Демид. — Ты уж прости меня. Я тогда замотался. То волки, то страсти-мордасти Авдотьи Елизаровны, то битва с Филимоном Прокосьевичем. Все пронеслось как в угаре. И взвинчен же я был в тот страшный день!

— Это я... Я виновата! Я хотела все по-другому... — бормотала Анисья, смущенно и жадно глядя на Демида.

— Если бы ты знала, видела, как я летел к тебе, Уголек! Я так спешил! Прямо через горы, без тропинок, лесом. Мне все казалось, что с тобой что-то случилось. Иду, и такое во мне чувство, будто я догоняю тебя, а ты все бежишь, бежишь лесом, лесом! Я уж думал — тебя нет...

Ее глаза, распахнутые, лучистые, благодарно тянулись к нему, и та сила, которую она сдерживала в себе, вдруг хлынула из ее сердца потоком без слов, смыв всю ее девическую стыдливость, всю скованность. Сейчас же, немедленно, сию минуту должно разрешиться все. Только бы обрести ясность. И если уж потухнет ее не успевшая разгореться любовь, то пусть тухнет сразу. Но от одной мысли, что Демид уйдет, она опять останется со своими думами одна, ее охватил страх. Не помня себя, она вдруг обвинила его литую, тугую шею загорелыми руками. Его теплые, мягкие губы закрыли ей рот, прижали кончик носа...

— Не уходи, не уходи... — шептала она. — Я так виновата. Так виновата...

— Что ты! Что ты, Уголек! Это я, идиот, ничего не мог поделать с собой. Я не должен был приходить сюда. Но я не мог. Говорю тебе, все эти дни я как с ума сошел! Меня хлестали такие чувства — и горькие, и сладкие, и мучительные. Ну, думаю, если еще день-два тебя не увижу — расшибусь где-нибудь об деревья. И письма тебе писал. Сколько я порвал писем! Напишу и сам испугаюсь. Порву, опять

пишу, пишу, рву... Ну, прямо как мальчишка. А потом решил — сбегаю, только посмотрю на тебя и сейчас же уйду...

Он и правда был похож сейчас на мальчишку. Кроткая, наивно-детская улыбка застыла на его припухлых губах, с горькими складками по углам рта. Если бы не седина, кто бы мог подумать, что ему уже тридцать три года?..

Снова они шли тем же берегом, как и двенадцать лет назад. Руки их, влажные и горячие, сплетались в едином тугом узле. Полноводная река пенилась, ревела, затопив курьи и отмели. Тополя и прибрежный кустарник выступали из воды, как причудливые гигантские водоросли. Замастерелые ели стояли на берегу, сберегая сумрак и прохладу бурных вод. По реке снова шел лесосплав. Толстые и тонкие бревна, тесня друг друга, неслись по быстрине, как огромные шуки.

— Ты помнишь это место, Демид? Здесь меня укусила змея...

Помнит ли он?! Да он готов поклясться, что сама судьба пришла к нему навстречу в образе этой маленькой босоногой девчонки! И теперь он готов еще раз заново пройти все мытарства, чтобы только дожить вот до этой счастливой минуты!..

Где та тропа, по которой они бежали осенью тридцать седьмого года? Черемушник, боярышник, калинник, никлые прошлогодние травы, пробившаяся свежая зелень и сплошные заросли ягодников — все это запуталось, перевилось дурниной, снесло с лица земли старые тропы.

— Пойдем напрямик, — сказала Анисья и первая нырнула в чашу.

С кустов то тут, то там свешивались хмелевые плети. И Анисья, продираясь вперед, высоко запрокинула голову, то и дело отводя в сторону изумрудные спирали новых хмелевых побегов. Одна из плетей захлестнула ее удавкой, больно резанув по шее. Анисья пыталась освободиться, но побег все крепче впивались ей в кожу, так что Демиду пришлось перегрызать их зубами. И вдруг борьба чувств, желаний, которые он так долго сдерживал, все это разом поднялось, подобно вихрю, начавшему крутиться по дороге. В ушах у него звенел ее голос, под ладонями он ощущал ее вздрагивающее тело и от этого еще более возбуждался. Он схватил ее в охапку, прижал к себе и с какой-то изголодавшейся дикой жадностью целовал в губы, щеки... От всего ее тела пахло ароматом разнотравья до того резко,

будто вся она состояла из цветов. Может быть, так пахли смятые цветы, он так и не мог понять, откуда шел такой запах, бьющий в виски и обволакивающий сердце. Но он с жадностью вдыхал этот запах и все жарче целовал ее в губы, в щеки, в коричневую родинку на шее, похожую на горошину. Он спешил. Он страшился не того, что делал, а того, чтобы она не ушла от него, страшился неисполнения желания, от которого, как он думал, зависело все его будущее...

Анисья летела по пойме, как легкая лань. Ветви кустарника хлестали ее по лицу, она не обращала на них внимания, а все бежала, бежала, прижав к груди косынку, в которой, зацепившись, торчал пониклый приплюснутый цветок. Свершилось! То, что так долго давило на ее сознание, казалось, порою делало ее жизнь неполноценной, наконец-то свершилось!

— Ты что-то хотела мне сказать, Уголек?..

К чему слова, зачем думать опять обо всем этом бреде: о матери, о дяде Мише, когда все вокруг так прекрасно и она наконец поняла, что все пустяки перед счастьем, которое ей открывала любовь...

— Ты сердись на меня, Уголек?

— Нет, нет! Что ты?! Давай, Демид, перебежим на тот берег!.. И если... Если мы хорошо перебежим... Пусть тогда все плохое у нас останется позади!

Демид хотел крикнуть, что она с ума сошла! Что так шутить нельзя, что разве она не видит, затор только что тронулся с места и сплавщики все до одного сбежали на противоположный берег. Но было уже поздно. Анисья прыгнула на затор. Демид кинулся за нею.

Затор был очень большой. Его только что прорвало мощным течением. Бревна трещали, бились, тупо упирались друг в друга. Гора леса, шевелящаяся, как живая, медленно оседала. Демид и Анисья карабкались на эту гору. Пан или пропал! Другого пути у них не было. Демид увидел, как одно бревно, толщиной в обхват, свечой вылетело из груды леса и тут же рухнуло, брызнув корою. Секунды три он приглядывался, переводя дыхание, не столько к шевелящейся горе — безжалостной, если вдруг оступиться и упасть между бревен,— сколько к Анисье, к ее ногам, куда они ступят? Он помнит, как вот в таком заторе одного рабочего распющило в лепешку, так, что и хоронить нечего было.

— Эй, вы, черти, куда лезете! — крикнул сплавщик с того берега.— Эй, Демид, с ума ты сошел! Вернитесь! Говорю! Вот дураки! Куда лезут, куда лезут?!

Ничто не могло остановить Анисью. Она верила, она знала, что должна стоять насмерть, как солдат, которому отступать некуда. Она бежала по затору, нарочно забрав вправо, вверх по течению, то и дело оглядываясь, здесь ли Демид? Вот перед самым ее носом с каким-то звериным шипом, треском выскочила осклизлая, бескорая тонкая ель, брызнув холодными каплями в лицо. Она отскочила в сторону, упала, зашибла колено. А бревна громоздились, шурша перед ее глазами, выпираемые чудовищной силой закупоренной реки. Перескочив на толстую сосну, балансируя, мелко перебирая ногами, она оглянулась. Демид барахтался в воде. К нему навстречу по затору бежал рабочий с багром в резиновых сапогах с длинными голенищами. Ее испугало выражение его лица, освещенного солнцем. Но тут, прямо на нее, в упор, лезло круглое бревно. Сзади что-то трещало, шипело, терлось, слева — бурлила вода, справа — неслись новые лесины, разбивающие затор. Она почувствовала, что кровь разом отлила от лица, по спине побежали мурашки. С ужасом она ощутила, как ее больно ударило в плечо и оттолкнуло от лесины: круглое бревно легло рядом. Она опять кинулась ползком по этому бревну, растерянно оглянувшись влево и вправо. Надо было прыгнуть. Если она перепрыгнет через этот рукав кипящей воды, то спасется. Там устойчивый затор. И она прыгнула, ловко вцепившись руками за что-то круглое и мокрое. Впереди был берег, совсем рядом...

— Ну, Головня! Чтоб вас черти забрали!.. Ну, окаянные! И ты, Демид! Со смертью играли!.. Ежели бы я не подоспел с багром, приплюснуло бы тебя меж бревнами. Счастливый ты, истинный бог! — говорил черноголовый плосколицый рабочий с багром в руках. Тут же подбежали еще трое сплавщиков.

— Ну, Анисья! Ну, оглашенная! Куда неслась-то?.. Что у тебя горит? Надо переждать было, паря... Тут черт-те что! Завсегда такой затор. Поднапрет, а потом как почнет корезить, только держись.

— Ничего, ничего! — сказал Демид, выжимая портянки.— Значит, нам еще долго жить!

На лице у Анисьи не было ни кровинки.

К ограде Головешихиной усадьбы подошла старушка в рваном мокром пальто и суконной шали, с клюшкой в руке. За ее спиною болтался мешок, без слов говорящий о ее профессии.

Старушонка, чавкая разбухшими чирками, вошла в ограду, где ее встретил здоровущий черный кобель.

— Цыц, пададь! — крикнула она, ловко сунув в пасть собаки клюшку так, что кобель с воем отскочил от нее.

Головешиха вышла на стук в сенную дверь, глянула на старушонку, брезгливо сдвинув пухлые губы, сказала:

— Иди, иди, голубушка! Не подаю.

Пытливые глаза старушонки зыркнули за спину Головешихи, пощупали там тьму и встретились с настороженным взглядом хозяйки.

— Иди, иди, бабушка, — спроваживала Головешиха старушку, намереваясь захлопнуть дверь перед ее носом.

— Христос с тобой, какая ты пужливая, — сказала старушка, настырно просовывая клюшку в сени. — Я, может, не к тебе, а к вербовщику. На стройки коммунизма... У тебя, говорят, проживает.

— О, господи! Она... пришла завербоваться! — И Головешиха, подбоченясь, расхоталась, поблескивая оскалом здоровых зубов. — Умора! Твой вербовщик, бабушка, на кладбище! Ха-ха-ха!

— Не лопни, красавица. От смеха морщины ползут по лицу, — предостерегла старушонка и, сразу посерьезнев, приблизив к Головешихе лицо, проговорила вполголоса:

— Крести козыри.

«Крести козыри» — это был условный пароль самого «капитана». Один-единственный человек мог послать к Головешихе доверенного с таким паролем. Господи боже мой, наконец-то! Как она ждала этой минуты!

Сколько раз бывая в Красноярске, она бродила по улицам, вглядываясь в лица прохожих, надеясь случайно встретиться с «капитаном». Она почему-то не верила, что «капитан» мог погибнуть. Он же такой опытный, настырный, ловкий. Нет, он не погиб. В газетах все чаще писали про «холодную войну», про атомную бомбу, а «капитан» молчал. Почему он молчал? Гавря! Милый Гавря!

И вот встреча со старушонкой! К ней явились долгожданные «крести козыри»!

— Как ты сказала, бабушка?

Секунду приглядывались друг к другу.

— Крести козыри. Ответь свое.

Рука Голоवेशихи, ослабнув, сползла по косяку двери.

— На крестовую даму кинь,— тихо ответила.

— Есть кто в доме?

— Никого.

— Дочь дома?

— Она сейчас в тайге.

— А вербовщик-то где?

— Уехал.

— Насовсем?

— А что ему тут делать? И без него все мужики, которые попроворнее, ушли на прииск, на рудник и в лес-промхоз.

— Хи-хи-хи,— сморщилась старушонка.— В колхозе-то, наверное, мало мужиков осталось?

И, не дожидаясь ответа:

— Одна, значит. Чайной, слышала, заведешь? Ну я пройду в избу. Закрой сени на задвижку. И никого не впускай. Баньку бы истопить. Прогреться бы с дороги.

— Истоплю, бабушка.— И голос-то у Голоवेशихи переменялся. Лился, что масляный ручеек. Куда девались заносчивые нотки.

— Ишь ты! А гнать хотела.

Старушонка переступила порог степенно, с достоинством. По тому, как важно она поворачивалась, какими движениями сбросила с плеч рваную хламиду и сняла через голову такое же рваное платье, под которым была надета теплая вязаная кофта, видно было, что старуха из бывалых.

Голоवेशиха развесила нищенские доспехи доверенной «капитана» на просушку и пригласила гостью в горницу.

— Ишь ты какая, Авдотья Елизаровна! — Старушонка уселась на диван.— Я-то думала, что встречу «крестовую даму» моих годов. А ты — красавица, да еще с норовом. Наверное, от мужиков отбоя нет?

Голоवेशиха хихикнула:

— Не те годы, бабушка.

— Видать! Вербовщик-то без ума уехал от тебя? Слышала: судить его будут... за растрату денег, Пропил будто.

Головешиха, краснея, вытаращила глаза. Вот так старушонка!

— Кто говорил про вербовщика-то?

— От ветра наслышалась, милая. Ловко ты его общипала! Ветер шепнул, будто десять тысяч просадил он в Белой Елани. Дорогая ты, Авдотья Елизаровна. За такую хватку сам «капитан» похвалил бы.

Моложавая хозяйка сладко вздохнула. Сам «капитан» ее не осуждает!..

— Он где, «капитан»?

— При своем месте.

— В городе?

— Не все знать надо, милая. «Капитана» теперь нету. Есть слуга господний «Свидетелей Иеговы», Михайла Павлович Невзоров. Или запамятовала?

Головешиха слышала про секту «Свидетелей Иеговы», пустившую корни в леспромхозе. Секта тайная. Неужели сам «капитан» вступил в такую секту?

— Он же... неверующий, бабушка. Как же он в секту вступил?

— Не мели лишку. И про «Свидетелей Иеговы» тоже помалкивай. Они свое дело вершат в тайности. Грядет день Армагеддона, и погибнут слуги сатаны.

Старушонка оглянулась, точно боялась: не подслушивает ли ее кто?

— Гонение великое на слуг господних, да не все ведомо властям. В одном месте сожгут, в другом господняя травка опять зазеленеет. Так и «Свидетели Иеговы». Как травка — из-под камней, а пробьется к божьему лучику.

Вот еще наваждение! Неужели и Головешихе придется вступить в эту секту?

— Ты живи, милая, как живешь, — ответила посланница «капитана». — У спасителя много верных слуг, но не всех он выставляет напоказ. Одних уберут — другие объявятся.

Хозяйка собрала на стол. Поставила дымящиеся жирные щи из говядины, жареную баранину в утятнице, разлила в стаканы малиновую настойку собственного изготовления и пригласила гостью:

— Тебя-то как звать, бабуся?

— Так и зови. Другого имени не спрашивай.

Вот что значит свидетельница бога Иеговы. Не брякнет лишку, не выдаст то, что не должен знать третий.

Головешиха догадалась, что старушонка побывала в Сухонаковском леспромхозе, где свили себе гнездо сектанты.

— У латышей побывала, бабуся?

— У каких латышей?

— В Сухонакове. Там у них большая секта. Чирки-то у тебя на ногах латышские. Они такие мастерят.

Старушонка подтянула ноги под табуретку и поджала тонкие губы:

— Чирки тебе оставлю. Найди мне какие-нибудь сапожкишки.

Выпили крепкой «малиновки», взаимно пожелав друг другу доброго здоровья.

— От «капитана» есть письмо мне?

— Я же сказала: «капитана» забудь. Есть Михайла Павлович Невзоров. По охотничьему делу работает. Какая же у тебя непутевая память, ай-я-яй! Поговорим после баньки. Устала я, милая. Сколько верст перемесила грязи!.. Михайла Павлович собирается приехать к вам в тайгу ловить живых зверей для зоопарков. И напарник с ним. Подумать надо. Ответ будет ждать через меня.

— Какой ответ-то?

Старушонка не сразу сказала:

— Тут его никто не темнил? Может, слух какой прошел?

Головешиха заверила, что про «капитана» местным властям ничего не известно. Дело давнее.

— А ты не спеши с ответом. Сама все узнаю через старух. Вот еще письмо надо пустить по рукам.

Старушонка достала из-под кофты сверток бумаг, вынула «божье письмо» и дала его почитать хозяйке.

«Святое письмо к верующим во Христа Спасителя, в господа бога и божью мать. А м и н ь.

Истинно говорю вам, верующие и те, кто сбился с пути господнего: все, что не от бога, будет разрушено огнем и мечом, мором, градом, наводнением, серым дымом. И тогда свершится суд господний, слуги сатаны сгинут, а верующие спасутся.

Смотрите, кто этому письму не верит, тому великий грех будет.

Истинно говорю вам: придет на землю день Армагеддона в ту минуту, в тот час, когда вы не будете его ждать...»

Письмо было длинное, с угрозами и проклятиями для неверующих в бога Иеговы.

И православной церкви досталось. Оказывается, и церковь сатанинская!..

Головешиха не поверила ни единому слову «святого письма», но виду не показала.

Старушонка прожила у гостеприимной хозяйки три дня и ушла на зорьке в неведомом направлении, оставив в Белой Елани послание бога...

V

Новости в деревне пухнут, что тесто на опаре. Откуда-то влетело в ухо Авдотье, что был-де старик с кижартской пасеки, заявку про золото сделал. Кроме того, слухи ползли: в тайге беспокойно.

С этого дня Авдотья Елизаровна преобразилась, втайне стала поджидать гостя.

Вечерами в чайной собирались рабочие геологоразведки, леспромхоза, сплавконторы, проезжие горняки и прискатели и, конечно, местные жители.

Авдотья Елизаровна умела не только потчевать, но и не менее охотно принимала приглашения посидеть минутку-другую возле столика.

Ни разу не побывал в чайной Демид Боровиков. До Головешихи доходили только слухи, и, как назло, не из приятных. Ждала: не похвастается ли Демид, как живут за границей? Не обронит ли где ершистое слово про жизнь в Белой Елани? «Демид-то как живет? — обычно спрашивала она у знакомых завсегдатаев чайной.— Говорят, будто не по вкусу пришлась ему таежная житуха?»

— Пошто не по вкусу? Наоборот! Помолодел. В самую пору женить!

Настораживало Авдотью Елизаровну сообщение о том, что Демид будто бы встретился с Анисьей. Головешиха призадумалась. Не замышляет ли Демид закрутить Анисье голову? Или тут еще что-то скрывается?

Было одно обстоятельство, над которым Головешиха упорно размышляла. Какими судьбами уцелело у покойной Филимонихи столько золота, и денег, и дорогих вещей в сундуках? И разве не досадно, что ценности уплыли мимо Головешихи? Как мог допустить сам Филимон Прокопьевич, чтобы все эти богатства хранились у выжившей из ума старухи?

А может быть, у Филимона в заначке еще кое-что есть? Когда он стал вдовцом, Дуня начала встречать его с еще

большей ласкою, негою, игривостью своего полнеющего тела; и Филимон, забывая о старости, чувствовал себя в ее доме сорокалетним мужиком. Его медно-красное лицо так и сияло! И пусть на деревне говорят все что угодно, пусть срамят его, но он сошелся с Головешихой после сороковин покойной старухи, и ему наплевать на все разговорчики.

От лесхоза до Белой Елани каких-то два десятка километров. Так что Филимон Прокопьевич наезжал к новой жене чуть не каждый день. Вечерком примчится на сытом мерине, а на солнцевосходе он уже в седле, а к полудню — у себя на займке, на Большом кордоне, что расположен был среди плотных зарослей пихтача, ельника, кедрача, где по склону гор кустился малинник, смородяжник, чернишник — соблазнительные места для ягодниц.

В обязанности Филимона Прокопьевича и его соседа по участку — лесообъездчика Мургашки входило наблюдение за лесом, за подрастающим молодняком и, главное, охрана редкостного кедрача от хищнических порубок охотников за кедровыми орехами. Осенью в Разлюлюевскую теснину, где рос сплошной кедрач, наезжали любители орехового промысла. Они-то и валили огромные кедры направо и налево, устраивая лесные заломы. Филимон Прокопьевич задерживал браконьеров и иногда доставлял их в Белую Елань к участковому Грише. Чаще же всего он предпочитал взыскивать с нарушителей собственной властью и разумением. Попросту брал взятки — шкурами зверей, деньгами. И отпускал грешников с миром.

Кроме того, Филимон Прокопьевич обязан был предупредить лесные пожары, смотреть за охотниками, чтобы они не истребляли красавцев маралов, которых осталось в белоеланской тайге не так-то много. Но никто, пожалуй, не был столь равнодушен к их истреблению, как Филимон Прокопьевич и Мургашка!

Они и сами не прочь были полакомиться вкусной, завяленной в затеньке маралятинкой. Жили, что называется, в свое удовольствие. Ни надзора за ними, ни подозрений, а зарплата шла. Чего лучше?

Но однажды вся эта вольготная житуха пошла прахом...

VI

Вдоль белоеланского тракта, со стороны Амыла, поздним июньским вечером шли двое путников в брезентовых

дождевиках с насунутыми на голову капюшонами, с тяжелыми заплечными мешками и с ружьями в чехлах.

Шли друг за другом травянистой обочиной дороги. Впереди вышагивал в болотных сапогах с высокими голенищами пожилой человек, рослый и костлявый, тыкающий в землю суковатой палкой. Звали его Михайлом Павловичем Невзоровым, по документам — охотник-промысловик, работающий по договору для одной из заготовительных организаций. За ним вперевалку вышагивал его напарник, Иван Птаха, в дождевике до пяток, навьючивший себе на спину увесистую кладь — пуда в два, не меньше. Силен был малый! Он шел легко, обозревая окрестности подтаежья — неприглядные, мутные, подернутые вечерней синевой, сквозь которую, как через большущее сито, сыпался дробный дождь.

Ночь застала их на половине дороги. Темень сгустилась как-то вдруг сразу. Померкли очертания далеких гор, скрылась шапка Татар-горы, слились в кучу купы столпившихся деревьев.

— Далеко еще?

— Изрядно. К полночи дотянем, — ответил ведущий, не замедляя размеренного шага, каким обычно ходят пожилые люди, привыкшие к пешему ходу.

— Черт побери-то, не засыпать ли банки? Что-то у меня сверлит в брюхе, — ворчал напарник, подразумевая под сыпкой банок свой собственный желудок. — Ну и погода!

— Погода как раз та, какая нам нужна, — хмуро ответил ведущий. — Лишние встречи — лишние разговоры. Наше дело — тайга, заимка лесообъездчика. Там мы отдохнем и отоспимся. Жить будем, как у Христа за пазухой. Мужик он тугой, хитрый, но верный.

— Так мы что, до заимки идем? Она же в тайге.

— Заимка в тайге. Я тут задержусь пока в деревне. Надо же представиться в сельсовет со всеми документами, чтоб все шло как полагается.

Шагов двадцать прошли молча.

— В сельсовет? — вдруг переспросил медлительный на раздумья Иван Птаха. — Но тебя же, Михаил Павлыч, знают здесь.

Костлявый, рослый путник, поправляя лямки на плечах, некоторое время молча вглядывался в лицо Птахи, потом заговорил тихо, но внятно:

— А человек ты, как я вижу, неопытный. Практики не

хватает. Я не знаю, какую ты прошел школу,— на последнем слове Михаил Павлович сделал ударение,— но настоящая школа для тебя начинается здесь, в тайге. Что ты мог там познать? Ну, допустим, разбираешься в радиоаппаратуре, в маскировке, настырился с документами, удачно высадили тебя где-то в Латвии. И то великое счастье! Многие ломают шеи на высадке. Тебе повезло. Но имей в виду: это еще только начало. Ты вот сумей выработать в себе такую неуловимость, как я. Меня могут везде принять с моим почтением. Соображаешь? Людей здесь тысячи и тысячи, а вот умей выбрать среди них тех, которые как раз и нужны. К примеру, лесник Филимон Боровиков. Этот может запродавать в два счета. Но коготок его у меня в кармане. Невыгодно продавать. Или вот Иван Квашня. Тот обитается на прииске. Тебе придется некоторое время жить у него. Но самым верным из всех будет для нас хакас Мургашка. Лучше его, пожалуй, никто не знает тайги... Ну вот. Боишься, значит, что знают меня здесь. Так ведь смотря кто и как. Те, кто повязан со мною смертным узлом,— вот эти крепко держат язык за зубами. Ну, а для всех прочих человек я вполне благонадежный. Промысловик-заготовитель. Мало ли в тайгу приходит разных промысловиков из города?

Прилежно слушая наставления, Птаха не менее усердно уплетал за обе щеки говяжью тушенку из консервной банки.

Подзакусили, отдохнули, пошли дальше. Теперь шли серединою разжеванной колесами дороги, не обращая внимания на вязкую грязь, дождь, ухабы. Ведущий ни разу не споткнулся впотьмах до самой деревни. Его путник, неловко вышагивая в раскисших от грязи и сырости кирзовых сапогах, частенько спотыкался, падал, измазал руки, лицо.

В деревне, возле переулка, остановились, приглядываясь к светящимся окнам сельсовета. Огонек — на руку. Чего лучше: явиться в сельсовет попросить пристанища. На всякий случай сложили увесистые мешки в глухом переулке под забором и подались через улицу к сельсовету. Там их встретил засидевшийся за квартальным отчетом секретарь сельсовета Митя Дымков, совсем еще молодой курносый парень, готовый оказать любое содействие усталым путникам, направляющимся в тайгу.

Первым представился Мите Дымкову Михаил Павлович. Отряхнув набухший от воды, окостеневший дождевик, сбросив капюшон, он подошел к столу секретаря, без лиш-

них слов предъявил документы, справку от управления зоопарков, в которой разрешалась охотникам Невзорову и Птахе добыча маралов, росомач живьем для нужд зоопарка. Местным властям предписывалось оказывать всевозможные содействия охотникам.

Митя Дымков, снедаемый обыкновенным для юноши любопытством, внимательно прочитал документы, довольный, что именно ему выпала честь принимать таких почетных охотников. Ему понравился обходительный и вежливый старик с посеребренной лысеющей головой.

Сухое, оттянутое книзу лицо, горящий тонкий нос, впалые щеки, твердый подбородок, заросший щетиной, вислые плечи, сутулая согнутость спины, по всему — человек хваткий на зверя, бывалый. Мите нравился цепкий и в то же время доброжелательный взгляд пожилого охотника. Митя Дымков, конечно, тоже охотник. Но не такой еще, чтоб живьем ловить зверей. А вот этот старик, оказывается, немало выловил живых зверей. Даже тигра скручивал в Уссурийской тайге. Тигра! С дождевика охотника стекала грязная вода, расплзаясь лужею на полу.

Покуда разговаривал Михаил Павлович с Митей Дымковым, Иван Птаха, почтительно держась возле дверей, старался показать себя таким увальнем, недотепой, по недоразумению угодившим в напарники к бывалому охотнику.

— Интересно бы поохотиться с вами, — бормочет Митя, забыв о завтрашней поездке в райисполком, — очень интересно. У нас есть медвежатники, но то — что! Самоучки... А вы надолго к нам?

— Да как сказать? К июлю будем в городе. Вот поглядим здешнюю тайгу да и махнем через горы дальше. Там у меня есть знакомые ребята — помогут! А тут вот давали мне адресок лесника Филимона Боровикова. Где его найти?

— А, Филимон Прокопьевич! — оживился Митя, ослабив свое мальчишеское веснушчатое лицо озорной улыбкой. — Он сейчас здесь. Вы его не знаете лично? Вот увидите, что это за человек. Жадный кержак! Из староверов. Прямо удивительно: до сих пор дух не выветрился. Ничем он вам не поможет, уверяю. А сам-то он женился недавно тут на одной бабе, Голоवेशихе. Вот вы говорили: где вам отдохнуть? Это очень просто. Здесь есть Дом прискателя. Заходите туда запросто, переночуете. Там и буфет есть, и столовая для рабочих приска и геологоразведки. Хороший дом! От сельсовета совсем недалеко. Его найти про-

сто: крыльцо у него в улицу с резными столбиками. Вот в ту сторону идти.— Митя показал направление через окно, но тут же вызвался проводить охотников.

Михаил Павлович попросил его не беспокоиться: «Найдем сами».

И они, конечно, нашли Дом приискателя — дом, некогда принадлежавший Иннокентию Евменовичу Ухоздвигову... Иван Птаха остался в Доме приискателя, а сам Михаил Павлович пошел к дому лесника.

Долго стучался в сенную дверь. Капало с крыши. Шумел дождь по луже в ограде.

Кто-то тяжелый, ворчащий, вышел в сени.

— Кто там ломится? — зыкнул хриплый, заспанный голос.

— Свои, Прокопьевич. Свои.

— Кто такой будешь, не пойму что-то?

Михаил Павлович приложился губами к замочной скважине, ответил:

— Не узнаешь? «Капитан». Слышишь? «Капитан». Ну? Шевелись!

— Богородица пресвятая, что ты за человек, а? Ума не приложу.

Охотник оглянулся на шумящую тьму, полную дождя, и, снова приложившись к замочной скважине, сердито зашипел:

— Да ты что, очумел? Своего «капитана» не узнал. Или тебе память отшибло. Позови Дуню, живее!

— Господи помилуй! — бормотал перепуганный голос, удаляясь от двери.

VII

Из окна избы в ограду брызнул огонек. Вскоре заскрипела дверь. Кто-то, видно, вышел в сени, но так осторожно, что ничто не стукнуло, не брякнуло, не скрипнуло. Пришелец у двери под дождем спрятался за косяк, торопливо переложив из-за пазухи в карман дождевика зажатый в ладони пистолет. Ему не нравилась подозрительная медлительность Филимона Прокопьевича. Чем черт не шутит в ночную пору! Но вот из-за двери окликнул охотника низкий женский голос: ее голос, Дуни Юсковой, той самой Дуни! И ласковый, и нежный, и взволнованный.

— Это ты, «капитан»? — позвала она.

И у него даже сердце толкнулось сильнее. Сейчас он увидит ее. И что же такого, что она стала женой Филимона? Просто — ее новая связь. Как и десятки прошлых, от лютой бабьей крови.

— Откуда ты, боже мой?! Я так ждала!.. — бормотала Авдотья Елизаровна, когда он вошел в сени и втащил за собою два тяжелых мешка, которые положил в угол, за сенную дверь. — Я же теперь замужем. Знаешь? А!.. Филимон-то не узнал тебя. Трясет меня: «Капитан», — говорит, — какой-то ломится». Меня так и подбросило на постели. Тут старуха у меня побывала. Говорит: нету «капитана». Есть слуга «Свидетелей Иеговы»...

— Тихо, Дуня!.. Тихо.

В сенях он сбросил дождевик, сунул пистолет в карман брюк, а тогда уже направился за Дуней в избу.

С темноты на свет — прищурил глаза, поздоровался с Филимоном Прокопьевичем. Тот стоял возле стола, едва успев надернуть на себя шаровары, босоногий, растерянный. Пальцы его колошились в бороде.

Вся передняя изба устлана самоткаными половиками, окна завешены тюлем и драпри, а с улицы закрыты ставнями. Филимон Прокопьевич и Авдотья Елизаровна живут за закрытыми ставнями. Мало ли кому вздумается заглянуть через окна в дом?

Гость сбросил с себя промокший солдатский бушлат, разделся. Под ним была затасканная гимнастерка с оборванными пуговицами, засаленные шаровары. Болотные сапоги он снял у порога и прошел в передний угол в шерстяных чулках. Любил тепло, и даже летом. Давал себя знать давнишний ревматизм.

Филимон Прокопьевич вынес из горницы стул с высокой спинкой: еще юсковское достояние.

— Присаживайтесь, Иннокентьевич, — промямлил Филимон Прокопьевич.

Гость криво усмехнулся.

— А ты, Севостьян, не узнал своих крестьян?

— Существовительно.

— Так ты и родного сына не узнаешь.

Филимона Прокопьевича передернуло, будто он завязил ржавую иглу в пятку. Что верно, то верно: родного сына он не узнал однажды!

— Хе-хе-хе, всяко приключается, Иннокентьевич.

— Ты что-то путаешь, Прокопьевич. Какой Иннокентье-

вич? Я, например, не Иннокентьевич, а Михайла Павлович Невзоров. Прибыл к вам для отлова живых зверей. И еще человек со мною. Ты с тем человеком, Филимон Прокопьевич, выедешь в тайгу, к себе на заимку. Там он тебе кое-что объяснит. А я передохну и найду к вам дорогу сам.

У Филимона Прокопьевича перехватило дух. Вот так гость с дальней дороги! Не мешкая, берет быка за рога и — в оглобли. Тяни, Филя, таковский. А он здесь останется... с его законной женой.

— Да мне вроде не к спеху на заимку.

Еще что-то хотел сказать Филимон Прокопьевич, но внезапно осекся, встретившись со звероватыми глазами нежданного гостя. Взгляд был не то чтобы суровый, страшный, скорее всего — урезонивающий, напоминающий.

— Послушай, Боровиков, ты в самом деле хромаешь на память! — начал Михаил Павлович, приблизившись к хозяину дома настолько, что тот почувствовал на своем лице его дыхание.— Забыл, как мы ждали с тобой перемен совсем недавно и ты помогал мне хлебом и солью? Помнишь? А сейчас не сможешь? Тогда говори сразу: прием меры. Обязаны будем принять. Других поворотов в жизни нет.

У Филимона Прокопьевича зарябило в глазах. Лампа отчего-то потускнела, огонек в пузыре стекла осел, замигал, окно расплылось во всю стену. Не ждал не ведал, и нагрелась нечистая сила, приперла к стене — ни дохнуть, ни моргнуть глазом. Куда ни кинь — везде клин. И так плохо, и так нехорошо.

Дуня тем временем возилась в горнице, нарочно задержавшись там.

— Ну, что скажешь, Прокопьевич? Давай, брат, договоримся на берегу, прежде чем плыть за реку. Прямо скажу: мне твой дух не нравится.

Филимон Прокопьевич развел руками:

— Я к тому, значит, э... Михайла Павлович. Как вы проживали у нас во время войны, то, се, и я, стал быть, как по воссочувствию... А тут вот опосля войны такая оказия произошла. Помните пчеловода Андрея Северьяныча?.. Андрей Северьяныч самолично сделал заявление геологам про месторождение той жилы, на которой вы тогда работали. Я к тому, значит, чтоб поостереглись.

Михаил Павлович онемело уставился в пол. Филимон

Прокопьевич нетерпеливо переступал с ноги на ногу.

— И я таперича вроде как в подозренье нахожусь,— мямлил Филя.— Сын у меня возвратился из плена. Старуху в гроб загнал, варнак. Сундуки растряс, разбойник. Наизнанку вывернул. И меня, стал быть, подозревает.

Михаил Павлович сверкнул огненным взглядом:

— В чем подозревает?

— Принюкивается, варнак.

— И, подумать только, а! — раздался голос Дуни.— Перед кем крылья распустил. Тоже мне мужик.

Головешиха прошлась по избе. Насмешливая, нарядная, язвительная, пахнувшая «успокойными» духами «шипр», как их определил Филя, не терпевший кладбищенского духа.

— С кем не совладал! С Демидом! — И, обращаясь к гостю, пояснила: — Сынок у него в леспромхозе работал до войны. Ты его помнишь, наверное. В тридцать седьмом году сбежал от ареста. Бравый парень был. Да ты, Миша, сам займись им. Свернуть бы ему голову, проходимцу.

У Филимона захолонуло сердце. «Как у ней ловко вывернулось — «Миша»! Ну и ну. И ласковость в голосе, и вся в полной готовности».

— Ты, Дуня, поймей в виду: окромя Демида, есть еще Андрей Северьяныч.

— Тэк-с! Значит, говоришь, продал Иуда!

У Филимона опять начала трюиться лампа. Кого-кого, а «Михайлу Павловича» он достаточно хорошо знает. Если он займется Демидом или Андреем Северьянычем — обоим несдобровать. Какое тогда! Мертвая хватка у старого волка. Жалко Демида. Что ни говори, а боровиковский корень!

Но Михаил Павлович жестоко приказал:

— Пора, Филимон Прокопьевич, собирайся!

Филимон перекрестился во всю свою богатырскую грудь на тусклый лик богородицы с младенцем и стал собираться в дорогу, побряхтывая и вздыхая, будто ему предстояла дорога не в тайгу, а на кладбище.

VIII

Никогда еще Филимон Прокопьевич не проклинал так свою жизнь, как в эту постылую, ненастную июньскую ночь, кутающую туманами таежную синь.

«Ноне, видно, собирается подпустить красного петуха на всю тайгу,— соображал дорогою Филимон Прокопьевич,—

я та, стерва, с готовностью приняла подлюгу! За што же ты меня караешь, господи!»

— Когда приедем на заимку? — поинтересовался Птаха.

— Как поедем... Погода-то вишь какая!.. — пробасил Филимон Прокопьевич.

— Ну, ты не очень-то спешишь. Дряхлость одолевает? А говорят, недавно женился, да еще хорошую бабу взял?

— Чтоб ей околеть! Была баба, да съела кошка ряба, один хвост остался. Все они потаскухи!

Иван Птаха оглушительно захохотал, покачиваясь в седле.

— Что, обкрутила тебя, а сама бежит к молодцам? Бывает. Я вот тоже засмотрелся в Кливленде на одну американку, жениться хотел, а потом, гляжу, она такие номера выкидывает, что не дай бог.

Филимон Прокопьевич пожевал губами, некоторое время что-то соображая.

— Как это понимать — Кливленд? Что такое? — настороженно спросил он.

— Не слышал Кливленда? Это, брат, такой город в Америке! Штат Колорадо.

— Вон чего. Так ты што ж, был там?

— Я везде, старик, успел побывать. И повоевал, и в плену побывал, и баланду у фрицев жрал, и Америку повидал. Даром время не терял.

— Эвон оно как!.. У меня сын тоже из плена к союзникам попал. Держали его там...

— И где он сейчас, твой сын?

— С геологами в разведку ушел. Руду разыскивают.

Иван Птаха насупился, прикусил свои толстые губы и долго ехал молча. И он когда-то думал вернуться на родину без пятнышка, да не вышло...

«Сволота какая, — подвел итог Филимон Прокопьевич. — Тоже, значит, из наших пленных! Через таких вот проходимцев пятно ложится на всех пленных. Ишь, Кливленд! Нашел чем хвастаться. Показать бы твою морду Демиду, он бы ее живо набок свернул. Какая нечистая сила попугала меня связаться с такими чертями, а? Петля по самую смерть. Держит меня, как сыч, в когтях. Дунуть бы куда глаза глядят, и вся недолга. И то дуну! Выберу момент и отпихнусь от проходимцев, а так и от Голоवेशихи, чтоб ее черт задрал живьем».

И лес — толстущие косматые сосны сбочь тропы, нарядные пихты, сизовато-зеленые кедры, изредка встречающиеся по пути, — будто понимал настроение Филимона Прокопьевича, роняя наземь росинки-слезинки. Пищала иволга, тревожно трубил где-то у реки неугомонный дед-гач, а тропа текла и текла в толщину тайги, извиваясь между деревьями, — и оборвалась у притока Малтата. Голубая речушка, затопившая отмели, бормотала что-то веселое, рассыпаясь искристым смехом по оголенным камням-валунам, торчащим из воды. Подточенные берега, распустив длиннущие усы подмытых деревьев, глядели на игру резвой речушки отчужденно-угрюмо, насупив старческие черные лбы. По ту сторону, навалившись к реке, разросшийся куст черемухи помахивал Филимону Прокопьевичу длинной веткою, будто предупреждал его об опасности. Старая ель, окруженная разливом воды, зябко дрожала нежными лапами хвои, хотя сам ствол, казалось, не ощущал напора таежной речушки.

— Вот хлещет! Э-хе-хе, — вздохнул Филимон Прокопьевич.

— А ты, слушай, старик, не води круги на постном масле, — посмотрел на него Иван Птаха. — Я про тебя все знаю. И мне надоели твои охи да вздохи. А то с одним случилось так: вздохнул — и ноги протянул.

Иван Птаха не спускал с Филимона Прокопьевича глаз: держал под строжайшим надзором и пообещал ему «прямую дорогу в рай» за малейшее ослушание. Шаг влево, шаг вправо — огонь. Пистолет Ивана Птахи мерещился Филимону Прокопьевичу даже во сне. Он знал, что бандиты собираются поджечь тайгу сразу в нескольких местах. Ждали только сухой погоды, когда от одной спички может вспыхнуть неслыханный пожарище, если угодить под ветер.

С приездом в тайгу «самого» дела пошли еще хуже для Филимона.

Для связи с Иваном Квашней и другими сообщниками послан Мургайка. Он же поддерживал отношения и с лес-промхозом, где два раза получал зарплату по доверенности Филимона Прокопьевича.

Не раз Филимон Прокопьевич тщательно «обмозговывал» план побега, но «сам» неизменно ловил его на мысли. «Не мудри, Прокопьевич, — предупреждал он. — Всегда по-

мни: ты для меня не составляешь секрета ни во сне, ни наяву. Я через тебя смотрю, как через стекло. И если ты в голове держишь какую-то дрянь, тем хуже для твоей головы».

Трудное настало время для Филимона Прокопьевича. «Не жите, а вытье».

IX

...Сизое, пасмурное утро прорезывалось в горницу сквозь щели в ставнях. Михаил Павлович прилег на старинный юсковский диван и мгновенно заснул. Голоवेशиха подложила гостю под голову пуховую подушку, а сама присела возле дивана, заглядывая в сонное лицо — старчески желтое. Запавшие глаза, глубоко врезанная складка около губ... Голоवेशиха вспомнила молодость — и свою, и его, когда она вернулась от него к Мамонту Петровичу беременной... С тех пор он навевался изредка, неизвестно откуда. Но с кем бы ни встречалась без него Авдотья, кому бы ни дарила женскую ласку, — заветного дружка не забывала. На все шла ради него. Только бы замести в воду концы...

...Уходя из дому, замкнула дверь на три замка.

И даже сонный, он слышал, что Дуня закрыла дверь на замок. Подсознательная тревога, постоянная его спутница, моментально проникла в мозг. И сразу же наплыли кошмары. Ему стало жарко, тошно. Он задыхался. Горела тайга!.. От края до края, на тысячу километров. И он чувствовал, что это он поджег тайгу, но как и когда — не помнил. Ему просто было жарко от огня. Скорее бы спрятаться в безопасное место! Скорее бы!

— Я такую разве тебя ждала? — слышит он чей-то голос, но чей, разобраться не может. — С чего ты не в духе, скажи, пожалуйста.

— Будто ты и в самом деле ждала меня!

— Чем же я тебе не угодила? Скажи хоть!

— Так нельзя жить!.. Так дальше нельзя жить. Надо честно... честно... Хоть один раз в жизни! Сколько я тебе об этом говорила?!

— Т-сс! Дура!.. Ишь, как взъерепенилась! Опять на родную мать хвост поднимаешь! Не я ли тебя выкормила, выходила, дала образование? Пеклась об тебе, окаянной, дено и ночью! И она же меня теперь учит!

Что за сумятица? Чьи это голоса? Откуда они появились

здесь вот, среди пылающей тайги? Кругом горит земля, а два женских голоса ссорятся.

— Кто у тебя там? — слышит он.

— Человек. Пришлый охотник.

— Опять?!

Сон как смело. Михаил Павлович очнулся, подтянул ноги, потом спустил их с дивана, сел, прислушиваясь к разговору в избе.

— А где твой муж? — слышит он молодой женский голос. — Или ты успела разойтись с ним?

Ах вот оно в чем дело! Кажется, приехала Анисья.

— Ты мне позволишь вещи свои взять? Я думаю, ты ничего не потеряешь, если я не буду мешать твоей жизни.

— Не тебе меня корить, Анисья, — загремел голос матери. — Ишь, приехала и ноздри раздула! И то ей не так, и это не в ту сторону. Вишь, ты как раскипелась! Или я тебе дорожку перешла? А перешла! Как пилой перепилила. Теперь тебе Демид Филимонович не жених, а сводный брат. А ты ему — сводная сестра, ясно? Не кусай губы-то, я тебя, милая, насквозь вижу. Не тебе меня перехитрить!

— Что ты только говоришь, а? Есть ли в тебе хоть капля совести? — И после паузы: — А Демид, как тебе известно, не сын Филимона Прокопьевича!..

С треском хлопнула дверь.

— Куда ты? Вещи-то хоть возьми!.. Ах, дура, дура!..

Михаил Павлович выскочил из горницы в тот момент, когда Авдотья выбежала следом за дочерью. Он видел в окне чью-то голову в платке, и то на один миг...

Х

Запасшись продуктами, Демид снова уезжал в тайгу, к своему поисковому отряду. Возле ограды стояли навьюченные лошади. Полюшка пританклась в калитке и поглядывала, как звереныш, на Анисью Голоवेशиху, которая зачем-то приехала провожать ее отца. Демид крутился возле Анисьи, совсем забыв про Полюшку. А Полюшка терпеть не могла Анисью. Вот еще привязалась! Зачем она пришла?!

— Папа, ты обязательно должен встретить в тайге маму. Почему она так долго не возвращается?

— Хорошо, хорошо, Полюшка. Я постараюсь. Наши

ребята теперь ее, наверное, уже проведали... Не бойся, ничего не случится.

Мимо шла Мария Спивакова с полными ведрами.

— Бог помочь, Демид Филимонович! В тайгу поспешаешь?.. Что так припозднился? Солнце-то вон уж, гляди, где! Али кто ночесь спать не давал? — и, улыбаясь, подморгнула карим глазом, взглянув на Анисью.

Уж эти соглядатаи! Ничего-то, ничего от них не скрощь!

А Анисье так бы хотелось побыть с Демидом наедине. Открыться, рассказать все о матери... Она взглянула с неприязнью на Марию Спивакову и нечаянно встретилась с глазами Полюшки. У той в глазах плескалась откровенная ненависть.

— Ну, как, Демид Филимонович, ожил? Тайга — это тебе не плен. Хорошие люди у вас в отряде?

— Везде хорошие люди, Мария. Когда мне овчарка глаз выдрала, думал, концы отдам. А ничего, и в плену выжил. Выходили, выкормили, делились последним куском. В одиночку я бы пропал... Трудно было, когда нас начали обрабатывать на все катушки-вертушки. Кого послали в Аргентину, в Канаду, в Грецию, в Америку. Других в какие-то особые школы. Диверсантов и шпионов готовили.

— Диверсантов?!

— Были и такие проходимцы. Мне вот пришлось с одним столкнуться в комендатуре лагеря. Жалко, не перервал ему горло!

Анисья побледнела.

— Что с тобою, Уголек?

— Душно что-то.

— Ну, и как же потом? — напомнила Полюшка.

— Вот я и говорю: одни от страха сами лезли в петлю, вербовались кто куда. Другие — сопротивлялись. Ну а я — рвался домой. Домой, домой!.. Подняли меня вот так ночью к английскому коменданту, тут я и встретился с проходимцем из русских. Тоже сватал меня на предательство. Из кожи лез, сволочь, доказывал, что если я вернусь домой, то схвачу лет двадцать каторги, а то и пулю в лоб. Помяли меня тогда здорово!

Да, он хватил лиха. Жил как мог и где приходилось. И все же совесть у него чиста. Разве легко ему вот и теперь начинать все сначала. А что же делала она, Анисья, когда встретила в доме матери Ухоздвигова? Видела и молчала?

Может, сказать ему? Все сейчас рассказать? Нет! Нельзя впутывать его в это дело. Ему своего горя хватает. Он же ей никогда не простит такого. Никогда! Да и самого его снова затаскают по милициям.

XI

В этот же день Анисья повстречала отца. Шел он улицей, балансируя у забора с мешком за плечами.

— Э! Анисья! — вместо приветствия сказал Мамонт Петрович. — Куда это с чемоданом-то?..

— Вот... От матери ушла.

— Добро, добро! А ну, зайдем ко мне, потолкуем...

Жил он теперь с казачкой Маремьяной Антоновной, женщиной боевой, прижимистой, бельмоватой на один глаз. Почему Маремьяна женила на себе Мамонта Петровича, так и осталось неизвестным. То ли жалко ей стало ютившегося в конюшне Головню, то ли решила жадная Маремьяна Антоновна замолить грехи свои бескорыстием Мамонта Петровича. Так или нет, Головня вскоре после заключения оказался в Маремьяниной твердыне на правах мужа.

Когда Мамонт Петрович ввел Анисью в ограду, на резном крыльце между двумя столбиками показалась, как в раме, высокая Маремьяна Антоновна с засученными по локоть рукавами. Ее горбатый нос и тонкие поджатые губы, особенно тяжелый подбородок, говорили о ее властном, неуживчивом характере.

— Где пропал, мерин?! — зычно подала она голос, уперевав одну руку в бок.

Мамонт Петрович сразу же посутулился, стал как будто на вершок ниже своего роста и заговорил сиплым, незнакомым голосом:

— Позволь молвить, Маремьяна Антоновна. Сичас изложу полную информацию.

— Я те изложу! Где солома?

— Нет соломы, Маремьяна Антоновна. Все тока обошел.

— Какие тока?

— За Гремячим.

— Скажите, куда его черт утартал! Нет соломы — паяльную лампу нашел бы. Я же сказала — у старого Зыряна есть паяльная лампа, чтоб тебе лопнуть. Боров-то ждет ножа. С утра не кормлен.

— Ты погоди, Маремьяна Антоновна. Вот зашла к нам Анисья...

Прищуриив бельмоватый глаз, Маремьяна Антоновна пригляделась к Анисье, сошла с крыльца. Она не стала спрашивать, откуда она и куда — какое ей дело! Своих хлопот полон рот. Кивнув головою на крылечко с выскобленными до желтизны приступками, напомнив супругу, чтобы он почище обтер об соломенный мат свои рыжие бахилы с отвисшими голенищами, ввела за ним Анисью. И все это не спеша, чинно, будто совершала некий обряд.

В крашеной избе густо пахло творогом, жужжали одинокие мухи. У лавки был прикручен пузатый сепаратор. В эмалированном ведре под марлею стояло молоко обеденного удоя от знаменитой на всю округу Маремьяниной коровы Даренки, трехведерницы. Даренка давала от тридцати до сорока литров молока, чем и жила Маремьяна Антоновна, своеобразная единоличница в колхозе. Выработав с грехом пополам норму трудодней, а чаще и минимума не выработывая, Маремьяна жила лучше всех сельчан. Она продавала молоко прискателям и рабочим леспромхоза, да еще разводила его водичкой. Оттого-то сундуки Маремьяны-казачки ломились от добра! Водилось и золотишко.

На столе, застланном узорчатой скатертью с длинными гарусными бахромами, в стеклянной кринке иссыхали оранжевые огоньки вперемешку с пахучими ирисами. На полу самотканые половики в крупную клетку. В углу обвешанные рушником иконы. Во всем чувствовался тот особенный порядок, свойственный одиноким старикам, которые, вставая утром, до вечера ходят по одной плашке, ступая с носка на пятку.

— Что с чемоданом-то? — спросила Маремьяна, поведя глазом по Анисье.

— От матери ушла.

— Ишь как!

И, повернувшись к Мамонту Петровичу:

— Ну?! Боров-то ждет ножа.

— Ждет? Вот еще статья, а? Я так соображаю, Маремьяна Антоновна, содрать бы с него шкуру. По всем статьям полагается, кхе, содрать. Каждая шкура на учете. А палить... Как бы участковый не припалил нам хвост с фланга закона, а? Смыслишь?

Красиво подбоченясь, Маремьяна Антоновна ласково улыбнулась той многообещающей коварной улыбочкой, за которой, кто знает, таятся какие каверзы! От ее бельмова-того щурого глаза до мясистого подбородка масляным потоком стекла улыбочка, притаившись в губах, открывающих верхний ряд стальных зубов. Единственный глаз Маремьяны Антоновны, не утративший зоркость, прошелся алмазным зерном сверху вниз по Мамонту Петровичу, словно расчленяя его на две половинки. Мамонт Петрович чуточку попятился, но попал петелькой телогрейки на крючок пальца супруги, которая подтянула его к себе, как пескаря на удочке.

— Каждая шкура на учете, говоришь?

— Соответственно.

— То-то ты меня и манежил! А я-то жду, жду...

— Да я же искал. Все поги избил.

— Искал? Так ты искал? А ну, выйдем во двор! —

И, кивнув головою на крытую охрою дверь с медной надраенной скобой, увлекла за собою в сени заметно струсившую «вторую половину жизни».

Не успела захлопнуться дверь, как в сенях начался задушевный разговор Маремьяны Антоновны с Мамонтом Петровичем.

— Участковый, говоришь? — начала хозяйка на миролюбивой ноте, но вдруг, сорвавшись, возвысила свой глас до трубных звуков иерихонской трубы: — Ах ты, чучело огородное!.. Он меня страшать еще!.. Я жду-жду, а он — каждая шкура на учете! До каких пор, спрашиваю, ты будешь портить мне кровь? Трепать мои нервы, печенку, селезенку? Да ты что, сволочуга, измываешься, а? Измываешься?..

И — хлесть, хлесть, будто шлепались об стенку избы горячие олады.

Анисья сжалась в комочек на диване, невольно жалея несчастного отца. Вот так жизнь у Мамонта Петровича с Маремьяной Антоновной!

А в сенях:

— Всю мою кровушку!.. Всю мою жисть!.. Придет, нажрется, и хоть трава не расти!.. Да ты что, кормить я тебя обязана, что ли? Обихаживать? Паршивца такого!

— Маня, Маня! Да ты погоди... Манечка...

Мамонт Петрович вылетел из сеней в ограду, как стрела, пущенная из лука, и, не оглядываясь, вздымая брызги

в огромной луже посередине улицы, помчался в проулок с резвостью стригунка.

«Опять воюют», — подумала Анисья.

Вся деревня знает, что не проходит недели, как Мамонт Петрович с Маремьяной Антоновной делят горшки и черепашки, запираясь один в переднюю избу на диван, другая в горницу, и так живут, обходя друг друга, как солдаты двух воюющих армий на рубеже огня. В такое время в их доме царит хаос первоздания. Они подолгу спорят, уточняя и утверждая правила внутреннего распорядка: кому утром доить корову, кому вечером, кому в обед, кто должен присматривать за курицами, индюшками, гусями, кто и когда обязан скоблить в сенях и на крыльце. В дни таких междоусобиц зачастую корова уходит в табун неподоенной, гуси беспрестанно гогочут, надоедая соседям. Дед Аким Сливаков, чья изба зачинает забегаловку, хворостиной гоняет Маремьяниных поросят, и вообще творится черт знает какая неурядица! И что обиднее всего: Мамонт Петрович в такие дни до того тощает, что еле ноги волочит — то обед не успевает сготовить для себя, то печь занята, то хворост вышел, то посудина прибрана в горницу супруги, куда ему путь заказан.

По всему видно, что горница — святыня хозяйки. Мамонт Петрович занимает куть.

Сразу у двери стоял его жесткий диван с тощим матрасом, байковым одеялом и плоской подушкой, смахивающей на прошлогодний каравай хлеба. На стене — полки с книгами. Толстые, тонкие, совсем крохотные. Он читал все, что попадало под руку: медицинскую, философскую, политическую литературу. Особенно увлекался проблемами Галактики. На стене тут же висела подзорная самодельная труба, не хуже Коперниковой, и еще какие-то предметы, о практическом применении которых трудно было сказать что-нибудь определенное... Над спинкой дивана — картины неба. Тут и звездная карта, и египетские жрецы, наблюдающие появление Сириуса, и старинный русский рисунок, на котором представлена Земля в виде лепешки на трех книгах.

Живут они, как говорится, на разных планетах. Жена — с пузатым сепаратором да с молитвами. Муж — с философствованием и мечтами, когда же наконец изобретут такой межпланетный снаряд, на котором бы он мог улететь из Белой Елани хотя бы на Луну?

По передней избе ходили гуси, пятная зелеными отметинами Маремьянины самотканые половики. Такое чистоплотная Маремьяна терпела только во времена баталлий.

Вернувшись в избу, Маремьяна даже не повернулась в сторону Анисьи.

— Кыш ты, проклятый! — пнула она под зад захлопавшего крыльями гуся так, что тот, загоготав, вылетел на крыльцо. И еще более рассердилась, вляпавшись и поскользнувшись на крашеном полу.— Ишь, что наделали, окаянные! Ведь говорила же, говорила, выгони гусей в пойму!.. У-у! Лодырюга, лодырюга, спасу нет! Согрешила я с ним,— как бы оправдываясь, повернулась она к Анисье.— Значит, ушла, говоришь? Ну, ну... Что это вы опять с ней не поделили?

— Можно мне у вас... чемодан оставить?

— Чемодан?! — Маремьяна Антоновна подумала минуточку и, польщенная доверием, сменила гнев на милость.— Отчего же не можно?.. Можно. И сама побудь. Хошь в горнице у меня побудь... Располагайся. Может, олух энтот маленько встряхнется... Замордовал он меня, леший! Ох, грехи, грехи! — И пошла в горницу, опустила на колени перед иконами.

— Стану я, раба Маремьяна, благословясь пойду, перекрестясь, из дверей в двери, из ворот в ворота, под светел месяц, под луну господню, под часты звезды,— бормотала она, усердно кладя поклоны...— На киян-святом море стоит святая церква, в той церкви стоит злат-престол, на том престоле сидит мать пресвятая богородица со всеми ангелами, со всеми со архангелами, со всей силой небесной: Иваном Предтечей, Иваном Богословом, Иваном Златоустом... Все отцы-пророки, молитте бога за нас...

Вернулся Мамонт Петрович с паяльной лампой.

— Вот принес,— буркнул он.

Маремьяна перевела дух, поднялась, ухватившись за поясницу. На лбу у нее выступила испарина.

— Полегчало? — кинул Мамонт Петрович, взирая на нее исподлобья.

— Иди, зови Михея. Резать надо. Неуж я опять сама должна?!

ЗАВЯЗЬ ДЕСЯТАЯ

I

Худое было настроение у Мамонта Петровича, когда он утром пришел на племенную конюшню колхоза. В неизменной потрепанной телогрейке Мамонт Петрович шел таким давящим шагом, что конюх Михай Шумков по одной его походке догадался, что заведующий конюшней не в духе, подходить к нему с разговорами в такие минуты было крайне рискованно.

Михай Шумков прибирал двор конюшни.

Караковый мерин с лохматыми бабками, переминая ногами, стоял у коновязи. Мерин леспромхозовский. На нем ездит Анисья.

— М-да! — кашлянул Мамонт Петрович.

В стойлах лениво жевали овес племенные жеребцы и кобылицы. За первые послевоенные годы конюшня значительно поредела; много незанятых перегородок с кормушками, но и то, что осталось, не в каждом колхозе имеется. Не будь Мамонта Головни, навряд ли объединенный колхоз «Красный таежник» имел бы и такую конюшню. Мамонт Петрович заботливо выращивал лошадей, которых он считал по достоинствам на втором месте после человека.

— Эх-хе-хе, мученики! — покачивал головою Мамонт Петрович, остановившись возле вороного иноходца со сбитыми плечами — Юпитера.

— Не Лалетину на Юпитере ездить! Ему бы свинью в упряжку. А ты, Юпитер, будь смелее! Бей его копытами, хватай зубами, отстаивай жизнь в непримиримой борьбе с негодьями! Что он с тобой сработал, а? Плечи в кровь избил и на передок жалуешься.

Юпитер скосил глаза на Мамонта Петровича и, будто понимая, потянулся к нему мордой, положив голову на плечо хозяина.

Так они постояли минуты две. Юпитер, от удовольствия прижмурив глаза, а Мамонт Петрович от негодования маюгаясь сквозь зубы на председателя колхоза, Павла Лалетина.

Или вот Марс, пятое стойло слева. Марс — гнедой рысак с тонкими ногами, помесь арабской лошади с орловской породой, хваткий на зачине. Как почует вожжи, рва-

нет, ну, кажется, будь закрытыми ворота, сиганет птицею через ограду. Что стоит один взгляд Марса. Так и стрижет белками. Иссиня-голубоватые белки перекатываются в глазницах. А хитер, мошенник! Стоит гнедому почувствовать под ногами избитую проселочную дорогу за деревней, как хвост у него обвисает, голова клонится книзу, и он из крупной рыси переходит на ленивый шаг: «Знаю, мол, торопиться некуда!»

Характер Марса выработался в поездках бывшего председателя колхоза Гришина. Ленивый, пухлощекий и всегда сонный, любящий показать товар лицом при районном начальстве, Гришин обычно, когда оставался один, отпускал вожжи и храпел всю дорогу. Марс завозил его куда-нибудь к зароду, к полевому стану и там спокойно отдыхал, покуда Гришин всхрапывал. Но стоило Гришину завидеть деревню, он вдруг преображался, нахлестывая Марса, что называется, в хвост и в гриву.

А вот и гордость колхоза — пара вороных: кобылица Венера со звездочкой и жеребец, единственный чистокровный рысак, названный Звездой, вероятно, потому, что в расходе были наименования всех планет, известных Мамонту Петровичу. Красноглазые, стройные, мощные лошади! На Венере и Звезде изредка выезжает сам Мамонт Петрович в Каратуз. Не один раз зарился на них Павел Лалетин, скандалил с заведующим конюшней, но последний поднес Лалетину кукиш, на чем Лалетин и успокоился.

— М-да,— крикнул Мамонт Петрович.— Когда Лалетин из Минусинска вернулся?

— Да вроде на зорьке.

— В себе или как? На взводе?

— Под хмельком. Но не так чтобы очень.

— Гм! Кто принял от него Юпитера?

— Дык я, Мамонт Петрович. Плечи сбиты, и так весь в мыле.

— М-да. Акт требуется составить. Разберем на правлении.

— Дык председатель же, какой акт?

— Для свистунов, Михей, нет указания правительства относительно поблажек,— сурово загремел Мамонт Головня, подкинув пальцем свои рыжие усики.— Перед законом Советской власти все равны — Лалетины, Вавиловы, Шумковы, председатель, секретари райкомов, горкомов! Все

отчет должны держать за свои поступки, а так и по поводу своей жизни. До каких пор я буду внушать тебе, что каждый на своем посту — президент, а не шайба от винта. Имей в виду, последнее замечание.

— Имею. Но все ж даки, как там ни говори... А где же конюху заставить председателя колхоза подписать акт?

Михей Шумков раздумчиво поскреб пальцами в сивой бородке.

А вот и Анисья.

— Что ты такой хмурый, папа?

— А вот глянь, что наделал Лалетин! Гвардии лейтенант, при орденах! Ухайдакал Юпитера за одну поездку! Откуда такое происходит, ты мне скажи? От души, в которой на прикурку огня не добыть. Вот против нее и двинем новую революцию. Изничтожать надо этот срам под самым корень...— И пошел по ограде, воинствующий, непримиримый, каким его знала дочь.

II

Поздним вечером Анисья сошла с крыльца конторы колхоза, следом за нею отец — хмурый, вконец расстроенный от перепалки с Павлом Лалетиным из-за Юпитера. Вышло так, что вопрос Головни на заседании правления колхоза вызвал всеобщий смех; Лалетин отделался легким испугом, делая вид, что на чудака Головню не стоит обращать внимания. Тогда Головня потребовал немедленную ревизию кассы колхоза, говоря, что с кассой творится что-то неладное. «Откуда ты берешь деньги для горла? — орал он. — Не из нашей ли кассы? Через какие дивиденды заливает себе за воротник Фрол Лалетин? Не от доходов ли Никиты Мансурова, пчеловода на третьем номере пасеки? Ревизию! Требую ревизию!» И опять Мамонту Петровичу ответили всеобщим смехом. Вопрос стоял о выделении рабочей силы леспромхозу, о сеноуборочной, о прополочной кампании, подъеме паров, а Головня заговорил о ревизии. Между тем сам Павел Лалетин менее всего хотел бы, чтобы именно сейчас началась ревизия кассы колхоза и тем более третьего номера пасеки, где удачно приземлился зять Фрола Лалетина. На пасеке не все было в порядке. Но через неделю-две там наведут полный ажур; комар носа не подточит. Вот почему из членов правления трое Лалетиных — Фрол, Василий и Павел Тимофеевич, пользуясь отсутствием Аркадия

Зыряна, который уехал на совещание механизаторов,— обернули вопрос Головни в забавную шутку.

Анисья понимала, что отец прав, но не нашла в себе силы поддержать его. Стыдно было смотреть на смеющихся Лалетиных. Парторг колхоза, он же бухгалтер, тихий мужик Вихров-Сухорукий, беспокойно ерзал на стуле. Стоит ли ссориться с Павлом Лалетиным, недавним фронтовиком-однопольчанином?

— Капитулянты, едрит-твою в кандибобер! — бормотал отец, размахивая руками.

«И в самом деле капитулянты», — покусывала губы дочь.

Оседлала каракового мерина. И в тот же вечер уехала в леспромхоз, увозя с собой смутную невысказанную тяжесть...

III

...Между тем далеко в тайге Агния с Андрюшкой и Андреем Северьяновичем подошли к «смертному месту».

Не шли, а продирались ощупью в непролазных дебрях. Агния хотела остановиться на ночлег сразу за Большим Становым хребтом, но Андрей Северьянович настоял на своем:

— Сказывал: приведу ночью. Сами потом оглядитесь, как и что. Тут оно, место. Другого не знаю. Бывал здесь два раза и зарок дал — не видеть в третий, слышь. Вот и не вижу. Темень — глаз выколи. Так-то, дева. Не обессудь. И вы не задерживайтесь. Не ровен час — налетит коршун, беда будет. Пошупай место, остолби и поезжай на Верхний Кижарт, как тебе сказал начальник.

Агния хотела спросить, про какого коршуна обмолвился Андрей Северьянович.

Но хрустнули ветки. Шорох удаляющихся шагов — и все стихло.

— Ма-ам, он ушел!

— Ну и что? Привел, и ладно.

Кони жмутся друг к другу. Сопят.

Полыхает зарница, да так широко, точно небо, играючи, на мгновение обнажает свою искристо-белую лебединую грудь.

— Как будем-то?

— Расседлывать лошадей будем. Приглядимся, соберем сухостойник и разведем огонь.

— Огонь-то еще заметят!

— Ишь ты, какой трусоватый. А я-то думала — ты мужик у меня!

Андрюшка притих. Надо быть мужчиной...

IV

В заречном поселке на прииске в доме Ивана Квашни гостил охотник за живыми маралами Михаил Павлович Невзоров, которого Иван Квашня знал как Гавриила Иннокентьевича Ухоздвигова.

Михаил Павлович разговаривал с хозяином горницы и курил папиросы. Пили водку.

Из всех Ухоздвиговых уцелел только он, Гавриил! Единственный наследник Благодатного и Разлюлюевского приисков. А мог бы он раздвинуть горизонты и до приисков Иваницкого. Он бы еще потягался с теми золотопромышленниками, которые в годы гражданки бежали за границу, подальше от земли, где не припекает. А вот он, Гавриил Ухоздвигов, дважды был арестован органами Советской власти, сменил шкуру и ни разу не изменил себе: работал на подрыв устоев Советского государства. Да, сегодня он — никто! Но никто с оружием ненависти и с постоянной готовностью к непримиримой борьбе. Он много раз оказывался одиноким после поражений, когда обрывалась связь с теми, кто поддерживал его из-за границы, но никогда не падал духом. Он должен был выжить во что бы то ни стало. И он выжил!

Какое разочарование принес ему 1945 год!.. Рухнули все надежды. Чего теперь ждать?.. Надо уходить во Владивосток. Там иностранные суда. Нашупывать связи... Но он устал! Отчаянно устал! Ему бы отдохнуть! Завалиться бы, как медведю в берлогу на долгую спячку, этак лет на тридцать, а потом проснуться. Но настанут ли перемены в России через тридцать лет?

Верных людей осталось мало! Ничтожно мало. На самом прииске единственный Квашня. Есть еще свои люди в тайге, где он в 1929 году возглавлял банду кулаков, кое-кто уцелел в Манской, Белоеланской, но кто они, уцелевшие? Космачи первобытные.

Блюдец на столе было полно окурков.

Иван Квашня, пригнувшись к уху глуховатой жены Ангелины, кричал ей, чтобы принесла из подвала кислой капусты.

— Вот глухая тетеря! Кричи ей во всю глотку — ни черта не слышит,— жаловался Иван.— Ну что ты вылупила на меня бельма? Ка-аапусты! Слышишь?! Каапусты, стерва. Бери тарелку и шпарь за капустой.

Когда покорная и молчаливая, как все туговатые на ухо старухи, жена Ивана Квашни ушла за капустой, он с горечью проговорил:

— Разве бы мы так жили, Иннокентич, если бы...

Но Гавриил Иннокентьевич прервал его:

— Геологи вернулись с «места»?

— Вроде не слышно. Сам начальник прииска ждет с нетерпением. Можно и геологов накрыть. Прочитать бы! Как тогда ваш брательник кокнул Ольгу за Сафьяновое.

«Тогда» было давно. Август 1924 года... Иван Квашня, конечно, помнит те жаркие денечки. Вот в этой же горнице «тогда» отсиживался старший брат Гавриила, щербатый и сутулый Андрей Иннокентьевич.

— Шли мы за той Ольгой след в след. До самого Сафьянового. Учужала, стерва. И я схватил пулю. Не помню, как выполз. Думал, хана, погибель пришла. А вот выжил, слава те господи.

— Идти туда нельзя,— сказал Гавриил Иннокентьевич.— С местом покончено. Там уже, наверное, поджидают нас...

— Все может быть.— И, оглядываясь, Квашня прошептал: — Поджарить бы их на том месте. Подпустить петушка на красных лапах. По Жулдетскому хребту пихтач сухойстойный. Там только искру оброни...

— М-да.

Глухая супруга Квашни принесла в обливной чашке кислой капусты. Квашня достал еще одну поллитру водки.

— Говоришь, Северьяныч один живет на пасеке?

— Завсегда один. Это же такой космач. Бурчит да мычит себе в бороду. А вот место продать — ума хватило.

— Как его не раскололи?

Квашня развел руками:

— Провернулся. Может, для приманки оставили, чтоб кого другого схватить?

Иннокентьевич уразумел намек. «Кого другого» — касается только его, последнего из Ухоздвиговых.

Над столом висела маленькая электрическая лампочка, но Иван Квашня не зажег ее, а велел старухе достать керосиновую лампу. Ставни закрыты наглухо, но хозяин на вся-

кий случай завесил окошко в улицу суконным одеялом — береженого бог бережет.

Допили вторую поллитру и не опьянели. А на зорьке, еще до того как раздался гудок обогатительной фабрики, гость Ивана Квашни с котомкою за плечами и двуствольным ружьем, с подтощалою Голоवेशихиной Альфой подался пешком в тайгу.

Иван Квашня проводил его до таежной тропы, поясняя, как перевалить Сухой голец:

— За Сухим гольцом держитесь правого берега Кипрейной. С богом, Иннокентич. За Филимоном-то гляди в оба. Кержак хитрый. Чуть чего — продаст. Сын у него возвратился из плена. С геологами он сейчас в тайге. Вот по их следам и надо подпустить петушка.

V

Синь-тайга. Горы... Теснина...

Агния роет новый шурф невдалеке от безымянного ключа, впадающего в Большую Кипрейную речку. Бурый слой земли, переплетенный корневищами кустарника и травы, уже снят. Штыковая лопата Агнии врезается в зеленоватоглинистый пласт. Попадаетея кварцевая порода в изломе, сахарно-белая, крупитчатая. В одном из таких кусков Андрюшка обнаружил тоненькую золотую змейку, похожую на окаменевшую молнию.

Агния растирает на ладони горсть породы, пристально разглядывает в лупу под палящими лучами солнца. И — видит, именно видит, как по-особенному искрятся некоторые песчинки, до того крошечные, что их не узришь простым глазом.

Золото!

Это ведь оно мельтешит лукавыми, хитрыми лучиками!

Седьмой шурф, и все идет золото. Надо бы Агнии с Андрюшкой ехать на Верхний Кижарт, где поджидает ее Двоглазов.

У ключа, едва пробившегося из земли, где устроена маленькая запань, возится с лотком медлительный Андрюшка, по пояс голый, загорелый, мускулистый, черноголовый, как жук. Бросает лопату за лопатой на специально устроенный лоток, потряхивает его ногою, как зыбку, промывает породу под струями прозрачной, но тут же мутнеющей воды, и снова берется за лопату. Агния то и дело покрикивает:

— Да шевелись ты, шевелись! Что ты, как сонная те-
теря! Это я на тебя шурф загадала,— говорит мать и тащит
волоком куль с новой пробой от шурфа к лотку.— Погляжу,
какой ты у меня счастливый, Андрей Степанович.

Андрюшка зло скосил глаза на куль:

— Надоело. Сказала же: неделю поработаем и уедем.

— Успеем еще отдохнуть.

Мать снова взялась промывать пробу из шурфа, загадан-
ного на сына. И какова же была ее радость, когда в рубчике
лотка задержался самородок в черной рубашке, величиною
с наперсток.

— Гляди, гляди, самородок!

Андрюшка уставился на неприглядный черный камушек
и ничуть не обрадовался.

Агния видит свое в самородке. Ей кажется, что именно
здесь, в теснине между распадками гор Станового хребта,
через год-два будет выстроен поселок, появится драга, обо-
гатительная фабрика, подвесная канатная дорога. Становой
изроют шахтами, и люди здесь будут жить богато и, кто
знает, вспомнят ли о том, что она, Агния, с сыном проводила
тут поисковую разведку.

«Смертное место» станет счастливым местом для людей.
Здесь много золота. Весь хребет, куда вели давние чьи-то
отметины, сложен из кварцевых пород. Сверху напластована
земля, заросшая мохом и брусничником. Первые шурфы
не радовали. Одиннадцать дней Агния с Андрюшкой топта-
лись по берегам Большой Кипрейной и ничего не нашли.
Потом Андрюшка случайно наткнулся на старый шурф в
стороне от речки, сверху замаскированный валежником, как
прячут волчьи или медвежьи ямы. Агния взяла там первую
пробу, и пошло золото. Один за другим открыли десяток
таких же замаскированных шурфов, уходящих к подножию
Станового хребта. Потом Агния обнаружила глубокую вы-
емку — шурф в самом хребте, где шла сплошная кварцевая
жила...

Теснина лежала между хребтами. И странным казалось,
что лес на одном из хребтов засох на корню и торчал теперь
сухостойными скелетами, а на другом и в самой теснине —
вековые заросли хвойника: тут и пахучие пихты, и стройные
ели, и нарядные кедры, и разлапистые сосны.

В поисковом журнале Агния окрестила это место «Тес-
ниною». Может, так и будет называться будущий прииск?

Место красивое, диковатое!..

— Ну, хватит на сегодня! — Агния распрямила спину и вытерла тылом руки пот с лица.

Они хорошо поработали! В каждом рубчике лотка — изрядный осадок еще неприглядного, необработанного, на которое и смотреть-то неинтересно, золота.

VI

Откуда-то напахнуло гарью. Андрюшка еще не успел разложить костер, возле которого ночью спасались от гнуса, а пахнет дымом.

Ничего не сказав сыну, Агния вышла на берег речки, и здесь, у воды, еще сильнее тянуло гарью. Откуда бы? Неужели кто разложил костер? Но кто? Может, охотники? Но какая сейчас охота? Месяц глухой, покойный, тихий. На маралов и сохатых охотиться запрещено, да и место неблизкое от подтаежных деревень. За три недели Агния привыкла, что в теснине, кроме нее и сына, никого нет, что «смертное место» совершенно безлюдное.

Вернулась к шалашу. Андрюшка таскал хворост.

— Дымом несет, кажется?

Андрюшка фыркнул.

— Давно тянет. Я еще подумал, вроде кто костер развел. Так и несет.

— Лошадей смотрел?

— Там они, в пойме.

— А Полкан где?

— Черт его знает где. Носится где-нибудь или завалился под выскорь и лежит себе.

— А ты подумал, откуда дымом несет?

У Андрюшки округлились глаза: вот об этом-то он и не подумал!

— А что?

— А то, что нам пора собираться. Нас ждут на Верхнем Кижарте. Что надо было — сделали. Иди за конями. А я уложу сумы и инструмент. Надо ехать.

У Андрюшки как рукой сняло усталость — бегом кинулся к пойме, где паслись лошади.

Не прошло и часу, как они покинули берега Кипрейной речки. Поднимаясь на склон Большого Станового хребта, ахнули: в тайге пожар!.. Агния знала: если ветер вдруг повернет в их сторону, тогда им не спастись.

Шли всю ночь от пожара, на юг, к Саянам.

Агнию не пугают дебри тайги; она знает ее. Не страшат ее большие таежные переходы, ей ведомы затесы на деревьях и звериные тропы. Не подстережет Агнию хищная рысь на дереве — у нее зоркий глаз. Но люди! Разные люди по тайге бродят...

Остановились передохнуть в расщелине между гор. Андрюшка, как слез с лошади, упал в прошлогоднюю траву и уснул.

Сизыми сполохами начиналось утро над отрогами Саян.

Далеко-далеко над бездонной синевой неба вспыхивала зарница, и звезды одна за другой гасли. А вокруг сонная благоухающая тишина, насыщенная запахом прели, ароматами хвойного леса и дымом пожара. Высокие лиственницы и кедры не шумели верхушками, а будто нашептывали друг другу тревожную весть.

Солнечная рань плескалась над тайгой. И дым, дым!.. Агния кинулась в низину за лошадьми и никак не могла сообразить: куда тянет ветер? В какой стороне Малый Становой хребет?

Сверилась с компасом. Надо пробираться на юго-восток. Где-то там приисковый кордон. Скорее бы уйти от пожара!

Долго будила сына. Андрюшка еле поднялся. Лицо у него подпухло.

— Как ехать-то? Кругом дым. Сгорим вот, тогда узнаешь!..

Мать поторапливала:

— Шевелись ты! На коне-то усидишь? Чего ты раскис?

— Говорю — болит все. И руки, и ноги, и голова.

— Ешь да поедем.

Андрюшка категорически отказался от завтрака и с трудом уселся в седло.

Больше они не будут подниматься в гору и выедут если не на рудник, то к геологам прииска и там отдохнут. А сейчас надо ехать. И день, и ночь! И еще день!

За какой-то речкой, название которой Агния никак не могла установить по карте, на другой день спустились в низину, в буреломы, и только зоркий глаз Агнии сумел узреть тропу, по которой ездили геологи на вьючных лошадях. Еще бы какой-то метр, и они бы проехали мимо, и тогда кто знает куда бы их занесло...

Андрюшка теперь уже не сидел, а лежал в седле. Дымом

заволокло всю низину. Агния шла пешком и вела за чембур лошадей.

Тропа уткнулась в берег, затененный высоченными елями. Это, конечно, Кижарт. На перекате вода бурливая, изрытая водоворотами. Надо брести на тот берег.

Агния наказала Андрюшке, чтобы он держал коня навстречу течению. У Андрюшки — муть в глазах.

Наконец-то вылезли на другой берег и остановились на привал. Передохнули, пообедали и пошли берегом Кижарта вверх по течению. И все лес, лес, дым и дым! Ни конца ни края. Да где же тот кордон, где работают геологи приска? Может, они заблудились и не выберутся из тайги? Вот так и будут ехать неизвестно куда, пока идут лошади. Потом лошади упадут, и Андрюшка никогда уже не увидит ни Белой Елани, ни большого города на Енисее, куда мечтает уехать учиться, и — отца не увидит! Андрюшка все время ждет отца из Берлина. Приедет или не приедет? Должен же отец вспомнить, что есть еще Андрюшка!..

— Мама!.. Мама!..

Мать остановилась, оглянулась на сына:

— Ну?

— Может, заблудились, а? Уже вечер, а тропы нет.

— Нет, не заблудились. Скоро кордон.

— Где он, скоро?

— Потерпи! Или ты не мужик? Я же держусь...

Проехав еще с час, спешились.

— Покорми лошадей. — И Агния пошла смотреть тропу.

...Отдыхая на замшелой колодине, Агния обратила внимание на густой черный дым над отрогами Станового хребта. Дым столбом поднимался к небу. Верховка (как называют здесь ветер от Белогорья) дула вдоль Станового.

В густых сумерках вечера пламя металось из стороны в сторону и горящие огненные кометы головешек, словно термитные снаряды, взлетали высоко в небо, выписывая дуги. Померкли горизонты; густо несло едучим дымом — не продохнуть.

Агния решила повернуть вдоль хребта на юго-запад, где меньше было дыма. Тяжело потрескивая по зарослям мелколесья, бежали какие-то звери. Агния, не выпуская ружья из рук, шла и шла вперед, протирая слезящиеся глаза. Так она прошла километра два и уже не соображала,

в какую ее сторону ~~з~~несло. Дыму стало меньше, но темень июньской парной ночи сгустилась. Переправившись через неведомую горную речушку, Агния хотела было двинуться дальше, в сторону чернеющего хребта, за которым, по ее предположению, должен быть кордон, но вдруг совсем близко раздался лай собаки. Агния поспешно притаилась в плотном пихтаче. Совсем рядом лезло что-то тяжелое, неповоротливое. Не надеясь на зоркость собственных глаз, Агния прилегла на землю возле старой пихты и, вырвав с корнем пук травы, спрятала в ней нос, чтобы обмануть нюх зверя, и в то же время дрожащею рукою сжимала ложу двустволки, не спуская пальцев со спусковых курков: если стрелять, так сразу из обоих стволов. Хоть и темно было, но Агния отлично видела, как на каменистую отмель, в тридцати — сорока шагах от нее, из-за кустов калинника и черемушника выбежал тяжелый красавец тайги сохатый, а следом за ним черная как смоль собака, маневрирующая вокруг зверя. Кто-то громко кричал: «Альфа! Альфа!»

Черная собака громко лаяла на сохатого. Пригнув голову, зверь бил копытами по камням; осколки летели во все стороны, звонко шелкая. Внезапно раздался один за другим три выстрела, пороховые вспышки на мгновение озарили разлапистые ветви черемухи. Сохатый взметнулся на дыбы, трубно проревев на всю тайгу. Он повернулся в сторону кустов, но не успел сделать прыжка, как раздался новый выстрел сразу из двух стволов. Сохатый упал на передние ноги и тяжело, надрывно ухнул. Агнии жаль было подстреленного зверя.

Из мрака вышли трое, таких же черных, безликих, как ночь.

— Уф, какой шибко большой зверь! — сказал один из охотников. — Шибко сильный зверь.

Агния еще крепче прижалась к земле.

— Экий матерый сохатище, а? — сказал второй охотник. — Вот такого я завалил на Сухонаковой летось. Пудов на двадцать мяса навялил; на семь тысяч он у меня обошелся, стерва.

— Я саданул в него из двух стволов, — сказал третий.

— Ты вроде промахнулся, Иван, — сказал второй голос. — Потому — опосля твоего выстрела он еще повернул на нас.

— Скорее всего твои заряды, Крушинин, пошли за молоком, — возразил третий голос.

— Все может быть, Иван. Вот Мургашка, он вроде влез в него здорово!

— Моя стрелял в глаз,— ответил первый голос.— Нету пуля в глаз, за молоком пошла. Ты, Птаха, бил карашо. Уф, здорово! Шибко большой зверь.

— Крушина, давай, жги огня! Мяса жарить будем, кушать будем. Давай, давай, Крушина!..— кричал голос, как видно принадлежащий Мургашке.

— Костра не будем разводить,— возразил второй голос.— Нам надо поскорее сматываться из Лешачьих гор. В другом месте подпустим «красного петушка».

— Зачем ходить? Куда ходить? Огонь не придет на Лешаки. Кругом старые гари — леса нет. Мало-мало можно отдыхать. Мясо кушать можно.

— Оно так, токмо сам-то нас ждет, как уговорились.

— Немножко будет ждать. Ничаво! Отдыхать надо.

— С мясом-то как будем? Может, взять лошадь в заповеднике да перевезти?

Крушинин поддержал:

— Разделаем вот да завернем в шкуру. Утре перевезем. Женщинам только шепни — моментом расхватят.

«Так вот кто жжет тайгу!»

Тайга горит чуть не каждый год. И люди уже к этому привыкли. Но такого пожарища давно не было. С самого тридцатого года, как помнят люди.

Надо поскорее уйти незамеченной.

Не дожидаясь, что будут делать дальше браконьеры, Агния поползла в сторону...

VII

...Тайга горела, горела, горела! Окрест на десятки километров все пылало, пылало, пылало. Даже небо по ночам дышало жаром.

Белую Елань кутала плотная мгла чадного дыма, будто кто стлал по земле невероятно огромную рваную шаль с длинными бахромами.

Ночами, если подняться на Татар-гору, видно было, как пламя танцевало на далеких таежных хребтах. А днем весь горизонт был укутан в непроницаемую сизую мглу. Вековые пихты и ели, разлапистые сосны по песчаным склонам рассох вспыхивали от комля до вершины красными столбами. Две-три секунды — и от заматерелого дерева оставался тощий огарышек, торчащий свиной щетинкой.

Страшен пожар в тайге!

Горели медведи, белки с пушистыми хвостами, проворные рыси, красавцы маралы с неокрепшими летними рогами и отяжелевшие матки. Никакая живность не могла спастись в пожаре леса. Там, где бушевало пламя,— лежало безжизненное черное поле с дымящимися огарышками деревьев.

Однажды утром на Белую Елань вылетело пяток маралов. Измученные, безразличные ко всему, звери шли серединой улицы, не обращая внимания на собачий переполох, сопровождавший их от крайней избы Михея Заболотного до дома Санюхи Вавилова. Как-то под вечер в улице появилась тяжелая медведица с двумя пестунами. Она вылетела из-за Малтата как очумелая, прокосолапила по улице, но, вовремя опомнившись, кинулась в проулок Авдотьи Головешихи и скрылась в зарослях чернолесья.

Где-то высоко в небе день и ночь ревели самолеты, кружась над огненным океаном. Самолеты пролетали над деревней, сбрасывали пакеты, указывая, в каких местах возникли новые очаги огня. И люди, от мала до велика, шли на тушение пожара, задыхаясь в смрадном, вонючем дыме, стелющемся низовьем, лезли в холодные воды рек и ключей и все шли и шли, не в состоянии подступить к огню.

Когда попробовали тушить встречным огнем, вышло совсем плохо. Встречный огонь понесло на промышленные массивы леса, куда повернул ветер.

Анфиса Семеновна голосила:

— Ой, тошно мне! Ой, тошнехонько! Сгорит Агния-то в этом пожарище. Сгорит! И малого сгубит, горемычная!..

— Не наводи паники. Поди, уж давно выбилась к геологам,— утешал Зырян.

Под вечер собрались тучи. Они ползли медленно, наливаясь синевою, будто им трудно было подступить к горящей тайге.

Аркадий Зырян, проснувшись ночью, услышал, как по крыше дробно забарабанил дождь. Выбежал на крылечко в одних подштанниках, поглядел на обложные тучи — и ну танцевать, шлепая по приступкам голыми пятками.

— Ат-та-та-та! Та-та! Ат-та-та! Еще прибавь! А ну, небесная канцелярия, выдай по моему наряду. Еще! Еще! Так ее, так ее, дуру пересохшую!..

И дождь, будто подчинясь Зыряну, припустил как из ведра. В доме проснулись ребята — Федюха и две дочери,

и даже Полюшка Агнии. Соскочила и Анфиса Семеновна. Как же можно было лежать в такой праздник, как явление дождя на испепеленную пожаром и зноем землю, на увядшую и заброшенную огородину, на сварившиеся хлеба на склонах отрогов Татар-горы? Теперь, может, и Агния с Андриюшкой скоро придут!

Вся семья Зыряна высыпала на крыльцо.

— Слава тебе господи, мать пресвятая богородица-заступница смилостивилась! Сроду не молилась и то помолюсь,— сказала Анфиса Семеновна, протягивая ладошки под дождевые капли.

— Ты же пророчила, что тучи разойдутся! Хэ! Пророк. Если сказано — дождь нужен, значит, не замедлит явиться. Потому — у Советской власти с небом нерушимый контракт заключен. Теперь жди. Не сегодня-завтра — Агния прибудет!

— Хошь бы скорее дал-то бог! Не радуйся допрежь времени. Заплясал, как маленький. А ну, иди обуйся!

— А ты не «нукай». Я не мерин. Если говорю, значит, имею достоверные сведения, а так и предчувствия... Агния не из таковских, чтобы в тайге пропасть!

— Фу, как небо-то заволокло! — вставила Полюшка, спросонья поеживаясь от дождевых капель.

— А ты не «фукай»! Этот дождик теперь для твоей матери и для всей живности слаще меду.

Дождь лил и лил. Пересохшая пыльная улица впитывала дождевую воду, собирала в канавы и гнала мутным говорливым потоком в пойму Малтата. Гроза шла сторонкой. Над Белой Еланью вспыхивали молнии. И после каждой вспышки молнии через несколько секунд урчал гром.

VIII

Глубокой ночью Агния с Андриюшкой подошли к Верхнему Кижарту, где работал со своим отрядом главный геолог приискового управления Марк Граник.

В низине, возле реки, в трех избушках-временках жили рабочие прииска. Со всех сторон откуда-то налетели собаки. Из первой избушки вышел мужик, пригляделся, спросил: кто едет и откуда?

— Агния Вавилова? Вот те и на! Живая. Думали, сгорела в пожарище,— удивился мужчина и подошел ближе.— Тебя же ищут наши геологи. Сам Двоглазов два дня кру-

тился на вертолете над тайгой, да разве что узришь в этом дыму!

— Ищут? — У Агнии дрожали ноги в коленях и во всем теле разлилось такое бессилие, что она еле стояла. — Он здесь, Двоглазов?

— Еще позавчера уехали все. Беда у них стряслась. Говорят, будто тайгу поджег кто-то из ваших — Демид Боровиков, который из плена заявился. Завербованный, должно...

У Агнии захватило дух.

— Демид Боровиков? — И сразу же усталость сменилась страхом. — Кто про него такое говорит?!

— Да сам Двоглазов сказывал. По радио вызвали его в Белую Елань.

Агния хотела крикнуть: «Неправда! Демид не поджигал тайгу». Но ничего не сказала. Оглянулась на Андриюшку: тот сидя спал в седле.

— Пойдем, Агния. Тут наш приисковый геолог, Марк Георгиевич. В избушке-то у него просторнее.

Фыркали лошади, лаяли собаки, и тайга казалась темной и густой: нырнешь — и с концом. Агния не помнит, как дошла до избушки, что еще говорил приискатель и как встретил ее Марк Граник. Все это пронеслось в тревожном, тяжелом полусне. Граник тоже подтвердил, что Демид Боровиков арестован как будто бы за поджог тайги и что Двоглазов срочно вызван на вертолете в Белую Елань.

— Что же это такое, Марк Георгиевич? Зачем Боровикову жечь тайгу? Чуть не каждый год и до него случались пожары!.. Я же видела, как браконьеры убили марала и собирались подпустить «красного петушка».

«Надо скорее возвращаться в Белую Елань...»

— Это же на дурака рассказ, чтоб Демид стал жечь тайгу! Браконьеры жгут.

— Может, оно и так. Но дело-то посложнее будет. Пчеловода кижартской пасеки Андрея Северьяновича нашли убитым. А Демиду взяли в двух километрах от пасеки в тот же день...

«Так вот оно что! Значит, Андрея Северьяныча убили! Потому он и не встретил ее с Андриюшкой, как обещал».

— Но какая же нужда Боровикову убивать пчеловода?

— Вот тут-то собака и зарыта.

— Боже мой, боже мой!

Агния закрыла лицо руками. Она слышала, как при-

плелся в избушку Андрюшка, упал и захрапел на нарах. Что-то еще говорил Граник, спрашивал — не отозвалась. Взяла тужурку, вышла на волю, присела возле старой сосны, глубоко вздохнула.

Предутренняя синяя марь начинала отбеливать тайгу. Сна не было.

Не помнит Агния, сколько так просидела. Час ли, два ли прошло.

Красноватый диск солнца выплыл над горизонтом.

Бывают минуты в жизни у человека глубокие, как колодец. Посмотришь в него — дна нету. Оглянешься — и не знаешь, год ли, десять ли прошло? А может, века пролетели?

Подошел Марк Граник.

— Так и не отдохнули, Агния Аркадьевна? Пospали бы...

— Ничего. Я не устала...

— Я только что говорил по рации с Двоглазовым. Он сейчас в Жулдете. Очень рад, что вы счастливо вышли из пекла. Там решили, что вас тоже захватил пожар. Никак не могли пробиться на то «смертное место». Кстати, что там за место, Агния Аркадьевна? Мираж, наверное? Двоглазов уверен, что там ничего существенного нет.

— Что вы, Марк Георгиевич! Там сплошная золотосная жила.

— Значит, там все-таки есть золото?

— И много! — ответила Агния и опять подумала о Демиде: «Кто же оговорил его? Неужели опять Голоवेशиха? Будь она проклята!..»

IX

А было так...

Над жулдетской пасекой сгустились вечерние тени. В синеве неба едва пробились робкие звезды. От реки дохнуло сыростью. На огромной поляне у подножия Лешачьих выводов рядками белеют ульи пчел. В мареве вечерней дымки они кажутся большой деревней, когда глядишь на них вот так, с высоты крыльца.

Андрей Северьянович смотрит на домики пчел, и что-то тяжелое, давящее подкатывает под сердце. Глазами бы не глядел!..

Мудрая, сложная жизнь у пчел в дни летнего взятка. Без усталости трудятся они с утра до вечера, умиротворенно жужжат, прошивая прозрачный воздух золотыми пулями.

Осматривают медовые запасы, очищают восковые ячейки для червления. Косяки трутней, лениво ползая по раминам, с нетерпением ждут, когда же настанет наконец и для них отрадный час! Поднявшись высоко в синее поднебесье, они будут оспаривать между собою первенство за брачный миг с маткой-молодкой. После чего самец вернется на землю только для того, чтобы вскоре умереть. А матка, радостно гудящая, найдет свой улей не для того, чтобы жить в нем на положении заневестившейся молодки, а чтобы сплотить вокруг себя молодых пчел, строиться с ними в новом жилье и уже никогда не покидать его — работать, работать, плодить деток! Невелик век матки. Всего каких-то три-четыре годика. Но вся ее работа радостная, разумная, беззлая и строгая!..

Случается, пчелы схватываются с пришлыми хищниками: осами, шмелями, мышами и даже медведями. Ударит пчелка и сама тут же погибает, но никогда не уклонится от защиты своего домика...

В сложной, трудолюбивой жизни пчел Андрей Северьянович читал как бы укор самому себе. Не так ли вот и он жил, трудился, работал, ночей недосыпал, никого не обижал. Была и у него жена, дети. А где теперь его жена Аграфена Тимофеевна? Царство ей небесное! Давно сгнили косточки и жены, и деток в суровом краю на высылке у Подкаменной Тунгуски. Потом связался с бандой, будь она проклята! А зачем, к чему?! Махал кривой саблей с червленной серебряной рукояткой! Сколько греха принял на душу?..

«Ох-хо-хо, люди, неразумные твари! Злобствуют, сбивают, пакостят... А вот она, жизнь-то, какая мудрая, добрая... Живи и радуйся, никому вреда не делай».

Нет, не так он жил. Что-то просмотрел, где-то сбился с тропки. Умрет вот теперь в тайге, умрет весь без остатка, и похоронить будет некому! Был сосуд, держалось в нем вино жизни, упал сосуд, разбился — и ничего не осталось. Нет у него ни детей, ни внуков — пустошь!

Не думать бы, не вспоминать, не чувствовать!..

Андрею Северьяновичу становится страшно. И он уходит в дом. Ложится на жесткую постель. На стене мирно тикают ходики, как единственное живое напоминание об уходящем времени

За окном темень. Мрак. Шуршащей птицей бьется в окно ветер. Пошумливают, лопочут зеленой гриной черемухи

под окном. Грустно Андрею Северьяновичу. В сенях надсадно забулькал индюк и ударил лапой.

«А индюк почему не спит? И ему тошно?»

Странное существо индюк. Живет, булькает, бьет лапой, а зачем?»

Индюк еще громче забил лапой. Андрей Северьянович поднялся, прислушался. Кругом тихо. И индюк успокоился. Андрей Северьянович всматривается во тьму и видит, именно видит, чьи-то страшные, зеленовато-лучистые глаза в углу у дверей. Округлые, покалывающие. Андрею Северьяновичу жутко. «Да ведь это Мурка!» — вспомнил он и успокоился.

И куда же потом денется Мурка? Индюки, куры?.. Андрей Северьянович всегда был добрым хозяином и любил живность.

На некоторое время снова наступает давящая тишина. Но вот индюк опять глухо прогремел, за ним загоготали, забулькали индюшки. Там же в сенях голосисто заорал на шестке перепуганный петух, и лай собаки в надворье...

«И что их сегодня леший давит?!» — Андрей Северьянович слетел с кровати, одним махом преодолел пространство до сеней.

«Надо бежать, бежать! Немедленно, сейчас же... К людям, к людям!.. Где же чемодан?!» Руки цепляются, тыкаются в темноте, никак не находя нужный предмет... Неистово осеняя грудь крестом, Андрей Северьянович вылетает на крыльцо в одних исподних подштанниках.

Лай собак все ближе и ближе. Вот они уже у крыльца...

— Эй, хозяин! Встречай гостей! — узнает Андрей Северьянович знакомый ненавистный голос.

К крыльцу подъехали трое верховых. Испуганные глаза Андрея Северьяновича выхватили из тьмы длинное, узколобое лицо Гавриила Ухоздвигова...

После смерти Андрея Северьяновича нашли в избушке документы на имя Василия Петровича Сивушникова, старинный пистолет «смит-вессон», а в тайнике потрепанного кожаного чемодана, каким-то чудом уцелевшего из всего имущества доброго хозяина, реликвии молодости: погоны прапорщика колчаковской армии, несколько фотокарточек и мешочек золота — поисковая добыча...

Не утихая, целую неделю лили обложные дожди. Вся деревня только и говорила о бандитах, поджегших тайгу, кляня их на чем белый свет стоит.

Слух, что змея, исподтишка жалит.

Как-то сразу полыхнуло по деревне, что Санюха Вавилов — соучастник поджога тайги. И пошло гулять по деревне: Вавиловы, Вавиловы!..

Вавиловы — работающий народ, дружный. Если один попадал в беду, выручал другой. Семьи Егора и Васюхи делились между собой всем: достатком, взаимной поддержкой, участием. Особенно дружны были братья Васюха и Егор. Если случалось, Егор Андреянович попадал в нужду, он пользовался кошельком своего среднего брата без лишних слов. «Ну, Васюха, я врезался. Выручай!» Егор Андреянович любил горькую. Если пил, то с дымком, по-прииска-тельски. В такие дни он ходил по Белой Елани в особенно приподнятом настроении — море по колено. Завернув в чайную Дома приискателя, угощал встречного и поперечного до тех пор, пока в кармане шуршали деньги, и во всю глотку орал любимую песню:

Бывало, вслащешь пашенку,
Лошадок распрягешь!..

Дальше песня не шла. Но на этом знаменитом двустипши она могла литься у Егора Андреяновича до тех пор, пока он носом не буравил землю.

Никто из Вавиловых, начиная от раскольника Пахома, угодившего на поселение в Сибирь, не терпел жизненных шор, стеснения. Им подавай живинку, бурные переживания, которые не одного из Вавиловых смыли с берегов жизни.

Братья Вавиловы от разных матерей. Михаила и Васюха — рождены Василисой, первой женой Андреяна Пахомовича. Санюха — Лукерьей Завьяловой. Все они унаследовали от отца одни черные глаза. В обличности Санюхи сказалась завьяловская порода: коренастость, сутулость, упрямость. У Санюхи рыжие усы и светло-русые вьющиеся волосы, на висках прошитые сединой. У трех старших братьев — головы белые. У Егора и Васюхи — пышные усы зеленоватой седины и густые метелки черных бровей, вроде как

горностаевы хвостики, приткнутые к надбровным дугам. У Михайлы — тонкие черты лица, резко прочерченный волевой рот, твердый подбородок с ямочкой, сухая жилистая шея. У Васюхи и Егора — тяжелые выпяченные подбородки.

Братья Вавиловы, не сговариваясь, собрались у Егора, потолковали, покряхтели и двинулись на другой конец предивинского большака к Санюхе.

Впереди шел старший брат — Михайла Андреянович — почетный железнодорожник, пенсионер. Он полстолетия водил скорые поезда по Сибирской магистрали. Такой же вислоусый, как и все Вавиловы, Михайла шел в новехонькой железнодорожной форме и начищенных штиблетах, торжественно переставляя трость с костяным набалдашником. В сорок седьмом году вернулся он со старухой доживать свой век в Белую Елань, поселившись в пятистенном доме.

По тому, как шел Михайла, как тыкал тростью в землю, как бы ставя вехи своего движения, как неподвижно прямо смотрел вперед своими глубоко посаженными глазами, как отвердело его гладко выбритое лицо, как приподняты были худущие плечи, можно было понять, что шестует он на некое судилище.

На почетительном расстоянии от Михайлы, на шаг друг от дружки, шли Васюха и Егор. Васюха вырядился в приискательские шаровары непомерной ширины, какие носил он еще в бытность прииска Ухоздвигова. Выпяченная челюсть, немирный взгляд семидесятилетнего приискателя говорили о той бурной жизни, которую прожил Васюха. Это был человек хваткий, тяжелый на руку. Старики Предивной помнят, как молодой Васюха, еще до переворота, захлестнул насмерть цыгана Дергунчика — за ноги и обзаплот, и как раскатал по бревнышку собственную баню, где согрешила с Дергунчиком его первая жена. Потом Васюха сжег свой дом, истребил всю животину и, забрав детей, сбежал из Предивной бог весть в какие края. Двадцать лет о нем не было ни слуху ни духу. Заявился он присмиривший и долго еще сторонился сельчан — жил на отшибе, хаживал в одиночку за золотом, покуда не женился во второй раз.

Егор Андреянович, как всегда простоголовый, в холщовой рубаше и в холщовых шароварах с болтающейся мотней по колено, ширококостный детина, не в пример старшим братьям, вышагивал по большаку с некоторой резвостью.

Он успел подмигнуть молодке Снежковой, подкинув большим пальцем левый ус, многозначительно кивнул Нюрке Шаровой, что встретилась им в улице, крикнул при встрече с Митей Дымковым, секретарем сельсовета, но когда поравнялся с Маремьяной Антоновной, то ноги его как-то сами собой круто забрали влево.

— Куда лыжи-то наострили, усачи? — спросила Маремьяна.

— Да вот братаны заженухались...

— Ишь как! Все резвишься, сивый.

— Кровь у меня такая, Маремьянушка. Как завьюжит по жилам, невтерпеж.

— Егор, что ты там? — позвал Васюха.

— К Санюхе, поди?

— К нему,— уронил Егор Андреянович, покидая Маремьяну.

Крестовый дом Санюхи — на окраине большака, возле дома Филимона Прокопьевича.

Братья молча прошли в калитку ограды. Навстречу вышла Настасья Ивановна, в розовой поотцветшей кофтенке и в полосатой подоткнутой юбке, простоволосая, смахивающая на монголку скуластым лицом и узкими прорезями глаз. Еще у крыльца она стала усиленно сморкаться, жалуясь на Санюху: запил-де мужик, сидит в горнице, что барсук, не подступись.

Стройный костлявый Михайла с неприязнью поглядел на толстую невестку и, не задерживаясь в надворье, прошел в глухие сенцы, где пахло творогом и кислыми овчинами, и, не разгибаясь, шагнул в избу, чистенькую, пахнущую застарелой краской, с большими окнами, занавешенными пестрыми шторами, с облезлыми лавками, столом с поистертой клеенкой, кутью, заставленной чугунами и ухватами. За ним вошли братья, каждый под потолок. Дверь в горницу была закрыта Настасья Ивановна кинулась вперед, но ее остановил Васюха

— Ты помешкай покуда, Настасья. Мы сами.

И гуськом двинулись в комнату.

Санюха сидел за круглым столом с поллитрой водки. Преломленные лучики солнца отражались от бутылки на стене. На столе в алюминиевой тарелке — огурцы, квашеная капуста, в черепушке — черная соль, полбуханки хлеба. Ни вилок, ни ложек, ни ножа.

Как только вошли братья, Санюха, конфузливо отвер-

нувшись от них, встал, торопливо запахнув голый живот разорванной по столбику нательной рубахой.

— Вот... справляю поминки,— сообщил, прямя спину.

— Овдовел или как? — поинтересовался Егор.

— Вроде. С душой расстаюсь. Апрделенно.

Михайла стоял посреди горницы, как размашисто кинутый восклицательный знак. Потом снял фуражку, пошарил глазами, куда повесить ее, заприметив гвоздь, подошел к стене, определил туда фуражку. Скосил глаза на прибитые маральи рога — убой нынешний, паскудничают Санька!

Вид горницы запустелый, нежилой. Кровать взлохмачена, половики затоптаны, стены обиты обоями сорокалетней давности, с орлами. Собственно, орлов не видно было. Местами торчали головы, распростерты крылья, перья, какие-то аляповатые цветы.

— Видать, ты нагрузился, Санька,— посочувствовал Васюха, любящий горькую не менее младшего брата.

— Я? Нинет. Тверез. Пью — не пьянею. Нутро горит. Льешь — не зальешь. Топишь — не утопишь. Вот оно как, значит.

— Так, так.— Михайло выдвинул к себе стул и осторожно, как присаживаются старики, опустился на жесткое сиденье. Тугой ошейник мундира, подпирающий под челюсти, прямил его длиннолицую, прямоносую голову с тонкими невавилонскими губами.— Не пьян, значит? Тогда умойся да смени рубаху.

— Рубаху? Найдем, Андреяныч. У меня, как у всякого теперешнего холхозника, есть две рубахи: которая нательная и которая верхняя. Настасья, дай верхнюю! Мундиров нам, братуха, не выдают. Пенсиев — также. Пробиваемся помаленьку. Ну да ты не из пришлых, знаешь.

— Вонючий ты мужик.

— Оно так, Андреяныч. Припахиваем. Ни денег, ни табаку, житуха — сопатому не в милость.

С тем и вышел из избы Долго умывался студеной водой, сменял рубаху и штаны, а когда вернулся, выглядел бодро.

К делу приступил старейший.

— Давайте начнем так: сядем криво, а говорить будем прямо. Живешь ты, Санюха, бирюком. Пробовал вытянуть тебя из бирючьего положения — не вышло. Настал черед разобраться во всех твоих делах и жизненных стежках. Как, что и почему.

Помолчал, покручивая щепоткой сахарно-белый ус, уперся глазами в лоб младшего.

— Говори на совесть: с кем ты встречался ноне в тайге?

Санюха беспокойно задвигался на стуле, повел глазами по окнам, стенам, включенной постели и, заметно бледнея, вывернул из сердца:

— Было дело.— И, пригнув ребром ладони рыжий ус, утверждающе кивнул головой.— Встречался. Мало ли люду по тайге ходит? — Его кудрявящиеся на темени волосы рассыпались и свисали на узкий лоб, изрезанный глубокими прошивами морщин.

— Ты не юли,— уронил Васюха.— Говори прямо — видел бандитов, которые тайгу жгут?

— Того не сказал.

— Допрежь подумай. А потом говорить будем. Али в молчанку сыграем? — спросил Михайла.

Санюха зыркнул по недопитой поллитре, облизнув губы, как бы поборов жажду, ответил:

— Понимаю! Стал быть, пришли допрос учинить? Кровинка точит?

— За язык не тянем. Пришли поговорить, как и водится, по родству,— пояснил Васюха, треугольником раздвинув ноги, обутые в яловые сапоги с отвисающими голенищами, как и у Егора Андреевича.— Ежели тонешь — может, помощь оказать придется. То, се, как водится. Люди-то говорят такое, не слушал бы. А как оно ни прикинь — костерят всех Вавиловых. А к чему? Может, навет? Отвести можно. Очень свободно.

Санюха привстал на стуле, потом снова сел и, помигивая, возразил:

— Скажу вам, братаны, так: мягкость в обращении не для меня. Сызмала привык к жестокому обхождению. Так и толковать будем. Оно хотя тайги не поджигал и умысла такого не имел, но с людом разным встречался на таежных тропах. Не единожды, а много раз. По-свойски скажу вам: ежелив у одного чешется — трое не царапаются. Один буду. Вот оно какие дела. Ежелив подозревают меня в чем, какнибуде отцарапаюсь. Без вас в ге-пе-у хаживал. В эн-ке-ведэ такоже. Теперь, может, в ге-бэ позовут.

— Не умничай, Сань, а скажи просто: кого видел в тайге, о чем толковал с ними и почему все держал в тайности? Знал, а молчал. Худо, паря, прямо скажу. Ежлив знал да

молчал, выходит, корень зеленый, узелок завязал с бандитами.

— Узлов не вязал,— отверг Санюха, не взглянув на Егора Андреяновича.— Ежлив был бы узел — не утаил бы. Поджилки крепкие. Трясучкой отродясь не хварывал. С кем виделся? С охотниками.

— Темнишь ты что-то, Санька.

— А чего мне темнить?

— Так кто же жег тайгу?

— Горела, стал быть.

— Бандюга жег!

— Про то не могу сказать. Не видел.

— Тут и видеть нечего! Ты должен был пойти к властям и обсказать...

— На доносах, Андреяныч, руки не набивал. Каждый идет своей дорогой. Я, стал быть, тоже своей иду. Поперек чужих дорог не хаживал. А я, Андреяныч, на тайге возрос. Документов охотник у охотника не спрашивает. Мое дело телячье. Пососал — и в куток.

— Вот тебе насосут, узнаешь,— буркнул Васюха.

— Все может быть, и насосут. У каждого свой норев.

— Запутался ты, Санюха,— посочувствовал Егор Андреянович.

Не верил Михайла, что Санюха говорит правду. Нет, тут что-то другое. Что-то он утаил.

XI

Если бы посторонний наблюдатель завернул в этот час в горницу Санюхи, он бы увидел картину столкновения разных характеров.

Четыре брата — четыре характера. Старейший, унаследовав практическую сметку, степенность от матери Василисы, смахивал на прокурора. Его вопросы, сдержанные, цепкие, с едучим сарказмом, заставляли обвиняемого беспокойно ерзать на стуле. Дородный Егор Андреянович, развалившись на стуле, что бурый медведь, хитроватый, явно сочувствующий Санюхе, отличался от старейшего покладистостью. Он действовал в семейном судилище по присказке: «Конь о четырех ногах — и тот спотыкается». Васюха, повидавший на своем веку многих, у кого жизнь шла через пятое на десятое, не оправдывал младшего брата, но и не обвинял. Придерживался нейтралитета. «Запутался Санька. Промышку требует», — думал Васюха.

— Значит, покрываешь бандитов? Врагам подыгрываешь! Советская власть тебе не по душе?

Этот вопрос Михайлы застал Санюху врасплох.

— Почему не по душе?

— Не по душе! Вижу,— отрезал тоном прокурора Михайла и, как-то сразу прижмурив глаза, машинально прижал сухую жилистую ладонь к сердцу.— Неспроста ты покрываешь банду. Но попомни мои слова: главарь не уйдет, поймаем. И вот тогда с тебя спросится. Тогда ты определишь, на чью ногу прихрамывал всю жизнь!.. Ежели бы оповестил вовремя, что за люди в тайге, не бывать бы пожару. А тебе, я вижу, Советская власть не нравится. На старое потянуло...

Санюха ухватился за поллитру, сжал ее пятерней, потом резко отсунул в сторону и, встав, рванул ворот рубахи так, что пуговики посыпались, как горох.

— Не пужай, Андреяныч! Не пужай! Двух смертей не бывать — одной не миновать. Стал быть, так. Не ндравится! Не по душе! В ту пору не нашивал одной рубахи, покуда не стлеет, не ел вот этот хлеб с черной солью, будь она проклята!.. — куражился пьяный Санюха. — Не знал ни запретов, ни укоротов. Вот оно, какие дела, Андреяныч. Я дуюсь, дуюсь, а толк где? При старом времени на прииске сидели трое: казначей, доверенный по приему золота да счетовод-писец. А ноне что? В Благодатном контора в два этажа, на Разлюлюевском контора в полверсты, в Белой Елани еще одна контора. А золота — кот наплакал. Это как? Порядок? На чьей шее эти служащие? Буде! Сыт! Не хочу!

«Вот так молчун,— отметил про себя Васюха.— Эх-ха-ха, пути-дороженьки! И в гражданку шел по жизни через пятое на десятое: то метнулся к белым, то к красным»...

Егор помалкивал. Жалел Санюху. Ровно кто от сердца отрезал кусок. Ну, запутался мужик, а ведь свой! До чертиков свой, окаянная душа!

Братья разошлись, как не сходились.

Санюха остался допивать самогонку. Егор Андреянович, пригнув голову, свернул в проулок и ушел к себе по заколице, безлюдьем. Васюха долго стоял на взлобке заброшенного извоза. Один Михайла возвращался к себе домой тем же размеренно-торжественным шагом, скупое кивая на приветствия прохожих. Васюха проводил старейшего долгим взглядом. Михайла тяжелее всех переживал жизнен-

ную драму Санюхи. Он шел, как заведенный механизм, чувствуя, что если чуть отпустить пружину, то тут же упадет и никогда уже не встанет. В глазах у него мутнело, в ухах стояло то знакомое шипенье, каким сопроvozжались сердечные спазмы. Сердце билось то быстро, то совсем переставало, замирая. Но он не прислушивался к своему сердцу, он думал, упорно, по-стариковски тяжеловато. Да, он знал, как трудно живется колхозникам после войны. Он видел черный хлеб из охвостьев, истощенных ребят, видел рваные одежонки на вдовах, кросна во многих избах, на которых бабы, как бывало в старину, ткали холсты,— много грудностей в жизни, но ведь их надо изживать, а не снюхиваться с бандитами! Потом он вспомнил трех своих сыновей, погибших в Отечественную войну, и сразу же в виски ударила кровь. Ему стало жарко, душно, хотелось присесть в затенье возле чьего-нибудь заплота, но он был человек гордый, негнувшийся старик. Идти до конца, как бы тяжело ему ни было! Так держать! Вот так, прямо, стучая тростью, одолевая противную дрожь в коленях. Он чувствовал, что на лице проступили мелкие капельки пота. Печет. Где-то над головою чирикают воробьи. Солнце играет на осколках битого стекла — лучистое, ровно от земли протянулись к глазам сверкающие ресницы. Может, это его последний полдень?.. Последние ресницы солнца? А что там дальше? Конец, всегда неприятный, нежеланный. От него не уйдешь. Жил долго, а — еще бы, еще бы!.. Если бы он мог сейчас подняться по железным ступенькам на свой паровоз СУ! Почувствовать руками тепло рычагов парового котла, посмотреть на манометр и, высунув голову в знакомое окошечко, освежить лицо встречным ветром. Он всегда ездил на большом клапане, на большой скорости. Пятьдесят лет! Водил поезда в гражданку, в Отечественную, бывал в катастрофах, но никогда не отчаивался. Паровоз был его домом. Там прошла его жизнь от масленщика до машиниста. Его знали, уважали за суровость. Он был мужественным машинистом, он был коммунистом с основания первого марксистского кружка в депо станции Красноярск. Как-то обошлось так, что его ни разу не арестовала охранка, не побывал он ни в тюрьме, ни на этапе. У других арест за арестом, а он все в стороне. Работал усердно, прилежно, нешумливо. Провокаторы не обращали на него внимания. «А! Этот! Пусть тянет, сивый. Не он главный!» Он и не лез в главные...

Отечественная война унесла у него трех сыновей, изничтожила под корень всю его кровь и силу. И вот теперь он доживал век свой со старухой в Белой Елани.

Едва-едва Михайла дотянул до малтатского мостика, как силы покинули его. Вдруг все стало багряно-пылающим, кто-то резко свистнул в ухо, так что ударило в затылок и подглазья. Ему показалось — нет, он это почувствовал каждым мускулом, что он на паровозе, что надо, надо перевести рычаг с большого клапана на малый, что надо это сделать сейчас же, сию минуту! Что путь впереди размыт дождями, а за ним, за машинистом, семь пассажирских вагонов!.. И он, с силою сжав костяной набалдашник, рванул его на себя и, уже ничего не чувствуя, упал навзничь у мостика. Фуражка его слетела с головы и укатилась с горки на речную отмель, где, стукнувшись о камень-голыш, перевернулась подкладкой вверх. Солнечный луч скользнул по черной сатиновой подкладке, заиграл на ромбике крытой лаком фабричной марки.

Антошка Вихров с Колькой Мызниковым сидели у мостика с удочками. И вдруг увидели — упал Михайла, будто кто его с ног сбил. Ребята кинулись к старику.

Суровое, побледневшее лицо Михайлы со старческими складками у рта казалось каменным. У Кольки не хватило духу тронуть старика за руку, в то время как спокойный Антошка Вихров, напрягая силенки, вытягивал костяную рукоятку трости из рук Михайлы, но это ему не удалось. Старик крепко держал трость.

— Он... помер!.. Ей-бо, помер, кажись!.. Как шел, так и помер. Ей-бо!.. Вот те крест! — И Антошка для пущей убедительности перекрестил лепешки веснушек на своем носу и щеках.

Но вот Михайла потянул левую ногу и тихо, как ребенок, простонал: жалобно, бессильно.

— Нет, не помер!.. Ей-бо, не помер!.. Вот те крест, не помер! — заверил Антошка краснея и, встав на колени, дотронулся ладонями до лба и щеки Михайлы. Щека и лоб были теплыми.— Воды, Колька! Омморок. Завсегда льют воду. У нас бабка Лукерья как упадет в омморок, льют воду, — пояснил Антошка, хотя Колька бежал уже к речке, где, вытряхнув из котелка пескарешек, зачерпнул воды.

Ключевая вода освежила Михайлу. Он медленно, с трудом открыл синеватые веки с мешками в подглазьях. Он еще не знал, где он: на паровозе ли, в своем ли доме, у Са-

нюхи ли,— и что с ним случилось. «Так держать. На малом клапане»,— вдруг пришло в голову, и он все вспомнил.

«Нет, не на малом, а на большом»,— возразил он себе.

Воротник жал шею, как стальным кольцом. Он попытался поднять правую руку — руки не было. Он ее не чувствовал. Хотел что-то сказать, но рот его приоткрылся углом. Вместо слов вырвались непонятные булькающие звуки.

«Это для меня последний звонок,— невесело отметил про себя старый машинист.— Третий звонок!.. И все-таки так держать, дружище. До конца!»

Михайлу парализовало. Через три дня его увезли в город в железнодорожную больницу, где он и закончил свой последний путь старого машиниста.

ЗАВЯЗЬ ОДИННАДЦАТАЯ

I

Жизнь, как и река, не стоит на одном месте. С утра проглянуло щедрое солнышко, и простоял первый погожий денечек. Пожухлая огородина зазеленела новыми побегами прямо на глазах, стали подниматься хлеба. Что ни день — то солнце. А к вечеру гроыхала гроза, освежая полуденный зной.

Анисья сидит у окна, смотрит, как скрещиваются белые молнии, прорезая насквозь лилово-черную тучу.

Молнии жгут небо, а просвету нет.

Дождь, дождь и гроза!..

Духота знойного дня сменяется освежающей прохладой.

Из избы через щель в филенчатой двери — тонюсенькая полоска света: отец не спит. Анисья слышит шаги Мамонта Петровича и недовольное бурчание. «Расщедрилась небесная канцелярия! Уж буде бы!»

Сверкнула молния. В горнице стало так светло, что Анисья зажмурилась. Ударил гром. И еще, и еще совсем близко, да такой силы, что стекла зазвенели. Маремьяна Антоновна перекрестилась. Мамонт Петрович громко выругался.

Анисья распахнула створку, будто хотела, чтобы гроза ворвалась в горницу. Маремьяна Антоновна завопила:

— Сдурела! Да ты что, угробить меня хочешь?!

Анисья закрыла створку. Снова блеснула молния, озарив чью-то фигуру в дождевике.

— Анисья! — звал чей-то голос.

— Кто? Кто там? — откликнулась Анисья, высунув простоволосую голову в окно.

— Это я, Гордеева, выдь на минуту.

Анисья долго искала платье. Ее красноватые, блестящие в зареве молнии волосы рассыпались по спине, по груди, мешали ей. Она их откинула за спину, замотала в узел.

Возле калитки встретила ее Груня в мокром, шумящем, как железо, дождевике, накинутом на голову. Прикрыв плечи Анисьи полою дождевика, склонив голову к самому уху, тихо прошептала:

— Демида везут в район. Арестованного. Только что приехали из тайги Семичастный с Гришей.

Холод прилил к сердцу Анисьи. Ноги сделались чужими, ватными. И она чуть не упала тут же на мокрую землю.

— Ну что ты, что ты! Беги, может, успеешь повидать его...

Анисья не могла вымолвить ни слова: зуб на зуб не попадал.

— Да постой же ты, чудачка! Куда? На, надень хоть мой дождевик! Мне тут близехонько...

Анисья кинулась напрямик к сельсовету. В улицах непролазная грязь, но она бежала, ничего не замечая.

А дождь шумел и шумел по лужам.

В узком, как щель, леспромхозовском проулке плескались лужи. Анисья пробиралась подле изгородей, цепляясь руками за частокол, не чувствуя, как хлещет вода за воротник, стекая по спине и прилипшему платью, и не догадавшись даже поднять капюшон. Она и сама не сумела бы объяснить, какая сила толкала ее сейчас вперед. Единственное, к чему она стремилась, — это поскорее увидеть его и, если можно, помочь.

II

А между тем на окраине деревни в доме Егорши Вавилова шел невиданный переполох: от Степана сообщение — едет.

Сам Егорша как угорелый метался по избе, зычно покрикивая на суетящуюся Аксинью Романовну. То и дело раздавался его голос: «Поторапливайся, слышь? Очнись, говорю. Мне к спеху: мешкать некогда!»

— Што еще тебе?

— Вынь подштанники.

— Подала же.

— Какие ты мне сунула? — кипятился Егорша, потрясая холщовыми подштанниками. — Вынь полотняные, жила! Поглядел на заплатанные в коленях штаны, поморщился.

— Достань оммундировку. Потому — момент такой. Должен я явиться перед глазами Степана при полном параде.

— Какую ишшо оммундировку?

— А в какой я приехал с войны.

— Осподи! — всплеснула сухими, костлявыми руками Анисья Романовна. — Сколь годов не одевана! Враз расползется. Говорил же: на смертный час чтоб сохранилась. Пусть лежит.

— Повремени со смертным часом! Мне всего семьдесят годов! Вынь да подай, чего требую. И рубаху красную, сатиновую — тоже.

— Ополоумел, осподи! Разве можно при царской оммундировке в таперешнее время ездить? Чо забрал в башку-то, а? То пропадает на своей пасеке месяцами, то заявится домой, и — вон какой!..

— Тебе грю, вынь и положь. Я за свою парадную выкладку кровь проливал, не водицу! Я, может, один на взвод мадьяр и австрияков тигром кидался, а што ты в таком деле смыслишь? Пусть он глянет, служивый, что и отец его не лыком шитый. Может, запоматовал за службу. Я еще погляжу, какой он у нас, майор Степан Егорович. В мою ли выпер кость?

Пришлось Аксинье Романовне достать из глубины сундука суконные штаны Егорши, изрядно побитые молью, китель, с прицепленными четырьмя Георгиями и четырьмя медалями. Все это, дорогое и памятное, навеяло на белоголового Егоршу долгое раздумье.

Он сидел на лавке, прямоплечий, крупный, в белых подштанниках, босоногий. Ссутулившись, глядел на кресты и медали, а видел — Пинские болота, окопы, атаки, контратаки, сражения с немцами и мадьярами в войну 1914 года... «А ну, поглядим, какой герой к нам припожалует. Не ударит ли он ишшо перед отцом в грязь лицом...»

Крякнув, он стал натягивать на себя брюки. Они оказались в самую пору. Китель жал в плечах, но Егорша не обратил на такую мелочь внимания: занят был крестами и медалями. Попросил у старухи суконку и, не снимая кителя,

надраивая медали, мурлыкал себе под нос старинную фронтальную песенку.

За торжественными сборами мужа Аксинья Романовна наблюдала с затаенной завистью: заупрямился старик, не хочет брать ее с собой на пристань — на встречу Степушки. Сам, говорит, один встречу — мужик мужика.

— Что про Агнею скажешь? — спросила, настороженно глянув на Егоршу.

— Про Агнею? — Егорша кинул суконку на лавку, еще раз скосил глаза на заблестевшие медали, ответил: — Подумать надо. Не обо всем сразу.

— У Агinei-то ноне заработок за полторы тысячи перевалил,— нечаянно вырвалось у Аксиньи Романовны.— Да и сама она как вроде картина писаная. И почет имеет при геологоразведке.

— Гитара двухструнная! — крикнул Егорша.— Тебе бы только тысячи, шипунья-надсада, а остальное — полное затмение!

— Про какое затмение разговор имеешь? — услышал он вдруг голос Мамонта Петровича, вошедшего в горницу. — Ни солнечного, ни лунного не предвидится. Заявляю авторитетно. Э? — протрубил вдруг Мамонт Петрович, округлив глаза на кресты и медали Егорши.— Экипаж подан, Андрейч. А ты — при царственном параде, э?

Чинно развалившись возле стола на крашенной охроу табуретке, Егорша развел обеими руками усы, вроде как потянул собственную голову за серебряные вожжи.

— Ну, как, Петрович, гожусь в новобранцы? — Егорша подмигнул угольно-черным глазом.

— Адмирал! — одобрительно поддакнул Головня.— Тебе бы при такой вывеске не мой экипаж подать надо, а подвести к воротам дреднот иль там подводную лодку. Было бы в самый раз. А так што телега на расхлябанном ходу. Наилучше же всего,— чеканил Головня, подкручивая свои порьсьи торчащие рыжие усики,— теперь тебе, Андреяныч, прямая дорога на Марс.

— Пошто на Марс?

Головня выдвинул ногу вперед, засунул руки в рваные карманы телогрейки, едва доходившей до пояса, пояснил:

— При таком наряде ты бы там, Егорша, пришелся в самый раз. Потому: планета отдаленная от солнца, холодища там несусветная, а значит, и ты сохранился бы там на

долгие века. А земная атмосфера — что! То дождь полощет, то солнце печет, то градом лупит — моментом сползет царский наряд.

Зашли в избу и братья Егорши — каждый чуть не под потолок; полюбовались. Васюха одобрил затею Егорши. Санюха промолчал.

В избе становилось темнее; сумерки сгущались, оседая в углах, на полу, потемнив всю справу бывшего полного георгиевского кавалера Егора Андреяновича. Скоро надо ехать встречать Степана.

— Может, еще будет председателем колхоза, — сказал Головня.

— Держи карман шире, председателем! — рявкнул Егорша. — С майоров да на председателей нашей Предивной-прорывной — в самый аккурат.

— А через что Предивная стала прорывной? — не унимался Головня. — Ну, там война была, трудности всякие, это понятно. Но ведь наш Лалетин — недомыслие природы. Окончательно пустил колхоз в распыл. Какой из Павлухи Лалетина председатель? Трем свиньям хвосты не скрутит, а ему — колхоз на шею! Он же весь в карманах своих дядьев.

— Чхать на них! — отмахнулся Егорша.

— Содрать бы с тебя кресты за такие слова, — крикнул рассерженный Головня. — На предбывшей вывеске не проживешь, Андреяныч! Двигать надо сегодняшний день. Вот оно как! А кто должен двигать? Какая сила? Степан, а так и другие фронтовики — с нами всеми вместе. Кем уходил Степан в армию? Трактористом. Кем возвернулся? Майором. А на чьи денежки поднялся он до майора? На народные! Так или не так? Так почему же мы должны теперь ему поблажку давать?

— Оно... Ну, вот что, — поднялся Егорша. — Пора ехать.

Закончив сборы, перекинув через руку брезентовый дождевик, осенив грудь размашистым крестом, Егорша в сопровождении сморкавшейся в передник жены, братьев и Мамонта Петровича Головни вышел из дому к воротам ограды. И каково же было его возмущение, когда по ту сторону открытых настежь ворот предстала перед ним исхудалая рыжая лошаденка в довольно потрепанной сбруе.

— Насмешка или как? — в груди Егорши забурлило, он шумно перевел дух. Кресты на кителе поднялись и, звякнув, опустились. — Кого ты запряг, а?

— Разуай глаза, увидишь: сама Венера!

— Да не она же это!

— Если бы тебя на соломе держать месяца три, ты бы, Андреяныч, богу душу отдал, а не то что нарядился бы вот так в предбывший мундир! А Венера — выжила. Да еще тебя повезет и обратно возвернет... с будущим председателем. Вот он пускай полжует, до чего довели коней.

— Срамота!

— А чего ты дивишься, кого срамишь, будто ты есть уполномоченный? Спомни: когда выбирали Лалетина Павла, разве мы не говорили мужикам, чтоб не голосовать? А вы, которых больше оказалось, вы — что? Не наше дело!

— Што ты мне суешь Лалетина? — разозлился Егор Андреянович. — Его же представители выдвигали.

— Можно отпихнуться, Егорша, можно! Не голосовать — и баста. Не подать ни одного голоса.

— Тебе, пожалуй, не подадут, — угрюмо заметил Егор Андреянович.

— Не страшай, Егорша! Не такие страхи Головня видывал, а все жив. Взгляд надо кидать шире. Суют негожего? Погодите! Мы его, мол, знаем вот с какой стороны. И под зад ему! Под зад! — Головня пнул ногою, словно дал под зад председателю, развалившему колхоз.

— Э! Балаболка! — плюнул Егор Андреянович. — Уж больно ты идейный. Только почему это тебя, идейного, в партии не восстановили?..

Мамонт Петрович потупился. Крыть-то нечем.

— Ну, ладно, Петрович, не сердчай. Я это не со зла, — помягчел Егорша. — Но у тебя же есть еще на конюшне Юпитер, два Марса. Пошто их не запряг?

— На Марсе Аркадий Зырян уехал в МТС! Второй Марс трехлеток, у трактористов в бригаде: не возьмешь.

— А Юпитер-то, Юпитер где?

— Под самим Павлухой Лалетиним. Есть в наличности Венера, ее и запряг. А если бы тебе подать чалого Астероида или там саврасого Плутона, — ты бы до поскотины не доехал. Определенно! Ты вот прикипел в тайге на пасеке, мастеришь у себя под навесом ульи, а нет того чтобы прийти на конюшню да кинуть взгляд, что и как.

Егорша покачал головой.

— Стыдобушка-то какая, господи! Отвозил я Степана на колхозных рысаках, в момент домчались до Минусинска. А встречать приеду на ком?

Внизу, под яром, бьются волны; теплоход недавно отчалил от берега. Черная толстущая коса угольного дыма стелется над протокой, резко выделяясь на зелени обширного острова.

Степан стоит на берегу пристани и смотрит вслед уходящему теплоходу.

Была Агния, была юность, трактор СТЗ, потом армия, Ленинградское военное училище, финский фронт, «линия Маннергейма», первое знакомство с дотами и дзотами, как бы перенесенными из учебных классов в натуру, потом мирная передышка и вдруг — гром Великой Отечественной войны. Отход на восток, Днепр — чудный при всякой погоде, битва за Смоленск, декабрьское победное сражение за Москву, минные осколки, госпиталь в Саратове, и снова фронт, и еще раз Днепр, хатка учительницы Агриппины Павловны и фронтовая любовь к дивчине, фельдшернице Миле Шумейке — тревожная, с опасностями, со смертью рядом.

Где теперь Шумейка?

Степан хмурит метелки черных бровей, задумчиво смотрит на лоно мутных вод, прислушивается к воркующим всплескам.

«Мальчонкой приходилось бывать здесь, отсюда и в армию меня провожали», — вспоминал Степан и как-то сразу увидел себя не теперешним Степаном, майором, демобилизованным в запас, а парнишкой Степкой, несмышленышем. Тогда он впервые увидел пароход в Минусинске. Стоял вот на этом же берегу со своим дружкой, Демкой Боровиковым, и они нюхали дым парохода. Именно нюхали.

Настойчиво, неумолимо минувшее, печальное и радостное воскресало в памяти Степана в картинах, лицах, днях, врезавшихся в память, подобно золотым паутинам в кварцевую породу.

С этого берега уехал Степан когда-то в армию с призванниками. И где-то вот здесь, помахивая Степану белым платочком, плакала навзрыд Агния, которую он и полюбить-то не успел. Степан тогда подумал, что Агния не прощается с ним, а отмахивается, как от окаянного. И все-таки в памяти остался белый, трепещущий на ветру далекий платочек!..

«Все перемелется — мука будет», — подумал Степан, теребя бровь.

На попутной машине добрался он до Каратуза, а дальше пошел пешком по пыльной дороге, четко, по-армейски, печатая шаг. Кое-где шоссе подновили, засыпали гравием. И все-таки каждый куст был знакомцем, каждая тропка — подружкой юности.

Пока шел до переправы на Амыле, взмок. Не велика тяжесть — чемодан да рюкзак за плечами, а выжимает испарину. День-то поднялся жаркий, знойный, с сизым маревом над тайгою.

В полувыгоревшей траве по обочине дороги густо стрекотали кузнечики. Пели на все лады неугомонные птицы, славя погожий день.

Паром стоял у берега, причаленный к желтому, свежеструганному припаромку.

«Старый-то, видно, сгнил. Либо снесло весенним паводком», — подумал Степан.

Из-за Амыла несется голос:

— По-о-дай-те па-аром!..

Вместо избушки паромщика Трофима, где когда-то давно Степан провел долгую ночь в ожидании попутчиков, ныне стоял пятистенный дом.

Густо пахло нефтью и бензином. Степану почему-то жаль стало избушки паромщика, жаль топольника, в тени которого он когда-то пролежал до вечера.

А из-за Амыла будоражит призывный голос:

— По-ода-а-айте па-а-ро-ом!

«Наверно, парень, вроде Андрюшки, — думает Степан. — Какой он теперь, Андрюшка?..»

— Ах, язви ее, настырная Голоवेशиха! Говорил же, не подам лодку, так нá тебе, кричит, окаянная душа! Будто подрядили меня в перевозчики.

К Степану подошел медлительный сутулый старик в брезентовой короткой тужурке, попыхивающий вонючей трубкой. Степан узнал бородача: это был тот самый Трофим, у которого он когда-то ночевал в избушке.

— Кажется, дед Трофим, а?

— Трофим не Ефим, а борода с ним. Откуда меня знаешь, товарищ майор?

— Я как-то ночевал у вас. Давно еще! Степан Вавилов.

— Э, брат! Из Белой Елани? Там у вас Вавиловых — хоть пруд пруди. В отпуск едешь или как? Вчистую? Ишь ты! Навосвался?

— Навоевался.

— Знать, в рубашке родился. Если всю войну протопал да живым-здоровым возвратился — не иначе как чья-то любовь сохранила. Правду говорю. Материна там аль жены, сына, дочери. Большущая любовь!.. А вот мне в ту войну, паря, не пофартило. — И, присаживаясь на причальный промасленный столб, смачно выругался.

— Как не пофартило? — поинтересовался Степан.

— А так. Баба моя свихнулась.

— Свихнулась?!

— Было дело. Получил я от нее такую писульку, что, значит, катись от меня, Трофим, а мне по ндраву пришелся Ефим. Так сразу на меня наплыло страшное отчаянье. В атаку — один супротив десятерых. Лежу в окопах, а Даша ворочается в самом сердце, спасу нет. «Дайте,— говорю,— ваше благородие, простор мне на самую большую отчаянность!» И давали. Вышел я к шестнадцатому году в полные Егории, в унтеры затесался. Хотели меня отправить в школу прапорщиков, да не пожелал. Успокоения в боях искал, а не находил. Хо-хо!..

Спытал я, паря, немцев в ту войну! Лупил их из трехлинейки за мое поживаешь. Ну, думаю, быть мне фетьфебелем, а там и в офицеры пролезу. Явлюсь к Даше при золотых погонах — ахнет бабенка и обомрет. Тут-то я и объявлю ей свой ндрав. Да не так получилось, как думалось. Под осень, на покров день, двинули наш сибирский полк в атаку. Поднялись мы из окопов, земля мокрая, грязища по самое пузо. Ну прем, дуемся, солдатики. И што ты думаешь? Покатились немцы. Кричат, постреливают, а вроде не в охоту. Ну а мы ждем: «Ур-р-р-я-я!» А што «уря», когда дело дошло к «караулу»? Как хватанули нас с флангов, мы не успели опомниться, как нам хвост зажали. Меня, паря, хоть бы камнем-голышком пришибло. Цел, невредим божий Никодим! Измолотили нас из трехдюймовок да загнали к ветряку — мельница такая. Тут голубчиков пересчитали, а меня, как полного Егорья при выкладке да еще унтера, особо прибрали к рукам и фуганули сквозняком в самую Германию. Так и везли со всеми Егориями при погонах. Такое, значит, было предписание германского начальства. Вот, глядите, мол, русский егорьевский кавалер. Живехонек, без царапин, а мы, мол, берем таких голыми руками, как навроде брюкву выдираем из гряд!» Сниму, бывало, кресты, конвойный вызовет меня из теплушки, двинет раз-

другой в скулу — живо оденешь. С тем и появился в Германию.

Продали меня в Лейпциге с аукциона немцу-арендатору, вроде наших кулаков бывших. Пузатый, глаза навывкат, пощупал меня за хребтовину, стукнул разок по шее для приблизительности: гожусь! Взял вместе с Егориями да и загнал на ферму коров доить, сволочуга! Хоть бы на какую другую работенку — землю ли пахать, за лошадьми ли смотреть, а он, нет тебе, на коров поставил! Да еще наказал, чтоб на дойку коров выходил я со всеми Егориями, при погонах и протчая. Я полез было в амбицию, но... уговорили. Насовали под микитки, утихомирился!.. Ох, клял же я в ту пору грешную Дашу!

Степан захохотал:

— Ну а Даша-то при чем тут?

— При своей статье,— ответил Трофим.— Если бы не свихнулась, разве бы я дался немцам живым в руки? Ни в жисть!

Под кустами черемух гомозились куры, зарываясь от зноя в прохладный чернозем. Победно драл горло красногрудый петух, озирая янтарным круглым глазом свое пернатое семейство. Терпко пахло ивняком, рыбьей чешуей от шаровар деда Трофима, сыростью мутных вод, а откуда-то со стороны несло гарью потухшего костра.

— По-о-ода-айте па-а-ро-ом!..

Трофим выругался, поцарапал в затылке, сдвинув старую кепчонку на лоб, меланхолично ответил:

— Ить говорил же, не подам! До чего же настырная баба! Душу вымотает, а настоит на своем.

Ну, паря, дою неделю, дою две, месяц, год, два года!.. И вот, поймей в виду, возлюбил коров, что людей. Понимал их с первого мыка, с вилюжины хвоста, по глазу. И коровы возлюбили меня. Но, сказать правду, не одни коровы. Подвернулась тут бабенка, пухленькая немочка. «Идем,— грит,— Иван,— нас всех там величали Иванами, хотя я и Трофим,— идем,— грит,— Иван, в пивную, повесели публику танцами. Видала, как ты плясал выпивши». И тут я не ударил в грязь лицом. Показал им, как трещит пол под русскими каблуками. Ни один немец не выдержал конкурса в танце. Хо-хо!..

И вот, что ты думаешь, втюрилась в меня та немочка, не оторвать. А я из сердца не мог вытравить Дашу. В мыслях-то и коров доил с ней, с неверной! Но, думаю, до коих

пор буду сохнуть по паскуднице? Взял да и сошелся с немкой. Живу год, два, а все нет-нет да и вспомню про Россию-матушку и особенно про нашу сторонушку сибирскую. Тянет родное гнездовище, хоть на том гнездовище ни соломины твоей нет.

Дошло до меня: в России-де произошел полный переворот и власть будто захватили разбойники. Режут и правого, и виноватого. Как послушаешь — голова вспухнет. И что ни день, то хлеще слухи. Потом и цифры пришли. Вырезали будто бы какие-то большевики тридцать миллионов и еще сколько-то тысяч сотнями. Как счетоводом подбито! Ну, думаю, зарезанным видеть себя никак не желаю. А поскольку я егорьевский кавалер, да еще унтер, как заявлюсь домой, тут мне и пропишут смертный час.

А немочка моя, Матильда Шпеер, что ни год, то шире. Развезло ее, холеру, в дверь не влазила. А я все думаю: «Ну куда ты гожа супротив моей Дашки?» Так и жили мы с ней, ни муж, ни жена, а ведьма да сатана.

В двадцать девятом году прочитал я в германских газетах, что большевики двинулись на кулаков. Под корень их выводят, аж у всей заграницы ум помутился. Ну, думаю, такое дело по мне! Не устоит, наверное, и мой Тужилин. Сынок его, Ефимка, Дашу-то мою подкузнил. Смыслишь?

Поехал я с Матильдой в Лейпциг на ярмарку, а отель махнул в Берлин, под рожество так. Стал искать Российское посольство полномочное. Как где ни спрошу, так на меня вот эдакие глаза вылупят, косоротятся. Настрополил я к тому времени на немецком, что не отличишь от немца. Разыскал посольство. Принял меня добрый человек. Выложил я ему всю подноготную, так, мол, и так. Спросил: не прикончат ли меня за Георгия, а так и за унтерство? «Напрасно,— говорит,— вы всяким слухам верите. В Советском Союзе,— grit,— вот какая картина происходит...» И нарисовал мне полную картину изничтожения кулачества как класса сплуататоров и что державой управляет всенародный ВЦИК.

Подал я заявление, чтоб восстановили меня в подданстве и разрешили бы возвратиться в свою Сибирь, сюда вот, откуда я происхожу родом...

Степан вздыхает, оглядывается вокруг, сучит в пальцах густую разросшуюся бровь и видит давнишнее — Демида

Боровикова, Белую Елань, отцовский дом, непутевую жену Агнию.

— Так вы и не встретились с Дашей?

— Што ты, Христос с тобой,— оживился дед Трофим.— А как же? Возвернулся я домой. Даша моя лежит в постели: иссохла вся. Краше в гроб кладут. В избе ребятишки: мальчонка и девчушка. Ефим-то, будь он проклят, взял ее измором, бедную солдатку. Без всякой там сердечности. Просто — по нутру пришлась, отчего не побаловать? И набаловал двойню! Смыслишь? Опосля откачнулся, и вся недолга. Как глянул я на нее — и, не поверишь, вроде сознание потерял. Тысячи смертей перевидал на позиции, миллие насмешек натерпелся, а завсегда был в памяти. А тут — не выдержали нервы иль сердце, лихоманка ее знает. Встала она, грешная, да так-то меня слезами окатила, будто я в море выкупался!

И ребятенки-то льнут ко мне, жмутся. Хилые да тощие. Прилипли ко мне, как коросты. Куда я, туда и они. Замыслил поставить их на ноги, в люди вывести, на удивленье всей деревне. Поглядел бы ты, паря, каким цветком Даша распустилась! Жили мы с ней опосля пятнадцать лет, как вроде семь дней пролетело. Да не уберег я ее, сердешную. Утонула она вон возле того острова. Кинулась в полноводье паром спасать, сорвало его водой, а лодку возьми да и переверни волной!.. С той поры, товарищ майор, и присох на этом берегу. Сын у меня вышел в инженеры, а дочь — бухгалтером. Тянут меня к себе, да куда там!.. Не сдвинусь с этого берега, с Дашиного. Здесь и упокой приму. Живет со мной сестра-старуха. Вот и коротаем дни-недели, эхма!..

Какая же неприятная ворохнулась дума у Степана. Он все еще не простил грех Агнии. И даже собственным сыном не интересовался. А ведь Андрейка — единственный сын...

— П-о-о-да-а-а-й-тее па-а-ром! Па-а-ром по-о-дай-те! — опять звенело над рекой. И голос такой обидчивый, умоляющий.

— А, штоб тебя! Ить как за душу тянет, холера. Вот норовистая Голоवेशиха! Придется плыть...

— Авдотья Елизаровна, что ли?

— Да нет. Дочка ейная, Анисья.

И Трофим пошел отвязывать паром.

— Ну, пойдем, майор, переправлю. Хоша и спешить-то тебе некуда. Скоро подъедут твои, встренут. Утре Пашка Лалетин проезжал, сказывал — сготавливаются.

Степан поднялся, разминая ноги, побрел по берегу.

Под ногами мялся ситец мягких трав и пестрых цветов. Птицы черными стрелами пронизывали воздух. Совсем близко, рукой подать, синела тайга.

— Ну, что ты базлаешь? Поговорить с человеком не даешь,— незлобиво кинул Трофим, когда Анисья прыгнула на покачнувшийся настил парома.— Погодить не могла, что ли? Не родить, поди-ка, собралась...

— Хуже, дядя Трофим!

— Вона! И лица штой-то на тебе нет?

Анисья отвернулась, не ответила.

— Это кто с тобою разговаривал? — спросила она, отходя с Трофимом в сторону.

— Степан Вавилов припожаловал. С Берлину. Майор при Золотой Звезде.

В это время к берегу подъехал припозднившийся Егор Андреянович, и отец с сыном начали тискать друг друга.

IV

Серединой улицы шел Мамонт Петрович Головня, в насквозь промокшей телогрейке, размахивая руками, разбрызгивая ботинками грязь, будто хотел всю ее вытоптать. Поравнявшись с домом Голоवेशихи, Мамонт Петрович решил обойти лужу.

— Надо полагать, на планете Марс, а так и на Венере, ежлив там обнаружены атмосферы, идут дожди,— бормотал Мамонт Петрович.— А могут и не быть. Вода — земное происхождение, не Марсово, не Венерово. По всей вероятности, на Марсе и прочих планетах влага оседает постепенно в виде земных рос.

Вопрос жизни отдаленных планет занимал Мамонта Петровича днем и ночью, в дождь и снег, в будни и в праздник. Каждый раз, когда он переживал какое-либо земное явление — грозу ли, дождь ли — он прежде всего ставил перед собой вопрос: встречается ли подобное явление на других планетах? Так ли, как на Земле, или в каком-то особенном виде? Например, мороз. Головня вычитал, что на Марсе температура значительно холоднее, чем на Земле, а следовательно, дополнял Головня, тамошние жители от рождения в шубах, как медведи. Опять-таки Венера, тут все наоборот. Если там климат жаркий и влажный, то и

люди особенные — крылатые, чтобы в небо взлетать и там проветриваться.

Как видите, размышления Мамонта Петровича были весьма важные, когда он взялся рукою за столб Головешихиной калитки. Повернув голову, зоркоглазый Головня увидел, как по двору Головешихи, в тот момент, когда сверкнула молния, крался какой-то человек. Вслед за вспышкой молнии припустил дождь, и наступил плотный мрак, так что не только в ограде Головешихи, но и у себя под носом Мамонт Петрович ничего уже не видел. Но он был человек и, как всякий земной житель, беспокоился не только о своем собственном благополучии.

Насторожив ухо, устремив взгляд через калитку, благо был ростом с колокольню, Головня отлично услышал, как под чьими-то ногами чавкала грязь. И — чирк! Молния! Слепительно белая, но не столь могущественная, чтобы ослепить Головню. И вот тут-то он увидел человека в дождевике с башлыком на голове. Он крался... Куда бы вы думали? К погребу Головешихи!

Ударила молния чуть не в макушку Головни. Но он не дрогнул и глазом не моргнул. Подойдя к завалинке Головешихи, постучал в ее окошко.

— Кто там? — откликнулся голос из избы.

Мамонт Петрович прильнул к окну и встретился с носом Авдотьи Елизаровны, расплывшимся по стеклу с другой стороны рамы.

— Это я, Авдотья.

— Кто ты?

— Головня.

За окном молчание. На секунду. Нос Головешихи пополз по стеклу, как толстая резинка.

— Авдотья, Авдотья! — позвал Головня, оглядываясь на мокрую тьму. За шиворот струился толстый ручей с крыши, холодил ложбину тощей спины.

— Кто, кто там? Кто? — торопила Головешиха переменявшимся голосом.

— Это я, Головня, говорю.

— А! Перепугал меня, леший, — голос Головешихи стал значительно мягче.

— Дуня! — позвал Головня, взбираясь коленями на завалинку и понижая голос до шепота. — Кажись, к тебе гости! В погреб лезут! Воры!

— Да что ты?! Боже мой! — вскрикнула Головешиха.

Загремела щеколда. Звякнул крючок на двери.— А ну, пойдём, поглядим.

Головня помешкал секунду — идти не шуточное дело. Ночь, дождина, темень, чего доброго, негодяй стукнет дубинкой в лоб, ну и протянешь ноги, но храбро двинулся к погребу. Замок на месте. Вокруг никого. Пришлось спросить, есть ли что в погребе Голоवेशихи. Оказывается, погреб пустой.

Но долго еще Головня ломал себе голову, видел ли он в самом деле человека в ограде или ему показалось? И если видел, то кто из земляков занимается паскудным ремеслом — ночными похождениями? А может, к Голоवेशихе крался очередной полюбовник? Но — кто же?

Между тем, как только Головня ушел, в сенную дверь Авдотьи Елизаровны раздался знакомый для хозяйки стук. На этот раз Голоवेशиха не заставила себя долго ждать. Проворно выскочила в сени, тихо окликнула:

— Ты, Миша?

— Да, да!

Лязгнули засовы, один и другой, ржаво пискнул крючок, словно скобленул по сердцу Авдотьи Елизаровны, и вот в приоткрытую дверь ввалился в шумящем дождевике Михаил Павлович, охотник за маралами.

— Перемок, поди?

— Изрядно,— хрипло ответил охотник.— Ну и льет дождина! Выдалась же погодушка, будь она проклята.

— Зато целый месяц стояла несносная жарница,— проговорила Авдотья Елизаровна, закрывая дверь на засовы и на толстый крючок.— Если бы еще погодые продержалось с месяц, наша тайга выгорела бы до леспромхоза. Сколько тут возни поднялось из-за пожара, если бы ты знал! Самолеты-то видел над тайгой?

— Насмотрелся.

— Если еще раз такого «петушка» запустить, леспромхозы можно будет переселять в степную местность.

— Туда им и дорога!

Вошли в темную избу. Гость сбросил с себя мокрый дождевик.

— Вздуть огня?

— Зачем? И без огня видим друг друга.

— Я слышала, ты прихворнул?

— Скрутил ревматизм. Еле доплелся. Теперь мне надо бы с недельку отлежаться, иначе я не дотяну до города.

Как видно, с маралами придется расстаться. Кто тут поднял разговор насчет Альфы?

— Да кто же? Агния. Как приехала из тайги, так и надела на меня: «Где Альфа? Кто ее увел?» Ну я и передала через Мургашку, чтоб ты ее убрал с глаз, Альфу. Разговору-то про черную собаку пронеслись по всей деревне.

— Ну что ж. Пусть ищут черную собаку.

— Убил? — вздохнула Авдотья Елизаровна. — До чего ж смышленная собака была, как человек! И на зверя, и возле дома — другой такой не сыщешь. Как она тогда кинулась на волков!.. Тут как-то подослал ко мне Демид Матвея Вавилова, своего дружка, чтобы я продала ему Альфу. Ну я и сказала, что собаку кто-то увел со двора. Не дай бог, если бы ее сейчас увидели в надворье!

Авдотья Елизаровна перешла в горенку и зажгла там свечку: собрала на стол. Полюбовника что-то морозило, и он с удовольствием осушил стакан водки. Заговорили о новостях деревни.

Авдотья Елизаровна сообщила, что Демида Боровикова арестовали. Слух прошел, будто бы Демид с Матвеем Вавиловым и Аркашкой Воробьевым подожгли тайгу.

— Великолечно, Дуня. Все идет как следует. Главное сейчас — навести на ложный след. Выиграть время, — отозвался гость, энергично потирая руки. От выпитого стакана водки он заметно повеселел, оживился. — Так и должно быть. Это еще только начало. Скоро их всей компанией загребут.

Авдотья Елизаровна охотно поддерживала своего испытанного дружка. И в самом деле, давно настало время столкнуть Боровикова в яму. Из плена заявился. И нос еще задирает. За Анисьей вот, говорят, приударивает. Самое время на него все свалить.

Они разговаривали полупшепотом за круглым столиком, придвинутым к дивану, на котором сидели тесно друг к другу. Между ними нет секретов. Не первый год они вот так сходились, единые в своих делах и желаниях!

V

Над Татар-горою курилось марево. Пели комары, ровно сверлили невидимые дырочки в воздухе. Комолая корова махала хвостом, как маятником. Красный петух, натаптывая землю на одном месте, подзывал растрепанных куриц к обнаруженному в мусоре ячменному зерну.

На высоком крыльце дома Егора Андреяновича в ряд, тесно друг к другу, сидели предивинские старики.

На середине ограды чернели рядками расставленные ульи, где под присмотром сторожевых пчелок отдыхали великие труженицы. Над крышей вавиловского дома курился ароматный дымок: Аксинья Романовна пекла пироги с таймениной. Вечер улов был богатый. Старики выбродили Малтат вдоль и поперек, перетаскивая лодку на себе с отмели на отмель. Добыли пудов девять рыбы — тайменей, ленков, хариузишек, а завтра, в воскресенье, приглашая друг друга на пирог, разопьют медовуху. Тем паче — у Егора Андреяновича сын приехал.

Хлопнула калитка. К крыльцу подбежала соседская молодка, Манька Афоничева, с кудряшками на висках, большеротая, в пестрой юбчонке.

— Слышали новость? — спросила она, еле переводя дух, переступая с ноги на ногу. — Демида Боровикова арестовали. Сказывают: это он поджег тайгу и пчеловода на кижартской пасеке убил.

— Не врешь?

— Сичас в сельсовет прискакал участковый Гриша. Коня так взмылил, что ажник... Ух!

Старики сразу задвигались, заговорили.

— Вот тебе и Демид Филимонович!

— Давай, валяй все на Демида, — кинул Зырян, выпустив струйку едучего дыма из трубки. — Тайга горит — Демид, пчеловода убили — Демид. А хватит ли у него рук и ног, чтобы совершить подобное? Есть ли доказательства, что это работа Демида? Оно с первого взгляда кажется, что Демида как бы обошла судьба: крутанула сверх всякой возможности. А с другой стороны — мужик он прямого характера.

С Зыряном все согласились. Нельзя же, в самом деле, все таежные беды валить без всяких доказательств на Демида.

Санюха Вавилов поднялся, плюнул и, никому ничего не сказав, ушел. Настороженный взгляд среднего брата Васюхи пощупал его сутулую спину.

— Чо с Санькой? — спросил столетний отец Андреян Пахомович.

— Вроде Настасью вспомнил, — кинул Егор Андреянович.

Головешиха всегда попевала на горячие блины. То ли у нее нюх был так устроен, то ли природа одарила ее особенным слухом, но она никогда не опаздывала. Как где проглянет новинка — явится ли кто из района с важными делами, прогремит ли где семейная драма, излупит ли мужик бабу или баба мужика — все ведомо Головешихе по первоисточникам.

Не успел майор Семичастный вынуть ногу из стремени, а участковый Гриша осмотреть левое копыто мерина, на которое он припадал всю дорогу, как Головешиха была уже тут как тут. Успела вовремя. И еще издали, не доходя до конторы колхоза, она просияла приветливой улыбкой, а подойдя, поздоровалась с Семичастным.

— Засекся мерин-то? — обратилась она к участковому. — Если засекся — дай погляжу. В лошадях толк имею. — И, смело подойдя к лошади, оглаживая вислый зад ладонью, взялась за ногу. — Ногу, Карька! Ногу! — и конь покорно повиновался, дав Головешихе ногу. — Нет, не засекся, а хуже. Мокрость у него по венчику копыта. А подкова избилась.

Маленький Семичастный с бледным сухим лицом и горбатым носом, разминая ноги, сказал, что Авдотья Елизаровна, как видно, мастерица на все руки. Она ли не угощала майора в чайной свежими ватрушками из отбивной муки, пышными шаньгами, пельменями в пахучем бульоне? Не только майор Семичастный, но и многие приезжающие из района, не раз угощаемые Головешихой, нараспев хвалили ее, как совершенно необыкновенную женщину, хотя и знали, что она «с душком».

Вот почему, покуда Семичастный разговаривал с Головешихой, никто не вышел на крыльцо дома правления колхоза, хотя в конторе в этот час сидело немало мужиков. И Забелкин, и Выужников, и Павел Лалетин — предколхоза, и бухгалтер колхоза Игнат Вихров-Сухорукий, и оба брата Черновы — Митюха и Антон. Мужики смотрели в окно, видели, как Головешиха, отойдя с майором в сторону, о чем-то оживленно разговаривала.

— Сейчас Головешиха просветит начальника...

— А потом котлетками попотчует.

— Ну и житуха у ней! Как сыр в масле катается!

— Кому быть повешенному, тот до самой веревки

катается как сыр в масле,— сказал Вихров-Сухорукий.
— Это ты правильно сказал. Токмо не всегда сбывается насчет повешенья. Другая стерва до смерти катается в масле, и хоть бы хны!

— Всякое бывает,— поддакнул Павел Лалетин.

А разговор между майором Семичастным и Головешихой был не из тех, что говорят во весь голос.

— Вот он где, подлюга, выродок прятался! — скрипнула Головешиха, скроив мину ненависти.— Дайте мне его. Дайте. Я из него по жиле всю жизнь вытяну! За всю тайгу, за все миллионы кубов леса!..

— Потише, Авдотья Елизаровна!

— Кипит! Внутри все кипит!.. Как она, голубушка, горела!..

По улице шли босоногие ребяташки, остановились, сгрудились в кучу, как табунок жеребят-стригунков, посмотрели на майора Семичастного, а потом на Головешиху и, завернув в проулок, закричали в разноголосье:

Головня горит, воняет,
Головней свиней гоняют,
Головня, Головня,
Головешиха свинья!..

Майору стало неудобно, что рядом с ним идет эта Головешиха, и он, поспешно смяв начатую беседу, скупно отмахнувшись от участия Головешихи, сказал, что ужинать зайдет в чайную, и пошел в контору колхоза.

VII

А на Санюху Вавилова снова напала хандра. Черной лапой сдавила глотку — не продыхнуть. Как узнал, что Демида арестовали, места себе не находил. Тыкался по надворью из угла в угол, а все без толку. Принялся было доклепывать кадку под солонину Настасье — обруч лопнул, пнул ее ногой, развалил совсем. Полез на крышу, хотел зашить дыру в сенцах — давно протекают, и тут беда: угодил молотком по большому пальцу. В сердцах, что все из рук валится, бросил молоток с крыши и полез в погреб за самогонкой.

Пил всю ночь, а чуть свет заявил Настасье Ивановне:

— Теперь, Настя, простимся, стал быть. Честь по комедии.

— Куда же ты собрался? — испугалась Настасья Ивановна.

— К властям потопаю. С повинной. Статья такая подошла. Уф, как запетлялся, якри ее, а!

— Да ты чо, ополоумел или как?! Это братаны все твои тебя с ума сводят. Мало ли чо они не наговорят! Собака лает — ветер носит. Ежлив тайги не поджигал, бандитов не укрывал — в чем же твоя вина? Образуемся, говорю!

Но Санюха уже вполне образумился.

— Стал быть, про то и говорю, что своим умом пришел в полную чувствительность. Не объявил гада одного, теперь невинный человек должен за это страдать, вот оно какие дела!.. Им что! А на мой шиворот давит. Михайла был прав.

И больше Санюха ничего не сказал. Ушел с повинною.

Шила в мешке не утаишь. Обязательно наружу вылезет. В деревне все на виду. Ни одно событие не укроется от зорких глаз досужих сплетниц, пока не закружится от дома к дому стрижиными петлями.

Погнула Агния свою гордую голову, когда узнала, что Демид открыто схлестнулся с Анисьей. Везде их видели вместе. И сама Анисья будто улетела в Каратуз. Ишь, заступница какая нашлась!.. Почему Анисья, а не она, Агния?

Обидно и горько до слез Агнии! Не она ли ждала его? Сколько слез под тополем вылила?! Несчастливая она, несчастливая!.. И Польша... Как сдурела опять. Совсем выпряглась, ничего по дому делать не хочет. Днюет и ночует у Боровиковых ворот. Анфиса Семеновна согрешила с нею, никакого сладу!

Ну, нет! Этому не бывать! Она еще покажет Демиду Филимоновичу! Он еще узнает, какая бывает Агния!..

Прямая, полногрудая, в нарядном платье, простоволосая, пышущая злобой, она летела по улице, ничего не видя перед собой. Красные круги расплывались у нее перед глазами. Ну будто боск в яре! Доколе везти этот воз?! А не лучше ли разметать все в пыль и прах, раскопытить в порошок! К чертовой матери такую жизнь, не давшую ей счастья!..

Поравнявшись с домом Боровиковых, еще от ворот она кинула, как булыжником, что-то делающей на крыльце Марии Филимоновне:

— Проходимцы!

Марию так и подбросило, будто под ней взорвалась бом-

ба. На голову выше полнеющей Агнии, она молча уставилась на нее непонимающими глазами.

— Агния! Ты что?..

— Не Агния я тебе, слышишь? Никто! И сейчас же, сию минуту подавай мне мою Польку! Чтоб ноги ее с этого часу в вашем доме не было! Слышишь, Маруська! Проходимцы несчастные!.. Ишь, чего удумали! Отобрать у меня мою Полюшку!..

— Тю! Сдурела. Да ее и не было сегодня у нас.

— Я вам покажу еще, как измываться над Агнией! Не выйдет! И откуда он свалился в деревню? Лучше бы подох там, в Германии!

— Агния! Опомнись! И не стыдно тебе? Давай поговорим по-хорошему...

— По-хорошему? С вами по-хорошему?! — ноздри тонкого носа Агнии раздулись.— Пусть теперь с ним прокурор говорит по-хорошему. Или вот доченька Голоवेशихи... Ишь чего задумали! Обмануть меня! Отобрать у меня дочь! Какие у него особенные на то достоинства? Может, те, что там, на фронте, когда другие кровь проливали, он показал спину со страху?!

— Ополоумела баба!

— А, не нравится?..

Агния еще что-то кричала сумбурное, торопливое, не обращая внимания на собирающийся народ. Единственное, чего она хотела, так это навсегда оторвать от Демида Полюшку, чтоб он к ней и пальцем не прикасался. Выкинуть Демида из памяти, как горькую полынь-траву.

— Смотрите, разошлась как холодный самовар! — вдруг раздался голос подошедшей Груни Гордеевой. Она гнала по дороге телят на водопой и не могла удержаться, чтобы не узнать, в чем дело. Рука Груни, как гиря, легла на плечо, а карие, с черными бисеринками возле зрачков глаза уставились в пылающее лицо Агнии, насмешливые, задорные.— Что ты разоряешься здесь? Кто он тебе, Демид Боровиков? Сват, брат, кум или муж про запас?..

— Два мужа сразу припожаловали. Вот она и бесится — не знает, которого выбрать,— раздался чей-то голос.

— Дура ты, дура! Как я вижу,— сказала Груня Гордеева.— А еще в техникуме училась.

От такой отповеди у Агнии перехватило дух. Не помня себя, она выбежала из калитки Боровиковых и, придя домой, заперлась в горницу, упала на подушки, разрыдалась.

— Ну, уймись ты, уймись! — гладила ее по вздрагивающим плечам Анфиса Семеновна. — Полюшка давно дома. И не у Боровиковых она была вовсе, а в школе. Учительше помогала.

А в этот момент кто-то вошел в избу. Анфиса Семеновна выглянула в филечатую дверь и, заслонив собою Агнию, растерянно проговорила:

— Степан Егорович?

Агнию будто кто толкнул в грудь.

Полюшка, подняв голову, вздернув круто вычерченные бровки, уставилась на широкоплечего человека в кителе, ростом чуть не под матицу полатей, в фуражке с карнизиком козырька и черным околышком. Она сразу узнала Степана Егоровича и застеснялась. Анфиса Семеновна захлопотала по избе, тыкаясь то в один, то в другой угол, подала стул Степану, пригласила сесть, но он почему-то не сел, а сняв фуражку, запустив растопыренные пальцы в смолисто-черную заросль волос, провел ладонью со лба до затылка и все смотрел на Полюшку. Его верхняя губа неприятно подергивалась.

— Полюшка? Какая же ты большая! Невеста прямо.

Всматриваясь в Полюшку, Степан хотел увидеть в ней Агнию, хоть какую-нибудь отметину — губы, нос, волосы. В Полюшке все было особенное, не от Агнии, а от другого, и это другое — было чужим, враждебным.

Полюшка потупила голову и поспешно вышла из избы в сени. Степан вздохнул и выпрямился. Быстрым взглядом перебегая с предмета на предмет — по шторинам, столу, никелированному самовару с чайником на конфорке, по полотенцам на столбике русской печки, по кухонному столику с кринками, чугуном, алюминиевыми кастрюлями, по ухватам, уткнувшимся в прожженный пол кути, — он словно что-то искал, усилием воли подавляя тревогу нарастающего чувства встречи с Агнией.

Он знал, что Агния здесь, рядом, в горнице, за приоткрытой дверью. Он ощущал это горячей кожей лица, потеющими ладонями рук. Он знал, что и она там, в горнице, стоит, наверное, сама не своя, не зная, как они взглянут друг на друга.

...Минута казалась часом. Ему стало жарко. Кровь жгла уши, подглазья, но он взял себя усилием воли в руки. Агния!..

Сейчас он увидит ее всю в рамине дверей — высокую,

с чуть пригнутой черной головой, прижатыми ладонями к груди, в бордовом платье. Увидит ее смугловатую кожу, мягкий вздрагивающий подбородок, прямой нос с раздувающимися ноздрями, словно ей не хватало воздуха, раскрытый рот со льдинками верхних широких зубов и глаза — тревожные, немигающие, с накипающей слезой. Воздух в небе стал горячим, воротник гимнастерки жал шею.

Клетчатая бумазейная спина Анфисы Семеновны на миг заслонила Агнию, потом закрылась филенчатая дверь, и они предстали друг перед другом, мужчина и женщина, законные супруги, в сущности, до сих пор незнакомые друг другу...

Секунду они молча смотрели в глаза один другому. Ее щека и лоб, подрумяненные багрянцем солнцезаката, были красными, будто по ним кто мазнул кровью. Какая-то страшная сила тянула Степана к Агнии. Он подался вперед, хотя ноги его, одеревенев, не сдвинулись с места. Потом он машинально провел широкой ладонью по носу, губам, подбородку. Она что-то хотела сказать, но, безнадежно махнув рукой, захватив зубами прядь скатившихся волос, вдруг не то засмеялась, не то заплакала, вздрагивая плечами и пригнув голову.

— Вот пришел взглянуть на Андрюшку... Агнюша!.. Чтo ты!.. — пробормотал Степан и, широко шагнув к ней, обхватив ее всю за плечи, прильнул щекою к ее шевелящимся от всхлипывания лопаткам...

VIII

...Как нельзя в гибком прутике угадать всю величавую красоту будущего дерева с его особенным расположением ветвей, кроны, мощности ствола, так трудно предсказать будущность ребенка, будь то девочка или мальчик.

Степан знал Агнию, но не ту, что встретил сейчас, а семнадцатилетнюю девчонку. Та была тихая и обидчивая.

Та Агния, с ее кротким характером, готовая услужить всем, без опыта жизни, боялась людей. Тогда и сам Степан чудной был парень. Он, как пузырь, надутый теплым воздухом, стремился куда-то ввысь, в беспредельное и неведомое, лишь бы лететь. Сила молодости распирала его. Тогда между ними, юными молодоженами, неумелыми, неловкими и грубыми друг с другом, ничего не было общего, кроме физической близости, которая не роднила их, а расталкивала

в разные стороны. И он невзлюбил Агнушу, хоть сам, без воли отца и матери, ввел ее в дом. Кроткая девушка с карими глазами и ямочкой на подбородке, с такими красиво вычерченными черными бровями, прильнула к нему, что стебель повилики к ядренному колосу, и он, Степан, почувствовав в себе власть мужчины, привел ее к своим из озорства. «Вот какой я — что хочу, то и делаю! Я — сила. А что она? Стебелек!»

И вот — другая Агния. Зрелая женщина, много пережившая лиха и радостей, мать Андриюшки и Полюшки. От прежней Агнии осталась ямочка на подбородке, да и та едва заметна. Нет Агнии с ее испуганными глазами и вздрагивающими веками, а есть женщина, гордая, с приподнятой головой, сильная и женственная. Та ходила, пряча глаза в землю, эта — забавно помигивала, влекла к себе.

О чем они говорят, милые незнакомцы? О мелочах, тут же забываемых, а в сущности, они говорили о самом главном — они знакомились, ровно шли навстречу лесной хмарью. Подавали один другому голос и так сближались.

И он для нее был не тот. Совсем не тот!

IX

Поздним вечером Агния шла со Степаном к Васюхе Вавилу. В бревенчатых домах краснели керосиновые огни. Где-то за Амылом столбом поднимался черный дым. Степан шел размеренным шагом рядом, Агнию вдруг охватил озноб. Сейчас же, сейчас она должна все выяснить. Надо удержаться, уцепиться за потерянное счастье...

— Степа!.. — решительно сказала она. — Мы муж и жена — или как?

Степан зябко поежился.

— Тогда дай я тебя поцелую. Не так! Не так! — И, властно обвив руками столб Степановой шеи, притянула его к себе. — Вот... так... — И, ослабнув от напряжения, уронила голову на грудь Степана.

Прошли молча шагов десять по узкому переулку. Степан хотел взять ее под руку, но она оттолкнула его ладонь, почувствовав, что между ними как будто идет кто-то третий.

Вавилу несколько дней справляли встречу Степана. Ходили компаниями из дома в дом. Сейчас они шествовали на окраину стороны Предивной, к Васюхе-приискателю.

Там их ждала большая компания. И Лалетины, и Мыз-

никовы, и Афаничевы, не говоря уже о сыновьях Васюхи — Матвее, Григории и Николашке.

Степана, как и во всех прошлых застольях, опять посадили в передний угол, на этот раз — рядом с Агнией. Он чувствовал тепло ее полнеющего, крепко сбитого тела, прикосновения проворных, огрубевших рук, видел ее прямой нос с раздувающимися ноздрями, смеющиеся полные губы, пунцовое от водки лицо... Все это возбуждало Степана. Но ни тепло ее тела, ни ее заразительный хохот, ни жар ее жестких рук, сталкивающихся с его руками, не могли заглушить в Степане затаенной скованности. Он сидел в застолье каменным изваянием и видел одно и то же синеглазое лицо, лицо Миля Шумейки из Полтавы... Где она теперь, Шумейка? Неужели фронтовая любовь, о которой говорят так много плохого и хорошего, скоро забудется и у него? Он впервые встретил Шумейку на хуторе Даренском, когда, разбитый в боях, полк попал в окружение.

Белые хатки, заросли лещины подле мелководной речушки и дивчина в синем платье — все это врезалось в память навсегда. Он запомнил ее глаза — округлые, удивленные, с черными длинными ресницами. Секунду они смотрели друг на друга. Она что-то спросила (он понял это по ее шевелящимся губам). Тогда она потянула его за рукав кителя в заросли речки, чем-то похожей на Малтат.

— Капитан, капитан! — кричала она ему в ухо (тогда он был еще капитаном артиллерии). — В хуторе фрицы! Слышите? Фрицы, фрицы!

Он понял, что она ему прокричала, но у него было такое состояние безразличия, когда человек, как бы оттолкнувшись от действительности, живет своим особенным внутренним миром, ничуть не интересуясь внешним.

— Капитан! Фрицы! — еще раз прокричала дивчина.

Он поглядел на нее, склонившуюся над ним, и вдруг сказал:

— Какая ты красивая!

Дивчина смущенно и как-то жалостливо улыбнулась и опять хотела сказать о фрицах в хуторе, но он, дотронувшись до ее руки, проговорил, словно в забытьи:

— Какая ты красивая!

— Я — Шумейка, Миля Шумейка! — сказала ему дивчина, облегченно вздохнув. Его спокойствие и безразличие к окружающему миру передались и ей.

— Шумейка? А!.. Здесь фрицы? — Степан кивнул голо-

вой в сторону хутора.— Дали нам жизни! В ушах гудит. Ты — Шумейка? Ну, вот. Я — Степан Вавилов. Капитан артиллерии... Просто — Степан. Артиллерии у меня нет.

Плечо его кровоточило и ныло от боли. Рука не поднималась. Она хотела забинтовать ему плечо, но он отстранил ее и выкурил потом папиросы три, медленно приходя в себя.

Ночью Шумейка провела его огородами на хутор к своей тетушке, учительнице Агриппине Павловне.

Всю осень Степан укрывался в хате Шумеек. Когда он немножко поправился и к нему вернулся слух, он уже не мог представить себе дальнейшую жизнь без Шумейки. Но что он мог поделывать? Надо было уходить.

Если бы Степан не оставил у тетушки Шумейки все свои документы, награды, полевую сумку и не переоделся бы в гражданскую одежду, ему бы несдобровать. Когда их захватил полицейский патруль, Шумейка выдала его за своего мужа, припася заранее фальшивый пропуск. Находчивость синеокой дивчины спасла Степана от концлагеря военнопленных.

Он помнит ее глаза — тревожные, глубокие, немигающие, когда они декабрьской ночью шли придонбасской равниной в глубь Украины в поисках партизан. А кругом было так безлюдно и тихо и бело-бело, словно вся степь вырядилась в саван. Они брели снежной целиной. Она целовала его так жарко, словно хотела испепелить его сердце огнем своей любви. До Шумейки он и не знал, что есть такая сила, которая сильнее всего на свете, — сила любви...

Он и сейчас видит ее глаза — ласковые, в которых так много было вопросов. Он помнит ее заплывшие волосы, кудрявящиеся на висках, ее маленькие настывшие руки и упругую девичью грудь...

Он говорил ей о Сибири, о Белой Елани, о Вавиловых. Она умела ответить взглядом, выражением больших синих глаз. Кажется, он не всегда понимал ее, хотя и был на двенадцать лет старше.

Голодные, измученные, добрались они до какого-то хутора недалеко от железнодорожной станции. Их пугали электрические огни большого хутора. А тут еще ударил мороз, до того лютый, что на щеках притихшей Шумейки стыли слезины. «О боже ж мой, боже ж мой, — шептала она, закусывая губы, — сгублю я тебя, Степушка, сгублю! Идем мимо хутора! Це ж большой хутор... Тут немцы. Чую беду, Степушка!»

На окраине хутора их встретил рабочий железнодорожник, дядя Грицко. Он укрыл Степана и Шумейку в своей хате, а потом переправил Степана к партизанам.

...Остаток зимы воевал Степан в партизанах. И не было у него счастливее и страшнее минут, чем редкие — всегда на волосок от смерти — встречи с Шумейкой. Она к тому времени была уже на восьмом месяце беременности.

— Степушка! Ридный мой Степушка, не ходи ты бильше до хутора, не ходи! Лютуют немцы, дюже лютуют!.. И за меня не бойся, Степушка. Не загину я, не загину! Тилько бы ты був жив!..

Но когда советские войска освободили украинскую землю от немцев и Степан, присоединившись к военной части, двинулся на запад, в наступление, он не нашел уже ни хаты деда Грицко, ни Шумейки...

Васюха, молчун и скромница, в красной сатиновой рубаше под ремнем, суетился возле шести столов, протянувшихся от избы до глубины горницы, разносил гостям медовуху, от которой у непьющего мутился рассудок; потчевал всевозможной стряпней и, как изысканное блюдо,— преподнес маралье вяленое мясо.

— Отведайте, отведайте, гостюшки, от моей коровушки,— говорил он, потряхивая черными скрутками мяса.

— У коровы-то, Андреяныч, на рогах отростков не было?

— Го-го-го! — гремел Егорша.

— Давай, давай, Андреяныч! Потчуй, холера тя бери! — сипел старик Мызников.

На столах всего было вдосталь — и мяса, и стряпни, и меда, и настоящей на сотах крепкой браги.

— Отведай, гостюшка. Отведай, милая!.. А! Степушка! Мил племянничек, что ж ты сидишь, ровно сам не свой, а?

Степан, расстегнув мундир, отвалившись в угол, отшучивался, говорил, что он уже сыт «по завязку», но на него напирали со всех сторон.

— Эх-ва, герой! Ра-разе герой насытится стаканчиком, а?

— Сушествительно!

— Андреяныч! Поднеси Степану ковш браги!..

— Не одолеть ему, истинный Христос,— божилась Матрена Лалетина и, зачерпнув ковш медовухи, расплескивая мутную, пахнущую хмелем и спиртом жидкость, поднесла ее Степану, протянув руку через стол и головы гостей.—

А ну, Степан Егорович! Уважь, милый. Ежлив не уважишь — околею возле стола.

— Да меня разорвет,— смеялся Степан.

— Если разорвет, сошьем. Суровыми нитками. Вдвое крепше станешь.

— Агнуша, ненаглядная певунья, затяни «Черемуху!» — попросил кто-то из компании.

Агния поискала глазами, кто ее попросил, но, не найдя, схватилась за ковш в руке Степана и, хохоча, прислонилась к нему губами, столкнувшись лбом с носом Степана.

— Урра! Тянут из одного ковша! — гаркнули гости.— Тянут-потянут, а вытянуть не могут!

— Вытянут! Давай, давай!

— Вытянули! — прогремел бас Егорши, и он, по-медвежьи выпятившись из застолья, бухнул каблуками бахил в половицы и пошел танцевать, смешно вихляя своим толстым бабьим задом.

ЗАВЯЗЬ ДВЕНАДЦАТАЯ

I

Шесть шагов от одной стены до другой. В одну сторону и обратно. И так без конца. Думы роились, как пчелы. «За что? Наверное, за плен, не иначе. Нет доверия. А что я могу сказать в свое оправдание? Кто может подтвердить, как я держался там, в концлагерях? Никто!»

Все свершилось без лишних слов и шума. Приехали два милиционера, оперуполномоченный, которого он видел впервые, и жуткая фраза: «Вы арестованы!» И — ночь, суматошная, темная, сырая, чавкающая. Ехали верхами из тайги в райцентр. Объездной дорогой мимо Белой Елани. На рассвете переправились через Амыл, и Демид оказался в четырех бревенчатых стенах, за решеткой на окне.

И вот привели его на допрос.

— Демид Боровиков? Так. Бывший военнопленный. В тридцать седьмом году осужден по пятьдесят восьмой статье...

— Так точно, гражданин майор. Судим тройкой. Два года восемь месяцев кайлил камень. Освобожден за недо-

статочностью состава преступления после пересмотра дела.

— Когда вернулись в Белую Елань?

— В марте нынешнего года.

— Почему вы пришли из города один? Могли найти попутчиков. Не так ли?

— Не было попутчиков. Машины не ходили. Лед вешний, сами понимаете, ненадежный.

— Где купили ружье?

— Не купил. Встретил старого товарища по леспромхозу, Тимкова. У него взял.

Ответы Демида майор не записывал.

— Так.— Майор прищурился.— Попробуйте вспомнить, о чем вы говорили с Евдокией Елизаровной Головной при первой встрече возле зарода?

Демид криво усмехнулся:

— Сказал ей пару ласковых слов, как она хотела утопить меня в тридцать седьмом году, и все.

— А не говорили, что наши военнопленные все категорически отказались ехать на родину?

— Вранье! Такого разговора не было.

— Так, так.— И, мгновение помолчав: — В каких отношениях вы были с Анисьей Головной в тридцать седьмом году?

Демид почувствовал, как кровь прилила к его щекам:

— Какие могут быть отношения с малолетней девчонкой?

Майор положил ладонь на папку.

— В какое время дня проходили тем хребтом, где начался пожар?

— Утром.

— И много было там сухостойных деревьев?

— Да весь пихтач и кедрач. Сплошной сухостойник. И валежнику было много. Целые завалы.

Майор выпрямился и в упор поглядел на Демида.

— И если под такой завал подложить огоньку — сразу пожар?

— Безусловно.

— Когда вы шли по таким завалам, не обронили случайно папиросу?

— Нет, не обронил.

— Вы же, наверное, не один раз закуривали, когда шли своим поисковым маршрутом?

— У тех, кто работает в тайге, есть такая привычка,

гражданин майор: если закурил — спичку прячешь под донышко коробка. Всегда так. Папироса докуривается и тушится.

— Ну, а по рассеянности? Забыл и бросил.

— Не страдаю такой забывчивостью.

— Так.— И опять настроженное молчание.— Долго вы шли тем хребтом?

— Часа два, может. Потом спустился в рассоху.

— Уточните слово «рассоха».

— Рассоха — расщелина в хребте, наподобие лога. Но рассоха сквозная, где обыкновенно собираются горные воды, стекающие в пади, к подножиям хребтов. Как, например, нельзя назвать бахилы сапогами или чирки — тапочками, так и рассоху логом, увалом, обрывом.

У майора подобрело лицо:

— Однако вы хорошо знаете свою родину, Боровиков! А скажите, какая же разница между броднями и бахилами?

— Бахилы — водонепроницаемая самодельная кожаная обувь с мягким или высоким полутвердым задником, с широким и низким каблуком. Подошва — либо лосевая, прошивная, либо из кожи «полувал», на деревянных шпильках, со швом между шпильками. Голенища бахил без поднаряда — высокие, мягкие, с ремешками под коленями и у сгиба ступни. Бродни — без каблуков и задников, с голенищами, как у бахил. Шьются и те и другие на два размера больше ноги, чтобы можно было подобуть три-четыре портянки или собачий чулок с портянкой.

Демид старался говорить спокойно, но руки у него тряслись и левая щека нервно подергивалась.

— Обычно в бахилах охотник идет в тайгу в мартовские морозы, когда нельзя идти в пимах, тем более в твердом и неудобном сапоге. Бахилы и бродни — обувь легкая, удобная и сохраняющая тепло. Надеть легко, а идти — ног под собой не чувствуешь, как говорят охотники. В дополнение к бахилам — шаровары с болтающейся мотней чуть не по колени. В таких шароварах не подопрешь. Я пробовал охотиться в обыкновенных брюках, без мотни, — не выдержал.

— Понятно! — Майор улыбнулся.— Так вот почему у некоторых мужиков в таежных деревьях мотня штанов болтается, как мешок. Я думал — не умеют шить домашние портнихи.

— Наоборот, штаны с мотней и настоящие бахилы не всякий сошьет.

Майор достал из ящика письменного стола толстую тетрадь в коленкоровом переплете и что-то записал в нее, посмеиваясь себе под нос.

— Записываю местные речения, поговорки, присказки, побаски и редкие слова. Сибирь — амбар под семьюдесятью замками. Лес, горы, теснины, увалы, рассохи — вот и тайга! А в тайге — дырка в небо. Я, например, человек степной, с Дону. Люблю простор, ширину, чистоту полей... А здесь, в тайге, как в преисподней. И люди тут, скажу, темные, будто в шубах на свет народились. Кого ни копни — замок с секретом. Не так ли я говорю?

— Люди везде разные бывают. И хорошие, и плохие. Хорошим — тайга мать родная. Плохим — лютая мачеха...

— Вот-вот, Боровиков. Как это говорят: каждый кулик свое болото хвалит? Я — степи. Вы — тайгу. Только зачем же ее жечь?

— Тех, кто жжет тайгу, надо расстреливать, гражданин начальник, — отрубил Демид, прямо и твердо взглянув в глаза майору.

— Кстати, почему ветер называют здесь хиузом?

— Но хиуз — не ветер.

— Что же такое?

— Хиуз — едва ощутимое перемещение воздуха в мороз. При февральском хиузе, если выпустить пушинку из рук, она будто застынет в воздухе, в мгновение покроется куржаком и медленно опустится на землю. И вместе с тем идти с открытым лицом навстречу хиузу невозможно: обморозишь щеки. Старожил никогда не скажет: дует хиузом, а — тняет хиузом.

Майор построжел.

— Итак, продолжим разговор без хиуза, — сказал он, открывая следственное дело.

Но в эту минуту вошел милиционер и сказал, что один гражданин из Белой Елани просится к майору.

— Пусть подождет, — буркнул майор.

Однако приоткрылась дверь, и показалась голова Мамонта Петровича. Демид выпрямился, взглянул на односельчанина: «Мамонт Петрович! Неужели и он меня подозревает?!»

— Подождите, говорю!

— У меня разговор безотлагательный, — заявил Мамонт Петрович и вошел в кабинет. — По срочному делу, товарищ майор.

Пришлось майору прервать допрос арестованного и выслушать нежданного гостя.

Как только Демида увели из кабинета, Мамонт Петрович уселся на Демидово место и начал без обиняков:

— По ложному следу идете, товарищ Семичастный. Прямо надо сказать: облапошила вас Голоवेशиха! Боровикова занапрасно арестовали. Тайгу он не поджигал и в помыслах такого не имел. Определенно! Погодите! Тут вот какая штука. Соображать надо, товарищ Семичастный. Кто такой был Андрей Северьяныч, которого убили на пасеке? Предбывший белогвардеец, а потом кулаком заделался в Кижарте. Куда он стриганул во время раскулачивания? В каратузскую банду, которую собрал в тридцатом году Ухоздвигов. Слышали про такую фамилию?

Семичастный что-то слышал про Ухоздвигова. Бывший золотопромышленник, что ли?

— Самого Ухоздвигова давно в живых нету,— пояснил Мамонт Петрович.— Было у него пятеро сынов. Как известно, самый младший, Гавриил Иннокентьевич, который при Колчаке командовал карателями, и по сию пору в живых состоит. Провернулся через все мельницы и крупорушки.

— Ну, ну! И что же из этого следует?

— Хэ! А теперь прикиньте себе на уме: кто открыл геологам «смертное место»? Андрей Северьяныч. На том месте, как вот вчера говорила Агния Вавилова, браконьерничает какая-то банда. Сама видела, как завалили сохатого. Опознала Мургашку и еще каких-то двоих... Кроме того, кто-то попользовался золотишком. Есть там и шурфы, и инструмент, и все такое, прискательское. Так или нет?

— Мог сам Андрей Северьянович оставить такие следы.

Мамонт Петрович вздыбил плечи:

— Хэ! Тогда бы он повел Агнию Вавилону на то место без всякой оглядки! А тут у него поджилки тряслись. Говорил еще Агнии Вавиловой: «Поторопись, дева. Как бы не налетел черный коршун». Про какого «коршуна» речь шла, хэ?

Майор беспокойно вышел из-за стола, прошелся по кабинету. Доводы Мамонта Петровича начинали беснокоить. Что-то тут есть!

— Говорите, говорите. Я слушаю.

— Действовать надо, товарищ Семичастный. Без вся-

кого промедления. В нашей тайге блудит матерый зверь. Определенно. Есть такая примета.

— Какая?

— Секретарь нашего сельсовета говорит, что был у него какой-то охотник за живыми маралами для зоопарка. Фамилия — Невзоров. Так будто. Где он сейчас, этот Невзоров?

— Н-да-а!..

— Двоглазов, которому открыл Андрей Северьяныч «смертное место», похоже, что одним глазом смотрел на космача. Ну, старик, мол, то, се. Значения не придал особенного, а тут корень глубже всажен. «Смертное место» — ухоздвиговского рода заначка. Как вроде кладовка. Немало уже из-за этого «места» людей порешили. Вот я и думаю: не Ухоздвигова ли это рук дело?

— Это все ваши догадки?

— У меня, товарищ майор, особенный нюх на врагов Советской власти. Как у собаки на зверя.

— Значит, вы думаете, что в тайге сейчас Ухоздвигов и что он убил Андрея Северьяныча?

— Определенно. Больше некому. Отомстил за «смертное место», лишнего свидетеля убрал. И опять-таки Мургашка. Кто такой Мургашка? Собачью должность исполнял при поручике Гаврииле Ухоздвигове. Человек затуманенный. Вот еще Крушинин. И этот тоже погрел руки при Ухоздвигове. Вот оно, какой фокус.

— Ну, а зачем Ухоздвигову жечь тайгу?

— Хэ! По империалистической арифметике. «Не мое — и не ваше. Пусть все огнем горит». Как вроде окончательный итог подбил на сегодняшний день. Кроме того, приюхивайтесь к самой Авдотье. Хоть и была она моей супругой когда-то. Но не чиста.

— Н-да-а! — Майор крепко призадумался.

В это время в дверь снова постучали.

— Я занят. Занят же! — с досадой крикнул майор.

— Но, товарищ майор, — проговорил дежурный, просовывая голову в приоткрытую дверь. — Эта борода ломится, сладу с ней никакого нет... Заарестуйте, говорит.

— Что еще за борода?!

Но дежурный не успел пояснить, как Санюха Вавилов уже влез в кабинет следователя и, взглянув на Мамонта Петровича исподлобья, молча сел в углу на стул.

— В чем дело, гражданин?

— С повинной, стал быть, пришел, как осознал, чтоб арестовали.

— Кого арестовали? За что?

— Как опознал я его, следовательно, председателя артельщиков-то, что добывают смолу-живицу. Не Невзоров он, а Ухоздвигов Гавриил Иннокентьевич. Сколько годов прошло, а я его сразу признал: вылитый сам Иннокентий Евменович — что глаза, что лбина, и ухмылка та же.. и согнутость спины — ухоздвиговская. Ну, думаю, всяка тварь под богом ходит. Мое дело сторона. Вот и молчал. По таким соображениям, следственно... А тут такие дела, значит. Вот и пришел...

— Ах, едрит-твою в кандибобер! Ну что я говорил?! У меня же нюх на врагов Советской власти! Что же ты молчал, Санюха?! Тугодум ты, едрит-твою в кандибобер!

II

...Слышно было, как по крыше барабанил дождь, как, стекая с карнизов, булькала вода под окном в огороде, как молния, одна за другой чиркая мутнину за окнами, озаряли черные дома, поблескивая в стеклах.

Скверная ночь. Непроглядная ночь. Дом Головешихи тонул во мраке, и только в горнице из-за плотно занавешенных окон тускло прорезывалась узенькая полоска света.

Полюбовник Дуни собирался в дальнюю дорогу.

Головешиха складывала в мешок продукты: слоеные калачи, шаньги, ватрушки с творогом, пару зажаренных в собственном сале гусей. Складывая в мешок припасы, роняла слезы. Он ее покидает. В который раз! Да и доведется ли еще свидеться?!

— Дуня, что ты накладываешь? Много не надо,— сказал Гавриил Иннокентьевич, натягивая заплатанные грязные шаровары. Вся его одежда продумана была до последней пуговицы: бушлат изрядно затасканный, с обтрепанными обшлагами, а вместо фуражки — старенькая кепка. Документы в порядке.— Мне же на горбу тащить мешок. Не близок путь — километров двадцать.

— Двенадцать всего,— уточнила Головешиха.

— До утра надо успеть.

— Успеешь. Непогодь на всю ночь.

Затянул гимнастерку брезентовым поясом, обдернул, прошелся по горнице, налегая на всю ногу — не трет ли где портянка.

— Разве ждала вот так проститься с тобой?

— Да-аа,— ответил Ухоздвигов, выходя в темную избу. Подошел к окну, прислушался, присмотрелся. Улицы пустыньны. Ни души. И, возвращаясь: — Погода по мне. Ну, что ты, Дуня! — И взялся за мешок, взвешивая его на руке. — На горбу ведь тащить, по грязи.

Где его дом? И сколько у него домов? Есть ли надежнее дом, чем тот, в котором он сейчас?

— Мне что-то страшно оставаться, Гавря,— она его звала то Мишей, то Гаврей.

Раскладывая по карманам брюк и гимнастерки разные бумаги — деньги, документы, матерчатый кисет с махоркой и газетой для цигарок, Ухоздвигов проговорил:

— Страшно? Ну что ты!.. В первый раз, что ли!

Помолчали, каждый наматывая на свой клубок собственную думу.

Гавриил Иннокентьевич прикинул, с кем может встретиться на дороге; не лучше ли пойти зимовьем — там вовсе никто не ездит.

— Ну, кажется, пора,— сказал он, порывисто шагнув по горнице и так же круто развернувшись на каблуках. В бушлате, под брезентовым ремнем, с пистолетом за пазухой, в кирзовых сапогах, он выглядел вполне прилично для тех документов, какие были спрятаны у него в корочках блокнота в нагрудном кармане.

Головешиха подошла к нему, обняла, крепко прильнула грудью к грубой ткани бушлата.

— Так и действуй, как я говорил,— начал Ухоздвигов, потираясь щекой о рассыпавшиеся волосы своей верной помощницы. — Так и действуй. Теперь наша опора «Свидетели Иеговы». Чем больше завербуешь людей в секту, тем лучше. Мы еще потягаемся с коммунистами: кто кого!.. Близится день Армагеддона!.. Это будет наш день спасения.

Плечи Головешихи охватил мелкий озноб. Ухоздвигов помолчал, поглаживая ее ладонями по шее и голове.

— Действуй, Дуня!.. Я еще побываю в тайге.

— Милый! Что же я-то... одна ведь... совсем одна... Как в тюрьме...

— Да... сволочи!.. — И, что-то вспомнив, заскрипел зубами. — Какие сволочи!..

Итак, рухнули все надежды, все грезы! Что же осталось? Проповедование сектантского учения? Он же не верит ни в бога, ни в черта, ни в день Армагеддона!..

Посидели на неприбранной постели, тесно прижимаясь друг к другу, похожие на обгорелый уродливый пенёк на лесной прогалине.

Звериный слух Гавриила Иннокентьевича уловил чьи-то шаги в улице. Вмиг отстранил Голоवेशиху и в три шага был уже в избе, не скрипнув, не брякнув, ни за что не задев во тьме. Три темные фигуры, одна из них с папиросой, шли серединою грязной дороги, свернули к воротам Голоवेशихи.

Ухоздвигов кинулся в горницу, по-волчьи люто бросил Дуне: «Прибери следы» — и, схватив со стола какой-то сверток, мешок, одноствольное охотничье ружье, выскочил в сени и там затаился. Голоवेशиха с той же проворностью прибрала все лишнее — потушила свечу и залезла в постель, укрывшись с головою. В окно кто-то постучал, вызывая хозяйку. Голоवेशиха помедлила, полежала, потом поднялась. Вся в белом вышла в избу, прислонилась к стеклу. За окном, под струями дождя с крыши, стояли трое или четверо.

— Хозяйка, хозяйка!..

— Кто там?!

— А ну, открой на минутку. На ночлег к тебе из райзо. Голоवेशихе стало полегче.

Но вот что-то подмыло ей под сердце, не продохнуть. Кажется, кроме знакомых людей, под окном еще кто-то спрятался на завалинке; подозрительно скрипнул ставень. Застучали в сенную дверь.

А эти, трое, стоят здесь под дождем у завалинки...

— Авдотья Елизаровна! — позвал неестественно громкий голос Мити Дымкова.

Митя Дымков поднялся на завалинку, и она встретила с ним глазами.

— Открой же, Авдотья Елизаровна. Вот товарища Бабичева надо приютить и накормить. Там у вас в чайной никого нет.

— Манька там. Стучите ей, откроет. Я хвораю, Митя.

И опять напористый стук в сенную дверь. Мимо окна, по завалинке, мелькнула незнакомая тень и, кажется, с винтовкой!

Сердце Авдотьи Елизаровны сжалось в горячий комочек, а по заплечью — мороз.

— Хвораю я, слышь, Митя.

На завалинку поднялся щупловатый Павел Вихров, председатель сельсовета. Она его узнала сразу.

— Слушай, Авдотья, открой избу, — забурчал старческий голос. — Дело есть.

— Господи! Да как же!..

Головешиха отпрянула от окна, схватилась рукою за грудь, будто хотела прижать лихорадочно стучащее сердце. Так и есть, пришла беда!..

Но что же делать?

А в дверь ломились. Она отлично слышала, как тяжело напирала на дверь и что-то там трещало.

Авдотья кинулась за печку. Там у нее была потайная дверь, как во многих сибирских избах. Дверь вела в подпол, а из подпола был лаз во двор. Об этом знали лишь два человека: сама Авдотья и Ухоздвигов. Лаз давно обвалился и местами засыпался, но только он мог спасти Ухоздвигова. Авдотья, тужась изо всех сил, старалась сдвинуть капустную бочку, загородившую дверь. Но бочка была пузатая, десятиведерная.

В избу ошалело влетел из сеней Гавриил Иннокентьевич, накинул крючок и рванулся было за печку.

— Ты что делаешь, тварь! — свирепо прошипел он. Ему показалось, что Авдотья загоразживает ему единственный выход к спасению. — Будь ты проклята!

Толкнув Авдотью, он попытался перелезть через бочку во всей амуниции. Но Авдотья, ничего не понимая, подбежала к нему сзади, намереваясь обнять. И он люто ударил ее пистолетом в грудь. Взмахнув руками, она упала спиной на лавку в простенке между двумя окнами.

— Ты, ты, паскудная тварь, задумала предать меня! — прохрипел он. И сразу же боль в груди от удара пистолетом стихла, под сердце подкатилась обида, слезы, она, всхлипнув носом, сползла у лавки на пол.

— За что?! За что?! Гавря, милый, меня-то за что, а?!

Он пнул ее носком сапога под живот, страшно выматерился, обозвав потаскушкой, продажной шкурой.

— Ты, ты, тварь поганая, на мне в рай задумала выехать?.. Сдохнешь ты, поганая шлюха! Вот здесь, у лавки! — и опять пнул ее под живот, раз за разом.

— Не я! Клянусь богом, не я!

— Лжешь, тварь! Если бы не задержала меня, я бы спасен был, шлюха. Ты еще с вечера баки мне забивала своей проклятой любовью! И припасла эту бочку.

— Гавря, милый!

— Лжешь.

— Клянусь! Клянусь! Клянусь! — И, встав на колени, неистово перекрестилась, глядя на него снизу вверх.

Слышно было, как треснула сенная дверь, громко стукнувшись там о стенку. Кто-то дернул за дверь избы. И в этот же миг хищный взгляд Ухоздвигова встретился с чьими-то глазами по ту сторону единственного не закрытого ставнею окошка. Он хотел прицелиться и выстрелить прямо в лицо, но Голоवेशиха, обняв его за ноги, хотела встать, и он — промахнулся.

— А, тварь! — крикнул он, подумав, что Голоवेशиха старается свалить его на пол.

Она не слышала его последних слов. Смерть пришла к ней внезапно и безболезненно. Мгновенное ощущение сверлящего удара в затылок и — полное забвение. Руки ее, как обняли его ноги, так и остались, судорожно сжавшись в агонии. Он пытался вырвать ноги, но она его держала, мертвая. И он еще раз выстрелил ей в голову. И в ту же секунду почувствовал, как кто-то здоровущий схватил его со спины...

— Сюда! Сюда!

Руки ему заломили за спину. В локтях хрустело.

Режущее-белый свет электрического фонарика ударил ему в лицо, и он зажмурил глаза, мучительно сморщившись. «Взяли!» — кипятком полилось в мозг.

— Где у них тут лампа? А, вот она! Держите его крепче!

— Никуда не уйдет. Держим.

Первое, что он увидел, — была лужа крови у его ног.

— Он ее прикончил! Бандюга! Сколько она его покрывала, а он ее прикончил.

— Что, отслужила вам, майоры, Авдотья Елизаровна? — процедил он сквозь зубы, переводя нагловатый взгляд с майора Семичастного на Степана Вавилова.

Кроме Степана Вавилова и Семичастного, в избе толкались человек шесть мужиков, и среди них одно знакомое мальчишеское лицо секретаря сельсовета.

— А, приятель! — кивнул Ухоздвигов Мите Дымкову. — По какому праву, скажи, пожалуйста, скрутили меня майоры?

— Поговорим позднее, арестованный.

Документы его выложили на стол, а с ними — четыре обоймы от «вальтера».

Потом его разули. Посмотрели, прощупали сапоги. Из мешка вытряхнули толстую Библию, какие-то тетради, пе-

чатные антисоветские прокламации «Свидетелей Иеговы» — секты, недавно созданной в леспромхозе и на прииске.

— Это все лично вам принадлежит, Ухоздвигов?

Арестованный молчал.

— Я у вас спрашиваю, Ухоздвигов.

— Я с Ухоздвиговым незнаком, гражданин майор. Если вы обращаетесь ко мне, то я — Михаил Павлович Невзоров, промысловик-охотник. Обратите внимание на мои документы, они в полном порядке. Если я прикончил эту шлюху, то надо думать, я имел достаточно оснований уничтожить тварь. А что насчет Библии и моих записок, то это дело моей совести. Кому хочу, тому и молось.

— Да? — глаза майора Семичастного смотрели в упор, не мигая. — Должен вам сказать, Ухоздвигов, вы поторопились с самосудом. Вы убили единственную преданную вам соучастницу. Жаль, конечно, что не вместе с нею вы предстанете перед судом. Но вы не будете одиноки, на этот счет не беспокойтесь. В сельсовете ждет вас Птаха со всем оборудованием походной радиостанции.

Ухоздвигову стало и в самом деле дурно! Так, значит, предал его... Филимон Боровиков? Да не может быть!

— Вранье! — выкрикнул Ухоздвигов, меняясь в лице. Куда девались его спокойствие, наигранность!.. — Не берите меня на удочку, гражданин майор. Я гусь стреляный.

— Да, именно, стреляный, — подтвердил майор Семичастный.

Убийцу со скрученными руками усадили на табуретку, на ту самую, на которой он только что обувался, собираясь в дальнюю дорогу.

Майор Семичастный попросил лишних выйти из избы, оставив братьев Вавиловых, Васюху и Егоршу, участкового Гришу и Степана Вавилова, которого Ухоздвигов сперва принял за майора государственной безопасности, но присмотревшись к поганам и мундиру, увидел, что майор — артиллерист и, вероятно, из демобилизованных.

Убийца вздохнул свободнее, тревожно и быстро оглянувшись. Он влип глупо, по-дурацки, но еще не окончательно. Надо что-то придумать. Если его поведут сейчас в сельсовет, есть еще возможность бежать. Да, да, бежать! Каких-то тридцать прыжков по темной ограде, и он ныряет в пойму Малтата, как в омут.

— Нельзя ли закурить?

Ему никто не ответил.

— Поднимите тело на лавку.

Ах, да! Есть еще тело!

Удушливая тошнота подкатила к горлу. В ушах звенели колокольчики. Он, слегка ссутулившись, напряженно-неподвижным взглядом глянул на тело. Васюха, осторожно переступая по полу, чтобы не вляпаться в лужу крови, зашел с головы, Егорша взялся за податливые, неприятно белые босые ноги тела Голоवेशихи. Склонившаяся набок голова Авдотьи с широко открытыми черными глазами глянула на убийцу. Ему показалось, что по левой щеке из ее глаза катились слезы. Вся правая сторона лица и кончик носа были испачканы кровью. В межбровье — разворочена кость на вылете пули.

— Мне бы закурить!

— Найдите там в горнице простыню, что ли. Накройте ее!

Покуда Егорша ходил за простыней в горницу, Васюха зажег всячую семилинейную лампу под абажуром и отодвинул стол из переднего угла.

Трезвея, убийца соображал, взят ли он как «капитан» — под кличкой, известной по ту сторону океана, или он влип просто случайно, по недоразумению? Кто его может изобличить? Птаха? Филимон Боровиков? Дуня все-таки не могла пойти на предательство! Никак не могла. И мертвые, в конце концов, не свидетели.

«Я, кажется, старею! Как глупо влип, а? Где-то в деревне, среди бородатых космачей! В каких переплетах бывал, а здесь, в деревне!..» Это было неприятно и обидно.

Испачканное кровью лицо Дуни с обезображенным лбом тянуло к себе взгляд убийцы.

— Уведите меня! Уведите отсюда! Я, я — не могу! Не могу! Душно! Душно! Воды! Дайте хоть воды!

— Слабоват на кровь-то, бандюга,— по-мужицки тяжело проговорил Егорша.

— Отвернитесь к стене, арестованный,— приказал майор Семичастный.

— Что?! К стене? Не могу! Не имеете права! Слышите! А-аа...

Зубы его так стучали, что он едва пропустил глоток воды, поданной ему Егоршей в железной кружке.

Его перевели в горницу, где еще недавно он сидел с Дуней и она, жарко дыша ему в щеки, целовала его, а он, прижимаясь к ее оголенному пухлomu и теплomu плечу, на-

бираясь тепла, думал, как ему в будущем поступить с непригодным к делу Иваном Птахой?

Один вид неприбранной пуховой постели, сбитых простыней, одеяла из верблюжьей шерсти подействовал на убийцу так, словно его силком втокнули в открытую могилу.

А в это время в сельсовете, под охраной коммунистов Павлухи Лалетина, Вихрова-Сухорукого и Аркадия Зыряна, рассаженные в разные комнаты, сидели арестованные Иван Птах и Филимон Прокопьевич, с почерневшим, как чугунка, лицом.

После того как акт был составлен, Ухоздвигова отправили в сельсовет.

Филимона Прокопьевича привели в дом Голоवेशихи.

Входя в избу, Филимон Прокопьевич увидел тело на лавке под простыней. Ему никто не сказал, что на лавке под простыней Авдотья Елизаровна, но он и без слов догадался, что это она.

— Господи! — Филимон Прокопьевич перекрестился.

Майор Семичастный попросил фельдшера приоткрыть лицо Авдотьи.

— Узнаете?

— Она, значит. Она! Убил, значит? О, господи!

— Ваша жена?

— Какая жена, гражданин начальник! Никакая не жена! Сходенье имел по глупости. И то наездом. А так — никакая не жена.

— Об этом мы будем вести разговор в другом месте. Сейчас вы должны установить ее личность, опознать.

— Да опознал же!

— Голоवेशиха — ее прозвище?

— Точно так.

Филимон Прокопьевич подписал акт. Рука его тряслась, и он еле-еле вывел свою фамилию.

— Куда меня занесло, господи? Што я наделал, а? Истый лешак! И нет мне спасения ни на земле, ни на небе, — стонал Филимон Прокопьевич, беспокойно переступая с ноги на ногу. — Демида-то, гражданин начальник, как я и говорил, не вините.

— Потом, потом, — остановил майор Семичастный. — Сейчас мы должны сделать обыск. Садитесь.

III

За два дня до ареста Демид Боровиков охотник Крушинин и лесообъездчик Мургашка сами заявили к властям, изболочив Демиду Боровикову, будто бы подбивавшего их на поджог тайги.

Показания Крушинина и Мургашки, одобренные клятвами, были достаточно убедительными для майора Семичастного.

Крушинин с Мургашкой успели уйти в тайгу в Спасское займище, где их ждал старик Пашков и куда должен был приехать Птаха с Филимоном Прокопьевичем.

На зорьке погожего дня в Подкаменную заявился Филимон Прокопьевич. Поперек седла норовистого Карьки лежал Иван Птаха.

— Берите бандюгу! Я его стукнул там, на займище, чтоб скрутить, значит,— были первые слова Филимона Прокопьевича, когда он, виноватый и опустошенный от внутреннего разлада, предстал перед участковым Гришей.

Майор Семичастный впервые в жизни видел такую сложную и вместе с тем удобную и легкую радиоаппаратуру, с которой Птаха пришел в тайгу. Дело оказалось серьезным.

Демиду освободили.

Семичастный с участковым Гришей, не теряя времени, кинулись в Белую Елань, прихватив с собою Филимона Прокопьевича и Птаху. Надо было не опоздать: захватить главаря банды. Демид тем временем с рабочими поискового отряда направились в тайгу по следам бандитов.

...Опечатав горницу Головешихи, майор Семичастный увез арестованных в Минусинск.

Когда Ухоздвигова свели на очной ставке с Иваном Птахой, бандиты сцепились друг с другом.

— А! И вы здесь, знаток бородачей! — пробурчал Птаха, готовый раздавить своего бывалого предводителя.— Что же вы здесь, а? Вы же хвастались, что мужики за вас горой! Что вы знаете их природу, черт бы вас подрал!

— Растяпа! — отпарировал Ухоздвигов.

IV

Много Аркадий Зырян перевидал председателей колхоза. Сам потопал на председательских каблуках, когда Павлуха

Лалетин два месяца валялся в госпитале — осколки выходили после ранений. Но как ни бился Зырян, а все толку мало. То Мызниковы не тянут не везут, то Вавиловы идут стороной — будто работают, а сработанного не видно. То Шаровы через пень колоду валят.

Зырян понимал, что нельзя требовать с колхозников, ничего не давая взамен — ни хлеба на трудодни, ни денег. Но он требовал, требовал, гонял бригадиров из конца в конец, сам дошел за два месяца до того, что в чем только дух держался. А с него требовало начальство из района. А хозяйство разорялось. И Зырян понял: не в председателях дело! Пусть бы даже он был семи пядей во лбу — дать ничего не мог. Хотя хлеб шел от комбайнов и молотилок прямо на элеваторы, зачастую и государству сдавать не хватало, потому авансы и те урезались — «повремените», «погодите», и только на бригадных котлах можно было накормить людей. Что же он мог поделаться? Да разве председатель, пусть даже сам господь бог, накормит одной буханкою всех? Он не пророк из Библии!..

Нет, не все председатели были никудышными, как Павел Лалетин. Как же сделать хозяйство богатым? Чтоб колхозник мог всю зиму кормиться, не заглядывая в пустой амбар. Ведь до войны-то какой трудодень был? Не знали, куда зерно девать! Думал, думал Зырян и не мог отделаться от тяжести собственного бессилия.

А тут еще старики тянули вспять, припоминали старину, свои заветные пашни, похвалялись друг перед другом, ввали нещадно. «У, скрипучее отродье! Когда же вы передохнете, кержаки патлаты? Не про старое вспоминать надо, а как по-новому хозяйствовать», — ворчал на них Зырян. «Тебе нахозяйствуют! Живо из району уполномоченный прикатит. Им оттуда, сверху, виднее, созрел хлебушка или нет... Ха-ха! То-то пашеничка кажинный год под снег уходит! А раньше разве так бывало? Да хозяин, он ее, милушку, каждый колосочек из ладони в ладонь переложит, перетрет и возьмет с полосы уберет! Потому он сам себе хозяин. А тут без распоряженьев сверху трогать не моги! А то тебе так тронут... век царапаться будешь! Спомни Марью Хлебиху. Отбрыкала два года. За што? За то, што всем звеном колоски сдумала подбирать».

«Да, избаловался народишко, обленился. Воду в ступе толкут, а ничего не делают», — думал Зырян. И все-таки надеялся, что вот теперь Степан как-то изменит тяжелое поло-

жение в колхозе. Он же гвардеец! Фронтовик! Герой! Степан не из пужливых. Этот сумеет постоять за колхозников!

«Эх-хе-хе,— вздыхал Зырян.— И хочешь, а не вскочишь!»

— И чего ты вздыхаешь, как баба на сносях? — спрашивала Анфиса Семеновна, приглядываясь к Зыryanу.— Навьючил на себя воз и гнешься, сивый. Аль тебе больше других надо? Издохнешь где-нибудь на дороге, леший. Другие ходят налегке, и ты так ходи. За всех не переработаешь!

— Не твоего ума дело, метла,— отвечал Зырян, исхудалый, с ввалившимися щеками, заросший рыжей бородой; он все так же на зорьке поднимался и уходил на тракторный стан. Не мог он пузо гладить на печке, когда на столе были одни постные щи.

«Может, в город податься? В городе как-никак зарплата каждый месяц, поощрения, а на старости лет — пенсия. Вот и Федюху надо учить...» Но куда Зыryanу в город! Без тайги, без Агнии, без привычного грохота тракторов! Да он там сразу с тоски помрет!..

Как-то под вечер, после приезда из тракторной бригады, Зырян понуро плелся по большаку Предивной. Расторопный длинноногий Головня догнал его у конюшни.

— Ты чего, Аркадий Александрович, такой квелый? Вроде бы как нос повесил? Утре звезды предсказывали хорошую погоду на весь месяц. Только успевай паши...

— Паши, паши! Я-то пашу, да паханого не видать,— зло усмехнулся Зырян. И тут же замял злость шуткой.— А что, Петрович, звезды — самое подходящее теперь поле деятельности для нас! Я вот тоже утром наблюдал за ними. Так это они расшумелись, ну прямо брякают, как колокольцы! К добру или к худу, думаю? Вытянет наш колхоз из прорыва Степан али нет... если его заместо Павлухи?

— Как это... брякают? — не понял Головня и даже остановился. Уж не насмехается ли над ним Зырян? — Удивительное, понимаете ли, представление о небесных светилах! Звезды не могут брякать, Аркадий Александрович, поскольку они не сбруя с медными подвесками и не кошельки с деньгами.

— Плохо ты их слушал, Мамонт Петрович. Вот если бы ты был комбайнером, то услышал бы, как брякают звезды. Идет комбайн на зорьке, глянешь в небо, а звезды подмигивают, да так это нежно попискивают, звенят, звенят...

Головня фыркнул, рассердился. Это же явная насмешка

над его астрономией! Или Зырян спятил? Что-то неладно с ним...

— Ты вот что, брат,— осадил он Зыряна.— Ты это... про звезды мне больше не говори! Мелочь это... Я сам знаю. Помалкивай. А насчет Степана — вытянет или не вытянет — нечего гадать! От самих себя все зависит. Ты спомни, как мы партизанили. И сразу порядок будет. Ясно?

Зашли в конюховскую избушку.

И тут Головня остолбенел. Хомут, что вчера еще звенел медными бляхами и всевозможными подвесками, был гол, как обглоданная кость!

— Едрит-твою в кандибобер! — расвирепел Головня.— Кто же это сработал?! Канальи, канальи! Вот, Зырян, ежели на планете Марс,— орал он, мгновенно забыв о строжайшем запрете говорить про звезды,— ежели и там имеются такие же канальи, которые освобождают сбрую от малинового звона, то нет никакого смысла для полета на Марс!

V

Лежа в затенье на свежескошенной траве, вытянув длиннущие ноги в ботинках и уставившись взглядом в дырявую крышу, Мамонт Петрович размышлял о том, выделит ли ему новый председатель правления или нет рабочую силу для капитального ремонта конюшни? «Стропилы окончательно подгнили,— размышляет Мамонт Петрович,— а так и стойла. Как дождь, негде укрыться ни жеребцам, ни кобылам».

Кто-то громко позвал Мамонта Петровича.

В ограду вкатил рессорный ходок с железными подкрылками. С рысаков клочьями сползает пузырчатая пена. Юпитер, тяжело поводя боками, косится на Мамонта Петровича, храпит и бьет копытом. Чалая Венера грызет удила.

С рессорного ходка сошел участковый Гриша.

— Тебе тут повесточка,— сообщает участковый, роясь в полевой сумке.— Прими и распишись. Послезавтра к шести часам вечера явись в сектор гэбэ.

Мамонт Петрович держит повестку в огрубелых пальцах, но видит не повестку, а лицо убиенной Дуни. Теперь нет Дуни. Ее давным-давно нет. Ни вчера, ни три недели назад она ушла из жизни. Разошлись их стежки-дорожки в разные стороны. Росла промежду них Анисья. Кто она ему, Анисья? Дочь ли?

Да, он отстаивал от Авдотьи Анисью! Пробовал влиять

на дочь личным примером своей бескорыстной трудовой жизни, да Анисья не поняла его.

Тошно Мамонту Петровичу! Никто не знает ни его дум, ни его боли. Как объяснить происшедшее с ее матерью?

— Вот здесь,— тычет пальцем участковый, показывая, где нужно расписаться.

Головня спрашивает, скоро ли закончат следствие по делу банды.

— В ажуре! — участковый тряхнул головой.— Раскололи бандюгу с головы до пят, вывернули все его корни, на которых он держался столько лет. Вот хотя бы та же Анисья...

Участковый Гриша осекся на полуслове.

— Что — Анисья? — дрогнул Мамонт Петрович.

— Там разберутся, как и что. Анисья знала все тонкости по делу Ухоздвигова. Не раз видела его, не раз покрывала.

Мамонт Петрович еще больше посутулился, его глаза потухли, как угли, залитые водой.

А голос участкового, набирая силу, жал к земле:

— Или вот взять бандита Птаху. Кто он такой? Во время войны попал в окружение, как и Демид. Обкатали его там, и Птаху полетел в Сибирь на диверсии. Другая вышла статья у Демида. Никак он не прилепился к капитализму, удрал. И тут вышла такая канитель с матерью. Кто на деревне не знал, что у Филимонихи — сундуки трещат от добра? Все знали, но никому не было дела расколоть ее. А у Демида хватило духу. И не то что по злобе, а по своей доверчивости. Хотел, чтоб мать сменила рваную юбку с кофтой.

И, взглянув на Головню, заметил:

— Я так скажу тебе, Мамонт Петрович, хоть для тебя слышать подобное невыносимо, а ты все равно все узнаешь. Зря ты принял под свое крыло Авдотью, когда она заявила к тебе с интересом. Что ж ты не спросил, от кого она поимела его?

— Она, может, сама не знает от кого,— кинул конюх Михай.

— Хэ! Еще как знала!

У Мамонта Петровича перехватило дух. Он готов был горло выдрать участковому Грише за его паскудные слова, да руки у Мамонта Петровича до того обессилели, что цигарка не удержалась в пальцах, выпала в грязь под ноги. Его дочь Анисья! Какой срам! Какой позор!

— Вот куда потянул номер,— подвел итог раздумью Мамонта Петровича участковый Гриша.

— М-да,— пожевал губами Михей.

— Ее... арестовали?

Немигающий взгляд Мамонта Петровича смутил Гришу.

— Ничего не могу сказать. Сам все узнаешь.

Участковый Гриша залез в тарантас и выехал за ограду.

Остался Мамонт Петрович наедине со своим горем. Анисья! Его дочь! Больше у него никого нет, ни единой души. Судбина занесла его в отдаленный край, а не свила ему здесь гнезда, дохнуло в лицо терпкой любовью, опалило обманом, а теперь еще и отбирает Анисью.

Участковый Гриша встретился с Агнией. Та шла из конторы леспромхоза.

— Здравствуйте, Григорий Иванович.

— Привет!

— Что так спешишь?

— Неделю не был дома.

И Агния поинтересовалась, скоро ли будут судить бандитов.

— Хэ! Судить! Какая быстрая. Представляешь, какая открылась картина? Что ты можешь сказать об Анисье Мамонтовне, например?

— А что мне Анисья?

— Как что? Землячка.

— Ишь, какая родственница.— Губы Агнии передернулись, в карих глазах — злобная язвинка.— Она что, в Минусинске?

— Там.

— Я так и знала, что она прилетит.

— Гм! Поневоле прилетишь!

— Какая же такая неволя?

— Если присвадается прокурор, тут уж, черт дери, всякая любовь выскочит из любой бабы. В точности.

— С чего прокурор?

— Услышишь, Аркадьевна. А насчет Демида могу заверить, он еще предъявит доченьке Голоवेशихи полный счет.

Агния потупила голову, скупно попрощалась с Гришей, повернула к своему дому.

Тяжелое наследство досталось новому председателю от Павла Лалетина. В колхозной кассе, можно сказать, ни копейки. Кредита — не жди, если с долгами еще не рассчитались. Конеферма — в плачевном положении. А тут еще уборка хлебов подоспела.

Степан с членами правления обходил хозяйство колхоза.

— Сушилку строить? А кто будет строить? — разводил руками завхоз Фрол Лалетин.

— Без сушилки не прожить. Надо только дух поднять.

— И дух весь вышел, — бурчал Фрол.

— А ты не умирай раньше смерти, Фрол Андреевич, — перебил Степан. — И дух вышел, и руки не поднимаются! Что за упокойные разговоры! Пора встряхнуться.

— Оно так, Егорыч, пора, — косился Фрол, ничуть не тревожась напористостью Степана. Он знал, что как жил, так и жить будет. Видал он таких напористых!

В кузнице возле наковальни сидел косматый и черный от угольной пыли Андрон Корабельников. Костлявый, широкоплечий, неловко сгорбившись, старик старательно что-то записывал в тетрадь.

— Что ты тут пишешь, Андрон Поликарпович? — поинтересовался Степан.

Андрон закрыл тетрадку, поднялся:

— Про то услышишь, Егорыч, на собрании.

— Это он, Егорыч, речь сочиняет, — пояснил Фрол, вцепившись в бородавку.

— Не сочиняю, а записываю происшедшие факты за время председательствования племянника твоего Павла Тимофеевича, так и за время твоего нахождения на должности завхоза, — пророкотал Андрон.

...А на собрании Андрон, тяжело ступая, вышел к столу президиума с тетрадкой в руке и сразу же начал с погрома.

— Я наперед зачитаю, потом скажу от себя еще, — пробасил он и начал читать:

«Горлохватское правление.

Поллитру водки надо купить? Для того чтобы купить, надо иметь деньги. Их надо заработать. А как можно пить каждый день, а ничего не зарабатывать? Про то пояснение даст Фрол Лалетин, наш завхоз. Кто был при Павлухе Лалетине завхозом? Фрол Лалетин. Он распоряжался и жив-

ностью, и деньгами. Говорят: не пойман, не вор. Пословица неправильная. Пьет, а где деньги берет?

Вот взять пасеку первый номер. Сидел там Егор Вавилов — порядок был, прибыль была первеющая. Чай пили с медом. Фрол пхнул на первый номер свояка, Худина. И пасека моментом прохудилась — нету ни меду, ни денег. Или взять порядок по хозяйству. На конюшне нет сбруи. Головня сколько раз вопрос ставил решительно? А что делает Фрол? Вместо сбруи — ухлопал колхозные денежки на маслобойку да шерстобитку. Машины завезли, а к чему они, когда в наличности ни конопля, ни льна нет, из которых можно жать масло! Или про овец. Сколько их? Всего три сотни голов! План по шерсти не выполняем, а шерсточесальную машину купили. Вот и ржавеют под дождем. Разве порядок?

Примеров много, но скажу — так и далее. Мое предложение: Павлуху Лалетина надо утвердить бригадиром по первой бригаде, пусть поучится малым отрядом руководить, а прежнего бригадира беспредельно снять, как неоправдавшего доверия. Фрола Лалетина надо поставить на молотилку как машиниста. Пусть поработает для хозяйства. Из правления предлагаю вывести Фрола Лалетина и опять же Худина, как никуда не годного».

Закрыв тетрадку и утерев пот с лица, Андрон продолжил:

— Вот теперь скажу не по бумаге: председателем ревкомиссии на место Лалетина Тимохи выбрать Мамонта Петровича.

Настушила неприятная тишина. Слышно было, как пощелкивали на зубах кедровые орехи, как сопели мужики возле Андрона.

— Планеты ревизовать или как? — поднялся Фрол Лалетин, моментально сообразив, что на вопросе с Мамонтом Петровичем он может выскочить из воды сухим.

— Молчи, Фрол! — загремел Андрон. — Головня наперед грабанет тебя под пятки, а там и к планетам поднимется.

Раздался смех.

Мамонт Петрович поднялся со скамейки и стоял сейчас среди народа в своей распахнутой старой телогрейке, из-под которой виднелся низ синей рубахи. Он смахивал на маяк в открытом море, доступный всем ветрам и непоколебимый ими.

— Хлещи, Андрон! Двигай.

— Головню председателем ревкомиссии!

Но вот выдвинулся Егор Андреянович. Поднял руку, тронул щепоткой седой ус, задирая его вверх, наподобие стрелы:

— Про што толкуете, мужики? Андрон в шутку кинул, а тут и всерьез приняли. Нехорошо. Разуметь надо, а не хаханьки строить на собрании. К чему обижать убогого? Какой вам Головня председатель ревкомиссии! Ему самого себя не проревизовать! Садись, Мамонт Петрович. В обиду не дам тебя. Как бывшего моего партизанского командира.

Всем стало неудобно, стыдно. Не за Головню, а за Егора Андреяновича.

Головня раздувал ноздри, не зная, что ответить Егору Андреяновичу. Вот как можно хитро унижить человека, что и ответить-то на оскорбление — рта не откроешь.

За председательским столом на сцене поднялся Степан.

— Насчет убогости — разговор оставим на совести Егора Андреяныча.— Палец Степана указал прямо на отца.— Я лично знаю Мамонта Петровича как честного колхозника, труженика на совесть. И, конечно, не убогого. Убогими считать надо тех, кто дальше своего носа ничего не видит, кто живет, пряча нос в потемках. А Мамонт Петрович — всегда на переднем крае. И я поддерживаю предложение Андрона Корабельникова избрать председателем ревкомиссии Мамонта Петровича. Без настоящей ревкомиссии не будет порядка.

— Верно, Егорыч!

— Надсмешки строить всякий может!

— Вопрос-то важный решаем.

— Позвольте сказать! — поднял руку Зырян.

— Тише, товарищи,— крикнул Степан.— Слово — старейшему механизатору.

Все постепенно успокоились.

— А я сейчас не как механизатор скажу. Шире вопрос-то,— тихо, но внятно начал Зырян.— Я хочу узнать, кто сдал сухонаковскому участку триста гектаров сенокосов? Кто сбаврил дойных коров в город? Одну — директору треста, другую... да что перечислять? Отдали как вроде выбракованных, а на самом деле — первеющие коровы. Пусть скажет Марья Спивакова. Еще одна корова сплавлена директору леспромхоза как нетель. А три года доилась. Как так переделали в нетель? Скажи, Марья, сколь давала молока та корова.

— Пятнадцать литров,— ответила Марья.

— Слыхали? А фуганули как нетель. Запишите: «Возвратить всех коров, которых Фрол Андреевич спихнул, как никудышных». Я кончил.

Зырян сел, но тут же поднялся.

— Нет, я еще не кончил. Помните, какой был трудодень перед самой войной? Два рубля тридцать копеек. А продуктами...

— Много было, что и говорить.

— Хватало!

— Да ведь война-то...

— Война, конечно, немало порушила. Во всей стране аукнулось. Но ведь выдюжили. Да уж не первый год, как она кончилась. А у нас что? Я говорю к тому: пусть новый председатель крепко забирает вожжи в руки! Народ у нас стоящий. Наведем порядок в хозяйстве...

«Молодец старик,— думал Степан,— с такими работать можно».

Головня стал председателем ревизионной комиссии.

VII

Сторона Предивная бурлила. Заговорили все враз о делах нового председателя; некоторые считали: круто-де берет в гору, как бы гужи не оборвал.

Вожжи он натянул, уселся по-хозяйски, и — давай, давай, поехали! Ленивых брал за хребтовину, прижимал к земле; праздное слово ронял скупое, если говорил, попадал в точку. Зароды сена, поставленные рабочими леспромхоза на колхозной земле, отобрал без лишних разговоров; сено перевозили к фермам, к зимникам. Директор леспромхоза протестовал, надрывая голосовые связки, грозился поставить вопрос на бюро райкома, да все это шло стороной, мимо Степана.

Вскоре после общего собрания вернулись на МТФ семь коров, списанных по настоянию Фрола Лалетина и задарма отданных «нужным людям». Секретарь райкома, зачастивший в Белую Елань (хоть и далеко она от райцентра), выслушивая то одного обиженного, то другого, подбадривающе поддакивал Степану: «Так держать, майор!»

Маслобойку со всем оборудованием пришлось сбывать одному из степных колхозов в обмен на племенных телок и тонкорунных овец, каких на стороне Предивной и в глаза

не видывали. Шерсточесальную машину, освободив от ржавчины, вернули сельхознабу, а взамен привезли веревки, хомуты, вожжи и всяческую хозяйственную утварь.

С зорьки, едва начинало отбеливать, Степан шел уже по деревне, заворачивая то на бригадный баз, то на МТФ, то в кузницу. Иные подозрительно поглядывали из окон на председателя, почесываясь, кряхтели.

А Степан шел тугим армейским шагом, всегда подтянутый и строгий, в мундире без погон, а если поливало дождичком — ходил в шинели под ремнем, будто он находился в армии. И если какая из любопытных бабенок, глянув в окошко, встречалась с цепким, вытягивающим взглядом председателя, ей становилось не по себе.

— Ишь, лешак, до нутра прохватывает!

— Вроде как сквозь стены видит.

— Оботрется, может. Павлуха начал тоже с крутого поворота, да скоро обмололся.

— Михея Замошкина вроде берет за хребтовину.

— Да ну? Самого Михея?

— И-и не совладеет! Замошкины — отродясь охотой промышляли. Што им колхоз!

Неуемная сила гвардейца Степана незаметно проникла в каждый двор, лезла в застолья, заставляла ссориться мужиков с бабами, снох с золовками, старух с дочерьми. «Выбрали же себе на голову майора, чтоб ему лопнуть!» — говорили одни. «Привыкли за последние годы вразброд жить, вот и не нравится! — возражали другие. — Понятное дело — ему без нас успеха не добиться: однако и нам без настоящего руководителя колхоз не поднять — факт».

Первое время бригадиры Павлуха Лалетин и Филя Шаров летали по деревне от дома к дому, звали, тревожили, требовали. И люди шли — на запоздалый сенокос, на уборку подоспевших хлебов, на закладку силосных ям, на строительство зерносушилки.

Мало-помалу вся Белая Елань, до того тихая да сонная, стала заметно просыпаться.

VIII

Завернула беда и к хитроумному Михею Замошкину, медвежатнику-одиночке, откачнувшемуся всей семьей от колхоза, промышлявшему добычей зверины, орехов, ягод и торговлишкой.

Ни сам Михей, еще ядреный, ни его сын Митька, ни сноха Апроська, ни глухая дочь Нюська ни разу не вздохнули над колхозной пашней, но пользовались землею колхоза. Поставили в Татарской рассохе три зарода сена, насадили в поле картошки чуть ли не с гектар, растили поросят, трех овец, холили добрую корову, четырехлетнего бычка. И корова, и бык возили в надворье сено, дровишки.

Прежние председатели прикладывались к Михею со всех сторон, да ничего не вышло. Нажимали на совесть, на сознание, но все это покрылось у Михея такой толстой броней, что ничего не помогло.

До Михея стороной дошло, что Степан-де готовит ему полный притужальник; что члены правления колхоза единогласно решили выселить за пределы Белой Елани семьи Михея Замошкина и Вьюжниковых. Михей хотя и не верил в законность решения правления, но заметно встревожился: «А чем черт не шутит!» Откомандировал сына Митьку в район по начальству и прежде всего к братцу, Андриюхе Замошкину, начальнику райфо.

На неделе навестили Михея правленцы — Степан, Павлуха Лалетин и Вихров.

Апроська возилась с поросятами. Рослая и еще сильная старуха готовила на огромной каменке в пузатом чугушке какое-то варево для супоросной свиньи, сам Михей, ворочая могучими лопатками, мастерил здоровущую колотушку из березового чурбана, какой бьют по стволу кедра,— скоро ведь дойдут орехи.

Степан прошел в ограду первым, не вынимая рук из карманов армейского серого плаща, осмотрелся, захватив единым взглядом пол-усадыбы, вместе с согнутой над каменкой спиной старухи, с толстыми ногами Апроськи, а тогда уже встретился с настороженным взглядом Михея.

Сорочьи глаза Михея дрогнули, не выдержали поединка со Степановыми черными смородинами. Он поднялся и повернулся к председателю.

— Как же вы дальше соображаете жить, Михей Васильевич? При колхозе числитесь с тридцатого года, а на колхоз давным-давно не работаете?

— Мало ли кто числится.

— А у тебя, Апроська, сколько трудодней? — спросил Павлуха.

— А што мне с трудоднями, целоваться или как? Они меня не кормят!

Павлуха осекся, глянув на Степана. «Изучает обстановку, черт лобастый».

Работать со Степаном оказалось нелегко. Взвешивай каждое слово. В бытность Павлухи председателем контора колхоза смахивала на проходной двор. Люди сидели тут днями и вечерами, потчуют друг друга побасенками; дымили, бросали окурки на пол, на что Павлуха не обращал никакого внимания, сам постепенно обрастая грязью и податливо устремляясь на первый зов «побеседовать за поллитрой». При Степане с первого же дня контора превратилась в штаб. Никаких праздных разговоров. Ни окурков, ни плевков.

— Нету антиресу при колхозе,— сипел Михей.— Мой антирес при тайге. Не просим же мы хлеба?

Глаза Степана сузились.

— Хлеба не просите, но живете-то на колхозной земле,— сказал парторг Вихров.— Если исключим из колхоза общим собранием, учтите — и участок огорода отберем, и картофельное поле, и все зароды сена. Числитесь колхозниками, а промышляете в тайге.

— По договору промышляем. И мясо-зверину сдаем, и шкурки — как белок, так и зверя всякого.

— Договор имеете?

— И договор есть.

— Покажите.

Михей развел руками:

— Вот Митька привезет из района.

— Не было у вас никакого договора! — утвердил Вихров.— И какой может быть договор, когда вы член колхоза? Мы же вас не отправляли в охотничество.

— Как не отправляли? — уцепился Михей.— Вот Павел Тимофеевич пусть подтвердит: само правление, когда он, значит, хозяином был, разрешало нам работать для промысла.

— Кто разрешал? — опешил Лалетин.

— Да ты же сам и разрешал.

— Я?

— Апроська, позови Нюську. Пусть она скажет.

Павлуха обалдело уставился на Михея:

— Как же Нюська может знать, что я говорил, если она грохота пушки не услышит?

— Нюська-то? — Михай облегченно перевел дух, почуяв слабину наступающей стороны.— Ты, кажись, засматривался на Нюську-то, Павлуха. Аль запоматывал? То-то и оно! Разговор имел с ней.— И, глянув на Степана, заискивающе пояснил: — Сколь раз вел с ней собеседование. Она ему говорит, а он ей на бумажке ответы пишет. Вот на бумажке ейной ты и написал, что ежели, мол, Михай Васильевич промышляет охотой, то правление колхоза не против охотников. Для охотников тайга — плацдарм. А теперь што жа, в обратную сторону? Ишь как! Бумажки-то я еще вечер подобрал с твоими записями на вопросы Нюски. Хотел вот показать Егорычу, что, значит, не по своему норову ударились мы в тайгу. По закону! Как ты был власть колхозная — ты и разрешения давал. А што дело у вас расклеилось с Нюской, так здесь моей вины нету.

Лалетин, потупя голову, молчал. Он здорово влип! Как же он не предусмотрел уничтожить те записки?

— Спомнил? — сверлил басок Михея.

Павлуха выцарапывал из уголка глаза сорину, морщился.

— Где там запропастилась Апросинья? — засеменял Михай к крыльцу.

— Ты што же, Егорыч, делаешь с нами? — напомнила о своем существовании старуха.— Я ить довожусь тебе сватьей.

— Ясен вопрос? — спросил у Степана Вихров.

— Все ясно,— заговорил Степан.— Человек спиной повернулся к социализму, ко всей Советской власти, какие могут быть разговоры?

С крыльца избы, по-молодому прыгая через ступеньки, летел Михай с «пустяками Павлухи». Передал пару бумажек Степану, хитро сощурился.

Вот что прочитал Степан в первой бумажке:

«Нюсечка, напрасно волнуешься. Отец и брат твой — охотники самые первые. Их дело таежное — пусть живут. А если ты дашь согласие быть моим другом жизни,— простору хватит для всех нас. После перевыборов я займу должность начальника участка леспромхоза. Или пошлют меня директором совхоза. Как скажешь, так и жить буду. А не говори, что мои слова про любовь одни пустяки. Я бы тебе день и ночь писал про любовь».

Степан поморщился, будто хватил ложку тертой редьки. На другой записке было написано:

«Зря волнуешься, Нюся. Мало ли чего не треплют по деревне. Я председатель и никакого протеста не имею против Михея Васильевича. А бабьих сплетен никогда не переслушаешь. Скажи: кто тебе говорил, что я покрываю твоего отца?»

Степан протянул записки Михею.

— Храни. Или брось.

— Што? — пригнул голову Михей.

— Ерунда — все эти любовные записочки.

— Само собой, — Михей вздохнул, пряча в карман записки.

— А дело тут серьезное. Вопрос поставим на общем собрании колхоза.

Челюсть у Михея отвисла. Как-то сразу он почувствовал, что в надворье вошла такая сила, которая действительно может скрутить самого Михея. И что эта сила сомнет его, изжует и вышвырнет вон из привычной кормушки. А куда? «Куда-х-та-тах», — голоснула рядом курица со взъерошенными перьями.

— Кыш, погань! — пхнул Михей курицу.

На возвышении крыльца показалась Апроська, а за нею Нюська, в ситцевом цветном платье, с открытым, напряженно слушающим и разглядывающим взглядом больших светлых глаз. Она медленно сошла по ступенькам.

Сомкнув брови, Степан в упор глядел на Нюську.

«Что он на меня так смотрит?» — беспокоилась Нюська, подняв брови. Она еще не знала, кто этот человек в армейском плаще, плечистый, с пристальным взглядом черных глаз. Она даже не знала, что Павлуха Лалетин, ее бывший поклонник, уже не председатель колхоза. Ей никто ничего не написал о переменах в деревне. А какие-то перемены есть! Она это поняла по встревоженному состоянию отца.

— Что случилось, Павел Тимофеевич? — спросила Нюська, по обыкновению протянув Павлухе маленькую записную книжку с карандашом.

Павлуха кивнул на Степана, а книжки не взял.

— Пожалуйста, напишите, что случилось, — попросила Нюська Степана, вручая книжку.

— Она что, и вправду глухая? — спросил Степан.

— Ни звука! Четыре года, как оглохла. От простуды. Вот и говорю, — начал было Михей, но Степан, раскрыв книжку, зажав ее в ладони левой руки, написал:

«Думаем решением правления колхоза «Красного таеж-

ника» исключить из колхоза вашу семью и выселить ее за пределы Белой Елани. Сегодня состоится общее собрание колхозников. Устав артели диктует: тот, кто не трудится в артели, тому нечего делать на колхозной земле. Председатель колхоза Вавилов».

Нижняя губа Нюски передернулась, лицо потемнело, и девушка, едва сдерживаясь от слез, тревожно и жалостливо глядя на Степана, торопливо забормотала:

— Я так и знала! Так и знала! Как можно так жить! А мне всегда писали, что все правильно. Ничего не правильно! И вы тоже, Павел Тимофеевич! Я хочу работать и жить в колхозе, как все! Чем я виновата, скажите, пожалуйста! Я хочу работать при МТФ. Почему не разрешили мне? Скажите, почему?

— Ты что, и в самом деле не разрешал ей работать на МТФ?

Лалетин сдвинул фуражку на лоб:

— Да какая же из нее работница? Она же как пень глухая.

Девушка внимательно следила за губами. Заметно побледнела и со слезами в голосе проговорила:

— Ну и что же, что я глухая? Если я глухая, значит, мне места нет в жизни? Да? За что меня выселять? Или за то, что я не согласилась быть женою Лалетина? Я комсомолка, понимаете? Я, может, еще вылечусь.

И глаза Нюски впились в губы Степана. Она ожидала ответа. Вытащив из кармана гимнастерки свою записную книжку, Степан написал:

«Если будете работать на МТФ, приходите сегодня на общее собрание колхоза к восьми вечера, обсудим ваше заявление».

— Погодите, погодите,— опомнился Михай.— Это што же выходит, на выселку меня? Как вроде кулака?

— С какой стати, как кулака? Просто вам придется убраться с колхозной земли. Единоличных наделов колхоз не дает.

Степан знал, что если он этого не сделает немедленно, сейчас же, тогда и другие, глядя на Михея, окончательно откачнутся от колхозной работы. Он вспомнил про письмо от имени всех колхозников района. И по тому письму дано обещание вырастить стопудовый урожай, сдать мясо, молоко, овощи в срок, а стопудового урожая не предвидится, а из района жмут: душа через перетягу, а обязательно должно

быть выполнено! Нет, такие Михей — только помеха в хозяйстве. Окончательный разор!..

— Да што вы, ребята? Да я... как же так? Ежли новое правление решение приняло, чтоб работать нашей семье, да мы с моим удовольствием. Хоть завтра выйдет на работу Апроська.

— Так и есть! — покривилась Апроська.— Нужен-то мне ихний колхоз!

— Цыц ты, кадушка! — топнул Михей.

— Подумаешь,— мотнула головой Апроська и пошла себе в избу. Михей растерянно топтался на одном месте, просил правление «воссочувствовать ему», принимая во внимание его прежние заслуги. Степан ответил, что заслуги эти, видно, слишком долго принимались во внимание, что на одних заслугах в рай не проедешь, что решит судьбу Михея — собрание.

IX

Нюська вернулась с собрания в середине ночи. Возбужденная, глаза заплаканные. Не глянув на отца, сняла полшалак, поправила обеими руками свои льняные волосы, села на лавку возле стола.

— Сами знали, что так жить нельзя, а жили. Против всех,— тихо, очень тихо проговорила Нюська, как иногда говорят оглохшие, которым кажется, что они говорят достаточно громко.— Мне было так стыдно за вас!

...Она сидела и не слышала, что толковал народ о Замошкиных и Вьюжниковых, но, казалось, сама атмосфера общего собрания до того была насыщена зарядами досады и обиды, что Нюську прохватило будто электричеством.

Впервые побывала она на общем собрании колхоза и прочувствовала, именно прочувствовала, что ее затворническая жизнь в семье, отколовшейся от колхоза, была просто постыдной, чужой и никому не нужной. Мучительное сознание того, что она, красивая девушка, постоянно находилась в каком-то звуконепропускаемом погребе, угнетала ее, и она не знала, как можно выбраться из этого проклятого погреба, где до нее не доходило ни единого звука жизни! Ни единого звука!

И вот Нюська на собрании. Пусть она сначала не знала, о чем говорят колхозники,— ведь почти все выступавшие стояли к ней спиной и нельзя было следить за движением

губ; она только раза два видела, как новый председатель говорил, сидя в президиуме: «Правильно!» И еще она видела несколько раз, как он наклонялся над столом, что-то писал, а потом передавал бумажку Нюське.

И Нюська с дрожью в сердце следила, как бумажка приближалась к ней, и, взяв ее, читала. Братья Черновы, медвежатники из промысловой бригады колхоза, говорили, например, что Михея Замошкина надо бы турнуть куда-нибудь подальше как браконьера, истребившего десятки маралов. И это была правда!

Потом... потом Нюся сама выступала перед колхозниками. Не слыша ни своего сдавленного горем и стыдом голоса, ни наступившей полной тишины, она стала говорить о себе, о своем несчастье... Пусть ей разрешат остаться при колхозе, и она будет работать на МТФ — просто дояркой. Учиться и работать.

Ей сочувствовали. Это она видела.

Народ вынес решение: оставить Анну Замошкину в колхозе, а всех остальных членов семьи исключить из колхоза и выселить за пределы Белой Елани. Натерпелись, хватит!

— Это Черновы на меня несли из-за маралов? — шумел Михай Васильевич. — А ты што им сказала? А? Или у тебя язык отсох?

— Есть решение собрания выселить, — пролепетала дочь.

— Черта с два! Я им покажу «выселить», тетеря! — Отец тряхнул дочь за плечо, чтоб она подняла на него глаза, спросил жестами, что она сделала с записками Лалетина. — Записки Павлухи читала иль нет? А?

— Я изорвала записки, когда шла на собрание. Что закрываться записками, когда все, что говорили на собрании, — правда.

— Порвала записки? Да ты што, окаянная! Документы изничтожила! Да врешь ты, тетеря! — и сам полез в карман пиджака, а потом и в карманы платья дочери. Выгреб все ее бумажки, записную книжку и разложил на столе возле лампы. — Вот еще навязалась на мою шею, глухая тетеря, — бормотал он, поднося к лампе то одну, то другую бумажку, и никак не мог найти нужную. А вот записка Вавилова! «Братья Черновы говорят, что Михай Васильевич с Митькой систематически истребляют маралов».

— А ты ему што? А? Как ответила Вавилкову? Говори! — И ткнул записку под нос дочери.

— Это же правда, тятя!

— Што? — округлил глаза Михей.— Чтоб тебе ни дна ни покрывки! Да ты меня топить ходила на собрание, окаянная! Отца родного! Да ты што понимаешь в моей жизни, как она происходит? Думаешь, я буду тянуть на колхоз до седьмого поту? А Михею — шиш под нос! На, Михей, выкуси! Отчего я в тайгу ударился — это ты понимаешь?! Жрать-то ты каждый день просишь, глухая тетеря...

— А как же другие, тятя? — скорее поняла слова отца, чем услышала Нюска.

— «Другие»! Плевать мне на других! Хошь все передохнете. Другие воруют, тянут все что ни попади. Я и честным трудом проживу. Охотой! Зарезала, зарезала отца родного! У, пропастина окаянная! — И, не в силах сдержать подступившую спазму злобы, ударил дочь по щеке. Та откинулась на простенок:

— Тятя!

— Я те дам «тятя»! Чтоб духу твое не было у меня в избе! Живо! Метись! — И, схватив за руку дочь, рывком откинул ее к порогу.

Нюска убежала из избы, не закрыв за собою дверь. Проснулась Апроська в горенке. Выскочила в одной нижней рубашке и, взглянув, как Михей рвал в клочья записную книжку и разные бумажки Нюски, тут же спряталась.

Под утро появился Митька — ходатай Михея.

— Ну, што там, в районе? — подскочил к нему отец.— Тут у нас собрание проходило — турнули нас из колхоза. А там как, говори. Был у Андрюхи?

Митька сбросил тужурку, уселся на лавку. Здоровенный мужик, как и отец, чернявый, с глубоко запавшими глазами на скуластом лице, в сатиновой рубахе с расшитым столбиком. Такому бы работать в кузнице вместо старого Андрона Корабельникова.

— Худо дело, тятя. Про район даже не говори,— пробурчал Митька.

— Был у Андрюхи?

— Дядя Андрей — што! И ухом не повел.

Михей схватился за голову.

— Угробила глухая тетеря! Как есть под монастырь подвела! Нюска-то заявила на собрании, што мы с тобой, дескать, маралов почем зря лупили.

— Нюска? — спохватился Митька.— Да я из нее жилы вытяну! Где она?

— Турнул я ее ночесь, паскудницу! Пусть метется.

Узнает, почем согня гребешков! Она ишло по-настоящему хрип не гнула. А мы и при городе проживем. Была бы шея — хомут найдется!..

Дня через два семья Замошкина выехала в город. В избе Михея осталась хозяйничать при голых стенах единственная дочь Нюска. Михей сам распорядился собрать все пожитки от подушки до последней ложки. Собственноручно заколол на дорогу семипудового борова, десяток поросят, отрубил всем курицам головы, а корова и бык остались в надворье — председатель сельсовета не разрешил продать.

ЗАВЯЗЬ ТРИНАДЦАТАЯ

I

С того дня, когда Санюха Вавилов явился к следователю с повинной, а тут еще Филимон Прокопьевич приволок в деревушку Подкаменную диверсанта Ивана Птаху, следствие пошло совсем в другом направлении.

Демида освободили. Но Анисью арестовали. На Анисью обрушилось страшное горе. Эта боль не покидала Демида ни днем, ни ночью. Он знал, что она жертва каких-то страшно запутанных обстоятельств. Но каких?! Как могла она носить в себе такую тайну и даже ему не сказать ни слова!.. «Нет, это ошибка, ошибка. Недоразумение», — твердил себе Демид. Он знал и помнил Анисью-Уголек. Верил в ее доброе, горячее сердце. Но что стоила его вера перед запутанным узлом надвигающихся событий! «Я должен ее выручить! Помочь ей. Если мать... Если Голоवेशиха запутала ее с детства... Разве можно карать ее за это? Одна Голоवेशиха не делает погоды, — размышлял он. — Кроме Голоवेशихи, были еще люди, среди которых росла Анисья. Были причины, из-за которых она носила этот тяжкий груз в себе... Разве со мной не случилось подобного, хотя я и ни в чем не был виноват?..»

В кабинете майора Семичастного он заявил:

— Я могу дать показания по делу Ухоздвигова. Я твердо уверен: Анисья Головня тут ни при чем. Скажите: разве вы не арестовали меня в Подкаменной, подозревая в дивер-

сии? Так вот, я хочу сказать: не такая ли ошибка произошла и с Анисьей Головной?

Ноздри Демиды раздулись, и он, не в состоянии выслушать майора, поглядывающего на него с мягкой улыбкой, заговорил громко и зло:

— Вы скажете: весы сердца — не всегда точные? Правильно! Но не думайте, что я говорю только по велению сердца. Я сам... Вся моя жизнь... Что она мне говорит, моя жизнь? — запинаясь, говорил Демид. — Думаю, легче всего искалечить человека, чем оказать ему помощь. Надо защищать человека, помогать, если он заблудился. Но не убивать. Убивать — каждый дурак сумеет. А вот спасти, поставить на ноги — не каждому дано. Тут надо иметь характер, сердце, совесть, а еще больше — опыт жизни.

— Хорошо, успокойтесь, — начал майор, не глядя на Демиду. — Я хотел узнать: можете ли вы присутствовать на допросе одного из арестованных по делу диверсионной банды? И вижу — не можете.

— Как то есть не могу?

— Потребуется от вас большая выдержка.

— Так в чем же дело? Если вы думаете, что я могу случайно взорваться, то вы просто ошибаетесь.

— Прекрасно! — майор поднялся со стула. — Тогда я попрошу вас к четырем часам дня в управление.

— Хоть сию минуту.

— Нет, нет, к четырем часам дня завтра.

— Буду, — отчеканил Демид, твердо решив: «Что бы ни случилось, я буду защищать Анисью-Уголек!..»

Неизбежное приближалось...

За дверью послышались шаги. Сердце Демиды будто вмиг распухло, уперлось в ребра, гулко стукнув, точно пробивало себе дорогу. Сейчас он увидит Анисью. Что она? Какая она?

Машинально ухватившись за кожаный кружочек на глазу, он заметил, как пристально поглядел на него пожилой подполковник Корнеев.

Кабинет — квадратная светлая комната с четырьмя окнами, вся в пятнах солнечного света. Возле ног Демиды растянулась тень оконной рамы, вытянутая к письменному столу, за которым сидит подполковник — человек медлительный, подстриженный под ежика, тот самый Никита Кор-

неев, который когда-то работал в Минусинске в чека.

Тоненько пискнула дверь — и на пороге Анисья-Уголек. Демид выпрямился на стуле. Он ее увидел сразу всю — в бордовом платье с мелкими, сбежавшимися в кучу складочками на боку, с ее такими необыкновенными пышными красноватыми волосами, в кудряшках которых запутались лучики солнца, отчего волосы будто шевелились, медленно разгораясь багрянцем. И вдруг потухли — лучики солнца переместились на смуглый лоб милиционера, который шел следом за Анисьей.

В ту секунду, когда Анисья перешагнула порог кабинета, держа голову вниз, она почувствовала, что в кабинете следователя сидит Демид. И, подняв глаза, встретила с его немигающим взглядом.

Кровь отлила от лица Анисьи.

— Проходите, Головня. Садитесь,— проговорил милиционер, и она машинально двинулась к стулу, присев на краешек сиденья.

— Вы здоровы?

Она посмотрела на подполковника и, с трудом сообразив, что у нее спросили, ответила:

— Да.

Подполковник вышел из-за стола и занял место между Демидом и арестованной.

— Посмотрите на этого человека.

Она вся повернулась к Демиду, но поглядела не в лицо Демиду, а на мелко вздрагивающие пальцы, теребящие пуговицу гимнастерки.

— Кто этот человек?

— Демид Боровиков.

— Расскажите, как вы его знаете, когда впервые встретились, какие у вас были взаимоотношения.

Демид опустил голову.

— Я же... давала показания...

— Расскажите еще раз, и как можно подробнее.

Как же она сумеет рассказать поподробнее о своих взаимоотношениях с Демидом, если у нее в голове сейчас все перепуталось?

— Тогда... в тридцать седьмом году... я была еще девочка. Он же наш, деревенский,— и облизнула губы, напряженно собираясь с мыслями и с трудом удерживая нить рассказа.— Тогда я еще совсем ничего не понимала.

— Говорите.

Майор Семичастный писал протокол. Анисья поглядела, как записывает ответы майор, стиснула ладони.

— Не помню сейчас. В августе так или в сентябре — арестовали отца. Я побежала к Демиду Боровикову в пойму Малтата. Не помню, что говорила. Просила еще, чтобы он взял меня с собою в тайгу от матери...

— Вы подтверждаете это, товарищ Боровиков?

— Подтверждаю. Случилось это в начале сентября, в первых числах.

— Не вспомните, что она конкретно говорила вам о матери?

— Что она плохая, скверная и что она, ее мать то есть, никого не любит, кроме самой себя.

— А не сказала вам тогда Анисья Головня, что у матери есть особенная, тайная любовь?

— Нет. И слов не было ни о каких тайнах.

— Расскажите, Головня, как появился у вас в доме военный человек в тысяча девятьсот тридцать седьмом году? И кто был этот человек?

Анисья испуганно поглядела на подполковника, но тут же еще ниже опустила голову.

— Он появился... в сентябре, нет в августе. Помню хорошо, что он приехал ночью.

— Как его встретили? И кто его первым встретил?

— Мать. Она вышла на стук в дверь. Отец был тогда в тайге. Я спросила у матери, кто это? Она ответила, что это ее знакомый, что он из Красной Армии... И еще она сказала, чтобы я не болтала языком. И если я не буду молчать, то мне он сам отрежет язык.

— Где он провел ночь?

— С матерью в горнице.

— Вы хорошо помните, что мать один раз сказала вам, что военный из Красной Армии, а потом — из НКВД?

Недоумевающий взгляд Анисьи метнулся на подполковника. Она, конечно, хорошо помнит, как сказала тогда мать. И в первых протоколах ее допроса это записано.

— Я это хорошо помню.

— Так. Продолжайте.

— Когда я проснулась утром после той ночи, военного не было. Я спросила у матери, где он? Она меня шлепнула и сказала, чтобы я прикусила язык.

— Когда он появился во второй раз?

— Тоже ночью.

— Он был один?

— Нет, их было двое.

— Что вы подслушали в ту ночь?

— Он говорил... Я смотрела на него в щель и вся тряслась, что-то мне было страшно, не знаю. Он тогда сказал: теперь пусть моют золото не драгой, а голыми руками. И что, если еще вторую драгу разворотить, тогда прииск накроется, или как-то по-другому сказал. И еще, что большая шахта на Разлюлюевке накроется завтра. Я это хорошо помню. А потом говорили — кого НКВД арестовало на прииске...

II

«Так вот где собака зарыта. Узелок-то когда завязан. А может, еще раньше».

Слушая Анисью, перехватывая каждый ее вздох, заминку, Демид все еще не мог поверить, что такой чужой, глуховатый голос, отвечающий на сдержанные, спокойные вопросы подполковника Корнеева, принадлежит именно Анисье Головне, а не какой-то незнакомой женщине, которую Демид никогда не знал. Но перед ним сидела Анисья. Вот тут, рядом, в двух шагах от него. Он, конечно, помнит, когда Анисья прибежала к нему, как она тогда плакала от страха и от укуса змеи. Но он понятия не имел о тайных связях с Ухоздвиговым покойной Голоवेशихи.

«Если бы я знал правду, то не ушел бы из тайги. Нет! Другой был бы коленкор».

— Я вот хочу спросить, почему Анисья не сказала мне правду тогда? Если она и сейчас все помнит, как происходило дело?

Анисья, закусив трясущиеся губы, сдерживая подступившие слезы, напряженно разглядывала собственные руки.

— Отвечайте, Головня.

— Я... Я ничего не могу сказать... Я не знаю, почему я тогда не рассказала все.

— Что вы спросили потом у матери, когда тот военный уехал от вас? И что она вам ответила?

— Мать? — В глазах Анисьи стояли слезы.— Когда я спросила, кто такой военный, который уехал, и почему она называла его Гаврей, она мне сказала, что мой отец мученик, что ему приходится скрываться, что все прииски в нашей тайге — его и ее собственные и что они их скоро

вернут. А я буду их единственной наследницей... И что Головня не отец мне.

— И вы сумели сохранить тайну матери?

— Да,— пролепетала Анисья, облизнув губы.

— Теперь расскажите, когда в вашем доме появился артельщик-промысловик, в котором вы сразу опознали того же военного. И как он назвался?

— Это случилось в начале войны, в июле. Они вчетвером приехали в Белую Елань. Ехали в тайгу будто бы добывать смолу-живицу для военного завода. Трое остановились у Санюхи Вавилова, а бригадир артельщиков у нас. Он был в военной форме, с кубиками. Капитан какой-то военной части. Не помню. Михаил Павлович Невзоров — так его звали. А мать велела мне звать его дядей Мишей. Я его узнала... Приехали они днем. Я и мать были дома. Когда он вошел в избу, мне показалось, что я его где-то видела.

— Что он говорил о войне?

— Он жил всего три дня. По вечерам у нас собирались мужики: Филимон Прокопьевич, завхоз колхоза, Санюха Вавилов, Михей Замошкин, Вьюжников. Он говорил им, что к осени в Сибири установится новая власть, что каждый будет хозяином, как было раньше. И что в Белой Елани жизнь сразу пойдет в гору.

— Вы тогда вступили в комсомол?

— Да. В школе вступила. Тогда я только что получила аттестат.

— Зачем вступили в комсомол? Расскажите.

Анисья еще ниже уронила голову.

— Зачем вы вступили в комсомол, если ждали переворота власти?

— Я не ждала.

— Но ведь мать внушала вам, что вы дочь золотопромышленника, что отец ваш — хозяин приисков, и вы верили этому?

Демид пытался прикурить папиросу, но никак не мог зажечь спичку.

— Когда вы узнали от матери, что этот человек — ваш отец — Гавриил Ухоздвигов?

— Когда он ушел в тайгу, мать мне все рассказала.

— Что вы знали о пожаре тайги?

— Из разговора матери... я поняла, что тайгу подожгли артельщики, которые приехали с ним.

— Когда он уехал в город, Ухоздвигов?

— Осенью. Я тогда ехала с ним в Красноярск в институт.

— Когда он вернулся?

— Опять в июле, на другой год.

— Где вы с ним встретились?

— На пароходе. Я ехала из города. Он встретил меня на палубе, сразу, как пароход отошел от пристани города. Я ехала в четвертом классе, и народу было очень много. Была страшная давка. Он перенес мои вещи в каюту.

— В какую каюту? И на каком пароходе вы ехали?

— На «Академике Павлове». Он взял разрешение у капитана занять служебную каюту. Там ехала еще какая-то старушка, я ее не помню. И еще какой-то человек,— пролепетала Анисья.

— Ни старушки, ни постороннего человека не было с вами в каюте,— поправил подполковник.

— Были! Были! Не одна же я была с ним!

— Так вы отвечали на всех прошлых допросах. Но следствие располагает другими данными. Зачитайте, майор, показания капитана парохода Васютина. Вы знаете такого капитана? Вспомните.

— Был капитан. Но я... я не знаю его фамилии.

Майор Семичастный зачитал показания капитана парохода Васютина: «Личность на фотографии я опознал. Помню я его. Дело было в августе 1942 года. Мы уходили в рейс в Минусинск. Человек этот принес ко мне в каюту пару бутылок коньяка. В то время коньяк был редкостью. Он назвался каким-то инструктором крайзаготпушнины, точно не могу сказать. За беседою он много говорил о предстоящем разгроме фашизма и вообще показал себя патриотом. Сам он — будто инвалид, с той войны. Я хорошо помню: он показывал «белый билет», но по какой статье он был снят с воинского учета, не могу сказать. Может, я тогда не обратил внимания на статью. Потом он, в виде одолжения, попросил у меня разрешения занять служебную каюту, так как с ним будто бы ехала его дочь. Каюта была не занята, и я отдал ему ключ. Там я увидел девушку».

«Пила ли та девушка коньяк?»

«Пила. Рюмки две выпила. Это я хорошо помню».

«Вам показана фотокарточка одной женщины. Не опознаете ли вы в этой личности ту девушку?»

«Это она самая. Совершенно точно».

«Какие были взаимоотношения у того человека с этой девушкой?» — «Очень любезные, но не похожие, что этот человек был ее отцом. Девушка стеснялась немного, но когда выпила коньяк, то, как я обратил внимание, не отказывалась от ухаживания со стороны своего покровителя даже в моем присутствии».

«Личность вот на этой фотокарточке — Гавриил Иннокентьевич Ухоздвигов. Это тот самый человек?»

«Тот самый».

«Личность вот на этой фотокарточке — Анисья Мамонтовна Головня. Это та девушка?»

«Та самая».

«Имели ли вы какие-либо личные счета с указанными личностями?»

«Никогда и никаких. Они только раз проехали на моем пароходе. Больше я их нигде не встречал».

Майор Семичастный попросил Демида взглянуть на протокол; затем он подозвал к столу Анисью Головню.

— Взгляните на подпись капитана Васютина.

Словно омертвевшими, остановившимися глазами Анисья глянула на протокол, но не видела не то что подписи Васютина, но и папки с бумагами.

— Садитесь,— сказал ей майор.

И она машинально опустилась на стул.

— Зачитайте, майор, показания Гавриила Ухоздвигова.

— Не надо! Не надо! — вскрикнула Анисья, умоляюще вскинув глаза на подполковника.

— А разве вы знаете, какое это показание? Мы его вам еще не зачитывали. Послушайте.

Анисья всхлипнула, вытирая слезы, пила воду, и зубы ее звонко цокали о стекло. Все эти звуки бились в Демиде, отдаваясь в сердце. Ему было невыносимо тяжело.

Между тем Ухоздвигов показал вот что:

«Вопрос: Вас познакомили с показаниями капитана парохода Васютина. Подтверждаете ли вы эти показания?»

Ответ: Подтверждаю. Личных счетов с Васютиным не имею.

Вопрос: Какую цель вы преследовали, уединяясь в каюту с Анисьей Головней?

Ответ: Я постарался сделать все возможное, чтобы направить ее на путь борьбы с коммунизмом, чему я посвятил всю жизнь. Я видел в ней цельный характер. Я начал с того, что мы с нею не чужие люди, а родственные души, хотя ни

она, ни я словом не обмолвились, что мы родственники по крови. Я знал и твердо уверен, что она в будущем последует моему примеру, посвятит всю свою жизнь борьбе с коммунизмом. И эту мысль я ей сумел хорошо внушить и разъяснить

Вопрос: Назывались ли вы Анисье Головне своим настоящим именем?

Ответ: Мы и без того достаточно понимали друг друга.

Вопрос: Что вы внушили Анисье Головне о фашизме и о войне?

Ответ: Я не внушал, я на нее имел прямое влияние. Если говорить о внушении, то это было сделано до меня ее матерью.

Вопрос: Что вы внушили Анисье Головне о ее будущем?

Ответ: Тогда этот вопрос мною не был решен. Я ждал окончательной развязки войны. Если бы в России установился настоящий порядок, то, вероятно, мне пришлось бы взяться за восстановление моих приисков. Тогда бы я нашел место и для моей дочери. Я никогда не забывал, что она моя единственная дочь, и постарался бы сделать все возможное, чтобы она была счастлива. То, что мне не удалось, не моя вина.

Вопрос: Уточните, какие были между вами взаимоотношения?

Ответ: Между мною и Анисьей в годы войны установились взаимоотношения полного единения. С тех пор мы встречались с нею как хорошие друзья. Я верил, что она никогда не пойдет на предательство.

Вопрос: И вы никогда не назывались ей отцом?

Ответ: В этом не было необходимости.

Вопрос: Принимала ли Анисья Головна участие в диверсиях, совершенных вами на прииске Раздольном, а также в поджогах тайги и в делах секты «Свидетели Иеговы»?

Ответ: В этом также не было необходимости. У меня было достаточно помощников и единомышленников.

Вопрос: Кто вам помогал?

Ответ: Кроме известных вам лиц, во время войны — дезертиры, скрывавшиеся в тайге.

Вопрос: В показаниях капитана Васютина есть намек на то, что между вами и Анисьей были особенные взаимоотношения? Как понимать такие взаимоотношения?

Ответ: Между мною и Анисьей была только духовная

близость, полное единение. Что, вероятно, и бросилось в глаза капитану Васютину.

Вопрос: Взгляните вот на эту фотографию. Узнаете ли вы, кто сидит за столиком в ресторане?

Ответ: За столиком по правую сторону сижу я, по левую — Анисья. Это было в ресторане «Енисей» в 1949 году...»

Наступила минутная заминка.

Майор Семичастный, закрыв папку с делом Ухоздвигова, ждал, что скажет подполковник.

Анисья, согнувшись на стуле, рыдала навзрыд. Подполковник в третий раз подал ей стакан воды. Она приняла стакан, но руки ее так дрожали, что она едва удержала стакан, сплеснув воду на платье.

— Успокойтесь.

Подполковник опустил ладонь на плечо Анисьи.

— Если вы так запутались, надо смело развязывать узлы. Другого выхода нет.

— Я, я разве виновата, что родилась у такой матери, — сквозь слезы пробормотала Анисья. — Чем я виновата? Такая жизнь! Всегда обман! Всегда хитрость!.. Я ничего не могла сделать... это началось сразу, как я только помню себя. И тогда на пароходе... не знаю, почему ушла из трюма... я знала... чувствовала, что кругом запугалась, а как быть — не знала! Не было у меня единения с Ухоздвиговым! Не было. Я всегда слушала и молчала. Не было, не было!

— Успокойтесь.

— Узнайте в леспромхозе, как я работала. У рабочих, у всех. Я пробовала оторвать мать от такой жизни... мы всегда ссорились. Да что я?

— Так почему же вы не разоблачили бандита? Не помогли обезвредить его вовремя? — вспыхнул подполковник впервые за весь допрос. — Что же вы молчали? Вы же смелая девушка! Ну, а золото, которое тайно скупала ваша мать и переправляла спекулянтам? Вы показали, что дважды отвозили посылку спекулянту в Красноярск? Вам же было известно, какие посылки отправляла с вами мать!.. Сейчас арестована большая группа валютных спекулянтов. Вам придется с одним из них встретиться.

Анисья примолкла.

Подполковник развел руками, потом сомкнул их, будто собрал в кучу все трудные, нерешенные вопросы, прошелся по кабинету.

...Можно ли доверять нахальному откровению Ухоздвигова? Он, конечно, использовал любую возможность, чтобы опорочить, запутать тех, кто встречался с ним. Так он поступил и с Анисьей на пароходе.

Была еще магь, Евдокия Елизаровна Юскова-Головня. Та действительно была предана бандиту и душою и телом. Анисья попросту оказалась связанной. И мать, и ее наставления с раннего детства, и жизнь семьи, полная тревог и опасностей,— все это, вместе взятое, постепенно, не сразу, откололо Анисью от общества, от товарищей. На некоторое время она забывалась на работе, как бы отталкиваясь от страшных вопросов нарастающей трагедии, но как только встречалась с матерью — трясина засасывала ее. Так продолжалась ни день, ни два, а годы. Постепенно в ней выработалась привычка закрывать глаза на всю преступную, запутанную жизнь матери.

Неделю назад вот в этом же кабинете на очной ставке Ухоздвигова с Анисьей он самодовольно заявил:

— Зафиксируйте: это моя единственная дочь.

На что Анисья ответила с ненавистью:

— Никогда я не была вашей дочерью! Лжете вы!

— Тогда кого же ты можешь назвать отцом?

— У меня нет отца. Слышите: нет и не было!

Что побудило Ухоздвигова настойчиво долбить в одну и ту же точку, что Анисья Головня его дочь и чтобы его отцовство было бы признано следствием?

Похоже на то, что бандит никак не хотел уходить из жизни, не оставив после себя потомков. Вот, мол, весь я не умер! Вы еще не убили меня. Есть еще дочь, а потом появятся и внуки. И я буду жить, как бы это вам ни нравилось.

Подполковник разгадал маневр Ухоздвигова.

— Следствием не подтверждено, что Анисья Мамонтова Головня — ваша дочь, — сказал он.

Тогда Ухоздвигов объявил протест и выставил свидетелем бабушку Акимиху Спивакову, у которой снимал квартиру Ухоздвигов в 1923 году. Она-де подтвердит, что Евдокия Юскова не только разделяла с ним брачную постель, но он ее и отправил в Белую Елань беременной.

Свидетельница подтвердила страшный для Анисьи факт, но подполковник все-таки выделил дело Анисьи Головни из банды Ухоздвигова.

Говорил подполковник Корнеев и с секретарем Каратузского райкома партии, который заверил его, что Анисья Головня была одним из лучших мастеров леспромхоза. Никто из рабочих Сухонаковского лесопункта не опорочил Анисью Головню ни единым словом.

Когда Корнеев познакомил первого секретаря райкома партии с делом Анисьи, обвиняемой «в сокрытии контрреволюционных элементов из банды Ухоздвигова», секретарь райкома все-таки настаивал на освобождении Анисьи Головни, уверяя, что сам арест послужит для нее достаточным наказанием.

— Закон есть закон,— ответил Корнеев.— И не в моих правилах отступить от революционной законности. Понятное дело, странным кажется, как могло случиться, что такая вот производственница, как Анисья Головня, вдруг оказалась преступницей. Но если бы преступники носили какую-то особенную личину, держались бы не так, как все обыкновенные люди, тогда не было бы трудностей изобличить их. Кто не встречался с диверсантом Ухоздвиговым? У него достаточно было друзей на дорогах, в тайге, в деревнях, в городе — везде, где он появлялся, знали его с хорошей стороны. Приятный собеседник, человек — душа нараспашку! Однако это не мешало ему быть бандитом. Вот почему нельзя оправдывать тех, кто его знал со всех сторон, но молчал по трусости либо по каким-то семейным соображениям, как молчала Анисья Головня, щадя мать. И мать погибла от пули бандита, и дочь запуталась.

Сама Анисья не подозревала, что ее кто-то защищал.

Но если бы знала Анисья, что вот этот пожилой человек в погонах подполковника государственной безопасности настроен к ней не враждебно, а доброжелательно! Он, в сущности, защитил ее от ухоздвиговской напасти, обрубил все пути, которыми спеленал ее хищник по рукам и ногам. Если она и понесет наказание, то не как сообщница Ухоздвигова, а человек, запутавшийся в своих противоречиях, из которых ему не выбраться без помощи закона!..

— Итак, продолжим,— начал подполковник после раздумья.— Признаете ли вы себя виновной, Анисья Мамонтовна Головня, в том, что не помогли вовремя обезвредить опаснейшего преступника, агента иностранной разведки Ухоздвигова, которого не один раз видели в доме вашей матери,

встречались с ним на пароходе и в городе и знали, что он совершил поджог тайги и взрыв драги и шахты на приисках, но молчали?

— Если бы не мать...— вырвался отчаянный вздох у Анисьи.

— Признаете ли вы себя виновной, что скрывали преступную деятельность Ухоздвигова?

— Признаю,— упавшим голосом ответила Анисья.

Демида словно подмыло волною.

— Она не виновна,— вдруг сказал он твердо и жестко.

— Минуточку, товарищ Боровиков.

— Она не виновна! — отчеканил Деמיד, поднимаясь.—

В такой же степени виновна, как и я. Судьбы наши, к несчастью, одинаковы. С таким же успехом и меня можно посадить в тюрьму, товарищ подполковник. Разве не ясно, что ее просто запутал Ухоздвигов? Совершенно ясно! Я понимаю Анисью: она считала, что перевоспитает мать собственными усилиями, и вот не удалось. Бандит оказался опытнее ее, хитрее. Я лично так понимаю это дело. Но она не враг, нет! Я еще раз подтверждаю свое заявление. Анисья — не виновна. Нет! Я прошу следствие учесть ее молодость, ее трудную и страшную жизнь в семье такой матери, какой была Евдокия Головня. И еще я прошу учесть, что такой ловкий бандюга, каким является Ухоздвигов, не одну Анисью обвел вокруг пальца. Я сам лично встречался с ним в тайге. Был он у нас на Кипрейчихе. Послушал я его, как он ловил живых тигров в Уссурийской тайге, и подумал: вот настоящий человек. Было такое дело. А тут еще у Анисьи мать. Что ей было делать? Мать, она всегда у всех одна. Если вот у меня произошла такая история с матерью, так я и теперь не нахожу себе места. Вот здесь сосет, товарищ подполковник. Сосет и днем и ночью! Это нелегко, уверяю вас. А что же она могла сделать против матери, если мать заботилась о ней по-своему? Помогла ей учиться, наставляла ее своей мудрости с самого детства. Это же факт! Анисья не виновата. Не виновна. Нет!

С каким же трепетом слушала Анисья-Уголек слова Демида! Она думала, что он о ней теперь не вспомнит, что она никому не нужна вот такая, опозоренная, изобличенная в преступлении, а вот он, Деמיד, готов спасти ее от любой напасти. Он верит ей, он не стыдится...

— Ваше заявление, товарищ Боровиков, приобщим к делу. Суд учтет откровенность признания Анисьи Головни,

— Спасибо... Спасибо, Демид,— прошептала она, заливаясь слезами.

Демид не помнит, что такое говорил подполковник Анисья после того, как подписан был протокол; единственное, что он уяснил: следствие по делу Анисьи Головни было закончено и суд, вероятно, учтет ее откровенные признания, обстоятельства ее личной жизни и то, что она фактически не знала, что ее мать выполняла задания колчаковской контрразведки с июня 1918 года, с тех дней, когда Анисья и в помине не было.

Вскоре дело Анисьи слушалось на закрытом заседании краевого суда. И опять Демид в своих показаниях защищал ее.

Анисью приговорили к восьми годам лишения свободы. — Я не оставляю тебя, Уголек! Не оставляю.

Анисья попросила разрешения у суда проститься с Демидом...

Майор Семичастный отвернулся, когда Анисья кинулась к Демиду и долго не могла оторваться от него, рыдая безудержно и горько...

IV

За селом, на взгорье, пятнистой шкурой зверя лежали пашни, желтые по черному полю копны неубранной соломы; вокруг копен была вспахана зябь. Но вот взошло солнышко. Сперва оно прильнуло к вершинам деревьев, позолотило их, потом поползло выше, затопив деревню ярким утренним светом.

Солнышко поднималось все выше и выше.

Улицы Предивной — пустыньны. Кое-где над крышами витают толстые косы дыма. Пахнет жареной картошкой, сладными шаньгами, мясом. Воскресенье...

Недавно прошло на пастбище колхозное стадо коров. Пастух отщелкал бичом, и снова все смолкло. Один за другим плетутся колхозники к бригадным базам: еще никто не выехал в поле, кроме трактористов и комбайнеров. А ведь канун сентября! Чего бы ждать? В такую пору работать от зари до зари, прихватывая вечерние сумерки. Время-то какое! В поле — перестоялый хлеб.

Десять часов утра...

В улицах наблюдается заметное оживление. Ошалело летает по деревне Павлуха Лалетин, а на другом конце Предивинского большака — Филя Шаров.

— Авдотья! Авдотья! — кричит Лалетин в окно крестового дома, стучая кнутовищем в раму. — Авдотья, Авдотья!..

Створка распахнулась — и высунулась черноволосая голова с маленькими, хитрыми глазами. На подоконник опустились полные груди.

— Чо орешь-то, лешак?

— Сознательность у тебя есть или нет? — зло шипит Лалетин, перегнувшись в седле к Авдотье.

— Кабы не было сознательности, на свете не жила бы.

— Нет у тебя сознательности! До каких пор, спрашиваю, напоминать тебе...

— Тсс, лешак! Катерину разбудишь!

— Катерину?! — изумился Павлуха, предав забвению вопрос о сознательности Авдотьи. — Разве Катерина приехала?

— Вечер еще. Отдыхает вот.

— Ну, как она? Подобрела?

— И, кость костью, — сокрушается Авдотья. — Работа у ней вся нервная.

— Где она работает?

— Магазином заворачивает при городе.

Глаза Павлухи округлились, как две пуговицы. Весь он как-то обмяк в седле, посутулился. Вот тебе и Катька! Была здесь, метнулась в город. Прошло каких-то два года — Катерина заворачивает магазином.

— Ну ладно, пусть отдыхает. Приду, приду, — ухмыляется Павлуха, довольный приглашением Авдотьи разделить с нею радость приезда Катерины в отпуск.

Лалетин хлещет рысака и мчится к другому дому: к Хлебиным. Здесь тоже незадача: сама Хлебиха не может выйти на работу — рука развилась, не поднять, а дочь и невестка еще вечером ушли с ночевьем в тайгу брусничничать, вернутся, чай, не ранее завтрашнего дня.

А вот и дом Злобиных. Крестовый, загорелый на солнце. Здесь живет семья Михайлы Злобина, недавнего тракториста. Михайле лет двадцать пять, но он до того ленив и тяжел на подъем, что его можно только трактором вытащить на колхозное поле. В доме четверо трудоспособных: мать Михайлы, сорокапятiletняя вдова, ее дочь Таня, метящая в любой институт, сам Михайла и, наконец, жена Михайлы Гланька из фамилии Вихровых.

На стук в раму высунулся Михайла, белобрысый, полнокровный мужик.

— Ну, а ты что, Михайла?

— Я-то?

— Ты-то!

Михайла невинно помигивает, улыбается

— Сижу вот. Гланьку жду.

— Где она?

— Черт ее знает где,— зевает во весь рот Михайла. Потянулся, хрустя плечами.— А тебе что?

— Так ты же в возчики зерна назначен!

— Я! — белесые брови Михайлы выползли на лоб, постояли там в недоумении, опустились вниз в окончательном решении: конечно, он не пойдет в возчики зерна, не с руки.

— А что тебе с руки?

— Да черт ее знает что! Рыба сейчас играет.

— Где играет? Какая рыба?

— Да в Малтате играют хариусы и ленки. Жир-ну-ущие! Вчера со Спиваком в три тони по ведру цапнули. Тебе вот котелок наложил ленков, а Гланьки нет — придет, отнесет.

Михайла отводит глаза за наличник, смотрит по улице, будто кого ищет, а Гланька меж тем, только что проснувшись, показывается за его спиной в одной нательной сорочке. Увидев Лалетина, вскрикнула:

— Павлуха! А я-то голышом. Тю, черти!

Лалетин хохочет, качаясь в седле. Михайла посмеивается своей жирной ухмылочкой. А как же ленки? Не возьмет ли Лалетин сам? Да нет, Лалетину неудобно. Пусть Гланька занесет и отдаст Марии Филимоновне — жене Лалетина, с которой он только что сошелся.

— Слушай, Павлуха,— приободрился Михаил, высунувшись до пояса в окно.— Дай мне на сегодня твою лодку и невод. У Филимона знаешь какой невод!.. Мы его пришьем к нашим — три стены будет. Весь Малтат перецедим. Тебе — пай. В натуре. Целиком.

Лалетин на мгновение задумывается, смотрит по улице — не идет ли кто, отвечает:

— Бери. Только... пусть сама Гланька. С Марусей там. Вынесет в пойму задами, а там возьмете.— И, отъезжая от окна, как бы невзначай кидает: — Придется сказать Стелану, что ты и Спивак откомандировались в лес-промхоз.

В двух следующих избах Лалетину повезло. В одной — только что вышли на бригадный баз, в другой — собира-

ются и, надо думать, к двенадцати часам дня соберутся. И то дело!..

В третьей избе — Мызникова — снова осечка. Молодуча Мызниковых, Ирина, с красивым музыкальным голосом, с чернобровым, незагорелым лицом, не открыла створку окна, а вышла в ограду и за калитку, выставив навстречу Лалетину все свои женские прелести: литые, крепкие ноги, округлые бедра, покатые плечи, полную грудь, обтянутую нарядным штапельным платьем. Подперев руку в бок, она с видимым состраданием выслушала Лалетина и тихим медоточивым голосом возвестила:

— И что ты, Павлуша! Хвораю.

— Опять?!

— Что «опять»?

— Ты ж с начала уборочной хворает! Что у тебя?

— По женскому, Паша.

Павел опускает глаза: а Иринка меж тем, вздыхая, жалуется на фельдшера, от которого она не видит никакого проку. Так нельзя ли взять лошадь в колхозе да съездить в районную больницу?

Павлуха прекрасно понимает, что никаких «женских» или других хворей у Иринки Мызниковой нет, но, учитывая свой грешный опыт, он не кричит, будучи уверенным, что никакими судьбами он не выволок бы Иринку на колхозные поля. Чем же занимается Иринка? Вышиванием гарусом для милого Вани, муженька. Как увидит Ваня что новое у Иринки, так на руках носит. А то в поле, на уборку хлеба! Фи!..

v

Половина двенадцатого...

Солнце затопило всю Предивную. Засверкали крыши, зачирикали беззаботные воробьи, радуясь погожему дню, хлопьями чернеют галки на сучьях тополя возле конторы колхоза. Под тенью тополя — Гнедик Павлухи Лалетина и Пегашка Фили Шарова, привязанные за один сук, ткнув морда в морду, блаженно отдыхают, а в конторе гул и треск — настоящий переполох. Хозяева Гнедика и Пегашки держат отчет перед председателем колхоза Степаном Вавиловым.

Степан в армейской гимнастерке, в черных брюках, зправленных в рабочие сапоги с побелевшими от рос носка-

ми, бегаает по конторе из угла в угол — от председательского стола до бухгалтерского шкафа, то задевает за стулья, то хлопает по столу деревянным пресс-папье, не говорит, а шипит на бригадиров.

Филя Шаров до того раскраснелся, что, кажется, ткни пальцем, и из него, как из подрезанного барана, вот-вот брызнет кровь и зальет всю контору. Но это только внешняя картина. Филя Шаров до того притерпелся к подобным сценкам, что, слушая Степана, краснея от спертого воздуха в конторе и от крика председателя, просто детально обмозговывал ответ по всем пунктам кто и почему не вышел на работу и он, Филя Шаров, не милиционер, чтобы мог применить какие-то особые меры воздействия к уклоняющимся. Павлуха Лалетин меж тем, ссутулясь, уставившись взглядом себе под ноги, вообще ничего не обдумывал: он свое слово сказал.

Голос Степана постепенно глож и наконец вошел в норму, хотя и с хрипотцой — перехватило голосовые связки. Заговорил представитель райисполкома Мандрызин. Он начал с бумажки: столько-то имеется трудоспособных, столько-то занято там-то и там-то, а где же остальные?

— Где народ, говорю? Где?

В ответ молчание. Тягучее, клейкое. Слышно, как хрипло отсчитывает время маятник ходиков. Тики-так, тики-так, Р-ррр — трещит что-то в ходиках.

— Где же люди, интересуюсь?!

Лалетин, подняв голову, смотрит на плакат в простенке. На плакате большими красными буквами начертано:

«УБЕРЕМ ХЛЕБ БЕЗ ПОТЕРЬ И ВОВРЕМЯ! ВСЕ НА УБОРКУ УРОЖАЯ!»

В контору влетает Ванюшин, зоотехник райзо, прикомандированный к животноводческим фермам. Ванюшин — стройный, русоволосый парень, любимец девчат в райцентре.

— Что же вы, товарищи, оголяете фермы? — начал Ванюшин. — Всех рабочих сняли. Это же скандал! Кто будет закладывать силос? Ямы открытые, а силосорезки стоят.

Завязывается ожесточенный спор, что важнее: силос или хлеб?

— Силос, силос! Когда заложим силос? — настаивает Ванюшин.

— Хлеб! Хлеб! Когда уберем хлеб? — спрашивает Мандрызин.

Представителей удачно мирит Лалетин.

— Когда же, черт дери, из города приедут рабочие, а? Что они там копаются, в самом деле! — возмущается Павлуха Лалетин, уверенный, что в городе только и дел — вытаскивать из прорыва белоеланцев: посеять за них хлеб, убрать, в закрома ссыпать, а им бы сидеть да, по примеру Михайлы Злобина, ртом мух ловить.

Половина второго...

В поле умчались оба бригадира полеводческих бригад.

Мандрызин сидел еще с бухгалтером колхоза и копался в книгах, делая выборку, кто и сколько выработал за год трудодней.

Вихров-Сухорукий с Ванюшиным двинулись по дворам колхозников. Заходили в каждый дом, разговаривали, усовещали, стыдили, кое-кого пробрали до печенки-селезенки, так что многие женщины пошли пешком в поле.

VI

Паровое поле!..

Справа — аспидно-черное, как воронье крыло, дымящееся неугою, истомою; слева — желто-бурое, иссохшее, шуршащее под тяжестью разболтанных башмаков трактора — паровое поле!..

Кто впервые поднял тебя, черный пласт, да и оставил потом под солнышком, чтоб земляца набралась силушки? Кому пришло в голову потрудиться в заклад под завтрашний день?

Паровое поле!..

Мало ли песен сложено о пахаре, поднимающем на сивке-бурке пашню-десятину? Мало ли пролито крестьянских слез и пота за чапыгами древних сох и конных плугов, покуда не пришел на смену сохам и плугам вот такой работяга пятилеток, плечистый, тяжелый и необыкновенно легкий на крутых поворотах; теперь уже старенький ЧТЗ?! И кто знает, сколько понадобилось усилий, сноровки, смекалки, чтобы человек мог сотворить собственными руками послушного коня!

ЧТЗ! Умная ты машина, ЧТЗ! Сработали тебя в грохоте кузниц, в огненных плавках доменных и мартеновских печей: прошел ты деталь за деталью через все корпуса завода челябинских тракторостроителей, а пришел вот сюда, в енисейскую подтайгу на пашни Белой Елани, поднатужился и потянул за собою сцеп двух четырехкорпусных плугов!..

Идешь ты, голубчик, и дрожит под твоею тяжестью земля, словно печатает на ней следы сказочный богатырь. И нет тебе равных по силе в синеем просторе подтаежья. Ты — все можешь. В твоих стальных и чугунных узлах — чудовищная сила, вложенная инженерами и рабочими. В твоём чугунном корпусе под железным мундиром-капотом бьется стосильное сердце, не знающее ни усталости, ни одышки. Тяни, тяни, голубчик! В тебе — краса самой жизни: торжествующая песнь труда.

Колечечками вьется лигроиновый дымок, исчезая в синеве горячего воздуха. Серебряным блеском сверкают отвалки. Мягким бархатом ложится пласт за пластом.

Паровое поле!..

Жаркий, погожий денечек; медленно, неохотно истекает багрянцем заката. Солнышко ткнулось в Жулдетский хребет, продыривив где-то там землю, готовое на всю ноченьку нырнуть в нее, как в подушку.

Невдалеке от ЧТЗ черной черепахой ползет емкий «натик». А там, дальше, Белая Елань, а за нею — тайга, вечные ледники Белогорья!..

Опустив руки с ременными вожжами на колени, старый Зырян наслаждался прохладой вечера. Местами толпился березовый лес. Кипы деревьев просвечивали сбоку розовым светом заходящего солнышка. Их ветви с трепещущей листвою отбрасывали на дорогу причудливые кружевные тени.

На тракторе Федюха Зырян.

В радиаторе ЧТЗ клокочет кипящая вода. Крышка на радиаторе мерно звенит, как колокольчик. Струйкою вырывается белесый пар. На радиаторе — красный флажок.

Знает старый Зырян, как нелегко достался Федюхе красный флажок! Как он недосыпал ночей в дни посевной, по семнадцать часов не слезая с трактора!..

Не в пример старому Зыряну, Федюха был высокий, плечистый парень. Его знали председатели многих колхозов, где он когда-то побывал со своим комбайном на уборке хлебов. Всегда бодрый, веселый, с зыряновской живинкой.

Юность Федюхи подмыла война. В свои шестнадцать лет он был таким плечистым, кряжистым, лобастым. Сила в руках непомерная. А в голове ласковое буйство крови. Как рыжечубый телок, носился он среди мужиков и баб, готовый за похвальбу прошибить лбом любую преграду.

Особенно бабы вызнали безотказный Федюхин характер — Федюха, подмогни!

— Федюха, завяжи мешок!

— Федюха, таскай пшеницу! — неслоь со всех сторон, когда Федюху поставили возить хлеб на ссыпной пункт.

Однажды за день Федюха стаскал на элеватор двести мешков пшеницы. Сам завязывал, не доверяя бабам, так как трижды мешки развязывались, окатывая его золотым дождем на полпути по узкой дощатой лесенке, ведущей на верхотуру, сам закидывал их себе на спину. На двести первом мешке чуть было не угодил в проем элеваторных лестниц. На последней ступеньке ноги под ним ходуном заходили, все тело охватила непомерная дрожь. Федюха тянулся, тянулся одной рукой, чтобы ухватиться за перекладину над головой, и не мог дотянуться на каких-то два вершка. Кабы не подоспел сзади Маркел Лалетин, быть бы Федюхе в проеме лестничной клетки. Маркел подтолкнул Федюху сзади, и рука ухватилась за перекладину. Сделав еще шаг, Федюха упал на площадку вместе с мешком, из носу у него пошла кровь.

Сколько так пролежал? Не помнит. Оклемаься маленько и опять на коня, в ночь, за мешками с хлебом. На телеге уснул, и лошадь, быть может измотанная не меньше хозяина, в темноте оступилась под яр. Дорога шла по самому берегу Жулдета. Телега перевернулась. Лошадь сломала обе передние ноги. Ошалелый Федюха, спросонья ничего не поняв, принялся нахлестывать ее вожжами. Был он цел и невредим, даже ушибов нигде не чувствовал. Но когда понял, что лошадь не поднимется, его охватил страх. «За лошадь-то судить будут!..»

И судили. Тут же, при сельсовете.

Кто что говорил — не помнит. Знает только, что вместо одной лампы ему все казалось две. Будто в голове у него что помутилось. И страшно хотелось спать...

Присудили Федюхе год отрабатывать за лошадь, тут же, при колхозе.

Отработал за коня, пошел на курсы трактористов, тайно лелея мечту об армии.

Но и тут не повезло. Комиссия забракoвала. Признали грыжу и положили в больницу на операцию. После операции привязалась какая-то лихорадка, ломота в костях. Обнаружился бруцеллез. Полгода провалялся он в больнице. Вернулся домой — кожа да кости, надеясь, что мать и родной воздух поправят его. И действительно, вскоре опять сел на трактор.

Так и не был он фронтовиком, но всю тяжесть тыла испытал, когда в тракторных вагончиках зачастую приходилось ложиться наотщак, когда ни трактористы, ни комбайнеры не видели мясного приварка, когда приходилось работать по восемнадцать часов — все это сказалось на здоровье Федюхи. Под конец войны он опять захворал. А тут еще подоспели зачеты в заочный институт. С градусником под мышкой Федюха рылся в книгах, отработав свою смену. И вот на полгода снова лег в больницу. Так и не защитив диплома, Федюха остался трактористом.

Ленивого коня подхлестывают.

Ретивого коня сдерживают.

Федюха был ретивым конем.

Старый Зырян доволен сыном. Он еще вытянет! Он свое возьмет. Федюха — мечта Зыряна, душа Зыряна! Федюха — продолжатель фамилии Зыряна.

По правде говоря, во всю свою скудную трудовую жизнь, полную немалых разочарований, старому Зыряну менее всего пелось и смеялось, хотя он слыл за неистощимого весельчака.

Когда старый Зырян подъехал к полевому стану, Федюха приглушил трактор и побежал умываться к речке.

Девчата, трактористки и прицепщицы, развели большой костер возле вагончика. Где-то невдалеке, у речки, лился задорно девичий голос:

Не твою ли, милый, хату
я вчера белила?
Не в твоей ли, милый, хате
тебя полюбила...

По голосу старый Зырян узнал Аринку Ткачук, звеньевую тракторной бригады. Она всегда танцующая. И на работе Аринка веселее всех. Загорелая, рослая, хотя и была последышкой в многодетной семье деда Ткачука.

— Ириша, а Ириша! Иди-ка сюда, — слышит старый Зырян басовитый голос Федюхи.

— А ну тебя к ляду, — отвечает Аринка и с хохотом, мелькнув тенью возле скирды, выбегает к вагончику.

«Время-то как летит!» — умиrotворенно и грустно думает Зырян.

— Дядя Зырян, а дядя Зырян! — говорит раскрасневшаяся Аринка. — Чи будет дождичек, чи нет? Ох, кабы не было дождичка, дядя Зырян! Глянь, сколько нас? И все одна к одной. Как спасешь от дождя, по десять раз поце-

луем каждая, ей-бо! Чи, правду я говорю, девки?..— и снова залиристо и звонко хохочет.

Как хороша в наивном задоре юности! А голос Аринки с переливами льет приятную девичью грусть:

Зреет в поле, колос зреет,
соком наливается!
Милый едет, милый едет,
едет улыбается...

Мгновенная тишина замирает в вопрошающем раздумье. И вдруг, резкий и звонкий, подхватывает голос Груни Гордеевой:

Ах, их! Ах, их!
Я его любила!..

Девчата, неугомонные, веселые, пляшут, поют. И кажется старому Зыряну, что он видит перед собою лицо Анфисы — пылающее, курносое, белоглазое, совсем молодое лицо. И это вовсе не Аринка перед ним, подвижная, вьющаяся в танце, как вихрь, внезапно возникающий на дороге в знойный день, а его молодость брызжет и обдает задором присыпанное пеплом сердце. Так бы и бросил ременные вожжи, стряхнул с себя дорожную пыль времени, вошел бы в круг Аринки, хлопнув в ладоши, закружился бы, как и она, в пьянящем вихре молодости.

Повариха бригады тетка Харитониха угостила Зыряна наваристыми щами с мясом. Зырян выпил целый жбанчик квасу с черным хлебом и крякнул от удовольствия.

Из пяти тракторов бригады старого Зыряна в ночную смену работали три. «Натик» стоял на ремонте. А на Федюхин ЧТЗ что-то не пришел из деревни сменный тракторист, ленивый Парфишка Корабельников.

— Загулял, что ли, Парфишка-то? — спросил Зырян.

— А черт его знает, где он шляется! — подала голос Груня.

Зырян с сыном остались в ночную смену.

VII

Степана вызвали на бюро райкома. Ничего хорошего он не ждал от бюро. Достанется ему за провал уборочной. Организация труда — тут лучше помолчать.

Так что на душе Степана кошки скребли.

У Игната Вихрова-Сухорукого тоже настроение было

не из веселых. На прошлом заседании бюро он клятвенно заверил райком, что колхоз в ближайшие дни отобилизует все силы на поднятие хозяйства, а на деле вышло, что он просто втер очки. «И черт его знает, почему у других дела идут прелотлично, а у нас никак не получается?» — думал Степан дорогой.

А вокруг — вольготная ширь! Где еще встретишь такие девственные дали, упирающиеся в синь дымчатых горизонтов!.. Едешь, едешь, и все целина, целина, залежи, залежи, поймы речушек и рек, крутобережье бурливого Амыла, горы и горы под самое небо, леса, леса, увалы, суходольные луга, местами стога сена, причесанные дождями и ветрами, смутно сереющие на золотистом жнивье скирды, волглые ложбины, пятнящиеся отарами на выпасах, кое-где, тревожа сторожкую тишину, гудят трактора. Вот они, бескрайние просторы Сибири!

Дорога, дорога!

Вороной Юпитер, вздернув гривастую голову к дуге, бежал рысью, развевая по левому уху черную челку. Невдалеке по косогору маячили силуэты копен, как шишаки древних рыцарей, зароды сена, а кое-где по жнивью виднелись неубранные снопы.

Слева — Талгатская гора, опушенная березами. В низине у подножия горы недавно был поселок Талгат, но после объединения колхозов часть жителей переехала в Белую Елань, а иные переселились в другие деревни. Кое-где торчат столбы; на недавних усадьбах вздымается бурьян.

— Вздрючат нас, Егорыч, — начал Вихров-Сухорукий, закуривая папиросу. — Как там ни говори, из прорыва не вылезим.

— Не помирай раньше времени, — буркнул Степан, недовольный парторгом колхоза. И вечно он в панике. И во время посевной порол горячку, и теперь кидается из одной крайности в другую. Сам же требовал на заседании правления колхоза перекинуть трактора на старые залежи, а теперь вспомнил о заречной целине.

— Вздрючат, определенно, — пыхтел Вихров-Сухорукий.

— Черт бы тебя подрал с твоими охами и вздохами!

Степан плюнул и подстегнул Юпитера в гору. «Когда еще пожар, а у него поджилки трясутся. На бюро он окончательно распишется. Отречется от решения правления, все свалит «на близорукость и политическую недалезоркость», самокритикнется и на этом прикипит». Не любил

Степан Вихрова-Сухорукого за бестолковую шумливость и трусоватость. Парторгу колхоза, да еще бухгалтеру, надо быть скуповатым на праздное слово.

— Опять-таки удои на МТФ. Картина!

— Вот и возьми за эту «картину» сам,— посоветовал Степан.— Ты ведь еще ни разу не был на пастбище.

— Так там же твоя Агния Аркадьевна заворачивает! С нее можно спросить, как с члена партии. Вот поставим вопрос на партсобрании, пусть скажет, по какой причине летние удои молока замерли на зимнем уровне.

Степан промычал что-то себе под нос и тихо затянул любимую песенку, перевирая есенинские слова:

Пейте, пойте в юности,
Бей врага без промаха!
Все равно, любимая,
Отцветет черсмуха!..

И сразу же наплыло лицо Шумейки с ее тревожно замершими черными бровями, синеглазое, еще совсем юное, с ее жарким, беспокойным лепетом: «Ох, Степушка, коханий мой, як я буду жить без тебя? Никого у мене немає, тико ты єдний, и ще дитина пид серцем. Як же буду гудувати дитину? О, лихочко! Ты мене не забудеш, Степушка? Коханий мой, ридный мой! Тико всегда помни: я буду ждать тебя. Всегда, всегда!» И ты, Степан, клялся, что никогда не забудешь Шумейку, но вынужден был оставить ее в хате деда Грицко, железнодорожника с вислыми рыжими усами, а сам ушел с военной частью дальше на запад, по следам отступающего зверя.

Ты не мог иначе поступить.

Не два, не три года минуло с той поры, а девять лет!..

Ты ее искал, Шумейку. Писал из Берлина, из Белой Елани, и не нашел. В том хуторе, где ты впервые встретился с Шумейкой, не осталось ни одной семьи с такой фамилией. А годы шли!..

И ты, Степан, переменялся за эти трудные годы, и Шумейка, если осталась жива, может, нашла себе новое счастье, но отчего же тогда, скажи, ноет твое сердце? Вдруг наплывет что-то, сдавит под ложечкой, и ты тянешь себе под нос: «Ночь такая лунная, месяц в окно светится, все равно, любимая, нам с тобой не встретиться!» И тогда весь белый свет кажется тебе текучею смолою — черным-

черно. И дом Зыряна, где ты живешь три года, становится чужим и неудобным, как постоянный двор. Сколько раз ты проводил тревожные ночи где-нибудь на бригадном стане либо бродил по взгорьям. Иной раз будто въявь слышалось: «Степушка, отзовись!» И ты вздрагивал, беспокойно озираясь.

Текуча жизнь человека. Каждый день приходит со своими неизменными заботами и со своим движением.

А что же Агния? Сошлись вы по обоюдному согласию, а не вьете веревку вместе

Ты помнишь, как вошел в дом Зыряна с гулянки у дяди Васюхи? Агния жалась в горнице, стесняясь тебя, а ты глядел на нее, как посторонний, возбуждаясь близостью ее красивого женского тела, но не души. Для всей семьи Зыряна ты так и остался вечным молчуном, «человеком, у которого душа закутана в три шубы», и он ее никак не может отогреть. Но ведь в самом деле ты совсем не такой! Просто тебе не хватает Шумейки, синевы ее любящих глаз, ее горячей ласки, ее большой заботы, внимания, когда и без шубы сердцу жарко. Да и сама Агния будто исполняла супружеский долг по какому-то странному обязательству, гайком оглядываясь на Демида. Не зря язвили бабы: «Вот уж повезло Агнии Аркадьевне! Со Степаном живет, Демида — про запас держит через Полянку». И ты все это видел, понимал и помалкивал, будто тебя не касается.

Люди говорят: «Стерпится — слюбится». А вот не стерпелось и не слюбилось.

«У нашего Егорыча правление, как полюбовница. И днюет, и ночует там. Такого председателя еще не было», — часто слышал Степан.

Оно и в самом деле, правление колхоза стало для него родным домом. И в праздник, и в будни, летом и зимою он всегда там. Во время посевной или уборочной, возвращаясь с поля, он спешит не домой, к Агнии, а подворачивает к правлению

Вода точит камень, время — человека.

День за днем, весна за весной, уборочная за уборочной, и ты не заметил, как седина брызнула в голову; первые снежинки ранней осени! Тебе еще сорок лет. В такие годы мужчина в кипенье силы, а ты обмяк, посугулился, отпустил усы, и редко улыбка трогает твои губы. Недаром говорят: «Нашего Егорыча рассмешить может только оглобля!» Но с оглоблей на тебя еще никто не налетал. Так

ты живешь без смешинки, не замечая, как быстро стареет сердце от черствости. Иногда думаешь: «Так и жизнь пройдет без всякой перемены». И ты хотел бы что-то предпринять, встряхнуться, куда-то поехать, «переменить обстановочку», но никуда не уехал. Не все люди умеют и могут менять обстановку. Так и ты прикипел к Белой Елани, как смола к штанине, и только изредка, как во сне, вспоминаешь Шумейку, партизанский отряд, дивизию, товарищей артиллеристов, штурм Берлина, взятие рейхстага, настороженную встречу с американцами на Одере, и потом все это меркнет, куда-то отодвигается, и ты лениво подстегиваешь Юпитера. За три года ты ни разу не был в отпуске. В районе будто запамятовали, что и председателю нужен отдых. Сегодня ты собираешься говорить с первым секретарем. Он человек новый, поймет ли?

«Нет, не пустят,— думаешь ты.— А хотелось бы куда-нибудь съездить. Махнуть бы по фронтовому маршруту». Да, да! Самое разлюбленное дело. Проехал бы еще по тем дорогам, где когда-то шел пешком с Шумейкой в поисках партизан.

Ты слышишь, Степан, как шепчет Шумейка: «Степушка, ридный мий, коханный мий, не приходи больше, немає моих сил бачити, як тобі схватят. Кинь мене, Степушка, а сам иди, шукай своих партизан».

VIII

Длинные улицы Каратуза. Грязь — Юпитеру по колено. Вихрову-Сухорукому понадобилось что-то в сельпо, а Степан тем временем, разминаясь, пошел к колодцу напиться воды.

— Вавилов! — раздалось со стороны.

Степан оглянулся. Из проулка шел Ляхов, директор МТС. В новеньком кителе, сшитом на заказ, в синих бриджах и в хромовых сапогах.

— На минутку! — позвал Ляхов.

Степан побрел к Ляхову прямо по луже.

— На бюро?

— На бюро.

— Там еще, наверное, не съехались.— И, как бы стараясь ошарашить Степана, бухнул: — Так что же, поздравить тебя, что ли?

Степан насупился.

— С чем?

— Еще бы! Райком рекомендует тебя в директора племсовхоза. Первого в нашем районе. Высота! Ну как? Потянешь? А? Дело новое.

Степан покривил поветренные губы.

— Но учти! — Ляхов погрозил пальцем. — За нарушение Устава сельхозартели выговор тебе влепят. Как пить дать. Этот номер тебе не пройдет. Зачем ты разрешил леспромхозу скосить сено на паях для колхоза? А? Я ведь все знаю. Половину колхозу, половину забрали в леспромхоз. А так по Уставу не полагается. Хитер, брат!..

— Зато теперь кормов хватит.

— Не имеет значения. Устав сельхозартели — святыня для колхозника!

— Не всегда по Уставу полагается... Где бы я людей взял?

— А как другие работают? И не хуже тебя. Так что разговор будет еще. Стружку сымут. М-да-а!.. Директор племсовхоза — это же, братец мой, величина!.. Ты уедешь — Мамонт будет колхоз вытягивать.

Степан еще не верил Ляхову. Мало ли чего не наговорят!

— Что молчишь? Думаешь, Мамонт не потянет? И я тоже так думаю, брат. Ну, старейший коммунист, партизан и все такое прочее, а все-таки обстановочка сейчас не та! Не та! Грамотенки у него, пожалуй, не хватит. Да и годы. Ему за шестьдесят?

— Гм!..

— Что?

— Мамонт, если потребуется, еще и за тебя, и за меня потянет. Закваска у него крепкая. Диплома у него нет, а голова варит не хуже, чем у нас с тобой.

— Там посмотрим! — отмахнулся Ляхов и, что-то вспомнив, ухватился за отворот дождевика Вавилова. — А ты, оказывается, гусь лапчатый! — И захохотал. — Ну, ну! Не двигай бровями. Стороной до меня дошло, приехала какая-то твоя жена. Я ее лично не видел. Все это держится в большом секрете. Титов мне обмолвился. И сын с нею. Будто бы твой. А? Как?

Степан уставился на Ляхова:

— Ты что, с похмелья?

— Я? Нет, брат, это ты с похмелья, если жен своих не

помнишь. Погоди, на бюро тебя протрезвят. И за Устав, и за двоеженство. Определенно. Скажи спасибо, что я тебя предупредил. Влип бы, как кур во щи. Где ты ее бросил, ту жену?

— Какую жену?!

— Не притворяйся! Титов называл ее фамилию. А, черт! Вылетело из головы. В общем, с Украины. Будто бы твоя фронтовая подруга.

— Фронтовая?!

— Да, брат. Мало ли у кого не было фронтовых подруг, но не все же такие путешественники, как эта твоя Шумейка. Ба! Шумейка, в точности. Шумейка! Сразу вывернулось.

— Шумейка?!

Степана будто кто хватил обухом по лбу. Он чуть пошатнулся, пробормотал нечто невнятное и, не попрощавшись с Ляховым, быстро пошел к тарантасу, бухая сапожищами по грязи. Забыл и про Вихрова-Сухорукого. Шумейка! В Каратузе Шумейка! Быть того не может! Неужели?

Кто-то кричал Степану, чтобы он остановился,— Вихров-Сухорукий, что ли,— он ничего не слышал. За какие-то три минуты промчался большаком Каратуза, удивляя встречных отчаянной лихостью.

Неужели здесь Шумейка? Откуда?

Да, Степан, Шумейка в Каратузе. Она приехала еще на той неделе в пятницу, и вместе с нею — твой сын, Леня, Леонид.

Из Полтавы до Красноярска на поезде; от Красноярска до Минусинска на пароходе.

Не близкий свет, а приехала! Нашла тебя, Степан!..

А ты не знал, что Шумейка вот уже два года как ищет тебя? Она трижды писала в райком и не получала ответа. Бывший секретарь райкома, не без сговора с Агнией Аркадьевной, «замаял это дело с Шумейкой», и все письма Шумейки неизменно попадали в руки Агнии. И те, что Шумейка посылала в райком, и те, что шли на твое имя в Белую Елань.

Думала ли Агния Аркадьевна, что ее хитрость когда-нибудь откроется и Степан все узнает?

Не думала и не гадала. До Полтавы — не рукой подать! Она сговорилась с заведующей почтой в Белой Елани, Ньюрой Шаровой, своей давнишней подружкой еще по леспромхозу, и та добросовестно передавала ей письма Шумейки

из Полтавы. Ни слезы Шумейки, ни стенания — ничто не тронуло сердце Агнии. А ведь она перечитала все письма! И то, в котором Шумейка прислала Степану Егоровичу фотографию сына Леонида и свою собственную, слезно умоляя Степана написать «хоть едное слово до сына Лешки»! Разве можно было читать без щемящей боли письмо Шумейки:

«Степан Егорович, пишу тобі и горькими слезами моюсь, як проклятая. Напиши хоть едное слово своему сыну Леше, бо тут в Полтави скаженные люди прозвали його фрицем. Кажуть, шо вин родився вид якого-то фрица, а не от русского офицера. Говорять, шо я нагуляла його с яким-то ээсовцем и бежала с тим фашистом у Польшу. Ты едний человек, шо знает, де я була в зиму сорок третьего роки! Отзовись, Степан Егорович. От того диди Грыцька, де ты мене оставил беременную и больную, на другой день забрали мене полицан в управу и били мене, пытали, щоб я сказала, де сховались партизаны. А я ничего не знала! Три дни держали мене в той управе, як у черта в пекли. О, боже! Шо тико не пережила в те дурные години!.. Потом мене погрузили в товарный вагон, як ту скотину, и повезли до Германии. В Польше, когда у меня начались роды в вагоне, мене выкинули фрицы на яком-то разъезде. Добрые люди помогли мене, и я не сгила, як та былинка у поли. С дитиной на руках я сховалась у городи Лодзи. Добрый чиловик, доктор, принял мене в больницу, и я стала роблить дежурной сестрою. И все ждала, ждала конца хмары! И вот — побили воров, и я стала шукать тобі. И в Москву писала, и до Каратузского райкому, и не было мене ответа. Потом ще раз написала в управу колхозов, и мене пришла цидулька, шо ты проживаешь у Белой Елани и робишь председателем колхоза.

Спомни, Степан Егорыч, чи не говорил ты мене, шо николы не забудешь своей Шумейки! А боишься послать хоть едное слово! Нима у моего сына ни фамилии, ни отчества батьки. Як той прибудный котенок. А скико я пролила слез та стинаний, одно небо знает!

Слухай, Степан Егорыч! Один лютый чиловик, здесь в Полтаве, напписал на мене клевету, и я вже три месяца не знаю, куда притулить голову. Тот чиловик — Хома Тарасюк, сам служил у полицаев, и когда стал приставать к мене, щоб я выйшла за него замуж, я сказала поганцу: для мене краше от зелья смерть, чем выйти за тебя, полицай!

И вин тогда написал до газеты, до горсовету, до горздраву, и везде кидал на мене грязью. И шо сын у мене от фрица, и сама я бежала до Польши с фрицами-фашистами! О, лихочко! Як жить мене, скажи?..»

И ты, Степан, ничего не отвегил, потому что и не подозревал о существовании такого письма Шумейки! Если бы ты взял в руки такое письмо, у тебя бы вспыхнули ладони.

Обо всех своих долгих мытарствах Шумейка поведала первому секретарю райкома.

Два часа Шумейка разговаривала с секретарем при закрытых дверях.

— Поганый он чиловик, Степан Вавилов, коли не признает своего сына.— Так заявила Шумейка секретарю райкома.

Потом Шумейка попросила, чтобы секретарь взглянул на ее сына, и сама привела мальчика из приемной. Рослый, лобастый паренек, черноглазый, смуглый, стоял перед секретарем райкома, потупя голову. За малые годы он много кое-чего пережил! И фрицем звали Лешу, и приبلудным, и, случалось, поколачивали сверстники. На все оскорбления взрослых и детей он отвечал настороженным, тяжелым взглядом, точь-в-точь сам Степан Вавилов. Потом Леша усомнился: правда ли, что у него отец русский офицер, сибиряк?

— Чи не похож? — И Шумейка умоляюще взглянула на секретаря. По ее щекам скатились две слезинки.

Секретарь ответил:

— Очень похож. Вот подрастет, отпустит черные усы, и тогда их не отличишь — отца от сына.

— Усы? — удивилась Шумейка, смахнув слезы с лица.— У Степана Егорыча усы?

— Усы, усы! Вот такие! Как у запорожца.

— Боже ж мий! Я б его не признала. Тогда вин був без усов.

— О! — секретарь покачал головою.

— Чи прихать мене до Билой Илани? — спросила Шумейка.

— Нет, подождите здесь. Во вторник у нас бюро, и Вавилов обязательно здесь будет. А пока — держите в тайне свой приезд. Пусть он встретится с вами внезапно. Так будет, пожалуй, лучше. В Белой Елани у него жена и сын.

— Вин мне ще тогда балакал, шо у него е сын. Он вже взрослый, его сын?

— Второй год работает трактористом,— ответил секретарь.— А вы надолго приехали в Сибирь? Может, останетесь у нас здесь, в Каратузе? Я могу позвонить в райздрав.

— Я ще сама не ведаю, як мне быти. В Полтаву я не вернусь.

— Тогда продолжим наш разговор в среду. Я вас буду ждать.

После Шумейки секретарь долго говорил со своим помощником. Тот подтвердил, что действительно в райком приходили письма от Шумейки и прежний секретарь получал их лично и наказал «не разглашать тайну писем Шумейки». И если бы Степан Вавилов узнал про Шумейку, то он, конечно, немедленно бы уехал на Украину либо вызвал бы Шумейку в Сибирь, и тогда бы все полетело кувырком.

— А он, как там ни говори, тянет колхоз! И, кроме того, Агния — законная жена Вавилова. Я ее лично знаю еще с сорок третьего года, когда она работала в леспромохозе. Не женщина — а подвиг.

— А что у ней за история была с Боровиковым?

Помощник махнул рукою.

— В той истории, если разобраться, виноват сам Вавилов.

Секретарь попросил найти письма Шумейки.

— Их в райкоме нет. Я передал их Агнии Вавиловой.

— Значит, все письма Шумейки у жены Вавилова?

— У ней.

— И Вавилов ничего не знает?

— Думаю, что нет.

— Значит, фактически устроили заговор против Вавилова?

ЗАВЯЗЬ

ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

I

...Есть, говорят, у любви какое-то шестое чувство. Ни осязание, ни зрение, ни слух, ни вкус, ни обоняние не могут проникнуть в тайну сердца; как и что там? Любовь проникает всюду.

Еще до того как Шумейка надумала ехать в Сибирь из Полтавы, она была уверена, что Степан любит ее. Особенно насторожило Шумейку гневное письмо Агнии Вавиловой, «законной» супруги, полученное еще в начале марта. Агния требовала, чтобы Шумейка прекратила писать Степану, и что он, не читая, рвет ее письма, и до каких же пор Шумейка будет надоедать мужу Агнии, Степану Егоровичу?

— Це же та самая Агния! — вспомнила Шумейка. Степан говорил ей, как его жена спуталась с каким-то парнем и родила от него девчонку и они разошлись. — Брешет Агния. И письма мои ховает от Степушки. Сама пииду до Сибири!

И вот — приехала...

За четыре дня Шумейка многое успела узнать. И весь Каратуз исходила с Лешей, и в больнице побывала, где нашлось место фельдшерицы, и в районной гостинице подружилась с милой заведующей, Ириной, а главное — развела про Степана.

— Бирюк. Чистый бирюк! — говорили одни.

— Вавилов? Который Вавилов? Из кержаков? — спрашивали другие.

— Шо це за кержаки? — недоумевала Шумейка.

— Не знаешь кержаков? Да ты что, нездешняя? С Украины? А! Ну, значит, кержаки это, как бы тебе сказать, дева, старове-ры, значит.

И Шумейка стала расспрашивать, что за люди старове-ры. Наговорили ей столько, что голова кругом шла! И молятся двумя перстами, и гостей не привечают, и сами в гости не ходят. Но ведь Степан совсем не такой!

Один представительный мужчина сообщил:

— Вавилов? А! Это такой председатель — зимой льда не выпросишь. Скупердяй, кержак!

И еще одна новость:

— Вавилов? Да это же, извините, полнейшее недомыслие природы! Бренчит орденами, а сам — пень пнем!

— Ох, брешете! — не выдержала Шумейка.

На Амыле, купающемся в сизом мареве, пожилой человек с удочками ошарашил Шумейку.

— Вавилов? Еще бы! Не человек, а кедр по звонкости. По характеру — чугу-н, не согнешь через колено, сердце — мяконькое, как из воска сработано.

Шумейка спросила про Агнию Аркадьевну.

— Агня? Это которая? А, жена Степана Егоровича! Как бы вам сказать? Ну, баба, как все прочие, а со смыслом. Не пустышка.

— Она молодая?

— В соку. Как на погляд, как по силе— доброму мужику впору.

Шумейка невольно покраснела.

— А ты что, дева, знаешь Егорыча?

Шумейка только вздохнула. Пожилой человек догадался.

— Подумать! — удивился он.— Удивленье просто! Как ты могла проникнуть в такую крепость? Как мне доподлинно известно, Егорыч не очень-то благорасположен к вашему полу, то есть женскому. И кроме того — Агня! Навряд ли она поделит с вами мужа.

Шумейка вовсе не намерена делить Егорыча.

— Сердце ще никто не делил!

— Сердце? Хы! Про любовь, дева, только в книжках пишут, а в приблизительности ее и во сне не бывало! Какая там любовь? — И закинул удочку в реку.— Вот жду: клюнет аль поманежит? То и сказка про любовь. Которым нече делать, те, конечно, балуются со всякой любовью. А такому, как Егорыч, какая может быть любовь? То хлеб сеет, то сенокос, то коровы, то всякая всячина! — И махнул рукой.

Шумейка призадумалась. В самом деле, что она ищет? Зачем приехала в Сибирь? К Степану, женатому человеку? «О лихочко! Куда тико занесли меня ноги, га? Мабуть, проклянун и тот день и ту годину, колысь мы повстречались!..»

В ночь на вторник Шумейка не сомкнула глаз. В окно гостиницы заглядывала луна. Тревога матери передалась Леше, и он долго ворочался на кровати. Леша тоже ждет встречи с отцом. Завтра он окончательно узнает: есть ли у него отец или нету?

— Мамо, лягай!

— Спи, Леша. Я ще трошки посижу.

— Пидешь до речки, га?

— Чи ты знаешь, чо я була ночью на Амыле?

Леша, конечно, знает.

— Боже ж мий, я ще не бачила найкращей реки! А Енисей? Ты помнишь, Леша, как ехали пароходом по Енисею?! Горы такие высоченные, як те громады Карпат. Пид самое

нибо. И лесу стико, на всю Вукраину хватит И немае того холода, як мы думали у Полтаве.

— Ще лито, мама. Погодь до зимы. Мабуть, змерзнешь.

— Не змерзнем, сыну. И тут живут люди.

— Це ж сибиряки!

— И мы будем сибиряками. Чуешь? Найкращего миста нема на всем свити.

— Як я пиду в школу, колысь плохо разумею и балакаю по-русски?

— Ще лучше всех балакать будешь, Леша. Погодь трошки, и мы одолеем русскую мову. Мы вже добро балакаем.

Помолчали, спаянные единым желанием.

— Мамо!

— Шо, Леша?

— Ты ему грала на скрипке, когда вин був с тобой на том хуторе?

— О, Леша! Немцы ж були. Каты!.. Боже ж мой, какое лихо!..

С утра Шумейка собралась с сыном на Амыл к парому, чтобы встретить Степана до того, как он приедет в Каратуз.

Собрала в сумку продукты, нарядилась в лучшее крепдешиновое платье, накинула на пышные русые волосы шелковую косыночку и долго вертелась перед зеркалом. И казалось Шумейке, что она такая же! И синева глаз та же, и вздернутый нос, и черные брови, и вся она подобранная, стройная

Леша надел короткие штанишки и новые ботинки на каучуковой подошве.

Над Амылом кружились ласточки. Берегом тянули невод. Где-то над тайгою гроыхала гроза. К обеду грозовая туча продвинулась к Каратузу. Шумейка с Лешей укрылись под тополем. При каждом ударе грозы Шумейка вздрагивала, как от артиллерийской канонады. «О, лихочко!» И наблюдала за дорогой: а вдруг подъедет Степан? В самый ливень к припаромку подошла автомашина. Шумейка побежала узнать: не Степан ли? Дождь прополоскал ее до нитки, но ей было все равно.

— Глянь, Леня, що зробилось з моим платьем? — Платье прилипло к телу, и она его оттягивала пальцами.

И гроза минула, и дождь. И опять солнце, и ожидание. Ни одной подводки, ни одной машины, ни одного человека не пропустила Шумейка, чтобы не глянуть: не Степан ли?

Чужие, незнакомые люди без конца ехали в Каратуз.

Солнце давно свернуло с обеда, а Степана все нет и нет!
Или Шумейка проглядела?

Плашкоут только что отчалил от правого берега. Синева Дымок. На припаромок накатились волны, и Шумейка едва успела отбежать. Оглянулась — и остолбенела.

На пригорке стоял вороной конь, впряженный в тарантас с железными подкрылками на колесах Усатый человек сошел с тарантаса и направился к припаромку, щелкая бичом.

Это был он, Степан! Ее Степан!..

У Шумейки будто остановилось сердце, и она не могла пошевелить ни рукою, ни ногою.

Горечь, обида, давнишние тернии ожидания, сполохи тревожных ночей на хutore Даренском, когда она, роняя слезы, до утра просиживала у хаты тетушки Агриппины, скованная страшной думой. «Не идут ли в хату фрицы», — все это разом нахлынуло на нее, сдавив горло. Как много довелось ей выстрадать за свою нескладную любовь и как мало она видела счастья!..

Пригнув голову, остановился Степан. Он даже не взглянул на Шумейку!

— Мамо, ще долго будем ждать, га?

И этот голос сына Шумейки, как бичом, подстегнул Степана.

— Миля? Ты?!

— Чи не бачишь?

И взглянула в лицо Степана. Черные глаза, смуглое прямоносое лицо, вислые усы, дождевик нараспашку, три орденских планки и Золотая Звезда на поношенном армейском кителе.

— Миля!

Солоноватая слезина, щекоча, скатилась на ее вздернутую губку, в ямочку...

Грубоватые мужские ладони легли на ее плечи. Напахнуло сыростью ила, истоптанной травой и еще чем-то вязким, горьковатым, как прелая солома.

— Степушка!.. Ридный мий Степушка!..

И сразу же, жарко дохнув, твердые губы прижались к ее полуоткрытому рту, поцеловали в губы, в нос, в щеки. Хмелем ударило в голову: она почувствовала, как зазвенело в ушах, и, пьянея, теряя силу, повисла на его руках, запрокинув голову. И только сейчас сквозь слезы увидела

все его лицо, обросшее черным жнивьем, ввалившиеся щеки, пропыленные коричневой пылью загара, глыбу упрямо нависшего лба.

— Шумейка ты моя, Шумейка! Как же я тебя искал!

— Боже ж мой! Скоико я писала!..

И ручьями полились слезы, облегчающие сердце. Он глядел ладонью ее вздрагивающие плечи. Ее пышные волосы, мягкие, как шелк, теплые, пахнущие водою, лезли ему в глаза, в рот, а он, не огнимая лица от ее головы, терся об них, с жадностью вдыхая знакомый запах.

Она говорила, говорила, говорила!

— Твоих писем, Миля, я в глаза не видел! Леша? Где Леша?

Оба враз оглянулись — Леша не было. Убежал к тополю.

— Шумейка ты моя, Шумейка!

— Я все Шумейка, Шумейка, твоя Шумейка! Чи прогонишь мене, га?

Степан захохотал.

— Тебя прогнать? Ну, нет! Без тебя небо над головою с овчинку сморщилось.

— Пидем к Леше

Подошли к старому тополю возле берега Амыла. Леша хотел бежать от тополя, но остановил голос отца:

— А ну, покажись, Леонид Степанович!

Вот, оказывается, какое отчество у Леша! А в метрике записано «Павлович», по дедушке, которого Леша тоже не знал. Отец Шумейки погиб на границе в начале войны.

— Гляди, Степушка, який це фриц!..

— Сволочи! Ну да теперь с таким фрицем нам никто не страшен,— ответил Степан и, склонившись, обнял сына, как мужчина мужчину. Случилось то, чего и сам Степан не ожидал. Сразу как-то обмякло сердце, и ему стало так приятно и радостно, словно он заново на свет народился.

С плашкоута ехали втроем. Остановились возле гостиницы.

— Я все Лешу учу балакать на русской мове. Он такой понятливый, Степушка. Взглянь — у него твои глаза. Такие едучие, с отметиной. О боже ж мой, как тико мы доихали до Сибири! На Енисее скалы пид самое нибо. И звезды лежат на скалах. Правда, Степа! Когда смотришь на них з парохода, кажется, шо звезды на скалах.

В двенадцатом часу ночи Степан вернулся с бюро. Остановился возле порога и развел руками:

— Ну, а теперь будем жить, Шумейка!..

На бюро райкома Степана рекомендовали директором нового племсовхоза.

На другой день Вихров-Сухорукий уехал из Каратуза с попутчиками в Белую Елань. И, как водится в деревне, часу не прошло после возвращения Вихрова-Сухорукого, как вся Белая Елань знала уже, что к Степану Егоровичу приехала фронтовая жена Шумейка и что он задержался с нею в Каратузе. Разливу этой вести не в малой мере поспособствовал Мамонт Петрович Головня, крайне недовольный, что Степан не сегодня-завтра распрощается с Белой Еланью.

— Нам бы еще два-три года, и мы бы с Егорычем на первое место вышли! — шумел Мамонт Петрович. — Чем они там думали на бюро, спрашивается?

И выехал сам в Каратуз.

Еще через день — ахнула вся сторона Предивная. В тарантасе по большаку Предивной проехал Степан Егорович со своей фронтовой женой Шумейкой и сыном Лешей...

II

Густились тени. Улица пошумлиwała вечерней суетой. На двух телегах со смехом и летучим тающим говором прокатили колхозники лалетинской бригады, на ходу спрыгивая каждый возле своего дома. Агния шла к дому и все слышала, как пели Аринка Ткачук и Груня Гордеева — обе румяные, видные собой, в полинялых отгоревших платьях.

Аринка смотрела прямо на Агнию черными глазами, голосисто вытягивая знакомую песню:

Ой вы, грезы, мои грезы,
зо-олотые сказки...
Про-летела-а мо-олодость
без-з лю-убви и ласки...
Что со мной случилось ся-я,
я и сам не знаю ..
В ночь по одушку мо окрую
к се-ердцу-у прижи имаю-аю...

И сразу же, тут же в улице, на глазах у всех, ручьем хлынули слезы. Опустив свою несчастную голову, ускоряя шаг, Агния торопилась к дому, провожаемая взглядами сельчан. Она не видела, как открывались створки то в одной, то в другой избах, как Авдотья Романовна, вдовушка, сестра Аксиньи Романовны, стоя у открытой калитки, засунув

руки под холщовый фартук, смотрела на нее печальным взглядом, а у самой поблескивали в подглазьях горем выжатые слезины. Не сладка вдовья жизнь, но и не сахар, когда мужик бежит из дому.

III

Встретила мать, суровая Анфиса Семеновна, такая же рослая, прямая и ширококостная, как и Авдотья Романовна.

— Знаешь?

— Слышала!

— Ну вот...

В просторной ограде, петляя в багрянце угасающих лучей, более обыкновенного жужжали хлопотливые труженицы-пчелы, летящие то с крошечными поносками желтой пыльцы на лапках, то с клейким пахучим прополисом; суетились на летке, деловито обнюхивались, то густо шли в пойму к цветущему доннику, щедро выделяющему нектар после пригрева солнца, набирались живительной влагой и, отяжеленные, довольно жужжа, возвращались в ульи, торопясь залить прозрачные восковые соты нектаром.

На другой день вечером по прохладному таежному сумеречью, дохнувшему из тайги в улицу и в избы через открытые настезь окна, пришел домой Степан.

Еще в ограде он встретился с Анфисой Семеновной, перекинулись колкими, немирными словами, взаимно жалящими друг друга, и, чуть задержавшись в темных сенцах, наливаясь непомерной тяжестью, переступил порог на половину Агнии. Ни Федюхи, ни старого Зыряна не было дома...

Тюлевые шторы на трех окнах, хватаемые ветерком, пучились в комнату. Тяжелые коричневые часы с двумя гириями под стеклом блестели эмалью круглого циферблата. Пахло каменным зверобоем и фиалками до того резко, словно кто перетер цветы в ладонях. На круглом столе — хрустальный графин с веселыми, еще не изведавшими дыхания смерти цветами. питающимися речной водой: они еще живут, пахнут, твердо держат головки.

Смуглая щека Андрея и такой же, как и у отца, прямой мясистый нос с крутым вырезом ноздрей, широкое покатое плечо — зырянская покать, этажерка, отяжеленная книгами; столик-треуголка у окна с живыми повислыми маками; зеленая кадушка с фикусом, вымахавшим под потолок,

широко разбросившим лапы-листья, и — такая тишина! Будто все замерло в ожидании чего-то поворотного, что должно совершиться в эту минуту. Слышно, как замедленно, с разрывами дышит Агния, опустив голову, как Андрей, переступая с ноги на ногу, вдавливая скрипящие половицы.

Взгляд враз все схватил и отпечатал навечно в памяти.

Он пришел сказать о перехваченных письмах, сказать, что фронтную любовь никогда не забудет, сказать ей, Агнии, что сошлись они просто по недоразумению, а главное, из-за Андрюшки, что у него есть еще сын, и она, Агния, постыдно скрыла письма Шумейки, но он ничего не сказал.

— Я... бумаги возьму. И — шинель.

В ответ глубокий вздох Агнии.

Он достал из шифоньера гимнастерку, брюки, снял с вешалки шинель и форменную фуражку с кровавой каплей звездочки и только было повернулся уходить — ноги сами понесли к порогу, как тишину смял голос Агнии:

— Степа! Куда ты? А?

— Знаешь.

— А-а...

Андрей кинул:

— Пусть уходит. И без него проживем. Постоялец.

— Ты — помалкивай.

Глаза сына округлились, брови сплылись, сдавив кожу над переносьем.

— Это почему же я должен помалкивать? — спросил он. — Иди, жених.

— Андрюша, не надо, пожалуйста. Не надо!

— А что молчать?

И голос Андрея, жесткий и суровый, бил, как железным прутом, по туго натянутым нервам. И, как всегда в такую минуту, в горле тонкими коготочками заскреблась сухость...

— Что же, уходи. Так будет лучше, — глухо проговорила Агния. — Это фактически не жизнь. Ты меня совершенно не знал! Ты жил, где хотел и как хотел. Это и было разводом, затянувшимся разводом. А сын рос... Он же не знал тебя. И если он встретил тебя как отца, это значит, что я постоянно говорила ему о тебе, что ты на фронте, хотя в моей душе ты не жил. Мы же совершенно разные люди! Вот что я хотела тебе сказать, Степан. Можешь на меня сердиться, но я сказала правду. Еще не всю правду!

— Говорю всю, — глухо прозвучал голос Степана. Он

стоял у стола, тяжело дыша, будто долго шел в гору. Значит, все это она держала на сердце?

Как безразлично толкнул взглядом Андрей! Брезгливо усмехнулся и пошел из горницы, кинув отцу в спину:

— Жених!..

В окно падал сумеречный свет. Играла вечерняя зарница, льющая багряный поток в окно, выходящее на запад. Широкая полоса красного света пролегла через всю комнату, разъединяя мужа и жену. Ни тот, ни другой не сделали шагу через эту полосу отчуждения, как бы протоптанную сыном Андреем. Степану надолго запомнилась именно эта полоса и то, как он глядел на Агнию, но не видел ее лица. Глаза его упирались в сгустившуюся пустоту. Из пустоты звучал чужой голос.

— Только ты не думай, что я без тебя пропаду. Жила и жить буду. Уходи!

В ограде послышался треск мотоцикла.

— Со мной жила, а на Демида оглядывалась,— напомнил Степан, медленно переводя дыхание.

— На хорошего человека всегда оглядываются! — И точно так же, как сын Андрей, Агния брезгливо усмехнулась.— А ты разве был мужем? За три года — трех минут душа в душу не поговорили. И правда, постоялец! Спасибо скажи хоть за квартиру со всеми удобствами. Еще вот письма Шумейки.— Вытащила чемодан из-под кровати, вытряхнула тряпки и достала из барахла стопку писем, завернутую в газету. Бросила Степану. Конверты разлетелись, как карты.

Сдерживая закипевшую ярость, Степан подобрал письма и сунул в карман кителя.

Агния стояла посредине комнаты.

— Уходи! — И отвернулась к окну.

Багряная полоса померкла, будто ее и не было.

В дверях Степан столкнулся с Полюшкой. Синие васильки обожгли лицо. Полюшка прислонилась к косяку двери, пропустила Степана и закрыла за ним дверь.

— Мама!..

Агния, как пьяная, подошла к пуховой кровати и упала головой на подушки.

Полюшка под села к ней.

— Ну что ты, мама? Хорошо, что он ушел! Нужен он тебе! Вечный молчун. Я его терпеть не могла! — тормозила Полюшка, утешая мать.— Слушай, мама, я только что при-

ехала из Таят. Ох, как я мчалась на мотоцикле. Папа никогда на такой скорости не ездит. А я как газанула, аж в ушах свистело. Через мостик перелетела как на крыльях. Мотоцикл занесло, чуть не вылетела. Вот папа бы увидел!..

Сдерживая слезы, Агния прислушалась. Полюшка! Доченька! Она же вот, рядом.

— Ты... одна... приехала?— всхлипывая, спросила мать.

— Одна.

Обняв Полюшку, мать глухо заголосила.

IV

...Когда Шумейка подошла с сыном Лешей к усадьбе Вавиловых, ее будто волной подмыло:

— О! Це ваш дом? И лес, и гора! Скико тут лесу! Леша, гляди!

И в самом деле, было чему удивиться. Крестовый дом Вавиловых смахивал на крепость. Невдалеке — хребет Лебязья грива. Неизменный палисадник с черемухами и березами. Наезженная улица зеленела подорожником и пучками пикульника. Здесь был тупик — дальше улица не шла. Справа — обрывистый берег Малтата. А за Малтатом — лес, лес, лес. А еще дальше — аквамариновая синь тайги.

— Боже ж мой, кабы на Вукраине було стико лесу! Вы, иначе, пиляете такой лес на дрова?

— Еще толще пилим,— ответил Степан.— Двухметровой поперечной пилой. Еле отвалишь чурку.

— Чурку? Шо за чурка?

Степан усмехнулся и показал руками, что значит отвалить от бревна чурку.

— Леша, разумеешь?

— Разумею.

— Добже. Учись балакать по-сибирски.— И опять спросила: — А лесничий не жалкует?

— На колхозной земле лесничих нет. А земли у нас вот такой, какую видишь,— с лесами, реками, оврагами, горами, пашнями, лугами, поймами — семнадцать тысяч гектаров. Есть где развернуться. Ты еще познакомишься с Сибирью, а сейчас — пойдете.

Прошли в просторную ограду с тесовыми поднавесами, двумя амбарушками и частоколовой изгородью огорода. В стороне, у огорода, рядки пчелиных домиков. Пестрая однорогая корова с опустившимся чуть не до земли выменем

и свисающим морщинистым подгрудком, стоя в затенье, переминала жвачку, сонно скосив на пришлых меланхолический желтоватый глаз. От крайней амбарушки, гремя кольцом по проволоке, черным клубком выкатился кобель — и тут же попятился от взгляда Степана.

На крыльцо вышла Аксинья Романовна, еще ядреная, но поотцветшая, с остреньким носом на плоском, как пере-зревший табачный лист, желтом лице.

Скрестив руки на груди, вычертив губы в тоненькую ли-неечку, Аксинья Романовна стояла на возвышении крыльца, как комбайнер на штурманском мостике, взирая на гостей настороженно и подозрительно. Она уже знала, что за кра-лю ведет в дом Степан Егорович! Вся Белая Елань только об этом говорит сейчас.

— Гостья? — медью звякнул голос Аксиньи Романовны.

— Моя жена. Мелентина Шумейка. Приехала ко мне из Полтавы. И вот — сын мой, Леонид. Война нас растолк-нула, и вот — съехались теперь.

Аксинья Романовна выпрямилась, как вязальная спица, и — хоть бы слово — ни здравствуй, ни прощай. Еще тоньше вычертила линию скупых губ, посунулась в сторонку, про-пуская Шумейку с сыном и Степаном в избу. Успела гля-нуть на невестку сверху вниз, посмотрела на икры — не по-нравились: как сточенные! И вся будто сухостоина — ни груди, ни живота. В лицо не взглянула. Найдя заделье, чертыхаясь, протопала вниз, влетела в амбарушку, пере-вернула мигом порожнюю бочку, приготовленную к замачи-ванию в речке, сдвинула тяжелый станок, на котором Егор-ша мастерил ульи, еще что-то хотела сдвинуть, но, всплес-нув руками, так громко выругалась, что Черня, поджав хвост, поспешно заполз под амбарушку.

— До-ока-ана-ют меня! До-ока-анают!

Долго кипела Аксинья Романовна. Вот, оказывается, что за Шумейка припожаловала! Змеища, не баба. Она ее не-пременно выживет. Не сегодня, так завтра. Пигалица какая-то, не баба. То ли дело Агния Аркадьевна!

Степан позвал в дом. Аксинья Романовна помешкала, поостыла и взошла на крыльцо и в избу деревянным шагом.

— Чо звал-то?

Взгляд сына, такой же тяжелый, как и у отца, Егора Андреяновича, укоротил без слов.

— Доконаете вы меня с отцом, — скрипнула натружен-

ным голосом.— Доконаете! Тот, старый кобель, чтоб ему треснуть, вечно стригет глазами по бабам, да ты еще! Когда насытитесь?

— Молоко у нас есть?

— Откель! Не доила еще.

— Обеденное?

— Посмотреть надо.

— Степа! У меня е гроши. Сходи, купи.

— Тут на грошій молока не продают,— скрипнула Аксинья Романовна.

— Не жадничайте.— Степан покосился на мать.

Аксинья Романовна, как и все ее сестры, слыла на деревне скопидомкой, нехотя вышла из избы и вскоре принесла из подвала кринку снятого молока. Степан взял, попробовал, посмотрел на мать из-под бровей, толкнул ногой дверь и, не размахиваясь, запустил кринкой в открытую дверь. Молочная дорожка пролегла от порога до крыльца.

— Ах, леший!..

— Тут не свињи. Пойлом не потчуй.

И сам пошел за молоком.

Шумейка подошла и села на лавку рядом с Аксиньей Романовной. Ту так и передернуло. Посунулась к столу и, вперив взгляд в стол, простонала:

— Робишь, робишь, и свой же тебя, осподи! Хоть бы смерть! Окаянная жисть! Ишь, снятое молоко не пондравилось! Какое же пить? С чего брать сливок? Сметану? Масло на сдачу?

Рука Шумейки легла на плечо Аксиньи Романовны.

— Ты чо оглаживаешь? Я не корова — не доюсь! — И, встав, пересела подальше от Шумейки.

Степан сам вынул из печи чугуи со щами, тушеную картошку в утятнице, пригласив мать пообедать вместе, и, получив отказ, перенес снесь в горницу, и там пообедали с Шумейкой.

v

Аксинья Романовна вышла в ограду и дотемна провозилась у пчел, то расширяя летки, то сужая, то смотрела, не лезут ли прилетные воровки-осы. Тут и встретила с невесткой Мызниковых. Потом подошли сестры: Марья Романовна и Анна Романовна с Марией Спиваковой. Сколько они уж повздыхали, покляли всех незаконных жен, что таскаются к чужим мужьям через весь свет! И вот еще что

надо заметить: все сестры Аксиньи Романовны неудачливы в браке. Слов нет, бабы работящи, проворны, заботливы, припасливы, а мужья бегут от них, как от чумных.

Вечером у Степана побывали Вихров-Сухорукий с Пашкой Лалетиним.

Пашка Лалетин за все время, покуда был в избе, глаз не сводил с Шумейки. Разговорился, в расспрос ударился, да Степан незаметно одернул его. Вихров, наоборот, ни разу не взглянул на Шумейку, будто ее и в избе не было.

Поговорив о новом назначении Степана, ушли вместе, оставив свиток махорочного дыма. И сразу же, словно со-роки-белобоки, в избу с двора поналетели бабы с ахами, охами, судами да пересудами. Шумейка отсиживалась в горенке, как медведица в берлоге, обложенная охотниками.

— Вот уж не повезло Агнии!..

— Горемычная головушка! То Демид мутит ей голову, то Степан...

— Так уж повелось, Романовна. Столкнулся в проулке — вот те и сошлись... до первой оглядки.

— Ни сыт, ни голоден.

— Воля портит — неволье учит.

— Лизка-то Ковшова разошлась с Ветлужниковым.

— Нноо?

— Ей-бо!

— Хворостылевы ввечер передрались. Из-за Груньки-срамницы.

— И, бабоньки!..

И почему-то все захохотали. Заговорили все враз, не разобрав, кто о чем.

— Господи, сколько я намыкалась с самим-то, а тут и сынок попер в его кость! Ить, кобелина треклятый, всю жисть рыскает, что волк. От него и Степка набрался.

— Не велика беда, коль влезла коза в ворота. Можно и от ворот указать поворот.

— Она-то где?

— Хоть бы посмотреть, что за птица.

— В горнице отсиживается, чтобы ей там околеть!..

Распахнув филенчатую дверь, Шумейка вышла в избу с Лешей. Мальчик задержался в дверях. Бабы, рассевишиеся по лавкам и у застолья, зашевелились, но ни одна не растерялась. Вот уж любопытству утеха! Сама вышла. А ведь слышала, поди, как перебирали ее косточки? Молодка с ха-

рактором. Две Романовны — Мария и Анна, еще не видевшие пришлую злодейку, так и впились в нее колючими буравчиками. Аксинья Романовна, привередливо поджав губы, смотрела в пол, держа на коленях серого кота. Мария Спивакова повела черным глазом по Шумейке и облегченно вздохнула: ей нравились смелые женщины. Такая живо отошьет! Афоничева Анютка, ширококостная, белая, с круглым, как зарумяненный блин, лицом, щелкая кедровые орехи и складывая шелуху в подол, первая заговорила:

— Сразу видно нездешнюю. У нас бабы крупные.

— И, крупные! Есть и пигалицы.

Шумейка посунула ногою табуретку и села насупротив двух Романовн.

— Леша, це тетеньки дуже добрые. Глянь, как они лузгают орехи.

Мария Спивакова громко захохотала и, подойдя к Леше, заглянула ему в глаза.

— Так и есть, Степановы!

По избе метнулся шумящий вздох трех Романовн. Снежкова и Афоничева хихикнули, невестка Мызниковых подтверждающе кивнула льяной головою.

— Ишь, какой видный парень-то! — сказала она.

— Он же в породу Вавиловых, — напомнила Мария.

— Лицом-то вылитый Степан, — сказала Ирина Мызникова, сестра Марии Филимоновны, привередливо выпятив губы и надув толстые щеки.

— Ишь как!

— Примерещится же!

— Да ты взгляни! Глаза-то, смуглявость, брови — чьи? Все Степаново!

Аксинья Романовна ругнулась на кота, сбросила его с колен, сунулась в куть, что-то там передвинула, заглянула в цело, вытерла руки о фартук и нырнула в сенцы за корытом. Приспичило белье замочить.

VI

По осени падает лист — с желтинкой, с красноватыми прожилками, словно в листьях позастыла кровь; багряный, будто жженый в гончарне, жухлый, оранжевый. Ветерок отряхивает деревья от летних нарядов, а зимою, когда дуют с Белогорья ледяные ветры, голые сучья постукивают друг о дружку, как костями.

Осень — пора увядания.

Так и прожитая жизнь Агнии. Много опало листьев, а все жадное сердце чего-то ищет, ждет, томится... Агния никак не верит, что настала пора ее осени! Давно ли она цвела лазоревым цветком девичества! А минуло столько лет! И каких лет? Сколько пережито за эти годы? Сколько передумано? Была ли она хоть день счастлива? Ах, если бы она могла удержать Демида! Как-то вот вышло так, что они не сошлись.

Листья прожитого падают и падают, гоня дрему.

Тихо в горенке. По углам таятся дегтярные сгустки тьмы. Тюль на окошке то полыхает пузырьем внутрь, то втянется в окно отощавшим брюхом. За окном — огоньки цигарок. Птичьим линялым пером закружились во тьме горенки обидные слова, занесенные тиховеем ночи:

— Как, интересно, Аркадьевна теперь, а?

— Ей не впервой! Выдержит.

— Дрыхнет, и окно настезь.

— А та, брат, не нашей породы!

— Видал? Как она?

— В перехвате, как оса, а бедра и...

— Ха-ха-ха...

— Теперь у Степана медвяные ночи.

Узнала по голосу Пашку Лалетина. А те, двое, кажись, Сашка и Николай Вавиловы, сыновья вдовы Авдотьи Романовны.

— А где Демид? — докатился хриловатый голос Вихрова-Сухорукого.

— В город собирается. Все ищет свою Голоवेशиху,— лениво ответил Лалетин.

— М-да-а, хваткий человек!.. Без него со сплавом бы запурхались. (Демид, проработав два сезона в геологоразведке, перебрался в леспромхоз на мастерский участок Таврогина.)

И снова все стихло. Агния, закусив губу, потихоньку всхлипнула. Ах, как ей постыло!.. Сама себе испортила жизнь. Зачем ей было хитрить со Степаном? Из-за Андрюшки! Вот и осталась и без Степана, и без Демиды. И во всем виноваты многочисленные родичи Вавиловы. Это они всякими правдами и неправдами свели ее со Степаном!.. Это они закидали польнюю дорогу между нею и Демидом. Да вот еще была Авдотья Головня!..

А листья падают и падают, гоня дрему.

Не чаяла Аксинья Романовна, что изведает еще раз счастье бабушки.

Взыскивающе вглядываясь в черты Леши, вспомнила давнее.

— Господи, уродится же ребеченчишка! Хоть бы каплю перенял, а ведь весь ковш кровинушки выхлебал, дотошный! Степка, истинный Степка. Уродила же хохлушка! И до чего настырная — через весь свет приперлась! Господи! Ну, что зовешь? Спи. Я те кто? Бабушка. Да ты это, таво, говори по-нашему, по-чалдонски. Чтоб не слышала «шо, шо»!

Как ни крепилась Романовна, а поцеловала сонного Лешу в пухлую щеку. Тут и началось, покатилося, не сдержаться! Будто с души льдина сползла; затомилося под ложечкой.

И голос-то у ней переменился. Куда девались ворчливые и крикливые ноты, от которых бросало в дрожь даже Черню? Журчал, что таежный родничок, пробившийся сквозь мшарины дымчато-изумрудных мхов, узорами устилающих брусничные места, где каждое летичко хаживала с совком за ягодами.

Но с Шумейкой так и не помирилась. Не лежало к ней сердце. Особенно сердчала на нее за то, что она ровно присушила к себе Степана. Ночами, прислушиваясь, как сын миловался с молодой женой, так и кипела: «Замурдует Степана, истинный бог!.. Как целуются-то, как целуются-то, а? Господи! Вытрусит, окаянная присуха, всю силушку из мужика! И сам был смолоду такой же, да я ему укорот сделала: мужику надо не миловаться с бабой, а робить!»

Так от ночи к ночи накатывала злобу на сноху.

Утрами будила на заре. Чуть забрезжит сизоватая рань, пора вставать.

— Милка! Доколь дрыхнуть будешь? Проспишь все царствие небесное!

— Зараз, мамо!..

— Сама ты «зараза»! Сколько раз говорено: не суй мне «заразу»! Я, поди, чище тебя.

Как ни поясняла Шумейка, что в ее словах нет ничего обидного для Аксиньи Романовны, убедить старуху не могла.

— Милка, чугуны ставь в печь, — как-то сказала Аксинья Романовна: сама возилась с квашней.

Шумейка сперва храбро взялась за двухведерный

пузатый чугуи, но не осилила — от полу не оторвала,

— Не поднять!

— Да ты что, хвороба? Ночью-то Степку до беспамятства устряпываешь, а на чугуне руки опустила? Ставь, говорят!

Пришлось Шумейке понатужиться, а чугуи поставить.

На корове поссорились. Пеструшка была ведерницей. Таких коров в деревне три: у Марии Спиваковой да еще у Маремьяны Антоновны.

Послала Романовна Шумейку подоить Пеструшку, та и принесла ей на ладонь неполное ведро.

— Ты чо, окаянная, аль выдоить не могла?

— Скико було, все выдоила.

— Скико! В ней не «скико», а ведро. Растирала вымя-то? Я ж те показывала, как подходить к Пеструшке! Ежли не дает — песню мурлычь, да ласковую, нежную.

И пошла сама додаивать. Полчаса сидела под коровой, мурлыкая песенку: «Ой уты, ой уты, ой утятки май-и»... Пеструшка, меланхолично нажевывая жвачку, слушала, смежив сладостно глаза. А молока так и не спустила. Ни капли. Тут-то и вскипела Аксиия Романовна. Испортила хохлушка корову! Ночью глаз не сомкнула, ждала утра.

Спозаранку вышла доить сама. Пеструшка, недопив хлебное пойло, лежала под навесом в прохладке. Аксиия Романовна огладила ее от шеи до объемистого брюха, вздымающегося, как мех в кузне, похлопала по стегну — вставай, мол, хозяйка пришла, но Пеструшка, лениво приподняв хвост, никак не хотела встать. Романовна и так и сяк оглаживала ее и, вскипев, пнула ногой в брюхо.

Зло скосившись на хозяйку, мостящуюся на стульчике с эмалированным подойником, Пеструшка туго раздоилась, снова недодав молока.

Романовна побежала за бабкой Акимихой, до того согбенной старушонкой, что едва переставляла ноги, сухие, как костыли, выгнутые в коленях наружу. Акимиха приплелась в ограду, ощупала подгрудник у коровы, приподняв его, заглянула в глаза, пощелкала языком, понюхала метелку хвоста, и — тоном прокурора:

— Изурочена.

У Романовны аж дух сперло.

— Полечи, Николаевна! Уважь, милая. Добром отплачу.

— Полечить не стать, да как бы костылем до неба не достать. Сын-то у те — партеец, как лечить-то? Лонесь ез-

дила в город на благовещенье. В церкви от народа — не продыхнуть. Чуют, что в другой войне спасутся те, кто будет исповедовать веру во Христа Спасителя и мать божью!..

Брызгая слюною, щеря белозубый, еще молодой рот, бабка Акимиха до того разошлась, подергивая по забывчивости хвост Пеструшки, что та, не выдержав такую издевку над ее хвостом, подняла ногу да как свистнет Акимиху, что той конь, так старушонка и покатилась, гремя языком проклятия. А тут еще на беду подоспел Черня, который, не разобрав, в чем дело, принял стремительное падение бабки Акимихи за сигнал к действию, вынырнул из-за приквети и, скаля клыкастую пасть, рыча, наметом кинулся на жертву и вцепился ей в воротник кофты так, что от кофты полетели ключья. И откуда взялась прыть у Акимихи!

— Цыц, цыц! — вопила она истошным голосом.

Романовна утюжила Черню. Отбив руки, поспешила к Акимихе, пристроившейся на крыльце. Как же тут не разберет зло на Шумейку, из-за которой Пеструшка вроде сдурила?

VIII

В пятницу из тайги пришел Егор Андреянович. От людей наслышался о Шумейке. Романовна в тот день пасла Пеструшку в заречье. Дома была одна Шумейка. Когда Андреянович вошел в избу, Шумейка, подобрав платье выше колен, хлюпая вехоткой, думывала пол.

Ворохнув метелкой черной брови, расправив вислые белые усы, широко шагнув от двери, Андреянович прошел в передний угол, успев высмотреть все достоинства снохи. Слаб был старик на бабью красоту. Еще позавчера, когда ему Нюрка Шарова, навестив пасеку, рассказала про Шумейку и ее красоту, Андреянович прежде всего сбрил седой усев на щеках, выпарился в бане, а тогда уже, отдохнув денек, двинулся к гнездовью.

Выпрямившись у порога, Шумейка вопросительно поглядывала на старика. Под его бродни подтекла лужа грязи. Она узнала его не по тем засиженным мухами фотокарточкам, что висели в рамках по стенам горницы, а по черным молодым глазам и метелкам бровей. Отец был крупнее и осанистее сына. Прямя спину, поглаживая широченной ладонью по истертой клеенке, старик смотрел на нее веселыми глазами.

— Корень зеленый, не узнаешь?

— Егор Андреянович?

— Хе-хе! Аль на мне прописано, что я Егор Андреянович?

Шумейку смущали глаза старика, липучие, как у того кота, что только что прошлялся ночь по крышам.

— Коля познала — привечай, Шумейка. Так, что ли?

Вытерев руки о холщовое полотенце, свешивающееся с марального рога у печи, Шумейка робко протянула руку с выпрямленной ладонью, но старик, встав во весь свой богатырский рост, проведя ребром ладони по усам снизу вверх, пояснил:

— Об ручку — с пришлым! Со мной, как и водится, троекратно поцеловаться надо.

Вся вспыхнув, Шумейка не успела опустить протянутую руку, как Андреянович сграбастал ее в объятия, щекоча усами, впился в губы. От старика пахло пихтачом и пряным запахом пчелиного клея — прополисом. От его загорбелых рук разило хлебиной, чем кормят пчелы детку. Холщовые штаны с болтающейся мотней, испачканные медом и загрязненные, лоснились. Рыжие бахилищи с отвисшими голенищами, по союзкам пропитанные дегтем, вдавливали половицы — так он был тяжел на ногу.

— У те глаза, как картина, — вся душа видна. Что спужалась? И — легкая, корень зеленый! Я думал — ну, Шумейка, хохлуша, фельдшерница, знать, женщина во какая в объеме! А ты вот какая! — И еще раз приподнял усы вверх.

От троекратного поцелуя у Шумейки помутилось в глазах.

Андреянович посмотрел на внука, спросил, сколько ему лет, и удовлетворенно похлопал Шумейку по плечу.

— Старуха-то, поди, не приветила, как я? Она у меня с валявинским душком — ни тепла, ни живинки. Немочь.

Заметив футляр скрипки на столе, открыл, вынул скрипку, тронул струны загорбелыми пальцами.

— Играешь?

— Смычка нема, нету. Я просила Степана принести конский волос, но он еще не принес.

— Нашла кого просить! — ухмыльнулся Андреянович. — Степану с малства медведь на ухо наступил. Ни в музыке, ни в барабане — ничего не смыслит. Что тальянка, что двухрядка — единый звук. Не уродился же в меня, корень зеленый! Я и в тайге музыку слушаю. Другой раз поднимешься

жа зорьке, выйдешь за омшаник, тут тебе и пошло, поилось! Всякая тварь свою песню насвистывает: живет, радуется. Медведь и тот не может без музыки. Как-то шел за орехами, вижу, сидит косолапый верхом на сухостойне и так это раскачивает ее. Сухостойна попискивает, скрипит — тем и доволен медведь. Или, к примеру сказать, утро. Синь над тайгою, пчела идет в первый лет, ульи пошумливают — приложишь ухо и слышишь, как хлопочет матка возле детки. По густым звукам угадываю старицу. Тоненько попискивает — молодка хлопочет. Живи, голубушка...

На другой день Андреянович притащил Шумейке целый пучок конского волоса, которого хватило бы на сотню смычков. Сам помог натянуть волос, проканифолить и попросил Шумейку сыграть ему что-нибудь задушевное, таежное. Степан молча посмотрел на затеи отца и, не дожидаясь, когда Шумейка начнет играть, ушел из дома, хоть Шумейка-то старалась из-за него. И сразу же будто по избе польхнул сквознячок. Так и полезли мурашки по заплечью.

Долго настраивала скрипку. Пальцы стали какими-то чужими, деревянными. Андреянович поторапливал:

— Чо бренькаешь-то, сырай!

— Шо ж вам сыграть?

— «Глухой неведомой тайгою» — знаешь? Или «Ланцов задумал убежать»? А?

И вот полились мягкие, сочные звуки, такие же загадочные, чуточку грустноватые, как и сама тайга. Сперва неуверенно, робко, а потом все смелее и смелее играла Шумейка песню о тайге. И грезилось ей полноводье могучего Енисея, бело-еланский шлях, где ехала со Степаном, — горы и горы! Звуки ширились, нарастали, как снежный ком, выплескиваясь через открытые окна, будили дремотную улицу. Андреянович слушал, низко склонив голову и беспрестанно тербя седой пышный ус, выжав скупую слезину на полнокровную загорелую щеку. Ему свое виделось. Непролазные дебри, полные звуков жизни, медвежьи тропы и густотравье, сохатинные стежки на солонцы, где сиживал на лабазе с братом Санюхой... Видел себя молодым, безусым, задористым и бесстрашным. Эх, если б вернуть те давние годы!..

Леша следил, как мать играет, смотря на сына тем далеким взглядом, который он никогда не понимал. Соседи Снежковы и Афонничевы высыпали к палисаднику.

Хорошо играла Шумейка, Андреяновичу понравилось.

Не иначе, артистка. «И обличность как из кино вынута, и обиходливая».

Подумал. Артисты — народ ох какой ненадежный! Со стороны смотреть — терпимо будто, а как поближе — спаси нас, господи!

«Может, еще не прильнет к Степану?»

Спросил: что за песню наигрывала? «Реве та стогне Днипр широкий». Который Днипр? Не тот ли, где Андреянович брел когда-то еще в первую мировую войну? Тот самый?

— Глыби в нем вот столько,— и показал ребром ладони чуть ниже плеч.— Такая река в Сибири — не в счет, речушка! — И махнул рукой.— Масштабность у нас другая. Огромятушая.

— О, я бачила тот Енисей! — восторженно отозвалась Шумейка.— Такой реки нема на Вукраине.

— Во всех мировых державах таких рек нет, какие у нас в Сибири. И окромя того — люди. Кремневые. Как по характерам, так и по всему протчему.

И сразу, без всяких переходов:

— Любишь мово Степана аль так, манежишь?

— Ще це «манежишь»?

— Ну, голову крутишь, а потом — хвост покажешь.

Шумейка потупилась. Она, конечно, любит Степана. Разве бы приехала из Полтавы в Сибирь, если бы не любила? Столько лет она искала Степана...

— Слышала: правление колхоза не пускает Степана на директорское место в совхоз? То-то и оно! Сегодня вот подъехал сам секретарь райкома. Как там порешат, не знаю. Пойду вот, послушаю. Может, пойдешь со мной?

Пойти бы, но страшно что-то. За одиннадцать дней Шумейка дальше Малтата никуда не ходила.

— Нет, не пиду. Степа еще обидится.

— Оно так, без согласования нельзя.— И пошел из избы — высокий, угловатый, белоголовый как лунь, бывший полный георгиевский кавалер.

В ограде подошел к старухе. Подкинул усы вверх, предупредил:

— Гляди у меня! Ежлив будешь обижать Шумейку, гайку подкручу. Смыслишь?

— Иль те по вкусу пришлась, лешак?

— Молчай, шипунья-надсада. Гляди! — И поднес к носу супруги свой увесистый кулак, величиною с детскую голову.

Аксинья Романовна попятилась: беда пришла!..

Андреянович вышел из ограды, оглянулся и плюнул. Самому ему невесело подле Романовны. Маялся всю жизнь — только и спасенье тайга-матушка, глухомань, колхозная па-сека. Отчего такие разные люди проживают на белом свете? Один весь век шипит, суетится, тащит то отсюда, то оттуда, а зачем? Ужли в одном скопидомстве жизнь? Без веселин-ки — сердцу остуда. А Романовна так и прожила век, как кочерга. Ни в компании веселья, ни дома утеха.

Вечерело. Солнце только что закатилось, и по небу над Лебязьей гривой расплылись багряные потеки. Потом и они померкнут, и настанет парная июльская ночь.

С пастбища серединою большака шли коровы. Пестрые, красные, пятнистые, черные, комолые, вислорогие. Напахнуло молоком и сыростью пойменных просторов.

Давно ли Андреянович шел по большаку с братьями — Михайлом, Васюхой-приискателем? Вчера будто. И Михайла помер в городской железнодорожной больнице, и Васюха нынешней весной тихо преставился. Колол в ограде дрова, упал и умер. Как не жил будто.

«На пару с Санькой остались,— приуныл Андреянович.— Надо бы побывать у него. Вечно он, молчун, косоротится. А ведь одна кость — вавиловская».

Сотрясая землю и воздух, навстречу идут трактора к мостику через Малтат. Гул нарастает, ширится, проникает всюду. Впереди шлепают разболтанными башмаками два стареньких ЧТЗ. Вслед за ними — новенький, сверкающий тускло-серой краской ДТ-54 и знакомая коренастая фигура Андрюшки, сына Степана.

Андреянович подошел поближе.

— На целину?

Андрей оглянулся на деда, поправил пятерней черный чуб, скупно кинул:

— На целину.

Андреянович будто въявь увидел заречные просторы целины, где вчера еще всем колхозом дومتывали зароды сена. Веками лежала там целина, и никто ее не смел тронуть. Андреянович помнит, как на ту целину зарились богатеи Юсковы и Валявины, да их осаждали всем миром: не трожь! Мирская кладовая не для жадных рук. И вот поднимают целину. «Остатную кладовую распечатали! А не подумали про то, чем скотину кормить будут, когда выпаса распашут! Э-эх, руководители, корень зеленый! Племсовхоз

организуют, а сенокосные угодья — под плуг!.. И покачал головой, вспомнив, как он лет сорок пять назад, вставая с зарею, закладывал тройку в сенокоску, первым выезжал из деревни на заречные просторы. Тогда они жили одним домом с братьями. А что, если бы сейчас вернулась единоличная жизнь и Андреяновичу отвели бы надел на заречной целине?

Махнул рукой:

— Куда мне? Отторглась единоличность. Ни один из мужиков не взял бы надел. Подумать, а? Не слыхано, не видано, чтоб мужик отказался от земли, а вот произошла такая перемена!..

IX

Поздно вечером пришел из правления Степан.

Шумейка засиделась на берегу тиховодного Малтата, у костра, разложенного на заилившихся голышах камней.

Плотная стена топольника в замалтатье казалась таинственной, как мутнина омута, — ткнись, и потеряешься. На деревне мычали коровы, лаяли в разноголосье собаки. Звук по реке отдавались так резко, будто деревня пряталась в чашобе поймы. Ночь удалась теплая — ровно парное молоко струится в воздухе, так и клонит в дрему. В огонь засунуга замшелая коряга, чадящая вонючим дымком, отчего не насаждает комарье. Веет с гор теплинка низовки. Речушка — по весне бурливая, многоводная, летом обмелевшая — певуче перебирает камни, воркует, всплесками зализывая мокрые пески.

Все та же думка! Как жить здесь, в глухомани? Суровые тут люди! Скупые на приветливость. Степану надо бы не отмалчиваться, а говорить целыми речами, чтоб пронять таких людей, как Аксиныя Романовна и ее сестры.

По берегу шел Степан, хрустя галькою. И сразу же по заплечью прошел морозец.

— Ты что здесь?

— Так. Сидай рядом.

— Мать что-нибудь?

— Ни. А... что с шинелью?

— Тебя укрыть.

Он накинул на нее шинель. Посидели возле огня — друг против друга. Она смотрела на него из-под воротника шинели. Тот же лоб, широкие брови, смыкающиеся над переносьем, тяжелый подбородок. Все в нем угловатое, могучее,

грубое. Ждала — не заговорит ли? Но он, уставившись в огонь, молчал, охватив колени руками. Угли тухли, покрываясь пленкой пепла.

— Ну, вот так!..

— Шо?

— Отстояло меня правление в председателях. Ну да ничего! Жить будем и работать, Миля. Вытянем!

И, не ожидая ответа, взял ее за руки, притянул к себе — какая она легкая!..

— Степушка!..

Сразу за огородом начиналась Лебяжья грива, поросшая у подножия березняком. Как медведь, продираясь в зарослях, Степан шел в гущу леса, не чувствуя на руках тяжести ее тела. Она говорила что-то бессвязное, случайное, обвинив руками столб Степановой шеи, жарко дыша ему в щеку.

— От тебя пихтачом пахнет,— сказал он каким-то странным, срывающимся голосом. Под ногами шуршала трава, цепляясь за бахилы, рвалась, прямилась; алмазами помигивало небо. Где-то в низине ухал филин и голосисто заливалась собака.

— Куда ты, Степа?

— На гриву елани. Там — красиво,— выдохнул он, прерывисто дыша. Она чувствовала, как все сильнее стучало его сердце, словно хотело выскочить из груди и улететь птицей.

— Я пиду сама, Степа!

— Ничего. Подниму!

— А — гадюки?

— Спят. Расползлись которая куда.

— Боже ж мой, сикико лесу?

Он еще сильнее прижал ее к себе и все шел, шел, вздымаясь пологим взгорьем.

Х

Как величаво красив лес Лебяжьей гривы лунной ночью! Заматерелые разлапистые сосны, пихты и ели по низине, кудрявые березы кажутся темными, загадочными, полными невысказанной мудрости. Какими причудливыми узорами темнеют на фоне звездного неба лапчатые ветви сосен, откиннутые в сторону и наотлет! Внизу, поблескивая стальным литьем, с шумом перекатывает бурные воды Амыл; у подножия гривы — Белая Елань, согнутая спиралью ре-

чушкой Малтат. А высоко лучистые звезды с таким ясным, переливчатым светом, что смотришь на них и диву даешься: до чего же разнообразен подлунный мир! Какими причудливыми нагромождениями кажутся с хребта гривы синие, бескрайние просторы тайги, утесы Амыла, кремнистые тропы, выющиеся чешуйчатыми змеями в междугорье? Что говорят одинокому путнику темные кипы плакучих берез, перебирающие гибкими пальцами ветра смутно сереющую пахучую листву? Что в их шуме — то возбужденном, торопливом, как говорок влюбленных, то мягком и даже печальном, как воспоминание о чем-то приятном, но давно минувшем? Не напоминает ли шум Лебяжьей гривы море, когда волны одна за другой накатываются на берег и, тяжело вздохнув, рассыпавшись каскадами серебряных брызг о земную твердь, с шумом и всхлипыванием бегут обратно, чтобы снова и снова ринуться на него? И так же, как море ночью, кажется то бездонно глубоким и непонятым, грозным, суровым, предостерегающим неопытного пловца, то лукавым во время штиля, — так же и смешанный лес Лебяжьей гривы поражает сложною гаммою звуков, возникающих неведомо где и как! Вот только что где-то шелкнуло, скрипнуло, прощелбетало, пронеслось мимо, и снова все замерло, насторожилось! И ты стоишь и все слушаешь, слушаешь что-то, а понять не можешь — ни глубины мгновенно наступившей тишины, ни шорохов, ни звуков, которые вдруг нарушают ее. И вот ты слился воедино с величественной природой, с ее лесами, горами, беспредельным простором синевы — и всего, что объемлет глаз и чувства! И какие же несказанные грезы и думы обуревают человека в такие незабвенные минуты!..

Кто, скажите, кто не переживал свою жизнь заново под матерински-нежным покровом тихой ночи?

Все притихло. Все молчит, объятое сном, кроме мятущихся облаков да осторожного неумолчного ветра, обдувающего с юга Лебяжью гриву.

Ветер взбивает облака, как кудри, то замирает, прислушиваясь к чему-то, то с лихим посвистом летит в пойму Малтата, в дикие заросли, то петляет по улицам и переулкам, выхватывает кое-где ароматные дымы, то обдувает с двух сторон дом Егора Андреяновича и, промчавшись пятиверстной улицей, налетает на дом Боровиковых.

А ветерок все мчится дальше и дальше. Петляя в прибрежных елях, взметнувших высоко в небо свои роскошные

султаны, он затихает, чтобы с новой силой дунуть в обратную сторону по Белой Елани.

Но куда же мчатся груды облаков? Среди каких буйных просторов они будут держать свой совет?

У ледников Белогорья их пристанище! Там, в пучине седых гор, они долго еще будут реветь, стонать и выть всю ночь напролет! В ушельях Белогорья ни днем, ни ночью не утихает ветер. Там рождаются холодные циклоны. Сюда, к Белогорью, рвутся вихри и тучи из неведомых просторов. Здесь они бушуют до той поры, покуда не хлынут бешеным потоком в долину Белой Елани в начале ноября

Степан и Шумейка шли взгорьем и смотрели вниз на сонную деревню. Под их ногами хрустят сухостойные ветки, тонюсенько, без нажима. Ущербный месяц, как гаснущий бычий глаз, то прячется в мякоть тучи, то выныривая, льет тусклый свет в лесную глухомань. Сторожкая тишина нарушена голосами: Степановым — грубым, раздумчивым, и Шумейкиным — торопливым, певучим и тоскующим

Они идут, слившись воедино друг с другом. Ровно идет один человек — непомерно широкий, неуклюжий, медлительный.

— Как же я люблю тебя, Степа! — шепчет она, сплетая свои горячие торопливые руки с его руками. — Все бы с тобой. Везде бы с тобой, с тобой!. Не могу я без тебя. Никак не могу.

Идут молча. И лес молчит. Под плакучей березой присели на замшелой колодине. Они, как видно, не раз бывали здесь, если так уверенно нашли знакомую колодину.

Он разостлал на колодине шинель и приподнял Шумейку, усаживая. Она сжала своими горячими ладонями его щеки и, целуя в губы, в лоб, смеясь, говорила торопливо, невнятно.

— Ах, хтой-то это?

— Филин ухает

— Как я спужалась!

И, запрокинув голову, посмотрела в небо. Над ними веренище кочевали белесые облака. Где-то высоко-высоко переключались журавли...

Все притихло. Все молчит, объятые глубоким сном, кроме осторожного, неумолчного ветра, обдувающего Белую Елань с севера

Над травой черным комом метнулся рябчик и снова зарылся в траву. Она прислонилась к Степану. Он прижал ее

к себе. Сухие твердые губы скользнули по ее щеке, закрыли рот... Как-то сразу она увидела над собой купол неба с звездочками меж тучами и его черные суженные глаза...

— Степушка! — Она еще что-то хотела сказать, но только плотнее прильнула к нему, тихо засмеявшись. И он чувствовал, как ее горячие, цепкие пальцы жалят его кожу на шее.

— Все будет хорошо, Миля, — бормотал Степан. — Сейчас трудно, но надо выдержать. Я уверен, скоро жизнь будет совсем другая. Наладится! Я в это вот как верю. А ты?

— Шо я? Где ты, Степушка, там я.

— Шумейка ты моя, Шумейка!

— Ще Миля. Чи ты забул мое имя?

— Ты не убежишь от меня?

— О, мать божья! Кабы все так бегали, як я, мабуть, гарно було бы жити на свити, га?

И, помолчав, сообщила:

— Я ще нарожаю тебе сынков и дочек. Чуешь?

Багряный серп ущербного месяца медленно поднимался над тайгою.

ЗАВЯЗЬ ПЯТНАДЦАТАЯ

I

Теснина между гор наполнилась молоком устоявшегося тумана. Ветер шел над сопками. Валки туч, медленно переваливаясь, клубясь, вереницей ползли на север. А на востоке, над горами, в проеме черной тучи, кумачовым рядом пылала зарница утра. Коровы со свисающими подгрудками шли под гору, на водопой, в туман. Лобастый комолый бык, пригнув голову, копытил мокрую землю. Но вот поднялось солнце. Сперва оно прильнуло к вершинам деревьев, посеребрило их купы с золотой, кое-где уцелевшей листвой, потом спустилось в междугорье к деревне и затопило ярким светом кривую улицу, дома, стадо коров, возвращающихся с водопоя. А упрямый комолый бык все еще стоял на том же месте, на пригорке, и так же копытил мокрую землю. Медленно поднимался туман.

Солнце лизнуло вершины гор, осветило небо. Первый луч его упал в теснину между гор. Коровы лениво побрели к ферме.

— Краснуха! Милка, да ты куда, шальная! Я тебя!
— Марс! Марс! Вот еще, окаянный! Не бык, а трактор!
— И пра, трактор
— Устинья Степановна, давай скажем председателю, чтоб перевел Марса в тракторную бригаду, а?

Устинья Степановна хмурит брови и почему-то часто-часто мигает белесыми ресницами. Девчонки смеются над племенным производителем Марсом. Бык-то нукудышный!

А упрямый комолый Марс стоит невдалеке от фермы, у горы, и все так же копытит землю. Когда прошла на ферму последняя корова, Марс, задрав голову, посмотрел на Устинью Степановну и довольно недружелюбно, а затем угрожающе заревел.

— На место, Марс! Слышь, что ли! — кричит одна из девушек, звонкоголосая, с льняными волосами, выбившимися из-под теплого платка.

На правленческом рысаке Юпитере подъехал Павел Лалетин. Сутулясь в седле, играя ременную плеткою, он спросил у бригадира Шумкова, справится ли он один с фермой.

— Меня опять на уборочную? — догадалась Устинья Степановна. Вот так уж повелось в Белой Елани! В сорок пятом году ее поставили на комбайн Зыряна штурвальной, и теперь как уборочная — снимают с фермы, хотя здесь так много работы. — Да что вы, в самом деле, смеетесь, что ли?

— Без особых разговоров, Устинья Степановна. Есть решение правления — выполнять надо!

— Я обжалую решение.

— Э, Устинья Степановна! Кому обжалуешь? Уборочная!

Устинья Степановна пешком ушла в полеводческую бригаду на комбайн старого Зыряна...

II

Все чаще пеленали землю прохладные ветры севера. Утрами падал иней, росинками искрясь на сочных отавах. Обмелевшая речка, серебром перекатывая воркующие воды на отмелях, ночами пенилась туманным чубом. Жухлая медь чернолесья, сдутая ветром с деревьев, шурша и смягчая стук колес, пятнила проселочные дороги, вьющиеся черными змеями в междугорье.

Оголился лес Лебяжьей гривы. Побелели хмелевые бутоны в чернолесье, да и само чернолесье запестрело, будто

тронула его бойкая кисть художника. И багряные, и ярко-зеленые, и серые с черными прожилками листья, и красные, и пурпурные устилали землю.

«Коммунар» Аркадия Зырянова, такой же старый, как и сам Зырян, с облезлой краской, вмятинами на боках, приминая опавшие листья на обочине полосы, шел на загонку соседа, такого же «Коммунара», словно вмерзшего в полосу. Из трех комбайнов единственный, зыряновский, работал. Зырян выжимал из машины все, что она могла дать. Надо же убрать хлеб! Позавчера к предвинцам пришел на помощь «Сталинец», на котором работал сын Федюха.

Зырян для Устиньи Степановны был совсем молодым парнем, хотя у «парня» давно пожелтели прокуренные зубы. Устинья Степановна называла его парубком, а его посеребрившуюся голову — пеной. «Линяет Зырян,— говорила она, посмеиваясь.— Вот отлिनяет, тогда бросит его горячая Анфиса Семеновна, ей-боженьки!»

Небо серое, мутное Железо настало — не хватись рукой. Зырян в овчинном полушубке и в пимах стоит за штурвалом. Поле идет по склону горы — неровное, с балками. Местами чернеют обгорелые смолистые пни, выкорчевать которые можно только тяжелым трактором, да и то с подрубом корневища.

За комбайном — седой след половы и соломы. В колхозе нехватка кормов — не успевали ставить зароды сена, а солома вот останется под снегом.

Странно, как привыкаешь к безумолчному стрекоту комбайна. Для Зыряна, не туговатого на слух, слышащего беличий шорох в пихтаче, когда он бывает на охоте, сейчас на комбайне совершенная тишина. Сам комбайн, ныряя с пласта на пласт, дребезжит, поет, визжит, скрипит, молотильный аппарат жужжит, как очумелый шмель, трактор, пылая перегаром горячего, тархтит, как телега, по мерзлым кочкам, но для Зыряна все эти издавна привычные звуки, не воспринимаемые ухом, идут где-то стороной. Для него — тишина, рабочий покой. В такие моменты он любит подумать, пофилософствовать, но по-своему, по-зыряновски, с побряхтыванием. Но вот за спиною Зыряна что-то тихо-тихо всхлипнуло... Зырян насторожил ухо, оглянулся. По щекам Устиньи Степановны скатывались слезинки. Ее мокрые глаза смотрели прямо в лицо Зыряна, но, кажется, ничего не видели.

— Ты что, Устя?

— Вот вспомнила, как жала на этом поле серпом... Это же было займище Василия Евменыча...

— Нашла кого вспоминать!

— А потом мы с Егоршей убирали здесь лобогрейкой овес, и он подрезал... перепелку Так-то она вспорхнула! Полетела, мелькнула крылышками, да и упала мне на подол юбки... Наверное, где-то там, на Курской дуге, упал вот так мой Егорша...— Лицо Устиньи Степановны еще более покраснелось, губы скривились, и слезы одна за другой покапались градинами

— Что же ты, что же ты,— бормотал Зырян, налегая на трубку.— Чей дом, милая, не припятнала война?

— Да вот хотя бы твой, Зырян... Минула тебя судьба... Никого ты не потерял... Счастье-то какое!..

Зырян помрачнел. Не впервой он слышит такой укор.

— Сойду я, Зырян, полежу на жнивье. Сердце что-то заходится,— пробормотала Устинья Степановна, неловко спускаясь по сходням с мостика. Зырян проводил ее взглядом. В молотильном барабане что-то щелкнуло, не так громко, но Зырян выделил этот звук. Он уже знает, что по полотну с хедера занесло в барабан какую-то палку и перемололо ее в мелкие шепки.

На лицо Зыряна слетело что-то холодное и тут же растаяло. Снег! И еще, еще Снег! Снег!

Тракторист сразу же остановил трактор.

Зырян, приложив ладонь козырьком, всмотрелся в дальний угол полосы «Сталинец» шел...

— Что у тебя, Митроша?! — крикнул Зырян трактористу.

— Снег повалил!

— Какого черта выкомариваешь! Жми! Круг, и тот наш!

Митроша заскочил на мостик трактора и стоя поглядел в ту же сторону, где плыл громоздкий «Сталинец» Понятно! Где же Зырян остановится, когда «Сталинец» Федюхинаяривает вовсю!

III

Устинья Степановна, подметав под себя охапку хрусткой соломы, лежала на боку. Вот уже второй сердечный приступ. Так еще не бывало. Все тело ее стало будто чужим. Прижав ладонь к сердцу, она лежит на соломе, и вся-то ее жизнь, как одна цельная картина, в липках, в движении, проходит перед ней...

...Ночь. Страшная ночь! Ни луны, ни звезд. Ноем и стонет ветер. Скрипят заматерелыми стволами тополя, шумят заросли черемух, мелкоколосья на большом ермолаевском острове — Закамалде. Волны Енисея, взбитые ветром до пены, налетают на пологие берега острова, всхлипывают и откатываются с ревом. Черные тучи ползут так низко, точно они собираются лечь на остров и вдавить его в толщу бушующих стылых вод. Маленькой Усте страшно. Ой, как страшно! Почему так печально шумит темный лес? Куда и зачем плывут осенние тучи? Где они разбушуются мокрой непогодицей? И что там, за тучами, далеко-далеко? И отчего так холодно крошке Усте, сиротке Усте с васильковыми глазами? Костер тухнет. Угольки покрываются сединой пепла. Одна она. Совсем одна на острове и в жизни! Никого-то, никого у Устиньи — нет. Ни тяти, ни мамки, ни бабки, ни теток, ни дядек. Только вот жеребята богатея Артамонова. Она пасет жеребят Артамонова. Она сторожит их от зверей. Жеребята породистые. Их холят пуще человека. Таких жеребят ни у кого нет во всем подтаежье...

И вдруг — где-то совсем близко из кустарника взвыла волчица. Жеребята кинулись к костру, нетерпеливо перебирая тонкими ногами. Волчица взвыла еще и еще!.. Вот уже волки здесь, совсем близко. Костер догорает — ни хворостинки под руками, ни прутика. Как ляжет темень — раздерут волки Устю вместе с жеребятами. Она не помнит, как кинулась к берегу протоки, как брела, как сбило ее с ног течение и она ухнула в ямину с головой. Всю ночь бежала до Ермолаевой. «Как будто за мною кто гнался, — рассказывала она ермолаевскому попу, отцу Калистрату, тошенькому старичку с прямым пробором гладко причесанных волос — Бегу, бегу, батюшка, аж дух перехватывает. Вот, думаю, как нагонит волчица, как вцепится! Как страшно, ой-ой!»

«Глупое, несмышленное дитя, — пожурил батюшка. — Без воли бога — волос с головы не потеряешь».

И надо же было приключиться беде. В ту же ночь на острове волки задрали трех жеребят. Сам Артамонов нашел беглянку, не стал бить ее в доме батюшки, а взял этак ласково за ухо да и вывел из дому. Потом посадил в тарантас и увез к острову. На шею четырнадцати летней Усти навесили жеребьячьи кости и так повели деревней. Такой уж был нрав у Артамонова. Он и на человека-то смотрел волком: из-под лохматых бровей, которые любил вертеть, как

усы. Как, бывало, подкрутит бровь, жди беды. Либо руки пустит в ход, аль выдумает какую-нибудь пакость, а потом пожертвует целковый.

Устю провели работники Артамонова через всю деревню. Пристыженную, испуганную до смерти, ничего не смыслящую в том, за что над нею так потешаются. Отобрал учитель. Более недели Устя глаз не казала в улицу. Ночью, как только все уснут, Устя, забившись с головою в дерюжку, не попадала зубом на зуб — мучил пережитый страх. Потом судьба закинула ее в Белую Елань...

IV

...Революцию Устя смотрела из окна сторожки на пашне Василия Евменюча. Вот на этой полосе, где лежит сейчас. Шли дожди. Мелкие, сыпучие. Батраки Василия Евменюча рады ненастью, отсыпались в избушке. Устя сидела у окна, когда по тракту ехали партизаны Мамонта Головни. Батраки выскочили на дорогу, а Парамон Жуев ушел за партизанами. И когда минуло много лет, Устя, припоминая революцию, всегда видела одну и ту же картину: осенний дождик, всадников с ружьями и мокрые спицы разномастных лошадей...

Да, Устя была девка куда с добром! Никто из работников не мог сравниться с ней в работе. Куда ни пошли Устю — все сделает на совесть. Что серпом жать, что снопы вязать, что за плугом идти, что по домашности.

Когда Усте исполнилось двадцать лет, она успела переработать за семерых. И вот еще что в удивление: работа не старила ее и не печалила. Она всегда была весела. Когда смеялась, на ее щеках показывались ямочки. А молодость, как веяние южного ветерка, медовым хмелем пьянила сердце. Она и сама не знала, что ждала от жизни, чего хотела, отчего девичья грусть так больно пощипывала сердце? И когда поздние зори румянили хребтовины гор, она подолгу смотрела на багряные пятна и все что-то ждала. В поле пахло мятою. И ей хотелось, зажмурив глаза, пойти куда-нибудь далеко-далеко, но куда? Сама не знала. То был зов зреющей женщины. Если бы Устя умела думать, она бы поняла, что ее звало материнство. Когда на зимних вечерках Устя встречалась с парнями, ей так хотелось понравиться Егорше Спивакову, самому красивому парню Белой Елани.

Осталась Устинья одна... Ушел Егорша!.. Двадцать лет они жили душа в душу и все ждали сына или дочь, но так и не дождались. И она осталась одна в крестовом доме.

И даже теперь, когда давным-давно нет в живых Егорши, она все еще ждет его!..

— Устенка! — позвал Зырян.

«Вздремнула я, что ли», — спохватилась Устинья и удивилась. Вся окоченела, как ледышка. А вокруг — бело! Зима легла.

За каких-то полчаса побелело жнивье. Снег, снег, да не мокрый, а сухой, что пойдет в зиму. Ветер суровее!

На бригадном стане возле крестового дома, некогда перевезенного в поле из деревни, собрались трактористы, комбайнеры, колхозники, жнецы, вязальщики, ученики семилетки. Все продрогли, перемокли. Зима застала врасплох. Еще не доходя до стана, Зырян услышал голос Ляхова — разгневанный, срывающийся на высоких нотах, и сиплый, трескучий Павла Лалетина. «Газик» Ляхова стоял возле приподнявшейся «технички» — грузовой машины с брезентовым навесом над кузовом. Неделю ждали «техничку» к комбайнам, и вот она прибилась к предивинским пашням, когда ей делать здесь нечего

Возле дома жгли солому, таская ее с поля. Пламя то вспыхивало, то скрывалось под охапками соломы, выбрасывая синие космы дыма.

v

А снег все шел и шел! Побелели поля; сиротливо приуныла пшеница. Кругом белым-бело!

Степан смотрел на пшеничное поле, засыпаемое снегом, и то знакомое чувство боли, от которого ему всегда было тошно, когда его постигала какая-либо неудача, комом подкатилось к горлу. Он все глядел и глядел на увесистые колосья, соображая, что же ему делать. Зырян сказал, что можно еще убирать, если приспособить обыкновенные конные грабли для поднятия колосьев.

Следом за Степаном на поводу плелся Юпитер.

— Вот как подвела нас погода, — проговорил Степан, вышагивая обочиной дороги к деревне.

Представьте себе увесистый колос пшеницы, пониклый от зерна, с червленой серебрянкой соти, не колос, а загляденье! И вдруг, совершенно неожиданно, без всяких на то природных предзнаменований, дохнула лютая стужа в ночь

на одиннадцатое октября. В каких-то два часа хлопьями мокрого снега занесло поля, роши, лес, дороги. Пшеница под бременем неожиданно нахлынувшей зимы полегла; колосья, надломив соломины, ткнулись в землю. А снег все мело и мело!

Навстречу Степану от деревни кто-то шел в белом полушубке. Степан, прищурив глаза, удивился: плелся Демид Боровиков. Куда его несет на ночь глядя?

За минувшие три года Степан редко встречался с Демидом. Сойдутся, перекинутся немирными взглядами и разойдутся разными дорожками. Хотя тот и другой пристально следили друг за другом. Было время, когда Степан действительно поверил провокационным слухам, что Демид — поджигатель тайги. Потом он не менее отчаянно клял Головешиху, а с Демидом так и не сошелся. Стояла между ними Агния с Полюшкой.

Степан задержался на обочине дороги, свертывая махорочную сигарку, соображая, поздороваться ли с Демидом или сделать вид, что не заметил.

В шапке, полушубке, с тяжелым выюком за плечами, Демид шел медленно, издали заметив Степана. На сапоги налипал мокрый снег, накатываясь комьями под каблуками.

— Подкузьмила погодушка,— сказал Демид, вместо приветствия кивнув на поле, тревожно и цепко приглядываясь к лицу Степана.

— Да, погодушка, будь она проклята,— пробурчал Степан, отвечая Демиду таким же схватывающим взглядом.— А ты далеко ли подался с таким выюком на спине?

— В город хочу съездить.

— Что так поздно?

— Да вот сообщили по телефону, чтобы приехал к двадцатому октября. Надо спешить.

— Уезжаешь, значит?

— Там будет видно,— ответил Демид, заметно темнея лицом.— Может, останусь еще в леспромхозе. Ты вот тоже хотел уехать. Да «ехало» не повезло.

Степан насупился. Не смеется ли над ним Демид?

Лицо Демида серьезное, задумчивое.

— Слушай, Степан, там я передал Андрюшке свой баян для Полюшки. Пусть он ее поучит играть на баяне.

— А при чем тут я?

— Да просто хотел попросить тебя, чтобы напомнил Андрюшке.

— Что ж, напомню. А ты это... пиши письма Полюшке, если останешься в городе,— вырвалось у Степана. И вдруг он спохватился: — А ты что же пешком? Далеко ведь...— невольно представил себя в положении Демида.— Зашел бы к Мамонту Петровичу, взял бы лошадь, что ли. Отвезли бы тебя.

— Дойду как-нибудь до Каратуза. А там автобус ходит.

— Не дойдешь, а доползешь. Вернись, возьми лошадь.

— Возвращаться дурная примета.

Юпитер дернул Степана за ременный повод, словно напоминая о своем существовании.

— Тогда вот что: бери Юпитера. В седле, пожалуй, лучше ехать. Сдашь его в Каратузе на конюховскую колхоза, а завтра наша почтальонша захватит с собой.

Демид ответил долгим взглядом. Снежинки падали ему на щеки, на подбородок и тут же таяли.

— Бери, бери! Чего тут раздумывать?

— Ну, а ты как?

— Что обо мне беспокоиться? Я — дома.— И протянул Демиду повод.

Тот принял его из руки Степана, вздохнул.

— Спасибо, Степан. Я ведь хотел нажимать на третью скорость.

— Какой же ты странный человек,— покачал головой Степан.— Что стесняться-то, в самом деле? Что ты, чужой для нас, что ли? Держись прямее, скажу. Возвращайся в леспромхоз.

— Может, вернусь,— ответил Демид.

И вот они расстались, друзья детства, недавние враги, от души пожелав друг другу счастья и успехов.

«Он ее будет ждать, свою Анисью Головню»,— невольно подумал Степан.

АПОЛОГ

I

Счастье!

Какое оно и в чем? Кто изведал глубину счастья и может сказать: «Вот оно, мое счастье! И пусть оно продлится навсегда!»

Рог молодого месяца испарывает синее брюхо неба, плывет под звездами и уходит за горизонт.

Так и счастье. Бывает, что оно проплывает мимо, как лучистый рог месяца. Глаз видит, да зуб неймет! Но если бы счастье висело на вешалке, как пальто, наверно, никто бы не подумал о нем. Если надо — подошел и снял с вешалки.

О счастье написано много песен, а еще больше — про несчастье. Они, как близнецы-братья, всегда рядышком.

И кто знает, у кого какое счастье?

Когда озверелые бандеровцы в гестапо Житомира выжгли железом на груди Демиды пятиконечную звезду и Демид все-таки остался жив, он подумал: «Я еще счастливо отделался, могли бы угробить».

Потом концлагерь в Дахау, в тридцати километрах от Мюнхена, и знаменитый блок № 7, откуда вела прямая дорога в газовую камеру. Три месяца Демид валялся в бетонном блоке, и каждую ночь его товарищи уходили в вечность, а он все еще жил. И жил ли? Ни о чем не думал и ничего не ждал. «Скоро я сам дойду, без газовой», — утешал себя Демид и все-таки нашел в себе силы бежать из блока по канализационной трубе. И еще один концлагерь в Мозбурге. Военнопленные работали на развалинах города. Днем и ночью город бомбили англичане и американцы. Однажды фугаска взорвалась в середине колонны военнопленных в тот момент, когда их только что вывели из ворот лагеря. На месте взрыва остались изуродованные трупы. Стон и крик раненых перемежался взрывами бомб, а Демид, оглушенный, без единой царапины, лежал на земле и отупело смотрел в небо. Оно было удивительно спокойным, синее-синим!..

Еще концлагерь перемещенных лиц с Востока. И опять побег. Долгожданная свобода! Но какой ценой? Овчарка выдрала глаз, изжевала до кости правую руку. Но не лютовость зверя, обученного людьми, была страшной. Ужас перед лютовостью людей поселился у него в сердце. И этот ужас часто преследовал его даже во сне тем же видением: зверь рвет его на части, жует мышцы и кровь льется ему в глаза, ослепляет весь белый свет!.. Да и свободу ли он обрел, если сердце стало камерой для пыток?..

Долго скитался в поисках пропитания. Рука заживала медленно и нудно. Дошел до Франции, устроился работать грузчиком в Марселе. А душа тянулась на родную землю.

Как зверь уползает в свое логово залечивать раны, так рвался Демид на Родину. Пусть судьба с самой юности бросила на его весы совсем крохотную частичку счастья. Но это было его счастье — его мед и яд! Услышать знак

мый говор, увидеть свое — не чужое небо, ощутить каждой клеточкой тела мудрый благословенный покой тайги, где он возрос! Наконец, узнать, жива ли мать, Агния... Все это стало его самым вожделенным желанием. И что греха таить — боялся возвращаться на Родину. Во французских газетах писали, что по приказу Сталина всех военнопленных судят как изменников Родины... Но сила любви к тому, что тебя вспоило и вскормило, сильнее страха!

И вот — Демид дома...

По первопутку, в декабре, Демид приехал из города и вскоре стал снова работать в леспромхозе. Он, конечно, не ждал особенного счастья, и вдруг оно само пришло. Счастье принесла дочь Полюшка. Как-то под вечер, у конторы леспромхоза, Полюшка остановила отца.

Падал снег. Мягкий, пушистый.

— Папа, я хочу спросить,— начала Полюшка и запнулась на слове, потупя голову. Ее беличью шапочку запылил снег.— Можно, папа, я буду с тобой жить. Ты же совсем один? И-и я хочу записаться на твою фамилию.

Демид дрогнул, прижал Полюшку к себе и отвернулся, чтобы она не видела, как у него от боли и радости перекосилось лицо. Полюшка прильнула к нему, как к единственной опоре, бормоча сквозь слезы, что она не будет жить с матерью и Андрюшкой и что она никогда не станет Бавиловой. Какая-то потаенная боль толкала Полюшку. Быть может, она надеялась помирить Демиду с матерью?.. Склеить разорванное на две половинки свое счастье?.. Кто знает?!

И вот еще что удивительно. Как только Полюшка поселилась в доме Боровиковых и они с отцом заняли комнатку, где когда-то во времена оные собирались «тополевы» на торжественную службу, Демиду будто кто подменил. К нему вернулось прежнее веселье, неугомонность и непоседливость. Полюшка стала действительно Боровиковой. Демид боялся, что Агния будет возражать, но ничего подобного не случилось. За неделю до Восьмого марта Демид порадовал Полюшку новой метрикой, где было записано: «Полина Демидовна Боровикова родилась восьмого марта 1938 года»...

Демиду никогда не забыть то раннее утро пятого марта, когда Полюшка подняла его на зорьке, сказав всего два слова: «Сталин умер».

Сон как рукой сняло. Демид сперва не поверил, но Полюшка, всхлипывая, твердила свое: «Умер, умер!» Потом в дом влетел Павлуха Лалетин, остановился в дверях, что-то хотел сказать, но только обалдело тарашился на Демиду, потеряв дар речи. Слышно было, как в горенке Мария ревела в голос, а сам Демид, босоногий, в нательной рубашке, поеживаясь от холода, сидел на кровати.

И вот свершилось нечто чрезвычайное, когда человек, как будто замерев на месте, вдруг оглянется и подумает: «Ну, а дальше что?»

Одно было ясно Демиду, что между Вчера и Сегодня пролегла невидимая грань и что дальше непременно будет Завтра...

И долго-долго еще Демид будет вскакивать с постели в холодном поту, хватать воздух разинутым ртом, как рыба на мели, не в силах унять бешеный стук сердца. Но Демид верил, что мудрость, выстраданная многими, сделает будущее Завтра светлее и радостнее, чем оно было у него, у Мамонта Петровича, у Анисьи...

В мае 1954 года по амнистии вернулись трое рабочих из леспромхоза. Демид с нетерпением стал ждать Анисью. И Полюшка догадалась, что отец ждет Анисью Головню.

— Папа, ты ее ждешь? — как-то спросила Полюшка.

— Кого?

— Голоवेशиху! — выпалила Полюшка.

— С того света еще никто не возвращался, Полюшка.

— Я не про ту Голоवेशиху, а про другую. Которая работала в леспромхозе.

— А! — И Демид ничего не ответил. Не мог же он сказать дочери, что действительно ждет Анисью-Уголек. Ждет с того дня, когда в последний раз принес ей передачу в тюрьму, получил от нее ответную записку: «Спасибо, Демид. Передачу получила. Но дороже всего для меня ты. Один-единственный на всем белом свете. И всегда будешь один. Люблю тебя. Пишу, и слезы льются. Сама кругом запуталась. Прости меня, прости!»

С той поры — ни единой вести. Анисья как в воду канула.

Где она, Анисья?

Настало лето.

Все цвело, тянулось к солнцу, отцветало; пробивалась новая поросль жизни там, где вчера еще гремели трактора на взмете пара. Над отрогами таежного синегорья колыхалось марево, похожее на легкую, невесомую газовую ткань.

По обочинам дороги пестрели цветы — розовые, фиолетовые, лиловые, синие с желтыми длинными тычинками, оранжевые, неприглядно-лохматые, колючие с шипами, как у осота, дурно пахнущие медвежьих вонючки, махрово-грубые, нагло открытые, стыдливо свернутые головками вниз, — пестрели они то там, то сям, распространяя окрест медово-терпкий запах. По низинам цвел разлапистый донник, словно обрызганный молочной пеной. На дороге лежала толстым слоем пыль, и даже от слабого ветра она поднималась облаком, густо припудривая сочную зелень трав.

Анисью не радовал ни веселый щебет птиц, ни разлив летних цветов, ни лесной простор, ни торная дорога в Белую Елань, по которой она шла, — все было точно чужим, впервые встреченным, хотя на обочинах дороги ей знаком был каждый кустик.

Кто ее ждет здесь, в Белой Елани? Кому нужна Анисья из заключения, да еще с ребенком на руках! Ее ребенок! Сейчас она и сама не понимает, зачем зарегистрировала сына именем Демида? Что скажет Демид, когда узнает, что она назвала своего первенца его именем! Поверит ли он? Ведь между ними фактически была близость только несколько раз. Мало ли женщин возвращается из заключения с ребенком на руках?..

Анисью как детную мать освободили осенью 1953 года. Потом она работала вольнонаемной, а к весне в лагере осталось мало заключенных, и его ликвидировали. Анисья стала собираться домой. Судимость с нее сняли.

За три года она не послала ни одного письма в Белую Елань. Кому писать и о чем? О том, что у ней в феврале 1950 года родился сын? А вдруг Демид не поверит, что это его сын?.. Или написать Мамонту Петровичу о том, что на следствии выяснилось, чья она дочь? Мамонт Петрович и без того все знает. Одна! Кругом одна.

И вот торная дорога в Белую Елань...

Анисья стояла на берегу. А с парома стаскивали какие-то ящики, скатывали бочки. Маленькая, щупленькая старушонка в клеенчатом нагруднике, босоногая и простоволодая, принесла ей для ребенка бутылку молока.

— Вот тебе, дева, стерлядка, — сказала старушка, заворачивая в газету жареную стерлядь. — У те сродственники в Белой Елани али знакомые?

— Знакомые.

Подошел Трофим, дымя вонючим самосадом.

— Анисья! Вот те и раз! Возвернулась, стало быть. Да еще с приплодом! Ну, дева, значит, в нашем полку прибыло!

Трофим переправил ее на лодке через Амыл в деревню. Она отдохнула на крылечке почты и пошла дорогою в тайгу.

Ухабистая дорога, извиваясь по мыскам, увалам, текла к реке. Невдалеке чернели конусообразные ели. Мост через речку был отрезан разливом воды. Анисья постояла, потом разулась и побрела с сыном на руках, оголив по колени ноги.

Кижарт пенился, беснуясь в сваях. Коренная вода, хлынувшая с Белогорья, вышла из берегов, заливая низины, курьи, отстаиваясь в логах, отражая в себе кудреватый ивняк с клейкой пахучей листвою и красный кустарник. Толстые тополя, увитые лебяжьими сережками пуха, стояли по левому берегу за мостом, как титаны, оберегающие утреннюю прохладу и сумрак зеленоватых вод. Птицы порхали с дерева на дерево, проносились плотными стаями, мелькая в косых лучах солнца черными хлопьями крыльев. Воздух был прозрачен и звучен. Где-то стучали топором, а чудилось, что стучат в тридцати местах с обоих берегов.

Шел лесосплав. Бревна, ободранные и зализанные водою, тесня друг друга, ныряли под мост, как огромные щуки. Хватаемые мощным потоком, они то перевертывались, как соломины, то вставали торчмя, то бухались в воду, ударяясь в сваи. Мост вздрагивал и, казалось, вот-вот рухнет. На берегу суетились сплавщики, словно литые из бронзы, по поясу голые, загорелые, мускулистые, в мокрых закатанных штанах, иные в резиновых сапогах с длинными голенищами. Ловко прыгая с бревна на бревно, балансируя баграми, они направляли лес под мост. На берегах, на отмелях,

виднелись целые штабеля леса, вытесненного во время затора.

Работа сплавщиков трудная. Уж она-то знает! Необходимо иметь не только ловкость, смекалку, но и проворство. Малейшая оплошность — можно угодить под лес. Сплавщиков подстерегала опасность на каждом шагу, на каждом прыжке.

На мосту стоял человек в полосатой косоворотке и в брезентовых штанах, вправленных в болотные сапоги. Он внимательно глядел вниз, изредка покрикивая: «Левее, левее! Эге-ге, Матюшин, не прыгай, черт тебя, не видишь, что ли! Эй, верхние, чего вы там спите!..» На мосту он стоял, вероятно, давно. Брезентовая куртка, плащ-палатка, полевая сумка без ремней лежали на перилах. Сапоги его были выпачканы илом. Рядом с ним торчал воткнутый в плаху длинный багор.

Взглянув на Анисью, он пригнул голову и развел руками:

— Горячкина?

— Таврогин! — узнала Анисья.

Таврогин крепко пожал руку Анисьи.

— А ты что здесь, Григорий Иванович? Ты же работал мастером на лесопункте.

— Э! Когда еще. Два года как на сплаве. С Демидом Боровиковым заворачиваем. Знаешь такого?

— Да, — тихо ответила Анисья.

— Теперь у нас во какой порядок! В прошлом году мы закончили лесосплав к десятому июля. А нынче к первому числу управимся. Хвост гоним. Порядок! Кривой умеет организовать дело. И черт его знает, откуда он черпает энергию? Только что сейчас был здесь со своей красавицей Полиной и помчался в Белую Елань.

У Анисьи захолонуло внутри. Что еще за «красавица Полина» с Демидом? Наверное, жена!..

— Сын? — кивнул Таврогин.

— Сын.

— У нас теперь в леспромхозе новое начальство. За два года вышли на первое место. Особенно по сплаву.

— Кто теперь в Сухонаковой?

— Начальником Гомонов. Знаешь?

— Мастером работал?

— Ну да. Техноруком — Исаков Антон Кузьмич. А ты что, в Сухонаково вернешься?

— Нет, наверное, — вздохнула Анисья.

— А что, давай! Исаков, слышал, собирается уходить. Не по вкусу пришлось ему наша тайга. А знаешь, Сухонаково скоро ликвидируют. Полезут в верховья по Кизыру и Казыру. И весь наш леспромхоз полезет в верховья, к Саянам. Сейчас тут кругом работают геологи.— И, взглянув вниз, прокричал: — Перекур!.. Эге-ге-ге, Матюшин! Перекур!.. Разводите костер, обедать будем.— И, повернувшись к Анисье, сообщил: — Крепкая бригада, один к одному, как на подбор. У Боровика ленивый не задержится. Моментом отчислит. В прошлом году моя бригада двенадцать тысяч премиальных отхватила. Здорово? Ну, а ты как? По чистой? Понятно! Жалели тогда тебя. Ни в чью врезалась.

Анисья ничего не ответила. Таврогин поскреб в затылке, покачал головой и, закуривая, пригласил Анисью к артельному котлу. Но она отказалась и пошла дальше.

Навстречу ей из тайги ползла лиловая туча. Сталкиваясь с упругими лучами солнца, она нехотя сворачивала в сторону, еще более ширилась, погромыхая вдали глухими и долгими раскатами. На ее фоне темнела уродливая крона сосны и особенно ярко выделялась плакучая береза, распустившая до земли нарядные сережки. В зените стояло косматое черное облачко, похожее на папаху горца. Оно как будто поджидало лиловую тучу, чтобы сообщая с нею обрушиться на землю лавиной дождя.

Анисья часто останавливалась, спуская сына на траву, что-то показывала ему, снова брала на руки и шла, усталая, докрасна обожженная солнцем. По ее лицу скатывались солоноватые градины. Заплечный узел оттянул ей ключицы. Сердце все сильнее стучало. Лицо у нее было смугло-розовое, еще совсем девичье, хотя у глаз успели сбежаться тонюсенькие морщинки, а углы губ чуть опустились, как у человека, не стряхнувшего с плеч горе. Маленький, вздернутый нос с едва заметной горбинкой, широкий лоб и особенно глаза — думающие, тревожные, говорили о ее упорстве, выносливости.

На избитой дороге волчками вспыхивали вихри, оставляя крошечные воронки в пыли. Взад-вперед сносили жирные суслики. Вертясь в воздухе, то внезапно падая, то стремительно взвинчиваясь вверх, пели жаворонки, как это всегда бывает перед грозой и дождем. А солнце жгло. Оно будто хотело выплеснуть на землю все тепло, какое недодаст потом в непогоде.

На пригорке росли березы, отбрасывающие тень на сочное дикотравье. Четыре березы росли из одного корня. Внизу они сплелись, а потом оторвались друг от друга, устремляясь каждая по-своему вверх. Средний ствол, затемненный двумя крайними, изогнулся коленом до земли, обойдя третью крутым изгибом и потом затемнив ее своей развесистой шапкой, отчего третья зачахла, вся покрывшись сучьями. Две крайние вытянулись, как по уровню,— стройные, без сучков до вершин.

Анисья долго смотрела на семейство берез, будто понимая их, как им трудно было вырасти из одного корня, как они воевали друг с другом за тепло, солнце, как ненавидели тень одна другой.

— Мама, чис, чис! — сказал сын, покачиваясь на кривых ножках. Он показал на цветок в траве.

— Это цветок, Дема,— пояснила мать, но сойти в густую заросль разнотравья побоялась.

Взяв сына на колени, она принялась кормить его степлившимся молоком, давая прикусывать рассыпчатое печенье. Наевшись и напившись, сын стал играть в тени берез, а она все еще сидела на обочине дороги, устремив взгляд вдаль, о чем-то задумавшись. Она не видела, как туча, захватив половину неба, вплотную приблизилась к солнцу, как, винтясь, на осинах завертелись листья, не видела, как молния, чиркнув за ее спиной, на миг разрежала лиловую тучу на две половины. Она смотрела дальше, за пределы видимого и осязаемого. В ее глазах не отражалось ни горечи, ни восторга от картины лета с надвигающейся грозой — глаза ее светились ожиданием чего-то значительного и важного. Казалось, они так широко были открыты потому, что где-то, быть может, вон за той разлапистой сосной, за стеною пихтача и ельника, там, где небо смыкается с землею, вот так же ищуще глядела другая пара глаз, заглядывая ей в душу через пространство и тревожа ее сердце. Теплый ветерок обдувал ее лицо. Темные, красноватые волосы застилали ей то щеку, то лоб, но она все так же глядела вдаль странным взглядом.

Вдруг сразу все потемнело, будто землю накрыли черной шалью. Туча напозла на солнце, маленькое облачко слилось с большим. С ложбины потянуло волглостью, но птицы все еще пели. Жаворонок, как дымок выст-

рела, кувыркнулся в воздухе и комком упал в траву. Ударил гром, будто лопнуло небо. И раз, и еще раз свирепо рыкнул голодным псом.

— Мама, мама! — испугался сын, обхватив шею матери руками и прильнув к ее груди, как к единственной защите от всех напастей.

И сразу же, словно из промоины, хлынул дождь — крупный, прямой. Дождевые горошины, падая на пыльную дорогу, взметнули вулканчики. Демка захныкал. Она опять оставилась, вытащила из узла суконную шаль, укутала сына и пошла дальше. И странно, в то время, когда она смотрела на тучу издали, она боялась ее. Но как только над головою прогремел удар грома, она успокоилась. Лицо ее стало серьезным, готовым встретить любую напасть. Дождь лил и лил, а она все шла и шла. Когда на танкетки налипло много грязи, она сняла их и пошла босая, печатая маленькими ступнями размякший чернозем. Мокрое штапельное платье, обтянув ее тело, холодило плечи и спину.

На мостике через Татарский ключ Анисья споткнулась и чуть не уронила сына, завязив ногу между досками. Поднявшись на пригорок к развесистым кустам черемухи, она укрылась здесь под листвой, поеживаясь от капли с веток.

Кто-то ехал верхом, сутулясь в седле и насунув на голову капюшон дождевика. Высокий, нескладный седок. Прямые плечи его топорщились, как у ястреба крылья. Он бы проехал мимо, если бы не заметил женщину с ребенком под черемухой.

«Папа, папа!» — узнала Анисья, не в силах вымолвить слово.

— Эге! Гостья? — спросил Мамонт Петрович, остановившись на середине дороги. Чалый породистый конь махал головою, бряцая железными кольцами уздечки. — Издалека? — И, наклонив голову к плечу, Мамонт Петрович пристально поглядел на Анисью. Он ее не узнал сразу. Вернее — не думал встретить вот так, на дороге, да еще с ребенком.

Сверкнула молния, точно лезвие кривой шашки. Резко и коротко лопнул снаряд — грозовой удар. Чалый конь, натянув повод, попятился к мостику.

— Плутон, Плутон, стоять! — приказал Мамонт Петрович и спешился.

И еще один миг — миг молчаливой встречи. Мамонт Пет-

рович наконец-то признал Анисейю. Выпрямился, застыл на месте.

— Э? — проговорил он, удивленно помигивая.

— Папа!..

— Господи помилуй, Анися! Пропавшая грамота! Драматургия! — бормотал отец, размашисто шагнув навстречу дочери. Та кинулась к нему. Он ее облапил своими длинными руками, целовал в мокрые щеки, в лоб, приговаривая: — Одна-разъединственная моя радость! Солнце мое, Вселенная моя! — И заплакал, по-мужски сопя в нос.

— Папа, папа! Ну что ты! Папа, папа!

— Как же я тебя ждал, господи помилуй! Одна ты у меня радость, одна моя звезда. И вечерняя, и утренняя... Вот она какая драматургия жизни!

Анися смотрела на отца сквозь слезы. Губы ее тряслись.

Только сейчас Мамонт Петрович обратил внимание на сына Анися.

— Э? — сказал он, вздернув бровь.

— Мой сын, папа.

— Э? Твой сын?

Секунда молчания.

— А другая половина чья? Природа завсегда из двух половинок — мужской и женской. Может, на прочих планетах есть люди из одной половины, про то пока ничего не известно, а наша планета двуглавая — скрозь из двух половинок.

Белая лента молнии, раздвоившись вилкой у тучи, резанула зигзагом мутный свод неба. Вслед за молнией, глухо ворчнув, ударил гром с раскатом, словно по небу протарахтели по булыжнику железные бочки. Дождь полил как из ведра, пригибая ветви черемух и прибывая траву обочь дороги. Татарский ключ вздыбился пузырями. С пригорка с шумом бежал мутный поток, набирая силу.

— Хоть бы письмо написала! Как же так можно, а? Ждал, ждал. И вот она — пропадающая грамота. А! — Мамонт Петрович помрачнел.

И вдруг, вспомнив не менее важное, сообщил:

— Неделю назад мое заявление разбирали в райкоме. Теперь я чистенький, как новый рубль. В партии восстановили с моим стажем — с тысяча девятьсот девятнадцатого года ноября месяца.

Из-за поворота дороги выехала пароконная телега с железными бочками. Напахнуло керосином.

— Посторонись, Мамонт Петрович! — крикнул человек с телеги. Анисья узнала Санюху Вавилова.

— Давай, давай, Санюха. Поторапливайся. Там тебя ждут с горячим.— И, взглянув на Анисью, сообщил: — Теперь у нас в колхозе все работают. В прошлом году трудодень вытянул на три рубля семнадцать копеек и хлебом кило восемьсот. Смыслишь?

Пара разномастных лошадей, чавкая грязью, фыркая, прошла так близко возле черемух, что Анисья попятилась в глубь кустов. Санюха поглядел на нее.

— Кажись, Анисья Мамонтовна?

— Она самая,— подтвердил Мамонт Петрович.

— Ишь ты! Ну, здравствуй, Анисья Мамонтовна. С приездом тебя. Заходи в гости.

— Спасибо.

— Отец-то сокрушался, а ты вот она — заявила.

И проехал мимо за мостик, протарахтев по плахам.

Мамонт Петрович смотрел на дочь и все еще не верил глазам своим. Его дочь, Анисья Мамонтовна, вот она!

— А ты ничуть не переменялась.

— Что ты, папа. Мне кажется, я такая старуха.

— Ишь ты! Побольше бы таких старух. Ну да я тебя великолепно понимаю. Это навсегда так бывает, когда человек выходит на свет жизни из драматургических переживаний. Я вот вспомнил, как я сам возвратился в сорок седьмом с Колымы. Шел, и ноги не несли. А тут еще с Дуней такая история! Впрочем, с ней всегда происходили истории.— И, секунду помолчав, двигая рыжими бровями, признался: — Сколько лет прожил с ней, а с душой ее так и не сблизился. Двойную жизнь вела с самого начала.

— Не надо, папа!

— То есть! — И, недоумевая, покосился на дочь.— Умолчание в таком вопросе, Анисья, никак немислимо. Оно, понятное дело, мать и все такое прочее. Ну, а кто виноват, скажи, если покойница мою и твою жизнь грязью закидала? Мало я поимел от нее переживаний? Тебе это неизвестно, как я ее отбелил? И в тридцатом отвел от нее беду. Ее бы надо на ссылку отправить как по ее происхождению, так и по ее душе, а я ее заслонил своим авторитетом. Душой покривил перед партией! Вот какая вышла драматургия! А что получил? Полное непонимание! Она жила сама по себе, я сам по себе. Да еще тебя к себе притянула. Две жизни под удар подвела. Легко ли? И в тридцать седь-

мом самолично сделала показание на меня — наскрозь лживое. Можно ли такое прощать, и даже мертвым?

Анисья потупила голову, сдерживая слезы.

— Мне так тяжело, папа! Если бы ты знал!..

— Не принимай тяжесть на себя! Не принимай! — за-протестовал отец. — Я к тому говорю, что, значит, итог жизни подбить надо. Чтоб в дальнейшем началась светлая жизнь. Такое настало время теперь. Ты вот придешь в Белую Елань, а на душе у тебя муть. Встряхнись! Ты должна быть светлая, как вот этот Татарский ключ. Потому — сына име-ешь. Ему жить. Смыслишь?

И как бы в ответ на слова Мамонта Петровича сын Анисьи потянулся рукою к длинной гриве чалого Плутона.

— Мама, мама! Дай-ка, дай-ка...

— Э?

— Это конь, — пояснила мать сыну.

— Конь! — повторил сын.

— Удивительный вопрос! От горшка три вершка, а руку тянет к Плутону. Современность. Люди зреют не годами, а часами. Молодец, парень! Время — кровь жизни, не выце-ди ее напрасно, пока сидишь на руках матери. Ну, садись с ним на Плутона, а я пойду пешком.

— Что ты, папа. Так дойдем.

— Бери тогда Плутона за чембур, а мне давай внука.

Как его звать?

Анисья смутилась и ответила с запинкой:

— Дема.

— Э?

— Демид.

— Демид?! Позволь, позволь! Разве, э?

— Нет, нет, папа. Просто записала так.

— А по фамилии как?

Вот они самые неприятные вопросы, которых так боя-лась Анисья.

— На свою фамилию записала.

— Э?

— Головня. Другой у меня фамилии нет.

— Господи помилуй! А отчество?

Анисья ответила так тихо, что отец не расслышал.

— Как ты сказала?

— Мамонтович.

Мамонт Петрович от такой неожиданности чуть не упал.

— Не врешь?

— Я же говорю, записать могла только на свою фамилию и на свое отчество.

— И метрика честь честью?

— Все, все! И гербовая метрика, и сам Демид Мамонтович Головня налицо. Люби и жалуй, дед!

— Слава те господи! — воскликнул Мамонт Петрович, торжественно приподняв внука, как знамя. — Живет моя фамилия! Хотя я неверующий, а воспою аллилуя. Услышал бог мою молитву. Это же, это же событие государственного значения! Вот оно, у меня на руках, не Уголек, а целая Головня мужского рода. И жить будет эта Головня на радость всей Вселенной, начиная со спутника Земли — Луны до отдаленного Юпитера и Плутона, а так и Марса с Венерой, едрит-твою в кандибобер! Живи, Головня! Преобразуй Вселенную, а так и нашу Землю. Ты поспеешь как раз вовремя. Работы на твой век хватит до полного утверждения коммунизма! Живи, Головня! Не скупись на тепло.

«Головня Вселенной» — светлоглазый Демка перепугался от неожиданных полетов на руках деда и заревел.

— Папа, папа! Он боится.

— Молчи, Анисья. Парадом команду я, и Демид Мамонтович Головня мой полный единомышленник и соратник. Нет такого зла, через которое мы с ним не перешагнули бы. Вперед, вперед, на полное изничтожение гидры эгоизма!

И долго еще Мамонт Петрович разглагольствовал о всесветной путанице, с которой суждено будет сражаться Демиду Головне, а дочь чем ближе подходила к деревне, тем подавленнее было ее самочувствие. Ее пугала встреча не только с норовистой Маремьяной Антоновой, но и с Демидом.

«Он еще подумает, что я навязываюсь ему. И сына, скажет, потому Демидом назвала».

Отец что-то говорил о Степане Вавилове, о том, как к нему припожаловала Шумейка и как показал он себя стоящим председателем колхоза, а сам Мамонт Петрович с осени прошлого года работает заместителем председателя.

— Ты, папа, очень переменялся!

Анисья такого отца не знала. Тот Мамонт Петрович был добродушный, терпеливый, иногда резкий, нескладный и угловатый, увлеченный планетами и астрономией, а этот — весь занят был земными делами, но вместе с тем не было

мягкости, отзывчивости у нового Мамонта Петровича. Он будто не понимал, что Анисье сейчас не до колхозных перемен.

— Хэ! Переменился! Мы все, Анисья, переменялись. Если бы не произошла большая перемена, ты бы сейчас где находилась?

— Папа, папа! Не надо!..

— Великолепно все понимаю и знаю. И про твоё самочувствие, и про твои думы. Сам неоднократно находился в таком положении, — твердо ответил отец. — Потому и радуюсь перемене. Это же, это же — как открытие новой планеты!

V

Грозовая туча перевалила за Амыл и там гремела. И как это бывает летом, враз прорвалось солнце — и стало жарко.

Но где же знакомая поскотина? Ее перенесли в деревню, а тут все распахано. Мамонт Петрович сообщил, что они теперь с Зыряном в колхозе — заглавные фигуры. Сам Степан Вавилов достает стройматериалы, какие-то трубы, рельсы, автопоилки для коров, нажимает на подшефный судостроительный завод. А он мечется на своем Плутоне от одной бригады к другой, из поселка в поселок.

— Как зорька, так я на Плутоне. На коня — и пошел! Годы вот только подкузьмили: разматываю шестьдесят третий.

— Значит, Степан разошелся с Агнией?

— Разошелся. Как приехала его хохлушка, так и крички побили! Да она ничего, живет. Молодчина! Женщина, можно сказать, героическая. Показала себя лицом в деревне. Сразу, как приехал Степан, распрощалась с геологами и вступила в колхоз: сама назвалась в доярки на ферму. Может, хотела к Степану поближе быть, привязать его к себе. Да не судьба, видно! Полтора года доила коров. Натура! Нонешний год поставили ее заведующей животноводческой фермой. Андрюшка трактористом работает, а Полина — в оппозицию ударились: переметнулась к Демиду Боровикову и фамилию отца приняла. Не девка, а гвоздь со шляпкой.

Так вот про какую Полину говорил мастер по сплаву леса...

И, как бы между прочим, Анисья спросила:

— Демид Филимонович женился?

— Хэ! Интересуешься?

— Просто так.

— Про лебедя сказка! Ишь ты, «просто так»! А что, если я скажу: женился и от счастья ног под собой не чувствует, тогда как? Э?

Анисья не знала, куда спрятать собственное лицо от глаз отца.

— Правильно, Анисья. Какой может быть разговор про Демида Боровикова, когда вот он, у меня на руках, Демид Мамонтович? Мыслимо ли с двумя совладать? Я так и заявил Демиду Филимонычу: напрасно, говорю, интересуешься Анисьей Мамонтовной. Если бы она, говорю, имела к тебе касательство, то письмо прислала бы.

— А он что, интересовался?

— Неоднократно.

— Спрашивал?

— Говорю, неоднократно. А я ему: нет, говорю, писем и не жди.

На пригорке показались поскотина и знакомые березы на кладбище.

— Ты мне покажи, где ее похоронили,— тихо промолвила Анисья, не взглянув на отца.

Мамонт Петрович молча открыл ворота поскотины. И когда Анисья провела за собой Плутона, закрывая ворота, спросил:

— Может, в другой раз?

— Нет, лучше сейчас.

— Тогда пойдем. Привяжи Плутона у поскотины. Мамонтович спит, как богатырь. Умаялся, сердечный. Пусть отдыхает, пока на руках носят. Когда сам понесешь — тогда не отдохнешь. «Давай,— скажут,— Головня, разворачивайся на всю катушку. Грей, не скупись!» Ну да мы с ним на тепло не скупые. С нашим удовольствием! — И, взглянув на деревню, видневшуюся в низине, продолжал: — Кабы все люди понимали, что на тепло нельзя скупиться! А ведь как некоторые живут? К чужому огню руки тянут, а свой за тремя шубами носят, чтоб наружу не вырвался. Ну, пойдем!..

VI

Тихо, словно спросонья, шептались гигантские березы, какие растут, наверно, только на кладбищах. Они толпи-

лись в беспорядке, подобранные и стройные, гладкие, без единого сучка до своих пышных лохматых шапок. И там, вверху, в синеве неба, шептались листвою, словно им было известно нечто великое и таинственное, чего не могли знать люди, занятые земными делами. Березы будто держали совет и переговоры с беспредельным простором небес, с наплывающими тучами, с ночными звездами и со всей Вселенной. Под этими высоченными березами Анисья с отцом казались маленькими.

Тихо, очень тихо шелестят вверху березы.

Здесь где-то, на этом клочке Вечности, могила старца Ларивона Филаретыча Боровикова. И если бы мертвые действительно могли воскреснуть, то первым праведником поднялся бы Ларивон. Это он привел общину раскольников на Амыл.

По крестам можно было понять, какие разные люди нашли здесь пристанище. У старообрядцев-филаретовцев — массивные кресты из целых бревен с тройными перекладинами: одной косою и двумя прямыми. У юсковцев-федосеевцев — кресты нарядные, шестиконечные, с накрывкой конусом, как в часовнях. У правоверцев — с двумя перекладинами. Кое-где между старыми могилами и крестами виднелись тумбочки со звездочками. А вот и могила бабки Ефимии...

— Разве она здесь похоронена?

— А ты не знала?

В дальнем углу кладбища, у самого обрыва в пойму Малтата, там, где Дуня поставила крест давно усоншей Дарье Юсковой, единоплодной сестре своей, нашла себе последнее пристанище мать Анисьи, так много напетлявшая в жизни. Сосновый крест с одной прямой перекладиной еще не потемнел от времени. Холмик могилы аккуратно выровнен. В ногах могил сестер Юсковых шумели четыре березы из одного корня. Анисья их сразу увидела и тут же вспомнила другие четыре березы, в тени которых недавно сидела на обочине тракта. Было нечто жуткое в таком совпадении. Глаза Анисьи тревожно перебежали с берез на два креста — черный, перекосившийся Дарьи Елизаровны и с одной перекладиной — матери. Анисья почему-то не подошла близко к могиле и все смотрела на прямую перекладину. Будто мать, распахнув руки, намеревалась схватить дочь в свои смертельные объятия. И Анисья вспомнила в подробности, как впервые свиделась с тем подозрительным

военным мужчиной, который потом оказался ее отцом и убийцей матери. Что же такое произошло все-таки?

«Мама, мама! Зачем ты так жила?» И, как бы продолжая мысль Анисьи, раздались слова Мамонта Петровича: — Кругом сама запуталась и успокоилась от руки бандита. А все могло быть по-другому...

«Все могло быть по-другому», — с горечью думала Анисья. Закрыв глаза ладошкой, она тихо плакала, мелко вздрагивала. Слезы у ней струились между пальцами. Волосы и платье сушило солнце. На затылке и на спине Анисьи отпечаталась узорная тень: солнце цедило свои жаркие лучи сквозь березовые папахи.

«Все могло быть по-другому!..»

И Анисья вдруг поняла до щемящей боли в сердце, что здесь, на этом клочке Вечности, живая она со своим малюткой сыном и с Мамонтом Петровичем, и еще живые березы, и небо над ними, и сама земля, заросшая густой травой, но нет жизни в тех, кто лежит в могилах. Для них все кончено!

Во вчерашнее возврата нет.

Живое — живым, и хмель задора — тоже для живых. Молодой и выдержанный временем хмель. И что будет постоянное брожение молодого хмеля.

Но есть же какая-то связь между живыми и мертвыми? Есть же нечто, что еще вяжет Анисью даже с мертвой матерью? Есть, есть! И это нечто — очень важно. «Сколько бы я ни прожила, я ее буду всегда помнить, — подумала Анисья. — За все свои ошибки, какие у нее были, она заплатила жизнью. Мама, мама! Если бы я могла повлиять на тебя!»

Резко, как два выстрела, прозвучало над головой: «Ку-ку!..» Анисья поглядела на вершины берез. Там где-то пряталась кукушка. И опять: «Ку-ку!»

Только сейчас Анисья обратила внимание на молоденькую рябину в изголовье могилы. Возле деревца стоял Мамонт Петрович, бережно перебирая пальцами листики рябины. На плече Мамонта Петровича — кудрявая головка ее сына, которому совершенно безразлично, где он сейчас находится. Виски Мамонта Петровича белые, будто солью присыпанные. Лицо изрезали морщины, и только рыжие усики по-прежнему топорщатся, как хребтовый плавник у ерша. Что он так задумался, Мамонт Петрович?

«Папа, папа! Как я была к тебе несправедлива!»

Вот она какая, жуткая правда жизни!..

Человек, которого ни твоя мать, ни ты не жаловали любовью и вниманием, не уважали и презирали даже за его неловкость, угловатость, а он один сохранил в своем сердце и любовь к тебе, и встретил тебя, одинокую, на дороге, и распахнул навстречу руки, и от радости выложил все новости Белой Елани, и, может, ради тебя и твоего сына с утра до поздней ночи мечется верхом на Плутоне по полям колхоза! И вот теперь на его руках твой сын, Демид Мамонтович. И сына ты записала на его имя и фамилию.

— Папа, папа!..— И Анисья, кусая губы, медленно присела тут же, где стояла, точно ее прижала к земле непомерная тяжесть.

— Анисья! Доченька! — напугался Мамонт Петрович и в три шага оказался возле нее.

На плече деда проснулся Демка и заревел с испугу.

— Мама, мама! Нá меня! Нá меня! — кричал сын.

Анисья рыдала навзрыд.

Мамонт Петрович присел возле дочери, утешал ее, как мог:

— Что же теперь поделаешь? Такое произошло несчастье! Слезами не поможешь. Жизнь, она завсегда из двух половинок — из несчастья и счастья. Не плачь, не плачь!..

— Папа, папа! — бормотала Анисья сквозь слезы.— Я .. я... Ты, ты один-единственный... настоящий... всегда-всегда!

— Ну вот! Ну вот! — смутился Мамонт Петрович.— Слава богу, вернулась, и ладно. Вроде как планета новая открылась.

Демка ревел настойчивее, протягивая ручонки к матери, требуя ее ласки, ее материнского внимания.

Анисья поднялась и взяла на руки сына. Тот сразу отмахнулся от дедушки и, вздвув толстые губы, сердито уркнул:

— Дед! Дед! Как дам!..

— Не смей так! — прикрикнула мать.— Это мой папа. Понимаешь? Папа!

Демка насупился. Он еще не мог сразу понять, что значит требование матери.

— Растет рябина-то,— вдруг сообщил Мамонт Петрович. И по тому, как он поглядел на рябину, Анисья догадалась: рябину он сам посадил!

— Папа, это ты .. посадил?

Мамонт Петрович отвернулся.

— Я никому не скажу, папа!

В ответ — тяжкий вздох.

— И говорить не надо. Про такое никому ничего не говорят. Вот они, какие дела, Анисья. С живой я с ней никак не мог столкнуться, хоть и жить мне было трудно без нее. Без твоей матери. Вон оно как! Другой раз думаю: много звезд во Вселенной, а каждому нравится какая-то одна звездочка. А та звездочка, если разобраться, может, три тысячи лет назад как потухла. Свет ее летит по Вселенной, а звезды нету. Кто про то знает? Человек, как сама Вселенная, еще не весь разгадан. В каждом имеется большая тайна. И ты сам не знаешь, какая это тайна? В чем ее сила? Кабы все было известно, я бы сказал, что со мной произойдет завтра и послезавтра, а там и через пять годов. А может, я завтра умру? Известно это мне или нет? — И, как бы между прочим, напомнил: — Ты вот что, Анисья, никому не болтай про наш разговор. Ну, а если тебе доведется хоронить меня, вот тут мое место.— И показал на свободный квадрат земли между двух могил сестер Юсковых. Труп утопшей Дарьи Юсковой еще тогда, в апреле 1918 года, выловлен был в полынье Амыла, далеко от Белой Елани...

VII

Человек, который прожил шестьдесят лет, видит жизнь в трех измерениях.

Далекое, недавнее, настоящее...

Давно ли Мамонт Петрович, мастеровой парень из Тулы, бунтарь, прибыл в Белую Елань на вечное поселение, а вот уже минуло сорок три года!..

И кажется Мамонту Петровичу, что вот эта торная дорога, по которой он идет сейчас с Анисьей, впервые протоптана его ногами и что он шел по ней давным-давно, чуть ли не тысячу лет назад, когда здесь, в глухомани, люди жили в дремучих потемках староверчества и вся Белая Елань открещивалась от поселенцев, как от нашествия антихриста. И слышится Мамонту Петровичу нутряной рык Прокопия Боровикова: «Изыди, сатано! Изыди!» И толпа, глазастая, дикая, холстяная, распахнув рты, орет на него в сотню глоток, тычет пальцами, крестится, кидая камнями, а он, Головня, видит себя молодым парнем. Одно понять не может: какая сила привязала его к Белой Елани? Почему он не ушел отсюда? Ведь мог же, мог! Тысячу раз мог и — не ушел. Точно кто пришил его гвоздями.

В ту пору про раскольников говорили: «Что ни дом — то Содом, что ни двор — то Гоморра, что ни улица — то блудница». И раскольники отвечали: «Режь наши головы — не трожь наши бороды». И молились усердно, всяк по-своему.

Давно ли?

На памяти Мамонта Петровича шумел тополь Боровиковых, и косматые тополевы на ильин день справляли все-нощную службу под деревом. Вопили псалмы на всю пойму, посыпали головы тополевыми листьями, вязали тополевы венки для невест, потом крестили их в студеной воде Малтата и Амыла. И думалось тогда: неистребимо староверчество. Так и будет жить Белая Елань в вечной тьме, отрещиваясь от всего мира двоеперстием. А теперь тополь засох и торчит вильчатой, уродливой тенью, не привлекая к себе внимания.

И вот за каких-то двадцать лет исчезли раскольничьи толки, и сами старики редко вспоминают, кто и в каком толке состоял.

И Мамонт Петрович постарел — теперь ему не совладать с пудовым мологом; и голова засеребрилась у Мамонта Петровича, а он все еще видит себя молодым парнем и никак не может помириться со старостью.

Была Дуня Юскова. Совсем недавнее и в то же время далекое, как синь-море от Белой Елани.

Ее нет, Дуни! Но вот рядом идет Анисья — настороженная, стройная, с кудряшками красноватых волос, раздуваемых горячим ветром. Мамонт Петрович украдкой поглядывает на Анисью, на ее пунцовую щеку, на прядку волос, заслоняющую ухо, на ее упрямо вскинутый вверх подбородок, на крошечную горбинку носа, и то знакомое чувство умиления, какое он когда-то испытывал от близости Дуни, теплый волной омывает сердце. У него такое ощущение, что к нему из тьмы Далекого, из густых сумерек Вчерашнего вернулась Дуня. И не та, какую он знал, а та особенная, совершенная, какую он вообразил и уверовал потом, что она существует. Рядом с такой Дуней он, Мамонт Петрович, чувствует себя молодым и торжественно-подтянутым.

А у самой Анисьи — метелица в душе. Метет, метет метелица! То зимней выюгой запорошит сердце, отчего оно сожмется в комочек, то жарким пламенем ударит в щеки, и тогда сохнут губы и капельки пота выступают на лице. Хоть с берега и в воду, чтоб охолонуться!..

Вот она, рукой достать, Белая Елань!

Что ее ждет здесь, Аниську? Сумерки или росное утро? Лютый мороз или знойное лето с грозой? Счастье или несчастье?

А счастья бы, счастья!..

У Анисьи вся жизнь в одном измерении.

В ее чувствах никак не уживается Далекое. У ней еще нет ступенек, по которым надо спускаться куда-то вниз, во мрак Минувшего. У ней одно измерение — жизнь. Давнишнее и недавнее — сливаются в единый день без сумерек и ночи. В ее сердце еще не выбродил молодой хмель, не устоялось вино, не набрало крепости. Вчерашнее сливается с сегодняшним. А сегодняшнее — наполовину в завтрашнем. Единая цепь жизни. Для Анисьи сейчас все важно и значительно: и лес, и солнце, и сын Демка, и будущая работа в леспромхозе, и особенно — встреча с Демидом. «Как он? И что он? Такой ли, как тогда?»

Метет, метет метелица!..

И жаркое полуденное солнце, и теплый ветер, и внезапное прояснение в душе Анисьи, и мягкая старость Мамонта Петровича, и фыркающий Плутон, и лес по обочинам дороги, и черные крыши деревни в низине — все это сейчас слилось для Анисьи в одну общую картину ее возвращения в Белую Елань, и она хотела угадать: как будет жить завтра?

Навстречу из-за поворота дороги шел мотоцикл, громко стреляющий на всю окрестность. Мамонт Петрович успел сообщить:

— Гляди, Демид Филимоныч газует со своей Полиной. Показал он себя в леспромхозе. Рвет, как огонь в трубу.

Анисья не слышала, что еще сказал отец. Крепко прижав рукою Демку, она замерла на одном месте. Пламя кинулось в щеки, в уши, и даже во рту стало сухо и горячо. Демид! Отчетливо и резко отпечаталось лицо Демиды со знакомым кожаным кружочком на левом глазу. На фуражке блестели стекла защитных очков.

Мотоцикл шел обочиной дороги, где остановилась Анисья. Отец что-то крикнул, она не слышала. И мотоцикл рывкнул — коротко и зло. Анисья не сдвинулась с места. Демид резко свернул в жидкую грязь, а тут еще Плутон стал поперек дороги. Демид повернул обратно к обочине, но заднее колесо мотоцикла, свистя грязью, скользнуло по

дороге так, что Демид и Полюшка за его спиной еле удержались

— Ну что вы, в самом деле! — заорал Демид, выжав сцепление и опустив ноги в сапогах в лужу. — То конь на дороге, то баба!

Демид оглянулся через плечо и машинально крутнул рукоятку подачи газа. Мотоцикл истошно взревел и заглох. Полюшка тоже оглянулась на женщину с ребенком.

Анисья стояла на том же месте.

Мгновение — и они узнали друг друга.

— Не по такой дороге на мотоцикле шпарить, — бурчал Мамонт Петрович. — Тут грязища по колено, а ты газуешь!

Вся напряживаясь, придерживая Демку обеими руками, чувствуя, как истошно забилось сердце, то бледнея, то краснея пятнами, Анисья смотрела на Демида широко открытыми глазами, и виноватая, жалостливая улыбка, порхая у ее припухлых губ, готова была слететь ему навстречу. Демид развел руками, словно хотел обнять Анисью через пространство, потом споткнулся, выпрямился во весь рост, тая летучую веселинку в губах, и, весь подавшись вперед, выдохнул:

— Анисья! Уголек?!

Скорее почувствовала, чем услышала Анисья, вздрогнув всем телом. Перед глазами качалась гибкая веточка черемухи с зелеными пуговками ягод. Ветку раскачивал Демка, ухватившись пухлой ручонкой за ягодную кисточку, тянул ее к себе, пробуя оторвать.

— Наконец-то!

Теперь она видела его лицо. Близко-близко. Смуглое, загорелое, мужественное, чуть горбоносое, с соболиным разлетом черных бровей и с белыми висками. Прядка седых волос прилипла на лбу. Брезентовая куртка нараспашку, и под курткой синяя косоворотка с расстегнутым воротником. На груди, у ямочки, золотистый пушок. Руки его судорожно сжимали Анисью вместе с сыном.

— Как же так?! А я ждал, ждал!

Она что-то хотела сказать, но только прерывисто вздохнула, подавив закипевшие в горле слезы.

Мгновение Демид глядел на сына Анисьи. Это, конечно, ее ребенок. Он почему-то никак не мог представить Анисью-Уголек с ребенком на руках.

Один миг, одна секунда, но какая же она трудная, не-

отвратимая, как рок, и неизбежная, как налет волны на берег. Волну ничем не остановишь, если она движется к берегу.

Полюшка спрыгнула с заднего сиденья мотоцикла и, одернув черную юбочку, быстро огошла на другую сторону дороги. Глаза Полюшки, как васильки, опрысканные росой, готовы были испепелить «Головешихину дочь». Так вот с кем встретился отец на дороге. И она, эта самая Анисья, нарочно не сошла с проезжей дороги, чтобы остановить мотоцикл. «Противная, гадкая, гадкая!» А голос отца, неузнаваемый, мягкий, сердечный, спрашивает:

— Сын или дочь?

— Сын.

И отец Полюшки протянул руки к ЕЕ сыну! Ее отец, которого любит Полюшка. Лучше Полюшке убежать, чтобы не видеть этой сцены. Но как можно убежать от отца? Одного-единственного...

«Если я убегу, папа останется с ней, с этой Головешихой. И тогда...» Страшно подумать, что может случиться тогда.

— Ну, как тебя звать?

У Полюшки кровь кинулась в щеки, и без того румяные от солнца. Отец взял на руки ЕЕ сына!..

— Как же тебя звать, а?

И вдруг так неожиданно раздался голос Мамонта Петровича:

— Твой тезка. Демид Мамонтович Головня. Мой полный единомышленник и соратник в будущем.

— Тезка?! Демид, значит?! — И голос отца стал особенным — нежным, радостным. Полюшка видела, как подтверждая кивнула головой эта самая Анисья. — Вот это здорово! — ликовал отец Полюшки. — Теперь нас двое в Белой Елани. Сила! А? Какой богатырь! Сила, а? — И Демид поднял на руках своего тезку чуть не до вершины куста черемухи.

Это был момент, когда решалась судьба не только маленького Демиды и его матери, но и Полюшки, и Мамонта Петровича, который особенно настороженно поглядывал на Демиды, прислушиваясь не столь к его словам, сколь к их интонации.

«Хитрая, хитрая Головешиха! — кипела Полюшка. — И сына своего назвала Демидом, и сама заявила, нахально остановив мотоцикл среди дороги. Но это же не сын ее от-

ца! Нет, нет! Ничего подобного. Этого не может быть! Не хватало еще, чтобы у нее появилась мачеха?! И какая?! Та самая дочь Головешихи!..» Мрак, черная ночь спустились на Полюшку!

Но почему голос отца такой нежный, взволнованный, радостный? Полюшка никогда не слышала такой голос у отца. Разве только один раз, когда он впервые сказал ей: «Полюшка... Доченька!!!»

В суженных глазах Полюшки — искры и пламя.

Рослая, тоненькая, стоит она в тени придорожной осины, и каждый нерв, каждый мускул ее юного тела до того напряжены, что тронь Полюшку пальцем — и она зазвенит, как струна.

Ее кудряшки пышных волос оранжевым дымом вьются из-под цветастой крепдешиновой косынки, как бы оттеняя чернь упруго выписанных бровей и синеву Демидовых глаз, а легкий, как воздух, воротничок шелковой блузки, выглядывающий из-под кофточки, как венком украшает высокую смугло-розовую шею. На румянном лице Полюшки еще не прощипнулась ни одна морщинка горечи. Ей невдомек, что у отца могут быть какие-то сложные чувства к дочери Головешихи и что он, отец, имеет право на личное счастье. Полюшке важно, чтобы ее отец — был только ее отцом и ничьим мужем (если уж они навсегда разошлись с мамой Полюшки).

«Мы всегда были вместе, и нам все завидовали». Вся Белая Елань, весь леспромхоз, решительно все знают, как дружно живут Полюшка и Демид. И вдруг все рухнет!

Полюшка еще сумеет постоять за себя и за отца!

И опять отец спрашивает:

— Значит, Демид? — И тихо-тихо, так что Полюшка еле расслышала: — Спасибо, Уголек!

На глазах у Полюшки закипели слезы. И она хотела крикнуть «Папа, поедем!» — но вдруг увидела... Что это? Неужели отец плачет? Или смеется?..

Единственный глаз Демиды смотрел на Полюшку с таким страданием и болью, как будто он упал с неба на грешную землю. Демид хотел что-то сказать Полюшке, но слова застряли где-то глубоко в горле и никак не слетали с искривившихся губ. Живчик передернул Демидову щеку.

— Полюшка! — выдохнул он наконец. — Что же ты там стоишь, доченька!.. Подойди сюда.

Полюшка сделала три шага и уперлась, как бодливая коза, отвернувшись в сторону

— Это же твой брат, доченька!.. Брат! Подержи его. На, возьми скорее!..— И Демид посадил ей на руки маленького Демку.

Демка сразу же обнял ее тоненькую шею, уцепившись ручонкой за порхающий воротничок. Он не любил мужского общества.

«Брат! Вот еще!» Полюшка готова была бросить в грязь этого ненужного, ненавистного ей брата. Но Демка ухватил ее за растрепанную прядку волос и, доверчиво улыбувшись, сказал:

— Пуль, Пуль!..

— Полюшка, Демочка! Ее звать Полюшка,— проговорила Анисья.

— Поль-ка,— отдельно и четко сказал Демка.

Все засмеялись весело и радостно.

— Ты должна его любить, Полюшка,— возбужденно бормотал отец.

Лицо Полюшки покраснелось от смутения. Даже шея покрылась пятнами. «Нужен мне брат! — кипела Полюшка.— Чтоб он меня потом бил и таскал за косы, как Андришка!..»

— Видишь, какой он маленький,— ласково и нежно говорил отец.

И правда, этот брат был совсем маленький, легонький, как перышко, ножки тоненькие и желтые, как соломинки. А глаза действительно синие-синие, с золотыми ресницами, как у Полюшки, не вавиловские едучие, черные смородины...

«Папины глаза!» — с грустью и болью подумала Полюшка, как будто проиграв сражение.

— Ну, что ж мы стоим! — спохватился Демид.— Давай-те обратно! Полюшка, мы сегодня не поедем. Завтра успеем... Подождут сплавщики по такому случаю...— возбужденно и весело кинул он, заводя мотоцикл.

Громко затрещал мотоцикл. Демид вывел его на дорогу.

— Как поедем? Ты, Аниса, усидишь с Демкой сзади?..

— Нет, нет, Демид! Мы дойдем пешком. Поезжайте с Полюшкой. Демка еще испугается...

Но что случилось с Демкой? Он не хотел идти с рук Полюшки. Как дед ни старался забрать его к себе на руки, он орал и, уцепившись за шею Полюшки, лопотал свое:

— Как дам! Как дам!..

— Тогда бери его сама, Аниса. А вещи я увезу и мигом обернусь. Скажу там Марии, чтоб приготовила все к встрече.

Но Демка и от матери отвернулся. Тогда Полюшка сказала, будто спустила груз на тормозах:

— Папа, мы пойдем. Тут недалеко осталось...— И быстро пошла вперед по дороге с Демкой на руках.

Летучая веселинка покривила лицо Демида, и он, переглянувшись с Анисьей, дал газ.

Мотоцикл умчался, тарахтя и стреляя голубыми выхлопами.

Так и шли они серединой дороги, обходя дождевые лужи: высокий старик с послушным Плутонем, молодая женщина с такими горячими и ищущими глазами и впереди их на десять шагов — тоненькая девочка с ребенком на руках.

Светлые волосенки Демки, как одуванчик, трепыхались вокруг головы, путаясь с червонным золотом Полюшкиных волос.

— Какая она большая стала — Полюшка! — раздумчиво сказала Анисья.

— Что ты! Не девка, а уксус. Натуральная эссенция без всякого разбавления. Летает с Демидом по всей тайге, по всем рекам, удержу нет. В геологический техникум метит поступать нонче. И Демид хотел с нею в город перебираться на жительство.

— Да? — с какой болью вырвалось у Анисьи это коротенькое «да?»

— Это же такая иголочка! Ну, прямо сера горячая! Демид для нее готов и в огонь и в воду... Она же и фамилию его приняла, и от матери отторглась!

«Так вот в чем дело!» — ворохнулось что-то неприятное в сердце Анисьи и тут же сгасло.

— Мама, мама! — замахал Демид руками, когда они стали подходить к деревне.

Анисья ускорила шаги.

— Это, Дема, деревня. Белая Елань. Моя деревня, где я родилась.

Для маленького Демки начиналась новая жизнь, познание большого суетного мира.

Навстречу шла Устинья Степановна, полная, степенная, в красном платке, румянящем ее широкое плоское лицо с белесыми, едва заметными отметинами бровей.

Посторонилась на тропке возле амбара, заглянула на ребенка.

— Матушки светы! Никак, Анисья?
— Соответственно, Устинья Степановна.
— С приездом, Анисьюшка. Какая ты красавица-то, господи! И худенькая стала. Сыночек или доченька?
Мамонт Петрович опередил Анисью:
— Мой соратник в будущем, Мамонтович по отчеству, Головня по фамилии. Э?
Устинья Степановна всплеснула ладошками:
— Вот счастье-то!
— Счастье, Устинья Степановна, как воздух: напахнет — дыхнешь, не успеешь отведать и — нету.

И Мамонт Петрович вздыбил плечи, выпятил грудь, как генерал на торжественном смотре. И даже чалый Плутон за его спиной и тот ободряюще фыркнул, дернув ременный чембур.

VIII

...Поймою Малтата шла Агния. Медленно, безразлично передвигала она уставшие ноги. Ей некуда было спешить. Просто ноги по старой памяти привели ее в знакомые места. Машинально брели они по вытопанной тропе, хотя отлично знали, что все дороги уже пройдены...

Вот и развесистая черемуха, под которой не раз Агния целовалась с Демидом... Какая она нарядная, ядреная, рясная! Черные гроздья завязей еще твердые, вяжущие. Раскуси такую ягодку, и оскоминой сведет зубы. Нет, не скоро они созреют! У старой черемухи еще все впереди. Оттого-то она так пышно и раскинулась... Быть бы и Агнии еще черемухой. Каждую весну осыпать цветущим снегом свои поломанные сучья... Но не цвести Агнии... не наливать соком ядреных завязей, про то твердо знает сама Агния...

Тишина. Сонность. Полуденная дрема. Только без усталости снуют труженицы-пчелы, будто золотые челноки ткут невидимый узор над смородяжником и дикотравьем в кустах чернолесья, да где-то в стороне гулко стучат топором по дереву.

— Бух! Бух! — размеренно и четко отдается в ушах Агнии.

А вот и дом Боровиковых. Шатровая почернелая крыша. Угристо-черная вильчатая верхушка мертвого тополя. Частоколовый палисадник плетеной корзиной выпирает в улицу. В палисаднике новые голубые ульи. Ворота настежь.

И у ворот — желтые смолистые плахи. Боровиковы строятся... Жизнь идет своим чередом.

Но что это? Никак, Демид рубит тополь?

Точно.

Рубит!

Вот он, в синих брюках, по пояс голый, загорелый, размахивает сверкающим на солнце топором и с силой вонзает его в податливый, полусгнивший ствол дерева.

— Бух! Бух! — постанывает, скрипит мертвое дерево. А Агнии кажется, это не дерево скрипит. А это ее сердце натруженно и гулко ударяется под ребра.— Бух! Бух! — обливается смертельной усталостью сердце Агнии. Оно сжимается от боли с каждым ударом.— Бух! Бух! — размеренно и четко кромсает острый топор одинокое, уставшее сердце Агнии.— Бух! Бух! — гулко и тяжело колотится покинутое сердце... И щепы, желтые, кудрявые щепы летят, летят, летят. И слезы ползут по впалым, загорелым щекам Агнии...

Мариины ребятишки, оседлав раздвоенную вершину, спиливают вильчатые рога старого тополя.

Здесь же и Мамонт Петрович, и Полюшка... Ее Полюшка. И даже маленький Демка егозится возле ног Демиды: собирает щепы и таскает их во двор к печке-временке, где Мария и Анисья готовят обед.

Демка припадает на одну ножку и с трудом волочит другую — ему только что сделали переливание крови. Наклоняясь за щепами, Демка, как гусак, вытягивает назад одну ногу, а то и совсем садится на землю и тогда уже, набрав беремья, корячится, чтобы подняться...

Эта работа — таскать желтые щепы старого тополя — дается Демке с трудом! Вообще, счастье жить досталось ему с трудом. Знает Агния, не таскать бы Демке желтые щепы старого тополя, кабы не ее Полюшка!..

Перенесенная дорога, недостаток питания, перемена воды и пищи изнурили мальчонку болезнями. Две недели метался он в жару, бредил, исходил рвотой и поносом. Полюшка рассказывала, как он на стенке ловил какие-то одному ему ведомые прыжки...

Полюшка! Как же она переменялась за эти две недели, ее ласточка! И в кого она такая щедрая, ласковая?.. Куда девалась ее ненависть к Анисье? Враз забылись все распри отца и матери. Все ушло от нее куда-то в сторону. И она день и ночь металась около Демки, как собака, охраняя

плотную, тугую дверь между жизнью и пустотой, куда ненароком мог нырнуть маленький Демка...

Может, в этом и есть смысл жизни?

Дети иногда бывают мудрее своих родителей...

Печет, печет полуденное солнце, сушит соленые слезы на потрескавшихся губах Агнии.

— Бух! Бух! — стонет дерево, гулко отдаваясь эхом в окрестности.

Значит, в жизни бывает так. Нашла грозовая туча, громынула, вылилась дождем, и вот снова проглянуло солнце, разведрилось, опять установилась хорошая погода. Изю дня в день до того печет солнышко, такое щедрое и ласковое, что земля трескается и вянут травы. Люди млеют в духоте и зное, глядя на небо: когда же оно наконец лопнет и прольет дождь? Так вышло и в жизни Анисьи. Встретила ее Белая Елань грозюю, дождем, ненавистью юной Полюшки, сумятицей бабьих сплетен, а теперь какая она счастливая...

Но не так вышло в жизни Агнии. Оттого-то и колотится натруженное сердце Агнии: «Бух! Бух!»

Когда Демке стало немного полегче, Полюшка носилась с ним по деревне, уверяя всех, что у него «вылитые папины глаза!»

— Ну вот нисколечко-нисколечко на Анисью не похож! Вы только поглядите!.. А какой умный-умный, ужас прямо! Демочка, сосчитай до пяти.

— Пять, шесть, — говорил Демка.

— Ах ты мой цыплёночек! — восторгалась Полюшка.

Она поила его настоем целебных трав, уговорила Шумейку поехать с нею и Демкой в районную больницу к доктору. И на свой риск и страх они с Шумейкой взялись за переливание Полюшкиной крови Демке. Каждый раз, после очередной порции, впрыснутой в ягодицу Демке, он становился воинственным и драчливым.

— Так ее! Так ее, Демид Мамонтович! — поддакивал Мамонт Петрович, когда уросивший Демка таскал Полюшку за волосы. — Ишь ты, как в тебе Полянкина кровинка-то бушует! Ничего! Значит, оклемаешься. Перезимуешь!

Мариины ребятишки тоже жалели Демку и старались наперебой ему угодить. Любопытный Гришка все приставал:

— Дем! А Дем! Ну покажи, что у тебя там болит?..

— Нет! Ззя! — решительно ограждался Демка, загора-

живая больное место руками. И, сделав страшные глаза, убежденно врал: — Там бабака. Она кусается. Уф!..

Вздыхнув, с шелестом и хрустом ломая иссохшие сучья, поникла сначала одна, потом другая вершина тополя. Ребятишки спрыгнули с дерева и стали помогать Демиду наклонять его в сторону дороги.

— Бух! Бух! Бух! — еще яростнее и оживленнее заработал топор.

— Бее-е-реги-ись! — раздался голос Демида.

— В сторону! Все в сторону!..

— От окон его вали! От окон! — суетился Мамонт Петрович.

Ствол дерева качнулся, дрогнул, затрещал, будто внутри его переломился хребет, и оно со стоном повалилось на землю.

Ноги у Агнии одеревенели, но она все стояла, таясь за кустами в зарослях поймы, как будто невидимая цепь приковала ее к тополю.

Черный, черный тополь! Отлопотал ты свои песни-сказки. Больше никто уже не будет вязать венки из твоих гибких веток. Не будешь ты заметать дорогу пуховой метелицей, не укроешь бредущих куда-то в поисках счастья людей. Не спрячешь от непогоды в своей листве мохнатых, жирных шмелей, и золотистые пчелы не унесут на лапках твою душистую смолку!.. Твоя тень померкла, улетучилась. И только маленькая, ершистая поросль напоминает людям, что ты еще весь не умер, что корни твои живут и взбуривают землю неумемной жаждой жизни — обновления.

И кто знает, не вырастет ли со временем из этой маленькой поросли снова могучее дерево?

ПРИМЕЧАНИЯ

Хмель. Сказания о людях тайги. Том первый. Главы из романа впервые опубликованы в журн. «Сибирские огни», 1957, № 5; «Корни и листья» — главы из романа: альманах «Енисей», 1960, № 27; «Крепость» — главы из романа: альманах «Енисей», № 4; отдельным изданием (книга первая — третья): Красноярск, Красноярское книжное издательство, 1963. Также: Новосибирск, Западносибирское книжное издательство, 1964; Красноярск, 1966; «Роман-газета», № 22—24. М.: Худож. литература, 1967; М.: Худож. литература, 1972; Берлин: Фольк унд Вельт, 1972; М.: Современник, 1975; Красноярск, 1979; Красноярск, 1983; Белград, 1984.

Конь Рыжий. Сказание о людях тайги. Том второй. Впервые роман опубликован отдельным изданием: Красноярск, Красноярское книжное издательство, 1972. Также: М.: Современник, 1979; Красноярск, 1980; Красноярск, 1984.

Черный тополь. Сказание о людях тайги. Том третий. Впервые главы из романа опубликованы в журн. «Нева», 1961, № 11, 12 (под названием «Хмель»); полностью опубликован под названием «Черный тополь»: Красноярск, Красноярское книжное издательство, 1969. Также: Красноярск, 1981; М.: Современник, 1982.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Завязь первая	6
Завязь вторая	33
Завязь третья	88
Завязь четвертая	125
Завязь пятая	160
Завязь шестая	201
Завязь седьмая	231
Завязь восьмая	281
Завязь девятая	323
Завязь десятая	357
Завязь одиннадцатая	385
Завязь двенадцатая	412
Завязь тринадцатая	445
Завязь четырнадцатая	476
Завязь пятнадцатая	503
Аполог	511
Примечания	542

Литературно-художественное издание

ЧЕРКАСОВ Алексей Тимофеевич
МОСКВИТИНА Полина Дмитриевна

ЧЕРНЫЙ ТОПОЛЬ

Сказания о людях тайги

Редактор **М. М. Подорова**
Художник **В. В. Толстоногов**
Художественный редактор **Н. Б. Егоров**
Технический редактор **В. С. Никифорова**
Корректор **М. Г. Стрига**
ИБ № 6450

Подписано к печати с готовых матриц 27.01.92.
Формат 84×108/32. Гарнитура литературная. Печать вы-
сокая. Бумага газетная. Усл. печ. л 28,56. Усл. краск.-
отт. 28,56. Уч.-изд. л 30,60. Тираж 100 000 экз. Заказ 2-254
С044

Издательство «Современник» Министерства печати и ин-
формации Российской Федерации и Союза писателей Рос-
сийской Федерации
123007, Москва, Хорошевское шоссе, 62

Книжная фабрика им М. В. Фрунзе, 310057, Харьков-57,
ул. Донец-Захаржевского, 6/8.